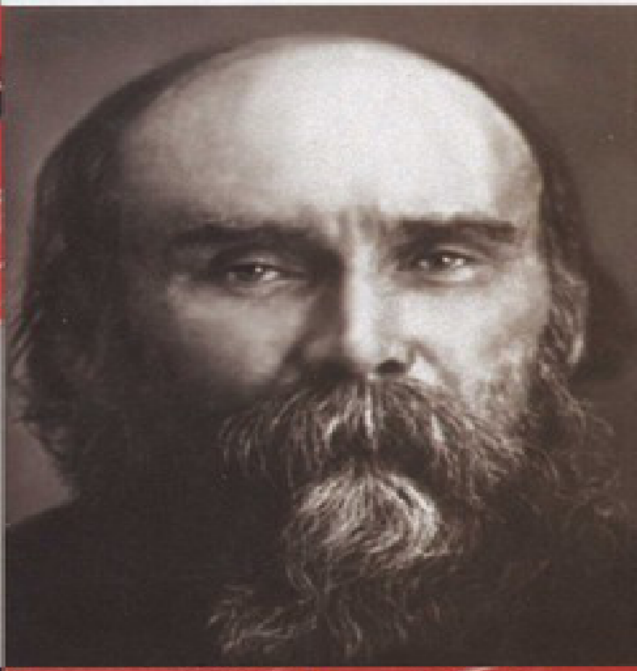
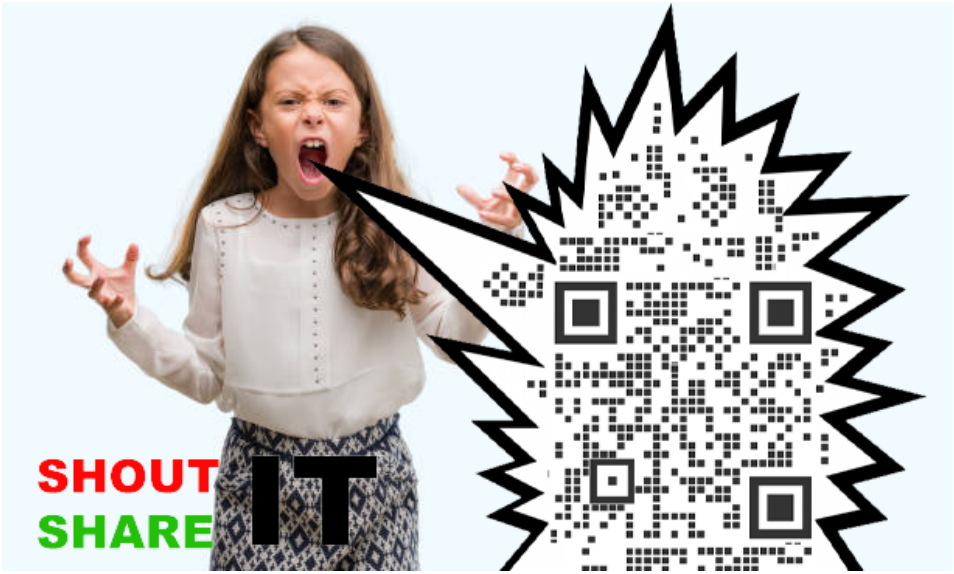
НИКОЛАЙ КЛЮЕВ



Сергей Куняев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.

знак информационной продукции 16+

- С. С. Куняев
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
  - Глава 23
  - Глава 24

- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. КЛЮЕВА
- БИБЛИОГРАФИЯ

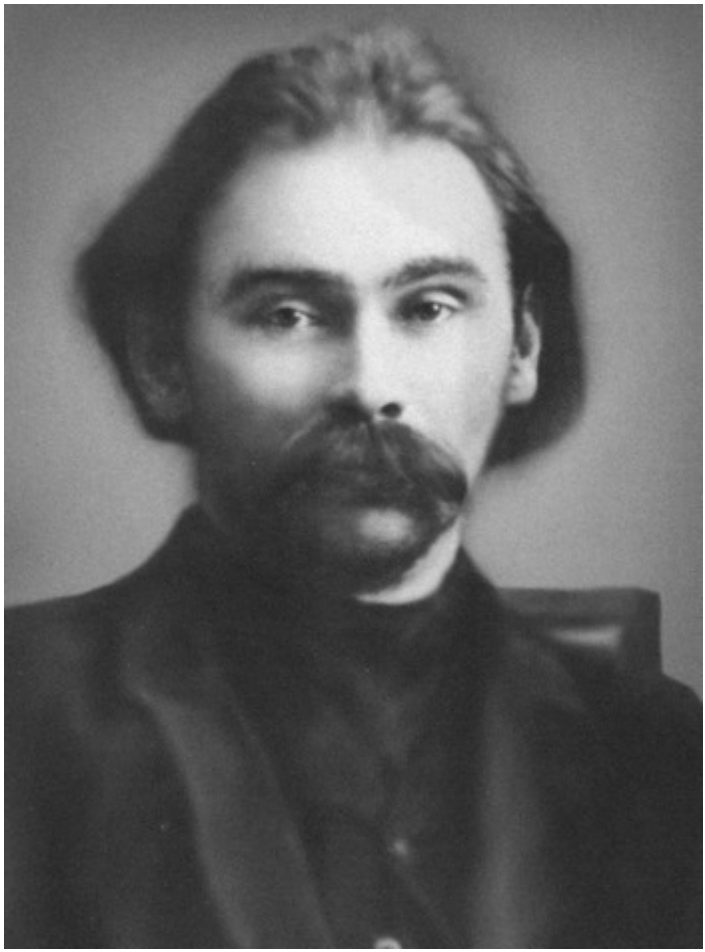
- notes
  - 1

С. С. Куняев
Николай Клюев

«Ты, жгучий отпрыск Аввакума,
Огнём словесным опалён…»

Николай Клюев

Глава 1
«РОДИТЕЛЬ-МАТУШКА» И ЮНЫЙ СТРАННИК



Крик.

Крик — и холод…

«Я родился, то шибко кричал, а чтоб до попа не помер, так бабушка Соломонида окрестила меня в хлебной квашонке. А маменька-родитель родила меня, сама не помнила когда. Говорила, что „рожая тебя такой холод забрал, как о Крещении на

проруби; не помню, как тебя родила“. А пестовала меня бабка Фёкла — Божья угодница, — как её звали. Я без малого с двух годов помню себя».

Так излагал начало своей жизни Николай Клюев в 1922 году *своему близкому другу* — Николаю Ильичу Архипову в повествовании «Гагарья судьбина», близком к древнему житию.

Воспоминание о *холоде* породило сомнения в самой дате рождения Николая, тем паче что он и сам называл свой год появления на свет по-разному — и 1886-й, и 1887-й. Василий Фирсов, петрозаводский прозаик, со ссылкой на «Олонецкие губернские ведомости» утверждал, что «холод… как о Крещении» убеждает в справедливости слов самого Клюева. «Дело было так: 12, 13 и 15 октября стояли довольно сильные морозы, от которых Ундозеро, величиною не больше версты, покрылось льдом. Крестьяне деревни Мошниковской в числе 12 человек, обрадовавшись льду, выехали на озеро ловить рыбу. Ловили они 14 и 15 октября, рыбы попало много. В ночь на 16-е — оттепель, несмотря на это, крестьяне вновь отправились на ловлю, лёд провалился. Несколько человек утонули.

Как известно, Н. Клюев указывал не только другой год рождения (1886 или 1887), но и — нередко — другие числа месяца — 12-е или 13-е. Сильные морозы ударили как раз в эти дни. Добавим также, что в этот период холодная погода была и в 1886 году, а 1884 год по климату был обычным».

Погода на Русском Севере слишком переменчива. Не успеешь порадоваться солнцу, как задует, закружит лютый ветер, а там и мороз ударит — света белого не взвидишь. Ударит — и отойдёт, и снова «климат обычный». А мороз — он и не сутки, а лишь часы стоять может. Так что запомнился тот лютый холод, что наступил в часы появления на свет младенца, в материнском полубеспамятстве.

А дата — дата определена самым надёжным источником.

АРХИВНАЯ ВЫПИСКА Метрической книги Коштугской церкви на 1884 г.

Месяц и день рожд., крещ.	11 октября
Имена родившихся	Николай
Звание, имя, отчество и фамилия родителей	Вытегорского уезда, Коштугской волости, полицейский урядник, отставной фельдфебель
и какого вероисповедания	Алексей Тимофеев Клюев и законная жена его Параскева Дмитриева, оба православного вероисповедания
Звание, имя, отчество и	Коштугской волости фельдшер,

фамилия восприемников	запасной медицинский фельдшер Сийской местной команды Иван Агафонов Гусев. Настоятель священник Кирилл Павлов Кьяндский. Исправляющий должность псаломщика Иван Осипов Беляев

Документ преинтереснейший. Прежде всего, речь в нём идёт о дате *крещения* младенца. В справке из Вологодского архива, которая была вручена в 1970 году петрозаводскому краеведу А. Грунтову, указывается: «В метрических книгах Коштугской церкви Вытегорского уезда за 1884 год значится: Николай, родился 10 октября, Коштугская волость (деревня не указана). Родители: отец — Алексей Тимофеевич, мать — Прасковья Дмитриевна. Справка выдана взамен свидетельства о рождении». Составлена она именно на основании выписки о крещении, а поскольку дата крещения — 11 октября, архивисты решили, что рождение произошло днём раньше.

Не исключено, что так оно и было. Повитуха Соломонида, не уверенная, что младенец выживет в лютый холод, «окрестила» его сама в квашонке. На Русском Севере хранился обряд перепечения — плачущего и болеющего ребёнка трижды засовывали в тёплую русскую печь с присказкой: «Перепекаем подмена, выпекаем русака», после чего ребёнок считается как бы заново родившимся. При этом присутствовал самый маленький ребёнок, способный стоять на ногах. К этому времени в доме уже были два малыша — сестра и брат, трёхлетняя Клавдия и двухлетний Пётр. Он-то, возможно, и присутствовал при обряде. Самая старая женщина должна была, привязав младенца к хлебной лопате, трижды засунуть его в печь, что и досталось Соломониде. Только в печи младенец побывал не на лопате, а в той же квашонке. Для Клюева это крещение имело особый смысл — через погружение во хлеб свершилось его приобщение к плоти Христовой, ибо Христос — «Хлеб жизни» по Евангелию от Иоанна.

А когда опасность миновала и стало ясно, что будет ребёнок жить, понесли его родители в Сретенскую церковь, которая с 1720 года окормляла жителей деревень Коштугского прихода. Окрестили его Николаем — по имени Николы Святоши, первого русского князя, принявшего монашество, постриженного в Киево-Печерской обители, чьи непрестанные труды сопровождались молитвой Иисусовой, стяжавшего дар прозорливости и врачевания.

Этот факт крещения Николая в местной церкви по-своему удивителен, если мы внимательно прислушаемся к его рассказам

о «праотцах» и о семье.

* * *

«Душевное слово, как иконную графью, надо в строгости соблюдать, чтобы греха не вышло. Потому пиши, братец, что сказывать буду, без шатания, по-хорошему, на память великомученицы Параскевы, нарицаемой Пятницей, как и мать мою именовали».

Так и записывал «душевное слово» за Николаем Клюевым его «сопостник и сомысленник» Николай Архипов в 1924 году в Петрограде:

«Господи, благослови поведать про деда моего Митрия, как говаривала мне покойная родительница.

Глядит, бывало, мне в межбровья взглядом неколебимым, и весь облик у неё страстотерпный, диавола побеждающий, а на устах речь прелестная:

— В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозёрского пламени искра шает. В вашем колене молитва за Аввакума застольной была и праотческой слыла. Как сквозь сон помню, поскольку ребяческий разум крепок, приходила к нам из Лексинских скитов старица в каптыре, с железной панагией на персях, отца моего Митрия в правоверии утверждать и гостила у нас долго… Вот от этой старицы и живёт памятование, будто род наш от Аввакумова кореня повёлся…

И ещё говорила мне моя родительница не однажды, что дед мой Митрий Андреянович северному Ерусалиму, иже на реце Выге, верным слугой был. Безусым пареньком привозил он с Выгова серебро в Питер начальству в дарево, чтоб военных команд на Выгу не посылали, рублёвских икон не бесчестили и торговать медным и серебряным литьём дозволяли.

Чтил мой дед своего отца (а моего прадеда) Андреяна как выходца и страдальца выгорецкого. Сам же мой дед был древлему благочестию стеной нерушимой.

Выговское серебро ему достаток давало. В дедовском доме было одних окон 52; за домом сад белый, черёмуховый, тыном бревенчатым обведён. Умел дед ублажать голов и губных старост, архиереев и губернаторов, чтоб святоотеческому правилу вольготней было.

С латинской Австрии, с чужедальнего Кавказа и даже от персидских христиан бывали у него гости, молились пред дивными рублёвскими и дионисиевскими образами, писали Золотые Письма к заонежским, печорским и царства Сибирского

христианам, укрепляя по всему Северу левитовы правила красоты обихода и того, что учёные люди называют самой тонкой одухотворённой культурой…

Женат мой дед был на Федосье, по прозванию Серых. Кто была моя бабка, от какого кореня истекла, смутно сужу, припоминая причеты моей родительницы, которыми она ублажала кончину своей матери. В этих причетах упоминалось о „белом крепком Нове-городе“, о „боярских хоромах перёныих“, о том, что её

Родитель-матушка не чернавка была дворовая,
Родом-племенем высокая,
На людях была учтивая,
С попами, дьяками была ровнею.
По заветным светлым праздничкам
Хорошо была обряжена,
В шубу штофную галунчату,
В поднизь скатную жемчужную.
Шла по улице боярыней,
А в гостибье государыней.
Во святых была спасёная,
Книжной грамоте учёная…

Что бабка моя была действительно особенная, о том свидетельствовал древний Часовник, которого я неоднократно видел в детстве у своего дяди Ивана Митриевича.

Часовник был узорно украшен и вызолочен с боков. На выходном же листе значилась надпись. Доподлинно я её не помню, а родитель мне её прочитывала, что „книга сия Выгорецкого посельника и страдальца боярина Серых…“»

Принято думать, что поздние рассказы Клюева о себе насквозь мифологизированы, и фактическая подоснова их крайне незначительна. Утверждать подобное можно, лишь предъявив документальные свидетельства. А поскольку их нет, и по-хорошему говоря, им неоткуда взяться, остаётся лишь со вниманием выслушать самого поэта.

Итак: мать, Прасковья Дмитриевна, — из староверческого рода («родом я по матери прионежский», — подчеркнул Клюев в автобиографии 1924 года), прадед Андреян — «выходец и страдалец выгорецкий», дед Митрий — «северному Ерусалиму… верным слугой был». «Северный Ерусалим» — Выговская пустыня, основанная в 1694 году на реке Выг Повенецкого уезда Олонецкой губернии, духовный центр староверия, родина знаменитых «Поморских Ответов» Андрея и Семёна Денисовых.

«Приобщения нынешния российския церкве опасаемся, не церковных собраний гнушающеся, не священныя саны отметающе, не тайнодейств церковных ненавидяще, но новин от никоновых времен нововнесенных опасаеющеся, древле-церковные заповеданья соблюдающее, да под древлецерковные запрещения не попадем опасаемся, с новоположенными клятвами и порицаниями древлецерковного содержания согласиться ужасаемся… сего ради несми расколотворцы».

Гости «с латинской Австрии, с чужедальнего Кавказа и даже от персидских христиан» — староверы из общин, рассыпанных по Европе и Азии, что образовывались после массового бегства за пределы России ревнителей древлего благочестия от лютых никонианских гонений. Особо обращает на себя внимание «латинская Австрия» — речь ведь идёт о знаменитой Белокриницкой митрополии в Буковине, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии — духовном центре зарубежного старообрядчества. Староверческие общины поддерживали между собой тесную связь, как письменную, так и очную, дававшую и дополнительную крепость в вере, и ощущение непрекращающейся жизни в *подонной, подлинной* России, и дом деда Николая, Дмитрия Андреяновича, как можно предположить, был одним из узелков этой нервущейся нити.

Во второй половине XIX — начале XX века стали появляться в печати исследования по расколу — и их обилие, как и публикации староверческих книг, было словно предупреждением, знаком грядущих перемен, сломов и обвалов. *Невидимая Россия,* загнанная, запрещённая столетиями, с тяжкими потерями сохранившая старую веру, являла миру свой лик, и противиться этому явлению власть уже не могла.

* * *

«Старица из Лексинских скитов», запомнившаяся Клюеву по рассказам матери, — пришелица из Пречестной обители девственных лиц Честного и Животворящего Креста Господня, беспоповской обители, основанной в 1706 году недалеко от Выговской пустыни, что на берегу реки Лексы в Олонецкой губернии.

Относительную свободу отправления богослужений по старопечатным книгам и хозяйствования Выговская пустыня[1] получила при Петре I (выговцы щедро одаривали царский дом плодами своего труда и работали на построенных императором Повенецких заводах). Как писал замечательный старообрядческий

начётчик и историк старообрядчества Фёдор Евфимьевич Мельников в «Блуждающем Богословии», вышедшем в 1911 году, — «старообрядцы в своей родной стране всегда были в ином положении, чем инородцы. Последние получали всякие подарки в придачу за совсем даровое крещение. Старообрядцы же сами дарили всем, что было у них, и всех, кому только охота была брать с них, чтобы только не совершали кощунства над ними и их детьми». Но чем дальше, тем более ограничивались они в своих правах. Совсем худо им стало в царствование Николая I — нещадного гонителя староверов. В 1840-е годы была истреблена Выговская пустыня. Лексинская обитель — сожжена дотла в 1855 году. Было уничтожено более пятидесяти моленных и часовен, а кладбища перепаханы, и земля на их месте засыпана солью. Прасковье, будущей матери поэта, было тогда четыре года, и сказы своего отца об этой лютой гари она помнила всю жизнь. И, естественно, передавала младшему любимому сыну.

Гарь прошла и по семье. Дядя Прасковьи Дмитриевны — «дед Кондратий» — погиб в самосожженческом срубе с другими ревнителями древлего благочестия. Самосожжение повелось ещё с никоновских времён и усугубилось в иоакимовские, в эпоху царевны Софьи. От чего спасались ревнители древлеправославия — живописал Фёдор Евфимьевич Мельников: «Правительство беспощадно преследовало людей старой веры: повсюду пылали срубы и костры, сжигались сотнями и тысячами невинные жертвы — измученные христиане, вырезали людям старой веры языки за проповедь и просто за исповедание этой веры, рубили им головы, ломали рёбра клещами, закапывали живыми в землю по шею, колесовали, четвертовали, выматывали жилы… Тюрьмы, ссыльные монастыри, подземелья и другие каторжные места были переполнены несчастными страдальцами за святую веру древлеправославную. Духовенство и гражданское правительство с дьявольской жестокостью истребляло своих же родных братьев — русских людей — за их верность заветам и преданиям святой Руси и Христовой Церкви. Никому не было пощады: убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей.

Великие и многотерпеливые страдальцы — русские православные христиане — явили миру необычайную силу духа в это ужасное время гонений. Многие из них отступились от истинной веры, разумеется, неискренне, не выдержав жестоких пыток и бесчеловечных мучений. Зато многие пошли на смерть смело, безбоязненно и даже радостно…»

Во второй половине XIX века староверов уже не предавали таким лютым пыткам, как в конце XVII, но преследования их в тех или иных формах, то ослабевая, то усиливаясь, не прекращались,

что вызывало ответную реакцию и естественную ненависть и к Синоду, и к дому Романовых.

В год рождения Николая Клюева «Церковный вестник» характеризовал старообрядцев как «какое-то особенное общество — антицерковное, антиобщественное, способное ко всему самому зловредному». «Зловредные» же староверы всеми силами старались противиться соблазну облегчения жизни, избавления от унизительных ограничений ценой отречения от веры праотцев.

Уничтожение центров старообрядчества на Керженце, на Иргизе, на Ветке, в Стародубье в эпоху Николая I вызывало в памяти у староверов самые лютые гонения времён Никона и царевны Софьи. И многие из ревнителей древлего благочестия с радостью шли в огонь, повторяя про себя слова огнепального протопопа Аввакума: «По сё время безпрестани жгут и вешают исповедников Христовых. Они, миленькие, ради пресветлыя, и честныя, и вседеятельныя… и страшныя Троицы несытно пуще в глаза лезут; так же и русаки бедные, пуска глупы, рады: мучителя дождались, — полками во огнь дерзают за Христа, Сына Божия, Света. Мудры блядины дети греки, да с варваром турским с одново блюда патриархи кушают… курки. Русачки же миленькия не так, — во огнь лезут, и благоверия не предают… овых еретики поджигают, а инии, распальшеся любовию и плакав о благоверии, не дождався еретическаго осуждения, сами во огнь дерзнувшее, да цело и непорочно соблюдут правоверие, и сожегше своя телеса, душа же в руце Божии предаша, ликовствуют со Христом вовеки веком, самовольны мученички, Христовы рабы. Вечная им память вовеки веков. Добро дело содеяли — надобно так. Рассуждали мы между собою и блажим кончину их. Аминь».

Уже в 1860 году 15 человек в Волосовском приходе Каргопольского уезда Олонецкой губернии добровольно пошли в огонь. Оставив недалеко от места самосожжения мешочек с тетрадью, где было написано: «Лучше в огне сгореть, чем антихристу служить и бесами быть».

Те, кто не имел силы принять «огненное крещение», старались хоть мытьём, хоть катаньем сохранить свою веру и себя, и своих близких. И не удивительно появление в клюевском доме «старицы из Лексинских скитов», от которой «живёт памятование, будто род наш от Аввакумова кореня повёлся». Правда ли, нет ли — не определишь. Но — убедила в этом старица отца Прасковьи Дмитриевны, убедила во укрепление духа и напомнила, наверное, ещё раз о праотцах, твёрдых и несгибаемых в вере. А уж Прасковья Дмитриевна укрепляла сына: «В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозёрского пламени искра шает…»

С детства уверовав с материнских слов в древнюю родословную, можно было уже без сомнения и, не оглядываясь ни на каких скептиков, сообщать в письменной автобиографии: «До Соловецкого страстного сидения восходит древо моё, до палеостровских самосожженцев, до Выговских неколебимых столпов красы народной».

А теперь обратимся к первым автобиографическим записям поэта от 1919 года и прочитаем там о его матери: «… Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафимовского православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в женчужном [так] оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трём звёздам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветёт знаменный, крюковой, скрытный, столбовой… Памятовала она несколько тысяч словесных гнёзд стихами и полууставно, знала Лебедя и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит — перевод с языка чёрных христиан, песнь искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной, огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что потайно осоляет народную душу — слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни…»

Коштугский приход Олонецкой губернии был одним из центров старообрядцев-беспоповцев филипповского согласия. К началу 1890-х годов они были практически вытеснены из этого района, но это совершенно не значит, что их влияние хоть как-то ослабло. Само беспоповство уже издавна было разделено на множество течений и ответвлений, но «серафимовское православие» — нечто совершенно особое. Эта секта была основана в 1870-х годах в Псковской губернии ризничим Никандровой пустыни монахом Серафимом, как об этом повествовал в 1889 году в «Церковном вестнике» неизвестный автор, излагая историю секты и основы верования сектантов: «Заметив, что простой народ, особенно женский пол, умиляется стройным пением, он завёл певческий хор из девиц и стал водить его с собою по деревням. Народу это понравилось. Серафим завёл подобные хоры в селениях… Толпы его почитателей бродили за ним по деревням, когда ему случалось бывать там с иконою; они во множестве, оставляя обычные работы, стекались к нему и в монастырь, желая очистить пред ним свою совесть таинством покаяния или получить от него духовное наставление. Серафим вообразил, что он действительно есть избранник Божий, и сделался лжеучителем, даже основателем новой секты».

Будучи не в состоянии ужиться с новым настоятелем, Серафим ушёл из монастыря, скрывался в лесах на севере Порховского уезда и в конце концов был найден, взят под стражу и заключён в петербургскую тюрьму. Однако влияние его не уменьшилось, а количество «духовных чад» всё росло. «… Последователи Серафима во все воскресные и праздничные дни усердно посещают православные храмы, поют с причетниками на клиросе, исповедуются и приобщаются св. таин в посты. Но при всём этом они говорят, что священникам не нужно верить, потому что они *врата ада* и что в них *ересь*… Во время своих собраний они читают акафисты, поют разные ими же составленные духовные песни, употребляя при этом разные музыкальные инструменты, приобщаются просфорою, разделяя её на мелкие части и влагая их в чашу, наполненную красным вином. В песнях серафимовцев выражается их печальное настроение: эти песни мрачны и унылы; в них высказывается недовольство своим положением на земле и желание как можно скорее освободиться от него в надежде лучших благ. Мрачное настроение духа они выражают и во внешнем своём виде, особенно женщины. Они обыкновенно покрываются тёмными платками, одеваются в тёмные платья и кофты. Такое мрачное настроение между серафимовцами потому особенно удивительно, что между ними преобладает молодой возраст».

И всё же сильное сомнение закрадывается в справедливости слов Клюева, который отнес вероисповедание своей матери к серафимовскому православию. Дело в том, что члены серафимовской секты принимали на себя обязательный обет безбрачия: «Холостые не женитесь, женатые разженитесь». К клюевской семье он неприменим. Речь скорее идёт о другом — о знакомстве Прасковьи Дмитриевны с серафимовцами и о запечатлённых в материнской памяти сектантских гимнах, в исполнении которых она была большая мастерица.

«Нигде так не сберeглись эти отголоски старины, — писал Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) в своём знаменитом романе „В лесах“, что был одной из любимейших книг Клюева, — как в лесах Заволжья и вообще на Севере, где по недостатку церквей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленицы — эти истолковательницы чужой печали — прямые преемницы тех вещих жён, что „великими плачами“ справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, передаваемому из рода в род… Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его,

то к знакомым и соседям. И на всё свой порядок, на всё свой устав… Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши ещё поклонялись Облаку ходячему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери Сырой Земле».

При том, что в семье хранились все предания, все заветы староверчества, и «Житие» Аввакума, и «Поморские ответы» — настольные книги («Раскол бабами держится, — писал тот же П. И. Мельников, — и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: „Муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит“») — немало в доме и «отреченных» книг, тайных, чернокнижию принадлежащих. Здесь и «Шестокрыл» итальянского еврея Эммануэля-бар-Якоба, составленный из шести крыл — хронологических таблиц иудеев (описание книги было издано в 1887 году). Здесь и «Новый Маргарит», составленный Андреем Курбским, и скопческие величальные песни о Петре Искупителе… В поэме «Песнь о Великой Матери», писавшейся на рубеже 1920–1930-х годов, этом дивном эпическом сказании о праотцах, предках, духовных наставниках и о матери (во многом по её рассказам), Клюев воссоздавал «круг» своего домашнего чтения:

Двенадцать снов царя Мамера,
И Соломонова пещера,
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры Щит,
Четвёртый свиток Белозерский,
Иосиф Флавий — муж еврейский,
Зерцало, Русский виноград —
Сиречь Прохладный вертоград,
С Вороногpаем список Вед,
Из Лхасы шёлковую книгу
И гороскоп — Будды веригу —
Я прочитал в пятнадцать лет…

Ясное дело: поэма — не документальное свидетельство и даже не автобиография. Ну как тут не скажешь — всё придумал, всё сочинил, сам начитался со временем, а мать-то тут при чём? При том, что семья Клюева была книжной семьёй, как издавна велось у староверов. «Старообрядцы, — писал Ф. Е. Мельников, — в общей своей массе были всегда грамотнее и культурнее никонианской массы. Николаевская эпоха особенно ярко отличалась этим различием…» Но к концу XIX — началу XX века

уже и у новоправославных большая доля неграмотных приходилась на старшие поколения и на женщин. Среди мужчин же в русских деревнях в это время грамотных было 70 процентов из общего числа. Книги — старые и новые, журналы (подписка на которые объявлялась в провинциальных газетах) были в постоянном обиходе.

На Севере издавна установилось истовое отношение к книге, как к священному дару. С Выгова повелось, от Соловецких старцев. И не только к рукописным книгам, не только к старым спискам «Жития» и «Посланий» Аввакума, к книгам «отреченным», но к новым изданиям тех же аввакумовских сочинений или «Истории Выговской старообрядческой пустыни» Ивана Филиппова, вышедших уже в государственных типографиях при Александре II. К началу XX века в Олонецкой губернии числилось 18 850 владельцев рукописных житий, учительской литературы, сочинений староверов, среди которых были и писцы, и переводчики, и книгохранители.

«По тропинкам, что нам не знакомы» шли староверы и сектанты разных толков к своим единоверцам, передавая из рук в руки, из общины в общину «отреченные» книги и «отреченные» списки. Рукописи и старопечатные книги ходили по рукам, доставлялись учёными скрытниками — и их собственные сочинения, и «История об отцах и страдальцах Соловецких», и «Виноград российский», и жития наставников Выга, и рукописные сочинения староверческого идеолога и писателя Игнатия, доказывавшего правомерность и угодность Богу «самоубийственных» смертей во время гонения на веру, а также скрытнический «Цветник» старца Евфимия… Разные списки приносили с собой и «бегуны», для которых само государство было «от антихриста». «С Вороногpаем список Вед» не случаен в клюевской биографии. И хоть далеко ещё до первых стихотворных подступов к «Белой Индии», а уже слышано и позднее читано, как великий бог Индра разделил своей властью небо и землю, надев их, как два колеса, на невидимую ось, что укреплена в небе Полярной звездой («нерушимой, неколебимой» — Друхвой). И слушано предание о том, что в незапамятные времена здесь, на Севере, родились эти сказания, на благодатной земле, хранящей множество удивительных тайн.

> Северная часть земли всех других чище, прекрасней,
> Живущие здесь, там возрождаются добродетельные люди,
> Когда, получив (посмертные) почести, они уходят…
> Когда взаимно друг друга пожирают полные

Жадности и заблужденья,
Такие вращаются здесь и в Северную страну не попадают…

* * *

Олонецкая губерния оставалась своего рода чудодейственным краем ещё долгое время. В. Копяткевич писал в «Известиях Общества изучения Олонецкой губернии» уже в 1914 году: «Олонецкий край… дорог в особенности тем, что в нём не только приходится *собирать остатки* старины. Нет, в нём много ещё таких уголков, живя где чувствуешь себя перенесённым на несколько столетий назад. Здесь оживает старина. Здесь сведения о прошлом, почерпнутые из книг, воспринятые в искусственной обстановке музеев, перестают быть спокойным завоеванием холодного ума. Они начинают чувствоваться вами, старина охватывает вас, как живая жизнь, вы всем существом своим начинаете понимать, ощущать, что то, что было, было действительно и так же реально, как то, что вы наблюдаете сейчас, вы начинаете проникать в самую психику старины, вы начинаете угадывать многое, и то, что вам казалось простым и ясным, вдруг приобретает особый смысл, получает особое значение. Да и может ли быть иначе, если и теперь, в глуши Пудожского, например, уезда, можно услышать старых слепых „сказителей“ былин, которые своим выразительным речитативом расскажут о подвигах давно знакомых богатырей и малознакомого даже нам, олончанам, местного пудожского богатыря Рахты (Рахков, Раги) Рагнозерского, обрисуют этих богатырей в обычной обстановке той повседневной жизни, которую вы видите собственными глазами, живя в деревне. Вы услышите новые, неожиданно всплывшие из глубокой старины слова, каких не знает современный лексикон, но с которыми вы встречаетесь на страницах исторических актов, относящихся к XVI–XVII веку или даже более раннему времени. В Повенецком уезде вы можете вдруг очутиться около какой-нибудь развалившейся часовни или около скромного крестика, и местный старик-крестьянин вам расскажет, что более 200 лет тому назад здесь было самосожжение раскольников, и притом картинно опишет, как „гарщик“ собирал народ на сожжение, как обрекшие себя на смерть запасались сеном, смолою, как молились перед смертью, и всё это так, точно дело происходило на днях, и он сам был очевидцем рассказываемого. Вам укажут на

доживающие последние дни обветшавшие, опустелые старообрядческие часовни и церкви, расскажут о былом величии этих мест, заставят почувствовать ту трагедию, которая разыгрывалась здесь когда-то в борьбе между старой и новой, не всегда правой Россией… И часто-часто на пространстве всего Олонецкого края вы будете встречаться с такими патриархальными нравами, с такою примитивностью и непосредственностью отношений, каких никогда не встретить в более затронутых культурой местах…»

Для старовера сожжение Аввакума, основание Выговской обители, Соловецкое страстное сидение — это не история. В контексте Большого Времени, вбирающего в себя микрокосм отрезка в человеческую жизнь, — это всё было вчера. Вчера Андрей Денисов в полемике с монахом Неофитом слагал «Поморские ответы». Вчера же Семён Денисов тосковал по Выговской пустыне, будучи в заключении в Великом Новгороде: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, аще забуду тя, святый дом, преподобное вкупожительство, забвена да будут пред Господом благожелания моя!..» И вчера же Иван Филиппов пел величальный гимн Святой Руси в «Истории Выговской пустыни»: «Я же российская украшающее златоплетенно пределы, земная совокупляху с небесными, человеки российские с самем Богом всепредсладце соединяю…» Через три десятка с лишним лет, уже в изменившейся почти до неузнаваемости России и в совершенно иной жизни, Клюев напишет в «Погорельщине»:

Отец «Ответов» Андрей Денисов
И трость живая Иван Филиппов
Сузёмок пили, как пчёлы липы.
Их чёрным мёдом пьяны доселе
По холмогорским лугам свирели,
По сизой Выге, по Енисею
Седые кедры их дыхом веют…

Современный исследователь Б. Кокорин в работе «Старообрядческое понимание жизни» пишет, что «старообрядец перенёс церковность в свой домашний быт, сделал её спутником своей жизни, окружил ею себя, как воздухом. …он знает книгу Псалтирь, а в ней изложены все законы нравственного совершенствования человека полно и ярко. Знает также он много житий святых, а ведь эти жития являются прообразами наиболее чистых людей…

Среди старообрядцев, особенно в беспоповских согласиях, много таких, которые буквально по целым годам не бывают в

молельных своего согласия, по отсутствию их в близком расстоянии. Они поют и читают дома. Многие из них совершают полную службу, в известные дни и часы дома их превращаются в молельную, в храм. И это явление не исключительное, а общее. Здесь церковность воплощается в самой жизни. Это и является отличительной чертой старообрядчества, чего новообрядчество лишено».

Так обстоит дело сейчас — так же оно обстояло и сто, и более лет назад — в начале прошлого века, когда у старших поколений ещё живы были в памяти керженские и выговские гари, когда в молельную превращалась не только крестьянская изба, но и опушка леса или берег реки, когда весь окружающий русский мир мнился храмом старого обряда.

Более того, в связи с традицией поморских беспоповских общин, где пересказывались и комментировались стихи Евангелия и Жития Святых, — возникали рассказы о Богоматери, замерзавшей среди сугробов, о хождении Иисуса Христа по земле русской. Д. Успенский в статье «Народные верования в церковной живописи», опубликованной в 1906 году, писал: «Нередко рассказчики точно указывают, от какой деревни до какой в известный момент было совершено путешествие, на каком именно месте произошло данное событие. Я помню, на моей родине один старик показывал, например, даже дерево, кривую старую осину в глухом месте большого казённого леса, на которой удавился будто бы предатель Христа — Иуда».

…Старые поморского письма иконы, где на доличном письме виден северный ландшафт — тундра, покрытая мхом, и низенькие ёлочки, а золотой фон — что северные весенние зори; старые книги с тяжёлыми переплётами (среди которых и рукописные, исполненные полууставом), разукрашенные финифтью, линейными заставками; списки назидательных изречений с рисунками Сирина, Алконоста, струфокамилов, райских картин и евангельских сцен; створы поморского литья с Деисусом, Святой Троицей, распятием, иконой знамения… Всё это радует глаз и душу возвышает, а ублажает слух старое самоцветное слово — дивные сказки и дивное материнское пение…

В такой атмосфере и росли дети Прасковьи Клюевой, этим воздухом были пропитаны стены их дома, живая старина была бытом, древние дониконовские иконы и старопечатные книги — домашними университетами. И хотя нельзя семью причислить в полном смысле этого слова к черносошным крестьянам — источником существования была государственная, а потом и торговая служба главы семейства Алексея Тимофеевича Клюева — труд на земле также был знаком и родителям, и детям.

…Крестив сына, как и его брата, и сестру в новообрядческой церкви (сохраняя себя, иные староверы уже в отношении своих детей избирали определённую линию поведения, дабы не калечить им жизнь), мать пела ему старины (Русский Север к середине XIX века оставался единственным в империи, кроме Алтая, хранителем былин Новгородской и Киевской Руси), древние плачи и колыбельные, сектантские гимны, обучала читать по Часовнику. «Посадила меня на лежанку, — вспоминал Николай, — и дала в руку творожный колоб, и говорит: „Читай, дитятко, Часовник и ешь колоб и, покуль колоба не съешь, с лежанки не выходи“. Я ещё букв не знал, читать не умел, а так смотрю в Часовник и пою молитвы, которые знал по памяти, и перелистываю Часовник, как будто бы и читаю. А мамушка-покойница придёт и ну-ка меня хвалить: „Вот, говорит, у меня хороший ребёнок-то растёт, будет как Иоанн Златоуст“». (Понятия о нейролингвистическом программировании тогда не было, но стиль воздействия матери на сына может характеризоваться именно этим термином.)

И не только книжной премудрости обучала Николая мать. Сложная и многослойная атмосфера влияла на него непосредственно в домашних стенах. Потайные книги и письма, общение матери со странниками и странницами различных толков, её — песельницы и вопленицы — плачи и былины настраивали душу на особый музыкальный лад. Последыш Николай, судя по всему, был её любимым ребёнком, и, видя в нём «будущего Иоанна Златоуста», — она посвящала его уж в совершенно тайные стихии, внятные ей самой.

Вспомним ещё раз архиповскую запись клюевских слов 1919 года: «Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на нём птица в женчужном [так] оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трём звёздам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветёт знаменный, крюковой, скрытный, столбовой…» Сказочная речь — но ведь той же речью мать рассказывала сыну о постигшем её видении. И то, что в этом видении ей явилась «птица… с ликом Пятницы-Параскевы» — целительницы телесных и душевных недугов — на «дубе малиновом», на верхушке «мирового древа», — говорит не только о её неземной покровительнице, хранящей Прасковью на этой земле, но и о том, что ей, матери будущего поэта, были открыты незримые области духа, открыты во благо, а не во зло.

«Слова» (заговоры), молитвы, пророческие сновидения — всё было в обиходе у Прасковьи Дмитриевны и, наравне с рукописными и печатными книгами, питало ум и душу мальчика,

судя по всему, рано ставшего приобщаться к магическим энергиям и поощряемого в этом матерью, выделявшей Николая среди других своих детей.

Исследователь традиционных мистических практик России, Константин Логинов настаивает на том, что Прасковья Дмитриевна не поделилась с сыном своим магическим даром. «Во-первых, — пишет он, — от матери к сыну (а равно от свёкра к снохе или от тёши к зятю) магический „дар“ в Обонежье обычно не передавался. Причина тому — местная специфика обряда „передачи дара“: учитель и неофит обязаны были нагими предстоять друг другу в полночь в бане. Учитель при этом сообщал слова самых главных заговоров „рот в рот“, „язык в язык“ или же заплёвывал слова заговоров со своей слюной в рот восприемнику. (Так что клюевские строки „Тёплый живой Господь взял меня на ладонь свою, напоил слюною своей…“ могли возникнуть не только как образное сравнение.) При более глубоком размышлении можно прийти к заключению, что об обряде передачи „магического дара“ от Клюевой к её отпрыску не могло быть даже и речи, ибо Прасковья Дмитриевна (вспомним её видение-посвящение) свои паранормальные способности получила сразу как „дар Божий“, а не вследствие обряда восприятия „дара“ от своего земного предшественника».

Однако способы передачи «дара» были разными. Чаще всего магическое знание передавалось-таки по крови — от старшего к младшему, через взгляд или в форме особого ритуала (с обязательным «участием» воды) или во время совместной трапезы… А то, что Клюев был наделён незаурядными магическими свойствами, отмечали многие его современники. Предположить здесь можно многое, но одно остаётся непреложным: дороже родной матери, Прасковьи Дмитриевны, не было у Клюева женщины в жизни.

Отец… Кажется, полная противоположность матери. Запасный унтер-офицер, полицейский урядник 4-го участка Шимозерской волости Лодейнопольского уезда, где начал служить в 1880 году (там и появились на свет двое первых детей в клюевской семье). В 1896 году Алексей Тимофеевич Клюев числился уже владельцем дома в Вытегре на углу Преполовенской и Дворянской улиц. Выйдя в отставку, получил в деревне Желвачёво место сидельца винной лавки, принадлежавшей купцу Иосифу Великанову. Солидный, вполне земной, хозяйственный человек, умевший считать каждую копейку и мечтавший вывести «в люди» своих детей…

Но вот что вспоминал Николай о своём деде по отцовской линии: «Говаривал мне покойный тятенька, что его отец (а мой

дед) медвежьей пляской сыт был. Водил он медведя по ярманкам, на сопели играл, а косматый умняк под сопель шином ходил.

Подручным деду был Фёдор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял.

Ярманки в Белозерске, в веси Егонской, в Кирилловской стороне до двухсот целковых деду за год приносили. Так мой дед Тимофей и жил — дочерей своих (а моих тёток) за хороших мужиков замуж выдал. Сам жил не на квасу да на редьке: по престольным праздникам кафтан из ирбитского сукна носил, с плисовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а рубаху носил тонкую, с бисерной накладкой по вороту. Разоренье и смерть дедова от указа пришли.

Вышел указ — медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить…

Долго ещё висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стёрло её в прах… Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аукает в сердце моём, в моих снах и созвучиях…»

Уникальный в клюевской родословной сплав староверческой строгости и скоморошеского веселья, праздника, непереносимого ещё для «отца староверчества» — Аввакума Петрова, люто воевавшего с поводчиками медведей… «Прийдоша в село мое плясовые медведи с бубнами и домбрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, ухари и бубны изломал на поле един у многих и медведей двух великих отнял — одного ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поле…»

Постановление Комитета министров «О запрещении медвежьего промысла для потехи народа» было принято 30 декабря 1866 года и разрешало ликвидировать медвежий промысел, начиная со следующего года, в течение пяти лет. Оно было принято по указанию Александра II, который счёл недопустимым, что в комических играх участвует зверь, изображённый в Соединённых гербах Великих княжеств Киевского, Владимирского, Новгородского.

Позже Клюев рассказывал, что дед не повёл кормильца в управление, а, глотая слёзы, застрелил собственноручно. И эта история отпечаталась в памяти будущего поэта не просто как семейное предание.

В Олонецкой губернии было распространено поверье, что «медведь — от Бога». Доводилось Клюеву и сказку слышать в детстве, как старик попросил у волшебной липы выполнить желания своей жены. Попросила она сперва дров, затем много хлеба, а с каждой следующей исполненной просьбой её аппетиты росли всё больше. В конце концов выпросила: сделай так, чтоб

люди боялись меня и старика. Уважено было и это желание: споткнулся старик о порог, упал и превратился в медведя. И старуха, видя это, ударилась об пол и тоже стала медведицей. Так оба были наказаны за своё честолюбие.

Медведь любит и нянчит своих детей, словно человек, он и радуется, и горюет, как люди, и человеческую речь понимает, и разумен, как человек. Олончане говорили, что собаки одинаково и на человека, и на медведя лают — не так, как на других существ. Ручных медведей водили вокруг деревни во исполнение обряда на будущий хороший урожай. И не велено медведю есть человека — если и нападает зверь, то в наказание Божеское за совершённый грех. А ещё медведь, бывает, уводит женщин к себе, чтобы жить с ними.

Так мать сказывала, и сохранила память Николая старое семейное предание о медведе, возжелавшем юную Парашу. И через много лет это предание воплотится в совершенной стихотворной форме в «Песни о Великой Матери» в начале 30-х годов уже XX века.

* * *

Отец поэта был фигурой незаурядной, судя по впечатлениям Сергея Есенина. О них он писал Клюеву летом 1916 года: «Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прям-таки передать тебе не могу. Вот натура — разве не богаче всех наших книг и прений? Всё, на чём ты и твоя сестра ставили дымку, он старается ещё ясней подчеркнуть, и только для того, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нём, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду… Нравится мне он».

Должность полицейского урядника — идеальное прикрытие для единоверцев, и любая информация о готовящихся антистароверческих акциях могла быть использована как для возможного пресечения иных карательных мер, так и для предупреждения «своих». Судя по всему, Алексей Тимофеевич Клюев был в своём роде замечательным воплощением жизненного принципа «быть в траве зелёным, а на камне серым» (ставшим программной установкой и для Николая), и так, оставшись на своём месте «нераскрытым», он, сидя позже в винной лавке

(незаменимое место для тайных встреч и передачи всего нужного из рук в руки), к которой тропка всё ширилась и ширилась с годами, также создал в своём заведении своеобразное «место прикрытия».

Но отца Клюев не упоминает ни в своих позднейших рассказах, ни в письменных автобиографиях. Судя по всему, творческие и духовные устремления и интересы младшего сына главе семейства оставались чужды. И едва ли отец был в восторге от того, что́ вкладывала в сына мать. Помощь по хозяйству — да, это годится — и на покосе, и на приусадебном участке… Да и учиться надо, дабы в люди выйти. Две зимы ходил подросший Николай в сельскую школу, в Вытегре уже в 12 лет после переселения семьи в новый дом поступил в городское училище. Вытегорский старожил В. Морозов, сидевший с Николаем за одной партой, через много лет вспоминал, что его соученик выделялся «разными странностями». Тут и удивляться нечему — новичок явно был «не от мира сего». В 1922 году он так рассказывал о видениях, его посещавших: «На тринадцатом году, как хорошо помню, было мне видение. Когда уже рожь была в колосу и васильки в цвету, сидел я над оврагом, на сугоре, такой крутой сугор; позади меня сосна, а впереди вёрст на пять видать наполисто…

На небе не было ни одной тучки — всё ровносинее небо… И вдруг вдали, немного повыше той черты, где небо с землёй сходится, появилось блестящее, величиной с куриное яйцо, пятно. Пятно двигалось к зениту и так поднялось сажен на пять напрямки и потом со страшной быстротой понеслось прямо на меня, всё увеличиваясь и увеличиваясь… И уже когда совсем было близко, на расстоянии версты от меня, я стал различать всё возрастающий звук, как бы гул. Я сидел под сосною, вскочил на ноги, но не мог ни бежать, ни кричать… И это блиставшее ослепительным светом пятно как бы проглотило меня, и я стоял в этом ослепительном блеске, не чувствуя, где я стою, потому что вокруг меня как бы ничего не было и не было самого себя.

Сколько времени это продолжалось — я не могу рассказать, как стало всё по-старому, — я тоже не могу рассказать».

Современные уфологи не могут не узнать в этом описании встречу земного человека с неопознанным летающим объектом, более того, его поглощение этим объектом с последующим возвращением на землю. Известия о странных явлениях на Севере уже тогда проникали в печать. Так, в начале апреля 1899 года ярославская газета «Северный край» опубликовала письмо, пришедшее из Архангельска: «28 марта в 8 часов 25 минут вечера над городом в северо-западном направлении медленно пролетел

освещённый изнутри предмет, напоминающий воздушный шар. Освещённая часть шара представляла собой подобие электрической лампочки, то есть внизу была шарообразной, а сверху заканчивалась высокой трубой. Под освещённой шарообразной частью простым глазом различалось подобие лодки, но крайне не ясно, потому что в ту пору уже стемнело. Шар двигался очень медленно и находился значительно ниже облаков… Мы сразу же поняли, что имеем дело не с метеором. Полёт странного предмета наблюдался нами около пяти минут, до исчезновения за горизонтом. Надо прибавить к сказанному, что в воздухе в этот вечер было совершенно тихо, а от шара исходил красноватый свет, подобный свету топящейся печи». Автор письма называет свидетелей происшедшего — среди которых владелец булочной, служащие железной дороги, домохозяйки, при этом подчёркивая, что все они — «вполне интеллигентные лица».

Для Клюева же (как и для его матери, с которой он не мог не поделиться пережитым) видение означало одно: наделение подростка *даром*, приобщением его к неземным энергиям, к *знанию*. Ещё одно видение, описанное Клюевым, могло только укрепить его в сознании собственной избранности: «А когда мне было лет 18, я черпал на озере воду из проруби, стоя на коленях… Когда начерпал ушат, поднял голову по направлению к пригорку, на который я должен был подняться с салазками и ушатом воды, я ясно увидел на пригорке среди нежно-синего сияния снега существо, как бы следящее за мною невыразимо прекрасными очами. Существо было в три или четыре раза выше человеческого роста, одетое как бы в кристалловидные лепестки огромного цветка, с окружённой кристаллическим дымом головой».

Что это было? Потустороннее видение или явление одного из «дивьих людей», что возникали перед глазами неосторожных странников в центрах таинственных северных лабиринтов, что имели вид каменных спиралей?.. Был здесь и опасный соблазн: принять видение, посланное дьяволом, за Божественное откровение. Знала об этом соблазне Прасковья Дмитриевна. И дабы не впал в опасное искушение её любимец, отмеченный, как она полагала, особым даром, послала она его в Соловецкий монастырь на выучку к старцам… Много лет пройдёт, и уже в «Песни о Великой Матери» Клюев, смещая времена и события, выразит этот материнский позыв как боязнь за сына, соблазняемого сектантами и иноверами.

Николенька, на нас мережи

Плетутся лапою медвежьей!
Китайские несториане
В поморском северном тумане
Нашли улыбчивый цветок
И метят на тебя, дружок!
Кричит ослица Валаама,
Из звездоликой Лхасы Лама
В леса наводит изумруд…
Крадутся в гагачий закут
Скопцы с дамасскими ножами!..
Ах, не весёлыми руками
Я отдаю тебя в затвор —
Под соловецкий омофор!
Открою завтра же калитку
На ободворные зады,
Пускай до утренней звезды
Входящий вынесет по свитку —
На это доки бегуны!

Староверческая конфессия бегунов (или скрытников) — наиболее радикальное течение в старообрядчестве. Бегуны отрицали все государственные институты, как церковные, так и гражданские, будучи последователями старца Евфимия, создавшего своё учение в третьей четверти XVIII века. Особую роль в их учении играли древние традиции Соловецкого монастыря, после разгрома которого разбежавшиеся иноки проповедовали эсхатологические учения о пришествии Антихриста. Сочинения иноков Епифания Соловецкого и Игнатия Соловецкого, проповедовавшего самосожжение как средство спасения души, получили широкое распространение в страннической и староверческой в целом среде Русского Севера, но преимущественно среди скрытников.

«Письма из Кожеозёрска, из Хвалынских молелен, от дивногорцев и спасальцев кавказских, с Афона, Сирии, от китайских несториан, шёлковое письмо из святого города Лхаса — вопияли и звали меня каждое на свой путь. Меня вводили в воинствующую вселенскую церковь…» — рассказывал Клюев в 1919 году. И едва ли возможно определить, какая из обозначенных реалий относится к его домашней жизни, какая — к жизни в Соловецком монастыре, а какая — к годам позднейших скитаний… Так или иначе в своём духовном мире он в конце концов связал все эти разнородные и разноцветные нити в единое целое, создав уникальное не только в русской, но и в мировой

поэзии лиро-эпическое полотно…

* * *

Многие оставшиеся насельники Соловецкого монастыря внешне приняли новообрядчество, но по сути оставались приверженцами старых, традиционных обрядов, уже не выступая открыто против власти, но тайно соблюдая заветы праотцев. Прасковья Дмитриевна знала, куда посылать сына.

Уже пятнадцать миновало,
У лося огрубело сало,
А ты досель игрок в лапту, —
Пора и пострадать немного
За Русь, за дебренского Бога
В суровом анзерском скиту!
Там старцы Никона новиной,
Как вербу белую осиной,
Украдкой застят древний чин.
Вот почему старообрядцы
Елеазаровские святцы
Не отличают от старин!

В упомянутом Анзерском Елеазаровом монастыре, подчиненном Синоду, хранили древлеправославную традицию, как и в Соловецких скитах.

«Будет, как Иоанн Златоуст»… К особой участи готовила Николая мать, строгая и в заботе о его духовном здоровье, и о непреклонности в вере.

«С первым пушком на губе, — рассказывал Николай в „Гагарьей судьбине“, — с первым стыдливым румянцем и по особым приметам благодати на теле моём был я благословлён родителью моей идти в Соловки, в послушание к старцу и строителю Феодору, у которого и прошёл верижное правило. Старец возлюбил меня, аки кровное чадо, три раза в неделю, по постным дням, не давал он мне не токмо чёрного хлеба, но и никакой иной снеди, окромя пряженого пирожка с изюмом да вина кагору ковшичка два, чистоты ради и возраста ума недоуменного — по древней греческой молитве: „К недоуменному устремимся уму…“»

Часто, видно, повторял за время своего послушания молоденький инок этот акафист Иисусу Сладчайшему. Смирению и приобщению к Богу способствовали и низкокалорийная диета, и

затворничество в келье, и поклонное правило… Если верить Клюеву (а не верить ему нет никаких фактических доказательных оснований), это было первое его послушание в монастыре. За ним последовало второе, во время которого Николай проходил уже «верижное правило» — ношение вериг, которое уподобляло телесные страдания страданиям Иисуса Христа на Кресте и вызывало в памяти духовные подвиги юродивых… Но о дальнейшем пусть расскажет сам Клюев — снова обращаемся к «Гагарьей судьбине».

«А в Соловках я жил по два раза. В самой обители жил больше года без паспорта, только по имени — это в первый раз; а во второй раз жил на Секирной горе. Гора без малого 80 саж<еней> над морем. На горном же темени церковка каменная и кельи. Строителем был при мне о<тец> Феодор, я же был за старцем Зосимой.

Долго жил в избушке у озера, питался, чем Бог послал: черникой, рыжиками; в мёрдушку плотицы попадут — уху сварю, похлебаю; лебеди дикие под самое оконце подплывали, из рук хлебные корочки брали; лисица повадилась под оконце бегать, кажнюю зарю разбудит, не надо и колокола ждать.

Вериги я на себе тогда носил девятифунтовые, по числу 9 небес, не тех, что видел ап<остол> Павел, а других. Без 400 земных поклонов дня не кончал. Икона Спасова в углу келейном от свечи да от молитвы словно бархатом перекрылась, казалась мягкой, живой. А солнышко плясало на озере, мешало золотой мутовкой озёрную сметану, и явно виделось, как преп<одобный> Герман кадит кацеёй по берёзовым перелескам.

Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской… Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен чёрный, и каждому давал по сосновой шишке в память о лебединой Соловецкой земле».

«Девять небес», о которых говорит Клюев, — девять чинов ангельских, девять ступеней иерархии ангельских существ по учению Псевдо-Дионисия Ареопагита. Эта иерархия образует три триады по степени близости к Богу: 1) херувимы, серафимы, престолы; 2) господства, силы, власти; 3) начала, архангелы, ангелы (и эти три триады позже воплотятся в его «Песни Солнценосца»), Первая триада — в непосредственной близости к Господу. Вторая — отражение принципа божественного мировладычества. Третья — в непосредственной близости к миру и человеку…

А о Соловецкой обители поэт вспомнит уже в середине 1920-х годов, когда на святом месте расположится знаменитый СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения, когда новомученики

российские кровью окропят землю, помнящую святых Зосиму и Савватия.

Распрекрасный остров Соловецкий,
Лебединая Секир-гора,
Где церквушка, рубленная клецки, —
Облачному ангелу сестра.
Где учился я по кожаной триоди
Дум прибою, слов колоколам,
Величавой северной природе
Трепетно моляся по ночам…
Где впервые пономарь Авива
Мне поведал хвойным шепотком,
Как лепечет травка, плачет ива
Над осенним розовым Христом.
И Феодора — строителя пустыни,
Как лесную речку помяну,
Он убит и в лёгкой /белой с/кр/ы/не
Поднят чайками в голубизну…
Помнят смирноглазые олени,
Как, доев морошку и кору,
К палачам своим отец Парфений
Из избушки вышел поутру,
Он рассечен саблями на части
И лесным пушистым глухарём
Улетел от бурь и от ненастий
С бирюзовой печью в новый дом…
……
Триста старцев и семьсот собратий
Брошены зубастым валунам.
Преподобные Изосим и Савватий
С кацеями бродят по волнам…

* * *

Под клюевский рассказ о Соловках можно заснуть сказочным сном, не желая просыпаться. Это не столько жизнь — сколько житие. Соблазн, конечно, есть — попытаться, используя «косвенные данные», «разоблачить» поэта. Но благодарному слушателю воздастся большим.

Иона Брихничёв — личность чрезвычайно мутная, но значимая в ранней биографии Клюева — спустя десять лет после

ухода Николая из монастыря так писал о клюевском «Соловецком сидении»: «Совсем юным, молоденьким и чистеньким попадает поэт в качестве послушника в Соловецкий монастырь, где и проводит несколько лет. Но что выносит он среди грубых, беспросветно грубых и развратных монахов — об этом я здесь умолчу». Писал он это с клюевских слов, по-своему их неизбежно переиначивая и разукрашивая и, возможно, искажая смысл. Вроде бы становится понятным «отселение» Николая из кельи в «избушку у озера» — неизбежно, с благословения старца Зосимы, а возможно, и по его прямому настоянию. Но причина всё же не в «монахах», а в особом пути молодого послушника, провиденного старцем. Верижное правило, молитвы, поклонное правило — всё истово соблюдает Николай, достигая такой полноты в духе, что звери без страха посещают его и приходят паломники на душеспасительные беседы с благоговейными поклонами. Только абсолютное духовное совершенство позволяло не впасть в прельщение. И, очевидно, он этого испытания не выдержал.

Очевидно, этому способствовал главный соблазн дальнейшей клюевской жизни — соблазн стихописания, о котором сам Клюев в 1922 году рассказывал Павлу Медведеву. «Свою поэзию определяет: „Песенный Спас“, — записывал Медведев. — Учился ей у Петра Леонтьева, который в „чёрной тюрьме“ в Соловках 18 лет просидел за церковь Михаила Архангела: 3? года Клюев у него спасался». «Спасался» Клюев, конечно, не у сектанта и общался с ним не столь уж продолжительное время. Леонтьев, заключённый в соловецкую монастырскую тюрьму (упразднённую в 1902 году), видимо, вёл беседы с молодым послушником, рассказывая ему о песнопевцах своей секты и напевая их гимны. Песенный дар в конце концов возьмёт верх над даром проповедника. Но пока это лишь первые сомнения в правильности избранного пути.

Возможно, Николаю с его проповедническим даром и приобщением к неземным энергиям был действительно уготован путь духовного наставника, старца нового столетия, наподобие блаженной памяти Серафима Саровского. Слава о нём уже ходила среди людей — и не могли не найтись те, кто желал бы сбить его с пути истинного, лишить Россию зарождавшегося духовного вождя. Стремление к дальнейшему духовному совершенству — при юношеской внутренней неустойчивости и чувстве обольщения собственным даром и достигнутыми свершениями — всё это вскоре сыграло роковую роль. Однажды среди паломников появился человек, который завёл с Николаем совершенно иные речи.

«Раз под листопад пришёл ко мне старец с Афона в седине и

ризах преподобнических, стал укором укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть.

Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и — многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси.

Старец снял с меня вериги и бросил в озёрный омут, а вместо креста нательного надел на меня образок из чёрного агата; по камню был вырезан треугольник и надпись, насколько я помню — „Шамаим“, и ещё что-то другое, чего я разобрать и понять в то время не мог.

Старец снял с себя рубашку, вынул из котомки портки и кафтанец лёгонький, и белую скуфейку, обрядил меня и тем же вечером привёл на пароход как приезжего богомольца-обетника».

Слишком много здесь сказано, но ещё больше — о чём можно лишь догадываться — осталось в подтексте. Трудно судить, насколько точно Николай Архипов записал слова Николая Клюева (уже то, что «старец» снимает «с себя» рубашку, а потом обряжает Николая в новину, вынуждает прочесть «с себя», как «с меня», если не иметь в виду, что Клюев обряжается в рубашку своего нового наставника), а самое главное, — насколько точен был и насколько «путал след» сам Клюев.

Повествуя о подобных перипетиях своей жизни, он рисковал скорее отторжением, чем благодарным усвоением «прекрасной легенды»… Сам Николай, слушая старца, впал в такой соблазн очарования, что безропотно позволил снять с себя вериги и *крест.* Кем же всё-таки был этот «старец с Афона»?

Можно предположить, что это изгнанник из Афонского монастыря, много путешествовавший, общавшийся и с тайными сектантами-бабидами, пытавшимися реформировать ислам, и с мистиками-розенкрейцерами, пришедший к хлыстовству, и в конце концов к скопчеству — крайнему ответвлению хлыстовства. Человек недюжинной внутренней силы, одолевший своей духовной мощью молодого проповедника, вселивший в его душу соблазн дальнейшего совершенствования уже не на путях святоотеческих. И Клюев — поддался.

Не поддаться было трудно. Но и сейчас нелегко себе представить — *как* умели соблазнять эти люди, напевно уговаривая, маня к себе… Отдалённое представление об этом можно получить, прочитав рассказ Марины Цветаевой «Хлыстовки», где поэтесса вспоминает о детской своей встрече с сектантками. «Хлыстовство продолжает расти и умножаться, — писал Константин Петрович Победоносцев в 1900 году, — его

руководители всевозможными способами тайно и явно пропагандируют своё учение среди православных. Правда, в некоторых местах оно, по-видимому, ослабевает, но зато в других проявляет такую энергию в пропаганде своего лжеучения, что является более опасным для православия, чем другие секты».

…Рядом с Клюевым не было матери. Были соловецкие наставники, от которых он внутренне начал уже отходить. Семена, посеянные «старцем», пали на благодатную почву. Николай безропотно принял *замену* креста на «образок из чёрного агата» с вырезанными по камню треугольником и надписью, в которой выделилось в его памяти слово «Шамаим», чёрный агат, который также называли камнем Великой Матери — символ скорби. Треугольник — каббалистический знак, обозначавший у розенкрейцеров трон Бога. Шамаим — в Каббале означает «область небес», Океан Духа, то же — небесный свод в Ветхом Завете. Полная надпись на чёрном агате, которую «не мог понять» Клюев, очевидно, была: «Серис били Шамаим» — «скопец волею небес». То есть новый «учитель жизни» был адептом скопческой секты. Этому евангельскому стиху — «Серис биди Шамаим» — Василий Розанов посвятил целую главу в книге «Апокалипсическая секта», где писал о «роковой филологической ошибке», то есть ошибке самих скопцов, для которых перевод стиха звучал как «оскопившие себя ради Царствия Небесного». «Христос едва назвал два вида скопчества, „от чрева матери“ и „от людей“, даже не мог не назвать непременно и третьего вида, ибо ученики Его поставили *общий* вопрос о безбрачии. Он же, сказав, что остаются безбрачными только те, „кому“ именно „дано“…» — пишет В. Розанов. А «Страды» основоположника скопчества Кондратия Селиванова повествуют о мучениях «батюшки», о его покаянии, о чудесах, с ним бывших, и о пророчествах, им слышанных. «И на крест меня отдали Божьи Люди. А жил я в городе Туле в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевны грешницы, у ней в подвале там и жил. Она меня приняла, а свои не приняли, и они же доказали и привели к ней в дом команду солдат…»

Так Кондратий Селиванов отождествлял себя с Христом, и так же отождествляли своего «батюшку» его последователи. А «Божьи люди», отдавшие «на крест», — христы, сектанты, представлявшие до конца XVIII века со скопцами практически одно целое. «Скопчество выродилось из хлыстовщины как крайнее её проявление и в настоящее время составляет с нею одно нераздельное целое», — писал Н. В. Реутский в книге «Люди Божьи и скопцы. Историческое исследование (из достоверных источников и подлинных бумаг)». И опять-таки, хочешь не хочешь

— вспомнишь тут о Спасителе, преданном своим учеником.

«Там я жил, почитай, два года царём Давидом большого Золотого Корабля, белых голубей — христов. Я был тогда молоденький, тонкоплечий, ликом бел, голос имел заливчатый, усладный».

О мистической секте христов часто говорили и писали, что возникла она под влиянием западных мистических течений, преимущественно гностического характера, в период грандиозной церковной смуты в середине XVII века в Костроме — её основателем называли Данилу Филипповича, выдававшего себя за «бога Саваофа». На самом деле оно было непосредственно связано с мистико-аскетическими и эсхатологическими движениями русского раскола, в первую очередь — с последователями Капитона Костромского и Даниила Викулова Поморского. Само по себе мистическое сектантство было тесно связано с радикальными направлениями русского старообрядчества, в частности с беспоповщиной. Сектанты называли себя «христами» и никогда — «хлыстами», говорили, что дьявол «не может выговорить слово „христы“ и поэтому говорит „хлысты“». Сам термин «христовщина» впервые появился в «Розыске о раскольнической брынской вере» Димитрия Ростовского, который описывал христовщину как отдельный раскольнический толк.

И здесь необходимо сказать, что все имеющиеся в литературе (художественной ли, «научной» ли) сведения о так называемом «свальном грехе» христов, что свершается во время радений, не имеют ничего общего с реальностью. Более того, эти радения по своей обрядово-символической природе ассоциировались со старыми староверческими «гарями», которые ко второй половине XIX века были уже крайне редки. Радение как бы символизировало и гарь, и последующий Страшный суд, перед которым предстают члены «христова корабля».

Завершается радение — и коленопреклонённые христы, ещё не отошедшие от дикой пляски, пребывающие «в духе», выслушивают пророчество главы своего. А после пророчества следует общее пение последней молитвы:

> Царю, свет небесный, милосердный наш Бог,
> Упование Божие, прибежище Христово,
> Покровитель свят Дух в пути!
> Бог с нами, с нами Бог и над нами,
> За нами, пред нами! Сохрани нас, Господь,
> От злых от злодеев, от лихих иудеев.

Достигнув состояния «в духе», «братья» и «сёстры» после

выноса блюда с нарезанным хлебом и братины с квасом вкушали хлеб и питие, в которое был трижды погружён крест — вместо причастия Святых Таин. Подобное «причастие» было унаследовано от выговцев, которые вкушали «богородичен» хлеб, прототипом которого послужила просфора, из которой на проскомидии вынимается частица в память Богородицы… А в иных сектантских общинах, по показаниям сектантов, толковалось, что «когда в церкви поют: „Тело Христово примите“, это-де надобно петь: „дело Христово примите“, а не тело, „источника бессмертнаго в сердцах закуситя“, а святое и пречистое Тело и Кровь Христова назывались — „от земли взято, в землю и пойдёт“»… Эти воззрения нам ещё надлежит вспомнить, когда мы будем пристально вчитываться в стихи Клюева, особенно в стихи, написанные во время Первой мировой войны — перед революцией.

* * *

Клюев обозначил начало своего творческого пути как начало пути слагателя псалмов и гимнов для секты. Псалмы иудейского царя Давида, основавшего династию, недолго правившую после его смерти — в период кратковременного объединения Израиля и Иудеи, были своего рода образцом для сектантских песнеслагателей, и сам Николай в позднейшей автобиографии упоминал царя Давида в числе своих любимых поэтов, называя рядом с ним Романа Сладкопевца и Поля Верлена. Текстов его этого времени мы не знаем — и остаётся лишь верить ему на слово. Впрочем, наверняка сплошь и рядом новоявленный «Давид» перепевал на свой лад бытовавшие в сектантской среде песнопения, не отличавшиеся особой стихотворной изощрённостью. А дальше — произошло ещё одно ключевое событие в жизни поэта.

«Великий Голубь, он же пророк Золотого Корабля, Духом Божиим движимый и Иоанном в духовном Иордане крещённый, принёс мне великую царскую печать. Три дня и три ночи братья не выходили из Корабля, молясь обо мне с великими слезами, любовью и лаской ко мне. А на четвёртый день опустили меня в купель.

Купель — это деревянный сруб внутри дома; вход с вышки по отметной лесенке, которую убрали вверх. Тюфяк и подушка для уготованных к крещению набиты сухим хмелем и маковыми головками. Пол купели покрыт толстым слоем хмеля, отчего пьянит и мерещится, слух же и голос притупляются. Жёг я

восковые свечи от темени, их было числом сорок; свечки же хватало, почитай, на целый день, они были отлиты из самого ярого белого воска, толщиной с серебряный рубль. Кормили же меня кутьёй с изюмом, сканными пирогами белыми, пить же давали чистый кагор с молоком.

В такой купели нужно было пробыть шесть недель, чтобы сподобиться великой печати. Что подразумевалось под печатью, я тогда не знал, и только случай открыл мне глаза на эту тайну».

И опять неизбежен вопрос: насколько точен и справедлив Клюев в устной передаче тех давних событий? Даже в скопческих сектах (не говоря уже о «христовых кораблях», где была принята эта практика) далеко не все подвергались оскоплению, а лишь те, кто достиг необходимого духовного предела. Естественно, этот шаг был абсолютно добровольным. Более того, оскопление воспринималось многими христами как экстраординарный подвиг, доступный лишь немногим, способным вернуться в безгрешное, «ангельское» состояние. А самой ритуальной операции предшествовали обряд клятвенной присяги перед иконой или крестом и *прощальные слова,* которые посвящающийся должен был повторить за наставником общины:

— Прости меня, Господи, прости меня, Пресвятая Богородица, простите меня, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся небесная сила, прости, небо, прости, земля, прости, солнце, прости, волна, простите, звёзды, простите, озёра, реки и горы, простите, все стихии земные и небесные!

Уже одно это *прощание* не даёт никакого иного толкования «великой печати».

Но, опять же, если верить Николаю, известие о «великой царской печати» он принял за ещё более высокое посвящение, за инициацию, позволяющую достичь ещё большей духовной высоты — и дал своё согласие. Соответствующая диета и хмельное опьянение поддерживали его в необходимом «братьям» состоянии и навевали ему сладкое предвкушение постижения тончайших энергий… Вся эта «подготовка» рухнула разом, когда, по клюевским словам, «брат» Мотя проговорился ему, что ждёт «Давида» полное оскопление, — «и если я умру, то меня похоронят на выгоне и что уже там на случай вырыта могила, земля рассыпана по окрайку, вдалеке, чтобы незаметно было; а самая яма прикрыта толстыми плахами и дёрном, чтобы не было заметно».

Мотя, тронутый слезами Николая, указал ему на новое бревно внизу срубца, которое можно расшатать и выбраться наверх. «И я, наперво пропихав свою одежду в отверстие, сам уже нагишом вылез из срубца в придворок, а оттуда уже свободно

вышел в конопляники и побежал куда глаза глядят. И только когда погасли звёзды, я передохнул где-то в степи, откуда доносился далёкий свисток паровоза».

Но не естественнее ли предположить, что Клюев изначально знал, на что идёт, — и лишь в «купели» обуял его дикий страх, и он уговорил со слезами своего нового «брата» помочь ему бежать… Так бывает, что поначалу гордыня в предвкушении «высшего совершенства» захлёстывает иного человека, а когда воочию осознаётся плата, которую придётся принести за это «совершенство», — не у каждого хватает духу.

* * *

Хронологию этих лет жизни нашего героя практически невозможно расписать — о событиях, причудливо перемежающихся в сознании поэта, мы знаем только с его слов. Не представляется возможным определить, в частности, хотя бы приблизительную дату одной из его встреч со Львом Толстым, о которой Клюев рассказал в той же «Гагарьей судьбине»: «За свою песенную жизнь я много видел знаменитых и прославленных людей. Помню себя недорослком в Ясной Поляне у Толстого. Пришли мы туда с рязанских стран: я — для духа непорочного, двое мужиков под малой печатью и два старика с пророческим даром».

«Двое мужиков под малой печатью» — скопцы с неполностью удалёнными органами (ядрами), а два старика, надо полагать, — руководители общины, считавшиеся пророками у единоверцев.

«Толстой сидел на скамеечке, под верёвкой, на которой были развешаны поразившие меня своей огромностью синие штаны.

Кое-как разговорились. Пророки напирали на „блаженни оскопившие себя“. Толстой торопился и досадливо повторял: „Нет, нет…“ Помню его слова: „Вот у вас мальчик, неужели и его по-вашему испортить?“ Я подвинулся поближе и по обычаю радений, когда досада нападает на людей, стал нараспев читать стих: „На Горе, Горе Сионской…“, один из моих самых ранних Давидовых псалмов. Толстой внимательно слушал, глаза его стали ласковы, а когда заговорил, то голос его стал повеселевшим: „Вот это настоящее… Неужели сам сочиняет?..“

Больше мы ничего не добились от Толстого. Он пошёл куда-то вдоль дома… На дворе ругалась какая-то толстая баба с полным подойником молока, откуда-то тянуло вкусным предобеденным духом, за окнами стучали тарелками… И огромным синим парусом сердито надувались растянутые на

верёвке штаны.

Старые корабельщики со слезами на глазах, без шапок шли через сад, направляясь к просёлочной дороге, а я жамкал зубами подобранное под окном яснополянского дома большое, с чёрным бочком яблоко.

Мир Толстому! Наши корабли плывут и без него».

Уже после революции Клюев рассказывал переплётчику Вытегорской типографии М. Каминеру о том, что он посетил Ясную Поляну весной 1910 года, то есть незадолго до ухода и смерти Толстого. В изложении Каминера это выглядит так:

«Приехали туда, идёт по дорожке, женщину встретил простую.

— Дома ли граф?

— Дома.

— А графиня?

— Ох, наша графинюшка в одной оранжевой юбке скачет…

Вышел к нему Толстой.

— Здравствуйте, Лев Николаевич, — сказал Клюев.

И тот ответил:

— Здравствуйте, брат Николай».

Это больше напоминает вторую встречу уже знакомых людей, но ни о каком продолжении столь «содержательного» разговора нет и речи ни в воспоминаниях переплётчика, ни, судя по всему, в рассказе самого Клюева. Зато первая встреча чрезвычайно любопытна.

Состоялась она, как видно, ещё до бегства Клюева из секты, когда он был ещё «недоростком». Про «рязанские страны», то есть про Данковский уезд Рязанской губернии, где он продолжал общение с христами, Николай вспоминал и позже… А мимо Толстого эти «религиозные диссиденты» пройти не могли — поздний Толстой, автор «Исповеди» и трактата «В чём моя вера?» подобных персонажей притягивал к себе, словно магнит. О помощи Толстого духоборам хорошо известно, менее известно о его контактах со скопцами, в частности, о переписке со скопцом Г. П. Меньшениным, которому Толстой писал 31 декабря 1897 года: «Насильственное или даже добровольное оскопление противно всему духу христианского учения». А встретившись через десять с лишним лет, незадолго до смерти, со скопцом А. Я. Григорьевым, заявил, «что он с ним сходится, кроме оскопления», как указано в «Яснополянских записках» Д. Маковицкого. Так что слова Толстого, запомнившиеся Клюеву, полностью согласуются по смыслу с мнениями «второго царя России» по сему вопросу.

Но куда интереснее детали толстовского обихода, которые

подмечает Клюев в Ясной Поляне! И «толстая баба с полным подойником молока», и «вкусный предобеденный дух», несущийся из открытых окон дома, где «стучали тарелками», и яблоко «с чёрным бочком», который грыз «недоросток», не приглашённый, как и его спутники, к обеденному столу (сектанты соблюдали строжайший пост, и можно себе представить, как временами мучился от него Николай!) — всё это произвело на него куда большее впечатление, нежели отказ Толстого согласиться со скопческим «блаженством», отчего слёзы выступили на глазах у старых корабельщиков… Толстой — моралист и проповедник опрощения и обращения к «простому трудовому народу», о чём вещал в «Исповеди», — в его глазах предстал человеком, совершенно не соответствующим тому образу, который, судя по всему, был вымечтан.

Впрочем, в той же «Исповеди», распространявшейся по России в списках, и сам Толстой со своей колокольни объяснял подобные «несовпадения»: «По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими».

…А самое запоминающееся — огромные синие штаны, которые «сердито надувались… синим парусом». «Христов корабль» плыл под своим парусом — незримым для всех, кроме «белых голубей», — и нежные видения, запечатленные в христовых песнопениях, навсегда отложились в памяти Николая.

Уж по морю житейскому,
Как плывёт, плывёт тут лёгкий корабль,
Об двенадцати тонких парусах,
Тонкие парусы — то есть Дух Святой;
Как правил кормщик — сам Иисус Христос,
В руках держит веру крепости,
Чтобы не было, братцы, лепости;
Уж вокруг его все учители,
Все учители, все пророки…

Это вам не штаны-паруса, под которыми плывёт толстовский «корабль»… Поистине мир Толстому!

Пройдут годы после этой встречи, и Россия, и весь мир будут

потрясены уходом Толстого из Ясной Поляны и его смертью на станции Астапово. И Клюев в журнале «Новая земля» опубликует «Притчу об источнике и о глупом мудреце» — ответ Михаилу Арцыбашеву, автору скандальных и до предела циничных «Записок о Толстом», появившихся в «Итогах недели», — где дал яркий и пророческий портрет того, кто слыл «большим умником» и посему вознамерился испоганить источник чистой воды… Притча эта завершается словами верующих, обращённых к сему «мудрецу»: «Пустой человек, ты не только осквернил себя наружно, вымазавшись навозом, но и внутренне показал своё ничтожество, сходив в источник „до ветра“. Пёс, и тот брезгует своей блевотины, а ты ведь человек, к тому же и умом форсишь… Источник не может быть опоганен чем-либо, — вода в нём прохладная, да и жила глубоко прошла. Она неиссякаема и будет поить людей вовеки».

Тогда же в той же «Новой земле» Клюев напечатает рецензию на только что вышедшие книги Толстого «Бог» и «Любовь», вернее, не рецензию, а стихотворение в прозе, навеянное чтением этих книг: «Миллионы лет живы эти слова, и как соль пишу осоляют жизнь мира. Исчезали царства и народы, Вавилоны и Мемфисы рассыпались в песок, и только два тихих слова „Бог и Любовь“ остаются неизменны… Два тихие слова „Бог и Любовь“ — две неугасимых звезды в удушливой тьме жизни, мёд, чаще тёрн в душе человечества, неизбывное, извечное, что как океан омывает утлый островок нашей жизни, — выведет нас „к Материку желанной суши“».

Это писалось уже в преддверии выхода первой книги «Сосен перезвон», где были собраны стихи, в большинстве своём рождавшиеся на фоне эпистолярного общения с Александром Блоком.

…А что из себя представлял клюевский, «из самых ранних» Давидов псалом, мы не знаем и лишь можем предположить, что это была вариация на один из многочисленных христовских гимнов, где воспевалось совместное радение с воскресшими Христом, Саваофом и Богородицей.

На горе, горе, на Сионской горе
Стоит тут церковь апостольская,
Апостольская, белокаменная,
Белокаменная, златоглавая.
Как во той ли во церкви три гроба стоят,
Три гроба стоят кипарисовые.
Как во первом во гробе Богородица,
А в другом во гробе Иоанн Предтеч,

А в третьем гробе сам Иисус Христос.
Как над теми гробами цветы расцвели;
На цветах сидят птицы райские,
Воспевают они песни архангельские.
А с ними поют все ангелы,
Все ангелы со архангелами,
С серафимами, с херувимами
И со всею силою небесною…

Под это ангельское пение встаёт из гроба Богородица, за ней — Иоанн Предтеча и ставит «людей божиих во единый круг на радение», а сам скачет и «играет по Давыдову»; встал Иисус Христос и «поскакал в людях божиих»… Вариаций на тему Воскресения и сошествия «с небеси Духа Святого» на благоверных было множество, и авторство этих гимнов давным-давно утеряно…

Глава 2
«СОЦИАЛИСТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР»

Пока Николай путешествовал, его родные устраивали свою земную, обыденную жизнь. Сестра Клавдия по окончании гимназии работала с 1898 года учительницей в Суландозёрском земском училище Кондушской волости. К началу 1905 года она, по свидетельству Василия Фирсова, «как видно, окончательно рассталась с учительской работой». Брат Пётр служил по почтовому ведомству сперва в селе Вознесенье Оштинской волости Лодейнопольского уезда, а затем — в Федовском почтово-телеграфном отделении в деревне Федово Каргопольского уезда.

Николай же, вернувшись домой, жил на иждивении отца — сидельца казённой винной лавки в Желвачёве. Помогал по хозяйству, но, видно, больше времени проводил за чтением книг — старых и новых, был погружён в себя, о чём-то непрестанно размышлял. Время от времени отправлялся в путешествия по Вытегорскому уезду и за его пределы. Обзаводился новыми знакомствами — уже из среды сосланных в Олонецкую губернию, в том числе и с Кавказа (революционную социалистическую литературу, как свидетельствовал Владимир Бонч-Бруевич, распространяли по Руси и сектанты, которыми живо интересовался Ленин). С земляками-вытегорами ездил в Санкт-Петербург, где они — охотники и рыболовы — сбывали свой товар, а он налаживал первые связи с литературной средой, показывал свои робкие стихотворные опыты.

Одно из таких стихотворений (в первой редакции) переписала своей рукой сестра Клюева Клавдия и отослала графологу Константину Владимирову, который помещал в периодике объявления с обещаниями дать характеристику личности по почерку. Клавдия (как и многие другие) отозвалась на это заманчивое приглашение. Так в архиве графолога и сохранился этот весьма банальный и непритязательный текст.

Люблю мечтой переноситься
В тот чудный и волшебный край,
Где юность вечно веселится
И на земле находит рай.
Но только радужные грёзы
Успеет кто-либо отвлечь,
Опять везде я вижу слёзы

И хочется в могилу лечь.

Пройдут годы — и масон, чекист, мистик Константин Владимиров на основе анализа почерка самого Клюева нарисует его психологический портрет: «Сильная впечатлительность, нервность, громадный подъём духа. Возвышенность и аристократизм. Благородство в способах мышления… Страстное желание объять по возможности шире мир. Когда Вы творите — то священнодействуете. Кротость — милосердие, снисхождение. Серьёзное сознание долга. Пылкость чувств, идеализм… Сознание своего нравственного достоинства в соединении со скромностью… Любовь к мудрости… Смиренномудрость, способность чувствовать грозу, но не бояться её… Строгое охранение своего внешнего и духов(ного) облика… Национализм — фетиш Вашего ego… Отсутствие умения отстоять свои личные интересы. По временам мистическое увлечение… Честность, добросовестность… Символом В(ашего) творчества является Тишина и покой — в понимании *голоса безмолвия* Вы найдёте ито<говый> угол творчества, и в этой сфере Вы будете первым номером».

И тогда же Клюев надпишет ему первую книгу своего «Песнослова»: «Константину Константиновичу Владимирову память чистых слов о Руси Корсунской, о живых путях, что ведут в хризопраз-камень на нём же имя, которого не знает никто, кроме того, кто получает».

Что говорить — этот противоречивый и в некоторых отношениях достаточно таинственный человек лучше многих почувствовал и понял Клюева как личность. Лучше многих других, самоуверенных в своём «понимании»…

Не годы — десятилетия пройдут. А тогда, в самом начале века, неизвестно как вышел Николай на издателя Н. Иванова, который поместил два его стихотворения в сборнике «Новые поэты» в 1904 году. Во всяком случае, первая публикация двадцатилетнего поэта отнюдь не выделялась на общем фоне многочисленных стихотворений того времени — ни сентиментальной жалостливой интонацией, ни словарём, в котором преобладают общеупотребительные «поэтизмы». Видно, что Клюев ещё только нащупывает свою дорогу и, естественно, начинает с повторения уже отработанных мотивов одиночества «среди житейской суеты», гибели «идеалов красоты» и «юных стремлений». Такова была и новая редакция сохранившегося у Владимирова стихотворения. Впрочем, одна строфа обращает на себя внимание:

Мне нужно вновь переродиться,
Чтоб жить, как все, — среди страстей.
Я не могу душой сродниться
С содомской злобою людей.

«Мне нужно вновь переродиться…» Это уже предощущение собственной протеевской сущности и свойства менять облик, как позже сформулирует Клюев, «быть в траве зелёным, а на камне серым…». Ему уже не единожды приходилось «перерождаться» — из монастырского послушника — в хлыста, из хлыста — в «отреченного», из послушного сына — в непокорную «тварь»… Теперь предстоит новое «перерождение», — «чтоб жить, как все, — среди страстей…». Только его «страсти» — иной природы, чем общечеловеческие. И невозможность сродниться «с содомской злобою людей» — для него, вечнообвиняемого позднее в содомском грехе, узревшего подлинный содом в человеческих взаимоотношениях в «миру» и осудившего его в своей душе, — уже как бы провозвестие грядущей судьбы: он будет со многими — и до конца не будет ни с кем, он будет менять социальные роли (отнюдь не маски!) на противоположные тем, в которых выступал ранее, — и останется по сути с самим собой.

…Поэтический дебют совпал с дебютом революционным. Русская деревня бурлила, как перекипевший котёл. Клюев был не просто захвачен этой волной — он мечтал о революции, творимой «всёвыносящим народом», который «факел свободы зажжёт», и исчезнет «кошмар самовластья», и земля, и леса станут Божьими и принадлежать будут народу — Божьему телу… И он сам, «не раб, а орёл», готов вместе с «братьями» петь «новые песни» и слагать «новые молитвы».

Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землёй пролетит.

Не безгласным рабом,
Проклиная житьё,
А свободным орлом
Допою я её.

Чисто кольцовский размер, и кажется, что для Клюева Кольцов и стал поначалу поэтическим ориентиром… Так — да не так. В стихах 1905 года Клюев использует образы и мотивы и

Леонида Трефолёва, и Петра Якубовича (а источник стихотворения «Безответным рабом…» — трефолёвская «Наша доля — наша песня», посвящённая памяти Ивана Захаровича Сурикова, на что указал Сергей Субботин). Использует, не подражая, а вплетая в свой текст, подобно тому как древнерусские книжники вплетали в свои тексты скрытые цитаты из Писаний и Псалтири.

О «Велесовом первенце» Кольцове Клюев вспомнит позже как о насельнике поэтического вертограда — наравне с Пушкиным, «яровчатым Меем» и Никитиным… Но пройдёт ещё несколько лет, и для «Велесова первенца» найдутся уже совсем другие слова — слова отчуждения.

«Кольцов — тот же Венецианов: пастушок играет на свирели, красна девка идёт за водой, мужик весело ладит борону и соху; хотя от века для земледельца земля была страшным Дагоном: недаром в старину духу земли приносились человеческие жертвы. Кольцов поверил в крепостную культуру и закрепил в своих песнях не подлинно народное, а то, что подсказала ему усадьба добрых господ, для которых не было народа, а были поселяне и мужички.

Вера Кольцова — не моя вера, акромя „жаркой свечи перед иконой Божьей Матери“».

…«Вольнолюбивые» и ещё не самостоятельные по интонации и подбору слов стихи появляются в сборниках, выпускаемых «Народным кружком», — «Волны» и «Прибой». «Народный кружок» возглавлял участник «Суриковского литературно-музыкального кружка» П. А. Травин, которому Клюев посылал эти свои первые стихотворения. Позже Иван Белоусов, близкий к «суриковцам», вспоминал, что клюевские стихотворения предназначались также для сборника «Огни», который был изуродован цензурой и так и не вышел в свет. В частности, цензорский карандаш погулял и по стихам Клюева.

Пусть я в лаптях, в сермяге серой,
В рубахе грубой, пестрядной,
Но я живу с глубокой верой
В иную жизнь, в удел иной!

Века насилья и невзгоды,
Всевластье злобных палачей
Желанье пылкое свободы
Не умертвят в груди моей!

Наперекор закону века,

Что к свету путь загородил,
Себя считать за человека
Я не забыл! Я не забыл!

Вторая строфа и последняя строчка были вымараны, а из стихотворения «Мужик» цензор удалил четыре строфы из пяти.

К этому же времени относятся и первые стихи, в которых явятся образы волн и морской пучины. Навеяны они были и гибелью крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» (стихотворение «Плещут холодные волны…» о матросе молодом, «замученном братской рукою», так прямо и воспроизводит мотив знаменитой песни Я. Репнинского, посвящённой «Варягу», и первая строка оттуда), и известием о восстании на броненосце «Потёмкин» и о матросских бунтах на кораблях в Балтийском море. Есть и ещё один источник этого стихотворения — баллада, певшаяся в те годы поморами и крестьянами Русского Севера о капитане, убитом матросами и внезапно воскресшем, и направившем корабль на рифы.

И волны корабль рассекает,
Послушный движеньям руля.
Смеркается, ночь наступает,
Вдали показалась земля.
Там мрачно чернеют утёсы
Сквозь серый вечерний туман,
Вдруг в ужасе видят матросы:
На мостике встал капитан…

Но не капитан, а матрос гибнет в стихотворении Клюева, лишённом всяческой мистики, матрос, замученный «за дело святое», убитый «своим же собратом, казнён на родном корабле»… И позже Николай будет по-своему обрабатывать чужие тексты, превращая их в собственные творения, с потаёнными смысловыми перекличками, что даст повод многочисленным завистникам и недоброжелателям перешёптываться о возможном «плагиате».

Стихотворение «Матрос», впервые опубликованное лишь в 1919 году во втором томе «Песнослова», и по интонации, и по словарю относится именно к этому времени, — времени первых собственно стихотворных опытов.

Рыдает холодное море,
Молчит неприветная даль,

Темна, как народное горе,
Как русская злая печаль.

Не только в стихах отдавался Клюев революционным порывам. Обходя Олонецкую губернию, он раздавал прокламации, произносил зажигательные речи — и этим не ограничивались его действия, в полном смысле этого слова преступные по критериям тогдашней власти. О своей подпольной деятельности в Олонии Николай отчитывался в живописных подробностях в письме «Политическим ссыльным, препровождаемым в г. Каргополь Олонецкой губернии»: «Я отдал всё, что имел, не пожалев себя и бедных старых родителей — добиться удалось: обложить Пятницкое общество Макачевской волости сбором в 5 коп. с души (немаленькая сумма по тем временам! — *С. К.)* в пользу Кр<естьянского> союза, постановить приговор с требованием Учредительного собрания (приговор отослан Царю), отменить стражников, отобрать церковную землю и все сборы отменить, приобрести 9–11 ружей, сменить старшину, писаря, место которого заменял я — только 2 месяца. Всё дело велось больше года, и я успел за это время раздать больше 800 прок<ламаций>, получен<ы> все от бюро содействия Кр<естьянскому> союзу…» Если ещё учесть, что далее следует упоминание об известии, «что в Петербург благополучно провезены из Финляндии 400 ружей и патроны, это известие я получил 17 февраля (1906 года. — *С. К.*)», то вырисовывается портрет форменного активного заговорщика против самодержавия, готового действовать с оружием в руках… Впрочем, тут всё не так однозначно, если учесть, что начинается это письмо фразой «Я, Николай Клюев, за Крестьянский союз и за все его последствия», а заканчивается подписью «С<оциалист>-Р<еволюционер>».

Крестьянский союз… Это была весьма загадочная организация, и исследователи долго не могли прийти к однозначному выводу — кто стоял у её истоков, кто вёл агитацию на местах и кто созывал и финансировал её съезды. Естественнее и проще всего было бы напрямую связать происхождение Всероссийского крестьянского союза с партией эсеров, тем паче что эсеры, создавая свои организации в многочисленных губерниях Российской империи, делали себе всевозможную рекламу и создавали собственные «крестьянские союзы». Сам же Всероссийский крестьянский союз был создан неонародниками для решения совершенно конкретных, локальных задач, стоящих перед крестьянским миром, в его создании принимали участие и

земство, и часть бюрократии, и определённые силы от либеральной оппозиции — соответственно Всероссийский крестьянский союз не предполагал ни аграрного, ни какого-либо иного террора, что составляло смысл всей деятельности эсеров. Тем не менее все «насущные задачи» в процессе создания этой организации перекрыла одна-единственная: требование «земли и воли». Причём если социал-демократы требовали вернуть крестьянам часть земли, что была отрезана у них в ходе реформы 1861 года, дабы не произошло насильственной ликвидации всех помещичьих землевладений, что, по их мнению, ослабляло развитие капитализма на селе и архаизировало сельское хозяйство, — то эсеры настаивали на социализации — передаче земли в распоряжение земельных обществ. И Клюев, подписавшийся «Социалист-революционер», был, безусловно, на их стороне, хотя и не входил формально в саму эсеровскую партию.

Самыми смелыми по тем временам были именно эсеры, в руководстве которых заправлял, в частности, племянник Петра Столыпина Алексей Устинов, и анархисты, партию которых украшал своим присутствием, в частности, князь Хилков.

Очень скоро бывшие союзники станут непримиримыми врагами — но пока… они делают *одно* дело.

Слегка ошарашивает «р-р-революционный настрой» тогдашней творческой интеллигенции. По-настоящему совестливых людей, подобных Льву Толстому (впрочем, он сам никогда бы не назвал себя интеллигентом) или Александру Блоку, в этой среде было не много. Народолюбие этой публики в большей мере было «оппозиционно-карнавальным», отдавало модным «модерном» — тем более напыщенно-фальшиво и одновременно устрашающе звучали стихотворные декларации Константина Бальмонта о «сознательных смелых рабочих», Валерия Брюсова о «грядущих гуннах» или садомазохистское выступление Сергея Дягилева в журнале «Весы»: «Я совершенно убедился, что мы живём в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмёт от нас то, что останется от нашей усталой мудрости… Мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметёт. А потому, без страха и недоверья, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики».

Но когда думаешь о деяниях и вообще о судьбе подобных «юношей бледных со взором горящим», непреклонных в своём фанатизме «херувимов» (как вспоминал тот же Егор Сазонов,

террорист Иван Каляев внешне напоминал Сергия Радонежского с картины М. В. Нестерова) — легче не становится. Тот же Егор Сазонов перед покушением на министра внутренних дел Плеве вдохновлялся и набирался сил в постели отъявленной блудницы, хорошо известной в декадентских кругах — Паллады Богдановой-Бельской. Вдохновился…

За один 1906 год террористы убили 786 и ранили 820 представителей и сотрудников законной власти. Это не считая людей, случайно погибших во время террористических актов.

* * *

И здесь самое время обратиться к другому книжному источнику, с которым хорошо был знаком Клюев. «Гагарья судьбина» заканчивается следующим витиеватым словом: «Не изумляясь, но только сожалея, слагаю я и поныне напевы про крестные зори России. И блажен я великим в малом перстами, которые пишут настоящие строки, русским голубиным глазом Иоанна, цветущим последней крестной любовью».

Иоанн — любимый ученик Христа из двенадцати апостолов. «Русский голубиный глаз Иоанна» и персты, «которые пишут настоящие строки» — глаз и персты Николая Ильича Архипова, записывающего «Гагарью судьбину» (не удерживается Клюев от того, чтобы снова не сравнить себя с Христом, а Христова апостола — со своим другом)… А «блажен великим в малом» — напоминание о книге Сергея Нилуса «Великое в малом», что вышла первым изданием в 1903 году и вторым в роковом декабре 1905-го. Книга приобрела скандальнейшую репутацию из-за обнародованных в ней «Протоколов сионских мудрецов» (хранить эту книгу после февраля 1917 года значило подвергать себя смертельному риску).

Едва ли кто из немногих читавших её после декабрьского кровопролития задавались вопросом о *подлинности* происхождения «Протоколов». Ошарашивало и повергало в глубокое отчаяние (а кое-кого мобилизовывало на судорожные попытки хоть *что-то* сделать) их содержание.

Кто бы ни являлся коллективным автором этого сочинения — невозможно отрицать: ему присущи великолепное знание законов общественного устройства и человеческой психологии. Невозможно и не обратить внимание на то, что многое из написанного в «Протоколах» обращено не столько к настоящему — сколько к будущему. И прозрения здесь не отделить от чётко прописанного сценария.

Сергей Нилус с печалью указывал на то, что власть игнорировала этот документ, а против него самого либеральная печать развязала травлю. И не только против него. Не прекращалась клеветническая кампания против митрополита Московского Владимира и архиепископа Никона Рождественского, поддержавших публикацию «Протоколов». А благословивший духовные труды Нилуса святой оптинский старец Варсонофий вынужден был покинуть Оптину пустынь.

* * *

В это же время самодержавная власть неустанно расшатывала сама себя.

В мае 1905 года состоялся сход крестьян Московской губернии под руководством земско-либеральной демократической интеллигенции, который принял приговор об организации Всероссийского крестьянского союза. Но ещё раньше, 17 апреля, был издан «Высочайший указ об укреплении начал веротерпимости», устанавливавший права ревнителей старой веры наравне с правами сектантов, магометан и язычников. «Отпадение от православной веры в другое христианское вероисповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных последствий в отношении личных или гражданских прав». После двух с половиной столетий преследований и ущемлений староверы впервые ощутили себя полноправными гражданами империи, охраняемыми законом. Какова была реакция на это событие ревнителей древлеправославия, я в малой степени ощутил столетие спустя.

…Ласковый майский день 2005 года.

В Москве на Рогожском старообрядческом кладбище возле Покровского кафедрального собора — нешумное оживление. Лица прихожан светились радостным светом, многоголосое звучание вокруг напоминало полёт шмелей над цветочным лугом. Кажется, только благочиние сдерживало немногословных мужчин с окладистыми бородами, пожилых, молодых женщин и совсем юных девушек, облачившихся в белые праздничные кофточки, повязавших на голову белоснежные платочки. Иначе голоса звучали бы ещё громче и ещё радостнее.

Ровно сто лет назад во исполнение императорского «Высочайшего указа об укреплении начал веротерпимости» были распечатаны алтари Христовых храмов Рогожского кладбища в первый день Святой Пасхи. «Да послужит это столь желанное

старообрядческим миром снятие долговременного запрета новым выражением моего доверия и сердечного благоволения к старообрядцам, искони известным своей непоколебимою преданностью Престолу», — говорилось в высочайшей телеграмме государя на имя московского генерал-губернатора.

Вот как вспоминал об этих событиях столетней давности секретарь Совета общины Рогожского кладбища Фёдор Евфимьевич Мельников: «Пасхальная заутреня была совершена в обоих храмах уже с распечатанными алтарями. На это необычайное торжество собралась вся старообрядческая Москва. Радости и восторгам старообрядцев не было границ. Они неописуемы.

Ликовала вся старообрядческая Россия. Это было великим торжеством всей Святой Руси. Подумать только: сколько слёз было пролито за эти пятьдесят лет над этими печатями запрета служить божественную литургию в Рогожских храмах; сколько горя и обиды перенесло всё российское старообрядчество из-за этой чёрной несправедливости за полувековую её историю. А сколько было за это время разного рода просьб, ходатайств, всяких посольств к правительству о снятии печатей — и все они кончались отказом. Даже временно поставленные алтари приказано было убрать. И каждый раз такие акты были великим горем для старообрядцев и великой радостью для их врагов. И вот в светлый день, воистину пасхальный, 17 апреля 1905 г., когда весь мир христианский праздновал Воскресение Христово, враги Господа были в печали и в отчаянии, а старообрядцы сугубо ликовали, ибо с Воскресением Христовым совершилось и воскресение святых алтарей Христовых храмов Рогожского кладбища: разрушились „печати гробные“».

Семнадцатого октября 1905 года был издан знаменитый Манифест с обещанием всевозможных демократических свобод. «Подписал манифест в 5 часов, — записал в дневнике Николай II. — После такого дня голова сделалась тяжёлою и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию».

Свободы эти, правда, совершенно не коснулись крестьянского мира, напротив — карательные экспедиции против крестьян сопровождались публичными порками, казнями без суда и даже без установления фамилии. Через полгода, 9 июля 1906 года, вышел ещё один Манифест — о роспуске Государственной думы. Отдельные его положения касались как раз крестьянства, требовавшего земли и отвергавшего как сословное деление общества, так и насаждавшиеся в деревне капиталистические порядки.

«Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в Нашем дорогом отечестве.

Да восстановится же спокойствие в Земле Русской и да поможет Нам Всевышний осуществить главнейший из царственных трудов Наших — поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, и пахарь русский без ущерба к чужому владению получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить своё землевладение. Лица других сословий приложат, по призыву Нашему, все усилия к осуществлению этой великой задачи, окончательное разрешение которой в законодательном порядке будет принадлежать будущему составу Думы».

Но о спокойствии и речи быть не могло.

А о том, что из себя представляла в те годы Русская православная церковь, дают неумолимое представление свидетельства её же служителей.

Вот несколько цитат из писем архиепископа Волынского Антония (Храповицкого) — будущего кандидата в патриархи Земли Московский и Всея Руси и главы Русской зарубежной церкви — митрополиту Киевскому Флавиану (Городецкому).

«18.1.1907. У нас в семинарии были жандармские обыски и сопротивление учеников III и IV классов: арестовано 14 человек, и найдено около 200 революционных брошюр. Я думал, что тех и других будет гораздо более; — видно, плохо искали. В отца Зосиму попала одна из летевших в городовых табуреток — расшибла ему лоб. Потом приходила депутация учеников просить прощения и заявляла, что это случилось нечаянно, в темноте. Меня вся эта история, исключая ушиб Зосимы, нисколько не огорчила, хотя бы заарестовали всех семинаристов: снявши голову — по волосам не плачут. Всё равно будут ведь революционерами, поступив в университет».

«28.11.1907. …Попы едят перед служением колбасу с водкой (утром), демонстративно, гурьбами ходят в публичные дома, так что, например, в Казани один из таковых известен всем извозчикам под названием *„поповский б.“,* и так их и называют вслух. На сходках бывают по нескольку попов в крайней левой, а в левой большинство: это во всех четырёх академиях… Когда благоразумные студенты возражают попам на сходке: „это несогласно с основными догматами Христианской веры“, — то им отвечают: „я догматов не признаю“. И вот толпы таких экземпляров наполняют наши школы в виде законоучителей: „o, tempora! o, mores!“…

13 ноября в Московской академии на акте доцент читал о

Златоусте как о сатирике, один студент как о республиканце, а другой как о социальном анархисте».

Иоанн Кронштадтский всю причину крушения жизненных основ и всеобщего морального разложения видел во всеобщем отпадении от Церкви. 25 марта 1906 года он произнёс горькое и пронзительное Слово на Благовещение: «Вера слову истины, Слову Божию исчезла и заменена верою в разум человеческий; печать, именующая себя гордо шестою великою державою в мире подлунном, в большинстве изолгалась — для неё не стало ничего святого и досточтимого… не стало повиновения детей родителям, учащихся — учащим и самих учащих — подлежащим властям; браки поруганы; семейная жизнь разлагается; твёрдой политики не стало, всякий политиканствует, — ученики и учителя в большинстве побросали свои настоящие дела и судят о политике, все желают автономии… Не стало у интеллигенции любви к родине, и они готовы продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям; уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей для нас Бога и небесного отечества; нравов христианских нет, всюду безнравственность; настал, в прямую противоположность Евангелию, культ природы, культ страстей плотских, полное неудержимое распутство с пьянством, расхищение и воровство казённых и частных банков и почтовых учреждений и посылок, и враги России готовят разложение государства…»

В это же самое время в интеллигентской среде расцветали пышным цветом «богоискательские» и «богостроительские» тенденции. «Революционный раж» прекрасно сочетался и с распространившейся модой на старообрядчество, на сектантство, и с новейшими религиозно-философскими исканиями, жажду на которые не могла удовлетворить официальная церковь.

Этот пышный расцвет характеризовался появлением интересных и утончённых интеллектуальных трудов по богословию, философских размышлений о вере и безверии, он же свидетельствовал о раздроблении сознания, о ликвидации духовного стержня общества. Каждый в своих поисках шёл кто в лес, кто по дрова, и создавалась та самая амальгама из «противоречивых мнений», гасящая живое религиозное чувство и отталкивающая уже и так не твёрдых в вере людей от высокоумных интеллектуалов, озабоченных «религиозными исканиями»…

Клюеву, читавшему роман Мережковского «Пётр и Алексей», ничего, кроме отвращения, не могло внушить описание автором староверов-самосожженцев, как «безумной толпы», а сцена хлыстовского радения могла привести только в холодную ярость.

Как живописал Мережковский, детей, якобы зачатых во время радений, «матери подкидывали в бани торговые или убивали собственными руками». А хлыстовка Марьюшка жалуется главному герою Тихону, что, дескать, единоверцы «убьют Иванушку», «сыночка бедненького», «чтоб кровью живой причаститься… Агнец пренепорочный, чтоб заклатися и датися в снедь верным». Кощунство Мережковского было тем более омерзительным, что все эти «душераздирающие» сцены он сопровождал отрывками слышанных им песнопений христов, что должно было произвести впечатление достоверности описываемого.

«Солдаты испражняются. Где калитка, где забор, Мережковского собор»… Так, по воспоминаниям Есенина, Клюев отзывался об этом плодовитом и популярном писателе.

* * *

…По всей России горели барские усадьбы, не прекращались террористические акты в городах, интеллигенция переживала первую русскую революцию, как праздник души. Власть отвечала соответствующими мерами. За 1905–1908 годы и начало 1909 года военно-окружные и военно-полевые суды вынесли 4797 смертельных приговоров, из которых 2353 были приведены в исполнение. Ключевым был вопрос о земле — и этот вопрос заходил в тупик при любой попытке его решения. Любые проекты и предложения, касающиеся отчуждения помещичьих земель и передачи их в собственность крестьянам, пресекались на корню верховной властью, ибо, как начертал на одном из таких проектов Николай II, — «частная собственность должна оставаться неприкосновенной».

Журнал «Трудовой путь», где в 1907 году начал печататься Клюев, так описывал в том же году прения по земельному вопросу в Думе: «Сколько же придётся заплатить за помещичьи земли? Разно: за одну больше, за другую меньше; но в среднем по России плата составит, по предложению кадета Кутлера, рублей 80 за десятину…

Частных имений, размерами более 50 десятин, в России 80 миллионов десятин. Положим, из них пойдут крестьянам 70 миллионов, а 10 останутся за нынешними владельцами. 70 миллионов десятин по 80 рублей составит 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей, — приблизительно *вшестеро больше того выкупа, который был наложен на крестьян при освобождении в 1861 году…*

Кадеты хотят повторить ту же штуку: дать урезанный, недостаточный надел с огромным выкупом, — *сделать крестьян неоплатными должниками помещиков и государства.* Разумеется, последствия будут те же: кулаки выдержат, справятся со своей частью уплаты и долга, а беднейшая масса крестьянства окончательно разорится и обезземелится…»

В том же «Трудовом пути» в том же году с крайним неодобрением описывался ещё один *проект* по наделению крестьян землёй, проект, до сих пор вызывающий у части нашей «элиты» приступы восхищения, а на самом деле ставший очередной миной, подведённой под государственный фундамент.

«Указ о разрушении общины.

Указом 9 ноября 1906 года правительство пытается произвести социальный переворот, экономическую революцию, перевёртывающую в самом корне крестьянский быт и связанное с ним миросозерцание.

Указ предписывает разрушение общины — насильственное разрушение, по желанию отдельных лиц, посредством „властной руки“ земского начальника; а в подворной России, где нет общинного землевладения — разрушение семейной собственности таким же порядком.

Реформа 1861 г. дала возможность крестьянам развязаться с общиной, если она им не по нутру… Но почти полстолетия прошло со времени 1861 г., а случаев уничтожения общинного землевладения крестьянами почти не было, мало того, в тех немногих случаях, когда оно состоялось, крестьяне позднее сожалели о своём решении и пытались вернуться к общинным порядкам. Наоборот, общинное право прогрессировало в смысле уравнительного пользования: переделы по числу душ в семье постепенно распространялись, вытесняя менее справедливые переделы по числу работников…»

«…Разорить народ, обезземелить миллионы, вызвать междоусобную войну в деревне… стоит ли задумываться о таких пустяках!» — возмущался автор статьи столыпинским указом, принятым «без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы», — и продолжал: «Каковы будут последствия указа, если он осуществится на практике?.. Война между крестьянами в каждой общине; поножовщина по всем деревням; быстрое обезземеливание даже не миллионов, а десятков миллионов крестьян, которым останется только либо умирать с голода, либо жечь и грабить».

Из номера в номер печатались тревожнейшие материалы по «земельной реформе». И все они так и остались гласом вопиющих в пустыне.

Столыпинская реформа, к которой сам Столыпин имел весьма косвенное отношение, призвана была свести революцию на нет, но на деле лишь подбрасывала поленья в революционный костер. Крестьяне, в своём абсолютном большинстве, не желали ни выходить из общины, ни переселяться на казённые земли, о чём недвусмысленно заявляли в своих посланиях: «Если вы уже очень хвалите Сибирь, то переселяйтесь туда сами. Вас меньше, чем нас, а следовательно, и ломки будет меньше. А землю оставьте нам».

«Мы в кабале у помещиков, земли их тесным кольцом окружили наши деревни, они сытеют на наших спинах, а нам есть нечего, требуйте во что бы то ни стало отчуждения земли у частновладельцев-помещиков и раздачи её безземельным и малоземельным крестьянам. Казённых земель у нас нет, а переселяться на свободные казённые земли в среднеазиатские степи мы не желаем, пусть переселяются туда наши помещики и заводят там образцовые хозяйства, которых мы здесь что-то не видим».

«Закон этот через 10–15 лет может обезземелить большую часть населения, и надельная земля очутится в руках купцов и состоятельных крестьян-кулаков, а вследствие этого кулацкая кабала с нас не свалится никогда».

Более трети из тех, кто выделился из общины, продали землю или разорились. 60 процентов из переселившихся в Сибирь вернулись обратно, также совершенно разорившиеся, лишившись даже той помощи, которую оказывала община. Оставшиеся переселенцы в годы Гражданской войны почти все взяли в руки оружие, став красными партизанами в лютой братоубийственной бойне, где на стороне белых сражались коренные сибиряки.

Таков был заключительный «аккорд» столыпинской «симфонии».

…В том же номере «Трудового пути», где безвестный, укрывшийся под инициалами автор трезво рассуждал о Столыпинской реформе, обсуждался ещё один животрепещущий вопрос тех накалённых лет. Сообщалось, что о. Иоанн Кронштадтский «в Петербурге на Афонском подворье читает лекции „О жидах вообще и в частности о погромах“». Далее со ссылкой на «Биржевые ведомости» излагалось, что «евреи сами устраивают себе погромы, и в этом виден перст Божий, наказующий их за прегрешения против правительства», а также приводилась «Прокламация Почаевской лавры»: «Демократам суждение народное — побои и виселица. Дай, Господи, чтобы так было всегда!»

Но никакие виселицы уже не могли остановить сошедшую

лавину.

* * *

Крестьяне таки прислушивались к прениям в Думе, изнемогавшей в своих распрях. Но не более. Они сами пытались решить свою судьбу, не дожидаясь «милости» сверху.

В январе 1906 года в Вытегре было заведено «дело» «О заарестовании в порядке охраны крестьянина Николая Клюева». 25 января уездный исправник Качалов отмечал в протоколе, что «Клюев по своим наклонностям и действиям представляется вообще человеком крайне вредным в крестьянском обществе», а 26 января направил олонецкому губернатору подробный рапорт о вреде, принесённом Клюевым: «24 сего января в 11 часов дня я получил донесение полицейского урядника 2 уч<астка> 2 стана, который донёс, что проживающий в Макачевской вол<ости> дер<евне> Желвачёвой сын сидельца Алексея Клюева — Николай Клюев, 22 сего января, находясь на Пятницком сельском сходе в деревне Косицыной, возмущал бывший на сходе народ, говоря, что начальники ваши есть кровопийцы ваши, что они вам делают только худо, что по милости их, дворян и помещиков, стало всё дорого и всё падает на мужиков, причём урядник доказывает, что на этом сходе составлен приговор о том, чтобы в Пятницком обществе (Пятницкой крестьянской общине. — *С. К.)* стражников не было, и что тут же Николай Клюев избран уполномоченным в Государственную Думу. Кроме сего урядник донёс, что тот же Клюев 14-го января, будучи в Макачевском волостном правлении, в частных разговорах высказывал, что платить податей совсем не надо и нужно отобрать землю у священников.

По поводу этого донесения я 25 числа отправился в Макачевскую волость за 28 вёрст и после собранных негласно сведений <…> я произвёл в помещении Клюева обыск, но никакого печатного приговора, а равно каких-либо прокламаций или запрещённых листков не нашёл (думаю, что могущее составлять интерес для дела скрыто)».

Далее Качалов перечислял бумаги, обнаруженные у Клюева, среди которых, в частности, были письмо от крестьянина Ильи Абакумова с просьбой о присылке постановлений первого учредительного съезда Всероссийского крестьянского союза, письма от «Народного кружка», а также собственные клюевские рукописные сочинения.

«Расспрошенный Клюев на мои вопросы отозвался, что

печатный приговор как образец для ознакомления крестьянских обществ и составления приговоров был ему прислан из „Бюро Всероссийского Крестьянского союза“ и он его читал на сходе; причём после долгих обдумываний сказал, что приговор, сколько помнит, заключал в себе следующие требования крестьян:

1) управления не чиновниками, а выборными от народа, 2) обязательного бесплатного обучения, 3) отмены всех исключительных законов, 4) отмены смертной казни, 5) освобождения всех заключённых по политическим причинам, 6) свободы союзов, собраний, слова, печати и 7) чтобы земля была отобрана частию без платы, частию за плату (подразумеваются, как говорит Клюев, частные и удельные земли). <…>

Дознанием ещё подтверждается, что Клюев, будучи в Макачевском волостном правлении 14 января, говорил, что податей платить совсем не надо и что нужно отобрать землю от священников.

Кроме этого мною получены сведения, удостоверенные расспросами станового пристава учениками гончарной мастерской при Верхне-Пятницком земском училище, что тот же Николай Клюев летом прошедшего года приходил как-то в мастерскую и говорил: „Крестьяне напрасно платят казённые подати и разные сборы, и все получаемые с крестьян деньги идут в карман начальства, которое чрез это обогатилось и ездит в золотых каретах, и начальство это обязательно нужно бить“. Затем говорил, что „скоро будет время, когда всё это начальство уничтожат, тогда всё будет дёшево, так как ни на что акциза и пошлин не будет, и тогда крестьяне что захотят, то и будут делать“…

Наконец, ещё к пополнению всех изложенных обвинений, падающих на Клюева, я имею сведение, что он, будучи на прошедших святках в городе Вытегре, был на маскараде в общественном собрании, одетый в женское платье, старухою, и здесь подпевал вполголоса какие-то песни: „Встань, подымись, русский народ“ и ещё песню, из которой мне передали только слова: „И мы водрузим на земле красное знамя труда“. При этом, как на этих днях надзиратель Медведев узнал от местного торгующего еврея-мещанина Льва Крашке, что Клюев на означенном маскараде между прочим рассказывал, что он пробирается в Кронштадт к о. Иоанну Кронштадтскому, критиковал его действия и, проводя разговоры о политических делах и беспорядках, выражался, что и 50 000 крестьян Олонецкой губ<ернии> всем недовольны и готовы к возмущению, причём, обращаясь к еврею Крашке, говорил: „Смотрите, и вы на первом плане“. Причём бывший при этом

другой торгующий Иван Воробьёв, будучи порядочно выпивши и слыша такие слова, толкнул Клюева, сказав: „Уйди с добра, а то тебя приберут“. Здесь же, как объяснил надзирателю Воробьёв, Клюев говорил что-то в революционном духе, но, будучи пьян, он ничего не понял, а припоминает только, что он между прочим спрашивал его, каких он убеждений. Донесение по этому предмету надзирателя приобщено мною к делу.

На основании таких данных я составил протокол, которым подвергнул Николая Клюева аресту при тюрьме, в которую он и заключён впредь до особых распоряжений».

В этом рапорте обращают на себя внимание и конспирация, применяемая Клюевым (переодевание в старуху), которую он хорошо усвоил во время своих странствий, и певшиеся им песни на слова Лаврова и Радина («Русская марсельеза» и «Смело, товарищи, в ногу…»), и то, что по сути ему инкриминировалась лишь антиправительственная пропаганда (немало, впрочем, по тем дням). О работе Клюева в качестве «уполномоченного» в Государственной думе и о его контактах с о. Иоанном Кронштадтским до сего дня ничего не известно. Самого главного — о прокламациях, о приобретении оружия — «начальство» тогда не узнало — того, о чём Клюев писал из тюрьмы в письме, адресованном «Политическим ссыльным в г. Каргополь Олонецкой губернии»: «Арест произведён за последний приговор о земле и лесах, которые общество объявило своими. За это только меня и обвиняют, в остальном же меня только подозревают. Я прекрасно знаю, мои дорогие братья, что здесь пропасть человеку очень легко — знаю, что кругом разбойники, но знаю и то, что бороться за решётками глупость; к тому же я имел дело и товарищество только с мужиками. Дорогие мои, как будете в Каргополе, то не найдёте ли возможным написать открытку — в Ярославль губернский, Духовная улица, типография наследников Фальк — Н. И. Ушакову для Лаптева Александра, сообщив о моём аресте и адрес: Вытегра, Н. Клюеву, он — адвокат и может помочь. Если же откроется всё, то мне не миновать ссылки…

Мне необходимо знать ваши фамилии и имена. Предлагаю писать вам в Каргополь. Простите, мои дорогие, если я вам скажу следующее: олонецкие города — это притон попов, стражников и полицейских. Ваша храбрость и надежда на пулю всем покажется разбоем, поэтому на время ссылки вы должны жить как *все*, если желаете приискать квартиру и хлеб. Здесь перебывали сотни молодых и благородных людей, но редко кто не забывал свои убеждения до сорока… Этим только и страшна ссылка. Пишу это потому, что до тонкости знаю каргопольскую жизнь, где, кроме

церковных порогов, буквально негде кормиться. Преклоняюсь перед вашим страданием. Верю, что вы и в пропастях ссылки останетесь такими же, какими кажетесь мне. Я, отказавшись от земли и службы, — пешком с пачкой воззваний обошёл почти всю губернию, но редко где встречал веру в революцию — хотя убивать и грабить найдутся тысячи охотников… Сообщите, если знаете, адрес революционного местного комитета. Кстати, из какого вы города? Быть может, придётся увидеться, и очень отрадно, если у вас вера, что у меня те же убеждения».

Письмо человека, готового страдать за свои убеждения, переживающего, что он волей-неволей участвует не в той революции, о которой мечтает, чувствующего необходимость ободрить и поддержать товарищей по несчастью, о которых он знал ещё до тюрьмы, и одновременно внушить им необходимость слиться с окружающей жизнью «притона попов, стражников и полицейских». Духовная несломленность и душевная смута — вот что бросается в глаза в этом письме, перехваченном провокатором.

Провокатора звали Михаил Иосифович Кан. Газенпотский мещанин, который был выслан ввиду военного положения из Курляндской губернии в Каргополь, написал начальнику жандармского Олонецкого управления: «Имею честь сообщить, что я… до высылки служил агентом Курляндского жандармского управления, …что у меня есть много важных улик против Николая Клюева, содержащегося в Вытегорской тюрьме. Каргополь, 3 марта 1906 года».

Получив это донесение вместе с клюевскими записками, ротмистр Штандаренко наложил на него резолюцию: «Ввиду имеющихся неблагонадёжных сведений о Кане прошение оставить без последствий, о чём его не уведомлять. Исправнику же сообщить о неослабном надзоре за Каном. Запросить полковника Дремлюгу о Кане».

Тринадцатого апреля, в день наложения сей резолюции, пришло сообщение из канцелярии губернатора: «…Мещанин Михаил Кан, по уведомлению курляндского губернатора, состоял агентом при жандармском управлении, но доставляемые им сведения были неверны, и, в общем, он пользовался положением агента в интересах лиц, политически неблагонадёжных».

С записок Клюева были сняты копии, а в Каргополь ушёл запрос «о нравственных качествах и служебных достоинствах Кана». 2 мая пришёл ответ: «Мещанин М. Кан, служа в качестве агента… и будучи крайне любостяжателен, давал неверные сведения для лишнего получения денег, о чём и сообщаю Вашему Высокоблагородию. Полковник Дремлюга».

Так провокатору было отказано в его дальнейших услугах. К этому времени жандармов Российской империи, надо полагать, «достали» многочисленные провокаторы, сочинявшие в своих донесениях что было и чего не было — ради хорошей платы за услуги. При этом сами провокаторы продолжали деятельность бомбистов, террористов, боевиков, агитаторов — так что уже невозможно было определить, где собственно революционер, а где — полицейский агент. Случай с Каном был на поверхности — другие случаи до сих пор не расшифрованы до конца.

«Впервые сидел я в остроге 18 годов от роду (было ему тогда на самом деле 22 года. — *С. К.),* — вспоминал Клюев в 1923 году, — безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой.

Начальство почитало меня опасным и „тайным“. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы, плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мне гложет…»

После четырёх месяцев в вытегорской тюрьме он был доставлен в петрозаводскую. Причём сначала значился в графе «пересыльные», потом попал в разряд «ссыльных» и после — переведён в «срочные». Последний перевод состоялся 13 июля, а 26-го Клюев вышел на волю.

Кстати говоря, в жандармской анкете отмечено со слов самого Клюева: «Окончил Вытегорское городское училище; был один год в Петрозаводской фельдшерской школе, которую оставил по болезни». Документальное свидетельство этого — протокол заседания педагогического совета фельдшерской школы от 2 июня 1903 года, где упоминается имя будущего поэта. Что же до болезни — разнообразные недуги его уже не отпустят. Домой он вернулся изрядно подорвавшим здоровье.

Однако Клюев вышел из тюрьмы отнюдь не надломленный — готовый возобновлять старые связи, искать новых соратников, продолжать свою борьбу.

Александр Копяткевич, один из руководителей Петрозаводской группы социал-демократов, вспоминал: «Митинги в лесу в 1906 г. привлекли большое количество рабочих… Помню выступление летом 1906 г. на одном из митингов известного поэта Николая Клюева. Он только что был выпущен из Петрозаводской тюрьмы, где просидел 6 месяцев за чтение революционной литературы и „Капитала“ — Маркса (как сам Николай Клюев рассказывал). …после моего выступления о помощи ссыльным он обратился с речью, называя собравшихся: дорогие братья и сёстры, и произвёл своей апостольской речью очень сильное впечатление. В период 1905–1906 гг. Н. Клюевым было написано очень много стихотворений революционного

содержания. Мне он подарил более 60 своих революционных стихотворений, которые у меня, к сожалению, не сохранились…»

Из вышеприведённых документов видно, что Клюев сидел отнюдь не за «чтение революционной литературы», а что касается «Капитала» — бесспорно, Николай его читал, но источником его революционных устремлений явно была не эта «библия марксизма». Из «многих стихотворений революционного содержания» до нас дошло меньше десятка, и почти все они были опубликованы в сборниках «Прибой», «Волны» и в журнале «Родная нива». И уже не определишь, сколько из стихотворений, написанных к тому времени, было собственно «революционных».

«Апостольская речь» была опубликована 13 августа 1906 года в петрозаводском еженедельнике «Олонецкий край», правда, выступавший не назван по имени, но все, пишущие о Клюеве, сходятся на том, что в заметке «Митинг на кургане» воспроизведена именно речь молодого поэта, а в преамбуле к этой речи ощутимы следы клюевского пера.

«Высок курган, вершина его осенена крестом — символом смерти Учителя униженных и оскорблённых. Чудный вид раскидывается перед многочисленной толпой участников митинга. В солнечном свете нежится чудная ширь, — в глубокой синей дали виднеются заонежские острова, белеет Климецкий монастырь. В другой стороне видна река Шуя, видны озёра, текущиеся цепью меж высоких лесных холмов. Чудная картина, не оторвал бы глаз от неё.

У креста, на груде камней, несколько возвышаясь над толпой, стоит человек, и речь его далека от этих красот природы. Все ему жадно внимают:

— Товарищи! Мы рабы, мы угнетены, за нас никто, против нас все; прежде всего наше правительство — приказчик капитализма! Объединяйтесь! Лишь в единении сила.

Дорогие товарищи, братья! Я шесть месяцев просидел в тюрьме только за то, что сказал крестьянам, что есть лучшая жизнь на земле, что есть средства бороться с тиранией! Дорогие товарищи-братья! В Олонецкой губернии жили сотни страдальцев за ваше лучшее будущее. Эти страдальцы заброшены в глушь деревень на голодную смерть. Помогите этим мученикам народного дела, не дайте им погибнуть, не дайте им пасть жертвой насилия!

Товарищи! Сперва разогнали Думу, теперь начинают убивать депутатов Думы. Наёмный убийца не пощадил одного из первых сынов России, Михаила Яковлевича Герценштейна. Так мстит умирающий тиран народу, так мстят тираны борцам за народное дело. Позор палачам, ненависть угнетателям, месть убийцам!

Товарищи, ещё долго, может быть, будут нас расстреливать и вешать, долго ещё потому, что ещё не все угнетённые, не все рабочие и крестьяне понимают, что в единении сила. Много ещё среди нас отсталых, робких, не разорвавших ещё связей со старыми суевериями. Товарищи! Объединяйтесь сами, зовите за собой других, объясняйте всем, что народ ограблен, ограблен только потому, что ещё не все реки и ручейки освободительного движения слились в один могучий поток!..»

Эта речь больше похожа на выступление записного пропагандиста тех времён, мало того что совершенно лишённое индивидуальных красок, но ещё и обнаруживающее явное непонимание сути происходящего. Под «старыми суевериями» оратор мог понимать привычные упования «рабочих и крестьян» на «доброго царя»… Что же касается «одного из первых сынов России, Михаила Яковлевича Герценштейна», то этот депутат Государственной думы от кадетской партии поплатился жизнью за выступление, в котором погромы помещичьих усадеб восторженно назвал «иллюминациями»… Убийство организовал петербургский градоначальник В. М. фон дер Лауниц, убитый, в свою очередь, 21 декабря 1906 года, знавший не понаслышке об этих погромах (до своего последнего назначения он был тамбовским губернатором). Самому Герценштейну не было ни малейшего дела до крестьянских чаяний — но было «большое» дело до уничтожения исторической и культурной России, как совершенно справедливо отметил в своих воспоминаниях В. В. Шульгин.

В «Письме политическим ссыльным» Клюев указал для возможной связи один адрес «кружка социалистов-революционеров», много значащий для него не только в плане «явочной квартиры»: «Петербург, — Васильевский остров, Большой проспект, дом № 27, кв. 4, Марии Михайловне Добролюбовой. Сюда можно обращаться и за денежной помощью, только я думаю, и этот кружок арестован, хотя месяц назад был цел». Тогда гроза миновала, но беспокойство Николая было вполне обоснованно и по-человечески понятно: Мария Добролюбова и её сестра Елена были в этот период, пожалуй, наиболее близкими ему духовно людьми. Мария, бывшая сестра милосердия в Русско-японскую войну, была членом партии эсеров и запомнилась яркими выступлениями на митингах. О её авторитете свидетельствует запись Александра Блока: «Главари революции слушались её беспрекословно… Будь она иначе и не погибни — исход революции был бы совсем иной». Можно узреть и скрытый смысл в этих словах: эсеры не боялись ни своей, ни чужой крови, но Мария и здесь выделялась на фоне этой

отмороженной стаи. Назначенная на террористический акт и понимая, что ждёт её в случае отказа — она предпочла покончить жизнь самоубийством… Она писала стихи, которые, при всём их несовершенстве, не могли не находить отзвука в душе Клюева: «Ветерочек лепесточек мой, шутя, колышет, / всякий странник и изгнанник мои песни слышит».

Таким же «странником и изгнанником» был её родной брат — Александр Михайлович Добролюбов, «пречистая свеченька», как написал о нём впоследствии Клюев, — странствовавший по Олонецкой и Архангельской губерниям, одно время проживавший в Соловецкой обители в конце века и, не исключено, пересекавшийся на своих таинственных путях с Николаем.

Да, это был не Мережковский, ходивший «в народ», как на экскурсию, и приспосабливавший увиденное и услышанное под свои мировоззренческие концепции. Это был человек, живший, как писавший, и писавший, как живший, — человек, в котором Клюев, только приступавший к серьёзному поэтическому творчеству и колебавшийся в выборе будущего жизненного пути, не мог не почувствовать родную душу.

Елена Добролюбова стала для Клюева такой же духовной сестрой, как и погибшая Мария. К ней обращено стихотворение, истинную дату которого трудно установить, как, впрочем, и практически все даты недатированных клюевских стихотворений, опубликованных много позже их написания. А это — с характерным названием «Предчувствие» — относят к 1909-му. Но, судя по стилю, оно создавалось годом-двумя раньше — вскоре после самоубийства Марии.

Пусть победней и сумрачней своды,
Глуше стоны замученных жертв,
Кто провидит грядущие годы,
Тот за дверью могилы не мертв!
Не тебе ль эту песню, голубка,
Я в былом недалёком певал, —
Бился парус… Стремительно шлюпка
Рассекала бушующий вал.

Видимо, позднее, году в 1908-м, было написано другое, более совершенное стихотворение — «Зимняя сказка», — также посвящённое Елене и опубликованное уже без заглавия и без посвящения… Здесь духовная сестра уже является в вещем сне той, что отдалённо напоминает и клюевскую мать, вечно строгую в своей сдержанной печали, и её единоверок, и тех «сестёр», что встречал «брат Николай» в своих странствиях и исканиях.

Елена Добролюбова после Октября покинула Россию и умерла на чужбине. Клюев об этом знать уже не мог.

А тогда, осенью 1907 года, он пишет ей письмо, где упоминает ещё одного ближайшего себе человека того грозового времени.

«Решился опять написать Вам — от Леонида Дмитриевича не получаю ничего, он велел мне писать В. С. Миролюбову, Тверская, 12, я посылал ему два заказных письма, но ответа не получал. Смею просить Вас — передать присланные стихи Миролюбову — или Л. Д.

Простите, пожалуйста, что я Вам пишу, но, поверьте, иначе не могу, не могу прямо-таки терпеть безответности. Очень тяжело не делиться с Леонидом Дмитр<иевичем> написанным. Если бы Вы знали мои чувства к нему — каждое его слово меня окрыляет — мне становится легче. 23 октября меня вновь зовут в солдаты — и мне страшно потерять из виду Леонида Дмитриевича — он моё утешенье.

9 месяцев прошло со дня моего свидания с Л. Д., тяжелы они были — долгие, долгие… И только, как свет небесный, изредка приходили его письма — скажите ему об этом.

Прошу Вас — отпишите до 23 октября, — а потом, поди знай, — куда моя голова — покатится».

Леонид Дмитриевич Семёнов, внук знаменитого путешественника, получившего в 1906 году для себя и всего своего потомства фамилию «Семёнов-Тян-Шанский».

Мария Добролюбова была страстной любовью Леонида и считалась его невестой. Сам же Семёнов, студент историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, начинал как поэт-младосимволист с подражаний Сологубу, Бальмонту, Брюсову и, в особенности, Блоку, а в общественной жизни — как ярый монархист-«белоподкладочник». После Кровавого воскресенья 9 января 1905 года он бросил университет и вступил в РСДРП. Опростившись и «уйдя в народ», Леонид Семёнов вёл революционную пропаганду среди крестьян Курской губернии, дважды был арестован, жестоко избит, а о гибели Марии узнал по выходе из тюрьмы. Пять раз был в Ясной Поляне у Толстого, которому привозил свои рассказы, и кроме тесного общения с Александром Добролюбовым поддерживал сношения с христами, скопцами и бегунами. До конца своих дней проживал в христовской общине в Данковском уезде Рязанской губернии.

Естественно, Николай не мог не сойтись с таким человеком. Трудно сказать, когда именно произошло их знакомство, но, скорее всего, оно состоялось через Крестьянский союз, членом которого был Леонид Семёнов.

В начале 1907 года Клюев в Санкт-Петербурге пытается завязать серьёзные литературные связи. О стихах, которые он показывал Леониду, у которого уже вышло «Собрание стихотворений» (единственный прижизненный сборник), появилась коротенькая информация в газете «Родная земля» в рубрике «Календарь писателя»: «В литературных кругах говорят о девятнадцатилетнем поэте-самоучке крестьянине г. Клюеве; как ни странно, но стихи его написаны в декадентской форме».

Собственно, из известных нам на сегодняшний день стихотворений Клюева этого времени в полном смысле слова «декадентскими» можно назвать лишь стихотворения «Вот и лето прошло, пуст заброшенный сад…» (и то здесь скорее не «декаданс», а нота «дворянской» поэзии, в которую вплетается нота мещанского романса) и, написанные в духе раннего символизма, «Немая любовь», «Мы любим только то, чему названья нет…», «Холодное, как смерть, равниной бездыханной…». Последнее стараниями Леонида Семёнова и было напечатано в «Трудовом пути». Клюев, ещё только начинавший обретать собственно поэтический голос, был, естественно, на этих порах заражён символистской поэтикой, казалось, вполне предназначенной для того, чтобы незримое, неведомое преподнести читателю на блюдечке, сервированное по всем правилам «нового искусства».

Мы любим только то, чему названья нет,
Что, как полунамёк, загадочностью мучит:
Отлёты журавлей, в природе ряд примет
Того, что прозревать неведомое учит.

Немолчный жизни звон, как в лабиринте стен,
В пустыне наших душ бездомным эхом бродит;
А время, как корабль под плеск попутных пен,
Плывёт и берегов желанных не находит.

И в этот ряд примет, знакомых по строкам Владимира Соловьёва, Николая Минского, Дмитрия Мережковского, Константина Бальмонта, вроде бы уже ставших общим местом для их последышей, вторгаются приметы родного поэту Русского Севера, и сама мелодия стиха обретает затаённую тревогу, словно притаившуюся в олонецком сосновом бору.

Избушка ветхая на выселке угрюмом
Тебя, изгнанницу святую, приютит,
И старый бор печально-строгим шумом

В глухую ночь невольно усыпит.

Но чуть рассвет затеплится над бором,
Прокрякает чирок в надводном тростнике, —
Болото мёртвое немереным простором
Тебе напомнит вновь о смерти и тоске.

А 15 июня Клюев пишет Леониду Семёнову; «Получил Ваше дорогое письмо, в котором Вы пишете, что одно моё стихотворение последнего присыла предложено „Русскому богатству“, а одно помещено в майской книжке „Трудового пути“. — За всё это я очень благодарю Вас… — Рассказ Ваш, про который Вы говорите — мне читать не приходилось. Читал только стихотворение „Проклятье“, но оно было вырезано из журнала и прислано мне в письме из Петрозаводска — по моей просьбе одним из моих товарищей. Стихотворение „Проклятье“ мне очень нравится: таким, как я, до этого далеко. Больше мне ничего Вашего читать не приходилось… Хотелось бы мне просить Вас прислать мне хотя ту книжку „Трудового пути“, в которой моё стихотворение, а в случае помещения в „Русское богатство“ — то и эту книжку. — Если и этого нельзя — то хоть что-либо из новых поэтов».

«Новых поэтов» Клюев читает жадно и придирчиво, постигая их систему образов и символов, вслушиваясь в музыку стиха… Близкого он находит себе немного, а его уничижение перед Семёновым, как перед поэтом, кажется несколько смешным даже на фоне тогдашних клюевских стихов, в отдельных строках которых уже ощущается мощь и твёрдость пера, Семёнову и не снившаяся.

В «Русском богатстве» стихи Клюева так и не появились. В письме упоминается, что Клюев послал Семёнову «8 писем — с 52 стихотворениями». Ни письма, ни стихи эти до сих пор не разысканы.

Кроме стихотворения «Проклятие» Семёнову принадлежит и одноимённый рассказ — сцены из жизни тюрьмы, описание тюремных нравов, живые и небесталанные портреты заключённых и стражников, подробное описание этапа и собственных переживаний во время оно. Скоро и Клюеву доведётся снова встретиться — не с этапом, а с тюрьмой. «Поди знай, — куда моя голова покатится…» — ведь писал, предчувствуя недоброе. И в письме Семёнову, спрашивая о том, какие стихи Николая тот отобрал для печати, уточнял строки стихотворения «Горниста смолк рожок… Угрюмые солдаты…», автоматически приписывая

их к другому стихотворению «Рота за ротой проходят полки…», пронизанному тем же настроением. Настроением ужаса при одной мысли о необходимости идти на военную службу и брать в руки оружие. Всё — и материнское воспитание, и религиозные убеждения, и пример того же Александра Добролюбова, а самое главное — ненависть к существующему строю, к династии, которую защищал штык солдата, присягавшего на верность, — всё вынуждало его к отказу от службы.

Казарма дикая, подобная острогу,
Кровавою мечтой мне в душу залегла,
Ей молодость моя, как некоему богу,
Вечерней жертвою принесена была.
И часто в тишине полночи бездыханной
Мерещится мне въявь военных плацев гладь,
Глухой раскат шагов и рокот барабанный —
Губительный сигнал идти и убивать.
Но рядом клик другой, могучее сторицей,
Рассеивая сны, доносится из тьмы:
«Сто раз себя убей, но не живи убийцей,
Несчастное дитя казармы и тюрьмы!»

…Стихотворение «Казарма» проникнуто чувством религиозного самоотречения, а «вечерняя жертва» не может не напомнить о молитве в Гефсиманском саду и римских легионерах, пришедших по Его душу… Та же казарма в стихотворении «Горниста смолк рожок…» — уже предстаёт «как сундук, волшебствами заклятый», что «спит в бреду, но сон её опасен, как перед бурей тишь зловещая реки»… И поэт чувствует, что настанет день: «взовьётся в небеса сигнальная ракета, к восстанью позовёт условный барабан…». Эти штыки, «отточенные для мести», ещё скажут своё — в феврале, десять лет спустя.

Клюева призвали в армию в ноябре 1907 года, о чём вспоминал он впоследствии не единожды.

«Когда пришёл черёд в солдаты идти, везли меня в Питер, почитай 400 вёр<ст>, от партии рекрутской особо, под строжайшим конвоем…

В Сен-Михеле, городок такой есть в Финляндии, сдали меня в пехотную роту. Сам же про себя я порешил не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала. Стал я отказываться от пищи, не одевался и не раздевался сам, силой меня взводные одевали; не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои под микитку, взглезь по мордасам, по поджилкам прикладом, молчал. Только ночью плакал на голых

досках нар, так как постель у меня в наказание была отобрана. Сидел я в Сен-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазеях петровских времён. Люто вспоминать про эту мёрзлую каменную дыру, где вошь неусыпающая и дух гробный…

Сидел я и в Выборгской крепости (в Финляндии). Крепость построена из дикого камня, столетиями её век мерить. Одиннадцать месяцев в этом гранитном колодце я лязгал кандалами на руках и ногах…»

Первая тюрьма была, что называется, «за дело». Да и сам он был в силах пострадать за «дело Христово», «дело народное». Теперь же не героем, а жертвой чувствовал он себя… Ужас разливался по всему телу, и совладать с ним не было никаких сил. Поэтому не стоит теперь, спустя десятилетия, сетовать на фактологические и хронологические сбивы в клюевском повествовании. На тюремные стены пришлось от силы два месяца, но никак не одиннадцать. Впрочем, впечатление было таково, что и один месяц мог сойти за год.

Весной 1908 года Клюев вернулся домой.

Единственным способом уклониться от военной службы и избежать тюремного заключения было медицинское освидетельствование с заключением о «малоумности». И вряд ли Клюев решился на симуляцию. Всё его поведение могло навести солдат и офицеров, да и врачей на мысль о самом натуральном психическом нездоровье. Да и физическое состояние от пребывания в казарме и тюрьме («Несчастное дитя казармы и тюрьмы»!) явно ухудшилось. Но родительский дом вернул Николаю душевное равновесие и спокойствие духа… А за время его отсутствия произошло много небезынтересных событий.

Глава 3
ВСТРЕЧА С «НЕЧАЯННОЙ РАДОСТЬЮ»

Именно Леонид Семёнов, близко знакомый с Блоком, обратил внимание Клюева на блоковские стихи. И Клюев сразу же выделил их из всей «новой поэзии». Брат, брат духовный… Так он почувствовал, так понял, так уверился — и особым символическим значением наполнилось для него название читаной книги — «Нечаянная Радость».

Первое письмо Блоку он послал ещё до своих злоключений «казармы и тюрьмы» — в конце сентября 1907 года.

«Александр Александрович!

Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с просьбой — прочесть мои стихотворения, и если они годны для печати, то потрудитесь поместить их в какой-либо журнал. Будьте добры — не откажите. Деревня наша глухая, от города далеко, да в нём у меня и нет знакомых, близко стоящих к литературе. Если Вы пожелаете мне отписать, то пишите до 23 октября. Я в этом году призываюсь в солдаты (21 год), и 23 октября последний срок. Конечно, и родные, если меня угонят в солдаты, могут переслать мне Ваше письмо, но хотелось бы получить раньше…»

Начало письма — не более чем почтительная просьба к известному поэту от начинающего, приславшего пять стихотворений. Но далее — Клюев делится впечатлением от блоковских стихов, и эти строки берут Блока за сердце: «Мы, я и мои товарищи, читаем Ваши стихи, они-то и натолкнули меня обратиться к Вам. Один товарищ был в Питере по лесной Части и привёз сборник Ваших стихов; нам они очень нравятся. Прямо-таки удивление. Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звёзды, как пенный след крылатых кораблей. И жаждется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный суд… И чудится, что ещё миг — и сухим песком падёт тяготенье веков, счастье не будет загадкой и власть почитанием. Бойцы перевяжут раны и, могучие и прекрасные, в ликующей радости воскликнут: „Отныне нет Смерти на земле, нужда не постучится в дверь и сомнение в разум. Кончено тленное пресмыкание и грядёт Жизнь, жизнь бессмертных и свободных, — как океан, как волны, как звёзды, как пенный след крылатых кораблей“».

Книга, которую читал Клюев — второй по счёту сборник

блоковских стихов. И слова Клюева — не просто пересказ предисловия Блока к «Нечаянной Радости»: «Слышно, как вскипают моря и воют корабельные сирены. Все мы потечём на мол, где зажглись сигнальные огни. Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли». И даже не сердечное переживание мотива «корабля верных», памятного по братству христов… Он посылает Блоку свои стихи с просьбой «поместить их в какой-либо журнал» и просит прислать «Нечаянную Радость» в личное пользование (ибо, как можно понять, с книгой этой он знакомился из рук неназываемого «товарища») — не из потребительских соображений… Это были внешние знаки, опознавательные сигналы, событийные жесты, приглашающие к мыслительному и душевному общению двух (Клюев это чувствует) духовных собратьев.

Он не ошибался тогда в своём ощущении. Ответное письмо Блока и присылка им «Нечаянной Радости» стали поводом для следующего — ещё более откровенного и взволнованного письма.

«Я получил Ваше дорогое письмо и „Нечаянную Радость“, умилён честью, которую Вы оказали мне Вашей сердечностью ко мне, так редко видящему доброе человеческое отношение.

В лютой нищете, в тёмном плену жизни такие переживания, какие Вы доставили мне, — очень дороги. Благодарю Вас!

Вы пишете, что не понимаете крестьян, это немножко стесняет меня в объяснении, поневоле заставляет призывать на помощь всю свою „образованность“, чтобы быть сколько-нибудь понятным. Раньше я читал только два отдела Вашей книги — „Нечаянная Радость“ и „Ночная фиалка“, остальное было вырвано, теперь прочёл всё и дерзаю сказать Вам, что несмотря на райские образы и электрические сны, душа моя как будто раньше видела их, видела — „Осеннюю волю“, молодость, сгубленную во хмелю, незнаемый, но бесконечно родной образ, без которого нельзя плакать и жить, видела Младу — дикой вольности сестру, „Взморье“ с кораблём, уносящим торжество, чаяние чуда и прекрасной смерти.

Простите мою дерзость, но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы Вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над Миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звёздными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю, в славословии и радости дав начало новому дню правды.

Вы — господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, не утолённых сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть

с высоты, когда всё, что внизу, кажется однородной массой, но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих, их души, подобные яспису и сардису, их рёбра, готовые для прободения.

Вот мы сидим, шесть человек, все читали Ваши стихи, двое хвалят — что красивы, трое говорят, что Ты от безделья и что П. Я. пишет лучше Вас, — за сердце щиплет, и что в стихотворении „Прискакала дикой степью“ слово „красным криком“ не Ваше, а Леонида Андреева, и что Вы — комнатный поэт, стихот<ворение> „День поблек — изящный и невинный“ — одна декорация и что после первых четырёх строк — Вы свихнулись „не на то“. Что такое „голубой кавалер“, нимб, юр? Что „Сказка о петухе и старушке“ — это пожар в причте. Милые, милые, дорогие мои братья! Я смотрю на них и думаю: призри с небеси и виждь, и посети виноград сей, юже насади десница твоя!

Наш брат вовсе не дичится „вас“, а попросту завидует и ненавидит, а если терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от „вас“ какой-либо прибыток. О, как неистово страданье от „вашего“ присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без „вас“ пока не обойдёшься! Это-то сознание и есть то „горе-гореваньице“ — тоска злючая-клевучая, — кручинушка злая беспросветная, про которую писали — Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без „вас“ пока не обойдёшься, — есть единственная причина нашего духовного с „вами“ несближения, и — редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь и денщиков, уже достаточно развращённых господской передней. Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что „вы“ везде, что „вы“ „можете“, а мы „должны“ — вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с „вашей“? Кроме глубокого презрения и чисто телесной брезгливости — никаких. У прозревших из „вас“ есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете Вы, и это ложь, особенно в Ваших устах, — так мне хочется верить. Я чувствую, что Вы, зная великие примеры ученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе. Так, как говорите Вы, может говорить только тот, кто не подвёл итог своему миросозерцанию. — И из Ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто „имеет на спине несколько дворянских поколений“.

Ещё я Вас спрошу: — хорошо ли делаю я, стремясь попасть в

печать? Стремлюсь же не из самолюбия, а просто чтобы увидеть реальный результат затраченной незримой энергии. — Окружающим же меня любо и радостно за меня, — они гордятся мной, просят меня, чтобы я писал больше. Присылаю Вам ещё стихотворений — напишите, чего, по-Вашему, в них не хватает. Я мучусь постоянным сомнением — их безобразием, но отделывать их некогда, надо кормиться, — а хлеб дорогой…

Пойду в солдаты, пропадут мои песни — про запас прощайте, примите на память мою любовь к Вам, к Вашей „Нечаянной Радости“.

Нельзя ли что-либо из моих произв<едений> поместить в „Русское Богатство“ или „Трудовой путь“? С „Трудового пути“ я получил 10 руб., за которые очень благодарен.

Если вздумаете писать, то пишите так: Олонецкая губ<ерния>, Вытегорский у<езд>, станция Мариинская, деревня Желвачёва. Клавдии Алексеевне Клюевой».

Если первое письмо — приглашение к диалогу, то второе — выявление сущностных смыслов этого начавшегося диалога. Клюев сперва делится с Блоком радостью от чтения блоковских стихов — причём радостью *общей,* его самого и его «товарищей». В ответ на уверение Блока, что тот «не понимает крестьян», — даёт понять, что не все крестьяне одинаковы. И демонстрирует это опять же на примере восприятия блоковской книги. И оказывается, со слов Клюева, что по-настоящему понимает Блока только он один, а «товарищи» ставят Блоку в пример Якубовича (который ещё недавно был для самого Клюева путеводным ориентиром в поэзии), упрекают в «плагиате» и «комнатности»… На сии упрёки Клюев лишь отвечает раскавыченным и усечённым стихом из Псалтири, где слышна молитва «Пастырю Израиля» о виноградной лозе, что «пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки» и которую ныне, оставшуюся без ограды, лесной вепрь подрывает и объедает лесной зверь: «Боже сил! Обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей; охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе». Такой же виноградной лозой представляется Клюеву «Нечаянная Радость», где само название связано с ликом Богоматери.

Не корит за непонимание, но жалеет Клюев своих земляков, и эту не унижающую жалость стремится передать Блоку, стремится вселить в него *своё* понимание существующего непреодолимого духовного раскола между «чёрной» и «белой» костью. Клюеву они — «милые братья», но и к Блоку он обращается, как к брату, и потому не приемлет его кажущихся серьёзными оправданий… При всей жёсткости выводимых на бумаге слов — тон Клюева совсем не жёсткий, он побуждает Блока каждой своей

интонацией, каждым стилистическим поворотом перешагнуть ту черту, что кажется Блоку непереходимой. И совершенно органичными видятся в письме строки о «холопской верности… развращённых городской передней»… Он даёт понять: письмо это пишет человек — вольный духом и телом, чьи предки не знали ни чужеземного ига, ни крепостного права, ни рабской униженности… И не стал бы писать Клюев подобного письма, если бы не почувствовал в Блоке человека, радеющего за народ, и не ощутил бы его поверхностного представления о духовной жизни народа, не понял бы, что Блоку нужна помощь в познании духовных поисков народа… Он и сам нуждается в Блоке, как в путеводителе по миру поэзии, где ещё не чувствует себя так уверенно. Он, подмастерье, нуждается здесь в мастере. А сам он для Блока может стать путеводителем на путях познания «невидимой России». Он хочет, чтобы Блок узрел в нём и поэта, и единомышленника, и друга.

Клюев пишет письмо, словно беседует с пришедшим к нему в соловецкую избушку. Пишет письмо, словно стихотворение в прозе. Здесь, в переписке с Блоком, и стал вырабатываться его уникальный стиль, в неразлагаемом единстве которого впредь будут существовать стихотворение, поэма, рецензия, статья, произнесённая и записанная речь, письмо. Складывается единый многожанровый текст, по образцу единых текстовых сплавов древних книжников.

Клюев безошибочно прочувствовал Блока и по стихам, и по ответному письму. 27 ноября того же года Блок пишет матери — единственному по-настоящему близкому человеку на протяжении всей его жизни. В его письме появляется «многомиллионный народ, который с XV века несёт однообразную и упорную думу о боге (в сектантстве)». И замечательное признание: «Письмо Клюева окончательно открыло глаза».

«Окончательно» — ибо к тому времени у Блока открылись глаза уже на многое. Он, по сути, был внутренне подготовлен к заочной встрече с Клюевым. За год до неё по заказу профессора Евгения Аничкова для первого тома («Народная словесность») «Истории русской литературы» Блок написал статью «Поэзия заговоров и заклинаний», работая над которой, впервые прикоснулся к потаённой народной стихии, воплощённой в устном слове.

На фоне этой работы создавались стихотворения из цикла «Пузыри земли» с его «болотными чертенятками», «тварями весенними», «болотным попиком», весной, венчающейся с колдуном, и «чертенятами и карликами», лобызающими подножия «своего, полевого Христа»… И «Пляски осенние», в

круговороте которых сам поэт ставится «вне условий обихода», «возбуждённый гневом, тоской и любовью», вовлекают его в круг, ставший сладким и непреодолимым соблазном, о котором писал Блок в очерке «Безвременье»:

«Открытая даль. Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности, о протекающих мигах, о пробегающих полосатых вёрстах. Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и ещё дальше, как рукавом, машут рябины, все осыпанные красными ягодами. Нет ни времени, ни пространств на этом просторе. Однообразные канавы, заборы, избы, казённые винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеётся и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сёл. Времени больше нет.

Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься, — даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний».

А далее будет «Русь» — «где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сёл. Где ведуны с ворожеями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах…». Этот соблазн припадания к русской потаённой стихии увеличивала тяга к староверчеству, которая всё сильнее и сильнее овладевала Блоком, — к понимаемому «в лес и по дрова» расколу, как магнитом, тянуло многих из его же рафинированного столичного круга. В «Поэзии заговоров и заклинаний» есть одно чрезвычайно значимое для Блока наблюдение: «…У старообрядцев сохранилось много „двоеверных“ заговоров, где упоминаются архангелы, святые, пророки; но имена их расположены на полустёртой канве языческой мифологии, и сами заговоры сходны вплоть до отдельных выражений с чисто языческими заклинательными формулами и молитвами…»

Эта сила неудержимо влекла Блока к себе, и он всё пристальнее вглядывался в лица, вчитывался в произведения людей, вышедших из народной стихии, из народного моря, взбаламученного революционным штормом. В журнале «Золотое руно», издававшемся на деньги младшего сына староверческой купеческой династии Рябушинских — Николая Рябушинского, он на протяжении 1907 года публиковал серию статей, одна из которых — «О реалистах» — стала яблоком раздора между ним и кругом его ближайших друзей-младосимволистов.

Черта была подведена, о чём он со свойственной ему предельной честностью написал 20 апреля 1907 года: «Реалисты

исходят из думы, что мир огромен и что в нём цветёт лицо человека — маленького и могучего… Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого — они плюют на „проклятые вопросы“, к сожалению. Им нипочём, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного „я“».

Окончательно всё прояснила публикация статей «Литературные итоги 1907 года» и «Религиозные искания и народ».

Всего лишь три года назад, летом 1904-го, Блок писал Евгению Иванову: «Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю Вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я Его *не знаю* и *не знал* никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то жёлчное, то равнодушное. Пустое слово для меня, термин, отпадающий, „как прах могильный“»… Пройдёт год, наступит 1905-й, рубиконный для многих и для Блока в том числе, а он продолжит в письмах тому же Иванову в том же духе и ещё более лаконично, и с ещё большим нажимом: «Что тебе — Христос, то мне — НЕ Христос». «Близок огонь опять, — какой — не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа».

Не Христа он пытался отвергнуть, а церковь, от которой тогда отшатывались многие и многие, ища собственный путь в поисках *своего* Христа — в богостроительстве, в богоискательстве, в религиозно-философских собраниях, в попытке припасть к староверчеству или к сектантству, смешивая этот интерес с интересом к самой чёрной мистике, спиритуализму, откровенным кощунствам… И Христос, плывущий в челне, появляется в его стихах, когда им всё неотступнее овладевает дума о русском расколе, а в конце октября того же года он напишет ещё одно стихотворение, — увидит себя уже не на кресте, а в муках, тех, что принимали ревнители старой веры, вздымавшие над собой двоеперстие: «Како крещусь, тако и молюсь»:

Меня пытали в старой вере
В кровавый просвет колеса.
Гляжу на вас. Что — взяли, звери?
Что встали дыбом волоса?

Глаза уж не глядят — клоками
Кровавой кожи я покрыт.
Но за ослепшими глазами
На вас иное поглядит.

…Оставшийся в одиночестве, не понятый ни родными, ни друзьями. Блок с радостью откликнулся на голос Клюева. Невозможно переоценить его узнавание, что где-то «во глубине России», в той среде, навстречу которой он ощупью пытается идти, нашёлся человек, для которого «Нечаянная Радость» не «кощунство», а радость подлинная, что он нужен как «учитель» тому, кто сознаёт свою нужность для самого Блока и не играет с ним, и не подлаживается к нему, а со всей откровенностью предостерегает его о далеко не идиллическом восприятии «их», тех, кто «имеет на спине несколько дворянских поколений», что среда эта не предназначена для «интеллигентских экскурсий», что ею нельзя «интересоваться», сохраняя при этом брезгливость и отчуждение.

* * *

Те, кто негодовал на Блока после появления «Интеллигенции и революции», могли бы вспомнить, что началось это негодование десятью годами ранее, после публикации статей «Литературные итоги 1907 года» и «„Религиозные искания“ и народ», где он процитировал несколько самых, по его мнению, жгучих отрывков из второго клюевского письма. Но начал он «Религиозные искания…» с самого насущного.

«Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо своё до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утончённости, исключительного себялюбия. Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы, если бы того хотела, стать очевидной для всех. Но люди не хотят становиться очевидными, всё ещё притворяются, что им есть что терять. Это понятно для тех, у кого ещё не перержавели цепи всяческих „отношений“, чьё сознание ещё смутно. Но это *преступно у* тех, кто помнит, что он родился в глухую ночь, увидал сияние одной звезды и простёр руки к ней, и к ней одной…

Мне скажут, что я говорю о невозможном, о том, о чём давно пора забыть, что я наивен, что литература давно перестала играть в жизни ту роль, какую играла когда-то. Возражений много, они известны; но я всё-таки говорю именно так; только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведь — звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть несвершившиеся, свои

замыслы, пусть недовершённые…»

И после этого Блок переходит к самим «религиозно-философским собраниям», к «образованным и обозлённым интеллигентам, поседевшим в спорах о Христе», к «многодумным философам и лоснящимся от самодовольства попам», которые «знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела… Это — тоже своего рода потеря стыда; лучше бы ничем не интересовались и никаких „религиозных“ сомнений не знали, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно посплетничать о Христе». Блок отделяет творчество ценимых им Мережковского и Розанова от их «религиозно-философской» деятельности… И в противовес всей этой мути, словесному кафешантану, которому он готов предпочесть кафешантан обыкновенный, приводит куски из Клюева, чьи слова кажутся ему «золотыми». И о «строительных началах в груди» Клюева (которого Блок называет в статье «крестьянином северной губернии, начинающим поэтом») и его товарищей, и о «ясных очертаниях сынов человеческих», и о «неистовом страдании» от сознания, что «без „вас“ пока не обойдёшься», и о крестьянском бегстве «в скиты и леса-пустыни», и о том, что по сути речь идёт о двух разных обществах в одном — не имеющих не только общего языка, но и каких-либо точек соприкосновения. Именно об этом и писал Клюев Блоку, упоминая «глубокое презрение и чисто телесную брезгливость» дворян в отношении к народу.

Заканчивает статью Блок рассказом о «грозном и огромном явлении» сектантства — и здесь его гневный сарказм становился уже невыносимым для слуха участников религиозно-философских посиделок, особенно для тех, кто устраивал домашние «радения» вроде того, что состоялось на квартире старого символиста Николая Минского, когда собравшиеся кружились по комнате, имитируя «хлыстовскую пляску», и пили воду с растворённой в ней кровью одного из участников, воображая себя участниками «хлыстовского жертвоприношения» в духе «художественных картин» Мережковского.

«Цитирую я пятикопеечную брошюру, изданную „Посредником“ (И. Наживин. „Что такое сектанты и чего они хотят“). В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журналах. Есть в них, например, описание тех страшных пыток, которым подвергали так называемых „сектантов“. Многие ли из аристократических интеллигентов наших дней выдержат сибирские пытки? Все почти издохнут под первой плетью; сами сгноили себя — свои мускулы, свою волю — на религиозных собраниях и на вечерах „свободной эстетики“».

Реакция не заставила себя ждать. В «Речи» появился фельетон Мережковского «Асфодели и ромашка»: «И Александр Блок, рыцарь „Прекрасной Дамы“, как будто выскочивший прямо из готического окна с разноцветными стёклами, устремляется в „некультурную Русь“… к „исчадию Волги“, хотя насчёт Блока уж совершенно ясно, что он, по выражению одного современного писателя о неудавшемся любовном покушении, „не хочет и не может“».

С Мережковским было всё ясно. Менее ясно с Василием Розановым, разразившимся хлёсткой статьёй «Автор „Балаганчика“ о петербургских религиозно-философских собраниях» в «Русском слове». Ядовито назвав Блока «Экклезиастом», он придирался к каждому слову его статьи, а религиозно-философские собрания назвал «одним из лучших явлений петербургской умственной жизни и даже вообще нашей русской умственной жизни на всё начало этого века». (Через шесть лет Розанов на своей шкуре узнает, что такое «свобода слова» в представлении участников этого «лучшего явления». После его печатных выступлений по «делу Бейлиса» он будет исключён из общества стараниями того же Мережковского, а также А. Карташёва, А. Мейера, Н. Соколова, В. Богучарского и впервые появившегося на собрании Религиозно-философского общества А. Керенского. Все поименованные персонажи входили в масонскую ложу «Великий Восток народов России».)

В финале «Автора „Балаганчика“…» Розанов бросает на совесть слепленный ком грязи в адрес Клюева, о котором не имеет ни малейшего понятия, основываясь лишь на процитированных Блоком фрагментах письма: «Этот бородач, подпоенный шабли или „пенистой лирикой“, но, скорее всего, кажется, „пенистыми“ похвалами и лестью Блока, который в чём-то перед ним „каялся“, совсем развалился перед барином и поучает его, что будто бы вся религиозность русского народа идёт… от зависти!.. Блок выбрал в корреспонденты неудачного „мужичка“… Перед ним он, как рассказывают, имел вид (в письмах) „кающегося дворянина“, и тот ему написал „такое“ в ответ, что-де „завидуем и ненавидим, а другого чувствия не чувствуем“. Печальное „объяснение в любви“. Нам кажется, и Блок — не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и „мужичок“ его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим „господам“».

Надо было впасть в сильнейшее раздражение, чтобы, пытаясь защитить своё любимое детище, не просто исказить смысл клюевских строк, но вложить в них диаметрально

противоположное написанному Клюевым, не понять и не почувствовать явленные в контексте блоковской статьи смыслы клюевского письма, столь схожие со смыслами розановского же сочинения «Психология русского раскола» десятилетней давности: «Есть две России: одна — Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз; с событиями, определённо начавшимися, определённо оканчивающимися, — „Империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьёв, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая — „Святая Русь“, „матушка-Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределёнными течениями, конец которых не предвидим, начало безвестно: Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного. На эту потаённую, прикрытою первою, Русь, — взглянули Буслаев, Тихонравов и ещё ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого зрения. К её явлениям принадлежит раскол».

В клюевских письмах Блок услышал: «Пробил твой час. Пора!» На протяжении всего 1908 года он пишет и публикует статьи, выдержанные в тональности, заданной в «Литературных итогах» и «Религиозных исканиях», принадлежащие к шедеврам литературной публицистики XX века: «Три вопроса», «Солнце над Россией», «Вечера искусств», «Ирония», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура»… В последней он опять будет приводить в свидетельство Клюева — фрагменты его статьи «С родного берега».

* * *

Статья эта была «подана» в виде письма Виктору Сергеевичу Миролюбову, редактору-издателю «Трудового пути». В январе 1908 года Клюев в письме ему из Николаевского военного госпиталя интересовался судьбой своих произведений. Но тогда уже дни журнала были сочтены. В марте он вышел под названием «Наш журнал» и тут же стал предметом пристального рассмотрения цензора Соколова, причём одним из материалов, особо обративших на себя внимание, стала анонимная статья «В чёрные дни», автором которой был Клюев.

«В этой статье, — отмечал цензор, — подъём революционного движения и его отлив рисуются в таких чертах, которые содержат

признаки возбуждения к изменническим и бунтовщическим деяниям». Это ещё мягко сказано, если учесть смысл огненных инвектив, обращённых против «златоустов», для которых в очередной (и далеко не в последний!) раз народ оказался «не таким», каким они его себе представляли.

«В страшное время борьбы, когда все силы преисподней ополчились против народной правды, когда пущены в ход все средства и способы изощрённой хитрости, вероломства и лютости правителей страны, — наши златоусты, так ещё недавно певшие хвалы священному стягу свободы и коленопреклонённо славившие подвиг мученичества, видя в них залог великой вселенской радости, ныне, сокрушённые видимым торжеством произвола и не находя оправдания своей личной слабости и стадной растерянности, дерзают публично заявить, что их руки умыты, что они сделали всё, что могли, для дела революции, что народ — фефёла — не зажёгся огнём их учения, остался равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции, не пошёл за великим словом „Земля и Воля“.

Проклятие вам, глашатаи, — ложные! Вы, как ветряные мельницы <…>, глухо скрипите нелепо растопыренными крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не простится вам. Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости.

<…> Народ-богочеловек, выносящий на своём сердце все казни неба, все боли земли, слышишь ли тех сынов твоих, кто плачет о тебе и, припадая к подножию креста твоего, лобзая твои пречистые раны, криком, полным гнева и неизбывной боли, проклиная твоих мучителей, молит тебя: прости нас всех, малодушных и робких, на руинах святынь остающихся жить, жить, когда ты распинаем, пить и есть, когда ты наполнен желчью и оцетом!..»

Эта огненная проповедь, где народ впервые у Клюева представлен распятым Христом, относилась не только к Михаилу Энгельгардту, который в статье «Без выхода» изобразил «русскую революцию пузырём, лопнувшим от пинка барского сапога». С не меньшим основанием её могли бы принять на свой счёт авторы грядущего сборника «Вехи», которые на полном серьёзе считали, что «весь идейный багаж, всё духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а следовательно, её история

есть исторический суд над этой интеллигенцией» (П. Струве), и уповали на власть, которая «своими штыками ограждает нас от ярости народной» (М. Гершензон).

Поистине, у интеллигенции была одна революция, а у народа — другая.

Слова Клюева о «мудрой осторожности перед опасностью» крестьянства, говорящие, что ещё нерастраченные силы затаились в тихом омуте, и о портретах террористки Марии Спиридоновой, которые вставляют в киот с лампадками, — окончательно решили участь журнала с его статьёй: он был подвергнут уничтожению «посредством разрывания на части».

Клюев таился. Положение его после тюрьмы и казармы, из которой он вырвался ценой больших лишений и мук, было крайне неустойчивым.

Публикация отрывков из его письма Блоку явилась для него неприятной неожиданностью и сама по себе (он не рассчитывал на предание публичности частного письма), и с учётом ситуации, в которой он оказался. «Здравствуйте, господин Блок, — пишет Клюев из Желвачёва, уже не называя адресата по имени-отчеству и без особой сердечности. — Вы напечатали моё письмо. К чему это?» Переписку, однако, не прерывает, шлёт всё новые стихи, просит прислать «что-либо из новой поэзии», в частности книгу Александра Добролюбова «Из Книги Невидимой». Интересуется откликом Розанова на статью Блока. Просит сообщить, «куда можно посылать стихи кроме „Трудового пути“». И сообщает в одном из писем: «Я пробыл в Питере 4 месяца, хотел зайти к Вам, походил мимо дома, а потом раздумал». Видимо, чуял, что не пришло ещё время для личной встречи.

Увидятся они лишь через три года. А пока — обмениваются письмами, Клюев читает присланную новую книгу Блока «Земля в снегу», с ответным письмом отправляет ему свою статью «С родного берега». Это ещё один жест — судьбоносный для Блока.

Глава 4
«ВЕРЕН АНГЕЛА ГЛАГОЛУ…»

Статью «С родного берега» Клюев пишет как ответ на письмо Виктора Миролюбова и начинает с обращения: «Дорогой В(иктор) С(ергеевич)…» Летом 1908 года в письме Блоку Николай снова поминает блоковскую статью с цитатами из своего письма («А насчёт опубликованного письма не беспокойтесь, я не то чтобы разобиделся, а просто что-то на душе неловко: не договорил ли я чего, или переговорил, или просто не по чину мне битым быть») и сообщает о миролюбовской просьбе из Парижа: «От Миролюбова я получил письмо, просит написать ему что-нибудь показать французским друзьям, а переслать ему письмо нет никакой возможности, кроме как через Вас, потому что уж больно любопытно будет на почте да и многим другим — какие такие дела я с заграницей имею — человек-то я больно не форсистый, прямо подозрительно для знающих меня». С находившимся в эмиграции Миролюбовым Клюев регулярно переписывался, посылал ему стихи, но сам, находясь под наблюдением властей, стремился соблюдать максимальную осторожность. 1 сентября он посылает Блоку написанную статью — сама форма послания в публицистике была привычнее Клюеву, чем какая-либо. «Напишите, как Вам нравится эта статья? Меня она очень заботит», — просит Николай, а в следующем письме поясняет, почему со страхом и трепетом ждёт ответа: «Не хотелось бы мне брать на себя ничего подобного, так я чувствую себя лживым, порочным — не могущим и не достойным говорить от народа. Одно только и утешает меня, что черпаю я всё из души моей, — всё, о чём плачу и воздыхаю, и всегда стараюсь руководиться только сердцем, не надеясь на убогий свой разум-обольститель, всегда стою на часах души моей и если что и лгу, то лгу бессознательно — по несовершенству и греховности своим». Это искреннее уничижение дорогого стоит, если иметь в виду, что Клюев — человек из народа, пишущий интеллигентам — не ощущает в себе этого права «говорить от народа», он, знающий народ лучше и полнее, чем его корреспонденты. Вдвойне дорогого — если учесть содержание посылаемого в Париж «письма».

На «вопрос» об отношении крестьян к республике, к царской власти и об их «настроении» Клюев даёт *свой* ответ, при этом поясняя, — «чтобы понять ответ мужика, особенно из нашей глухой и отдалённой губернии… где люди, зачастую прожив на

свете 80 лет, не видали города, парохода, фабрики или железной дороги, — нужно самому быть „в этом роде“»…

И переходит к самому главному: «Нужно забыть кабинетные теории зачастую слепых вождей, вырвать из сердца перлы комнатного ораторства, слезть с обсиженной площадки, какую бы вывеску она ни имела, какую бы кличку партии, кружка или чего иного она ни носила, потому что самые точные вожделения, созданные городским воображением „борцов“, при первой попытке применения их на месте оказываются дурачеством, а зачастую даже вредом; и только два-три искренних, освящённых кровью слова неведомыми и неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: „Земля Божья“, „вся земля есть достояние всего народа“ — великое неисповедимое слово! И сердцу крестьянскому чудится за ним тучная долина Ефрата, где мир и благоволение, где Сам Бог.

„Всё будет, да не скоро“, — скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое „всё“ — с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет „греха“, что золотой рычаг вселенной повернёт к солнцу правды, тело не будет уничижено бременем вечного труда, особенно „отдажного“, как говорят у нас, т. е. предлагаемого за плату, и душа, как в открытой книге, будет разбираться в тайнах жизни».

Все эти «вожделения», которые оказываются «дурачеством», Клюев испытал на собственной шкуре, сталкиваясь с ссыльными революционерами и пропагандистами с Марксом на устах и вожделенной бомбой в кармане… А то, что формулирует он сам, — и есть живой образ «народного коммунизма», «христианского социализма», который так и не утвердился поныне на Русской земле, что и влечёт все нестроения, разлады и катастрофы.

«Но что же это за „политика“, — спросите Вы, что подразумевает крестьянин под этим словом, что характеризует им? Постараюсь ответить словами большинства. Политика — это всё, что касается правды, — великой вселенской справедливости, такого порядка вещей, где и „порошина не падает зря“, где не только у парней будут „калоши и пинжаки“, „как у богатых“, но ещё что-то очень приятное, от чего гордо поднимается голова и смелее становится речь. Знаю, что люди Вашего круга нашу „политику“ понимают как нечто крайне убогое, в чём совершенно отсутствуют истины социализма, о которых так много чиликают авторы красных книжек, предназначенных „для народа“. Но истинно говорю Вам — такое представление о мужике больше чем ложно, оно неумно и бессмысленно!..

„Чтобы всё было наше“ — вот крестьянская программа, вот чего желают крестьяне. Что подразумевают они под словом „всё“, я объяснил, как сумел, выше могу присовокупить, что к нему относятся кой-какие и другие пожелания…» Эти «пожелания» Клюев излагает уже более «конкретно» и «сниженно»: «…чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши… чтобы для желающих были училища и чтоб одежда у всех была барская, — т. е. хорошая, красивая…»

Что же касается «республики» и «монархии», — то об этих субстанциях у земляков Клюева было такое представление: «Республика — это такая страна, где царь выбирается на голоса, — вот всё, что знают по этому предмету некоторые крестьяне нашей округи. Большинство же держится за царя не как за власть, карающую и убивающую, а как за воплощение мудрости, способной разрешить запросы народного духа. „Ён должон по думе делать“, — говорят про царя. Это значит, что царь должен быть умом всей русской земли, быть высшей добродетелью и правдой».

Земляки, по *словам* Клюева, убили дьявола в себе, рассчитались в своей душе со страхом перед дьяволом земным, правящем Русью, — и апокрифы — один хлеще другого — и рассказы о видениях перемежаются «насущным»: «Песни крестьянской молодёжи наглядно показывают отношение деревни к полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже „за книжку“, ненависть ко всякой власти предержащей». И эти «песни» разрезают клюевский «отчёт», как глас народный:

Мы без ножиков не ходим,
Без каменья никогда,
Нас за ножики боятся
Пуще царского суда.
……
У нас ножики литые,
Гири кованые.
Мы ребята холостые
Практикованные.
Мы научены сумой —
Государевой тюрьмой.

Фольклор сельских оторв, деревенской трын-травы Олонецкой губернии, наружный вид которой «пьяный по праздникам и голодный по будням»… Алкоголизм — следствие разрушения общины и связанных с нею культурных норм и нравственных авторитетов, ощущения безысходности в порочном

круге (как и ныне), что с абсолютной точностью и передал Клюев в своём письме: «Пьянство растёт не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казёнки процветают яко крины, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова»… Потому все и живут «как под тучей» в ожидании, что «вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы Земли и восплачут те, кто распял Народ Божий» и «лишил миллионы братьев познания истинной жизни»… Песню хулиганистых оборванцев сменяет духовный стих олонецких скрытников, который через несколько лет станет эпиграфом к клюевскому «Скрытному стиху»:

По крещёному белому царству
Пролегла великая дорога,
Протекла кровавая пучина —
Есть проход лихому человеку,
Что ль проезд ночному душегубу,
Только нету вольного проходу
Тихомудру Божью пешеходу.
Как ему, Господню, путь засечен,
Завалён — проклятым чёрным камнем.

…Блок был потрясён этой статьёй. Сделав с неё копию, он делится своей радостью с ближайшими друзьями, которых становилось всё меньше и меньше. «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева (олонецкий крестьянин, за которого меня ругал Розанов). По приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который ещё и ещё утверждает меня в моих заветных думах и надеждах» (из письма Евгению Иванову). «Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспондецию из Олонецкой губернии от Клюева. Хочу прочесть Вам» (из письма Георгию Чулкову).

Неизвестно, сохранилась ли статья «С родного берега» у Миролюбова. Во всяком случае, нет никаких известий о том, что он собирался предать клюевские свидетельства и размышления гласности. Блок же перечитывал её несколько последующих лет. Он хотел дать свой ответ в печати, но оставил лишь записку: «Много промучившись над этим письмом, я, конечно, в январе 1914 г., решаюсь не отвечать. Хорошее письмо, а мне отвечать нечего, язык мой городской, а это — деревня». Переступить через проведённую им самим непреодолимую черту он так и не смог.

Но об этой черте, привлекая клюевский текст, он тогда, в 1908 году, скажет в Религиозно-философском обществе. 13 ноября он выступил с докладом «Россия и интеллигенция», где,

отталкиваясь от «Исповеди» Горького и посвящённого ей доклада Германа Баронова «О демотеизме», сформулировал давно выношенное: «С екатерининских времён проснулось в русском интеллигенте народолюбие и с той поры не оскудевало. Собирали и собирают материалы для изучения „фольклора“; загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний; исследуют русскую мифологию, обрядности, свадьбы и похороны; печалуются о народе, ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец *поняли даже душу народную;* но как поняли? Не значит ли понять *всё* и полюбить *всё* — даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, — не значит ли это *ничего* не понять и *ничего* не полюбить?»

Страшные вещи говорил Блок среди народолюбивых интеллигентов. Он говорил о «медленном пробуждении великана», пробуждении «с какой-то усмешкой на устах», усмешкой «мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слёзы, на соловьёвский хохот». Он говорил о «двух реальностях» — о полутораста миллионах, с одной стороны, и нескольких сотнях тысяч — с другой, не понимающих друг друга «в самом основном»… И не просто «не понимающих».

«Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие… Но тонка черта: по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам…»

Доклад вызвал бурю, на Блока нападали со всех сторон. Текст «России и интеллигенции» отказался печатать Пётр Струве, редактор «Русской мысли» и будущий автор «Вех». Сергей Городецкий, близкий знакомый, автор высоко оцененной Блоком «Яри», писавший ему ранее в одном из писем: «Ведь посмотрите, на какой путь Вы становитесь! Вам предстоит или стать Буддой, Магометом, Иисусом, т. е. создать новую моральную систему (Вы это очень точно выражаете формулой: чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня» — теперь, после объяснения, писал уже в ином тоне: *«Неправда* (NB), что я считаю тебя больше нашей темы — России. Только я родился в ней, а ты к ней пришёл. И корень вражды не здесь… Ты мне тягостен словами о пропасти между поэтом и народом. Я её не ощущаю. Её *нет.* И хочу, чтобы ты ощущал также».

То, что ощущал Блок, он с ещё большей резкостью высказал 30 декабря 1908 года в том же Религиозно-философском обществе, в докладе «Стихия и культура». У него не возникает ни малейших иллюзий относительно своих «соратников».

«Сердце сторонника прогресса дышит чёрною местью на землю, на стихию, всё ещё не покрытую достаточно чёрствой корой; местью за все её трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты — с пеной у рта строят машины, двигают вперёд науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь. И только иногда, просыпаясь, озираясь кругом себя, они видят ту же землю, — проклятую, до времени спокойную, — и смотрят на неё, как на какое-то театральное представление, как на нелепую, но увлекательную сказку.

Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё, — „стихийные люди“. Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна лёгким, предупреждающим подземным толчкам… Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу её, о монастырях, где стоит Статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь, — это „Она мчится по ржи“, о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, — обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот — „отдушина океана“. Земля с ними, и они с землёй, их не различить на её лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только всё на этой равнине ещё спит, а когда двинется — всё, как есть, пойдёт: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощённые Богородицы, пойдут с холмов, и озёра выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдёт вся земля».

Тут и пришёл черёд клюевского письма. Блок много цитировал его наряду с письмом некоего сектанта Д. Мережковскому и, сопоставляя сладкозвучные строки сектантского гимна с песней, приведённой Клюевым, приходил к убийственному выводу: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поёт про „литые ножики“, и те, кто поёт про „святую любовь“, — *не продадут друг друга,* потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, „земля Божья“, „земля — достояние всего народа“».

Там, где в свои права вступает жажда *вселенской справедливости,* жажда Тысячелетнего Царствия Божия на земле, — там не удовлетворишь её ни «экономикой», ни мнимым «единением», ни подачками с государственного или интеллигентского стола… «Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа.* Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на лёгком кружевном аэроплане, высоко над землёю; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскалённой лавы».

Тональность статей Блока меняется, в них отчётливо становятся слышны эсхатологические интонации, предчувствие грядущего апокалипсиса нагнетает тревогу, всё усиливается трагедийность тона. И эта перемена непосредственно связана с ещё одним клюевским письмом, которое Блок получил в конце октября 1908 года, ещё до своих выступлений.

Двенадцатого сентября, в разгар работы над «Песней судьбы», он помечает в записной книжке: «Записывать просто разговоры. Клюев. Новая Драма (тишина, зеркала вод в лесу, мужичья поступь). Мечты о журнале с традициями добролюбовского „Современника“. Две интеллигенции. Дрянность „западнических“ кампаний („Весы“, мистический анархизм и т. п.). *Единственный* манифест и строжайшая программа. Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с „Весами“. Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение».

Связавшись с «Золотым Руном», он предлагает туда же присылаемые стихи Клюева, два из которых печатаются там в октябре. Он присылает Клюеву свою новую книгу «Земля в снегу» — и получил на неё отзыв.

Поначалу Клюев благодарит за книгу и рассыпается в зачинных оговорках: «…Я очень стесняюсь много говорить про неё. Вы ведь сами человек образованный, имеете людей, понимающих искусство и творящих прекрасное, но что по-ихнему неоспоримо хорошо, то, по-моему, быть может безобразно, и наоборот. Взгляды на красоту больно заплёвывать, обидно и горько, может, и Вам выслушивать несогласное с этими взглядами. Если я читал Вашу „Нечаянную Радость“ и, поняв её по-своему, писал Вам про неё кой-что хорошее, то из этого ещё не значит, что я верно определю и „Землю в снегу“».

Но дальше: «До „Нечаянной Радости“ я не читал лучшего, а потому прельстился ею, как полустёртой плитой, покрытой пёстрыми письменами, затейливо фигурными знаками далёкой, незнаемой руки, в которых нужно разбираться с тихостью сердца

и с негордостью духа. Я не умею читать книгу с пеной у рта, и если вижу в написанном много личной гордости, самомнения, то всегда смотрю на это, как путник на развалины Ниневии: „Вот, мол, было царство, величие и слава, а стал песок попираемый!..“».

Снова идут сердечные слова о «Нечаянной Радости»: «Отдалённая, уплывающая в пьяный сумрак городских улиц музыка продрогшего, бездомного актёрского оркестра, скрашенная двумя-тремя аккордами псалтири. Уличная шарманка с сиротливой птичкой, вынимающей за пятачок розовый билетик счастья, с хозяином-полумущиной, с невозмужалой похотью в глазах, с жаждой встречи с вольной девой в огненном плаще, который играет и поёт только для того, чтобы слушали…»

Блок, читая новое послание, впитывает каждое слово и уже не в силах оторваться от листка. А Клюев всё заманивает, ласкает, неназойливо делится наболевшим, понятным лишь ему и Блоку: «Я недоумеваю, за что бранили меня публицисты, когда я высказал Вам впечатление, оставшееся от чтения этой книги, по бумажной ли привычке лаяться, по подозрению ли Вас в рекламе (хотя я не знаю, что было рекламного в моих словах) или по брезгливому представлению о нашей серости, по барскому отношению к простому человеку… Мне чувствуется, что отношения людей литературы умышленно нелепы и лживы. Литературные судьи, как и уголовные, избравшие своей эмблемой виселицу, служат смерти, осуждают во имя дьявола, а не во имя Духа истины, а потому и дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни — безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят, потому что оно всегда робкое, по капле нарождающееся».

Клюев только-только входит в литературу, а нелепость и лживость отношений в тамошнем мире чувствует сразу — по реакции на блоковский доклад. «Скажу я, что Ваши стихи красивы, — „господа“ публицисты догадаются: „Верно, Блок дал на сороковку“»… А ведь посмотришь то же «Золотое Руно» — и увидишь, как наряду с блоковскими статьями и клюевскими стихами там поминают «последнюю вспышку польской независимости», естественно, «жестоко погашенную», при описании польской старины в Румянцевском музее; прочитаешь первую песнь поэмы «Херувим» Станислава Пшибышевского под названием «Стезёю Каина», где сам Каин восклицает: «Ты изгнал нас из рая, а я создал рай новый, ещё более мощный, объемлющий небо и землю!»; «насладишься» рассуждениями Константина Бальмонта о «чувстве расы в творчестве» и о «нашем литературном сегодня»: там Вячеслав Иванов — «словесник-

дистиллятор… так-таки чувствуешь аптеку, и очень доброкачественные трубочки и пузырьки, наполненные смесями разных эссенций», но где «до луга и леса довольно далеко», а Блок «неясен, как падающий снег, и как падающий снег творит мечту. Приведёт ли куда, не знаю, хорошо, что порою уводит её…» Всё — от ума, а не от сердца, не от души. Всё — игра, а не жизнь. Даже остро подмеченное Георгием Чулковым сходство Блока «Снежной маски» и героя «Снежной королевы» Андерсена — всё словно напоминает складывание из льдинок красивого узора… Нет, он, Клюев, чувствует Блока иначе.

«…„Земля в снегу“ — символ голубиной чистоты и Духа высоты, но старый грех, караморная мусорность жизни, уродливой изначала, изъязвили целомудренный белый покров бурыми, как сукровица, проталинами „культурной“ страсти, за которой, несмотря на пышный художественный альков, настойчиво маячит мёртвый провалившийся рот. Смертная ложь нашего интеллигента это, как мне кажется, не присущее ему по Духу вавилонское отношение к женщине. Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны — сладкий яд в золотой, тонкой чеканки чаше, но кто вкусит от неё? Питьё усохнет, золотой потир треснет, выветрится и станет прахом. Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!»

И Блок, для которого жизненно важен диалог с Клюевым в этот период, Блок, знающий цену любому печатному или устному уничижающему слову, принимает, как должное, и этот упрёк Клюева, и следующий, ещё более болезненный: «Отдел „Вольные мысли“ — мысли барина-дачника, гуляющего, пьющего, стреляющего за девчонками „для разнообразия“ и вообще „отдыхающего“ на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти „Мысли“».

Блок ценит «Вольные мысли» едва ли не больше всего из написанного им за последний год. И тем не менее принимает клюевский упрёк, не упрёк даже, а скорее наставничество, и делится в письмах с матерью: «Всего важнее для *меня* — то, что Клюев написал мне длинное письмо о „Земле в снегу“, где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, например, за „Вольные мысли“). И я поверил ему в том, что *даже я,* ненавистник порнографии, подпал под её влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но ещё лучше, что указывает мне на это именно Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему. Письмо его *вообще* опять настолько важно, что я, кажется, опять опубликую его».

На это он получил уже разрешение от самого Клюева: «Если

пожелаете, то опубликуйте это письмо, а потом пришлите мне газету». Судя по всему, несохранившееся ответное письмо Александры Андреевны — матери Блока — было исполнено недоумения, и Блок счёл необходимым конкретизировать и уточнить своё впечатление от клюевской оценки: «Клюев мне совсем не только про последнюю „Вольную мысль“ пишет, а про *всё* (я прочту тебе его письмо, когда приеду я или ты) и ещё про многое. И не то что о „порнографии“ именно, а о более сложном чём-то, что я, в конце концов, в себе ещё люблю. Не то что я считаю это ценным, а просто это какая-то часть меня самого. Веря ему, я верю и себе. *Следовательно* (говоря очень обобщённо и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей): между „интеллигенцией“ и „народом“ есть „недоступная черта“. Для *нас,* вероятно, самое ценное в них враждебно, то же — для них. Это — та же пропасть, что между культурой и природой, что ли. Чем ближе человек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем яростней он ненавидит интеллигенцию».

Клюев желал, чтобы Блок переступил эту «недоступную черту», отрекшись от «трупного яда самоуслаждения», «вавилонского отношения к женщине», всего того, что Блок назвал «порнографией». Клюев разделял в Блоке великого поэта и «декадента» со всеми присущими ему свойствами. И Блок понял клюевское стремление видеть его «в своём стане», и с этим чувством читал и перечитывал заключительные строки клюевского послания: «Верю, что будет весна, найдёт душа свет солнца правды, обретёт великое „Настоящее“, а пока надтреснутый колокол пусть звенит и поёт, и вместе с вьюгой, лесными тропами и оврагами на огни родных изб несётся звон его — вспыхивает, как ивановский червячок в сумерках человеческих душ, отчего длиннее и кручиннее становится запевочка, крепче думушка сухотная, неотпадная, голее горюшко голое, ярче и больнее ненависть зеленоглазая, изначальная ярость земли-матери, придавленной снегами до часа и дня урочного».

Если бы не это клюевское письмо — не было бы и доклада «Россия и интеллигенция» в том виде, в каком он был написан и прочитан, не было бы и тех мыслей, которые Блок высказал в письме К. С. Станиславскому, написанному уже после доклада, в письме, где речь шла о возможной постановке «Песни Судьбы» на сцене Художественного театра.

«…Тема моя, я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений — живая, реальная тема; она не только *больше меня*, она больше всех нас; и она — всеобщая наша тема. Все мы, *живые,* так или иначе к ней же придём. Мы не пойдём — она сама пойдёт на нас,

уже пошла. Откроем сердце, — исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть проклятое „татарское“ иго сомнений, самоубийственной тоски, „декадентской иронии“ и пр., и пр., всё то иго, которое мы, „нынешние“, *в полной мере* несём.

Не откроем сердца — погибнем (знаю это, как дважды два четыре). Полуторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы „Великой России“ (по Струве) ни воздвигали. *Свято нас растопчет*; будь наша культура — семи пядей во лбу, не останется камня на камне.

В таком виде стоит передо мной моя тема, *тема о России* (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно *посвящаю жизнь.* Всё ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый *реальный…* Хочу, чтобы Вы услышали меня, чтобы Вы знали, что нет в моём „народничанье“, что ли, — тени публицистического разгильдяйства, что я ни в каком случае не хочу забывать „форму“ для „содержания“, пренебрегать математической точностью, строжайшей шлифовкой драгоценного камня. Но *камень-то,* который я, может быть, не сумел отшлифовать в „Песне Судьбы“, — он *драгоценен».*

Станиславский не услышал. Остальные были ещё более глухи. И Блок об этом вспомнит. Вспомнит о «неоткрывшихся сердцах». Уже после Октябрьской революции.

А тогда, облаянный Кусковой, Струве и остальными, Блок получил-таки свидетельство нужности своего выступления. В том же Религиозно-философском обществе к нему подошли сектанты с явным намерением встретиться в будущем и продолжить разговор.

* * *

Переписка продолжалась, и в письмах Блока Клюев чувствует лёгкий холодок отчуждения и пытается растопить этот ледок отчуждения своей воистину братской нежностью, обращая блоковские строки к самому Блоку.

«Письмо Ваше я получил, и оно мне дорого — потому справедливо, в одном фальшь, что Вы говорите, что я имею что-то против Вас за тяготение Ваше к культуре. Я не знаю точного значения этого слова, но чувствую, что им называется всё усовершенствованное, всё покоряющее стихию человеку. Я не против всего этого усовершенствованного от электричества до перечницы-машинки, но являюсь врагом усовершенствованных

пулемётов и американских ошейников и т. п.: всего, что отнимает от человека всё человеческое. Я понимаю Ваше выражение „Неразлучным с хаосом“, верю в думы Ваши, чувствую, что такое „Суета“ в Ваших устах. Пьянящие краски жизни манят и меня, а если я и писал Вам, что пойду по монастырям, то это не значит, что я бегу от жизни. По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ „с многих губерний“, живёт праздно несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать, к примеру, хоть „Слово Божие к народу“ (новое сочинение Клюева, не разысканное по сей день. — *С. К.)* и ещё кой-что „нужное“. Вот я и хожу и желающим не отказываю, и ходить стоит, потому удобно и сильно, и свято неотразимо. Без этого же никак невозможно.

Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казённого бога, пещь Ваалову Церковь, идолопоклонство „слепых“, людоедство верующих — разве я не понимаю этого, нечаянный брат мой!.. И не желать Вам мира, а я подразумеваю под ним высшую, самую светлую радость, — я не могу — сердце не дозволяет. Такой уж я человек зарожён, что от дум и восторгов и чаяния радости жизнь для меня разделена на два — в одном красота, „жемчуговые сны наяву“, в другом нечто „Настоящее“, про что говорить я не умею, но что одно со мной нерушимо, но что не казённый бог или „православие“…

Вам кажется странным, что Вы не знаете меня в лицо, а мне ничуть, я часто вижу Вас в своём внутреннем храме ровно таким, каким Вы чуетесь в письмах. Мне слышно, что Вам тошно от наружного Зла в жизни — это тоже знак благополучия, и радуюсь этому я высоко… Настоящее в человеке делается из ничего, это-то ничто и есть Всё. Желаю Вам большого Духовного страдания, „чтобы услышать с белой пристани отдалённые рога“, и на этот путь „если встанешь — не сойдёшь, и душою безнадёжной Безотзывное поймёшь“. Не мне бы говорить Вам об этом, но так хочется сказать Вам что-либо, от чего не страшна бы стала „пучина тёмных встреч“».

«Я не считаю себя православным, да и никем не считаю…» — это раскавыченные блоковские слова из письма Клюеву — и Клюев в ответ утверждает своё понимание этих слов и желает Блоку мира, и объясняет своё хождение по монастырям в наиболее понятных Блоку мотивах… Он жаждет продолжения диалога, а Блок пишет всё реже и реже, словно опасаясь чего-то, словно пытаясь отстраниться и закрыть от Клюева свою душу, однажды распахнутую, и самого Клюева объяснить себе в унизительных категориях, объясняющих его — Блока — холодность и отстранённость… «Пятый месяц пошёл, как не получал я от Вас весточки…», «Я очень обрадован Вашим

письмом, благодарен за теплоту Вашу…», «Четвёртый месяц от Вас не слыхать ничего, верно, Вы меня совсем забыли, но страшно не хочется верить в это…» Николай ждёт писем и уповает на духовное возрастание Блока, на ещё большее понимание им его, клюевской, правды жизни и искусства, а в ответ получает послание, наполняющее его душу горечью, которая, может быть, лишь намёком обозначена в его собственных строках: «Если бы Вы не упоминали почти в каждом письме про своё барство, то оно не чувствовалось бы мною вовсе. Бедный человек, в частности, крестьянин, любовен и нежен к человеку-барину, если он заодно с думой-тишиной, т. е. с самой жизнью, которую Вы неверно зовёте елейностью. Эта тишина-жизнь во всех людях одна, у бедных и неучёных она сказывается в доброте и ласке, у иных в думах, больше религиозных, у иных в песнях протяжных, потому что так ощутительней она. Так поют сапожники за работой, печники, жнецы, ямщики и т. д. У ненуждающихся и учёных, когда наука просто надоест, а это в большинстве так и бывает, живущая в человеке Тишина проявляется (как это ни странно) тоже в думах. Но думы всегда певучи, красочны — отсюда музыка и живопись, и живопись и музыка вместе — это книга — проза и поэзия»…

Наша радость, счастье наше
Не крикливы, не шумны,
Но блаженнее и краше,
Чем младенческие сны.

В серых избах, в казематах,
В нестерпимый крестный час.
Смертным ужасом объятых
Не отыщется меж нас.

Мы блаженны, неизменны,
Веря любим и молчим,
Тайну Бога и вселенной
В глубине своей храним.

В глубине храним, а не выставляем на торжище в нескончаемых наглых и нецеломудренных дискуссиях о «Христе» и «Антихристе»…

Таковы «жнецы вселенской нивы», живущие «тишиной-жизнью», несущие в себе Божественный свет, ибо «поле есть мир… жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» — по Евангелию от Матфея.

…Он пытается передать Блоку самое сокровенное, а в ответ

читает то, что потом пойдёт за ним чёрной тенью и при жизни, и после смерти — и про «елейность», и про попытки «указывать пути», и про «отторжение от культуры»… И чрезмерное подчёркивание Блоком — «я — такой, а Вы — другой»… И за всем этим — недоверие и попытки отстраниться. Клюев не верит этому недоверию, не хочет пока ещё верить.

«В Питере мне говорили, что Ваши стихи утончённы, писаны для брюханов, для лежачих дам, быть может, это и так *в общем,* но многое и многое, в особенности же „Тишина“ и какие-то жаворонковые трепеты, переживанья мгновенные — общелюдски, присущи каждому сердцу… И Ваше жестокое „Я барин — вы крестьянин“ становится пустотой — „*новой* ложью“, и уж не нужно больше „каяться“ (что Вы каялись раньше, мне почему-то не узнавалось). И верится, что „во тьме лжи лучится правда“ (слова из Вашего письма). Быть может, Вам оттого тяжело — что время летит, летит… или что я хорошо думаю о Вас, но не вскрывайте себе внутренностей, не кайтесь мне, не вспугивайте то малое, нежное, что сложилось обо мне в Вас. *Говорить про это много нельзя, иначе истратишь слова, не сказав ничего* (подчёркнуто в оригинале Блоком! — *С. К.)*. Понимаю, что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а скорее жалею Вас. Никогда не было в моих помыслах указывать Вам пути, и очень прошу Вас не считать меня способным на какое-либо указание… Желаю Вам от всего сердца Света, Правды и Красоты новой, здоровья и мужества переносить наружные потери жизни. Крепко желается не забыть Вас. Не отталкивайте же и Вы меня своей, быть может, фальшивой тьмою. Сам себя я не считаю светлым, и Вы не считайте меня ни за кого другого, как за такого же. Всякое другое мнение Ваше для меня тяжко…»

Клюев сам на распутье. Посылает Блоку стихи, спрашивает, что из них напечатано в том или ином журнале, а сам всерьёз думает бросить стихописание: «Пропадут мои песни, а может, и я пропаду»… Это не жалоба, это сомнение всерьёз — его ли это путь? «Буду молчать. Не знаю, верно ли, но думаю, что игра словами вредна, хоть и много копошится красивых слов, — позывы сказать, но лучше молчать. Бог с ними, со словами-стихами» (из письма Блоку от сентября 1909 года). Позже, в 1920-е годы, Клюев напишет в автобиографии: «Почитаю стихи мои только за сор мысленный. Не в них суть моя». А в «Гагарьей судьбине» ещё конкретнее: «Всё, что я писал и напишу, я считаю только лишь мысленным сором и ни во что почитаю мои писательские заслуги. И удивляюсь, и недоумеваю, почему по виду умные люди находят в моих стихах какое-то значение и ценность. Тысячи стихов, моих ли или тех поэтов, которых я знаю

в России, не стоят одного распевца моей матери».

Но — путь уже выбран. Не им, а свыше. И встречается на этом пути человек, который возносит Клюева до небес. И как поэта, и как пророка.

Иона Пантелеймонович Брихничёв, бывший тифлисский священник, издавал газету «Встань, спящий!», полную революционных воззваний. *«…Не должно быть господства и насилия…* За эту идею нас будут преследовать, потому что те, которые живут одним господством и насилием, должны преследовать борцов против них; потому что за эту идею Христа распяли; потому за эту идею людей вешают, расстреливают, в тюрьму сажают, священников сана лишают; чиновников, рабочих и других тружеников выгоняют со службы, лишают права трудиться и обрекают на голод. Мы всё же будем служить этой идее».

«Красным пастырем» называли неистового проповедника, который спустя много лет напишет в автобиографической заметке: «…за редактирование журнала „Встань, спящий!“ и агитацию в войсках был арестован и заключён в Карскую крепость. Наказание отбывал в Метехском замке… Весь период с 1907 по 1914 г. был для меня временем сплошных скитаний и высылок из одного города в другой».

В 1909 году «красный пастырь» в Царицыне издаёт журнал «Слушай, земля!» и газету «Город и деревня», пытается привлечь к сотрудничеству известных писателей, пишет Блоку о цели изданий — «служить Ивану Простому». Блок помечает в записной книжке: «Поехать можно в Царицын на Волге — к Ионе Брихничёву. В Олонецкую губернию — к Клюеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию».

Он даёт согласие на сотрудничество и посылает стихи Клюева. Одно из них — «Под вечер», герой которого «с молчаливо-ласковым лицом» отправляется на плаху, — печатается в газете «Царицынская жизнь». В одном из номеров журнала «Слушай, земля!» Блок и Клюев указываются как сотрудники. А уже в конце сентября того же года Брихничёв сообщает Блоку о закрытии журнала и о своей высылке из Саратовской губернии и предполагает выпускать в Петербурге народный журнал «Пламень огненный». Но оказывается в Москве, где начинает издавать журнал «Новая земля», ставший печатной платформой «голгофского христианства».

«Что такое голгофское христианство» — так назвал Брихничёв свою брошюру, выпущенную в 1912 году, где объявил, что церкви — «это своего рода дисциплинарные батальоны для исправления „преступников“», что современное ему христианство

— «это *жестокое* учение, по которому „праведник“ может спокойно *блаженствовать* „в раю“, когда грешник томится муками адского пламени… система *самоспасания,* личной святости, дрожания только за свою шкуру (моя хата с краю)». А голгофское христианство — религия свободного человека — учит «не самоспасанию и рабским добродетелям… а иному — *Спасению Целого. Не всё для себя* (для своей души), *а всё для всех* (для тела и души всего человечества)… Я уверен, что *рая* как блаженства нет и не будет, *пока все не спасутся*… Огнём горящие, пламенеющие сердца человеческие, *объединённые одним общим желанием воскрешения Всего*, составят из себя то Вселенское Пламя, в котором, как сказано, — старая земля и все старые дела сгорят. И явятся Новое Небо и Новая Земля. И от пламени этих живых факелов загорятся угасшие души. Воскреснут мёртвые. И все земнородные возрадуются». Здесь явно слышен мотив, заимствованный у Николая Фёдорова, его «Философии общего дела»… Брошюра «Что такое голгофское христианство» завершается впервые публикуемым стихотворением Клюева «Песнь утешения», — где готовится брань со смертью и поётся песнь в ожидании всеобщего воскрешения:

Победительные громы
До седьмых дойдут небес,
Заградит твердынь проломы
Серафимских копий лес!

Что, собратья, приуныли,
Оскудели моготой?
Расплесните перья крылий,
Просияйте молоньёй.

Красотой затмите зори,
Славу звёзд, луны чертог,
Как бывало на Фаворе
У Христовых чистых ног!

Ближайшими соратниками Брихничёва становятся старообрядческий епископ Михаил (Семёнов), собственно автор идеи общины «голгофских христиан», будущий автор замечательных повестей: «Великий разгром», посвящённой трагедии церковного раскола XVII века, и «Второй Рим», о Византии, — и о. Валентин Свенцицкий, создатель совместно с В. Эрном «Христианского братства борьбы», целью которого было созвать церковный собор и Учредительное собрание, уничтожить

эксплуатацию труда и частную собственность на землю, автор книг о Толстом, Достоевском и Владимире Соловьёве, пьесы «Интеллигенция», где предупреждал: «…если у нас не хватит сил слиться с верой народной — на русской интеллигенции надо поставить крест». И Эрн, и Свенцицкий вместе с князьями Е. Н. и Г. Н. Трубецкими, протоиереем Иосифом Фуделем, о. Павлом Флоренским, Сергеем Булгаковым, Сергеем Дурылиным входили в «Кружок ищущих христианского просвещения», более ориентированный на старцев, чем на официальную церковь, и поддержавший позднее имяславцев в их противостоянии со Святейшим синодом.

В течение следующих полутора лет Клюев печатает стихи в «Новой земле». И голос его звучит в унисон с голосами новых собратьев. Одно из стихотворений, «Голос из народа», — ключевое для него в этот период — он посвящает «русской интеллигенции», отталкиваясь от стихотворения Мережковского «Дети ночи» — поэтического манифеста декадентства:

Мы неведомое чуем,
И с надеждою в сердцах
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Клюев пишет ответ *умирающим* от имени пробуждающихся к жизни, детям ночи — от детей света.

Вы — отгул глухой, дремучей,
Обессилевшей волны,
Мы — предутренние тучи,
Зори росные весны.

Ваши помыслы — ненастье,
Дрожь и тени вечеров.
Наши — мерное согласье
Тяжких времени шагов.

Прозревается лишь в книге
Вами мудрости конец, —
В каждом облике и миге

Наш взыскующий Отец.

Ласка матери-природы
Вас забвеньем не дарит, —
Чародейны наши воды
И огонь многоочит.

Это не только полемика с Мережковским, не только эмоциональное и интонационное созвучие переписки с Блоком и не только перекличка с Ионой Брихничёвым и о. Валентином Свенцицким. Это прямая полемика с прежним кумиром П. Якубовичем, с его рассуждениями из книги «В мире отверженных»: «Как он могуч и как вместе тёмен и слеп, этот несчастный труженик народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция, пылающая горячей любовью к нему, мечтающая о вселенском братстве и счастье, но имеющая такие слабые руки, такую ничтожную волю для осуществления высокого идеала! Кричи, плачь, взывай — твои вопли бесплодно замрут в глухом лабиринте действительности и не будут услышаны титаном, оглушаемым дикой музыкой своей повседневной работы, этими звуками, от которых вздрагивает мать-земля и с нею наше бессильное, пугливое сердце».

Но Клюев с этим не согласен. Он уверен, что порыв интеллигенции, действительно пылающей любовью к народу, её сердечное устремление к народной стихии найдёт свой отзыв.

За слиянье нет поруки,
Перевал скалист и крут.
Но бесплодно ваши стуки
В лабиринте не замрут.

Мы, как рек подземных струи,
К вам незримо притечём
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольём.

Иное дело те, кто дичится народа, для кого народ — «другая раса», кто не знает и не желает знать народной души и измывается над народной плотью. С ними разговор совсем другой.

Вы на себя плетёте петли
И навостряете мечи.

Ищу вотще: меж вами нет ли
Рассвета алчущих в ночи?

В мой хлеб мешаете вы пепел,
Отраву горькую в вино,
Но я, как небо, мудро-светел
И не разгадан, как оно.

Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли.

В поддонный смысл клюевского «Пахаря» заложены и пророчество Исайи, и стихи из Книги Иезекииля и Деяний и послание апостола Павла Коринфянам. Но превалирует над всем гневный глас Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас».

Работник Господа свободный
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как тёрн негодный,
Не вырвать с корнем навсегда?

Народ — Христос. Униженный и распинаемый новыми книжниками, которые в лучшем случае смотрят на него, на его духовные сокровища, как на игрушку для баловства… «Я обещаю вам сады, где поселитесь вы навеки, где свежесть утренней звезды, где спят нешепчущие реки», — щебетал Константин Бальмонт, упражнявшийся заодно в стилизации «хлыстовских песнопений», создававших впечатление поверхностного прикосновения и бессмысленного словоизвержения человека, едва ли понимающего — с чем он играется, создавая свои вариации.

Можно ли было оставить это завлекательное щебетание без ответа?

На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущельи водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой бедностью пошли —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.

За пришлецами напоследок
Идём неведомые Мы, —
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

Этот «сосен звон», сливающийся с песнью любимой матери, с шумом северного ветра облекает лёгким холодом тело, вселяет покой в душу, навевает грустные воспоминания, а сосны, качая кронами в такт его нешумным порывам, безмолвно беседуют с тем, кто постигает тайну их шума.

В златотканые дни сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой…
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звёзд за решёткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали…
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

…Стихи, напечатанные в «Новой земле», станут основой первых его книг — «Сосен перезвон» и «Братские песни».

Глава 5
ПЕРВАЯ КНИГА

«В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию верёвкой; Столыпин крепко обмотал эту верёвку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к „подёнщикам“; тогда верёвка ослабла и без труда отвалилась сама.

Всё это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на плечи, как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь». Так вспоминал зимой 1918 года Александр Блок о временном промежутке между первой русской революцией и мировой войной.

А тогда, в 1910-м, в той «наполненной призраками ночи», он писал статью «О современном состоянии русского символизма», и настаивал, что «Искусство есть *Ад*», и подчёркивал лишний раз, что «именно в чёрном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры». В этом аду и свершается своеобразная «чёрная месса»: «…мой собственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим „анатомическим театром“ или балаганом, где сам я играю роль наряду с моими изумительными куклами (ecce homo!)… Жизнь стала искусством, я произвёл заклинания, и передо мною возникло, наконец, то, что я (лично) называю „*Незнакомкой*“: красавица-кукла, синий призрак, земное чудо».

Так Блок писал «по поводу доклада В. И. Иванова», отойдя от основной темы, которой он раньше «посвящал жизнь»: безоглядность формулировок «Литературных итогов 1907 года» и «Стихии и культуры» уступила место безоглядности апологии символизма, которые звучат, как боевой клич трёхсот спартанцев перед последним боем или прощальные восклицания матросов «Варяга»: «нас немного, и мы окружены врагами; в этот час великого полудня яснее узнаём мы друг друга; мы обмениваемся взаимно пожатиями холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины».

Клюев читал эти заклинания «брата духовного» трезвыми глазами человека, знающего цену смысла «поэзии религии» и

«поэзии изящной безнравственности», по словам Константина Леонтьева.

«Дорогой Александр Александрович, благодаренье Вам за Ваши слова ко мне — любезные моей душе. Статью Вашу о современном состоянии русского символизма прочёл… чувствую что-то роковое в ней для вообще символистов, какой-то трубный звук над полем костей. Отсюда заключаю, что в области художественного слова что-то действительно не ладно. Насколько я знаком с этим словом, а знаком я с ним смутно, оно, по-моему, за малым исключением, выдумывается людьми, не сообразующимися со средствами своего таланта, стремящимися сказать больше своего пониманья, людьми, одержимыми злой грёзой построить башню до небес…

Творчество художников-декадентов, без сомнения, принесло миру более вреда, чем пользы. Самая дурная сторона их — это совершенная разрозненность с действительной жизнью, искажение правды жизни по произволу, только для проведения не понятых даже самими авторами, ложных в действительности мыслей (напр<имер>, о Боге, о любви, о Мировой душе). Если такие мысли и действовали на людей, то всегда губительно, возбуждая в них чудовищные, неисполнимые стремления, разжигая, например, и без того похотливую интеллигентскую молодёжь причудливыми и соблазнительными формами страсти, выкроенной авторами из собственных блудливых подштанников (подобные неисполнимости могут быть причиной самоубийства). Бог же и Мировая душа не могут быть предметом каких бы то ни было художественных описаний, которые только запутывают, затемняют и порождают ложные мысли о величайшей тайне в Мире. Тайну эту нельзя выразить ни аллегорией, ни так называемыми новыми словами, ни тонкостью образов, ничем, по единственной причине её несказанности…

Познание же „Вечной красоты“ возможно только при освобождении себя от желаний Мира и той наружной, ложной красивости, которая людьми, не понимающими жизни, выдаётся за творчество, за искусство…»

По сути Клюев пишет о гордыне, которой охвачены и «старшие» символисты, и их «младшие» «товарищи по оружию». Прося у Блока прислать книги Брюсова, Бальмонта, Надсона, Андрея Белого, Сологуба — и Тютчева в придачу, с целью «услышать, как пишут эти поэты», — он уже их «слышал», а точнее, внимательно читал. Пристальное чтение статьи «О современном состоянии русского символизма» породило в нём сомнение — не прошла ли даром для Блока вся их переписка? Самоумаление, ощутимое в строках его письма, лишь

подчёркивает дистанцию, на которую он отодвигает «в годину чёрную собрата», проецирующего смутные вихри в своей душе и душах родственных ему художников на внешнюю жизнь: «…В противовес суждению вульгарной критики о том, будто „нас захватила революция“, мы противопоставляем обратное суждение: революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, т. е. тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами…» Сознание, обуянное гордыней, нуждается в отрезвлении. И Клюев «отрезвляет», походя отмечая своё «низшее» положение — положение человека жизни, а не «лиловых миров».

…Жёсткая отповедь Клюева не даёт покоя ему самому. В следующем письме, написанном через несколько месяцев, он единственный раз за всё время переписки с Блоком обращается к нему на «ты» и открыто называет его «братом»: «Брат Александр, жизнь тебе и радость. Не знаю почему, за последнее время часто вижу тебя: или ты мучишься много, или наоборот — перестал стремиться к Высшему. Прошу тебя — сообщить мне на моё письмо, которое вызвано твоей статьёй о символизме. Много ли, по-твоему, в нём правды или полное невежество и тьма? Я же остаюсь неизменным к тому малому прекрасному, которое получил от общения с тобой, и вижу в этом не свою волю…» И себя, и Блока в их эпистолярном диалоге он воспринимает как содуховодителей — как он духоводитель для Блока, так и Блок — для него. У каждого свой путь, но каждый на своём пути обретает новое познание — и Клюев делится своим познанием и стремится воспринять познание и переживание блоковское… Не случайны и разнородные лексические пласты в его письмах — в диапазоне от фольклорного слоя, от слога народной былины и песни до чисто символистской терминологии и органического вплетения блоковских строк в утончённую речь начитанного и образованного корреспондента. Каждый подобный перебив впрямую зависит от настроя, с которым он обращается к своему «собрату».

О, матерь-отчизна, какими тропами
Бездольному сыну укажешь пойти:
Разбойную ль удаль померить с врагами.
Иль робкой былинкой кивать при пути?

Былинка поблёкнет, и удаль обманет,

Умчится, как буря, надежды губя, —
Пусть ветром нагорным душа моя станет
Пророческой сказкой баюкать тебя.

Нагорная проповедь слышится в дуновении русского ветра, качающего «робкую былинку», — и поэт отвечает «пророческой сказкой», на которую «рассудок молчит» и которая доходит лишь до сердца, чей зов тянет «к загадке, к свирельной мечте», к «простору лугов из-под мертвенного свода»… Так памятные ему бегуны шли далеко на Восток, повторяя про себя: «…Там Опоньское государство; живут в губе океана-моря: место, называемое Беловодие и озером Ловом, а на нём сто островов, а на них горы, на горах живут о Христе подражатели Христовой церкви, православные христиане. А там не может быть антихрист и не будет. И в оном месте леса тёмные, горы высокие, расселдины каменныя, а там народ именно, варварств никаких нет и не будет, а ежели б все китайцы были христиане, то б и не едина душа не погибла», — и пели потаённый стих: «Паспорт у нас града вышняго Ерусалима, убежали мы на волю от худого господина, отпустил нас другой господин — Бог вышний един! Где бы нам ни жить, только бы Господу служить!.. Мы же ни града, ни села не знаем, но к нерукотворному граду путешествовать желаем…»

Как росу с попутных трав,
Плоть томленья отряхнула,
И душа, возликовав,
В бесконечность заглянула.

С той поры не наугад
Я иду путём спасенья,
И вослед мне: «Свят, свят, свят», —
Шепчут камни и растенья.

…Былинный стих сменяется классическим ямбом или хореем — и тут же вступает в свои права народная песня, сочинённая им же, Клюевым, как вариация на фольклорные мотивы… Северная суровая в своей неброской красоте природа господствует в его стихах, и холодный ветер всё время остужает жар человеческой эмоции или страстного приступа, а стихнет порыв — и раздастся звонкий голос девицы-красавицы в предсвадебной запевке: «Вы, белила-румяна мои, дорогие, новокупленные, на меду-вине развоженные, на бело лицо положенные, разгоритесь зарецветом

на щеках, алым маком на девических устах…» И вступит в свои права «Слободская», где статный детина «дозволенья ожениться у родителей просил…». Да не услышал согласия — и поменял судьбу:

У студёного поморья,
На пустынном берегу,
Сын под елью в тёмной келье
Поселился навсегда.

…Клюев писал в том же письме Блоку, где разбирал «современное состояние русского символизма»: «Вглядывались ли Вы когда-нибудь в простонародную резьбу, например, на ковшах, дугах, шеломках, на дорожных батожках, в шитье на утиральниках, ширинках, — везде какая-то зубчатость, чаще круг-диск и от него линии, какая-то лучистость, „карта звёздного неба“, „знаки Зодиака“. Народ почти не рисует, а только отмечает, только проводит линии, ибо музыка линий не ложна, краски же всегда лгут. Душу народного искусства, сознательно или бессознательно, силится проявить в своих стихах Сергей Городецкий, но слово не резец, и оно вовсе в этой области не приложимо, и если бы Городецкий вырезывал дуги и ложки, то был бы прекрасным, ибо его душа живёт в линии и народное искусство безглагольно. Вы скажете: а песня? На это я отвечу так: народная песня, наружно всегда однообразная, действует не физиономией, не словосочетаниями, а какой-то внутренней музыкой, опять-таки линией, и кому понятен язык линий, тому понятна во всей полноте и народная песня…»

Через несколько лет он о том же будет говорить с Есениным, и многие из клюевских мыслей найдут воплощение в есенинских «Ключах Марии». Книги Городецкого, «Ярь» и «Перун», не вызывали у Клюева такого же восторга, как у Блока, который восхищался «Ярью». Неудачную эксплуатацию самим Блоком песенных народных мотивов Клюев ещё раньше оценил жёстко и иронично: «Стихотворения „Песельник“, „Пляска“ — балаганные прищёлкивания про Таньку и Ваньку. Я читал их на беседе (посиделке), девки долго смеялись над словом „лови лесной туман косой“, а в „Пляске“ слово „лютики“ будто с того света свалилось, незнакомое, уродливое, смешное, как барыня в буклях, с лорнетом и в плиссе, попавшая в развесёлый девичий хоровод, где добры молодцы — белы кречеты, красны девушки — што малинушка. Я не упоминаю про внешность стихов, потому что не придаю ей, кроме музыкального, никакого значения…» Пройдёт три года, и он — уже в совершенно ином душевном состоянии, с

явным желанием «сделать приятное Блоку» — напишет диаметрально противоположное о том же «Песельнике», как о предтече его, клюевских, «песен из Заонежья»: «Александр Александрович, вспомните: „Загляжусь ли я в ночь на метелицу“, „Ой, синь туман ты мой“, „Ой, косыньку развей“ — ну разве после таких былин можно не запеть „Плясею“ или „Бабью песню“ с „Сизым голубем“?» Но очевидно, что «внутренняя музыка» клюевских песен не имеет ничего общего с блоковскими или Городецкими опытами в этой области. Клюев варьирует по-своему мотивы заонежского фольклора, знакомого ему с младых ногтей, — и его песни органически входят в фольклорный безымянный пласт песенной культуры его северной земли.

«Песни из Заонежья», которые Николай будет писать вплоть до начала Первой мировой войны, войдут отдельным разделом в 1-й том двухтомного собрания под названием «Песнослов». А запели клюевские стихи куда раньше.

* * *

«Помню, Блок, прочитав какую-то мою книгу о природе, сказал мне, — вспоминал Пришвин.

— Вы достигаете понимания природы, слияния с ней. Но как вы можете туда броситься?

— Зачем бросаться, — ответил я, — бросаться можно лишь вниз, а то, что я люблю в природе, то выше меня: я не бросаюсь, а поднимаюсь».

Так же мог сказать и Клюев.

«Я не считаю себя православным, да и никем не считаю», — вспомним ещё раз эту блоковскую фразу, воспроизведённую Клюевым в ответном письме. И Клюев, по сути, отказался отвечать «брату Александру», ибо видел в нём, при всей духовной близости — «бросающегося». И было, видимо, у Клюева предощущение, возникающее при чтении неизвестных нам писем Блока, что полного слияния с Блоком «в духе» не произойдёт никогда.

Скоро он разойдётся и с Ионой Брихничёвым. А пока его путь совпал с путём «голгофских христиан». Он — желанный автор в «Новой земле», где ждут Христа, приходящего к нищим и угнетённым, каким его изображает епископ Михаил, Христа «на улицах и в злых домах современного города и деревни»: «… Явился бог новый, мужицкий… Уже не сторож для богатых, их жён, шуб, а мужицкую землю и мужицкие дела ведает… Он в самом деле пришёл сюда, — в тихую деревню, в тёмную жизнь —

эту избу чёрную и холодную, смотрит чёрными мёртвыми глазами со старых полупившихся икон, — как в храме он не смотрит. Пришёл новый мужицкий бог и понял, и увидел: тёмную, обыденную и горькую безотрадную тоску и глухую извечную скорбь». Видит Христос фабричных работниц с «трупным цветом лица», крестьянских детей, умирающих от голода… «И сказал Христос: На земле, где я умер на кресте, только звери и хищники. Тогда пусть погибнет мир. Я, Бог, проклинаю… Встаньте, воскресните, или в пепел обращу землю»…

…А «светское общество» в это же время «исповедовало» Христа по-своему.

Шестнадцатого января 1910 года в газете «Русское знамя» появилась жуткая заметка о «перформансе» в петербургском Дворянском собрании. Текст этой заметки позже воспроизвёл Сергей Нилус в книге «Близь есть, при дверехъ». Разумеется, первое, что бросается в глаза пристрастному читателю, — это фразеология автора газеты. Но суть не во фразеологии, а в описании самого «действа», от которого у Нилуса, по его же признанию, «кровь стыла в жилах».

«Страшная важность того, что случилось в Петербургском Дворянском собрании, преувеличена быть не может. Там сборище жидов (жидовский концерт) всех классов и состояний торжествовало первую победу жидовства над христианством („Не над христианством, — комментировал Нилус, — а над равнодушным безверием: христианства — Христовой Церкви не одолеть и вратам адовым“), неистово хлопая *чуть не шансонетке, припевом которой служил предсмертный возглас Христа Спасителя…* В подлой шансонетке, распеваемой жидами в качестве гимна победы и одоления, повторяются все те злобные слова, которые с трепетом записывали Св. Евангелисты: „Сойди с креста, Распятый, если ты Сын Божий!“ Эти слова возглашал современный жидовский кантор на эстраде Благородного Дворянского собрания в Петербурге, и возглас этот переложен на современный мотив, усугубляя этим кровавое оскорбление… А русские православные люди слушали его и, не понимая смысла жидовского пения, прислуживали жидам-оскорбителям… Газета, печатаемая по-русски и читаемая русскими людьми (имеется в виду „Речь“. — *С. К.),* осмеливается совершенно откровенно пояснять, как жидовская публика „наслаждалась“ куплетами, сюжетом которых служит *Распятие Христа…»* Далее автор выражал свой ужас и возмущение тем, что «все… молчат».

(Хочешь не хочешь, а заговоришь о нашей современности. Тогда истово верующие люди видели в этой богохульной

распоясанности наступление последних времён. Последние времена не наступили, но грандиозный катаклизм не заставил себя ждать. Ныне мы наблюдаем нечто схожее. О выставке «Осторожно, религия!», о перформансе, на котором за плату приглашали осквернять и уничтожать иконы, писали достаточно. Незамеченным прошёл ещё один эпизод из той же «оперы». В течение довольно продолжительного времени музыкальным рефреном популярной телепередачи «Что? Где? Когда?», в которой разыгрываются уже не книги, а большие деньги, была шансонетка с припевом «Crucify!», что в переводе означает: «Распни Его!»)

* * *

«Жизнь на русских просёлках, под теленьканье малиновок, под комариный звон звёзд всё упорней и зловещее пугали каменные щупальцы. И неизбежное совершилось. Моздокские просторы, хвойные губы Поморья выплюнули меня в Москву. С гривенником в кармане, с краюшкой хлеба за пазухой мерил я лапотным шагом улицы этого доселе ещё прекрасного города». Так вспоминал Клюев о своём появлении в Москве и о встрече лицом к лицу с Ионой Брихничёвым.

«Не помню, как я очутился в маленькой бедной комнатке у чернокудрого, с пчелиными глазами человека. Иона Брихничёв — пламенный священник, народный проповедник, редактор издававшегося в Царицыне на Волге журнала „Слушай, земля!“, принял меня как брата, записал мои песни. Так появилась первая моя книга „Сосен перезвон“. Брихничёв же издал и „Братские песни“».

Летом Клюев обретается в Даньковском уезде Рязанской губернии среди христов, судя по всему, шелапутского толка. Секта подверглась преследованию со стороны властей, и дело кончилось, видимо, кратковременным арестом Николая со товарищи, о чём он позже упомянет в одной из автобиографических заметок: «Сидел я и в Харьковской каторжной тюрьме, и в Даньковском остроге (Рязанской губернии)…» Документы, содержащие сведения об этих «сидениях», пока не выявлены, и хронологический отрезок заключения не прослеживается. В письме Блоку, написанном уже в декабре, Клюев просит оказать денежную помощь своему знакомому сектанту, скопцу Григорию Васильевичу Ерёмину «ради мало хорошего, что мы с Вами нашли в самих себе и что связывает нас с людьми и с родиной» и прилагает письмо самого

Ерёмина, откуда приводит жалобные строки: «У меня всё пожгли, всю солому — так что не осталось ничего, — ни скотину кормить, ни топить нечем». Судя по всему, местное начальство, помимо всего прочего, устроило в общине форменный погром.

Добравшись до Москвы, Клюев сообщает Блоку, что богатый издатель предлагает ему выпустить книжку стихов. Клюев волнуется, даром что его уверяют (а уверяет, очевидно, Брихничёв), что книжка «нужна и найдёт много читателей». Просит разрешения посвятить книгу самому Блоку — «Нечаянной Радости» и просит написать к ней предисловие… Предисловие это напишет Валерий Брюсов, с которым Клюев познакомится в начале августа и который там же в Москве представит его Николаю Гумилёву.

Проходит месяц, Клюев уже в Петербурге, пишет Блоку с просьбой о встрече, и наконец, 26 сентября, эта долгожданная встреча состоялась. Ей Блок посвятил страницу своего дневника от 17 октября: «Клюев — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнурённый приставаньем (Санжарь), пьяными наглыми московскими мордами „народа“ (в Шахматове — было, по обыкновению, под конец невыносимо — лучше забыть, забыть), спутанный — я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова — темномордое. Входит — без лица, без голоса — не то старик, не то средних лет (а ему 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит… Только в следующий раз Клюев один, часы нудно, я измучен — и вдруг бесконечный отдых, его нежность, его „благословение“, рассказы о том, что меня поют в О(лонецкой) г(убернии), и как (понимаю я) из „Нечаянной Радости“ те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в „Нечаянной Радости“), а они позволили мне: говори. — И так ясно и просто в первый раз в жизни — что такое жизнь Л. Д. Семёнова и даже — А. М. Добролюбова… „Есть люди“, которые должны избрать этот „древний путь“ — „иначе не могут“. Но это — не лучшее, деньги, житьё — ничего, лучше оставаться в мире, больше „влияния“ (если станешь в мире „таким“). „И одежду вашу люблю, и голос ваш люблю“. — Тут многое не записано, запамятовано, я был всё-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: „когда вспомните обо мне (не внешне), — значит, я о вас думаю“».

Конспект встречи, пунктирный набросок, а сказано много. Упомянутый Пимен Карпов, который уже списывался с Блоком, прислал ему свою книжку «Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции» — во многом наивный и сумбурный сборник

памфлетов, где обрушился на русскую интеллигенцию, заявив, что интеллигенты «ограбили народ духовно»… Клюеву было о чём поговорить с Карповым — и поговорит ещё… А тогда никого, кроме Блока, Николай перед собой не видел. И встреча их была насыщена потаённым смыслом для них обоих. Блок, судя по всему, с трудом выходил из состояния усталости и погружённости в себя. Клюев разрывал пелену ощутимого блоковского отчуждения, которое он не мог не чувствовать при всей сердечности их разговора, он уже приводил жизненный путь Семёнова и Добролюбова, как пример, которому он не может последовать, ибо выбор сделан — остаться «в миру» и воздействовать на «мир» словом, идущим от сердца… Но сколько бы ни было переговорено — а не удовлетворил Клюева этот диалог, о чём он и написал Блоку в конце ноября уже из Олонецкой губернии.

«Это моё приветствие к Вам уже не имеет характера „С добрым утром“, ибо воочию я убедился, что Вы спите, хотя и не в зачарованном замке, как думается с первого взгляда… Тщетно я подбрасываю сучьев в свой одинокий лесной костёр, чтобы огонёк его стал виден Вам в пустыне Вашей Ночи, и чтоб почувствовали Вы, что он приводит на грудь брата. Все мои письма и слова к Вам есть раздувание этого костра, — я обжёг руки, на губах у меня пузыри и болячки, валежник и сучья разорвали мою одежду… Но сон обуял Вас. Мнится Вам, что мир во власти демонов…»

И далее Клюев в стиле русской народной сказки со смысловыми отсылками к циклу «На поле Куликовом» излагает, что же происходит «на самом деле»: Блок мнится ему Иваном Царевичем, спящим «в сером безбрежье всерусского поля». «В шумучих ковылях теряется дикий шлях — путь искания возлюбленной (Прекрасной Дамы), и с какой-нибудь Непрядвы или речки Смородицы доносятся лебединые гомон и всплески. Далёким-далеко, за нитью багровой заряницы, скоком-походом мчится серый волк: несёт воду живую и мёртвую…» Вместо демонов — «курганное вороньё» клюёт падаль-человечину. А «за синим бором» идёт побоище с дьяволом. А Царевич спит и не слышит, как «мается маятой смертной в Кощеевом терему Царевна: чья возьмёт?». Хотелось бы верить, что пробудится витязь от «сосен перезвона» (книга с этим названием только-только вышла), что «как колокол, красное яйцо сулит, — белую вербу, ключевую воду, частый гребень, ворона коня, посвист удалецкий, зазнобу — красну девицу…». Да не верится.

И — кончилась сказка. Замолкли гусли былинщика-песнопевца. Вступает в свои права суровый друг-учитель, выговаривая тому, кого недавно братом называл, всё наболевшее.

Невозможно воспринимать речь Клюева в состоянии той раздвоенности, душевной развоплощённости, в котором находится Блок. Ни искренности, ни душевности не чувствует Клюев — сам со своей душевностью, открытостью, которая почти никогда не проявляется на людях, оказывается объектом рассмотрения со стороны в неких неведомых ему целях. «…Мне теперь видно Ваше действительно роковое положение, так как одной ногой Вы стоите в Париже, другой же — „на диком бреге Иртыша“. Отсюда то тяжёлое и нудное, что гнело нас при встрече и беседе друг с другом… Даже Ваш прощальный поцелуй был (если не из физического отвращения) половинчат и не унесён мною в мир. Ясно, что такие люди, как я, для Вас могут быть лишь материалом, натурой для Ваших литературных операций, но ни в коем случае не могут быть близкими, братьями… Моя беседа с Вами была сплошной борьбой с иноземщиной в Вас. Я звал Вас в Назарет, — Вы тянули в Париж, я говорил о косоворотке и картузе, — Вы бежали к портному примеривать смокинг, в то же время посылая воздушный поцелуй и картузу, и косоворотке. Такое положение долго продолжаться не может, а если и продолжится, то вскоре Мир увидит вместо Ивана Царевича „Идолище поганое“ — нового бога с лицом быка и спиной дракона. В тот день безумства и позора дунет Дух и велико будет падение идола, и Вечная Зима (которую Вы уже слышите в „Земле в снегу“) дохнёт метелью и мраком на светлый рай Ваш…» Здесь и парафразы строк Владимира Соловьёва к месту — знает Клюев, как Блока тянет к тому, точно магнитом… Жестокое пророчество произнесено, но Клюев не может на нём останавливаться — слишком он любит и ценит Блока, даром что образ человека совершенно не совпал в его глазах с образом поэта, которого он принял целиком в своё сердце. Он едва не со слезами на глазах призывает Блока к Христу, его, клюевскому Христу. «Его храм, основанный две тысячи лет тому назад, забыт и презрен, дорога к нему заросла лозняком и чертополохом; тем не менее отважьтесь идти вперёд! — На лесной прогалине, в зелёных сумерках дикого бора приютился он. Под низким обветшалым потолком Вы найдёте алтарь ещё на месте и Его тысячелетнюю лампаду неугасимо горящей. Падите ниц перед нею, и как только первая слеза скатится из глаз Ваших, красный звон сосен возвестит Миру-народу о новом, так мучительно жданном брате, об обручении раба Божия Александра, — рабе Божией России…»

Это письмо стало для Блока новым потрясением, о чём свидетельствуют записи в его дневнике от 6 декабря: «Я над Клюевским письмом. Знаю всё, что надо делать: отдать деньги,

покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу» (6 декабря). И через три дня: «Послание Клюева все эти дни — поёт в душе. Нет, — рано ещё уходить из этого прекрасного и страшного мира». 17 декабря: «Писал Клюеву: „Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом“». Блок объясняет ему своё состояние и одновременно оправдывается в чём-то сущностном перед самим собой. Посылает переписанное письмо Николая Городецкому и его жене: «Серёже я посылаю послание Николая Клюева, прошу Вас, возьмите его у него и прочтите, и радуйтесь, милая. Христос с Вами и Христос среди нас». В доме у Мережковских зачитывает текст письма и встречает обжигающую реакцию: «Я читал письмо Клюева, все его бранили на чём свет стоит, тут был приплетён и П. Карпов. Будто христианство — „ночное“, „реакционное“, „соблазнительное“… *Итак — сегодня: полное разногласие* в чувстве России, востока, Клюева, святости…» Блок показывает письмо Марии Павловне Ивановой, которой будет посвящено стихотворение «На железной дороге», и выписывает в дневник текст её письма к Александре Андреевне Кублицкой-Пиоттух — своей матери, самому дорогому для Блока человеку. Александра Андреевна сама пишет Ивановой: «Клюев нынче осенью провёл с Сашей несколько дней. Сидит по ночам. Я думаю, Вы поймёте всю важность этого Крещения». Но Иванова ничего не пожелала понять: «Когда я начала читать, то мне очень понравилась красота образов и сравнений, но так от начала и до конца и была одна *красота.* Из-за этой красоты и до сути не доберёшься… По письму могу сказать, что поэт совсем закрыл человека. Видно, что он любит А-ра А., но уж очень много берёт на себя, предъявляя такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания. Куда он зовёт? Отдать всё и идти за ним, и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его *дикий бор* только, неужели истина только там?.. Перезвон красивых фраз, и А. А. принял это очень к сердцу только потому, что, вероятно, сам переживал разные сомнения, и вот в этой-то борьбе с самим собой гораздо больше Бога, чем в горделивой уверенности в своей правоте Клюева… Удивляюсь, что Клюев, только написав А. А. разные обвинения и не зная даже, как их примет А. А., через несколько строчек уже дарует ему прощение: нет, не нравится мне это… У Клюева очень много гордости и самоуверенности, я этого не люблю…» Характерно, что к словам «очень уж много берёт на себя» Блок делает примечание: «Моё». То есть узрел гордыню там, где её не было. Так и потянулся за Клюевым шлейф гордеца и елейника одновременно. Так о нём и будут вспоминать многие — от Городецкого до Ходасевича.

А ведь ещё недавно Блок записывал в дневник, как одно

воспоминание о Клюеве подвигло его на поступок, противный всему его существу. 1911 год ознаменовался двумя событиями, всколыхнувшими Россию: убийством Столыпина и ритуальным убийством мальчика Андрея Ющинского. Последнее так и осталось нераскрытым, подозреваемым по нему проходил Мендель Бейлис. До суда ещё было далеко, а «прогрессивная общественность» уже забила в набат. Владимир Короленко написал воззвание «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)», опубликованное 30 ноября в газете «Речь». «Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы поднимаем голос против вспышки фанатизма и тёмной неправды. Исстари идёт вековечная борьба человечности, зовущая к свободе, равноправию и братству людей, с проповедью рабства, вражды и разделения…» И так далее и тому подобное. Набора трескучих фраз оказалось достаточно, чтобы либеральное литературное сообщество, не дожидаясь окончания следствия, возмутилось «приступом мракобесия». Добровольцы ходили собирать подписи, под воззванием поставили автографы Горький, Леонид Андреев, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Сологуб и др.

«Дважды приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой), — записал Блок 27 ноября. — После этого скребёт на душе — тяжёлое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее…» Здесь важно всё: и с нажимом написанное *«дважды»* — свидетельство настырности студента и насилия Блока над собой, и обращение к авторитету Клюева в данной ситуации. И неизбежен вопрос: почему Блок был уверен, что «Клюев бы подписал»?

Основания у него для такого заключения были. Очевидно, с Клюевым состоялся соответствующий разговор — не могла эта животрепещущая тема не возникнуть. И, видимо, Клюев обозначил своё отношение к данной истории.

Объяснение одно: сами староверы подвергались обвинениям в ритуальных убийствах. Это обвинение, в частности, содержится в знаменитом «Розыске о раскольнической брынской вере, о учении их, о делах их, и изъявление, яко вера их не права, учение их душе вредно и дела их не богоугодна» святого Димитрия Ростовского наряду с такими же «правдоподобными» утверждениями, как причащение у староверов изюмом и салом или того, что литургию у них творят девки.

Павел Иванович Мельников, чья деятельность как государственного чиновника была направлена на искоренение раскола — «язвы государевой», — сам был лютым гонителем староверов — «зорителем» волжских скитов и часовен. Уже в

эпоху александровских реформ он заявил в «Записке о русском расколе», что не считает раскол более опасным для государства и находит вредным всякое его преследование. Романы Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» стали классическими произведениями, воспроизводящими быт тех самых волжских скитов, в уничтожении которых он принимал активное участие. Так вот, Мельников в одном из «Писем о расколе» специально остановился на роли пресловутого «Розыска» святого Димитрия Ростовского: «Вообще до сих пор история составления „Розыска“ не подвергнута ещё надлежащей критике, не объяснено, что в этом сочинении принадлежит самому св. Димитрию и что другим лицам… Припомним, однако, что все сведения о раскольниках, о их сектах и действиях св. Димитрий прямо называет *не своими*, а полученными от других… В „Розыске“ есть места, описывающие раскольников в неправильном, искажённом виде, и это раскольниками ставится в упрёк св. Димитрию. Они говорят, будто он вымышлял много. Но он не вымышлял, а записывал всё, что слышал, и потому неточность рассказа падает не на св. Димитрия, а на сообщавших ему неверные слухи…» Так одна несправедливость влечёт за собой другую, один злобный навет, полученный из чужих рук, становится причиной нового злобного всплеска — и конца этому не предвидится до тех пор, пока не будут установлены непреложные факты происхождения ненавистнических нелепиц, громоздящихся одна на другую, и их причинно-следственная связь.

Дмитрий Философов, писавший о Клюеве как о поэте «народном» и утверждавший при этом: «Очень хорошо, что есть Клюевы, но они одни, сами по себе, без интеллигенции, России не спасут», подписавший короленковское «воззвание» вкупе с прочей «интеллигенцией», вынужден был признать: «Первый вопрос, предложенный присяжным, ни звуком не обмолвился о ритуале. Он прибег к описательной форме. Если разобрать эту тайнопись, то смысл ее ясен: Бейлис не виновен, но убийство совершено на еврейской земле евреями со всеми приемами ритуала».

* * *

В августе 1911 года Клюев появился в доме Валерия Брюсова.

Брюсов в течение последнего года был постоянным автором «Новой земли», куда его привлёк Иона Брихничёв. Он же написал письмо Брюсову с просьбой поспособствовать издать книгу клюевских стихотворений. «О Клюеве. Это простой крестьянин. Страшно нуждается. Как было бы хорошо, если бы можно было

издать его сборник стихов — нельзя ли что-нибудь сделать в этом отношении?» Одновременно он обратился в издательство В. И. Знаменского, которое и заключило с Николаем договор.

О том, какое впечатление произвёл Клюев, жена Брюсова Иоанна Матвеевна писала сестре поэта Надежде Яковлевне: «Сегодня я осталась одна. День был шумный какой-то. Утром Броня (свояченица Брюсова Бронислава Матвеевна Рунт. — *С. К.)* собиралась уезжать; к обеду был у нас Клюев, после обеда Валя ушёл. К(люев) остался, говорили с ним о добролюбовцах; затем пришла мама, пили чай, говорили все вместе. Затем Кл(юе)ву я дала Бальмонта читать… Пришел какой-то юноша из учеников Белого, говорили о теории Белого, о стихах вообще. Затем ушёл юноша, Валя, и, наконец, Клюев. Он мне понравился своей простотой, своей безыскусственностью».

Безыскусственным и напоенным высокой поэзией было и письмо Клюева Брюсову, написанное в ноябре того же года уже из Олонецкой губернии: «…И в настоящий вечерний час, когда на всём заревая желтизна, за обледеневшей оконницей треплется под ветром мшистая прадедовская рябина, сидя за пряжей вздыхает глухая мать — жалуется Богу на то, что дочь её „ушла в Питер“ (речь о сестре Клюева Клавдии, вышедшей замуж и уехавшей в столицу. — *С. К.),* и захожий старик-ночлежник строгим голосом в который раз заводит рассказ о том, как его сына Осипа „в городе Крамшате в двадцать ружей стрелили“, я простираюсь Духом по лицу Матери-России, от зырянских зимовок до железных грохочущих городов. И золотым гулом захлёбывается Дух мой. Ибо надо всем одна Заря — Безглагольное Золотое Прощение. И уж не вечеровая желтизна, а свет Вашей рабочей лампы за моим окошком…

Вышла ли моя книжка стихов? Я ничего об ней не слышу…»

…Книга «Сосен перезвон» вышла тогда же, в ноябре, и Блок получил её с дарственной надписью: «Александру Александровичу Блоку в знак любви и чаяния радости-братства. Николай Клюев. Андома. Ноябрь. 1911 г.». Он читал и отмечал отдельные строки, обретающие для него особый смысл, как то: «Но иногда мы чуем оба ошибки чувства и ума» из стихотворения «Я говорил тебе о Боге…» — видимо, вспоминая встречу с Николаем и его последнее письмо. Выделил отчёркиванием «Будь убог и тёмен телом, светел духом и лицом» из стихотворения «Я был в Духе в день воскресный…» и последние три строфы «Голоса из народа». Целиком, судя по пометкам, принял «Под вечер» и «Грешницу», в присланных автографах которых отмечал неудачные строки, а в книге видел уже выправленную редакцию. А стихотворение «Пахарь» выделил треугольником перед

заголовком и поставил знак вопроса напротив строк: «Вы обошли моря и сушу, к созвездьям взвили корабли…» Что говорить — дерзкий и нежданный прорыв в будущее, оставшийся на тот день, естественно, непонятым… А под последними строчками — «Могу ль я вас, как тёрн негодный, не вырвать с корнем навсегда?» — Блок написал: «Очень озлоблен». Как будто сам забыл окончание своей статьи «Народ и интеллигенция» — образ тройки, «несущейся прямо на нас…».

Брюсов в предисловии выделил главное, учуянное в стихах: «Поэзию Клюева нужно принимать в её целом, такой, какова она есть, какой создалась в душе поэта столь же непроизвольно, как слагаются формы облаков под бурным ветром поднебесья… Поэзия Клюева жива внутренним огнём, горевшим в душе поэта, когда он слагал свои песни. И этот огонь, прорываясь в отдельных строках, вспыхивает вдруг перед читателем светом неожиданным и ослепительным… Этот огонь, одушевляющий поэзию Клюева, есть огонь религиозного сознания. По его собственному признанию, он поёт, „верен ангела глаголу“. И что в стихах другого могло бы быть лишь красивой метафорой, то у Н. Клюева нам кажется простым и точным выражением его внутреннего чувства, его исповедным признанием». Так Клюев — «ученик символистов» — сразу был отведён первым среди них и от «учителей», и от их эпигонов.

Ещё более возвышенный тон взял Николай Гумилёв, познакомившийся с Клюевым в том же ноябре в Цехе поэтов и получивший «Сосен перезвон» с дарственной надписью, которая начинается с цитаты из гумилёвского стихотворения «Пощади, не довольно ли жалящей боли…»: «Мы выйдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов». «Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиций пушкинского периода. Его стих полнозвучен, ясен и насыщен содержанием… Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный — это пафос нашедшего… Славянское ощущение светлого равенства всех людей и византийское сознание золотой иерархичности при мысли о Боге. Тут, при виде нарушения этой чисто русской гармонии, поэт впервые испытывает горе и гнев… Теперь он знает, что культурное общество — только „отгул глухой, гремучей, обессилевшей волны“. Но крепок русский дух, он всегда найдёт дорогу к свету…» Гумилёв цитирует строки «Голоса из народа» — «Мы — как рек подземных струи, к вам незримо притечём и в безбрежном поцелуе души братские сольём»… И делает

пророческий вывод: «В творчестве Клюева намечается возможность большого эпоса».

Другое дело, что сложносоставные эпитеты в стихах Клюева Гумилёв отнёс к влиянию Языкова, не уловив (да, видимо, и не зная), что они пришли в клюевскую поэзию из староверческой классики — из книг Андрея Денисова и Ивана Филиппова.

Небезынтересно, что тут же, по соседству, в первом номере «Аполлона» за 1912 год, Гумилёв оценивает книгу Константина Бальмонта «Зелёный вертоград» и, высоко отзываясь об отдельных стихотворениях и строфах, в целом выносит убийственный приговор: «„Зелёный Вертоград (Слова поцелуйные)“ навеян Бальмонту песнями и сказаниями хлыстов. Многие стихотворения — прямо подделки. Подлинный их религиозный аромат, конечно, выветрился у Бальмонта, никогда не умевшего отличать небесность от воздушности». Волей-неволей бросается в глаза контраст между «подделкой» Бальмонта и «пафосом нашедшего» Клюева.

Из других отзывов на «Сосен перезвон» выделяется рецензия уже знакомого нам А. Копяткевича, опубликованная в «Вестнике Олонецкого губернского земства». Земляк оценил книгу и восторженно, и проницательно: «„Сосен перезвон“ не из тех сборников стихов, которые только лишь появились и уже обречены бесследно потонуть в море холодного равнодушия и общего невнимания. Было бы жестокой несправедливостью, если бы поэзия Клюева встречена была именно так равнодушно. К счастью, этого не может случиться… Стихи Клюева — истинная ценность, они должны увлечь каждого, кто любит и понимает поэзию, кто в полнозвучии стиха, в музыке ритма способен находить утоление тончайших запросов своей души… Его творческий дух мыслит яркими, живыми образами, он обладает даром улавливать и передавать сокровенные душевные движения, постоянно меняющиеся в своём беге настроенья… Он сохранил всю прелесть, всё богатство народного языка, народной речи и полными пригоршнями рассыпает эти богатства перед нами. Властелин слова, он легко находит нужный ему материал для выражения своих мыслей и своих чувств. Из народной речи он заимствует нужные ему образы, гранит их, как искусный ювелир, и дарит нас совершенным в образе поэтического творчества… Нельзя не быть признательным автору за то наслаждение, которое могут дать его стихи. Нельзя не пожелать дальнейшего расцвета творчеству ещё одного даровитого представителя крестьянской Руси».

Сам же Клюев был очень недоволен вышедшим сборником. «Дорогой Валерий Яковлевич, — писал он Брюсову, — присылаю

Вам свою книжицу, изуродованную до неузнаваемости, с перепутанными стихами, с множеством опечаток, с не моими заглавиями и с недостающими, потерянными издательством стихами». В тот же день он пишет аналогичное письмо Блоку с выражением радости от получения блоковских «Ночных часов». И уже — никаких «упрёков» и «прощений».

И ещё одно письмо было написано Клюевым в конце того же 1911 года. Николай посетил редакцию «Аполлона», где получил предложение написать статью о Блоке (написана она не будет). Там он снова встретился с Гумилёвым и познакомился с Анной Ахматовой. Знакомство вышло не слишком удачным. И теперь Клюев в письме к ней пытался объяснить — почему всё случилось так, как случилось.

«Извините за беспокойство, но меня потянуло показать Вам эти стихотворения, так как они родились только под впечатлением встречи с Вами. Чувства, прихлынувшие помимо воли моей, для меня новость, открытие. До встречи с Вами я так боялся такого чувства, теперь же боязнь исчезла, и, вероятно, напишется больше в таком духе. Спрашиваю Вас — близок ли Вам дух этих стихов? Это для меня очень важно. Или неужели я ошибся: ввёл себя и Вас в ложное.

Ещё хочется сказать Вам, чтобы Вы не смущались моей грубостью и наружной холодностью, которая так запомнилась Вам от нашего свидания в „Аполлоне“. Я знаю, что Вам было нудно и неприятно, но поверьте, что я только и знал, что оборонялся от Вас — так как в моём положении вредно и опасно соблазниться духом людей Вашего круга. Только потому и приходится запереть свои двери…

Простите за слова. Жизнь Вам и Радость.

Жду ответа, только, пожалуйста, заказным письмом.

Николай Клюев».

Прежде всего: чрезвычайно интересно признание Клюева в чувствах, которые нахлынули «помимо воли» и которые явились для него «открытием». И ещё один момент: до Клюева дошло, что Ахматова запомнила его «грубость и холодность». Каким образом? Возможно, она поделилась своим неудовольствием с Сергеем Городецким, уже сделавшим на Клюева ставку и вознамерившимся всерьёз опекать Николая. И тот рассказал Клюеву об этом разговоре.

И ведь среди четырёх стихотворений, приложенных к письму, — одно особенно обращает на себя внимание.

Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом

И теперь, лучезарно светла,
Правишь горним неведомым градом.

Я нездешним забыться готов,
Ты всегда баснословной казалась
И багрянцем осенних листов
Не однажды со мной любовалась.

Говорят, что не стало тебя,
Но любви иссякаемы ль струи:
Разве зори — не ласка твоя,
И лучи — не твои поцелуи?

«Вероятно, в 1912 г. Н. Клюев появился на нашем горизонте, — вспоминала Ахматова десятилетия спустя. — Уехав, он прислал мне четыре стихотворения. Три из них я забыла совершенно, четвёртое помню наизусть…» Как раз это стихотворение она и запомнила. «Это, конечно, не мне и не тогда написано. Но я уверена, что у него была мысль сделать из меня небесную градоправительницу, как он сделал Блока наречённым Руси».

Все четыре стихотворения были посвящены «Гумилёвой», и Ахматова не могла этого не помнить. Другое дело, что это посвящение надо было по возможности отвести от себя — и вопреки утверждению Клюева в полученном и прочитанном ею письме («они родились только под впечатлением встречи с Вами») она чётко и безапелляционно обозначила: не мне и не тогда. Впрочем, исправление своей биографии в конце жизни стало для неё привычным делом.

«Большой поэт, страшный человек… Он был главой какой-то нехорошей секты (не хлысты, но что-то в этом роде)… Человек он был тёмный»… Так отзывалась она о Клюеве в последние годы своей жизни, запечатлевая в сознании современников образ, чрезмерно искажающий человеческий облик одного из самых драгоценных её собеседников той эпохи.

Ни «страшного», ни «нехорошего» не обнаружила в Клюеве подруга Ахматовой Валерия Срезневская, познакомившаяся с ним в квартире Алексея Ремизова на Таврической.

«Клюев носил тогда русский кафтан, — вспоминала она, — большой наперсный крест на груди, говорил архангельским говором, писал прекрасные старорусские, былинные по размеру, нежные, проникновенные стихи о России и был очень прост и приятен в обращении. Помню его подчёркнуто русский облик,

плавную речь, почти поясной поклон при встрече, приветливую открытую улыбку, искренность и доброжелательность…»

Сам же Ремизов отметил в нём «большую мужицкую сметку» и «игру в небесные пути». Но то, что он оценил как «игру», совершенно по-иному восприняли посетители «Башни» Вячеслава Иванова, и в первую очередь сам хозяин. Сергей Алексеев-Аскольдов, в частности, вспоминал, как он долго беседовал на «Башне» с Клюевым, и Клюев со знанием дела вещал о Рудольфе Лотце, Якове Бёме, Франце Баадере, Иоганне Готлибе Фихте, причем цитируя их в оригинале — даром что с невозможным акцентом… Здесь же завязался его продолжительный диалог с Вячеславом Великолепным вокруг вечной темы родного и вселенского.

Глава 6
«ГОЛГОФСКИЕ ХРИСТИАНЕ»

В июне 1912 года вышла вторая книга Клюева «Братские песни» с предисловием о. Валентина Свенцицкого и с собственным коротким вступлением «от автора», где Николай сообщал читателю:

«„Братские песни“ — не есть мои новые произведения. В большинстве они сложены до первой книги „Сосен перезвон“ или в одно время с нею. Не вошли же они в первую книгу потому, что не были записаны мною, а передавались устно или письменно помимо меня, так как я до сих пор редко записывал свои песни и некоторые из них исчезли из памяти.

Восстановленные уже со слов других или по посторонним запискам, песни мои и образовали настоящую книжку».

На самом деле многие из стихотворений, вошедших в «Братские песни», не только «были записаны» Клюевым, но и публиковались на страницах «Новой земли». Но то, что стихи, «образовавшие настоящую книжку» (и не только стихи), «передавались устно или письменно», — сущая правда. Об этом свидетельствовал сам Клюев в письме Блоку, написанном не позже начала марта: «„Новая земля“ предлагает мне издать книжку стихов в духе „Песнь братьям“ — в № 7–8 „Новой земли“ (под этим названием было напечатано стихотворение „Иисуса крест кровавый…“. Кстати, написание имени „Иисус“ говорит о том, что Клюев в это время отнюдь не придерживался заповеди „праотцев“: „Умрём за единый азъ“. — *С. К.)*… Пишут так убедительно с заголовком: „Торопитесь делать добро“, что мне как-то неловко ответить необоснованным отказом. Быть может, новоземельцы и искренне веруют, что мои песни — „отклик Елеонских песнопений“. Я вовсе сбит с толку. По Москве распространяют мои письма, поют в Ямах моё стих(отворение) „Поручил ключи от ада…“ и „Под ивушкой зелёной“… (В московских трактирах наподобие подвального под названием „Яма“, куда наведывались и Брихничёв, и епископ Михаил, и Валентин Свенцицкий, сектанты вели свои споры о вере с православными — и клюевские песни использовались в этих спорах наряду с проповедями самих „голгофских христиан“. — *С. К.)* Не знаю, врут или правду пишут. Брюсов мне пишет, что я должен держаться „на занятом положении“, одним словом, недоумениям моим нет конца. Книга предполагается с вступительной статьёй, что ли, епископа Михаила. Но беспокоит

меня больше следующее: *не повредит ли мне книжка с такими песнями с художественной стороны?..»*

Вопрос весьма многозначительный и для Клюева важный: для него собственно поэтическое творчество и сочинение «песнопений» для «братьев» находятся на разных полюсах. Индивидуальное лирическое начало несовместимо в его восприятии с «коллективным действом», когда вариация на услышанный и запомненный или записанный гимн есть продолжение «братского» сотворчества.

Нетрудно предположить, что самым активным «продвигателем» «Братских песен» был Иона Брихничёв.

«Дорогой Валерий Яковлевич! — пишет Клюев Брюсову. — „Новая земля“ предлагает мне издать второй сборник стихов в духе журнала под названием „Братские песни“. А. Блок советует издать, говорит об этом твёрдо. Спрашиваю Вашего совета. Быть может, Вы потрудитесь прочесть в № 1–2 „Новой зем(ли)“ мою „Братскую песню“, чтобы знать, какой характер будет иметь книжка. Без Вашего совета я не решаюсь ответить Ионе положительно, а ему нужно печатать объявления, что моя книжка приложена к журналу за этот год».

Это объявление было напечатано 25 июня в московской газете «Руль» рядом с объявлениями о выходе книг самого Брихничёва «Апостолы реформации», «Апостолы гуманности и свободы», «Капля крови» — и в сопровождении отзыва на клюевские стихи из газеты «Современное слово»: «Песни Клюева — явление весьма незаурядное: глубоко-вдохновенные, стихийно-яркие, оригинальные. Это — поэзия новых, освободительных настроений в народе».

А в предыдущем номере от 18 июня появилась статья Брихничёва, посвящённая Клюеву, под названием «Северное сияние», в сопровождении редакционного примечания: «Помещая настоящую статью, интересную с точки зрения внешних, бытовых условий, среди которых вырос молодой поэт, редакция не совсем солидарна с той восторженностью оценки, которую встречают со стороны автора статьи произведения Н. А. Клюева с точки зрения художественной и философской».

Но именно описания «внешних, бытовых условий» никак не могли доставить Клюеву удовлетворения.

«Николай Алексеевич Клюев — сын народа. Он родился в семье бедного крестьянина села Желвачёва Олонецкой губернии.

Систематического образования он не получил, а своим необычайным духовным развитием обязан только себе, своей исключительной жажде знания.

В этом отношении Клюев очень похож на своего соседа по

губерниям и товарища по судьбе — холмогорского рыбака Михаила Ломоносова.

Вот что об этой жажде знания Клюева писал мне в декабре 1910 г. Александр Блок: „Обрадуете его, т. е. Клюева, если пошлёте ему „Новую Землю“. Он *жаден до чтения* и, конечно, особенно до чтения о „жизни“, а книг ему доставать неоткуда“».

У Клюева уже был повод с явным недоумением отнестись к распространению своих частных писем, начало чему положил Блок. Теперь он обнаруживает, что из рук Брихничёва распространяются «по Москве» письма, адресованные уже Ионе, а цитата из письма Блока в статье, контекст которой, очевидно, призван создать образ самоучки-самородка, используется, что называется, «по назначению» — в определённых целях.

Но дальше — больше. Недоумение начало сменяться холодным возмущением, когда речь в статье «брата» зашла о земляках и родителях.

«Если принять во внимание ту обстановку, в которой рос и развивался поэт, — его появление становится прямо-таки *чудесным.*

Село, где он родился, не насчитывающее и десяти дворов, населено людьми, находящимися едва ли не на самой примитивной степени развития.

О молодёжи поэт всегда отзывается с большим уважением…

Но старики… на них нельзя не удивляться…

Село Желвачёво лишено растительности.

Около одной избы чудом выросла вишенка.

Старики, посоветовавшись между собою, решили срубить деревцо, „чтобы было гладко“… и срубили…

Тем не менее, поэт любит свою деревню, своих земляков и готов послужить им всем, чем может, хотя из этих усилий не всегда получается то, к чему стремится поэт…»

Клюев, видимо, о многом рассказывал Брихничёву из своей жизни, из жизни своих земляков. Но Иона предпочёл «для контрасту» и пущего эффекта выбрать «самое нужное» и ещё краски сгустил. Срубленная вишенка — цветочек по сравнению со следующей картиной.

«В урочное время за шкурками зверьков является в деревню целая стая алчных скупщиков и выменивает роскошные шкурки на безделушки.

Юный Клюев захотел помочь землякам.

Набирает воз шкурок, садится на воз и едет с ним в Петербург.

Шкурки проданы быстро и выгодно… Клюев привозит своим поручителям целую уйму денег.

Что же? Поражённые огромной разницей в цене, какую им давали скупщики и по какой продал Клюев, они решили, что шкурки, наверное, стоят и ещё больше и что их односельчанин продал шкурки дороже, а деньги утаил.

Собравшись толпою, они с вилами и кольями явились к отцу поэта с требованием, чтобы он выдал сына…

С трудом удалось успокоить обезумевшую невежественную и неблагодарную толпу!

Но поэт не помнит обид, и ещё недавно он писал мне с глубокой нежностью о земляках, которые слышали, что он выпустил книжечку, а книжки самой не видали, прося прислать книг и журналов для деревни…»

Брихничёв с упоением рисует своего брата с кроткой голубиной душой, окружённого темнотой, невежеством и зверством в родной деревне… Ладно, земляки. «Живописание» Ионы доходит до клюевской семьи. Тут «контраст» ещё более разительный.

«Мать и отец, как и в большинстве подобных случаев, — не поняли ни музыкальной души, ни призвания своего „Николеньки“. Для них более дорог был другой сын, правда, ничем не выдающийся, но хорошо сравнительно устроившийся — *по-земному* и время от времени присылающий им денежную дань.

В эти дни жизнь поэта дома становилась адом.

— Не ледащий наш Николенька и не путящий, — причитала в таких случаях мать поэта перед подстрекавшими её деревенскими бабами. — Уж лучше бы умер… Сама бы своими руками глаза закрыла. Легче бы было, чем смотреть на такого.

Не отставал и отец.

Раз, не довольствуясь разного рода укорами сыну, он выгнал его из дому, и поэт долгое время скитался без крова, пока не добрался с грехом пополам до Питера, где и нашёл пристанище у любимой сестры.

Но поэт не помнит обид…

Он знает, что мать и отец — люди неграмотные и делали больно ему по неведению.

И по-прежнему относится к ним любовно.

С неописуемой радостью везёт он отцу первую сотню из первого гонорара…»

Прочитав это, Клюев не мог не испытать чувства тяжелейшей обиды.

Есть вещи, о которых рассказывают лишь по крайней доверительности самому близкому человеку, естественно, не предполагая, что этот «близкий человек» предаст рассказанное гласности да ещё и в своей «инструментовке».

Кого Брихничёв назвал неграмотными? Потомственных староверов? Отца, служившего в жандармском управлении? Мать, обучавшую маленького Николеньку чтению по Часовнику?

Брихничёв не постеснялся ничего в своей хвалебной статье. Только уже другими глазами читал Клюев эту статью — и слова про «беспросветно грубых и развратных соловецких монахов», и цитаты из писем Блока, писавшего, что «Клюев пишет в прозе очень замечательные вещи. Но… если просить у него статьи, он сейчас же сошлётся по скромности на малограмотность и малокнижность…».

Финал статьи чрезвычайно ярок и интересен подробностями, подмеченными Брихничёвым и вынесенными им из разговоров с Клюевым.

«— Надо научиться говорить таким языком и выявлять себя такими поступками, — говорил он однажды, — чтобы ко всем — и к белым и к чёрным, и к злым и добрым, к праведным и грешным — подходить любовно… и вызыв(ать) в других только это чувство…

Поэту 25 лет (на самом деле 28. — *С. К.)*. Внешностью он не отличается. Но обращают на себя внимание его удивительные голубые глаза.

Одевается он просто и даже бедно.

Говорит мало, тихо и всегда на ты, называя собеседника всегда — брат или сестра.

Письма и разговоры его отличаются исключительной искренностью и прямотой, что некоторые принимают даже за грубость; но это ошибочно…

Клюев по жизни аскет и девственник, но отношение его к женщине трогательное и нежное, как к сестре.

О проститутках Клюев говорит с какой-то болезненной грустью и в каждой видит Магдалину…»

Что мог думать Николай после всего прочитанного? «Не заводи друга — не наживёшь врага».

* * *

Можно предположить, что у Клюева вышло довольно серьёзное объяснение с «братом» Ионой по поводу «Северного сияния». И Брихничёв, как всякий настоящий фанатик, считающий правым только себя самого, не остался в долгу. Любовь мгновенно сменил на ненависть.

Брихничёв составил целое послание под названием: «Новый Хлестаков (правда о Николае Клюеве)» и разослал сей документ

по «нужным» адресам. В числе первых его получили Валерий Брюсов и Сергей Городецкий.

Начало было симптоматичным: Брихничёв полностью оправдывает всё, написанное в статье, ссылкой на то, что «сказанное… записано со слов самого Клюева». Дескать, что слышали — то и подали. Под каким «соусом» подали — не суть. А дальше — Брихничёв излагает «*правду*» о Николае Клюеве, то есть — «что мы сами видели и наблюдали».

Как Брихничёв «слышал» — более или менее понятно. А вот как «наблюдал»…

«Прежде всего о стихах, — писал он, распаляя себя от строчки к строчке. — Боюсь, что многие из них, если не все, являются произведениями не самого Клюева, а какого-нибудь оставшегося неизвестным поэта из народа, стихами которого господин Клюев воспользовался, как обыкновенно пользуются чужою вещью, и выдал за свои.

Основанием для подобного предположения служит следующее.

В 1909 году — в августе месяце — в станице Слепцовской — на Кавказе — я слышал гимн „Он придёт, Он придёт, и содрогнутся горы…“.

Буквально то же, что помещено в „Братских песнях“. Гимн этот пели сектанты „Новый Израиль“. Он произвёл на меня тогда потрясающее впечатление. Хотелось записать его, но мне не позволили.

В 1911 году в августе же Клюев прочёл нам ряд песен, в том числе и „Он придёт“ и сказал — что *эти песни не его, а записаны им в Рязанской губернии.* В марте 1912 года Клюев напечатал эту песню за своею подписью. А затем поместил и в сборнике „Братские песни“…»

Прервём на мгновение поток брихничёвской «правды» о Клюеве и поинтересуемся, что этот «правдолюбец» писал о Клюеве Брюсову в сопроводительном письме.

«Дочь генерала Цепринского (Зинаида Николаевна Цепринская, лет 35), читая „Братские песни“, — „Мне сказали: ‘Света век не видать…’ — с негодованием заявила, что эта песня не Клюева. Он всех одурачивает. Я знаю эту *народную* песню, я её наизусть знаю. Знаю с детства“.

Не правда ли, интересно?

Однажды Клюев сказал:

„Я проведу тут простачков“.

Не считает ли этот негодяй нас (в том числе и Вас) простачками?

Ведь Россия огромна… У народа — много *разных* песен…

И „простачков“ много…

Умоляю Вас, Валерий Яковлевич, не оставить этого дела под спудом… Я не боюсь суда (в самом начале письма Брихничёв просил Брюсова *потребовать* от Клюева вызвать Иону на третейский суд. — *С. К.)*».

Здесь волей-неволей возникает вопрос: куда смотрел сам Иона Брихничёв, когда печатал упомянутое стихотворение Клюева в «Новой земле», если, как он сам пишет, слышал текст этого гимна на Кавказе в 1909 году? Но это — вопрос второстепенный.

Куда интереснее другое. Похоже, ни сам Иона, ни пресловутая «дочь генерала» понятия не имели о таком характерном для Клюева приёме, как создание собственных песен на мотивы сектантских гимнов. В это же время Клюев занят обработкой народных песен, которые позже войдут в цикл «Песни из Заонежья». Вот одна из них — песня, петая ещё в XVIII веке: «Как у моего двора приукатана гора, приукатана, углажена, водою улита, и я скок на ледок, подломился каблучок, я упала на бочок… Ах, я рад, душа, поднять, со сторон люди глядят, поймать с тобой хотят, поведут тебя рядами, меня лавочками, тебя станут бить батожьем, меня — палочками…»

Что же у Клюева? А у Клюева — «Красная горка».

Как у нашего двора
Есть укатана гора,

Ах, укатана, увалена,
Водою улита.

Зачин — практически тот же, что и в старой песне. Но если в оригинале — бытовая сценка, то в клюевской обработке — сказочный сюжет.

Принаскучило младой
Шить серебряной иглой, —

Я со лавочки встала,
Серой уткой поплыла.

Да плыть пришлось недалече… Не смогла девица взобраться на горку, ибо «козловый башмачок по раскату — не ходок»… И тут пред её очами — «паренёк-раскудрявич»… И — никаких завистливых глаз вокруг. А ежели и есть — то в художественном

пространстве Клюева их нет. Не до них ни девице, ни «раскудрявичу», «по волости соседу», что подаёт суженой «бахромчат плат» и ведёт к «вихорю-коню» да к «саням лаковым»… Сказка!

И так в каждой обработке, начиная с раннего «Матроса» и до «Радельных песен» и других стихотворений, вошедших в «Братские песни». Клюев и не скрывал своих источников. Позже в письме Есенину он напишет: «Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни»… Точнее было бы сказать — вынес основу их. Ведь под клюевским пером они обретали совершенно иной вид, иную мелодию, иную инструментовку. Религиозные мотивы находили воплощение в изощрённой поэтической форме, унаследованной от русских классиков и новых поэтов, в том гармоничном сочетании звука и смысла, которое становилось доступным для слуха современного читателя. Потому и пелись песни Клюева в трактирах среди собратьев, потому и переходили из уст в уста.

Как у нас ли, други, ныне радость:
Отошли от нас болезни, смерть и старость.

Стали плотью мы заката зарянее,
Поднебесных облак-туч вольнее.

Разделяют с нами брашна серафимы,
Осеняют нас крылами легче дыма,

Сотворяют с нами знамение-чудо,
Возлагают наши душеньки на блюдо.

Дух возносят серафимы к Саваофу,
Телеса на Иисусову Голгофу.

Это можно и декламировать, и петь, чувствуя, как душа наполняется радостью, а всё существо — нечаянной лёгкостью. Радость в духе — это определяющий признак всех клюевских «Братских песен». Братство в духе — их содержательная константа.

Клюев не «стилизовал», а творил собственные гимны и песнопения, естественно и легко используя найденное предшественниками — и новейшие поэтические достижения, которыми он овладевал, глубоко и пристально читая современных ему поэтов, пришлись впору. Эпохи смыкались в его

творчестве — и старая, книжная и устная, стихия естественно и органично вбирала в себя новую волну, которая казалась каплей в том океане словесных сокровищ, что помнил Николай ещё по распевам матери. И пелись, и передавались, и заучивались его «братские песни», а, например, «духовные стихи» Михаила Кузмина остались достоянием сравнительно узкого кружка.

Они не раз, кстати сказать, встретятся на жизненной дороге — и их отношение друг к другу будет со временем меняться, — от полного взаимного неприятия до той стадии, которую, наверное, точнее всего определить словом «товарищество».

* * *

Вернёмся всё же к Ионе Брихничёву, точнее, к его пасквилю «Новый Хлестаков».

После обвинений в плагиате последовали обвинения Клюева во лжи и алчности.

«В предисловии к „Братским песням“ Клюев пишет, что они, т. е. „Братские песни“, — написаны раньше „Сосен перезвона“, но мне — в присутствии ряда лиц, на мой упрёк ему — *во лжи и неискренности* — сказал: „В прошлом году у нас тоже была размолвка, *однако в результате наших отношении явились ‘Братские песни’*“.

Как же это — то раньше „Сосен перезвон“, а то в результате наших отношений. Слишком нагло.

Что-то очень тёмное, как и всё в господине Клюеве».

Далее Брихничёв пересказывает услышанные от кого-то «клюевские» слова, «что „Братские песни“ напечатаны *без его согласия»,* и приняв это за чистую монету, начинает «опровергать»: «…Мне, как потрудившемуся над изданием этой книги — была прислана книга с надписью — „священнику и брату“, а Свенцицкому — „с земным поклоном“». Упоминает клюевское «удовольствие, что книга издана так именно, как он хотел». И затем, обличая, приводит интересные детали: «Вообще, что хотения Клюева были приняты к сведению, видно из того, что „пророк“ *просит*, чтобы в предисловии Свенцицкого была вставлена фраза Клюева о самом себе, что „братские песни“ — отклики тех песен, которые пели мученики Колизея и… братья на жестоких кострах. И даже это, как можно видеть из предисловия к „Братским песням“, было исполнено».

А дальше — больше.

«Ложь и гипноз, которыми себя окружает Клюев, выдавая себя за религиозного реформатора, создали во мне представление о

нём, как о чём-то *очень большом.*

Кажется, я первый назвал его в печати новым пророком, за мной повторили это очень многие.

Теперь каюсь.

Клюев, бесспорно, очень выдающаяся личность, но типа Хлестаковского. Только более наглая. Ибо пустил в ход самое сильное оружие: религию и братство.

Религиозные отношения основываются на вере, и мы поверили ему.

Но по плодам их узнаете их. „Они придут, как волки в овечьей шкуре“.

А Клюев к своей *внешней* кротости ещё прибавлял — заявлял всем и каждому, *что никогда не имел сношений с женщинами.* Старался окружить себя ореолом и стоустой молвой.

Но сразу же ореол спадал, когда дело доходило до денег.

Всегда бросалась в глаза его *непомерная жажда стяжания».*

И далее следовали: подсчёт — сколько Клюев получил за «Братские песни» и «Сосен перезвон»; упоминание о гонорарах с журналов; упрёк, что «пророк» «не считает нужным внести свою долю в общую сокровищницу, а, наоборот, уводит у них последнюю материальную поддержку — 800 экземпляров „Сосен перезвон“ — заплатив за них даже не 144 руб., которые они стоили его друзьям, а лишь 82»; извещение о «выпрашивании» Клюевым денег и вещей у знакомых. «Кроме того (все эти два с половиной осенних месяца), прикрываясь бедностью, читал за плату свои песни

— У Адашева — 2 раза,
— Озаровской,
— эстетов,
— графини Уваровой,
— гимназии Травниковой,
— Мендельсона,
— Мягковой,
— Третьякова и других».

И, естественно, упоминание, что с каждого выступления «получил… по 25 руб.».

Список свидетельствовал о том, что Клюев становится модным поэтом и исполнителем. Его приглашают в богатые дома, в дома любителей и собирателей народного творчества. При том, что гонорары за публикации и исполнения были его *единственным* источником существования, и Брихничёв волей-неволей свидетельствовал против самого себя, упоминая, «что все эти и прочие деньги новый Хлестаков немедленно переводил на родину». То есть «братья», естественно, рассчитывали на Клюева,

вошедшего в славу, как на источник дохода, а Николай в первую очередь помнил о престарелых родителях, о брате, который, «и ледащий, и путящий», всё же не мог своим жалованьем обеспечить их существование.

И ещё один «грех» подчёркивает Иона: «Вообще — „жидов и левых“ господин Клюев не жалует (есть одно письмо его, где он пишет — „поймите меня — ведь вы не какие-нибудь жиды или левые“)». (Ведь насмотрелся Клюев и на тех и на других, в период своей «революции» и тюремного сидения. Наслушался. Узнал многим из них цену.)

Клюев много что рассказывал о себе Брихничёву, и невозможно сейчас определить, где он «подкладывал себя», следуя принципу «быть в траве зелёным, а на камне серым», а где говорил от души, и насколько правильно Иона его понимал. Во всяком случае, для Брихничёва уже все средства были хороши, и отдельные фразы Клюева он использовал без зазрения совести ради убийственных выводов: «Хлестаков, лжец, религиозный шулер, клеветник, литературный и нелитературный вор… *Я утверждаю, что для Клюева нет ничего невозможного* — если ему это выгодно…»

Послание разошлось достаточно широко, и иные позднейшие мемуары о Клюеве выдерживались в «брихничёвском» тоне.

А ведь ещё недавно всё было иначе. После уничтожения нескольких номеров «Новой земли» цензурой журнал был окончательно закрыт за статью «Похоронный марш», посвящённую Ленскому расстрелу. Вместо него вышел журнал «Новое вино», где в первом номере, на обложке которого был портрет Николая, были напечатаны клюевская «Святая быль» и восторженная статья о нём Любови Столицы «О певце-брате»: «Я говорю о замечательном литературном явлении последнего времени — о необычайной, нечаянно-радостной поэзии Николая Клюева, особое значение которой вскрывается, на мой взгляд, во второй его книге „Братские песни“. Как озеро, вспоены они светлым небом нового религиозного сознания; как луг, вскормлены тёмною землёю древнего народного творчества. Поэтому песни эти таят в себе таинственную связь с прошедшим и грядущим, с человеческим и божеским, со звериным и серафимским…» Ладно — восторженная поэтесса, но ведь и сам Брихничёв тут же поёт Клюеву хвалу, уже следующей его книге, ещё только готовящейся к печати — «Лесные были»: «Страшная книга… Изумительная книга… Наша критика, привыкшая смотреть на стихи с точки зрения внешней, проглядела в книгах Клюева „Сосен перезвон“ и „Братские песни“, — то, что составляет душу души Клюева, его глубокую религиозную

личность, кладущую отпечаток на все произведения поэта и сообщающую им исключительную силу и мощь, *как призыв* к *новой* лучезарной жизни. Лучшие из критиков обратили внимание на сравнительно второстепенные вещи и забыли и обошли молчанием *вечные* гимны, ставящие поэта в ряды таких поэтов, как Давид и Иоанн Дамаскин… Клюев носит в себе подлинного, голгофского Христа. Этот Христос и помог ему посмотреть на жизнь иными глазами…»

Таким предстаёт «религиозный шулер, литературный и нелитературный вор» на страницах нового брихничёвского журнала. А в третьем номере Брихничёв печатает беседу с Клюевым под названием «Богоносец ли народ?», где Клюев в чрезвычайно резких тонах отзывается о веховцах и их взглядах на русский народ и полемизирует с Владимиром Соловьёвым. И ни малейшей идеализации народа ни в клюевских словах, ни в клюевском тоне.

«Указывают на народ — богоносец… Как будто не путём самосознания, не путём страдания совершенствуется нация…

Это Соловьёв говорил?

Я не согласен с Соловьёвым… Это — суеверие…

На самом деле народ — Дракон. (На самом деле — Дагон. Брихничёв плохо услышал. — *С. К.)*

Земля — злое, тёмное божество…

И плен земли самый страшный…

Недаром в древности земле приносили человеческие жертвы. Дагон…

Пахарь постоянно зависит от земли…

Молятся они во время засухи не Богу, а Духу земли…

Какой же тут народ богоносец?!

А к палке привыкнуть не большая заслуга… Терпение…

Чтоб они треснули с этим терпением… Ставят в заслугу целой нации, что она к палке привыкла…

Какое суеверие, Господи!

Барыня вывела собачку на цепочке и смотрит, как она гадит…

Так и они, называющие народ богоносцем, видят народ на цепочке и смотрят, как он гадит, и умиляются…

Читаю книги и думаю, что они плетут…

Конечно, отнимая от народа этот чин — богоносца, нельзя заключать, что он и свинья, и скотина…

Но нечего и болтать про то, чего не знаешь… А между тем ни один из них не объявится — „меня за умного считайте или за дурака, а я ничего не знаю“.

Тогда бы всем легче стало… Впрочем, я не знаю, какого бога они разумеют…

Того, кто сам ходит…

Или которого на руках носят…

Может быть, у них, у Булгаковых да Бердяевых, такой бог и есть, которого носить надо…»

С этой речью впрямую перекликается клюевская «Святая быль», где «други-воины» навещают на земле «добра-молодца», что сам был из их рати небесной: «Моё платье — заря, венец-радуга, перстни-звёзды, а песня, то вихори, камню, травке и зверю утешные…» Слетев звездой на «землю святорусския — матери», он, человеком став, — «всем по духу брат с человеками разошёлся… жизнью внутренней…». И вещает — в чём суть этого разлада:

Святорусский люд тёмен разумом,
Страшен косностью, лют обычаем;
Он на зелен бор топоры вострит,
Замуруд степей губит полымем.
Перед сильным — червь, он про слабого
За сивухи ковш яму выроет,
Он на цвет полей тучей хмурится,
На красу небес не оглянется…

Так видится русский человек ангелу во плоти, который знает, что творит «навет», и «навет» этот «чутко слушают» его друзья, и отвечают по достоинству: возвращают «друга» в небесные выси:

«Мир и мир тебе, одноотчий брат,
Мир устам твоим, слову каждому!
Мы к твоим устам преклонили слух
И дадим ответ по разумию».
Тут взмахнул мечом светозарный гость,
Рассекал мою клеть телесную,
Выпускал меня, словно голубя,
Под зенитный круг в Божьи воздухи;
И открылось мне: Глубина Глубин,
Незакатный Свет, только Свет один!
Только громы кругом откликаются,
Только гор алтари озаряются,
Только крылья кругом развеваются!

Не прижившийся среди людей, при всей любви к «земле святорусския», вернулся в родную обитель. А за навет — рассечённая плоть.

* * *

…Ещё в сентябре Клюев писал Василию Гиппиусу, также привлекая его к сотрудничеству в новом журнале: «Здесь очень хорошие люди около журнала „Новое вино“». Но ознакомившись с брихничёвским «посланием», резко отстранился от бывшего друга и в письме издателю К. Некрасову просил снять посвящение Брихничёву над «Святой былью» в готовящемся издании «Лесных былей», а 22 мая 1913 года написал Брюсову: «Дорогой Валерий Яковлевич, я получил письмо от Брихничёва, в котором он выражает сожаление о том, что написал Вам обо мне и 800 экземплярах „Сосен перезвона“. Дело объясняется очень просто, и к нему я никакого касательства не имею. С Брихничёвым я порвал знакомство, так как убедился, что он смотрит на меня как фартовый антрепренёр на шпагоглотателя — всё это мне омерзительно, и я не мог поступить иначе».

Стараниями Брихничёва ещё одно произведение — стихотворение в прозе «За столом Его» появится в одесском альманахе «Солнечный путь», и на этом их контакты прервутся раз и навсегда.

А в октябре Клюев знакомится с Алексеем Николаевичем Толстым, который два вечера подряд слушает его стихи, боясь пошевельнуться.

В просинь вод загляделися ивы,
Словно в зеркальце девка-краса.
Убегают дороги извивы,
Перелесков, лесов пояса.

На деревне грачиные граи,
Бродит сонь, волокнится дымок:
У плотины, где мшистые сваи,
Нижет скатную зернь Солнопёк…

«Его стихи более чем талантливы», — писал Толстой Некрасову. С подачи Алексея Николаевича издатель принял к печати «Лесные были». И в том же году состоялось знакомство Клюева с Сергеем Антоновичем Клычковым.

Красавец цыганистого вида, тончайший лирик, увлечённый славянской мифологией (увлечение ею переживали многие из тогдашних поэтов — да у Клычкова была в стихах та песенная органика, которой в помине не было у многих из них, как и у того же Городецкого) — он сразу стал одним из близких Клюеву людей

в холодном и неуютном столичном мире. Его первые книги «Песни» и «Потаенный сад» не пришлись по душе ни Блоку, ни Гумилёву — а Клюев их принял сразу же. При том, что сам Клычков напрочь отвергал советы иных «доброжелателей» подражать Клюеву («…Я, право, не знаю, что *надо сделать*, чтобы *идти* по тропе Клюева», — писал он Борису Садовскому). Для Николая он стал драгоценным другом и собеседником.

Клюев, Клычков, Карпов… Позже их вместе с Александром Ширяевцем, Сергеем Есениным и Алексеем Ганиным назовут «новокрестьянскими поэтами». На самом деле это было явление поэтов Русского Возрождения, становление уникального направления в русской литературе, второй жизни которого отечественный читатель дождётся лишь к середине 1960-х годов.

…А тогда шло бурное обсуждение «Братских песен».

«Клюев — это настоящий, Божьей милостью поэт — самобытный, сочный, красочный, с интересным религиозно-философским мировоззрением и чистым откровенным цветением души. „Братские песни“ по образности и одухотворённости изумительны» («Воскресная вечерняя газета»).

«Песни Клюева — явление весьма незаурядное, глубоко вдохновенные, стихийно-яркие, оригинальные. Это — поэзия новых, освободительных настроений в народе» («Современное слово»).

«Новая книга Клюева напоминает „духовные стихи“, „сектантские псальмы“… И действительно, братские песни удивительно общенародны. Их неопределённое воздыхание, обещание искупления, заложенное в них чаяние конечного счастья, счастья, добытого мукой крестной, отвечают упованиям многих и многих измученных народных душ…» («Речь»).

«„Братские песни“ Клюева радуют, как зорька нового дня. Песни Клюева — это гимны воинов Христовых» («Копейка»).

«Вдохновенные, волнующие, подкупающие стихи. Это звучная, красивая песня-молитва, песня-пророчество, песня-скорбь» («Кубанский край»).

Читать это было приятно, но пищи ни для души, ни для ума эти восторги не давали.

* * *

Впрочем, восторги быстро поубавились. Клюев начал в полной мере ощущать на себе, что такое «художественная критика».

«Тощую, претенциозную „вторую книгу“ Н. Клюева трудно

дочитать до конца… Тут кресты, терновник, венцы из терний, Голгофа, кущи рая, райский крин, зверь из бездны и т. д., и т. д. …Но тут нет живого человеческого слова, идущего от сердца к сердцу…» (Василий Львов-Рогачевский, журнал «Современный мир»).

«Искупление грехов, кровавые слёзы раскаяния, эшафот и костёр, вот что сменило недавно бодрую музу Клюева… Потух внутренний огонь… и помертвели слова и образы… Неблагоприятное впечатление довершается крикливой статьёй Свенцицкого» (Виктор Ховин, газета «Новая Жизнь»).

Куда больший интерес вызывала статья Брюсова в «Русской мысли».

«Среди подлинных дебютантов первое место принадлежит г. Н. Клюеву. Его первый сборник появился с предисловием пишущего эти строки, и потому мы считаем неудобным говорить об нём. Но теперь уже издана вторая книга Клюева „Братские песни“, может быть, более тесная по захвату, чем первая, но едва ли не более сильная… Проходя мимо стихотворений просто слабых (каких в книге немало), мы должны сказать, что лучшие являют редкий у нас образец подлинной религиозной поэзии. То, что давалось коллективному творчеству общин наших сектантов, выражено у г. Клюева в порыве личного, индивидуального вдохновения и окрылено стихом, часто совершенным, иногда сделанным умелой и искусной рукой… Некоторая нелитературность его речи, неприятно останавливавшая в его поэтических описаниях природы, как нельзя более к месту оказалась в этих „духовных стихах“, которым и подобает говорить безхитростным народным говором… Мы затрудняемся пророчить о судьбе г. Клюева как поэта. Но во всяком случае он дал нам две хороших книги, — светские, молодые, яркие».

Там, где «затруднялся» Брюсов, никаких затруднений не испытывал Гумилёв, отвергавший принадлежность поэзии Клюева к поэзии «сектантской».

«До сих пор ни критика, ни публика не знает, как относиться к Николаю Клюеву. Что он — экзотическая птица, странный гротеск, только крестьянин — по удивительной случайности пишущий безукоризненные стихи, или провозвестник новой силы, народной культуры? По выходе его первой книги „Сосен перезвон“ я говорил второе. „Братские песни“ укрепляют меня в моём мнении… Именно так и складываются образцы народного творчества, где-нибудь в лесу, на дороге, где нет возможности да и охоты записывать, отделывать, где можно к удачной строфе приделать неуклюжее окончание, поступиться не только грамматикой, но и размером. Пафос Клюева — всё тот же,

глубоко религиозный… Христос для Клюева — лейтмотив не только поэзии, но и жизни. Это не сектантство, отнюдь, это естественное устремление высокой души к небесному Жениху… Вступительная статья В. Свенцицкого грешит именно сектантской узостью и бездоказательностью. Вскрывая каждый намёк, философски обосновывая каждую метафору, она обесценивает творчество Николая Клюева, сводя его к пересказу учения Голгофской церкви».

Одним из самых ярых почитателей Клюева в это время стал Сергей Городецкий. Он написал восторженнейшую статью о поэте «Незакатное пламя», где, в частности, указал, что «литератором он (Клюев) покорно просит себя не считать, а только блюстителем древних песенных заветов и хранителем живого, действенного начала в слове». Через посредничество Городецкого стихи Клюева появились в «Гиперборее» и в «Литературном альманахе», издаваемом «Аполлоном». Он же ввёл Клюева в только что созданный Цех поэтов, с ним же Николай посещал кабаре «Бродячая собака», где Городецкий 19 декабря 1912 года делал доклад «Символизм и акмеизм». А в статье «Некоторые течения в современной русской поэзии», напечатанной в первом номере «Аполлона» за 1913 год, писал буквально следующее: «Искупителем символизма явился бы Николай Клюев, но он не символист. Клюев хранит в себе народное отношение к слову, как к незыблемой твердыне, как к Алмазу Непорочному. Ему и в голову не могло бы прийти, что „слова — хамелеоны“; поставить в песню слово незначащее, шаткое да валкое, ему показалось бы преступлением; сплести слова между собою не очень тесно, да с причудами, не с такой прочностью и простотой, как брёвна сруба, для него невозможно. Вздох облегчения пронёсся от его книг. Вяло отнёсся к нему символизм. Радостно приветствовал его акмеизм». Это и большущий камень в огород Брюсова, упоминавшего «шероховатые» и «неудачные» стихи у Клюева, и спор с Гумилёвым по поводу «неудачных окончаний»… Но самое главное: Городецкий выдёргивает Клюева из «объятий» Блока и Брюсова и объявляет себя и других акмеистов — единственным, кто по достоинству оценил клюевскую поэзию… Вот тут и подумаешь — не выступает ли новый покровитель в роли того самого «антрепренёра», которым ранее был Брихничёв?

Клычков, наблюдая всю эту кутерьму, писал об акмеистах своему другу Петру Журову: «Жалко мне, что Городецкий спутался с их дикой компанией. Все они очень культурные люди — но вот, мой друг, пример ещё того, что и культура изощрённая иногда куда хуже открытого варварства. Господи помилуй, недавно узнал, что и Клюев там, куда этого-то нелёгкая несёт? Я

счастлив, что я до сих пор в стороне от этой литературной возни и маскарада культурных зверей».

Превращение в «литератора модного» не могло радовать Николая. А «Бродячая собака» произвела на него впечатление жуткое.

Позже он напишет Блоку: «Я пришёл в отчаяние от Питера с Москвой. Вот уж где всякая чистота считается самаринскою проказою, а потупленные долу очи и тихие слова от жизни почитаются вредными и подлежащими уничтожению наравне с крысиными полчищами в калашниковских рядах и где сифилис титулован священной болезнью, а онанизм под разными соусами принят как „воробьиное занятие“ — походя, даже без улыбки, отличающей человеческие действия вообще, а непроизвольно, уже без памяти о свершившемся. Нет, уж лучше рекрутчина, снохачество, казёнка, чем „Бродячая собака“, лучше Семёновские казармы, Эрмитаж с гербами и с привратником в семиэтажной ливрее, чем „танец апашей“, лучше терем Виктора Васнецова, чем „Зон“, крест на месте убиения князя Сергия в Кремле лучше искусства Бурлюка».

Но пока — он принимает правила предложенной игры. Тем более что она сопровождается неуёмными и неглупыми похвалами Городецкого.

С прежними товарищами по «Новой земле» он расстался навсегда.

Глава 7
«ПРИРОДЫ ВЕЛИКИЙ ПОМИНОК»

1913 год. Последний «спокойный» год России, как о нём позже многажды говорили и писали. Год 300-летия дома Романовых, празднование которого должно было стать лишним свидетельством несокрушимого могущества империи. В Санкт-Петербурге готовились к прибытию антиохийского патриарха Григория IV.

Бурное промышленное и культурное развитие страны и впрямь поражало. К означенному году были заложены и начали воплощаться в жизнь проекты, осуществлять которые пришлось уже иной власти при ином строе. В 1910 году развернулось строительство Волховской гидроэлектростанции и метрополитена. В 1912-м — закладывались Днепрогэс и Волго-Донской канал. А в 1914-м началось строительство железной дороги Туркестан — Сибирь.

К 1913 году в стране выходят две тысячи газет и журналов. О масштабах книгоиздания говорит тот факт, что количество изданных книг и их общий тираж составляют количество и тираж изданных в это же время книг во Франции, Англии и США вместе взятых.

А ещё в России царит мир. Пока. После Ленского расстрела — никаких внутренних кровопролитий. И внешних — тоже. Уже удалось избежать участия в двух Балканских войнах, куда Россию усиленно затягивали.

Этот 1913 год потом многие будут вспоминать с ностальгией по тому времени. Те, кто этой эпохи не застал, через десятилетия станут сочинять красивые легенды о «России, которую мы потеряли», заставляя соотечественников поверить в сказки, не сочетаемые с реальной жизнью.

А ведь было, было о чём тревожиться. Но о том, что это затишье — даже не перед бурей, а перед вселенским землетрясением, — задумывались немногие. К таким немногим принадлежал, в частности, прочно и надолго забытый, а в то время весьма известный писатель и черносотенный деятель Иван Родионов, вешавший в 1912 году на заседании Русского Собрания: «…Русская душа с тысячами смутных хотений, с тысячами неосознанных возможностей, подобно безбрежному океану, разливается — через край… Великий народ… создавший мировую державу, не мог не быть обладателем такой воли, которая двигает горами… И народ доспел теперь до революции…

Я не верю в Россию… не верю в её будущность, если она немедленно не свернёт на другую дорогу с того расточительного и гибельного пути жизни, по которому она с некоторого времени пошла. Потенциальная сила народа тогда только внушает веру в себя, когда она расходуется в меру… У нас же этот Божеский закон нарушен».

В том же году произошло достопамятное событие, обнажившее всю суть церковного нестроения. Силами Святейшего синода было разгромлено имяславческое движение на Афоне. По поводу этой расправы с афонскими монахами-имяславцами, обвинёнными в «ереси», Сергей Булгаков писал в «Русской мысли»: «Своими действиями Синод как будто хочет довершить давно уже происходящий разрыв нравственной связи между ним и церковным народом, и, конечно, самоубийственным для него является это расселение по городам и весям российских афонских „исповедников“, вкусивших сладости архипастырского жезла. Этот разрыв может не чувствоваться, пока церковная власть прикрыта оградой государства, но это обнаружится тотчас же, как только, по воле судеб, (раз)рушится эта ограда».

…Ещё до начала юбилейных торжеств произошло событие, всколыхнувшее всю культурную публику. Правда, смысл происшедшего так и остался неразгаданным. Происшествие более походило на грозное знамение, чем на странный для многих, реальный эпизод.

Шестнадцатого января в Третьяковскую галерею пришёл бледный, бедно одетый человек среднего возраста. Засунув правую руку за пазуху, он долго стоял перед суриковской «Боярыней Морозовой», напряжённо вглядываясь в каждую деталь картины. Казалось, он безмолвно беседовал со всеми её персонажами по отдельности. Ненависть пополам с жалостью сверкала в его глазах, когда в них отражались смеющиеся лица горожан, ликующих при виде увозимой на царский суд боярыни. Нежность и ласка блестели в них пополам с непрошеной слезой, когда он ловил своим помутневшим взором юродивого, воздевшего двуперстный крест, и переводил взгляд на торопливо идущую, прижавшую в ужасе и мольбе руки к груди Евдокию Урусову… И совершенно менялось лицо, когда он подолгу, пытаясь ещё что-то глубинное понять и услышать внутренним слухом, вглядывался в сидящую на розвальнях Федосью Морозову. Сидящую так, словно вознеслась она над всей толпой, а воздетый над её головой тот же двуперстный крест будто осенял не только собравшихся, а весь честной русский люд — и тех, кто приказал отправить её в Печерский монастырь, а потом в смертную боровскую ссылку и заморить голодом.

…Долго стоял, глаз не отводил… Наконец пошевелился. Прошёл чуть далее — и повернулся к картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Там — свет зимнего дня. Здесь — тьма царских покоев. Там — народ, братья и сёстры — и враги смертные. Здесь только двое — отец и сын, царь и царевич, детоубийца и жертва. Давящая темнота — и кровь, кровь, кровь…

— Довольно крови!!! — На этот страшный крик обернулись немногочисленные посетители и увидели, как человек выхватил из-за пазухи сапожный нож и ринулся к картине. Один удар, второй, третий…

Старовер-иконописец Абрам Балашов после этого покушения на репинский шедевр был признан психически больным и заключён в «жёлтый дом». Истинно верующие люди, однако, едва ли могли усмотреть признаки сумасшествия в его поступке.

Задавленная, выключенная из множества сфер жизни, собственными усилиями всплывающая на поверхность вопреки государственной воле, веками мучимая черносошная, стародедовская, *народная* Русь криком кричала это «Довольно крови!» на протяжении нескольких столетий. Её не слышали. Не желали слышать. И не было никакого дела тому же Балашову до того, что Иван Грозный не убивал на самом деле своего сына Ивана, что царь, изображённый Репиным, — Рюрикович, а не Романов… Царский дом последних двух с половиной столетий представлял собой нечто совершенно отъединённое от народного тела, от народной души. И в этом дворе убивали своих же. По лужам крови шли к престолу. И своей — и подданных… «Немцы», «антихристы», духовные оккупанты в своей же собственной стране… Крика не слышат — значит, увидят блеск ножей.

В этом же праздничном году староверы столкнулись с категорическим запретом установить крест на месте сожжения Аввакума в Пустозёрске. О том, что творилось одновременно с этим запретом, с горькой иронией поведал Фёдор Евфимьевич Мельников в журнале «Церковь»: «Аввакум, говорится в предписании мезенскому исправнику, казнён „как государственный преступник“, по этой причине не разрешается поставить крест над местом казни. В то же время правительство разрешает в самом сердце России, в Москве и в северной столице устраивать всевозможные чествования в память гр. Толстого… На виду у всех Толстого чуть не обоготворяют. Его портреты, бюсты, статуэтки встречаются на каждом шагу… Не погибла же Россия от столь широкого и почти всесветного чествования знаменитого писателя, полжизни своей посвятившего проповеди анархических начал, отрицающих всякую государственность… И русское правительство, и наши обе законодательные палаты почтительно

встали пред памятью Толстого. Беды от этого никакой не случилось. Великий анархист даже не повернулся в гробу. Спрашивается, почему же нельзя было поставить крест над могилой протопопа Аввакума, наипреданнейшего сына России и глубоковерующего христианина? Что бы от этого креста сделалось кому?..

А как смотрит министерство на крест, водружённый над могилой бывшего патриарха Никона? Вот действительно хулитель царя Алексея Михайловича… Он осуждён был собором, между прочим, и за то, что хулил и злословил царя. Никон так и умер, не примирившись с царём Алексеем Михайловичем. Нелишне, в самом деле, поставить вопрос: на каком основании правительство терпит крест на могиле Никона, этого нераскаянного государственного преступника и злого ругателя царя и царской власти?»

Что Толстой! Что Никон! Мельников приводил ещё куда более разительные факты.

«В августе прошлого года вся Россия торжественно отпраздновала столетний юбилей Отечественной войны. Никто не назовёт главного героя этой войны, Наполеона, другом России. Он был самым страшным и самым опасным врагом её. Однако как его прославляли в юбилейные торжества!.. Всюду были выставлены его бюсты, портреты, автографы. Все подвиги Наполеона, вся жизнь его освещались в самом ярком и блестящем виде. Выходило, как будто вся Россия чествует память самого Наполеона и преклоняется пред великим и бессмертным его гением. Поставить же св. крест над могилой родного мученика, где-то в заброшенном селе, оказалось невозможным. Министр не разрешил…

Русское правительство очень любезно разрешило французской нации воздвигнуть великолепный памятник на Бородинском поле в память погибших здесь французов, сражавшихся с нашей русской армией. Никто, конечно, не скажет, что это были благодетели русского государства. Не одна тысяча русских воинов пала от пуль и штыковых ударов французских солдат. Последние были расстреляны как враги России. Тем не менее над могилою их, под самым сердцем России, дозволено поставить памятник. Прибывшая на Бородинские торжества из Франции депутация для почтения памяти павших в 1812 году французских воинов была в России встречена радушно и даже торжественно. Русское правительство было весьма внимательно к французам. Но столбовым русским людям, не раз проливавшим свою кровь за честь и спасение своей родины, то же правительство не разрешило поставить простой христианский

крест над могилою великого русского же человека, невинно казнённого 231 год тому назад по злому наущению коварного и фанатичного деспота. Это называется национальной политикой!»

На старообрядческих съездах того же года от Нижнего Новгорода до Сибири звучали страшные слова о духовном состоянии российского общества.

«Стоит только всмотреться внимательно в жизнь — и тотчас же можно заметить, что поколение за поколением становится слабее в вере, бесцеремоннее в делах совести, *бесстыднее в устройстве своей жизни.* Что предками христианами считалось грехом, противностью воле Божьей, то теперешним поколением нагло осмеивается, топчется в грязь. Каждый делает что хочет, не считаясь ни с упреками совести, ни с постановлениями Церкви. Это зловещие признаки нездорового состояния человечества».

«Нам теперь так не страшны ни господствующая церковь, ни беспоповцы, ни другие подобные им, как именно отрицание нашего Создателя».

…Всё это не могло пройти мимо сознания Николая Алексеевича Клюева, увлекаемого новыми друзьями в новую литературную группу, входившего в круг литераторов, поначалу показавшихся близкими и созвучными его творческим устремлениям.

* * *

Он будет готовить новую книгу — «Лесные были», и отойдя от символистов, расставшись с «голгофскими христианами», окажется в Цехе поэтов, в кругу «акмеистов» (как назвал их Гумилёв) или «адамистов» (как предлагал назвать Городецкий). Тот же Городецкий тащит Клюева в новое сообщество за обе руки, в безудержной любви объясняется ему в стихах: «Как воду чистую ключа кипучего, твою любовь, родимый, пью. Ещё в теснинах дня дремучего провидев молонью твою…» Городецкий величал его «Велесовым внуком», отсылая читателя к «Бояню — Велесову внуче». В статье «Незакатное пламя», ещё не намекая на «вялое» отношение к Клюеву символистов, рисовал свой колоритный портрет природного певца: «Клюев, тихий и родимый самый сын земли с углублённым в даль души своей сознанием, с шепотливым голосом и медленными движениями. Живёт он на речонке Андоме, в деревне, землю пашет, зори встречает и все песни свои тут же отдаёт односельчанам на распев в хороводах и на посиделках. Лик его с морщинистым, хотя и юным лбом, со светлыми очами, далеко сдвинутыми под вздёрнутые резкими

углами брови, с запёкшимися деревенскими устами, прикрываемыми верленовскими усами, с лохматенькой бородёнкой, — а волос весь дико-русый, — знакомый давний лик в глубине своей живущего человека, только её хранящего и только её законам верного. Низкорослый и скуластый мужичонко этот всем обликом своим говорит о божественной певучей силе, обитающей в нём и творящей».

Такого Клюева уже требовалось присвоить себе — и никакие символисты рядом не должны стоять!

Клюев пошёл навстречу. Он уже был знаком со статьями Гумилёва и Городецкого о своей поэзии. Пошёл, полагая поначалу, что найдёт здесь подлинное понимание.

Он печатает подборку стихов в «Гиперборее». В Цехе поэтов предполагается издание его сборника «Плясея». По-прежнему выступает на литературных вечерах по приглашению. Обзаводится новыми знакомыми. Одним из них был Сергей Александрович Гарфильд, поэт, прозаик и драматург (кроме того — деятель большевистской партии), писавший под псевдонимом «Гарин». С осени 1912 года Клюев подолгу жил в его семье, приезжая в Москву.

Жена Гарина — Нина Михайловна — через много лет вспоминала странного, необычного гостя: «Коренастый. Ниже среднего роста. Бесцветный. С лицом, ничего не выражающим, я бы сказала даже, тупым… Длинной, назад зачёсанной, примазанной шевелюрой, речью медленной и бесконечно переплетаемой буквой „о“. С явным и сильным ударением на букве этой… И редко приканчиваемой буквой „г“, что и придавало всей клюевской речи специфический и оригинальный отпечаток и оттенок…

Зимой — в стареньком полушубке. Меховой, потёртой шапке. Несмазанных сапогах…

Летом — в несменяемом, также сильно потёртом армяке и таких же несмазанных сапогах, но все четыре времени года также неизменно сам он весь обросший и заросший, как дремучий его Олонецкий лес…

Читал Клюев свои произведения — свою поэзию также весьма оригинально и своеобразно, — всегда нараспев, как мелодекламируя, но всегда и всё же с большим, неизменным успехом…»

Портрет — и это бросается в глаза — написан рукой человека, который мало того что Клюева не понимал и понимать не желал, но, скорее всего, стремился держаться от него на почтительном расстоянии. При том — что зорко подмечены иные существенные детали. В этом убеждает дальнейшее описание

Нины Гариной — уже воспроизводимое по определённому трафарету — трафарету «талантливого лицемера».

«Клюев был человеком очень религиозным, но как страус, скрывающий свою голову и думающий, что он… не виден, — так и Клюев скрывал свою религиозность, уверенный, так же как и страус, что религиозность для всех, кроме него самого, тайна, не учитывая, что от писательской братии не скроешь никуда — ни своей головы, ни своей религиозности…

Наружно Клюев производил впечатление человека тихого. Скромного. Смиренного и бесхитростного — человека, редко опускавшегося на „грешную“ землю… человека „не от мира сего“… Святого… Блаженного… Какого-то „братца“… Или вообще „родственничка“ какой-нибудь секточки…

На самом же деле, несмотря на всю свою глубоко им затаённую религиозность, он был человеком очень земным, очень неглупым… И очень себе на уме…

Он твёрдо и крепко стоял на земле, и не только на своей Олонецкой…

Был человеком, который играл… И играл не только „на блаженстве“ своём, но и на… дураках, и был не только прекрасным поэтом, но ещё более прекрасным актёром, совершенно зря пропадавшим…»

Здесь многое увидено, но увидено так, что сразу вспоминается взрыв Мити Карамазова: «Ложь всё это! Снаружи — правда, внутри — ложь!» Другое дело, что писались эти воспоминания в 1930-е годы, когда на реальном человеке, которого она некогда знала, плотно, несколькими слоями наросли сплетни и злонамеренные легенды, с расчётом распространявшиеся… Видимо, многое изменилось за два десятилетия и в самой Гариной, и в её отношении к поэту, который некогда «тронут» был «добрым письмом» её мужа «и приветом обожаемой Нины Михайловны». Впрочем, таких людей, как Нина Гарина, Клюев раскусывал в одно мгновение — и далее уже общался с ними в чётко выбранном ракурсе и диапазоне. Он подарил ей свою фотографию с подписью «Народный поэт», что дало ей возможность лишь укрепиться в своей уверенности: «Играет… Талантливо играет…» При всём том ценил доброе к себе отношение. Что касается «твёрдого стояния на ногах» — то по-иному выжить было и нельзя. Что до «блаженности» — то и она была необходима в том литературном мире, в который он попал, прекрасно понимая: здесь нужно иметь как минимум по глазу на каждой стороне головы — при том, что окружающие должны думать, что у тебя и один-то прикрыт, а другой — еле видит.

Гарина со смущённым недоумением, смешанным с некоторым злорадством, повествовала о том, как Клюев рассказывал ей о чтении на званом вечере в одном аристократическом доме. После чтения стихов его и других гостей усадили за стол. Николай, большой любитель сладкого, своей чайной ложечкой зачерпнул варенья из хрустальной вазы. И в то же мгновение хозяйка дома подозвала лакея и велела вынести эту вазу вон.

Унижение было демонстративным, вызывающим. «Белая кость» дала понять «чёрной» — кто есть кто и где находится. Гарина не скрывала недоумения: как после этого можно было продолжать отзываться на подобные приглашения? Но Клюеву надо было на что-то жить, а ещё — помогать семье. Более или менее приличные деньги он мог заработать, читая стихи в подобных домах — гонорары за книги и публикации были не слишком велики. И ходил, и читал, и получал своё «жалованье» — и запоминал всё: и реакцию, и отношение. Не хуже недоумевающей Гариной понимал суть происходящего — и всё откладывал внутрь. Глубоко. На самую глубину.

«Быть в траве зелёным, а на камне серым» он научился ещё в юности. Жизнь заставила. Таковым и продолжал быть среди новых литературных «друзей». При том, что резкое отличие его от прочих «соратников» бросалось в глаза. Настойчивые похвалы Городецкого и демонстрируемая им близость «творческих устремлений» уже не могли не раздражать: очевидно ведь было — насколько расхваленный некогда Городецкий бледнее и ниже его во всех отношениях. С Ахматовой предполагаемого сердечного диалога также не получилось, на душевный контакт она не пошла. Гумилёв… Все его похвалы не могут заслонить ощутимого высокомерия, «учительства», с которым он держит себя в Цехе, он, призванный пасти поэтов «жезлом железным». Того и гляди — и этот очередную «вазу варенья» прикажет вынести. Остальные…

Один из «остальных», начинающий стихотворец Георгий Иванов полтора десятилетия спустя с упоением распишет своё общение с Клюевым, и этот клюевский портрет, представляющий собой мозаику из отдельных верных деталей, растворённых в потоке неуёмной фантазии мемуариста, станет в своём роде «хрестоматийным». Таким Клюева (которого Иванов обозвал «Николаем Васильевичем») и будут воспринимать в течение многих последующих десятилетий.

«— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом живу…

Я как-то зашёл к Клюеву. Клетушка оказалась номером „Отель де Франс“, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивлённый взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей…

— Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну вот и ладно, ну вот и чудесно — сейчас обряжусь.

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддёвке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

— Ну вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай сверчок свой шесток. А мы не в общую, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно…»

Вся эта эффектная сцена рассыпается в прах при одном-единственном вопросе: в каком это «Отель де Франсе» останавливался Клюев, когда приезжал в Петербург? Он проживал на квартире своей сестры Клавдии и её мужа в Усачёвом переулке — и ни в каких «Отель де Франсах» его никто не видел. Одевался Клюев тогда достаточно скромно, ходил отнюдь не в обновах и тем паче не надевал никаких галстуков. Георгию Иванову необходимо было подпустить «пущего контрасту» в соответствии с тем образом Клюева, который складывался в кругу питерской интеллигенции. Поистине, для таких мемуаров не нужно ни памяти, ни чувства времени. Нужно лишь «всё прочее» — литература.

Другое дело — «Гейне в подлиннике». Деталь слишком значимая и подтверждаемая многими другими мемуаристами, свидетельствующими, что Клюев свободно читал по-немецки и говорил на языке (правда, с чудовищным акцентом), чтобы ею можно было пренебречь. Он вошёл в петербургские литературные круги не просто начитанным, а по-настоящему образованным человеком, не имевшим ничего общего с «крестьянским

недоучкой», каким его воспринимали в салонах. Вопрос — где он овладел теми знаниями, которые сам потом с пущим эффектом демонстрировал в строго рассчитанные мгновения, — отчасти повисает в воздухе. Можно предположить сочетание учёбы у старообрядческих начётчиков с чтением книг из богатейшей библиотеки Соловецкого монастыря и непрекращающимся углублённым самообразованием. Гёте, Гейне, Фихте, Якоб Бёме — их книги читались и перечитывались в оригинале. Он обожал Верлена и ради него учил французский язык. Читал и на английском.

Но в литературном кругу так и воспринимался самородком, даром что гениальным. Когда ощущался в его поэзии выход за пределы устоявшегося для окружающих образа — тут и начиналось кардинальное расхождение, практически всегда заканчивавшееся разрывом отношений. Стоило ли длить человеческие контакты, коли не воспринималось самое главное, самое драгоценное в нём?

Акмеисты давили своим культурным авторитетом. Городецкий величал на все лады и ласково жал руку, а для Клюева это пожатие чем дальше, тем больше становилось горше «пожатья каменной десницы». Он однажды всерьёз задумался над сутью своих отношений с Блоком, когда увидел, что тот не воспринимает его в подлинном виде. Он ушёл от Брихничёва, не желая подделываться под его «чертежи» «голгофского христианства»… С акмеистами можно было быть «зелёным в траве» также до определённого срока.

Срок этот настал довольно скоро. Времяпрепровождение молодых поэтов Клюеву опротивело. «Бродячая собака» вселяла отвращение. Увиденные там футуристы просто привели в ужас и своими сочинениями, и своим видом. А 15 февраля 1913 года он читал свои новые произведения в Литературном обществе в присутствии Фёдора Сологуба, Фёдора Батюшкова, Василия Львова-Рогачевского и других маститых литераторов. Читал стихи из новой, готовящейся к изданию книги — «Лесные были».

Я вечор, млада, во пиру была,
Хмелен мёд пила, сахар кушала,
Во хмелю, млада, похвалялася
Не житьём-бытьём — красной удалью.

Не сосна в бору дрожмя дрогнула,
Топором-пилой насмерть ранена,
Не из невода рыба шалая,
Извиваючись, в омут просится, —

Это я пошла в пляску походом:
Гости-бражники рты разинули,
Домовой завыл — крякнул под полом,
На запечье кот искры выбрызнул…

Тонкий бабий голосок вдруг обретал силу и пронзительность от строфы к строфе, словно сметая вон всех сидящих слушающих, которые словно влипли в спинки стульев. «Не сосна в бору дрожмя дрогнула» — и дрожь этой сосны как отдалась в барабанных перепонках почтенных писателей… «Это я пошла в пляску походом» — и от этой пляски захотелось уже вжаться в стены… А голос в такт инструментовке стиха менял ритм, выдавал руладу за руладой, и на каждой паузе хотелось перевести дух — ан нет, плясея не давала!

Вот я —
Плясея —
Вихорь, прах летучий,
Сарафан —
Синь-туман,
Косы — бор дремучий!
Пляс — гром,
Бурелом,
Дешева погудка,
Под косой —
Луговой
Цветик незабудка!..

И — меняется голос, вступает парень-припевало, и интонации — вкрадчивые, лихо-злые при виде красы, от тоски и томления по которой рука тянется к булатному ножу.

Не уголь жжёт мне пазуху,
Не воск — утроба топится
О камень — тело жаркое,
На пляс — красу орлиную
Разбойный ножик точится!

Ещё не отошли слушатели от этого буйного перепева, как перед ними воочию предстала олонецкая старуха, шепчущаяся с ветром да деревьями, превращающаяся из старицы в молодку и

обратно, молодящаяся и снова старящаяся на пороге смерти, поверяющая свои думы и печали полю да вербе, ибо дома и словом перемолвиться не с кем.

Сын обижает, невестка не слухает,
Хлебным куском да бездельем корит;
Чую — на кладбище колокол ухает,
Ладаном тянет от вешних ракит.

Вышла я в поле, седая, горбатая, —
Нива без прясла, кругом сирота…
Свесила верба серёжки мохнатые,
Мёда душистей, белее холста.

Верба-невеста, молодка пригожая,
Зеленью-платом не засти зари;
Аль с алоцветной красою не схожа я —
Косы желтее, чем бус янтари.

На этом же вечере, если верить позднейшим записям Анны Ахматовой, разгорелся скандал. «Бородатый старик Радецкий, — вспоминала она, — выступая против нас, акмеистов… с невероятным азартом кричал: „Эти Адамы и эта тощая Ева!“ В тот же вечер от нас отрёкся Клюев. Когда изумлённый Гумилёв спросил его, что происходит, он ответил: „Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше“. Да, у нас не было лучше!»

Это писалось уже в начале 1960-х годов — и строчки об «отречении» Клюева, очевидно, диктовались ахматовской памятью о тогдашней связи его с Городецким, отношение к которому у неё было абсолютно непримиримым. «Городецкий, вкусив мис<тического> анархизма и соборности, в 1911–12 г. вступил в союз с Гум<илёвым>, но, немного поклевав *акмеизма*, убедился в его непитательности (и даже ядовитости), отряс прах и устремился дальше. Картина этого „дальше“ яро обрисована в составленной или анонимно подсказанной им Антологии 1914 (очевидно, довоенной), где Г<умилёв>, бывший недавний союзник, объявлен стилизатором, а сам С. Г<ородецкий> — *народником*(?!) вместе с Клюевым… а слово *акмеизм* вообще отсутствует. Вся затея совершенно провалилась. Никаких народников и природников нет и в помине, а вопрос об акмеизме обсуждается на всех языках».

…Отрицательное отношение Ахматовой к «народничеству» крепло с годами (даром, что она сама отдала ему свою поэтическую дань), но уже тогда Клюев почувствовал и понял

причину её отчуждения. «Слишком русское», казавшееся ей стилизацией, она отказывалась воспринимать.

«Я знаю, что Ахматова и компания не верят в моё понимание искусства, думают, что под искусством я подразумеваю прикладное искусство, слышал я, что они фыркают на мои писания, так как, видите ли, у меня истощился „запас культурных слов“, что, по их понятию, является показателем скудости душевной — на всё это мне претит возражать», — писал он Миролюбову.

А по выходе «Лесных былей» как раз и разгорелась полемика между сторонниками «природничества» и апологетами «запаса культурных слов».

«…Он, кажется, первый поэт русского Севера, страны „чарующих“ озёр и „испуганных“ птиц, страны лесных сказок и нежных, ещё не исследованных народных легенд и преданий. Это — второй Ломоносов, также пропитанный культурой приютившего его города, но гораздо самостоятельнее, с более крепкими корнями в воспитавшей его среде» (Г. Поршнев).

«Он пришёл в литературу с далёкого Севера и принёс с собою крепкий запах соснового бора и серьёзную, почти молитвенную торжественность его вознесшихся к небу прямых стволов… С нежной любовью занесены Клюевым на бумагу все оттенки, все тайны сосновых перелесков, со всей их древней мудростью и наивной свежестью» (Л. Войтоловский).

Как бы в ответ раздавались совершенно иные оценки: «Этого смешения безвкусной выдумки, нарочитой подделки под народность и нагромождения этнографических деталей в третьей книге „Лесных былей“ гораздо больше, чем подлинной поэзии, которою дышит „Сосен перезвон“. Мы знакомы случайно с народным говором и песней одной из северных губерний, но многие стилизации г. Клюева поставили нас трудностью понимания в тупик. Что такое „замурудные волосья“, „гостибье“, „зой-невидимка“, „волос-гад“ (чёрный, как уж? Но эта ассоциация образов не влечёт, а отталкивает), „неба ясные упёки“, „заревет“ (не от слова рёв, а от зари), „зарно-окий“, „судина“, „из сиговины один — рыбаку заочный сын“, „зажалкует“? На каждой странице таких выражений немало… В погоне за непосредственностью народной речи поэт теряет чувство меры и свою собственную непосредственность, впадая в вычурный язык не то Андрея Белого, не то Городецкого или Ремизова… Можно пожелать поэту побольше оставаться самим собою и в новых вдохновениях добиться большей гармонии настроения и его выражений, что даёт и его первая, пока лучшая книжечка» (В. Чешихин-Ветринский).

Клюев продолжал удивлять — и это удивление для одних было приятным, для других — отталкивающим. Не успели привыкнуть к «символическим» стихам «Сосен перезвона» — как последовали «сектантские» «Братские песни». Не успели отойти от них — как является заонежский фольклор в «Лесных былях» — и даже стихи, созданные не на основе северных народных песен, являют собой целый слой лексических пластов, вбирающих в себя течение жизни и переливание потаённых смыслов на кратчайшем протяжении художественного пространства. Подобное разнообразие и всё увеличивающаяся глубина не поддавались поверхностному восприятию — и проще всего было завести разговор о «стилизации».

Клюев эту реакцию понял сразу. Понимание происходящего отразилось, в частности, в дарственных надписях на экземплярах «Лесных былей». «Валерию Свет-Яковлевичу Брюсову — мудрому сказителю, слова рачителю от велика Новогорода — Обонежеской пятины, прихода Пятницы Парасковии, усадища „Соловьёва Гора“ песенник Николашка по-назывке Клюев, челом бьёт — величальный поклон воздаёт. Прощёный день, от рожества Бога-Слова 1913-я година». Этот «песенник Николашка по-назывке Клюев» будет присутствовать в дарственных надписях Александру Блоку, Алексею Ремизову, Николаю Гумилёву… Но здесь же — и отсылка к имени любимой матери «Пятницы Парасковии», и к «рожеству Бога-Слова», ибо «кто песни поёт тот, к Богу ведёт», как написал Клюев тому же Брюсову на шмуцтитуле книги «Сосен перезвон» и сделал пояснение к приведённому изречению: «Надпись на древнем лесном кресте в урочище „Кимсельга“, Олонец(кой) губ(ернии)». И здесь древние смыслы накладывались друг на друга, окроплённые живой водой слова ещё молодого поэта в новом времени.

Ахматовой же он подарил «Лесные были» с простой надписью: «Анне Ахматовой — любимой поэтессе». Она и осталась для него любимой поэтессой до самого конца, а тогда, на том приснопамятном вечере, Николай не думал ни от кого «отрекаться», но, выразив в определённой форме своё несогласие с «соратниками» и по поводу оценки своих новых стихов, и по поводу спровоцированных литературной борьбой нападок на символистов и, в частности, на Блока, нарвался на обвинение в «отречении». Масла в огонь подлили и присутствующие, в частности Львов-Рогачевский. После огненных проклятий Радецкого он обвинил акмеистов в отсутствии связи с народом, с общественностью. В ответ последовала речь «народника» Городецкого, также не стеснявшегося в выражениях по адресу оппонентов. Выступление Львова-Рогачевского вызвало едкую

реплику Дмитрия Философова в газете «Речь»: «Я, например, очень завидую г. Клюеву, что он — дитя народа, своего рода „владетельный князь“. Но не самоубиваться же мне из-за этого. Какую косоворотку я ни надевай, каким мелким бесом перед г. Клюевым ни расстилайся, всё равно г. Львов-Рогачевский мне скажет, что я не „владетельный князь из народа“, а всего-навсего кающийся дворянин»… Для Клюева же и выход «Лесных былей», и полемика, разворачивающаяся вокруг них, были крайне существенны, восприятие его слова культурной читающей публикой имело столь серьёзное значение, что он почёл необходимым, посылая книгу Дмитрию Философову (единственному человеку из Мережковского дома, отнёсшегося к нему с непритворным вниманием), объясниться (уже без всякого «Николашки») по поводу своего словаря, приняв самоуничижительную и одновременно и серьёзную, и ироничную интонацию: «Я долго думал — посылать ли Вам эту книжку, так как слышал, что Вы — человек труда в писательстве. В этой же моей книжке нет „труда“ и так называемой „глубины“. Написана она, как видите, на местном крестьянском наречии, частью известном в двух-трёх северных губерниях (а заслуга ли заставить читателя освоиться с грубыми формами своего языка?). В наречии этом нет кафедральной музыки Мильтона, но не согласитесь ли Вы в том, что в нём звучит то, что звучит, например, в песнях лугового жаворонка, подымающегося из низкой бороздки в тёплую синь неба, и не есть ли всякое искреннее пение по своей природе поклонение, и не следует ли сказать того же самого о всяком истинном труде?»

Львов-Рогачевский не успокоился и в газете «День» противопоставил Клюева всем его «рекомендателям». «Из всех поэтов, которые выступили как живые иллюстрации к докладу Городецкого, глубоко взволновал всех только Н. Клюев. Но какое отношение имеет он к акмеистам и адамистам?.. После первой книги Н. Клюев стал желанным гостем разных кружков. Мне тяжело смотреть, когда Н. Клюева представляют публике то парнасец Валерий Брюсов, то мистик Свенцицкий, то развязный певец Голгофы Иона БрЕхничЕв, то акмеист Сергей Городецкий. Как это унижает талант!»

В этих словах Клюев почувствовал унижение как раз со стороны критика. Он же сам не несмышлёный барашек, которого ведут, куда надо, на верёвочке! Статью Рогачевского он, судя по всему, не читал, но ему её, разумеется, пересказали с соответствующими комментариями, обвинив его самого в «предательстве». И Клюев пишет письмо, предназначавшееся для публикации в «Биржевых ведомостях»: «Милостивый государь,

господин редактор! До меня дошли слухи, что критик из „Современного мира“ г. Львов-Рогачевский в недавнем фельетоне в газете „День“ обвинил „Цех поэтов“, к которому я имею честь принадлежать, в том, что меня „заманили“ туда. Мне это кажется обидным, и я спешу разуверить г. Львова-Рогачевского в его представлении обо мне как о полном незнайке своей дороги в искусстве. Моё тяготение именно к „Цеху поэтов“, а не к иным группам, вполне сознательно. Примите и пр. Николай Клюев».

С этим письмом были ознакомлены члены Цеха, которым Клюев отнюдь не присягал на верность. Он лишь обозначал свой собственный путь, выбранный собственной волей, совпавший на определённом отрезке с Цехом и его апологетами. Гумилёв, восторгавшийся книгами «Сосен перезвон» и «Братские песни», числивший родословную молодого поэта от начала XIX века, от пушкинской поры, — о «Лесных былях» не проронил ни слова. «Плясею» Цех также в свет не выпустил. Оригинал клюевского письма остался в архиве Михаила Лозинского и, судя по всему, даже не дошёл до редакции «Биржевых ведомостей».

* * *

Восемнадцатого февраля 1913 года редактор Санкт-Петербургского «Народного журнала» Екатерина Замысловская писала Александру Ширяевцу, присылавшему ей стихи из Ташкента: «Очень полезны будут вам указания Николая Алексеевича Клюева. Это один из самых талантливых современных поэтов. Особенно хорош 3-ий том его стихов. Если там у Вас нельзя достать, напишите, я Вам вышлю. Клюеву Вы можете написать смело. Я с ним познакомилась на заседании литературного общества (том самом заседании — 15 февраля, где, как писала „Русская молва“, „исключительный успех выпал на долю поэта Клюева“. — *С. К.)* с тем, чтобы поговорить о Вас. Он сам крестьянин. Пишите ему так: Петербург, Усачёв переулок, д. 11, кв. 1, г-же Расщепериной для Николая Алексеевича Клюева. Он всегда в разъездах. Я ему сказала, что пошлю его адрес Вам, и дала прочесть Ваши стихи».

Ширяевец написал Клюеву, уже знакомому с его произведениями (это письмо, к сожалению, неизвестно), и получил ответ: «Дорогой Александр Васильевич — я получил Ваше письмо и бандероль. Мне очень радостны все Ваши слова и выводы, и я всегда буду любить Вас, как любил заочно по песням в „Народном журнале“. Вы мне очень близки по духу и по устремлению к песне. Я сейчас уезжаю из Питера домой и из

дому напишу Вам подробно».

В письмах Ширяевцу Клюев подробно разбирал его стихи, давал советы — и Ширяевец к ним благодарно прислушивался. 18 марта 1914 года он писал Виктору Миролюбову: «…до Клюева мне ой-ой как далеко! Из современных народных поэтов это самый выдающийся, самый самобытный. Я стараюсь поступать по его указаниям, но всё равно таким сильным, как он, мне никогда не быть — таково моё искреннее мнение о себе…» И в другом письме тому же адресату: «…его советы — настоящий клад для меня».

А Клюев рвался домой. Несколько месяцев, проведённых в Москве и Петербурге в «культурном сообществе», вымотали всю душу, и хотя он понимал, что без этого мира ему уже не прожить, горько жаловался на пережитое в письмах из деревни Рубцово, куда перебралась его семья.

«Милый братик, — писал он Ширяевцу, — меня очень трогает твоё отношение ко мне, но, право, я гораздо хуже, чем ты думаешь. Пишу я стихи, редко любя их, — они для меня чаще мука, чем радость, и духовно, и материально. Не думай, друг, что стихи дают мне возможность покупать автомобили, они почти ничего мне не дают, несмотря на шум в печати и на публичные лекции о них и т. п. Был я зимой в Питере и в Москве, таскали меня по концертам, по гостиным, но всегда забывали накормить, и ни одна живая душа не поинтересовалась, есть ли у меня на завтра кусок хлеба, а так слушали, собирались по 500 человек в разных обществах слушать меня. Теперь я, обглоданный и нищий, вновь в деревне — в бедности, тьме и одиночестве, никому не нужный и уже неинтересный. И никто из людей искусства не удостаивает меня весточкой-приветом, хоть я и получаю много писем, но всё — от людей бедных (не причастных литературе) из дальних углов России. В письмах эти неучёные люди зовут меня пророком, учителем, псалмопевцем, но на самом деле я очень неказистый, оборванный бедный человек, имеющий одно сокровище — глухую, вечно болеющую мать, которая, чуть поздоровше, всхлипывающим старушьим голосом поёт мне свои песни: она за прялицей, а я сижу и реву на всю избу, быть может, в то время, когда в Питере в атласных салонах бриллиантовые дамы ахают над моими книжками.

Братик мой милый, тяжко мне с книжками и с дамами и с писателями, лучше бы не видеть и не знать их — будь они прокляты и распрокляты! Страшно мне и твоё писательство, и твой сборник стихов, который ты думаешь издавать! — погоди ещё, потерпи, ведь так легко, задарма, можно погибнуть через книжку, а вылезать из ямы, восстановлять своё имя трудно,

трудно…»

А у него-то у самого какое теперь «имя» в этой литературной круговерти? Уж явно не соответствующее ни его духовной сути, ни тому, что скрыто в его стихах. Личину то «символистскую», то «сектантскую», то «акмеистскую», то «народную» видят, а синтез сущностей, многоголосье созвучия природных и человеческих субстанций не зрят и не чуют… И человеческое равнодушие при всех отпускаемых похвалах переносить нестерпимо, предметом «литературной полемики» быть горько и жутко, когда по сути нет никому до тебя дела… И об этом он писал Сергею Гарину: «В Москве я постараюсь не быть дольше, так как ни московская жизнь, ни люди не соответствуют складу души моей, тишиной, безвестьем живущей — на зелёной тихой земле под живым ветром, в светлой печали и чистом труде для насущного… Нестерпимо осознавать себя как поэта, 12 тысяч книг которого разошлись по России, знать, что твои нищие песни читают скучающие атласные дамы, а господа с вычищенными ногтями и с безукоризненными проборами пишут захлёбывающиеся статьи в газетах „про Надсона и мужичков“ и, конечно, им неинтересно, что у этого Надсона нет даже „своей избы“, т. е. того важного и жизненно необходимого, чем крепок и красен человек деревни…»

Но прежде чем вернуться к родителям, он почувствовал настоятельную необходимость очиститься. Постоянно, уезжая из старой и новой столицы, он посещал северные монастыри.

Природы радостный причастник,
На облака молюся я,
На мне иноческий подрясник
И монастырская скуфья.

Обету строгому неверен,
Ушёл я в поле к лознякам,
Чтоб поглядеть, как мир безмерен,
Как луч скользит по облакам,

Как пробудившиеся речки
Бурлят на талых валунах,
И невидимка теплит свечки
В нагих, дымящихся кустах.

Молитва в природном мире слаще душе строгого обета — когда «мнится папертью бора опушка», а свечки в кустах теплятся, зажжённые невидимой рукой. Здесь и приходит знание безмерности мира и саморастворение в этой безмерности… Здесь

забываешь на время про все литературные склоки и дрязги, душа обретает радостный покой, а сердце — крылья… Живя в родительском доме, он подолгу слушал пение матери, а потом — опять уходил, уходил в поле, сидел на взгорке, слушал пение птиц и разговаривал с ними, его не боящимися. Собирал лекарственные растения и лечил земляков своими травяными настоями… Однажды встретил в лесу земляка, и тот перепугался, увидев преобразившегося Николая. Что-то в его облике заставило замереть простого деревенского жителя, а Клюев спокойно сказал: «Не бойтесь, я забираю разные сведения у птиц и записываю себе в блокнот…» Помолчал и промолвил: «Скоро люди будут летать по воздуху на больших машинах…»

Люди уже начали летать… И это вторжение человека в мир небесный не могло не беспокоить Николая. И скоро пророчество неизбежного прозвучало в «Скрытном стихе»:

Железняк летит, как гора валит,
Юдо водное Змию побратень:
У них зрак — огонь, вздохи — торопы,
Зуб — лихой чугун, печень медная…
Запропасть от них Божью страннику,
Зверю, птичине на убой пойти,
Умной рыбице в глубину спляснуть!

Это — глас «братьев-старищ», но и сама природа предчувствует недоброе:

Осенняя явь Обонежья,
Как сказка, баюкает дух.
Чу, гул… Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?
Иль чует древесная сила,
Провидя судьбу наперёд,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьёт?
Зовут эту жилу Чугункой, —
С ней лихо и гибель во мгле…
Подъёлыш с ольховой лазункой
Таятся в родимом дупле.
Тайга — боговидящий инок,
Как в схиму, закуталась в марь.
Природы великий поминок
Вещает Лесной Пономарь.

Овладевая миром, совершенствуя инструменты цивилизации, человек в своей неистовой гордыне, уничтожая гармонию между природой и собой, — не в силах будет удержать их в своих руках, не в состоянии окажется снова запереть открытый им ящик Пандоры… Клюев чувствует, что *мира* здесь не будет… А пока он вглядывается в знакомые и преображающиеся на глазах черты родной земли, породившей и вскормившей его, стремясь запечатлеть каждый природный жест в движении и внутренней, неуловимой обычным глазом человеческим жизни.

Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней,
В пару берлог разъели уши
У медвежат ватаги вшей.
У сосен сторожки вершины,
Пахуч и бур стволов янтарь.
На разопрелые низины
Летит с мошнухою глухарь.
Бреду зареющей опушкой, —
На сучьях пляшет солнопёк…
Вон над прижухлою избушкой
Виляет беличий дымок.
Там коротают час досужий
За думой дед, за пряжей мать…
Бурлят ключи, в лесные лужи
Глядится пней и кочек рать.

Каждый образ совершенно преображает некогда привычную глазу картину — и она оживает, расцветает, наполняется новой энергией жизни, которую сообщает ей слово поэта, ловящего зорким «нерпячим» взглядом каждое незаметное обычному взору изменение природного мира, безмолвно беседующего и с живой тварью, и с благодатно тянущемуся к нежаркому северному солнышку растением… Душа снова обретает равновесие, и если даже появляется ощущение таинственной жути в родном сызмальства мире, то эта жуть — родная, скрывающая до времени тайну природной речи и домашнего уюта, прячущая в избе невидимых существ.

Я дома. Хмарой-тишиной
Меня встречают близь и дали.
Тепла лежанка, за стеной
Старухи-ели задремали.
Их не добудится пурга,

Ни зверь, ни окрик человечий…
Чу! С домовихой кочерга
Зашепелявила у печи.
Какая жуть. Мошник-петух
На жёрдке мреет, как куделя,
И отряхает зимний пух —
Предвестье буйного апреля.

…Он пишет стихи, шлёт из родной деревни немногочисленные письма тем, кого считает близким себе. Понемногу отходит, всерьёз задумываясь о том, чтобы прекратить издаваться… Помогает по дому, но предпочитает бродить по лесу и полю в одиночестве… Так и лето прошло, и осень вступила в свои права. Холодный северный ветер налетал порывами и гулко завывал в печной трубе, словно предупреждал о надвигающейся беде. И она не замедлила прийти. 13 ноября умерла Прасковья Дмитриевна, любимая мамушка.

«Старела мамушка, — вспоминал Николай в „Гагарьей судьбине“, — почернел от свечных восковых капелей памятный Часовник. Матушка пела уже не песни мира, а строгие стихиры о реке огненной, о грозных трубных архангелах, о воскресении телес оправданных. За пять недель до своей смерти мамушка ходила на погост отметать поклоны Пятнице-Параскеве, насладиться светом тихим киноварным Исусом, попирающим врата адовы, апосля того показать старосте церковному, где похоронить её надо, чтобы звон порхался в могильном песочке, чтобы место без лужи было. И тысячесветник белый, непорочный из сердца ея и из песенных губ вырос.

Мне ж она день и час сказала, когда за её душой ангелы с серебряным блюдом придут. Ноябрь нащипал небесного лебедя, осыпал избу сивым неслышным пухом. А как мамушкиной душе выйти, сходился вихрь на деревне: две тесины с нашей крыши вырвало и, как две ржаных соломины, унесло далеко на задворки; как бы гром прошёл по избе…

Мамушка лежала помолодевшая, с неприкосновенным светом на лице. Так умирают святые, лебеди на озёрах, богородицына трава в оленьем родном бору…»

Смерть матери стала роковой чертой. Она разжала прежде скованные обручи, изменила самого Николая. Другая жизнь началась.

Глава 8
ПЛОТЬ. ДУХ. АПОКАЛИПСИС…

Старушки-омывальщицы закончили своё скорбное дело на полу у порога избы. Покойницу обрядили в белое (уйдёт в чистоте, такою, какая пришла на землю при рождении). Чёрный плат лёг на седые волосы.

Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебёдка, бела и тепла,
Как допрежь, сытовые хлебы пекла.
Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.

Старинный обряд, позже описанный Клюевым в «Избяных песнях», сопровождался традиционными на Севере плачами. «Вытьё» — дань уважения и любви к отошедшим в мир иной, хотя ещё древнерусская церковь накладывала запрет на плачи и вопли народные, как на языческие, как на свидетельство отсутствия веры в бессмертие души. Пётр I вообще специальным указом запретил похоронные плачи, но такие запреты в народе не соблюдались.

«Возьмите народную жизнь, хотя бы причитание над покойником, — писал о. Павел Флоренский в книге „Столп и утверждение истины“, одной из любимейших книг Клюева. — Тут и польза, и добро, и святыня, и слёзная красота. Теперь сопоставьте с этим причитанием интеллигентский концерт, и вы сами почувствуете, как он беден содержанием. Знание крестьянина — цельное, органически слитное, нужное ему знание, выросшее из души его; интеллигентское же знание — раздроблено, по большей части органически вовсе не нужно ему, внешне взято им на себя. Он, как навьюченный скот, несёт бремя своего знания».

Столько вийте-тко вы, буйны ветероченьки,
На эту на могилу на умершую!

Раскатите-тко катучи белы камешки,
Разнесите-тко с могилушки желты пески!
Мать сыра земля теперь да расступилась бы,
Показалась бы колода белодубова!
Распахнитесь, тонки белы саватиночки!
Покажитесь, телеса мне-ка бездушные!

Плачею и вопленицу провожали достойно. Сын же Николушка изготовил нитку бус из озёрного жемчуга — последнее приношение.

«А так у меня были дивные сны, — вспоминал он в „Гагарьей судьбине“. — Когда умерла мамушка, то в день её похорон я приехал с погоста, изнемогший от слёз. Меня раздели и повалили на пол, близ печки, на соломенную постель. И я спал два дня, а на третий проснулся часов около 2 дня, с таким криком, как будто вновь родился. Во снах мне явилась мамушка и показала весь путь, какой человек проходит с минуты смерти в вечный мир. Но рассказать про виденное не могу, не сумею, только ношу в своём сердце. Что-то слабо похожее на пережитое в этих снах брезжит в моём „Поддонном псалме“, в его некоторых строчках».

«Поддонный псалом» родится двумя годами позже. А тогда Николай сам сложил свой плач по умершей, который позднее, по воспоминанию вытегорского старожила, начертал на кресте, воздвигнутом на Верхне-Пятницком погосте на окраине села Макачёва:

Ох, моя жаломнёшенька,
По тебе, родитель-матушка,
В эту осень непроходную
Не капельки с неба капали
Аль снежинки падали,
А по тебе, родитель-матушка,
Детки с батюшкою плакали,
И без тебя, родитель-матушка,
Нам полынью сахар кажется.
И отдали твоё цветное платьице
Нищим любящим.

…Цикл «Избяные песни», посвящённый «Памяти матери», состоящий из пятнадцати стихотворений (это число у православных ассоциировалось с образом Богоматери и знаменовало собой спасительную миссию, искупление, вечную жизнь), будет писаться в течение последующих трёх лет и обретёт

свой окончательный вид к 1917 году. А пока — Клюев пишет слёзное душевное письмо Блоку, почитай, первое после годичного перерыва, где жалуется на своё горе и с гневом и пристрастием вспоминает свои московские и петербургские «гощения».

«Видно, мне не забыть Вас, дорогой Александр Александрович! Опять тянет поговорить с Вами, выклянчить от Вас весточку и с ней какую-то звуковую волну — Ваше дыхание. Когда умер у Вас отец и Вы написали мне об этом, я вздыхал и припадал головой к Вашему письму, теперь пришёл черёд Вам пожалеть меня: у меня умерла Мама… Родная моя, сиротинная моя, унывщица и былинщица моя — умерла! Теперь я остался только со стариком-отцом, у осиротевшей печи, у заплаканной божницы, у горькой нуды-работушки…

Последняя встреча с Вами непамятна мне: в ней было что-то злое, кто-то загораживал Вас от меня. Запомнилась мне лишь старая, любимого народом письма — икона „без лампадки“. (Чья душа?) Я пришёл в отчаяние от Петербурга с Москвой… Я теперь узнал, что к „Бродячей собаке“, и к „Кривому зеркалу“, и к Бурлюку можно приблизиться только через грех, только через грех можно сблизиться и с людьми, живущими всем этим. Я по способности своей быть „всем для всех“ пожил два месяца Собачьей жизнью, пил даровой коньяк, объедался яблоками в 6-ть руб. десяток, принимал ласки раздушенных белых, как кипень (и почему они такие белые?), мужчин и женщин (но в баню с ними всё-таки не ездил). Из них были такие, которые чуть не лизали меня. И ни одной душе не выискалось спросить о моей жизни, о моём труде, о матери!..»

Это напоминает перечисление грехов, среди которых и употребление алкоголя. (Позже в письме Виктору Миролюбову Клюев напишет о том же в покаянном тоне: «Я мучусь за последнюю встречу с Вами, всё думаю, что Вы слышали от меня винный запах и судили меня в душе, но поверьте, что я выпил вина по дороге к Вам — только для того, чтобы не мучительна и недолговечна была моя ложь перед Вами, в случае, если привелось бы прибегнуть к ней».) И в письмах другим своим корреспондентам Клюев постоянно поминает кошмар своего тогдашнего «общения». Из письма Я. Израилевичу: «Вы упоминаете „про весточку“ — живу я в бедности и одиночестве со стариком-отцом (мама — былинщица и песельница-унывщица, умерла в ноябре), с котом Оськой, со старой криворогой коровой, с жутью в углу, с низколобой печью, с тупоногой лоханью, с вьюгой на крыше, с Богом на небе. В Питер я больше не собираюсь… Правда, много было знакомых в Питере, угощали даже коньяком, не жалели даже половинкой яблока угостить (как

дать целый, когда яблоки 4 руб. десяток), но пока приветил только один Вы…» Из письма В. Миролюбову: «Былинщица, песельница моя умерла — „от тоски“ и от того, что „красного дня не видела“… Неужели и у меня жизнь пройдёт без „красного дня“? Помните, Вы у Городецких пожалели меня — назвали бедным, — как взъелась мадам Городецкая за это на меня — стала Вас уверять, что я вовсе не заслуживаю таких слов, что я устроюсь гораздо лучше Сергея. Какая холодность душевная! Сколько расчёта в словах оскорбить человека, отняв возможность возражать! Тяжко мне, Виктор Сергеевич. Много обиды кипит у меня на сердце против Питера, из которого я вынес триковую пару да собачью повестку на лекцию об „акмеизме“…» Из письма А. Ширяевцу: «Вот уж не дай Бог, если русское общество отнесётся и к тебе так же, как ко мне! Если бы я строчил литературные обзоры, я бы про русское общество написал: „Был Клюев в Питере — русское общество чуть его не лизало, но спустя двадцать четыре часа русское общество разочаровалось в поэтическом даровании этого сына народа, ибо сыны народа вообще не способны ездить в баню с мягкими господами и не видят преображения плоти в педерастии“»…

Уход матери развязал какой-то незримый узел в душе Николая. Она ушла — и стала его вечной покровительницей там, а здесь — он остался сиротой (смерть отца через пять лет он уже не ощутит как сиротство) и в то же время освободился от некоего внутреннего зажима. Её уход как бы по-новому высветил для него все контрасты деревенской жизни и жизни городской, точнее, барской в городе, и лицезрение барами деревни как скопища темноты и скотства положило конец мерещившемуся некогда «взаимопониманию», о чём он и даст недвусмысленно понять в своём последнем письме к Блоку: «У меня на столе старая синяя глиняная кружка с веткой можжевельника в ней. В кружку налита горячая вода, чтобы ветка, распарясь, сильнее пахла. Скажите это кому-либо из Собачьей публики, Вам скажут, что по Бунину деревне этого не полагается (мне часто говорили подобное). И не знает эта публика, что у деревни личин больше, чем у любого Бунина, что „свинья на крыльце“ и „свиное рыло“, и Сергий Радонежский, и недавний Трошка Синебрюхов, а сейчашный Трофим Иванов по формуляру (в командировке Валентин Викентьевич Воротынский), око охранки, и кокотка Норма (на деревне Стешка) — только личины, только „Бесовское действо“ в ночь на „Воскресенье“.

Я вспомнил „Бесовское действо“ Ремизова, прибавлю, что это всеславянское писание, вещественное доказательство Буниным, что „Золотой вертеп“ и „Святой вечер“ нетленны на Руси. Быть

может, потрудитесь передать мой поклон Ремизову».

Для Клюева ношение «личин» не благо, а проклятие. В письме Миролюбову содержится горькая жалоба на Леонида Семёнова, казалось бы, такого близкого — и то принявшего своего друга за иного: «Я не знаю, какой мудростью предписано такое поведение и такая любовь, которые на практике становятся жёрновом остельным на шее ближнего, и вера, которая уничтожает самый предмет веры, т. е. вера в то, чего вовсе нет. Например, помню, я ему говорил, что ношу золотые часы и не умею распрячь лошади, и не знаю, что такое вилы с тремя железцами, — и он не улыбнулся, не сказал легко, „что этого не может быть“, а забранился на меня, твёрдо уверовав в слова, как в действительность. Такая вера у наших монахов зовётся бесовской, и про такого человека говорят, „что он в беса верует“. Эта вера и не народна, потому что во главу угла ставит радость Франциска А<ссиз>ского: „Когда изобьют тебя и выгонят на снег люди“… „И не желай, чтобы они — люди — *стали лучше,* так как кто тогда даст тебе побои ради Господа?“ И ещё: боязнь поделиться своей праведностью с людьми, запачкать свои одежды… эта боязнь — любовь не допустить того, чтобы прикрыть своей хламидой блудницу на ложе греха или отдать себя на растление ради чистоты другого. Древние святые ходили в публичные дома, чтобы если не чере<з> любовь, то через грех приблизиться к людям; теперешних же святых приблизит к людям только меч — про который сказано в Евангелии: „И купите себе меч, чтобы не погибнуть вам напрасно“. Я понимаю это буквально, т. е. есть люди, которых полезно и спасительно встряхнуть за шиворот, и чаще всего для таких людей спасительно преступление, даже убийство: как с<вятому> Павлу убийство Стефана, Петру — отсечение уха Малхова (покушение на убийство) и отречение с клятвой и т. д. Как и поётся в одном русском стихе:

А злодея Бог ды помилует,
Душегуба Бог ды пожалует
Как честным венцом —
Ликом андельским [так].
А как кукицу-богомолицу
Он помилует да пожалует
Мукой огненной, удой медною.

Нет, уж если я и святой, то и греха не должен бояться, чтоб не впасть в ложь, как лисица в капкан, чтоб не пришлось перегрызть ей собственную лапу — для спасения „жизни“ — настоящей и будущей».

Слишком много сказано в этом письме и слишком многое нуждается в расшифровке. В первую очередь подобная откровенность перед Виктором Сергеевичем Миролюбовым — Клюева, уже в совершенстве овладевшего искусством носить личины. Из интеллигентской питерской публики для него лишь два человека останутся достойными такой тональности в собеседовании — письменном или устном: Миролюбов и Иванов-Разумник. Через десять без малого лет Николай со всем возможным для него теплом отзовётся о первом — опять же по контрасту с прочими, причём в вопросе, для Клюева наиважнейшем: «Лучшие мои произведения всегда вызывали у разных учёных людей недоумение и непонимание. Во всём Питере и Москве мои хлыстовские распевцы слушал один Виктор Сергеевич Миролюбов. Зато в народе они живы за красоту, глубину и подлинность. Разные бумажные люди, встречаясь с моим подлинным, уподоблялись журавлю в гостях у лисы: не склевать журавлю каши на блюде. Напоследок я плюнул на всякие учёные указания и верю только любви да солнцу».

* * *

И ещё один мотив настойчиво вторгается в клюевские письма — мотив греха.

Спустя годы, повествуя о своём бегстве с Соловков с мистиком — новым учителем, о пребывании у скопцов и новом бегстве уже от них, о скитаниях по Кавказу, Клюев расскажет Николаю Архипову и о том — как и где состоялась роковая встреча, приобщившая его к тому, что любой, поверхностно прочитавший клюевское житие, назовёт противоестественным грехом.

«Помню, на одной дороге в горах попал я на ватагу смуглых оборванных мальцев, и они обступили меня, стали трепать по плечам, ласкать меня, угощать яблоками и рассыпчатыми белыми конфектами. Кажется, что это были турки. Я не понимал по-ихнему ни одного слова, но догадался, что они зовут меня с собою. Я был голоден и без денег, а идти мне было всё равно куда.

В сакле у горного ключа, куда меня привели мальцы, мне показалось очень приветно… Наварили лапши, принесли вина и сладких ягод, пили, ели… Их было всего человек восемь; самый красивый из них, с маковыми губами и как бы с точёной шеей, необыкновенно лёгкий в пляске и движениях, стал оспаривать перед другими своё право на меня. Завязалась драка, и только

кинжал красавца спас меня от ярости влюблённой ватаги.

Дня четыре эти люди брали мою любовь, каждый раз оспаривая меня друг у друга. На прощанье они дали мне около 100 руб. денег, кашемировую рубаху с серебряным кованым поясом, сапоги и наложили в котомку разной сладкой снеди.

Скала, скрывающая жгучий ключ, была пробита. Передо мною раскрылся целый мир доселе смутных чувств и отныне осознанных прекрасных путей. В тюрьме, в ночлежке, в монастыре или в изысканном литературном салоне я утешаюсь образом Али, похожего на молодой душистый кипарис. Позже я узнал, что он искал меня по всему Кавказу и южной России и застрелился от тоски».

Так описывается эта встреча в «Гагарьей судьбине». А ещё тремя годами раньше тот же Архипов записал в Вытегре под диктовку Клюева: «Осознание себя человеком произошло со мной в тёплой закавказской земле, в ковровой сакле прекрасного Али. Он был родом из Персии и скрывался от царской печати (высшее скопчество, что полагалось в его роде Мельхиседеков). Родители через верных людей посылали ему серебро и гостинцы для житейской потребы. Али полюбил меня так, как учит Кадра-ночь, которая стоит больше, чем тысячи месяцев. Это скрытное восточное учение о браке с ангелом, что в русском белом христианстве обозначается словами: обретение Адама…

Али заколол себя кинжалом…

Меня арестовали на Кавказе; по дороге в тюрьму я угостил конвойных табаком с индийским коноплём и, когда они забесновались, я бежал от них и благополучно добрался до Кутаиса, где жил некоторое время у турецких братьев-христиан…»

Это описание произошедшего можно верно понять, лишь зная, что такое «Кадра-ночь», или «Лайлатуль-Кадр» — «ночь могущества и предопределения». Она наступает среди нечётных в последние десять ночей Рамадана. В эту ночь ангел Джабраил спускается на землю с множеством ангелов, что молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в служении Аллаху. Благословенная ночь даруется как особая милость. Соблюдение поста и непрестанная молитва, покаяние за свершенные грехи вознаграждаются великим блаженством. В вечер перед Лайлатуль-Кадр деревья пригибаются к земле, падая ниц перед Аллахом, что видят лишь особые люди, которым Аллах дал духовное зрение. Избранные могут узреть особое сияние — разливающийся нездешний свет не от солнца, не от луны, не от электричества, увидеть ангелов с крыльями и *услышать звуки ангелов* (и услышанное Клюевым через годы воплотится в строках

цикла «Земля и железо»: «Звук ангела — собрат бесплотному лучу и недруг топору, потёмкам и сычу…»). «Ночь могущества лучше тысячи месяцев», — цитирует Клюев суру из Корана, ибо за добрые деяния этой ночью верующие вознаграждаются так, как вознаграждается беспрерывное служение в течение тысячи месяцев или более восьмидесяти трёх лет.

Так могли ли верующие мусульмане в ночи перед Лайлатуль-Кадр, во время непрестанных молитв и покаяния в ожидании божественного вознаграждения возжаждать противоестественного греха? «Эта ночь такой любви, какую Вы никогда и нигде больше не узнаете», — говорили современные мусульманки близкому мне человеку — православной христианке, приглашая её разделить с ними эту радость. Ночь духовной любви к Господу и друг к другу, когда неземное блаженство овладевает всем человеческим существом.

Вот какую «любовь» брали у Николая «мальцы». Брали, одновременно оспаривая право каждого на *поучение* иноверца. И лишь кинжал Али «спас», ибо он был «из рода Мельхиседеков»… Происхождение из названного рода имело существенное значение: Мельхиседек, царь Салимский («Дружба птичкой из Салима» появится и в стихах Клюева 1930-х годов, посвящённых Анатолию Яр-Кравченко), по Святителю Филарету, *«священник Бога* Всевышняго. Именем *Бога Всевышняго* Мелхиседек отличается от служителей многих божеств… а именем священника и от прочих царей, и от самого Авраама… Причиною столь великого уважения, оказанного Патриархом царю Салимскому, полагать должно не царское достоинство, коему Авраам не имел нужды подчинять себя, будучи победителем и избавителем царей; но священство и благословение именем истинного Бога…». В 109-м псалме Давида говорится, что Мессия будет «священником по чину Мельхиседека». И у апостола Павла в Послании к Евреям: «Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мельхиседека». И у излюбленного Клюевым Аввакума в его беседе «Об Аврааме»: «…Прежде век вечных из чрева от отца родися, не имать начала днем, ни животу конца по чину Мелхиседекову царь и священник пребывают вовеки»… Провиденциальность этой встречи для Клюева подчёркивалась ещё и воспоминанием о пребывании у христов, где он был и «Христом», и «Давидом»… Словно «высшие силы» соединяли «избранников» и определяли его собственную судьбу. И «кинжал Али» был знаком для остальных — что лишь он один среди собравшихся имеет право наставника. И сравнение здесь Али с

кипарисом — это не просто восхищение его красотой, если вспомнить, что кипарис в «Стихе о Голубиной Книге» — «мать всех деревьев», из него был сделан крест, на котором распяли Христа.

Когда «посвящённые» в таинство «обретения Адама» потеряли друг друга и по какой причине, из-за ареста Николая или ещё до него, и сколько времени длились клюевские скитания по Кавказу, какими перипетиями сопровождались — сказать невозможно… Через три примерно года после того, как записал Николай Архипов «Гагарью судьбину» — он же зафиксировал и такое клюевское выражение: «Лучше врать, чем быть верным и точным до одуряющей тоски, до зелёной скуки». И кажется, что Клюев сочинил красивую сказку с терпким привкусом. Ибо великий грех — единение в общей молитве с иноверцами, даром что после этой великой ночи, после всех открывшихся видений «скала, скрывающая жгучий ключ, была пробита» и «открылся целый мир… осознанных прекрасных путей». Невозможно сейчас даже примерно определить, насколько адекватно записал Архипов рассказ Клюева, ибо, судя по изложению, он всё рассказанное воспринимал буквально — в плане материальном и плотском. В 1934 году на допросе в ОГПУ Клюев показал, что первый его опыт однополого соития относится к 1901 году, то есть к семнадцатилетнему возрасту. Если учесть, что Архипов до этого давал на Клюева показания в ОГПУ и, возможно, рассказал также «кавказскую историю» в своей интерпретации, то несложно представить, как эти показания были предъявлены Николаю на следствии, и он даже не попытался что-либо объяснять. Если также учесть, что на этот год приходится документально зафиксированная учёба Клюева в фельдшерской школе, то очевидно, что поэт намеренно спутывал всю хронологию. Не для «архангелов» из карательных служб были его рассказы, его житие. Если же вся история о Кавказе, рассказанная Архипову, — миф, то миф, о котором писал А. Ф. Лосев: «Миф есть бытие личностное, или, точнее, образ бытия личностного, личностная формула, лик личности… Не… догмат, но история». Но факт остаётся фактом — Клюев не раз «путал след», смещая даты своей жизни…

Но если бы всё рассказанное было сплошной выдумкой — Николаю ничего не стоило бы расписать свои дальнейшие приключения в самых ярчайших красках: и воображения, и художественного дара хватило бы… Единственно, о чём он упомянул — о пребывании в Кутаисе у турецких братьев-христиан. О турках-христианах идёт ли речь, или о сектантах, главная община которых была на турецкой земле (кстати, немало староверов обреталось там во второй половине XIX — начале XX

века) — не определишь… Правда, Иванов-Разумник в своих воспоминаниях, писанных уже в годы Второй мировой войны, упоминал рассказы Клюева о его пребывании в Баку на конспиративной квартире, которая «служила явочным местом для посетителей из секты „бегунов“, державших постоянную „эстафетную связь“ между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами… Индии… Всё это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем)…». Это «далеко не всем» заставит задуматься любого скептика, если ещё учесть, что клюевские рассказы не предназначались для печати, и кроме Архипова и Иванова-Разумника, никто больше о подобных рассказах Клюева не вспоминал. Другое дело, что Иванов-Разумник, в отличие от Архипова, не записывал сказанное непосредственно за рассказчиком и невозможно определить — точно ли он помнил, что именно говорил ему Клюев…

Во всяком случае, мы вправе предположить здесь, что «братья-христиане» вытащили Николая из круга ревнителей Корана, а Али покончил с собой, утратив след своего «ученика» и посему не выполнив своего предназначения… После бегства от стражников бывший соловецкий послушник и был поселён на «конспиративной квартире», где имел возможность отсидеться некоторое время… Но всё это из области предположений и реконструкций. Здесь важно подчеркнуть следующее.

Общение с восточными язычниками, мусульманами, сектантами разных толков, очевидно, и с суфиями, также имевшими свои общины на Кавказе, — всё это кирпичик к кирпичику, компонент к компоненту формировало духовный мир Николая, настраивая его на совершенно особый лад. Общение сопровождалось и чтением самой разнообразной духовной литературы, не чужд был в этот период Клюев, увы, и соблазна введения себя в транс путём приёма наркотика (вспомним о табаке с «индийским коноплём»). Совершенствовал он и традиционные эзотерические методики введения себя в пограничное состояние между здешним и нездешним мирами, достигая ясновидения, о чём поведал тому же Николаю Архипову: «О послушании моём в яслях и купелях скопческих в Константинополе и Смирне, в садах тамошних святых тебе, милый, выведывать рано, да и не вместишь ты ангельского воображения… Саровский медведь питается мёдом из Дамаска».

Как многозначительна последняя фраза! Первое, что вспоминается — медведь, приходивший к келье Серафима Саровского. Но нельзя не вспомнить и того, что истовые

староверы не признавали Серафима святым, как канонизированного новообрядческой церковью, считая, скорее, колдуном… Для Клюева же Серафим — святой, и сам он соотносит себя и с Серафимом, памятуя о своём изначальном предназначении, и с медведем — сакральным животным на Руси.

А «мёд из Дамаска»… Вот тут уж можно было дать волю своей фантазии — но Клюев не фантазировал, лишь упомянул об «ангельском воображении»… Доступное в видениях ему — недоступно более никому другому. И совершенно напрасно Архипов позднее иронически комментировал: «Клюев ни в Персии, ни в Китае, нигде за границей не был, но держался так, как будто был». Человек, которому доступны эзотерические видения, может спокойно «держаться так, как будто был», ибо был — в духе, временно отлетевшем от грешной плоти.

…Когда Николай снова переступил порог родного дома и обнял мать — он рассказал ей обо всём, что с ним приключилось. Встретили его тогда, как блудного сына, а для Прасковьи Дмитриевны произошедшее было настоящим ударом. Мало того что нарушил родительский наказ, из монастыря ушёл, крест с себя снял, с «хлыстами» водился — ещё и с иноверцами молился — и перекрыл себе (хоть и временно) пути духовного совершенствования, на которые мать наставляла… Пусть свершилось на время преодоление соблазна, вернулся Николай ко Христу, и снова крест на его груди — но расплелась тончайшая, незримая нить, соединяющая мать и сына, — и все рассказы Николая о том, что открылось ему в его скитаниях, на Прасковью Дмитриевну уже не действовали. Она осталась для него самым дорогим человеком на земле, но пропасть взаимного непонимания, видимо, переступить было уже невозможно.

Если вернуться к уже сказанному, нетрудно понять — как отнёсся Клюев к свинскому поступку Брихничёва, прилежно зафиксировавшего на газетной странице жалобы Клюева на домашнюю жизнь, непонимание родителями сына и их «неграмотности»… Не о грамоте книжной речь — об иной, открывшейся Клюеву в его скитаниях.

«От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, а близкая, родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая — Святая Русь, что везде, в

поморской ли избе, в олонецкой ли позёмке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот — усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия»…

Об этом обо всём Клюев рассказывал в 1922 году, когда не было уже в живых никого из родителей. И уж, естественно, крепкая печать лежала на устах Николая, пока здравствовала мать. Мотивы Востока и скопчества проявились в его стихах уже после смерти Прасковьи Дмитриевны. Именно её кончина развязала ему язык, а отнюдь не стремление «подладиться» под окружающую литературную среду «новой мифологией».

* * *

Вот с этим нажитым опытом (в духе — безусловно нажитым) и вошёл Клюев в московскую и петербургскую литературную жизнь. И узрел тамошние нравы. И увидел наркоманов, педерастов, «интеллигентных» шлюх, мальчиков и девочек со склонностью к суициду (самоубийства возводились в культ), «мудрецов», одержимых проблемами половой жизни и млеющих в разговорах об «одиноких», «кошкодавах» и прочих тогдашних «неформалах». Узрел равнодушный, ни к чему не обязывающий разврат «интеллигентного общества» столицы, где «беременный мужчина» Бурлюка прекрасно соседствовал с банными описаниями кузминских «Крыльев» («баня с мягкими господами» во многом навеяна этими описаниями наряду с картинами из жизни «жоржиков» — Иванова и Адамовича, для которых гомосексуальный разврат был привычным делом и которые в конце концов смотались в Европу, избегая уголовного преследования за убийство партнёра). Кланялся Клюев Михаилу Кузмину и его «наперснику» Юрию Юркуну в письме сыну богатого промышленника, вхожему в литературные круги Израилевичу, интересуясь мнением Кузмина о «Лесных былях». Тонкого художника в нём увидел, но человеческой близости не ощутил — напротив. Позже в письме Есенину он напишет: «А умиляться тем, что собачья публика льнёт к нам, не для чего, ибо понятно и ясно, что какому-либо Кузьмину или графу Мон-те-тули не нужно лишний раз прибегать к шприцу с морфием или кокаином, потеревшись около нас. Так что радоваться тому, что мы этой публике заменили на каких-либо *полчаса* дозу морфия — нам должно быть горько и для нас унизительно». Знал, что писал. Чересчур легко, точнее, легковесно было бы, вчитываясь в позднейшие клюевские похвалы Кузмину, сводить часть этих

похвал к физиологическому интересу. Ведь это клюевское «потеревшись» ясно говорит о том интересе, который он вызывал у Кузмина и его свиты.

Сейчас же в письмах Николай, отвращаясь от городского интеллигентского блуда, пишет Ширяевцу не без иронии над происходившим на его глазах, над жалобами Ширяевца на любовную неудовлетворённость: «В феврале был в С. П. Б. Клычков, поэт из Тверской губернии из мужиков, читал там в литературном интимном театре под названием „Бродячая собака“ свои хрустальные песни, так его высмеяли за то, что он при чтении якобы выставил брюхо, хотя ни у одной петербургской сволочи нет такого прекрасного тела, как у Клычкова. Это высокий, с сокольими очами юноша, с алыми степными губами, с белой сахарной кожей… Для меня очень интересна твоя любовь и неудовлетворённость ею. Но я слыхал, что в ваших краях сарты прекрасно обходятся без преподавательниц из гимназий, употребляя для любви мальчиков, которых нарочно держат в чайных и духанах для гостей. Что бы тебе попробовать — по-сартски, авось бы и прилюбилось, раз уж тебя так разбирает, — да это теперь и в моде „в русском обществе“. Хвати бузы или какого-нибудь там чихирю, да и зачихирь поволжски. Только обязательно напиши мне о результатах…» В ответ на последовавшее недоумение Ширяевца такой откровенностью уточняет: «Почему тебе кажется, что мне не идёт говорить про любовь и сартские нравы — я страшно силён телом, и мне нет ещё 27-ми годов (на самом деле Клюев был годом старше. — *С. К.)*. Встречался я с Клычковым, и всегда мы с ним целовались и дома, и на улице… Увидел бы я тебя, то разве бы удержался от поцелуев?..» Не исключено, что он здесь и проверял своего собеседника в отношении к нему самому (как проверял в другой области Леонида Семёнова — не выдержавшего этого испытания) и больше «давил» на интимную сторону в контрасте с описанными питерскими «игрищами»… А ещё подобные откровения в сочетании с похвальбой своим здоровьем, которое на самом деле было не очень хорошим (болезни преследовали Николая одна за другой — и для него, слабосильного, в самом деле было «свить сенный стог мудрее, чем создать „Войну и мир“ иль Шиллера балладу»), скорее, давали возможность заглушить страх смерти, который всё чаще и чаще одолевал его… Впрочем, подобные откровения возможны были для него лишь с человеком, которого он действительно считал близким себе по духу — чувство сиротства после ухода матери его не оставляло, а поведение расхвалившего его и рядящегося в близкого друга Городецкого уж слишком хорошо

напомнило Николаю поведение Брихничёва.

«Потрясает невольно идущая Жизнь. Потрясает и грядущая гибель себя наружного: горьким соком одуванчика станет прекрасное, столь любимое тело моё. Чему я радуюсь, так это, к изумлению моему, народившимся Врагам своим: Иван Гус ел арбуз, Брихничёв корки подобрал, но от этого Гусом не стал — и Брихничёв стал Врагом моим. (Врагом-то врагом, только личные контакты все равно не прервались — и звал Брихничёв Клюева ещё с собой в дальнейшие странствия по Азии. — *С. К.)* Откуда-то вынырнуло и утвердилось понятие, что с появлением „Лесных былей“ эпосу Городецкого приведётся заяриться до смерти, и Городецкий закатил болотные пялки и загукал на мои песни, и т. д. и тому подобно…» (из письма Валерию Брюсову.) Это — констатация факта, а в письме Ширяевцу — дружеское увещевание: «Я предостерегаю тебя, Александр, в том, что тебе грозит опасность, если ты вывернешься наизнанку перед Городецкими. Боже тебя упаси исповедоваться перед ними, ибо им ничего и не нужно, как только высосать из тебя всё живое, новое, всю кровь, а потом, как паук муху, бросить одну сухую шкурку. Охотников до свежей человеческой крови среди книжных обзорщиков гораздо больше, чем в глубинах Африки. Городецкий написал про меня две статьи зоологически-хвалебные, подарил мне свои книги с надписями: „Брату великому слава“, но как только обнюхал меня кругом и около, узнал мою страну-песню (хотя *на самом деле* ничего не узнал), то перестал отвечать на мои письма и недавно заявил, что я выродился, так как эпос — не принадлежащая мне область (судя по всему, в этом выступлении Городецкий впрямую полемизировал с Гумилёвым, отвечая на слова последнего, что „в творчестве Клюева намечается возможность поистине большого эпоса“. — *С. К.).* Вероятно, он подразумевает свою „Иву“ (а ведь читал Клюев восторженные отзывы того же Гумилёва об „Иве“ и в „Гиперборее“, и в „Аполлоне“. — *С. К.)*… Вот, милый, каковы дела-то… Брат мой: не исповедуйся больше, не рассылай своих песен каждому. Не может укрыться город, на верху горы стоя…»

С нежностью и заботой, сочетающейся со строгой требовательностью, пишет Николай Ширяевцу о его стихах, поминая и «литературщину», и «неискусность», и «шелудивые слова», от коих надо избавляться. Жалуется на бедность и на то, что не дошёл до него гонорар за стихи ни из народнических «Заветов», ни из «Северных записок» — «тарана искусства по царизму», как называла их издательница Софья Чацкина («Получил ли ты с „Ежемесячного“ что и по скольку за строку? Пишу это потому, что очень нуждаюсь. Мама умерла: на руках у

меня 70-летний отец, пеку и варю сам, мою пол, стираю — всё это надбавка к моей лямке») — и чередует эти жалобы с картинами северной красы, приглашает Александра бросить Ташкент, устроиться где-нибудь в Архангельском округе, шлёт ему открытки с изображениями родного края… «Ты правду сказал, что на нас с Клычковым ни<что> не висит, кроме бедности. Особенно прекрасен мой север с лесами, с озёрами, с избами такими же, каку<ю> я присылаю тебе. Это <так> называемая „столбовая или Красная изба“, а есть ещё Белая и чёрная — т. е. курная. У нас не надо картин Горюшкина-Сорокопудова аль Васнецовых — всё ещё можно видеть и ощущать „взаправду“. Можно посидеть у настоящего „косящата окна“, можно видеть и душегрейку, и сарафан-золотарь, и жемчужную поднизь, можно слышать и Сказителя». В этом воздухе только бы творить, да собственное творчество уже не радует, ибо те сокровища, что носит в себе Николай, не ценятся по их истинному достоинству — не ко двору русские поэты, идущие из глубинной традиции. Его поэзия — лишь отзвук величественной симфонии, где песня человеческой души соединяется в полнозвучии с музыкой природного и нездешнего миров, а у шумящих вокруг современников на душе и уме иное: «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам»… «Я могу из падали создавать поэмы»… Всё это в конечном счёте отольётся в формулу (затрёпанную впоследствии и зацитированную) той, к кому он обращался с душевной нежностью, восхищаясь строгостью её поэтических линий и которая «фыркала» на его стихи, за «истощение запаса культурных слов»: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»

Не из «сора» — из природной красы, из высокого строя Ветхого Завета, Евангелия, «Поморских ответов», из народной речи рождались клюевские стихи.

Понимание высокой жизни в духе — и поэзии расходятся у Клюева всё дальше и дальше, о чём он и пишет Ширяевцу, увещевая его в невозможности совмещать творчество с жизнью — обыденной ли и обеспеченной «литератора модного» — или общинной, братской, о чём вопрошал его Александр, и на что отвечал ему Николай, сомневаясь и в себе, и в намечаемых лишь пунктиром путях дальнейшего бытия: «Меня вовсе не радуют свои писанья. Вот издам ещё книжку, — и прикрою лавочку: потому что будь хоть семи пядей во лбу, — а Пушкинские премии будут получать Леониды Афанасьевы да Голенищевы-Кутузовы, — а тебе гнилая изба, вонючая лохань, первачный мякиш по праздникам, а так „кипятоцик с хлибцём“, сущик да день в неделю Крутикова каша с коровячим маслом, бессапожица и

беспорточица, а за писания — фырканье г<оспод> поэтов да покровительственный басок г<оспод> издателей — вот и всё. И ты, милый, не жди ничего другого — предупреждаю тебя… Есть у тебя хлеба кусок, правда, горький, но в случае писательского успеха тебе не перепадёт и крошки… Ты говоришь про общину „Писателей из народа“. Я принимаю братство — житие вкупе вообще людей, а не одних писателей. Община осуществима легко при условии безбрачия и отречения от собственности и довольствования „насущным“. Какая радость жить вместе с людьми одного духа, одного Света в очах!.. Есть община в Воронежской губ<ернии>, основана Иваном Беневским по-толстовски, но мне что-то не по себе, когда подумаю об ней. Братству, Шура, писанье будет мешать. Только добровольная нищета и отречение от своей воли может соединить людей. Считать себя худшим под солнцем, благословить змею, когда она ужалит тебя смертельно, отдать себя в пищу тигрице, когда увидишь, что она голодна, — вот скрепы между людями. Всемирное, бесконечное сожаление — вот единственная программа общежития. Вере же в человека нужно поучиться, напр<имер>, у духоборов, или хлыстов-бельцов, а также у скопцов. Вот, братик мой, с кем надо тебе сойтись, если ты искренне ищешь Вечного и Жизни настоящей. Александр Добролюбов и Леонид Семёнов, два *настоящих* современных поэта, ушли к этим людям — бросив и прокляв так наз<ываемое> искусство, живут в бедности и в трудах земельных (сами дети вельмож), их молитвами спасёмся и мы. Аминь».

Клюев мечется внутренне. Он не может не понимать, что подобное «отречение» от мира, ведущее к созданию своего учения, и поиск своего спасения — воплощение предельного индивидуализма, завершение того духовного раскола, глобальный процесс которого начался в XVII веке. А соблазн — поистине велик. И не может Клюев не чувствовать, что выбор уже сделан, что с избранного пути уже не свернуть, что участие в литературном процессе наложило свои вериги, потяжелее тех, которые он некогда носил ради умерщвления плоти… А в это время продолжается за ним постоянная слежка властей предержащих. В Олонецком губернском жандармском управлении множатся донесения о распространении им противоправительственных брошюр среди участников Верхнепятницкого земского училища, о поездках в Москву, о пребывании в Санкт-Петербурге и проживании там на квартире зятя В. П. Расщеперина, наконец, о выходе стихотворных книг. И обо всём этом допрашивается его отец.

«Николай Алексеев Клюев, выбывший осенью прошлого (1912-го. — *С. К.)* года в Москву (донесение мое от 31 октября прошлого года за № 235), до нового года переслал из Москвы 270 рублей. Из разговора с отцом вахмистр Стриноголович узнал, что означенные деньги получены Клюевым-сыном в счёт причитающейся ему суммы в размере 750 руб. за издание им в одной из московских редакций сборника под названием „Братские песни“. Кроме того, по словам отца, сын его готовит к изданию ещё какие-то три книжки. Означенные выше деньги, а также вся корреспонденция получаются Клюевым-отцом не через волостное правление, отстоящее от дер. Делвачёво в 2-х верстах, а через Мариинское почтовое отделение, находящееся на расстоянии 8 вёрст от деревни. В данное время Клюев-сын проживает в С.-Петербурге по Усачёву пер. в д. № 16, кв. 11, у своего зятя Василия Расщеперина, служащего в каком-то судостроительном заводе в электрическом отделении. В 20-х числах сего февраля (1913 года. — *С. К.)* Клюев предполагает вернуться на родину.

Из всего вышеизложенного, принимая во внимание политическую неблагонадёжность Клюева-сына, является сомнение в законности источника, из коего получает Клюев деньги, а также не заключается ли в корреспонденции Клюева чего-либо преступного или, по меньшей мере, тенденциозного».

Газетная, журнальная, книжная жизнь требует своего — старания о гонорарах как единственном способе существования, которые действительно с трудом закрывают материальные прорехи. Заботы о публикациях и отзывах на книги — и хочешь не хочешь, а будешь интересоваться у издателя «Лесных былей» К. Некрасова и переизданием, и тиражом, и деньгами за него. И книги современников спрашивать будешь, дабы быть в курсе новейшей литературы, притворяясь при этом, что о Верхарне не слышал, Бальмонта почти не читал (дескать, подмогните несведущему!), да интересоваться мнением о своих стихах Ремизова, Философова да того же Михаила Кузмина… А что касается «культурных» и «некультурных» слов, то по этому поводу Клюев исчерпывающе объяснился с Виктором Миролюбовым, посылая ему для публикации в «Ежемесячном журнале» «Скрытный стих».

«…Сейчас же посылаю Вам мою новую поэму — был бы счастлив, если бы она Вам понравилась. Сложена она под нестерпимым натиском тех образов и слов, которыми в настоящее время полна деревня. Перекроить эти образы и слова так, чтобы они были по плечу людям, знающим народ поверхностно и вовсе не имеющим представления о внутреннем содержании

„зарочных“, „потайных“, „отпускных“ слов бытового народного колдовства (я бы сказал, народного факиризма), которыми народ говорит со своей душой и с природой, — я считаю за великий грех. И потому в этой моей вещи, там, где того требовала гармония и власть слова, я оставлял нетронутыми подлинно народные слова и образы, которые прошу не принимать только за олонецкие, так как они (слова, наречие) держатся крепко, как я знаю из опыта, во всей северной России и Сибири. Некоторая густота образов и упоминаемых выше слов, которая на первый взгляд может показаться злоупотреблением ими, — создавалась в этом моём писании совершенно свободно по тем же тайным указаниям и законам, по которым, например, созданы индийские храмы, представляющие из себя для тонкого (на самом деле идущего не из глубин природы) вкуса европейца невообразимое нагромождение, безумное изобилие и хаос скульптур богов, тигров, женщин, слонов, многокрылых и многоликих существ…»

«Густота образов и слов» органично вплетается в былинный стих, повествующий о пришествии «на Олон-реку, на Секир-гору» — «нищей братии» разных толков и сект:

Становилася нища братия
На велик камень, со которого
Бел плитняк плитят на могилища,
Опосля на нём — внукам памятку —
Пишут теслами год родительский,
Чертят прозвище и изочину (отчество. — *С. К.),*
На суклин щербят кость Адамову.

«Внукам памятка» — «год родительский» и «изочина» — снова отсылают памятью к ушедшей матери, чья смерть сдвинула мироздание в сознании поэта и породила апокалиптическое ощущение близкой гибели мира сего. «Нища братия» вопиет Спасу о чудовищном преображении сущего, где живому нет места:

Во посад идти — там табашники,
На церковный двор, — всё щепотники,
В поле чистое, — там Железный Змий,
Ко синю морю — во море Чудище!
……
Запропасть от них Божью страннику,
Зверю, птичине на убой пойти,
Умной рыбице в глубину спляснуть!

Природа у Клюева одухотворена изначально — в её земной реальности, запечатлённой тонкой кистью, как в доличном иконном письме, — он прозревает явление Духа Святого и слышит неземной Глас, вешающий торжество Ума Любви над Умом Зла: «Положу препон силе Змиевой, / проращу в аду рощи тихие, / по земле пушу воды сладкие, — / чтобы демоны с человеками / перстнем истины обручилися, / за одним столом преломляли б хлеб, / и с одних древес плод вкушали бы!..» В этом пророчестве ад перестаёт быть адом и демоны теряют свою демонологическую сущность, становятся иными, то есть возвращаются к своему прежнему ангельскому состоянию, одолевая любовью зло, вошедшее в них после исторжения из райских куш… Эсхатология Оригена, Климента Александрийского, Григория Нисского, их учение об апокастасисе — о всеобщем спасении, претворении всего мира в обоженное состояние — вот что исповедовал он. И суждено молящимся старцам «по лугам идти — муравы не мять, во леса ступить — зверю мир нести…».

И рядом с этой картиной возникает другая, картина убежища мужицкой души и плоти под покровом Лика Святого, воплощённого дониконовскими иконописцами, Лика — растворённого в приметах родной земли, укрытой незримым омофором.

Посконным портам не бывает износу,
К моленной рубахе нечистый не льнёт…
Строй келью под елью оконцами к плёсу,
Где пегая зыбь и гагарий полёт.

Пречудный Андрей, что зовётся Рублёвым,
Знал пегую глубь, легкопёрость гагар,
С плакучей берёзы на злате еловом
Списал он Два Плача и Троицын Дар.
……
Олипий Печерский и Гурий Никитин
Воспели корягу в «Небесных Столпах» —
То Руси судьбина, но образ тот скрытен,
Улыбкой почив на мужицких Христах.

«Мужицкие Христы» — это не только лики на иконах. В каждом шве моленной рубахи мужицкой — Христово явление в молчании, в тайне, которую хранят заповедные клады народного слова и образа, то величие народного сказания, что дремлет до поры, когда настанет час урочный воплотиться в живое на «новой

земле».

* * *

Восемнадцатого июля Николай II подписал указ о всеобщей мобилизации, а 20-го был обнародован манифест об объявлении войны Германии. Российская империя вступила в Первую мировую войну — и это стало началом конца великого государства.

Ликование подданных было беспредельным. Возле императора уже не было Столыпина, однажды спасшего Россию от вступления в балканскую войну, грозившую перерасти в мировую. Не было и Григория Ефимовича Распутина — также ярого противника войны, который был тяжело ранен в самые роковые дни женщиной, даже не знакомой с ним лично, наведённой «на нужный след» агентурой промышленников, тесно связанных с Англией и Францией и ох как заинтересованных в военной авантюре!

Их слушал император, воодушевлённый идеей помощи братьям-славянам и возможностью выйти к Черноморским проливам и водрузить православный крест над Святой Софией в Константинополе. Преодолевал тяжкие сомнения — и слушал. Гласом вопиющего в пустыне осталось пророческое послание Николаю II бывшего министра внутренних дел, члена Государственного совета Петра Николаевича Дурново: «… Начнётся всё с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнётся яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся… за время войны наиболее надёжного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению…»

Это писалось в феврале 1914 года, а через полгода в столице толпа на углу Большой Морской и Исаакиевской площади громила немецкое посольство, за использование немецкого языка людей сажали на три месяца в тюрьму или штрафовали на сумму до трёх тысяч рублей. И художник Константин Сомов записал в

дневнике: «Поражение наших войск, уничтожено два корпуса, убит Самсонов (генерал Александр Васильевич Самсонов, потеряв управление войсками, застрелился 19 августа. — *С. К.)*. Позорное переименование Петербурга в Петроград».

А это — слова Ольги Снегиной, хорошо знакомой Клюеву писательницы, вещавшей явно не от своего только имени в «Северной звезде»: «Для многих измученных, разбитых жизнью людей начавшаяся война явилась чем-то вроде последнего прибежища. Открылась возможность уйти от бесплодного отчаяния, избавиться от тщетных страданий, исправить, вновь склеить то, что было непоправимо раздавлено» («Последний миг»).

Газеты пестрели цензурными белыми пятнами, не утрачивая при этом воинственной тональности.

«Россия вступает теперь в новый период своей истории. Она окончательно вырвалась из пут австро-германской политики и перешла на широкую дорогу самостоятельного культурного развития в союзе с двумя передовыми государствами европейского запада — Франциею и Англиею».

В «Биржевых ведомостях» печатаются заметки «К выселению германских и австрийских подданных» (из Петрограда), сообщения о боях в горах Кавказа и пророчится грядущее «Освобождение Гроба Господня».

И рядом публикуется сообщение под заглавием «Старообрядцы и война». Приводятся слова епископа Нижегородского Иннокентия: «Я очень рад, что в настоящее исключительное время старообрядцам, как мирным прихожанам, так и воинам, удалось с полной очевидностью доказать свою горячую приверженность родине. Всем известно, что в наших казачьих войсках, особенно Донском и Терском, процент старообрядчества весьма велик. Если мы это сопоставим с известными фактами удивительного героизма казаков, то сделаются понятными та гордость и то нравственное удовлетворение, которое испытывали в настоящее время мы, старообрядцы.

Сколько именно старообрядцев находится сейчас в армии в нижних и офицерских чинах, сказать очень трудно, хотя бы потому, что нам в точности неизвестно и самое число старообрядцев вообще. Но несомненно, что число старообрядцев в армии весьма значительно».

Фёдор Мельников в заметке «Старообрядцы и война», опубликованной 4 февраля 1915 года, писал, что «австрийские старообрядцы с самого начала явно встали на сторону России и оказывали всяческое содействие русской армии в Буковине. Как

сообщают буковинские старообрядцы в Москву, австрийские военные власти многих из них расстреляли и повесили, многие томятся в австрийских тюрьмах. Часть буковинских старообрядцев успела бежать в Россию ещё с первых дней войны».

А за месяц до этого появился один парадоксальный документ — «Приказ о хиромантах»: «9 января петроградский градоначальник предложил приставам столицы обязать подпискою всех хиромантов-гадальщиков и предсказателей обоего пола о немедленном прекращении ими их деятельности». В случае отказа неподчинившимся грозило выселение из столицы.

Но предсказатели печатались в тех же «Биржевых ведомостях». 24 октября некто И. Филоматов опубликовал статью под заглавием «В свете библейских пророчеств»: «В 1933 году… должен установиться на земле тот новый порядок вещей, то новое идеальное состояние человечества, о наступлении которого веками мечтали и молились люди, и ныне, во всех концах нашей многогрешной земли с горячею верою повторяющие слова Господни: „Да приидет Царствие Твое“.

Около 1923 года должны мы ждать начало неслыханно-грандиозного революционного движения, которое из Италии перекинется на остальные страны европейского запада, следствием чего будет коренное переустройство Европы на новых социально-политических началах… Рим будет разграблен революционерами, произойдёт повсеместный разгром папской церковной организации (?). Наконец, на человечество обрушатся ещё бедствия, вероятно, экономического характера в связи с предстоящей „переоценкой всех ценностей“…»

В 1915 году ни о Муссолини, ни о Гитлере и слыхом никто не слыхивал. И предположить не мог грядущего биржевого обвала и Великой депрессии конца 1920-х годов… И волей-неволей встаёт вопрос: пророчество это было или некий опознавательный знак «своим»?

Шестнадцатого октября Леонид Андреев печатает своего рода прокламацию под заголовком: «Надо!» «…Надо, чтобы все монастыри и монастырские здания были обращены под лазареты и квартиры для беженцев, монахи в братьев милосердия и санитаров, монахи в санитарок, деньги же монастырей употребить на дело войны. (Уж не вспомнили ли большевики семь лет спустя этот воинственный призыв, грабя монастыри под предлогом „спасения голодающих Поволжья“? — *С. К.)*

Надо, чтобы все грабители России, торговцы, прячущие товар и повышающие цены, спекулирующие банковские дельцы и всякие спекулянты и синдикатчики подвергались беспощадным наказаниям, — от арестантских рот до каторги, причём место и

содержание своё на каторге и в арестантских они должны оплачивать сами по таксе перворазрядной гостиницы. В наиболее важных случаях необходима полная или частичная конфискация их имущества, в более лёгких случаях виновные должны быть обращаемы на принудительные работы по метению улиц, ассенизации и грузов.

(И это было исполнено в 1917–1918 годах. — *С. К.)*

Надо, чтобы были закрыты все кафешантаны, оперетка и театры фарсового характера, служащие грабителям в утешение и на потеху…

Надо, чтобы был закрыт тотализатор и бега, тайные и явные картёжные клубы, разоряющие бедняков, грабителям же — служащие на утешение и потеху.

Надо, чтобы подвергались беспощадным наказаниям рестораторы, тайно торгующие водкой, вином и шампанским, служащим на утешение и радость грабителей.

Надо закрыть все дома терпимости и дома свиданий, а если сие невозможно, то ограничить число их и, во избежание толкотни и давки, установить для желающих очередь на улице, как ныне для покупающих сахар и дрова. Надзор за этим делом можно поручить порнографам обоего пола, чтобы, таким образом, дав заработок, очистить и литературу.

Надо помнить, что в то время, как на войне гибнут сотни тысяч и миллионы наших близких, родных и братьев, а здесь бедствуют их семьи и умирают дети, тысячи грабителей на их крови и слезах нагуливают себе жир, богатеют, распутничают, устраивают позорный пир у изголовья умирающей, может быть, России…»

Всё, чего требовал Андреев, — всё исполнили большевики после 1917 года. Только самому Андрееву наступившая жизнь чрезвычайно не пришлась по душе, и он умер в отъединившейся Финляндии, где жил все последние годы, умер в неутихающей, неиссякаемой ненависти к Советской России.

А тогда — он отчётливо представлял себе реакцию на свои призывы: «Я знаю, что высказанные мною пожелания и предложенные меры, помимо их крайней неполноты, ещё и утопичны. В негодяях они вызовут только улыбку и насмешливый жест: „На-ка, выкуси!“, а в добрых и любящих родину лишь повысят чувство раздражения. Кому из любящих родину неизвестно всё это? Кто этого не хочет? Но если мы сделать не можем, то пусть говорится громко о том, *что* мы хотели бы сделать. Будем раздражаться, если другого нет и не будет!»

…Клюев лишь считаные разы возвращается к прежним «былинным», богатырским образам, когда его богатырь, «восстав

за сирых братов», готов и в белградской «гридне» пить свадебную брагу, и «дружку-Прагу» дарить рушником, да в предвестии богатырских гробов, что «кроет ковыльная новь», слушает голоса, доносящиеся из-под сводов старых курганов, ибо «Муромцы, Дюки, Потоки Русь и поныне блюдут…».

«За друга своя!» — эта печать неизгладимо лежит на стихах, написанных Клюевым в начале войны. Только проходит время — и в свои права вступает переживание народной трагедии, когда поэт видит войну глазами народа — народа убиваемого, глазами земли — земли, остающейся без хозяина, глазами природы — природы, плачущей по ушедшим в небесное воинство.

Изба печалится и криком кричит: «„Воротись“, — вопю доможирщику, своему ль избяному хозяину… Видно, утушке горькой — хозяюшке вековать приведётся без селезня…» И «дорога-путинушка дальняя» вещает, как по ней «проходили солдатушки с громобойными лютыми пушками», с боевыми песнями, с зароками великими «постоять… за мирскую Микулову пахоту», в то время как «стороною же, рыси лукавее, хоронясь за бугры да валежины, кралась смерть, отмечая на хартии, как ярыга, досрочных покойников…».

Старый русский словарь, бытовавший и бытующий на Севере, настоенный на древних корнях, Клюеву — как заветный круг, которым он огораживает себя и свой мир от проникновения чуждого духа, идущего от мира «царя железного»… Поэту не было нужды, в отличие от многих его современников, искать нужное слово у Даля или у кого-либо ещё из собирателей и исследователей народной речи. Он жил в этой языковой стихии сызмальства и с избой, елью, лесной тропой — изначально живыми для него — общался на родном им и ему языке. На нём и писался самый, пожалуй, красочный и монументально выстроенный, как русская изба — колено в колено, — насыщенный плотно уложенными смыслами поэтический сказ его военного времени — «Беседный наигрыш, стих дописный».

Он появился в «Ежемесячном журнале» — лучшем журнале того времени — лишь в конце года без каких-либо подстрочных примечаний вместе со стихотворением «Что ты, нивушка, чернёшенька», носившим тогда название «Мирская дума».

Глава 9
ЖЕЛЕЗО И ВЕРБА

«Его же в павечернее междучасие пети подобает, с малым погрецом ногтевым и суставным» — таков эпиграф из «Отпуска» к «Беседному наигрышу», указание на балалаечный аккомпанемент, долженствующий сопровождать исполнение. Только сама по себе внутренняя былинная музыка, преодолевающая собственную тяжкую поступь, делает лишним всякое дополнительное музыкальное сопровождение. Мнится — гудит, поёт сама подспудная, поддонная сила мироздания, разбуженная, приведённая в движение злой человечьей волей.

«Железное царство», народившееся «по рожденьи Пречистого Спаса, в житие премудрыя Планиды, а в успенье Поддубного старца» — грозит сокрушить всё мироздание, созданное Божественной волей… На 1 августа 1914 года — день вступления России в войну — пришлось поминовение Всемилостивого Спаса и Пресвятыя Богородицы Марии. Этот же день — день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Старец Степан Поддубный, чьё успение приходится на этот же день, — неведомый за пределами посвящённого круга человек, знаемый олонецкими скрытниками, слова которого передавались, судя по всему, изустно, а не на письме, скрытниками, которых обозначил Клюев в эпиграфе… Западная железная рать во главе «со Вильгельмищем, царищем поганым» вступает с Русью крещёной в духовную и ратную брань, сила, идущая с железного Запада, не знает пощады живому миру, о чём и «глаголет» железный Царь:

Ожелезил землю я и воды,
Полонил огонь и пар шипучий,
Ветер, свет колодниками сделал,
Ныне ж я, как куропоть в ловушку,
Светел Месяц с Солнышком поймаю:
Будет Месяц, как петух на жёрдке,
На острожном тыне перья чистить,
Брезжить зобом в каменные норы
И блюсти дозоры неусыпно!
Солнцу ж я за спесь, за непокорство
С ног разую красные бахилы,
Жёлтый волос, ус лихой косатый
Остригу на войлок шерстобитам…

Месяц перестанет быть месяцем, солнце — солнцем, мироздание опрокинется в первозданный хаос… Кажется, Клюев пишет не об идущей войне, а прозревает войну грядущую, ещё не начавшуюся, но уже подступающую к человеческому порогу и грозящую подлинным апокалипсисом… Вспоминается духовный стих «Перед вторым пришествием Христа», где роду человеческому обещан антихристом страшный конец: «Сотворю вам небу медную, землю железную: от неба медного росы не воздам, от земли железной плода не дарую, поморю вас гладом на земле…» Угроза «царища поганого» — попущение по грехам человека, забывшего крепость старой веры, ослабевшего перед соблазнами, отринувшего благодать чистого духа. Так вещал духовный стих «Воспоминание преболезненное об злоблении кафоликов»:

По грехом нашим на нашу страну
Попусти Господь такову беду:
Облак тёмный всюду осени,
Небо и воздух мраком потемни;
Солнце в небес искры своя лучи,
И луна в нощи светлость потемни,
Но звёзды вся потемнища зрак,
И звезды свет преложися в мрак.

Но и это не все вожделения клюевского «Вильгельмища». Он намерен «выжать рожь на черниговских пашнях, Волгу-матку разлить по бутылям…». Это покушение уже не на природное достояние — на сакральные исторические узлы, если вспомнить Михаила Черниговского. Дальше — больше: «А с Москвы — боярыни вальяжной — поснимать соболью пятишовку, выплесть с кос подбрусник златотканый, осыпные перстни с ручек сбросить. Напоследки ж мощи Маккавея истолочь в чугунной полуступе… А попов, игуменов московских положить под мяло, под трепало…» И снова поражаешься зловещему предвидению поэта.

Былинный стих Клюева начинает обретать вселенский размах, повествование выходит за пределы милой опушки, родного бора, деревни-матери… Оживают древние природные стихии и их покровители — христианское время наплывает на языческое — мифологические существа оживают, разбуженные железной поступью.

Ото сна, при приближении супостата, будит Русь Паскарага — лесная сорока (ни природным стихиям, ни переменам времени не добудиться до неё…). Сорока преображается ангельской птицей, а в таинственной чаще, в утробной глуши заповедной

Руси становится виден и русский леший, преображённый и наделённый силой славянской Мары и восточно-славянской Макоши, следящий за людьми, — и финский лесной дух, которого ещё называли Лембо или Лемпо, покровитель лесного мира… Люди и звери, духи и святые поднимаются встречь врагу, что «не парится в парной паруше» — и этот «вселенский пар» устраивает ему старичище «по прозванью Сто Племён в Едином», что «с полатей зорькою воззрился», чем и Илью Муромца напомнил, и вызвал к новой жизни прежние поколения всех «ста племён» в единой Руси великой.

Черпанул старик воды из Камы,
Черпанул с Онеги ледовитой,
И, дополнив ковш водой из Дона,
Три реки на каменку опружил.
Зашипели угорские плиты,
Взмыли пар уральские граниты,
Валуны Валдая, волжский щебень
Навострили зубья, словно гребень…

«Что же дальше?» — неизбежно встаёт вопрос. А что дальше — то не в ведении ни сказителя, ни тех, чьи голоса он слышит поныне.

А на спрос «откуль» да «что в последки»
Нам програет Кува — красный ворон;
Он гнездищем с Громом поменялся,
Чтоб снести яйцо — мужичью долю.

Яйцо — начало всех начал, зародыш жизни. Новое время и новая земля — послеапокалиптические — будут ожидать рождения нового мужика… Клюев во время своих путешествий по Северу наверняка доходил на Сейдозера в Русской Лапландии, видел и лопарские святилища, и таинственную фигуру с крестообразно раскинутыми руками, изображённую на скале. Он слышал саамскую легенду о Куйве, пришедшем на лопарские земли — истребить добрый и мирный народ, но обращённом шаманом в тень, отпечатавшуюся на скале… Только почти через десять лет Александр Барченко, искатель древней Гипербореи, делившийся своими открытиями с мистиками из ГПУ, отправится в экспедицию на Север и поведает о своих открытиях «культур, относящихся к периоду древнейшему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации»…

«Беседный наигрыш, стих добропи́сный» стал одним из любимых клюевских сказов для публичного исполнения, причём даже зрители, практически совершенно незнакомые с северным наречием, положенным в основу словесного строительства, не могли сдержать своего восхищения плотной, тягучей, многоступенчатой образностью, таившей, как в системе колодцев, поддонный смысл. Были, конечно, и такие, кто в недоумении морщился или пожимал плечами, проговаривая про себя неизменное; «стилизация»… Да и поныне разделяющим «учёное понятие о том, что писатель-певец дурно делает и обнаруживает гадкий вкус, если называет предметы языком своей местности, т. е. всё-таки языком народным» (как писал Клюев Миролюбову), «Беседный наигрыш» покажется «неедучей солодягой без прихлёбки». Особенно теперь — в эпоху господства телевизионного жаргона и практически повсеместной потери самих основ народного языка.

* * *

В конце 1914 года Клюев писал Миролюбову о ноябрьском номере «Ежемесячного журнала»: «Как он радует меня, Ваш журнал! Какие чудесные вещи у Гребенщикова! А я вот всё не могу написать Вам рассказа, хотя и копошится в голове кой-что, но так много уходит ясных, свежительных дней на чёрный труд, что немного остаётся времени на писанье стихов, к которым есть любовь… Вскоре пришлю Вам „Избяные песни“. А. Ширяевец — мой знакомец и, по-моему, подвига<е>тся вперёд. Душа-то у его хорошая, он молоденький и собой пригожий, а это тоже хорошая примета. От всего сердца желаю Вам здравия и успеха. Нельзя ли мне написать адрес Гребенщикова, так тянет поговорить с ним — милым и таким могучим…»

«Ежемесячный журнал» Миролюбова — чтение поистине восхитительное. Широкая панорама бытия русского крестьянина, отображённая в «Письмах из деревни», сочеталась с глубокими и основательными исследованиями религиозной жизни, включающими добросовестные описания различных сект, в том числе христовских и скопческих. Печатались и философские труды ярких и самобытных авторов, преимущественно почвеннического направления. И поэзия, и проза в журнале были на очень высоком уровне, до которого было тянуться и тянуться последующим ежемесячникам, не говоря уже о журналах того десятилетия.

Творения Александра Блока, Николая Клюева, Георгия

Гребенщикова печатались в журнале рядом с творениями Алексея Ремизова, Михаила Пришвина, с русским переводом «Теней забытых предков» Михаила Коцюбинского, но Клюев не случайно выделил прозу Гребенщикова.

Они поговорят вскоре, когда встретятся у Евгения Замятина, к которому Клюев придёт вместе с Есениным, и Гребенщикова поразят клюевский внешний вид и манера чтения стихов: «Его моржовые усы полузакрывали широко открытый рот, он закрывал глаза, и голос его чеканил удивительный узор из образов и слов северного эпоса. Это был баян, сказитель, слепой калика перехожий».

«Певун-размыка-чародей» — так назвал Гребенщиков свою небольшую статью о Клюеве, отметая всяческие упрёки поэту в «стилизации» и «ученичестве у символистов»: «Заглавными словами моей статьи именую Николая Клюева, поэзию которого я назвал бы светлым, мудрым бдением Богу, природе и Руси. Весьма прославленный русский поэт Валерий Брюсов в примечании к одной из книжек Клюева пишет: „У Клюева нет стихов мёртвых, каких так много у современных стихотворцев, ловко умеющих придавать своим созданиям внешнюю красивость, — увы, — напоминающую красоту трупа…“ Этой тирадой, особенно второй её частью г. Брюсов попал не в бровь, а в глаз не только многим современным стихотворцам, но как раз и самому себе… Более мёртвой поэзии, чем поэзия Брюсова, трудно найти. И действительно, не только Брюсов, но и Бунин, и Блок, и Бальмонт часто создают изумительно изящные, но холодные и бездушные изваяния своей музы. И виноваты в этом не столько сами поэты — яркие созвездия русской поэзии под буквой „Б“, сколько современный город, покоривший их и оградивший полёт их духа каменными стенами.

Тем радостнее наш привет пришельцу из просторов полей и лесов Олонецкой губернии, простому пахарю и мужику с „огнекрылою душою“ и „просветлённым взором“ — Николаю Клюеву, который так долго скитался во тьме и нищете, так долго и мучительно сомневался в своих силах и призвании… Поэзия Клюева — нечаянная радость для издёрганного, переутомлённого русского читателя. Песни Клюева благоухают ароматом неувядших полевых цветов, ладаном, искуряемым соснами и елями, они озарены пурпуром предрассветных зорь, обвеяны освежающей прохладой… Стихи Николая Клюева местами не гладки, даже грубоваты. Он нередко злоупотребляет игрою оригинальных слов, но это силы их, прелести, не умаляет. Они, как снопы свежесжатых колосьев, на которых сладко отдыхает утомлённый пахарь, ожидая ранней зорьки для того, чтобы снова

жать, не разгибая спины. Песни Клюева — чистый воздух для читателя, отравленного и оскорблённого „футуристическими“ кривляньями нашего времени…»

…Клюев читал рассказы Гребенщикова из деревенской жизни, публикуемые Миролюбовым: «Змей Горыныч», «Лесные короли»… Герой последнего рассказа, лесничий Михаил Григорьевич, «чувствовал какую-то отеческую нежность к каждому деревцу, ко всякому ручью, дорожке, камешку, как будто всё это были его давнишние и младшие друзья, которых надо заботливо любить и охранять». Клюев, ценивший любую зримую, вещную, художественно выверенную деталь, наслаждался умением Гребенщикова выписать портрет героя, который «одевался просто, в бобриковую верблюжью тужурку, в высокие, простые сапоги, в шапку-ушанку без кокарды. Большого роста, плотный, с полуседой подстриженной бородкой, он походил бы на прасола, торгующего лошадьми, если бы не носил золотых очков и не обладал певучим, мягким, барским голосом»; а его зазноба Зеновея, жена богача Антропа, восхищала по-своему; «…Он увидел красивое, открытое лицо, смугло-матовую и высокую, обвитую янтарями шею и пышные, крутые плечи, не прикрытые ничем…» Николай и Ширяевцу напишет по поводу его стихов в «Ежемесячном журнале»: «Твоей муке я радуюсь — она созидающая, Ванька-Ключник сидит в тебе крепко, и если он настоящий, то ты далеко пойдёшь. Конечно, окромя слов „боярин, молодушка, не замай, засонюшка“ необходимо видеть, какие пуговицы были у Ванькиной однорядки, каков он был передом, волосаты ли у него грудь и ляжки, были ль ямочки на щеках и мочил ли он языком губы или сохли они, когда он любезничал с княгиней? Каким стёгом был стёган слёзный ручной платочек у самой княгини и употреблялись ли гвозди при постройке двух столбов с перекладиной? И много, страшно много нужно увидеть певцу старины…»

Этот обиход, явленный в красоте каждой детали, этот вид русского человека, каждая природная черта тела и одеяния которого прекрасна сама по себе и вкупе с другими чертами и деталями составляет целую смысловую симфонию, «красно украшенную», жилище, находящееся на средостении земного и небесного миров, вмещающее в себя всё тепло природного, человечьего и неземного, освящаемое Божьим словом и прикосновением, — всё это сейчас служит Клюеву в апокалиптическое время — крепостью, обороной, заветным кладом, который не достанется железному ворогу, вступившему на Русь извне и поднявшемуся изнутри… «Присылаю тебе вид одного из погостов Олонии, — писал Клюев Ширяевцу поздней

осенью 1914 года. — Неизъяснимым очарованием веет от этой двадцатичетырёхглавой церкви времён Ивана Грозного (официально считается, что Покровская церковь в селе Анхимове, о которой идёт речь, была построена в 1708 году, но Клюев знал о ней, очевидно, больше, чем историки церковной архитектуры. При первоначальной постройке она имела 25 глав, но при дальнейшей перестройке стала 21, а позднее — 17-й главой — и была сожжена в 1963-м, во время очередной лютой войны с православием. — *С. К.)*… Всмотрись, милый, хорошенько в этот погост, он много даёт моей душе, ещё лучше он внутри, а около половины марта на зорях — кажется сказкой… Сегодня такая заря сизопёрая смотрит на эти строки, а заяц под окном щиплет сено в стогу. О матерь пустыня! рай душевный, рай мысленный! Как ненавистен и чёрен кажется весь так называемый Цивилизованный мир, и что бы дал, какой бы крест, какую бы голгофу понёс, чтобы Америка не надвигалась на сизопёрую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку…»

Мысли Клюева противоречили мыслям одних и совпадали с мыслями других — немногих умнейших людей той эпохи. Николай Бердяев в статье «Дух и машина», опубликованной в «Биржевых ведомостях», утверждал: «…Та точка зрения, которую я хочу защитить, может быть названа „духовным марксизмом“… Славянофилы, так дорожившие примитивным и отсталым русским материальным бытом и с ним связывавшие высоту нашего духа, в сущности, держали дух в рабской зависимости от материи. Уничтожение сельской общины и патриархального бытового уклада представлялось им страшным бедствием для русского духа и его судьбы… Реакционеры-романтики, в тоске и страхе держащиеся за отходящую, разлагающуюся старую органичность, боязливые в отношении к неотвратимым процессам жизни, не хотят пройти через жертву, не способны к отречению от устойчивой и уютной жизни в плоти, страшатся неизведанного грядущего… Нельзя смешивать своего творческого прозрения красоты с её естественным порядком. Природно-органическое не есть ещё ценное, не есть то высшее, что нужно охранять… Только тот достигает свободы духа, кто покупает её дорогой ценой бесстрашного и страдальческого развития, мукой прохождения через дробление и расщепление организма, который казался вечным и таким уютно-отрадным. В старый рай под старый дуб нет возврата… Русское сознание должно отречься от славянофильского и народнического утопизма и мужественно перейти к сложному развитию и к машине…»

Бердяев безбожно исказил смысл учения славянофилов (ни о какой «архаизации» жизни и речи нет в их трудах, и тот же

Хомяков в своих размышлениях об энергетике, о «прямых» и «возвратных» силах предвосхищал в том числе и современную ракетную технику). Они стремились к тому, чтобы самобытное содержание русской жизни, воплощённое в жизни допетровской и — даже — домонгольской Руси, органически вошло в формы современной жизни. Дело в том, что эта «марксистская» идея разъятия духа и плоти, духа и материи, «трансгуманизм», позже приведший к тому, что человек может всё — вплоть до изменения положения гор и океанов, поворота рек и вообще «переустройства» по своему усмотрению всей живой природы, что он может и то, что «недоступно» Господу Богу (позже эту мысль недвусмысленно сформулирует другой марксист — Лев Троцкий) — приведёт к идее замены живого человека — Божьего создания — его механико-автоматическим подобием… Философ Владимир Эрн — один из создателей «Христианского братства борьбы» и член имяславческого кружка — свою знаменитую речь «От Канта к Круппу», произнесённую в том же 1915 году, заключал недвусмысленным утверждением: «Время славянофильствует в том смысле, что русская идея всечеловечности загорается небывалым светом над потоком всемирных событий, что тайный смысл величайших разоблачений и откровений, принесённых ураганом войны, находится в поразительном созвучии и в совершенном ритмическом единстве с всечеловеческими предчувствиями славянофилов».

«В гробе утихомирится Крупп, / и, стеня, издохнет машина; / Из космических косных скорлуп / забрезжит лицо Исполина…» — так отзовется позже Клюев на эту полемику времен Первой мировой войны. И Америка не случайно появляется впервые у Клюева именно в это время — с началом всеевропейской бойни, в предчувствии грядущего апокалипсиса. В «Ежемесячном журнале» он внимательно читал корреспонденции Станислава Вольского «Из Америки» — и приходил в ужас от описания этого расчеловеченного мира, лишённого сердечного тепла и Божьей благодати.

«Чёрными лентами опоясывают улицу несчётные автомобили и воют, шипят, фыркают, как пугливые кони, давят посторонних, рвутся вперёд в бешеном, никогда не останавливающемся беге. Бегут, толкаясь локтями, подростки с кипами газет и надорванными голосами выкрикивают самое сенсационное, самое новое, самое невероятное событие последнего часа. Того, что случилось вчера, не помнит никто… Те, кто убиты, изнасилованы и расстреляны вчера, забыты ради тех, кого успели убить и изнасиловать сегодня ночью. Мысль не ищет объяснений, не спрашивает „зачем“, не доискивается причин. Ей некогда. Она

занята планами и спекуляциями, связанными вот с этими домами, с этими трамваями, с этими конторами, банками и лавками. А если спекулировать нечем — остаётся забота о хлебе насущном, о том, чтобы приискать более выгодную работу и скорее, как можно скорее пролезть в люди и приобщиться к сонму тех счастливых, что завтракают с часами, с хронометрами в руках и потные, красные ураганом носятся по кулуарам биржи… И подобно тому, как этажи лезут на этажи и поезда проносятся над поездами — так и газетные пустяки, анекдоты, рекламы и подлинные события громоздятся друг за другом, слипаются в один неразличимый ком… Читатель глотает их наскоро, как предобеденных устриц. И кажется ему, что за тысячу миль от него, в далёкой Европе, да по-видимому и вообще на пространстве всей вселенной, всё свершается так же хаотично, бессмысленно, дико, как в этом городе-гиганте, в этом царстве небоскрёбов, грохочущих поездов, хриплых криков, безумных скачков от нищеты к миллионному дворцу и от миллионного дворца к ночлежке…»

Чем более страха и тревоги за свой родимый мир на душе — с тем большим тщанием этот мир выстраивается, тем более живописными цветами наделяется, а пристальный глаз поэта и духовидца усматривает незримую для других жизнь в домашнем обиходе… Этот мир исподволь раскрывался в клюевских стихах на протяжении двух лет, чтобы, наконец, предстать перед смущённым и восхищённым читателем во всей красе — в стихах, объединённых позднее в цикл «Избяные песни», что будут посвящены памяти любимой матери.

* * *

Первые стихи цикла, относящиеся к 1914 году, насыщены приметами: «Если полоз скрипит, конь ушами прядёт — / будет в торге урон и в кисе недочёт. / Если прыскает конь и зачешется нос — / у зазнобы рукав полиняет от слёз… / Дятел угол долбит — загорится изба, / доведёт до разбоя детину гульба… / При запалке ружья в уши кинется шум — / не выглаживай лыж, будешь лешему кум…» Все приметы известны спокон веков — им внимали далёкие предки, ещё не молившиеся Христу. Лишь Божья благодать — надёжный защитник, как «Сон пресвятой богоматери Девы Марии», который крестьяне зарывали под порогом избы.

Семь примет к мертвецу, но про них не теперь, —

У лесного жилья зааминена дверь,
Под порогом зарыт «Богородицын Сон», —
От беды-худобы нас помилует он.

…Раздвигаются стены избы, где слышны «запечных бесенят хихиканье и пляска» и шёпот заплаканного горшка с таганом, горюющих, «что умерла хозяйка», — и словно райское видение, предстаёт перед нами староверческое село, больше напоминающее град Китеж, где моленная выстроена по апокрифическим сказаниям и где ожидается воскресение ранее усопших и пришествие Христа во исполнение молитв — где тропарь, поющийся на утрене в первые три дня Страстной седмицы, и стихира, поющаяся в Великий пяток, органически сплавлены с огненным пророчеством Иоанна Богослова и словом о сошествии Христа во ад.

Озёрная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:

«Сладчайшего Гостя готовьтесь принять!
Грядет Он в ночи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень, как дед…»
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глуби уходит столбом
До сердца земного, где праотцев дом.

Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов:
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что попрана Бездна и Ада ключи.

Древнее староверческое сказание об Ионе, что осенил себя двуперстием и был исторгнут из китовьего чрева, и световые столбы, уходящие в водные глуби, оставляя на поверхности таинственные круги, — приметы мира, познать который можно лишь храня телесную чистоту и обладая разумом убелённого сединами старца… А пришествие пречудного святителя предваряет явление Иоанна Крестителя, что «с чашей крестильной и голубь над ним…». И журавли несут материнскую душу туда,

Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселём, словно кипень, белы, —
Там Митрий Солунский с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель Иван с ендовы расписной
Их поит живой иорданской водой!..

Это стихотворение, что начинается с прихода четырёх вдовиц для свершения скорбного обряда, выстроено по «принципу радуги», когда действие начинается в избе во время положения родительницы на скамью, затем, в такт звуковой природной симфонии, переносится в небесные выси, куда материнскую душу уносит журавлиный клин, и снова возвращается на землю, но уже не в избу — а в закат-золотарь, в «сутёмки, зарянку и внучку-звезду», что сопровождают прах любимой матушки в последний путь. И вспоминается похоронное причитание о том, как «душа да с белым телом расставалася, быв как облако, она да подымалася». И успокоительные слова собравшихся на провожание: «Мы здесь-то в гостях гостим, а там житьё вечное бесконечно будет».

«Избяные песни» — песни, что поёт сама изба. И одновременно с ними рождаются стихи, в которых изба начинает петь, светиться, играть всей радугой в минуты своего «рожества», когда любая деталь, выходящая из-под топора «крепкогрудого плотника», начинает жить поначалу своей жизнью, а в процессе дальнейшего «древоделия» подчиняется общему замыслу, в соответствии с которым перед нашими глазами встаёт не дом, а вселенское чудо, живая краса, что будет вечным спутником и оберегом счастливого насельника.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сон мерещились — легки.
Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа как письмена:
Запоёт резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

Изба помнит и хранит всё, и даром, что «время, как шашель, в углу и за печкой / дерево жизни буравит, сосёт…». Древние Парки тянули жизни нить и обрезали её в урочный час — и в этом прикосновении лезвия к нити было мгновенное веление

неумолимого рока. У Клюева Судьба также отмеряет свой срок всему живому, но её лик — лик древней старухи, хранящей заветы тысячелетий, — и в её нити и игле не только начало и конец срока, но начало перехода в вечное и немое сказание вечности, разлитое в воздухе, напояющем русское село.

Это «вечное» стучится в каждую клетку тела поэта, отзывается сладкой и мучительной болью в каждом нерве, нагружает мозг непосильными думами, когда мысли о близкой смерти всё чаще начинают посещать его: «Вы, деньки мои, голуби белые, / а часы — запоздалые зяблики, / вы почто отлетать собираетесь, / оставляете сад мой пустынею?.. / Аль иссякла криница сердечная, / али веры ограда разрушилась, / али сам я — садовник испытанный — / не возмог прикормить вас молитвою?..» Он сам ткёт своё «вечное», в котором природа уже не храм, где молится человек Богу, где «мнится папертью бора опушка». Там, где «сосны молились, ладан куря» — уже всё мироздание отправляет свою молитву, готовясь к отплытию… «Дрозд запел „Блажен муж“ и „Кресту Твоему“… / Утомилась осина вязать бахрому. / В луже крестит себя обливанец-бекас…» И сам поэт, кающийся в том, что «неудачен мой путь, тяжек мысленный воз», готов отправиться в вечное плавание вслед за матушкой в те небесные края, что предвещаны отцом Аввакумом в его великом «Житии».

Там, под Дубом Покоя, накрыты столы,
Пиво жизни в сулеях, и гости светлы —
Три пришельца, три солнца, и я — Авраам,
Словно ива ручью, внемлю росным словам:
«Родишь сына-звезду, алый песенный сад,
Где не властны забвенье и дней листопад,
Где берёза серьгою и лапою ель
Тиховейно колышут мечты колыбель».

Весь животный и растительный мир, уже покинувший своё «животное» и «растительное» состояние, принявший крещение и осенённый Божьей Благодатью, становится учителем и наставником «кудрявого мальца», для которого время в этом мире ступает семимильными шагами — и он оглянуться не успевает, как сам готов стать «тятькой», отягощённым знанием, полученным в открытой ему природной «книге»:

Пот трудолюбца июля,
Сказку кряжистой избы —
Всё начертала косуля
В книге народной судьбы.

Этот мир стоит на пороге уничтожения человеком — человеком с железной поступью, с железной хваткой, железными мыслями, посланцем железа… И Клюев, с благоговением входящий в лесную чащу, заклинает её словом любви — её, уже страшащуюся человечьей поступи.

Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая, лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потёмки дупел, синь живая!

Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам берёзы седовласой…

Он, неслышными шагами вступающий в пущу-матерь, слышит шаги иного пришельца, от поступи которого всё живое стремится затаиться в глухой, недоступной человеку чаще.

Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым «молчи»,
У креста простодушною данью
Не поставил сладимой свечи.
……
Заломила черёмуха руки,
К норке путает след горностай…
Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай.

* * *

«Я никогда не был в Олонецкой губернии, — писал „сын железа и каменной скуки“ Маяковский в одной из своих статей начала войны, — но я достоверно знаю — сегодня её пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки… Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит повешенных… Можно не писать о войне, но надо писать войною!»

Олонецкая губерния (а назвать можно было в этом контексте

абсолютно любую) появилась здесь в прямой связи с Клюевым, стихи которого и в «Сатириконе», и в «Ежемесячном журнале», и в «Биржевых ведомостях» Маяковский внимательно читал и, естественно, отвергая чуждый себе словарь и чуждую себе поэтику («возненавидел сразу — всё древнее, всё церковное и всё славянское», — как позже сам признавался в автобиографии «Я сам»), в полемическом задоре не мог не отметить (через упоминание Олонии) изменение пейзажа в самой клюевской поэзии… Пройти мимо Клюева не мог уже никто из пишущих и размышляющих о поэтах в связи с началом войны.

Николай жил в это время в деревне Рубцово, где они с отцом снимали угол, с питерскими литераторами связывался лишь письмами, его стихи постоянно появлялись в периодике, печатались в антологиях «Современные русские лирики» и «Избранные стихи русских поэтов». Их брали в свои сборники и хрестоматии и Городецкий, и Ольга Озаровская, и Анастасия Чеботаревская… Он стал одной из центральных фигур «литературного процесса», а следовательно, предметом полемики, в которой неумеренные подчас похвалы перемежались с уничижением на пределе брани.

Он чувствует в себе сущностный перелом, всё явственнее отражающийся в стихах, в их густой, всё нарастающей в образной красочности фактуре. Тревога и нешуточный страх слышны в его письме Ширяевцу: «Так тяжело себя я чувствую за последнее время, и тяжесть эта особеная, испепеляющая, схожая со смертью: не до стихов мне и не до писем, хотя и таких дорогих, как твои. Измена жизни ради искусства не остаётся без возмездия. Каждое новое произведение — кусочек оторванного живого тела. И лжёт тот, кто зовёт книгу детищем. Железный громыхающий демон, а не богиня-муза — помога поэтам. Кто не молится демону, тот не поэт. И сладко, и вместе нестерпимо тяжело сознавать себя демонопоклонником…» В устах любого из символистов или акмеистов это прозвучало бы если не как сущее пижонство, то, во всяком случае, как нечто играющее на «литературную» гордыню… Для Клюева же с его сверхчувственным опытом подобные размышления поистине чреваты подлинной трагедией.

«Человеки делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом, — писал епископ Игнатий Брянчанинов. — Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел и чего не видят другие, — слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и других; для неиспытавших — оно

странно и непонятно… Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как то предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий…»

Клюев имел подобный опыт, и он достаточно скоро воплотится в его стихах, где появится «полуденный бес, как тюлень», что «на отмели греет оплечья», где бесы, воочию видимые им, «за ладьею-акулой прожорливым спрутом живут», а «за брашном, за нищенским кусом рогатые тени встают…». Поэта окружат «каменные небеса и сталактитовые люди», «тени-слепцы» придут из адских глубин дабы повести «душу дорогою длинной»… И взмолится Николай: «Господи, хоть раз бы довелось видеть лик Твой, а не звёздный коготь!», и из небесных глубин выйдут «лики да очи», как предвестие времен, когда «Творец в Голубиную книгу запишет: бысть воды и мрак»… Эти стихи Клюев не отдаст ни в один журнал и ни в одну газету — слишком предсказуема реакция тогдашней «литературной публики», не для неё стихи, воплотившие видения, смысл которых способен разгадать лишь сам «потомок лапландского князя»… Но скоро, скоро рядом с ним появится совсем юноша — его надежда и упование, его собрат и духовный «супруг»… А пока Николай, впитывая каждое слово, читал письмо от незнакомца, полученное из Санкт-Петербурга, уже переименованного в Петроград:

«Дорогой Николай Алексеевич!

Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своём рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли „Сев<ерные> зап<иски>“, „Рус<ская> мыс<ль>“, „Ежемес<ячный> жур<нал>“ и др. А в „Голосе жизни“ есть обо мне статья Гиппиус под псевдонимом Роман Аренский, где упоминаетесь и Вы. Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь „через быструю реченьку, через тёмненький лесок не доходит голосок“. Если Вы прочитаете мои стихи, черканите мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу „Радуница“. В „Красе“ я тоже буду. Мне очень жаль, что я на этой открытке ничего не могу ещё сказать. Жму крепко Вашу руку. Рязанская губ. Рязан. у., Кузьминское почт. отд., село Константиново, Есенину Сергею Александровичу».

И на обороте: «Мариинское почт. отд. Олонецкой губ.

Вытегорского уезда, Николаю Алексеевичу Клюеву».

Глава 10
«МЕНЯ РАСПУТИНЫМ НАЗВАЛИ…»

Первой книгой Николая, попавшей Есенину в руки, стал «Сосен перезвон», подаренный гражданской женой Анной Изрядновой. Эту книгу Сергей, что называется, «пропахал» от первой до последней строки, при этом отметив крестиками три стихотворения: «В златотканые дни сентября…», «На песню, на сказку рассудок молчит…», «Под вечер» («Я надену чёрную рубаху…»).

Можно без преувеличения сказать, что с этого «знакомства» в есенинской поэзии и совершается коренной перелом. Не сразу, постепенно он избавляется от «надсоновщины», возвращается памятью к родному Константинову и начинает писать стихи, которые потом войдут во все хрестоматии и которые он, составляя своё последнее собрание сочинений, будет датировать тремя-четырьмя годами ранее, чем они действительно написаны — дабы не оставить для читателя ни одного следа своего юношеского неуклюжего «ученичества».

Девятого марта 1915 года юный Есенин приезжает в Петроград и приходит на квартиру к Блоку. От Блока, отметившего «стихи свежие, чистые, голосистые, многословные», получает рекомендательное письмо к Городецкому.

Вот на квартире Городецкого и встретились лицом к лицу Николай Клюев и Сергей Есенин в марте 1915 года, встретились, не видя друг друга.

Встреча получилась безмолвной и мистической. Хозяин квартиры, очарованный «звонким, озорным голосом», открытостью, доверчивостью и талантом юного рязанского поэта, в самом начале знакомства с ним написал его портрет, который поместил на стене неподалёку от нарисованного им ранее портрета Клюева. И Николай, и Сергей произвели на Городецкого настолько неизгладимое впечатление, что он написал их портреты, разделённые тремя годами, ещё в тот период, когда каждый из них только-только входил в литературную жизнь. Восприятие личности каждого из поэтов — диаметрально противоположное. Светловолосый, с приветливо-ласковой улыбкой на нежно-розовом лице, с открытым взглядом Есенин, казалось, одаривал окружающих бесконечной доброй любовью. Это отмечали многие современники. Константин Ляндау вспоминал: «…мне показалось, как будто моё старопетербургское жильё внезапно наполнилось озарёнными солнцем колосьями и

васильками. Светловолосый юноша с открытым взглядом добродушно улыбался, он был скромен, но ни в малейшей степени не скован…» Городецкий нарисовал его, правда, несколько иным, тогда как лик Клюева, изображённый им, сам же назвал «страшным».

В этом слове, произнесённом Городецким уже в середине 1920-х годов — ключ и к его молчанию о Клюеве после первых неуёмных восторгов, и к его «гуканью» на клюевские «Песни из Заонежья» и «Лесные были».

Они были ровесниками, однако к моменту появления Клюева в литературе Городецкий — всеми обласканный и захваленный, в том числе и Блоком, автор «Яри», а Клюев — начинающий «крестьянский» поэт, заслуживший признание и уважение того же Блока, но тот — чья слава ещё впереди. После «Сосен перезвона», «Братских песен», «Лесных былей» он принят в литературных кругах как самобытный, оригинальный, с огромным творческим потенциалом, интереснейший поэт, но во многом чуждый столичной интеллигенции и литературной богеме. В обществе он ведёт себя вполне пристойно, скромно, даже производит впечатление человека излишне тихого.

Чего же в конце концов «испугался» Городецкий? Наверное, того же, что и многие другие, поначалу восхитившиеся им, включая и Александра Блока, и Иону Брихничёва, не говоря уже о «поэтических цеховиках». Необычайная глубина и многомерность клюевского духовного мира.

Дело не только в закономерностях познавательного процесса. В психологии известна так называемая «готовность к восприятию»: если человек находится в состоянии готовности видеть чудовище, то он его и увидит — хотя бы перед его глазами возникла красавица.

Читатели и слушатели Клюева чаще всего готовы были к восприятию народного фольклора, но не имели знаний о глубинной народной культуре. Ощущая подсознательно клюевскую творческую мощь, невольно отвергали не понятое ими. Всё было хорошо и относительно «уютно», пока стихи Клюева воспринимались как своего рода «народное» переложение фольклорных мотивов с «примесью» уже прозвучавшего у «младосимволистов». Но дальнейшее развитие его творчества, новые стихи и «сказы» оказывались им не по зубам. Всё более усложнявшаяся поэтика, нараставшая густая образность свидетельствовали о разработке древнейших пластов, с невиданной силой и уверенностью вводимых в современную поэзию. Не ощутить эту могучую творческую стихию было невозможно — настолько она была отлична от слышанного и

виденного ранее и, самое главное, — входила в явное противоречие с известными поэтическими канонами. Признанные корифеи литературного мира и те, кто стремился взлететь на литературный Олимп на формотворческом Пегасе, *не могли* вобрать, воспринять дар Клюева во всей его целостности и глубине, принять те непомерные перспективы, которые открывались им. Сбивало с толку также и явное противоречие между творческой новаторской мощью и традиционным «деревенским», «мужицким» обликом поэта, между высочайшей культурой этого мира и его народной основой — как она им виделась. Воспринять и принять, то есть узнать и понять, что в народном творчестве, в творчестве русского мужика существует высочайшая, глубоко своеобразная культура отношения к человеку и миру, к космосу — этим культурным людям оказалось почти не дано. Они, усвоившие книгу и этикет, культуру своего социального слоя, привыкли в большинстве своём смотреть на народное творчество лишь как на фольклор, а на себя — как на носителей высшей культуры, которые призваны «развивать» «тёмные», «невежественные» народные массы, указывая им путь к свету. Признать, что этот человек из народа более глубок, чем они сами — представители культурной элиты, — больший новатор, чем они, что он — носитель совершенно неизвестной им глубинной высочайшей культуры, — большинству из них было чрезвычайно трудно, да и просто невозможно. Иначе пришлось бы согласиться с тем, что *не они* — сущностная сила развития народа, что народ сам по себе, независимо от них, уже создал высочайшую культуру, пронизывающую всю его жизнь. Это означало, что они, интеллигенты, творцы прекрасного, не только не знают своего народа, но и отстали от его духовного развития, а следовательно, не могут и претендовать на роль водителей народа, его наставника. «Народ-лапотник» в действительности нуждался в том, чтобы интеллигенция поняла его, приняла и развивала вместе с ним уже созданную им культуру, шла по пути, уже им избранным. До сих пор эта мысль не принимается ни интеллигенцией, ни власть имущими. Чего же было ждать от «корифеев» той эпохи?

Есенин не просто почувствовал — он *понял* силу таланта Клюева, его кровную естественную связь с древней духовной культурой русского православия, ощутил в его стихах ритм народной жизни, что бился в унисон с жизнью церкви. Вроде ничего особенного он и не написал Клюеву в письме — лишь перечислил свои первые литературные успехи. Клюев же почувствовал, что встреча с Есениным может стать для него судьбоносной. А упоминание Есениным Городецкого и Зинаиды

Гиппиус вселило в Николая нешуточную тревогу.

«Милый братик, — отвечал он Есенину сразу, как родному, — почитаю за любовь узнать тебя и говорить с тобой, хотя бы и *не написала* про тебя Гиппиус статьи и Городецкий *не издал* твоих песен. Но конечно, хорошо для тебя напечатать наперво 51 стихотворение.

Если что имеешь сказать мне, то пиши немедля, хотя меня и не будет в здешних местах, но письмо твоё мне передадут. Особенно мне необходимо узнать слова и сопоставления Городецкого, не убавляя, не прибавляя их. Чтобы быть наготове и гордо держать сердце своё перед опасным для таких людей, как мы с тобой, — соблазном. Мне многое почувствовалось в твоих словах — продолжи их, милый, и прими меня в сердце своё».

Знал, что писал — личное общение с Зинаидой Гиппиус и Сергеем Городецким оставило в его душе несмываемый осадок. Сам Есенин уже имел свой опыт общения с той же Гиппиус, к которой пришёл в деревенских валенках (как привык ходить по ранней весне) и услышал: «Что это на вас за гетры такие?» Эти «гетры» вспоминались ему, когда читал её статью «Земля и камень», напечатанную под псевдонимом «Роман Аренский» в «Голосе жизни», на страницах которого вовсю в это время шла «дискуссия» о футуризме — барабанный гром статей Философова, Шагинян, Виктора Ховина вполне соответствовал «уханью» самих футуристов. Тон статьи «метрессы» был более приглушённым — писала, словно рассматривала через лорнет.

«Перед нами худощавый девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, с весёлыми глазами. Он приехал из Рязанской губернии в „Питер“ недели две тому назад, прямо с вокзала отправился к Блоку — думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес. В Питере ему все были незнакомы, только что раньше „стишки посылал“. Теперь сам их привёз сколько было и принялся раздавать „просящим“, а просящих оказалось порядочно, потому что наши утончённо-утомлённые литераторы знают, где раки зимуют, поняли, что новый рязанский поэт — действительно поэт, а у многих есть даже особенное влечение к стилю подлинно „земляной“ поэзии. Девятнадцатилетний С. Есенин заставляет вспомнить Н. Клюева, тоже молодого поэта „из народа“, тоже очень талантливого, хотя стихи их разны. Есенин весь — веселье, у него тон голоса другой, и сближает их разве только вот что: оба находят свои, свежие и верные слова для передачи того, что видят».

«Глупая статья. Она меня, как вещь, ощупывает» — такова была реакция Есенина на размышления «Аренского». Это «ощупывание, как вещь» было уже хорошо знакомо Клюеву.

Буквально через три дня после ответа Есенину он пишет письмо Миролюбову, видимо, сообщившему Николаю, что Городецкий строчит о нём очередную статью: «Простите за беспокойное заказное письмо, но я переживаю тяжкое время — и что это выдумал Городецкий? Как я просил всех не писать *обо мне,* а если и писать, то касательно лишь моих произведений…» Вечно впадавший в соблазны Сергей Митрофанович уже хорошо был известен в литературном мире, как человек без стержня и без царя в голове, к тому же пропитавшийся миазмами тогдашней «литературной жизни», где царили соответствующие нравы, свидетельствующие о своеобразной «продвинутости». Разврат — умственный и физический — был в этом кругу и признаком «хорошего тона», и опознавательным знаком «своего», и «острой» жизненной приправой. И никакой страх ни перед каким законом — ни Божеским, ни уголовным (которого, впрочем, тогда не было и в помине) — не мог охладить «интеллигентных шалунов».

Городецкий обладал свойством не только соблазняться, но и соблазнять. Неумеренные похвалы, расточаемые им ранее Клюеву, а ныне — Есенину, клятвы в вечной дружбе, акцентирование «родственности» творческих миров, всемерное человеческое расположение, сочетаемое с повадками «учителя» и «поводыря», — всё это, вместе взятое, тем более не могло не насторожить Николая, уже хорошо узнавшего цену подобному «заманиванию». В то же время Клюев хорошо понимал, насколько важна для Есенина поддержка на первых порах в столичном литературном мире. Другое дело — как и кто её оказывает.

Душа его рвалась в Петроград к Сергею, но выехать он не мог — не отпускали заботы по хозяйству, да и тяжёлые воспоминания о последнем питерском «гощении» не оставляли. Выезжал в соседний уезд «по сплаву лесных материалов», как писал Миролюбову, — а тут подоспел и сенокос. Дом фактически был на нём одном, и до осени приехать в столицу он не мог никак. Оставались письма. Тут пришёл по почте «Голос жизни» с его подборкой стихотворений, среди которых и «Рыжее жнивьё, как книга…», и «Судьба-старуха нижет дни…». А ранее в этом же журнале была напечатана есенинская подборка. С пресловутой статьёй Гиппиус, которую Клюев читал — и темнел лицом и душой.

«Рядом с Есениным, за тем же столом, сидел пред нами другой юный поэт, не „земляной“ — „каменный“. Современники — они всё-таки немножко не понимают друг друга. Есенин не знает „языков“, а потому ему невдомёк, что значит „манто“, „ландолэ“, „грёзо-фарс“ и т. д., а коллега не понимает ни „дёжки“, ни „купыря“, и скорее до „экарлатной“ зари додумается,

чем до „маковой“. Но оба хотят богатства слов. И оба имеют. Только у „каменного“ поэта своего нехватка, и приходится в чужих странах прикупать, а поэт „земляной“ приехал с собственным русским богатством из Рязанской губернии, и лишний раз стало ясно, как обильна земля наша; всего у нас вдоволь, а если кому не хватает, если в каменных столицах всё, вплоть до слов, — покупное, так это потому, что мы с нашим богатством сладить не умеем».

Вот она — похвала, что хуже любой хулы. И вроде всё правильно, всё на месте, как и замечание о мастерстве, что «как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие» — а ощущение скверное, и руки вымыть хочется… Клюеву не пришлось гадать — что за «каменный» поэт? Сам Северянина с интересом читал, и даже кое-что нравилось ему поначалу в «Громокипящем кубке». Только всё это пройдено, осталось позади — и как же не хочется, чтобы Есенин начинал свой путь с тех же колдобин, что и сам Николай! А стихи… Стихи влюбили в себя Клюева сразу. Своей «вещностью», точностью, проникновенной живописью.

Пахнет рыхлыми драчёнами,
У порога в дёжке квас,
Над печурками точёными
Тараканы лезут в паз.
……
Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

И в стихах, опубликованных в «Ежемесячном журнале», очаровывали покоряющая слитность с природным миром, широта и плавность поэтического жеста.

Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

Клюев пишет Есенину большое письмо с подробным разбором его стихов, который призван был, помимо всего прочего, нейтрализовать в сознании молодого поэта холодные, через прищур, похвалы «Романа Аренского». Письмо, к сожалению, не сохранилось, а в следующем Николай настойчиво просит ответа: «Что же ты, родимый, не отвечаешь на мои письма? Мне бы хотелось узнать, согласен ли ты с моим пониманием твоих стихотворений… Читал ли ты в № 20 „Голоса жизни“ мои стихи и что про них скажешь? Я очень люблю тебя, Серёжа, заочно — потому что слышу твою душу в твоих писаниях — в них жизнь, невольно идущая. Мир тебе и любовь, милый». Клюев знает: никакие похвалы, никакие восторги без «слышания души» поэта добра не принесут, а только вред причинят. В письме Миролюбову от 22 июля он вкратце передаёт своё впечатление от есенинской поэзии: «Какие простые неискусные песенки Есенина в <и>юньской книжке, — в них робость художника перед самим собой и детская, ребячья скупость на игрушки-слова, которые обладателю кажутся очень серьёзной вещью…» Ясно, что речь идёт не только и не столько о пресловутом «мастерстве». И здесь же Клюев упоминает о писаниях, посвящённых ему: «Про „Избяные песни“ я получил большую статью, где я сравнён ни много ни мало как с Метерлин<к>ом — но по прочтении упомянутой статьи во мне осталась какая-то обида, род презрения к себе…» Речь идёт о статье Зои Бухаровой, с неизменным пиететом писавшей в дальнейшем и о Клюеве, и о Есенине, — «Новые пути русского искусства», где критикесса узрела «…живую одухотворённость предметов домашнего обихода, признающую за ними отдельное, символическое в самой простоте своей существование и роднящую этим нашего бытового поэта с проникновенным мечтателем… Морисом Метерлинком. Разве его „Синяя птица“ — не тот же осиянный мистицизмом быт бельгийского крестьянина?..». И здесь то же «ощупывание» через «быт», когда мистицизм «Синей птицы» оставлен Клюевым далеко позади, и определение его как «бытового поэта» не вызывает ничего, кроме горькой усмешки. Не могла не привлечь его настороженного внимания и следующая фраза, касающаяся Есенина: «Отдельные кружки поэтов приглашали юношу нарасхват; он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделяя лучшее в них, но не увлекаясь никакими футуристическими зигзагами…» Это «нарасхват» тревожило больше, чем обнадёживающее «не увлекаясь». А что касается Северянина…

Через год в стихотворении «Оттого в глазах моих просинь…», посвящённом Есенину, Клюев обыграет «гиппиусихину»

параллель с «каменным» поэтом применительно к себе самому в контексте всего пережитого в столичных литературных кругах.

Потянуло душу, как гуся,
В голубой полудённый край,
Там Микола и Светлый Исусе
Уготовят пшеничный рай.

Прихожу. Вижу избы-горы,
На водах — стальные киты…
Я запел про синие боры,
Про «Сосновый звон» и скиты.

Мне учёные люди сказали:
«К чему святые слова?
Укоротьте поддёвку до талии
И обузьте у ней рукава!»

Я заплакал «Братскими песнями», —
Порешили: «В рифме не смел!»
Зажурчал я ручьями полесными
И «Лесные были» пропел.

В поучение дали мне Игоря
Северянина пудреный том, —
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом.

«Задетые крылом смерти» — невольно заставляют вспомнить о способности Клюева прозревать грядущее, о его мистических видениях, о строках из его письма Брюсову, написанных полутора годами ранее: «Как-то по зиме я видел во сне Ивана Коневского — будто всё торопится идти к Вам. Я рассказываю ему про его книгу, а он спрашивает: „И во храме сумрака читали?“ — и подаёт мне верёвку, и я знаю, что верёвка Ваша — белая, кручёная, финской работы. Только, говорит, ему (т. е. Вам) не показывайте…» Коневской утонул в 1901 году, а Брюсова через десять лет после этого письма ожидал свой конец — не от верёвки, а от шприца с морфием.

Клюев внимательно читает всё, попадавшее ему в руки, касающееся не только его самого, но и «родимого» Сергея: «Нас не прельщают объяснения в любви к природе, былинкам, золотым главам церквей — мы предпочитаем даже малопонятные, но вызывающие колоритное представление „щипульные колки“

Есенина. Замечательно, что и самородки-поэты нашего времени начали с подражания литературным, неотчётливо даже воспринимаемым образцам, а после только впали в конкретность. Появилась особая даже — не народная, а „губернская“ — поэзия. В этом объяснение и характера, и успеха Клюева и Есенина» (Лазарь Берман в «Голосе жизни»). От восторгов по поводу поэзии молоденького собрата, который якобы «прежде всего „видит“, а потом уже чувствует, скажем даже… чувствует и осознаёт он гораздо меньше, чем видит» (Зоя Бухарова), и от сопоставлений с футуристами и Игорем Северянином уже рябит в глазах. Клюев пишет Есенину письмо, в наши дни многократно цитированное, которое обращает на себя внимание уже своим началом: Николай осторожно и деликатно пытается подойти к будущему выстраиванию отношений — реакция Есенина для него дороже собственных устремлений: «Голубь мой белый, ты в первой открытке собирался о многом со мной поговорить и уже во втором письме пишешь через строчку, и то вкратце — и на мои вопросы не отвечаешь вовсе. Я собираюсь в Петроград в конце августа, и ты, может быть, найдёшь что-либо нужным узнать про тебя, но я не знаю, что тебя больше затрагивает, и наберу мелочей, а нужное и полезное тебе упущу…» И всё же — слишком велик позыв сразу высказать главное — тревогу за «голубя», за его жизнь в литературном Петрограде, за его светлую голову, которой впору закружиться от вылитых на неё похвал.

«Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нём и что в этом огороде есть немало ядовитых колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здравия как духовного, так и телесного. Особенно я боюсь за тебя: ты как куст лесной щипицы, который чем больше шумит — тем больше осыпается. Твоими рыхлыми драчёнами объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском. Я не верю в ласки поэтов-книжников — и пелегать их тебе не советую. Верь мне. Слова мои оправданы опытом.

Ласки поэтов — это не хлеб животный, а „засахаренная крыса“, и рязанцу, и олончанину это блюдо по нутру не придёт и смаковать его нам прямо грешно и безбожно. Быть в траве зелёным, а на камне серым — вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твёрдой, между тем как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в ладоши в какой-нибудь „Бродячей собаке“, где хлопали без конца и мне и где я чувствовал себя наинесчастнейшим существом из земнородных…» Обо всём хочет

предупредить Клюев «голубя белого» сразу: и о шприцах с морфием, которые заменяются на время «наркотическим» поглощением стихов его и Есенина — когда общение идёт не ради общения, не ради познания, усвоения незнаемого, не ради открытия новой красоты, а лишь ради самоуслаждения; и о соответствующих нравах в петроградских литературных кругах, где «салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества» (больно уж напоминало многое Клюеву в иных литературных салонах отношение к нему, как к «экзотическому зверю» — по образу и подобию отношения богатых крепостников к своим одарённым крепостным)… «Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: „Да, хорошо быть крестьянином“. Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе всё, что мы с тобой должны ненавидеть и чем обижаться кровно! Видите ли, не важен дух твой, бессмертное в тебе, а интересно лишь то, что ты, холуй и хам Смердяков, заговорил членораздельно. Я дивлюсь тому, какими законами руководствовались редакторы, приняв из 60-ти твоих стихотворений 51-но, это дурная примета, и выразить, вскрыть такую механику можно лишь фабричной поговоркой: „За горло, и кровь сосать“, а высосавши, заняться тщательным анализом оставшейся сухой шкурки, чтобы лишний раз иметь возможность принять позу и с глубокомысленным челом вынесть решение: означенная особь в прививке препарата 606-ть (сальварсан — средство против сифилиса. — *С. К.)* не нуждается, а посему изгоняется из сонма верных…»

Чуть поостыв, Клюев снижает тон — переходит к лечащим душу пейзажам родного Севера и — по контрасту — к хорошо знакомой ему Рязани: «Мне очень приятно, что мои стихи волнуют тебя, — конечно, приятно потому, что ты оттулева, где махотка, шёлковые купыри и щипульные колки. У вас ведь в Рязани — пироги с глазами, — их ядять, а они глядять. Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни. Напиши мне, как живёшь, какое ваше село — меня печалили рязанские бесконечные пашни — мало лесов и воды: зимой всё, как семикопеечным коленкором потянуто. У нас на Севере — воля, озёра гагарьи, ельники скитами украшены… О, как я люблю свою родину и как ненавижу америку, в чём бы она ни проявлялась. Вот нужно ехать в Питер, и я плачу горькими слезами, прощаясь с рекой окуньей, с часовней на бору, с мошничьим перелётом, с хлебной печью… Бога ради, не задержи

ответ. Целую тебя, кормилец, прямо в усики твои милые…»

В начале сентября Клюев приезжает в Петроград с рукописью новой книги стихов — «Мирские думы». 18-го числа того же месяца подписывает договор с издателем М. В. Аверьяновым на издание «в количестве трёх тысяч штук экземпляров за сумму двести пятьдесят рублей» — и 125 рублей получает наличными. А 1 октября приходит на Головинскую улицу на заседание литературного «Кружка Случевского» к Иерониму Ясинскому по приглашению Городецкого и Измайлова. На этом вечере он впервые встречается с Борисом Садовским, Фёдором Фидлером и Пименом Карповым.

Через много лет Пимен вспоминал в беллетристических мемуарах о своём пребывании в доме Ясинского: «Я ещё не был достаточно обтёсан и известен, чтобы с суконным рылом втираться в калашный ряд и претендовать на свою долю пирога. Но нет-нет да и заглядывал туда незваным гостем (а незваный гость, как известно, хуже татарина). „Генералы“ и старые поэты — это были всё маститые — Бальмонт, Фёдор Сологуб, Тэффи, Уманов-Каплуновский, Зинаида Гиппиус, Мазуркевич и много других — смотрели на меня, как на туземца. Кое-кто советовал даже поступить в младшие дворники или в трубочисты, чтобы иметь свой хлеб и не подавиться…»

Здесь есть определённая доля лукавства. После публикации романа «Пламень» и скандала, которым сопровождался его выход (кроме бурной литературно-критической полемики последовало и распоряжение Святейшего синода об уничтожении книги), Карпов не мог пожаловаться на «недостаточную известность». Но факт остаётся фактом: он в самом деле не чувствовал себя «своим» в этом обществе, несмотря на уже образовавшийся достаточно широкий круг знакомств в литературном мире. Психологически вполне объяснимо, что он потянулся к такому же, по его выражению, «туземцу» — Клюеву, чей колоритный портрет описывал десятилетиями позже: «Одевался он в пестрядинную, набойчатую синюю рубаху, в домотканую суконную чуйку — поверх рубахи, — обувался в смазные сапоги бутылями, волосы стриг в скобку, носил старинный серебряный крест на груди и дёргал длинные, как у извозчика или как у моржа, усы. И так как он был мудрец и мастерски декламировал сильные свои стихи, то „генералы“ снисходили к нему и его поощряли…»

Слова Клюева, обращённые к нему, Пимен запомнил и передал если не в полной точности, то во всяком случае в обшей мысли и в общем настроении. Клюев, так же поначалу потянувшийся к нему, мог обратиться с сокровенным:

— А не кажется ли тебе, землячок, что мы находимся на

неведомой какой-то планете… и учимся мудрому молчанию… А чёрт дёргает нас… трепать языком, блудным словом? И чёрт этот повесит-таки нас потом за язык на железном крючке!.. Все эти неореалисты, символисты, футуристы, ничевоки (ничевоков, появившихся лишь после революции, Карпов «приклеил» сюда ошибкой памяти. — *С. К.)* — это порождение чёрта!.. Уйдём, землячок, от сраму!..

«Ханжество его меня коробило, — писал Карпов, — да, по-видимому, Нирвана распростёрла свои крылья и над ним — мы не противились ей, не противоречили друг другу. Молча и потихоньку поднимались мы вдвоём и выходили в ночной жасминный сад. Там преисполнялись молчанием — себе во вред; это послужило поводом к обвинению нас в зазнайстве». Понятно, что «ханжество» и «вред» — это уже позднейшие наслоения, продиктованные чувством отчаяния человека, стремившегося к подлинному признанию и так его и не обретшего, а также горечью от своего литературного изгойства, смешанной с некоторой завистью к более «удачливому» сотоварищу. На самом деле им было о чём поговорить. Они оба — выходцы из староверческих семей, принимавшие участие в крестьянском революционном движении и подвергавшиеся преследованию полиции — были в своём роде «братьями» и по «музе», и по «судьбам». Карпов вспоминал рассказы Клюева и о послушничестве в Соловках, и о тюремном «узилище», и о солдатской казарме. Оба могли друг другу долго рассказывать и о странствиях по Руси, и о пребывании у скопцов — Карпов вспоминал об этом в ещё одной своей автобиографической книжке «Верхом на солнце»… Подлинного сближения всё же так и не возникло, хотя на первых порах их тяга друг к другу была очевидной, при том, что Пимен, соблазнённый тогда инструментовкой и образностью символистов, не принял, как он сам писал, «народных» мотивов в поэзии Клюева, которые для него звучали «фальшью, подделкой».

А тогда — вспоминали Льва Толстого (Карпов рассказывал о переписке с ним), делились впечатлениями о литературной современности, обсуждали виденное и читанное. Карпов впитывал всё в себя, как губка, рассказывал о Блоке, о Грине, о Северянине, о своих впечатлениях от «Бродячей собаки»… Клюев, уже прошедший многие искусы, «не противоречил». Было ему что вспомнить и рассказать и о Блоке, и о других. Но этот приезд в Питер для него был не поводом для воспоминаний. Сейчас и здесь должно было решиться слишком многое.

Он уже известил Есенина о своём приезде в Петроград. В последнем письме написал, что «смертельно» желает повидаться

«с дорогим и любимым», и тут же приписал ещё одно предупреждение: «Я слышал, что ты хочешь издать свою книгу в „Лукоморье“ — это меня убило — преподнести России твои песни из кандального отделения „Нового времени“!» А ведь в «Лукоморье» книжку Есенина сватал Городецкий, как сватал туда же и Александра Ширяевца.

На квартире у Городецкого на Малой Посадской Клюев и встретился с Есениным, видимо, заранее предупреждённый о приходе туда «белого голубя».

* * *

В середине 1920-х годов Городецкий в воспоминаниях о Есенине писал: «…Мне Есенин сказал, что только прочитав мою „Ярь“, он узнал, что можно *так* писать стихи, что и он поэт, что наш общий тогда язык и образность уже литературное искусство…» Это писалось уже после гибели Есенина, когда Городецкий всеми силами стремился засвидетельствовать свою «лояльность» и своеобразно каялся в некогда овладевшем им «подходе, окрашенном своеобразной мистикой и стремлением к стилизации». А кроме того, настоятельно акцентировал, что именно он, Городецкий, к которому Есенин пришёл «с запиской от Блока», стал для молодого поэта ориентиром и путеводной звездой. «Стихи он принёс завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские „прибаски, канавушки и страдания“…» Эта идиллическая картина как нельзя лучше, по мысли Городецкого, контрастирует с описанием завязавшихся клюевско-есенинских отношений: «Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он и познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы… Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера. Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в своё время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным…»

Симптоматично это: «…будучи сильней всех нас». Сам же

Городецкий проговорился — откуда эта сила: от «крепкого мировоззрения» и «уклада жизни». Мировоззрения и уклада, непонятного и самому Городецкому. Отсюда и страх, охватывающий при всё большем приближении. Поиграть с народным творчеством, как с игрушкой, не касаясь его потаённых мировоззренческих глубин, можно до поры до времени. А Городецкий проявлял себя весьма азартным игроком на этой почве.

Стоит вспомнить фразу из первого письма Есенина Клюеву: «В „Красе“ я тоже буду». Это литературное объединение было создано по инициативе Городецкого весной того же 1915 года — и название было заимствовано у Достоевского, чьи слова «Красотою мир спасётся», вырванные из контекста, стали чрезвычайно популярны в интеллигентской среде в те военные годы. Слова героя «Идиота», смертельно больного Ипполита, которые он приписал князю Мышкину, стали приписывать самому Достоевскому — и никто не желал вспомнить других слов из другого романа — «Братья Карамазовы»: «Красота не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

«…Будущий Антихрист будет пленять красотой. Помутятся источники нравственности в глазах людей», — писал Достоевский в набросках к роману «Подросток». Эти пророческие слова имеют самое прямое отношение к эпохе расцвета русского модернизма в начале XX века, а особенно — к предвоенным и военным годам.

…Под маркой «Красы» вышла одна-единственная книжка — отдельное издание стихотворения самого Городецкого, посвящённого А. С. Пушкину, тиражом 500 экземпляров, в которой была объявлена весьма солидная программа последующих изданий: предполагалось выпустить литературный сборник «Краса» с публикацией «Калевалы» в переводе В. Юнгера, также предполагалось поместить «Священные знаки» Николая Рериха, стихотворение Вячеслава Иванова «Замышление Бояна», представляющее собой вариацию на зачин «Слова о полку Игореве», маленькую поэму Есенина «Ус», герой которой — один из сподвижников Степана Разина (тогда это произведение носило название «Усильник»), стихи Бориса Верхоустинского, Сергея Клычкова, Александра Ширяевца, а также статью Ильи Репина «Как учить народ живописи».

«Все были талантливы, — вспоминал Городецкий, — все были объединены любовью к русской старине, к устной поэзии, к народным песенным и былинным образам. Кроме меня верховодил в этой группе Алексей Ремизов, и не были чужды Вячеслав Иванов и художник Рерих… Даже теперь я не могу

упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к былине и частушке был у всех нас…» Именно «нечуждые», как аккуратно написал в 1926 году Городецкий, Вячеслав Иванов и Рерих должны были, по его идее, стать центральными фигурами «Красы», а «крестьянские» поэты представлять нечто вроде «рядового воинства».

О Рерихе и о его творческой связи с Клюевым — разговор впереди. Пока же обратимся к строкам из рериховского сочинения «Подземная Русь», где художник, призывавший «изучать старину», «узнать и полюбить Русь», пишет о Русском Севере в тональности, органично совпадающей с тональностью иных клюевских писем: «Пусть Север кажется беднее других земель. Пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нём знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озёра задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудрые. Зелёные холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны. Сами варяги шли с Севера. Все ищем красивую древнюю Русь».

Все и каждый по-своему искали. И Городецкий, и Вячеслав Иванов, и Рерих. Клюев, нашедший и обретший, нашёл и обрёл того, кому мог передать обретённые сокровища. С Есениным после первого же знакомства он попросту не расставался.

Он вместе с Есениным и Фидлером гостит и у Александра Бенуа на Малой Конюшенной, и у Измайлова. Потом Фидлер привозит Николая и Сергея к себе домой, где те внимательно рассматривают его литературную коллекцию. Об этом гощении хозяин дома оставил примечательную дневниковую запись: «Клюев… живёт со своим 75-летним отцом в избушке на берегу реки; он берёт из неё воду, готовит еду, стирает бельё, моет полы — словом, ведёт всё хозяйство (так рассказывал ему Клюев. — *С. К.)*. Не курит, но ест мясо (в его забытой Богом деревне не растут даже огурцы и капуста) и пьёт пиво (у меня). В юности он носил на теле вериги; на мой изумлённый вопрос, для чего он это делал, ответил просто: „*Для Бога*“. Увидев у меня обрамлённый автограф Гейне, он обратился к Есенину и сказал ему с упрёком, относившимся, казалось, не только к Есенину, но и к нему самому: „Из семи строк сделано четыре! Смотри, как люди писали!“ Оба восхищались моим „музеем“ и показались мне достаточно осведомлёнными в области литературы. Взглянув на гипсовую голову Ницше, Есенин воскликнул: „Ницше!“… Видимо, Клюев очень любит Есенина: склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам».

В альбоме Фёдора Фидлера поэты оставили свои автографы.

Клюев написал: «Автограф Гейне, трубка Пушкина, вторая часть „Мёртвых душ“ с заметками Гоголя и моя бренная подпись! — Приходится верить в чудеса и в наш век железа и лжи. На память и жизнь бесконечную дарю малое за большое Фёдору Фёдоровичу».

А 10 октября на квартире Городецкого состоялось совещательное собрание нового общества «Страда». Председателем общества был избран Иероним Ясинский, товарищем председателя — Городецкий, членом-распорядителем — уже хорошо знакомый с Есениным литератор Михаил Мурашов, секретарём — актёр Суворинского Малого театра В. Игнатов. Почётные члены общества — Репин, Шаляпин, Короленко, Бальмонт — были призваны придать большую авторитетность и вес новому объединению. «Краса» органично влилась в «Страду», призванную преодолеть разобщённость между литературными «верхами» и «низами», как сформулировал эту задачу Ясинский: «Полному окрылению души русского народа препятствуют ещё разные обстоятельства, между прочим зависящие и оттого, что верхи не знают низов или имеют о них устарелые или чересчур сентиментальные представления». В первом сборнике «Страды» он особо отмечал, что «живое творческое благородное русское слово должно преображать разнообразные и почему-либо враждующие между собою духовные, сословные и расовые русские стихии неустойчивой природы в великое, единое и вечное, неколебимое целое, одушевляемое одинаковыми любовными идеалами равноправного во всех отношениях общежития». Газета «Биржевые ведомости», где в это время регулярно печатались Клюев и Есенин, поместила извещение о новом литературно-художественном обществе, цель которого «служить мостом между городом и деревней, с одной стороны, оздоровляя город притоком свежих умственных сил из крестьянской среды, с другой — всячески способствовать пробуждению народной души в деревне».

«Враждебность» стихий, о которой писал Ясинский, впрочем, обнаружилась довольно быстро внутри самой «Страды». Городецкий в любом из своих начинаний не собирался быть на втором плане. Созидать «Страду» должен был, по его мысли, он и только он. И роль «первой скрипки» настойчиво брал на себя. «Дорогой Илья Ефимович, — писал он Репину. — Я учредил общество содействия развитию народной литературы под названием „Страда“ и зычно зову Вас в правление…» «Народнический» характер, который настойчиво стремился придать Городецкий новому объединению, далеко не всем членам был по душе. Явное молчаливое сопротивление Сергей

Митрофанович не мог не ощущать в том, на кого он в своё время сделал самую большую ставку — в Клюеве. Напряжение всё больше усиливалось, и с целью разрядки и выноса «себя любимого» на первый план как главного организатора, «души» всего предприятия, автор «Яри», «Руси» и «Четырнадцатого года» организовал вечер «Краса» в зале Тенишевского училища. В программе обозначались выступление самого организатора, Ремизова, Есенина, Клюева, а также стихи Клычкова, Ширяевца и Павла Радимова в исполнении жены Городецкого.

Зоя Ясинская, дочь председателя «Страды», позднее вспоминала, что «за несколько дней до вечера… возник сложный вопрос — как одеть Есенина. Клюев заявил, что будет выступать в своём обычном одеянии. Для Есенина принесли взятый напрокат фрак. Однако он совершенно не подходил к нему. Тогда С. М. Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шёлковую голубую (не голубую, а белую. — *С. К.)* рубашку, которая очень шла ему. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках… напоминавшие былинный стих „возле носка хоть яйцо прокати, под пятой хоть воробей пролети“…» Наряд Есенина дополнила гармонь-трёхрядка.

Он любил играть на гармони и петь частушки в столичных компаниях, куда его звали. Со смехом рассказывал Клюеву об исполнении частушек у Гиппиус и у Кузмина: «Стихи слушали в пол-уха, а от частушек млели». Кузминская реплика особо запомнилась: «Стихи были лимонадцем, а частушки — водкой». Вспоминал, как, слегка раздосадованный, запел деревенскую нецензурщину, дабы пронять собравшихся. Клюев хмурился — сбывалось всё, о чём он предупреждал дорогого товарища… А Есенину всё было — нипочём. Растягивая меха, он запевал только что сочинённые частушки про новых друзей:

Шёл с Орехова туман,
Теперь идёт на Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Миколая Клюева.

Сделала свистулечку
Из ореха грецкого.
Веселее нет и звонче
Песен Городецкого.

С гармошкой он и появился на сцене на Моховой.

Позднейшие описания вечера «Красы» носят в значительной

степени шаржированный характер. Владимир Чернявский, ставший добрым питерским знакомым Есенина, вспоминал, что «в основу этого нарочито „славянского“ вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера; публика и печать не приняли его всерьёз…». Сидевшие в публике Георгий Иванов и Пимен Карпов оставили куда более красочные описания.

«На эстраде — портрет Кольцова, осенённый жестяным снопом и деревянными вилами. Внизу — два „аржаных“ снопа (от частого употребления порядочно растрёпанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого… Должно быть, чтобы ещё ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами… Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или „алая“ косоворотка… Внимательный глаз различит под косовороткой очертания твёрдого пластрона… Городецкий ударяет в свой „тимпан“ и приглашает к вниманию… Зелёная плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин… Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щёки нарумянены. В руках — о, Господи, пук васильков — бумажных…»

Никаких «васильков» и в помине не было, но для Георгия Иванова, карикатурившего всё, что попадалось под жернова его памяти, и эта сочинённая «деталь» была впору. Концентрация яда, капавшего с его пера, многократно увеличилась, когда он дошёл до Клюева — неизменно называемого «Николаем Васильевичем»: «Клюев спешно обдёргивает у зеркала в распорядительской поддёвку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки… вокруг умных холодных глаз сами собой расплываются в деланную, сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу… — отвечает он нараспев и истово крестится. — Иду… только что-то боязно, братишечка… Ну, была не была. Господи, благослови…

Ничуть ему не „боязно“ — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль „мужичка-простачка“. Потом степенно выплывает, степенно раскланивается „честному народу“ и начинает истово на о:

Ах, ты, птица райская,

Дребезда золотопёрая…»

Пимен Карпов до такого сгустка злобы не доходил, но и он не отказал себе в соблазне через много лет недобро посмеяться над внешним видом и манерой исполнения участников того вечера. «…Закопёрщиком-конферансом вышел Сергей Городецкий, одетый под стрюцкого в клетчатые штаны. За ним — курносый дьякообразный Алексей Ремизов в длинно-полом сюртуке. А дальше — Клюев в сермяге, из-под которой топорщилась посконная рубаха с полуфунтовым медным крестом со старинной цепью на груди. И под конец — златокудрый Лель — Есенин в белой шёлковой рубахе и белых штанах, вправленных в смазные сапоги. Трёхаршинная ливенка оттягивала ему плечи. Провыли все четверо из своих стихов что-то и ушли…» Карпов вспоминает, что публика, не прочитав и не поняв слова «краса», требовала какого-то «Краса» — не то пианиста, не то гармониста… И дождалась Есенина, который «запузырил с кандибобером» «односложный хриплый мотив» на гармошке. Под хохот зала и под свой собственный стон «провал»! Городецкий утащил Есенина со сцены, когда Клюев, «дрожа от боли (сердце, сердце…) тащился уже из артистической к выходу…».

«Провала» на самом деле не было. Но впечатление от вечера у публики осталось весьма противоречивое. Восторженный отзыв дала в «Петроградских ведомостях» уже известная нам Зоя Бухарова: «Для того чтобы дать нам сейчас в искусстве что-нибудь прекрасное, крупное, радующее, необходимы особое понимание современности, неразрывность её с предлагаемыми художественными ценностями, — необходим новый, свежий действенный подход к последним. Задача не из лёгких… Но она была осуществлена перед немногочисленной, правда, но благоговейной, чуткой и признательной аудиторией литературного вечера русских поэтов „Краса“.

По утверждению одного из его инициаторов Сергея Городецкого, слово это вызвало в публике явное недоумение. Многие наивно спрашивали: „Что такое ‘Крас’, в честь или память которого состоится вечер?!“ До такой степени отошли мы от корней нашего богатейшего языка, до такой степени изменили его истине, его ясности, его чистоте!.. Лишь немногие из художников наших сохранили рыцарскую верность красе родного языка… К таковым можно причислить выступивших на вечере чтецами своих произведений поэтов-крестьян Сергея Есенина и Николая Клюева…

Оба этих художника пришли к нам из деревни и принесли в

чёрствый прозаический город смолистое дыхание лесов, мирную трудовую ясность полей, забытую правду крестьянского быта. В сокровищнице их песен скрыта жемчужина грядущего художественного торжества России, и, по словам того же Городецкого, все мы, на вечере присутствовавшие, таинственно приобщаемся к великому чуду подлинного народного творчества, долженствующего однажды укрепить за собою новые, навек нерушимые пути. Когда-нибудь мы с восторгом и умилением вспомним о сопричастии нашем к этому вечеру, где впервые предстали нам ясные „ржаные“ лики двух крестьян-поэтов, которых скоро с гордостью узнает и полюбит вся Россия…»

Более сдержанно, с явным неприятием внешнего облика выступавших, отозвался на вечер «Красы» Борис Садовской в «Биржевых ведомостях»: «С. Городецкий, прочитавший на вечере несколько своих новых стихотворений, по-видимому, возлагает на народную поэзию чрезмерные надежды. Конечно, отчасти он и прав. После бездушной лжепоэзии „эстетов“ из „Аполлона“ и наглой вакханалии футуризма отдыхаешь душой на чистых, как лесные зори, вдохновениях народных поэтов. Но будущее русской поэзии принадлежит не им. Только в союзе с наследниками Пушкина и Фета возможен действительный шаг вперёд. Иначе „народная поэзия“ может неожиданно оказаться всего лишь самовлюблённым маскарадом. Неприятные оттенки этого маскарада замечаются уже в самой внешности выступающих перед публикою Тенишевского училища „певцов“ и „дударей“. Дегтярные сапоги и парикмахерски завитые кудри дают фальшивое впечатление пастушка с лукутинской табакерки. Этого мнимого „народничества“ лучше избегать».

Но это ещё мягко звучало по сравнению с другими отзывами, в частности, с отзывом Михаила Левидова, чья статья «„Народная“ поэзия» появилась в «Журнале журналов». Кавычки в заголовке уже настраивали на соответствующий тон.

«Новые артисты подвизаются на арене литературного балагана: Клычков, Клюев, Есенин, Ширяевец (Клычков и Ширяевец в вечере не участвовали, но достаточно было и того, что их стихи прозвучали со сцены. — *С. К.)*. Публике нашей, пресытившейся модернизмами, эстетизмами и футуризмами, нужна новая забава; забаву эту она найдёт в сусальном лживом народничестве Городецкого и братии, кстати, так безупречно патриотически настроенных… Эти дудари и певуны играют недостойную их таланта роль потешников, скоморохов, забавляющих скучающую петроградскую публику, ударившуюся в сладкое народолюбие. Конечно, со временем надоест и эта забава, перестанет потешать и этот очередной фокус петроградской

литературы. Клычковы, Клюевы и Есенины не страшны для истинной поэзии, далёкой от великосветских салонов, чуждой поискам „народных“ слов. Если они и вправду по-настоящему талантливы и имеют что сказать, знают — как сказать, — то и они уйдут от своей „народнической поэзии“, вольют свои ручейки в океан поэзии общечеловеческой».

А в журнале «Рудин» под карикатурой, изображавшей участников вечера в виде сидящих на ветке птиц, где Есенин был представлен нахохлившимся воробьём, а Клюев — совой, можно было прочесть издевательский «отчёт» Ларисы Рейснер под псевдонимом «Л. Храповицкий»: «Вот оно „просыпается, красовитое слово народное“. Назло „шептунам“ и „фыркателям“ приходит оно, чтобы занять подобающее место среди беспорядочно бегущих толп.

Сюда, „наследники Баяновы“, собирайтесь к „думным соснам“, под крыло „сирин-птицы“, к „святовейным платам юродивых угодников“.

Напрасно „изгиляется Вильгельмище“, сидя за буераками. Пришёл час, дрогнула „скуфья стопудовая“, блеснули „отмычки золотыя во персты сахарные“, во весь рост поднялась Матушка-Россия…

По городам и сёлам ограбленным пройдут Баяны добросердные, „пытливцы остроглазые“. На земле, кровью омоченной, вырастут „часовенки расписные, с петушками и зайчиками на крылечке узорном“…

Не надо слов тревожащих, не надо надежд мучительных — в сладком умилении, в тихой пристани юродивого благодушества — вечный покой и вечное счастье!»

Подробности, связанные с этим вечером и реакцией на него, тем более существенны, что и сами его участники, особенно Клюев и Есенин, а также руководители «Страды» не могли не понимать: Городецкий не просто пересолил. В неуёмной жажде лидерства, что сочеталась с поверхностно им понимаемым «народничеством», он по сути исказил цели и задачи общества. Впечатление от «Беседного наигрыша» и «Избяных песен», от есенинских стихов, что составят первую книжку «отрока вербного» — «Радуница», у многих наложилось на впечатление от ведения вечера, от внешнего вида поэтов, тем паче что в редакциях газет и журналов через одного сидели люди, которых воротило от самих слов «Русь», «народ», «патриотизм».

Видимо, у Игнатова и Ясинского состоялась беседа с Клюевым, который со всей откровенностью высказал всё, что думал о Городецком и его деятельности. После чего они поговорили с самим Сергеем Митрофановичем. Оскорблённый

Городецкий написал Ясинскому письмо, где не стеснялся ни в выражениях, ни в личных выпадах, придравшись к пожеланию видеть в «Страде» поэта Дмитрия Цензора, которого он сам там видеть не хотел. Но ясно, что суть расхождений была не в этом достаточно мелком пункте.

Означенный документ тут же стал достоянием остальных членов «Страды». При том, что Городецкий не унялся и всерьёз планировал своё участие в следующем вечере, посвящённом Клюеву и Есенину. «На Клюева и Есенина письмо Городецкого к Вам произвело ужасное впечатление, и они открыто говорят о полной своей от Городецкого отчуждённости, — писал Игнатов Ясинскому. — …Что захочет сделать Городецкий для этого вечера, пусть делает, но я на него не надеюсь. Серьёзно думаю, что он откажется от всякого в нём участия, и кроме того, он *не может* говорить от лица „Страды“. *Мы ему не доверяем».*

Это писалось уже после вечера самой «Страды» в зале гражданских инженеров, где Клюев читал «Беседный наигрыш, стих добропи́сный», Есенин — поэму «Русь», а Городецкий исполнял свой «гимн „Страды“» («Верны заветной доле, с зарёй мы вышли в поле на песни и труды…») и где Иероним Ясинский произнёс своё вступительное слово, настроенное резко полемически как против рецензентов, ничего не понявших однажды в увиденном и услышанном, так и против Городецкого «народничества».

Все попытки Городецкого утвердить своё первенство кончились ничем. 5 декабря Игнатов писал Ясинскому: «…я готовлюсь к очищению „Страды“ от Гор<одецкого>. Не надо его… Я не могу дальше молчать. Его пребывание в „Страде“ губительно для неё, и я это докажу. Одним словом, Вы мне верьте, что я действую только для пользы нашей молодой организации…»

Ясинский и не думал возражать. Что же касается Клюева, то ему претили не только Городецкий маскарад и городецкое лицемерие. Он чувствовал глухое, всё нараставшее раздражение от покровительственных похвал самого Ясинского, для которого писатели делились на «верхи» и «низы» при всём желании ликвидировать этот разрыв. Позже Клюев вспоминал: «За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям как писателя „из низов“. Есенин долго плевался на такое непонятие: „Мы, — говорит, — Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России, самое аристократическое — что есть в русском народе“».

* * *

Среди зрителей на вечере «Красы» был и Александр Блок. Ранее, после более чем двухлетнего перерыва он встретился с Клюевым, который предупредил его письмом: «Дорогой Александр Александрович! Я приехал в град Петра на малое время — уехать вновь года на три, не взглянув на вас, мне тяжело…»

Блок не жаждал в то время общения. Он принял один раз Есенина, благожелательно оценил его стихи, но от второй встречи уклонился. Он не принял Ширяевца, приехавшего в Петроград, лишь передал тому через горничную книгу с дарственной надписью, на что Ширяевец чрезвычайно обиделся.

Но Клюеву отказать не мог. Клюев пришёл к Блоку вместе с Есениным — и беседа их продолжалась пять часов.

«21 октября, — записал Блок. — Н. А. Клюев — в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо».

Это «хорошо» дорогого стоит, если учесть смутное душевное состояние и увеличившуюся замкнутость Блока в то время. Он отдыхал и понемногу оттаивал во время встречи, слушая рассказы гостей, внимая их стихам.

О Блоке они много и долго разговаривали друг с другом. Клюев поведал свою историю взаимоотношений с любимым поэтом. Есенин рассказал, как он рвался именно к Блоку — чтобы тот первый услышал его стихи, дал наставления, направил на верный путь. Он мог показать Клюеву и письмо Блока, где тот, обращаясь к Сергею, писал: «За каждый шаг свой рано или поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно в литературе, пожалуй, всего труднее. Я всё это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы болото не затянуло…»

Думается, что в этих беседах они и выработали своеобразную тактику своего дальнейшего поведения. Первоначальные рассказы Есенина в разных домах о том, как он был принят Блоком, вызывали не то чтобы недоверие, а шёпот за спиной: дескать, наплёл чего-нибудь парень, обманом пробрался… Этот мнимый «обман» друзья и решили как следует разукрасить: кушайте, господа хорошие! Внимайте, как Клюев прикинулся маляром, пришёл к Блоку стены красить, да песни олонецкие запел, а поэт, поражённый, тут же позвал его к себе. А сам Есенин — так вообще с «чёрного хода» появился, нежданно-негаданно и — р-р-раз! — к Блоку в кабинет. И — очаровал. И сразу пошёл завоёвывать Петроград.

Сочиняли — и сами смеялись. И едва ли думали, что

потащится эта «липа» из дома в дом, а потом на полном серьёзе войдёт в мемуарные сочинения… Но как же легко и весело придумывалось!

Блоку было хорошо — и им самим тогда было хорошо от встречи с ним. По-иному сложилось, когда 25 декабря они приехали в Царское Село — в гости к Гумилёву и Ахматовой.

Через много лет Ахматова, разглядывая рисунок Владимира Юнгера, сделанный с натуры 7 октября, рассказывала под запись Александру Ломану: «Вот сейчас, глядя на этот портрет, я невольно вспоминаю те, теперь уже далёкие времена. Именно ТАКИМ приезжал ЕСЕНИН ко мне в Царское Село в рождественские дни 1915 года. Видимо, это было на второй или третий день Рождества, потому что он привёз с собой рождественский номер „Биржевых ведомостей“. Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, ЕСЕНИН весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень мною понятый, его „вечный спутник“ Клюев.

— Как же, высокочтимая Анна Андреевна, — расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк, — мой Серёженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская „знать“, как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты… Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя…»

Ахматова вспоминала именно о Есенине — Клюев остался лишь фоном, да ещё как «не очень мною понятый»… Она рассказывала, как Есенин читал «Край родной! Поля, как святцы…», «Тебе одной плету венок…», «Шёл Господь пытать людей в любови…» Специально задержалась на корректной полемике с Есениным: «Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится — уж очень красивые и „о любви много“, только жаль, что много нерусских слов. Я парировала „удар“ и сказала, что в его стихах много таких русских слов, которые разве что на Рязанщине знают». И заключила воспоминания об этой встрече симптоматичной фразой: «Есенин и Клюев были для меня <…> (в машинописной копии текста эти слова на французском языке отсутствуют. — *С. К.)* и весь склад их мышления мне тогда был чужд».

Клюев привёл Есенина в дом к Ахматовой по просьбе друга, жаждавшего познакомиться с Анной Андреевной. Как можно

понять из её воспоминаний — говорил в основном Есенин. Ни Ахматова, ни Гумилёв к общению особо не были расположены. Клюев — и это опять же читается между строк — был встречен если не холодом, то и без особой сердечности. О разрыве в Цехе поэтов они все хорошо помнили. И полемика Ахматовой с Есениным рикошетом била и в Клюева: о вечере «Красы», об исполнении «Беседного наигрыша» супруги были наслышаны, да и последние клюевские стихи не вызывали у них ничего, кроме отторжения. «Чуждость» тогдашней поэзии и Клюева, и Есенина Ахматова лишний раз не преминула подчеркнуть. А тогда было дарение книг с короткими дарственными надписями и почти надменное прощание.

И совершенно иным получилось знакомство ещё с одной известнейшей женщиной той эпохи — великой русской певицей Дежкой Винниковой, известной как Надежда Васильевна Плевицкая.

* * *

«Господа Плевицкие» — так назвал свою статью о вечере «Красы» литератор Николай Лернер, уничижительно сравнивая поэтов с певицей, «русский стиль» которой он не принимал, что называется, на дух.

Познакомились друзья с Надеждой 19 октября на её концерте, где она исполняла свой коронный репертуар, неизменно вызывавший овации зала.

Помню, я ещё молодушкой была.
Наша армия в поход далёкий шла.

Вечерело — я стояла у ворот,
А по улице всё конница идёт.

И «Лучинушка», и «Липа вековая», и «По диким степям Забайкалья…», и «Среди долины ровныя…». Русская песня, петая на необъятных просторах, покоряла, брала за душу, а голос певицы, мастерство её исполнения лишь усиливали выразительность слога и мелодии.

«Она стояла на огромной эстраде, близко от меня, — писал А. Кугель, — …в белом платье, облегавшем стройную фигуру, с начёсанными вокруг всей головы густыми чёрными волосами, блестящими глазами, большим ртом, широкими скулами и круто вздёрнутыми ноздрями… Она пела… не знаю, может быть, и не

пела, а сказывала. Глаза меняли выражение, движения рта и ноздрей были — что раскрытая книга… Говор Плевицкой — самый чистый, самый звонкий, самый очаровательный русский говор… У неё странный оригинальный жест, какого ни у кого не увидишь: она заламывает пальцы, сцепивши кисти рук, и пальцы эти живут, говорят, страдают, шутят, смеются…»

Клюев слушал — и не отводил повлажневших глаз.

Уже в эмиграции вспоминала Плевицкая о своём знакомстве с ним: «После сбора ко мне в уборную пришёл военный министр Сухомлинов… Тогда же тихой, вкрадчивой поступью пошёл ко мне и поэт-крестьянин Н. Клюев.

Мне говорили, что Клюев притворяется, что он хитрит. Но как может человек притворяться до того, чтобы плакать.

Я пригласила его к себе, и Н. Клюев бывал у меня».

Им было о чём поговорить друг с другом. И он, и она пришли к славе и известности из тех самых народных «низов», что стали объектом пристального внимания столичной интеллигенции. И он, и она в отроческие годы побывали за монастырскими стенами и покинули их и, возможно, Дежка рассказала Николаю об этой странице своей жизни.

Николай поведал о своей матери, о горьком своём сиротстве, а Надежда сердечно пыталась утешить, как могла. Она, не любившая петь ни на каких приёмах за пределами сцены (её трясла лихорадка за кулисами от напряжения, а после концерта она теряла все силы), здесь, в атмосфере нежной дружеской беседы, негромко заводила протяжное, слышанное и запомненное на родимой Курщине:

Дунай речка, Дунай быстрая,
Бережёчки сносит.
Размолоденький солдатик
Полковника просит:
Отпусти меня, полковник,
Из полку до дому.
Рад бы я, рад бы отпустити,
Да ты не скоро будешь,
Ты напьёшься воды холодной,
Про службу забудешь…

«Что-то затаённое и хлыстовское было в нём, — вспоминала Плевицкая Клюева, — но был он умён и беседой не утомлял, а увлекал, и сам до того увлекался, что плакал и по-детски вытирал глаза радужным фуляровым платочком.

Он всегда носил этот единственный платочек.

Также и рубаха синяя, набойчатая, всегда была на нём одна. Я ему подарила сапоги новые, а то он так и ходил бы в кривых голенищах, на стоптанных каблуках.

Иногда он сидел тихо, засунув руки в рукава поддёвки, и молчал. Он всегда молчал кстати, точно узнавал каким-то чутьём, что его молчание мне нужнее беседы».

Как-то Клюев привёл к Надежде Есенина. Тот читал стихи, в которых Плевицкая учуяла «подражание Клюеву» (это было, впрочем, не подражание, а свои вариации на клюевские мотивы — иначе тогда и быть не могло), а потом за обедом стал подтрунивать над Николаем. Тот втягивал голову в плечи, опускал глаза и тихо произносил, как бы про себя:

— Ах, Серёженька, еретик…

Видно, что насмешки Есенина касались сокровенного — их общего жизненного и литературного пути. Сергей рос не по дням, а по часам, всё более ощущал свою «самость»… Но было здесь и другое. И Чернявский, и некоторые другие мемуаристы вспоминали, что излишние проявления нежности Клюева по отношению к Есенину вызывали у последнего приступы отторжения. Объяснение находилось тут же (и бытует по сей день, и автор настоящей книги пошёл однажды у него на поводу): физиологическое влечение, смешанное с ревностью. Как писал Чернявский, «Клюев совсем подчинил нашего Сергуньку» …А дальше — пуще: «С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил об этом Сергей, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний „Николая“ и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их общего дела»… И доходило до того, со слов Есенина, что «Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был первый — городской — роман. „Как только я за шапку, он — на пол, посреди номера (это было во время поездки в Москву. — *С. К.),* сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!..“»

Впрочем, тот же Чернявский тут же делал оговорку: «Повторяю, однако, что в иной — более глубокой — сфере сознания Сергей умел относиться к Клюеву по-другому…»

«Более глубокая сфера сознания», согласимся, имеет куда большее значение. А что касается остального…

Клюев в своих приступах нежности мог и перегнуть палку — что заставляло Есенина подозревать патологию и соответственно реагировать. Но, думается, всё же суть здесь в ином. И понять это поможет человек, кардинально далёкий от Есенина и тем более от Клюева — ненавистный им футурист, поэт, с которым они познакомились то ли на квартире Фёдора Сологуба, то ли у Юрия

Дегена.

«В первый раз я его (Есенина. — *С. К.)* встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками… Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет своё одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским… Как человек, уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одёжи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы, деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны…

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убеждённой горячностью. Его увлёк в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться…»

Маяковский был человеком грубым, но не был человеком тупым. Он обладал определённой проницательностью, о чём свидетельствуют его некоторые проговоры. Такой же проговор таится и здесь: «как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку»… Если убрать уничижительный эпитет, да и вообще проигнорировать всю издевательскую шаржированность данной сцены, придётся признать: определение более чем точное.

Клюев вёл себя по отношению к Есенину именно «как мамаша», которая и поясок завяжет, и рубашку поправит, и волосы пригладит, и окинет пристальным взглядом, как выглядит «сынок», и обнимет и поцелует лишний раз, и истерику закатит — чтобы не дай Бог не связалось любимое «дитятко» с порочной девкой… Подобная опека и так однажды становится чересчур обременительной, а уж когда она исходит от мужчины — вообще в голову придёт невесть что, от чего только и отбрыкиваться руками и ногами, да с насмешкой, смешанной с отвращением, рассказывать об этом приятелям… Но если откинуть разного рода пошлые подозрения — ситуация достаточно серьёзная.

Для Клюева новый облик Есенина не имел ничего общего с повсеместно охватившей «культурное общество» театральностью. В его глазах это был отнюдь не маскарад. Сам великолепный

актёр, для которого личины, надеваемые перед публикой, были тяжким и — увы — необходимым гнётом, он больше всего ценил именно соответствие внешнего и внутреннего. Поэтический мир Есенина, развивавшийся на его глазах, находил для Николая адекватное воплощение во внешнем облике собрата. Он именно по-матерински (не зря в нём самом усматривалось что-то «бабье») заботился об этом гармоничном соответствии, которое должно было проявляться во всём, включая поведение на людях. Тем более если у одних подобный стиль вызывает сладенькое умиление, а у других — отталкивание, смешанное чуть ли не с ненавистью. Народный поэт должен нести себя соответственно, учитывая реакцию окружающих и чутко внутри себя реагируя на неё, понимая — кто друг, а кто враг — но не подлаживаясь и не сходя с истинного пути. Николаю самому стоило большого труда обрести себя в яркой, чудодейственной и порочной атмосфере литературной столицы, и он делал всё от него зависящее, чтобы Есенин не потратил лишние силы на преодоление тех ям, которые довелось преодолеть ему самому.

(Поведение Клюева мне во многом стало понятно, когда я познакомился со своим гениальным современником — писателем-историком Дмитрием Балашовым, как никто умевшим своим пером ухватить суть и выписать краски русских XIV–XV веков. Все знавшие его помнят: он появлялся исключительно в расшитой косоворотке, шароварах и смазных сапогах. И никому в голову не приходило усмотреть в этом какой-либо маскарад. Наоборот — неизгладимое впечатление производила абсолютная органика в каждом его движении, слове, детали костюма. Казалось, что он пришёл *оттуда,* где пребывает и общается с давно ушедшими из земного мира, но пребывающими в ином времени и пространстве героями прежних эпох. Появился ненадолго, по необходимости, чтобы потом снова нырнуть в бездонные глуби, уйти за туманную дымку времени…)

Если бы рядом с Есениным — представим себе такую абсолютно невозможную ситуацию — не было бы Клюева и он по какой-либо причине поддался бы на «заманки» Маяковского и пошёл бы за ним — он бы погиб как поэт. Во всяком случае, того Есенина, которого мы знаем, не было бы в помине. И Клюев это прекрасно понимал, и Есенин если не осознавал в полной мере, то чувствовал. Отсюда и «лампадное масло», и «исконное… посконное…». Дескать, вы с нами на своём языке говорите, а мы поговорим на своём…

А дабы не углубляться в то, во что углубляться не стоит, лучше привести дарственные надписи на фотоснимках, которыми обменялись друзья.

«Сергею Есенину. Прекраснейшему из сынов крещёного царства, моему красному солнышку, знак любви великой — на память и здравие душевное и телесное. 1916 г. Н. Клюев».

И — ответ Есенина: «Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Серёжа. 1916 г. 30 марта. Пт.».

Любому неиспорченному взгляду очевидны нежность и любовь в духе людей, которые стали друг другу родными подушам.

Но вернёмся к Надежде Плевицкой.

* * *

Она не просто сдружилась с Клюевым. Они стали делать общее дело. Весной 1916 года Николай вместе с Надеждой отправились в концертную поездку по России — Витебск, Минск, Могилёв, Гомель, Киев, Орёл, Тамбов, Пенза, Сызрань, Двинск. В афишах Клюев значился как «народный поэт — сказатель былин». Некоторые концерты проходили в прифронтовой полосе, когда на железнодорожные пути, подходящие к городу, падали бомбы и снаряды.

В мае по нездоровью Плевицкой концертное турне прервалось, а следующая поездка состоялась уже в ноябре — декабре того же года. Сначала юг России и Кавказ — Баку, Тифлис, Владикавказ, Армавир, Ставрополь, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Потом Москва, Нижний Новгород, Владимир, Тверь… Все концерты проходили с неизменным успехом и благожелательной прессой.

«Голубь мой, — писал Клюев Ширяевцу из Армавира в Ташкент. — Я на Кавказе. Спасибо за „Запевку“ (книга Ширяевца. — *С. К.)*. Может, доеду до тебя…» Так и не доехал и уже из Петрограда писал в следующем письме: «Я был на Кавказе и положительно ошалел от Востока. По-моему, это красота неизречённая. Напиши мне, можно ли у тебя пожить хоть месяц?»

В это же пребывание Клюева с Плевицкой на Кавказе произошло событие, которое не могло не явиться тяжким знамением для Николая. Попутно он печатал стихи в газетах посещаемых городов и, естественно, читал, что пишут о их совместных с Надеждой выступлениях. И вот что довелось ему прочесть в «Закавказской речи» от 17 ноября.

«Смерть поэта Верхарна.

Из Руана сообщают в Париж.

14 ноября бельгийский поэт Верхарн, прибывший в Руан в воскресенье для прочтения лекции, возвращался в Париж с поездом в 16 часов со станции на Зелёной улице. Намереваясь сесть на тронувшийся поезд, Верхарн от толчка поскользнулся и упал под колёса вагона. Он был поднят умирающим в страшно изуродованном виде».

Несчастный случай… Но для Клюева, хорошо знавшего стихи бельгийского классика, — это не случайность. Волей-неволей вспомнились верхарновские строки стихотворения «К будущему»:

Поля кончают жизнь под страшной колесницей,
Которую на них дух века ополчил,
И тянут щупальцы столица за столицей,
Чтоб высосать из них остаток прежних сил.
Фабричные гудки запели над простором,
Церковные кресты марает чёрный дым,
Диск солнца золотой, садясь за косогором,
Уже не кажется причастием святым!

Это — прямое созвучие с Клюевым, с его предчувствием «лиха и гибели во мгле» от «Чугунки»… Европейский собрат, предупреждавший человечество о наступлении «страшной колесницы», погиб от неё сам… Вот тут впору и поразмыслить — насколько творимое Николаем не имеет отношения к «общечеловеческому»…

* * *

Семнадцатого марта 1915 года министр внутренних дел правительства Российской империи утвердил устав «Общества возрождения художественной Руси». В уставе общества формулировалась как необходимость его создания, так и стоящие перед ним насущные задачи: «…ещё нигде не осознавалась общая задача такого возрождения художественного быта древней Руси, которое могло бы дать широким кругам общества побудительный толчок к отказу от иностранных заимствований, предпочтению русских образцов, и далее — ознакомив всех с высоким достоинством этих последних, заставить изучить, а следовательно — и полюбить их, дало бы новую жизнь русскому самобытному творчеству для преемственного возрождения давно забытого прошедшего. С последней именно целью учреждается „Общество возрождения художественной Руси“…

1. „Общество возрождения художественной Руси“ имеет целью распространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное его развитие в применении к современным условиям. Деятельность Общества распространяется по всей России.

2. Для достижений указанной цели Общество имеет в виду… распространять сведения о художественной стороне церковного и гражданского быта древней Руси и возбуждать к ней общественное внимание путём устройства чтений и бесед, а равно — путём издательства, заботясь при этом о чистоте русской разговорной речи и книжного языка».

Николай II направил председателю Общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову Высочайшую телеграмму: «Сердечно приветствую добрый почин учредителей общества, желаю быть осведомлённым о всех его трудах и успехах. Николай».

Штаб-офицер для поручений при коменданте Царскосельского дворца, лейб-гвардии Павловского полка полковник Дмитрий Николаевич Ломан стал одним из администраторов и организаторов Общества и осенью того же года, познакомившись с Николаем Клюевым и Сергеем Есениным, стал вынашивать план выступления «сказителей», как он их называл, живых носителей «древнего русского творчества» в его современных «проявлениях» — при дворе.

Легко сказать — познакомившись… Это «знакомство» было организовано, и организатором его был не кто иной, как Григорий Распутин.

«Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь отцом родным, обогрей. Робяты славные, особливо этот белобрысый. Ей-Богу, он далеко пойдёт» — такое сопроводительное письмо Распутин отправил с «робятами» Ломану.

Так что несколько в иной последовательности протекал клюевский вояж, нежели описан он в 1922 году в «Гагарьей судьбине».

«В Питере на Гороховой бес мне помехой на дороге стал. Оболочен был нечистый в пальто с воротником барашковым, копыта в калоши с опушкой упрятаны, а рога шапкой „малоросс“ накрыты. По собачьим глазам узнал я его.

„Ты, — говорит, — куда прёшь? Кто такой и откуда?“

„С Царского Села, — говорю, — от полковника Ломана… Григория Ефимовича Новых видеть желаю… Земляк он мой и сомолитвенник…“»

К «земляку и сомолитвеннику» Клюев пришёл до Ломана, будучи уже, по его собственным словам, знакомым с Распутиным, дорогу к которому ему теперь загораживал «бес» — царскосельский привратник. А Клюев и здесь зрел сущность за оболочкой.

«В горнице с зеркалом, с образом гостинодворской работы в углу, ждал я недолго. По походке, когда человек ступает на передки ног, чтобы лёгкость походке придать, учуял я, что это „он“. Семнадцать лет не видались, и вот Бог привёл уста к устам приложить. Поцеловались попросту, как будто вчера расстались.

„Ты, — говорит, — хороший, в чистоте себя соблюдаешь… Любо мне смирение твое: другой бы на твоём месте в митрополиты метил… Ну да не властью жив человек, а нищетой богатной!“

Смотрел я на него сбоку: бурые жилки под кожей, трещинка поперёк нижней губы и зрачки в масло окунуты. Под рубахой из кручённой китайской фанзы — белая тонкая одета и запястки перчаточными пуговками застёгнуты; штаны не просижены. И дух от него кумачный…»

Клюеву важна каждая деталь и одежды, и обихода. Как заново всматривается он в давнего знакомца и «сомолитвенника» и отмечает про себя его слова, что на месте Клюева другой «в митрополиты бы метил»… А глядя на Распутина, подумаешь: тут не «митрополит», тут — выше бери…

Всё подмечает Клюев: и столик с дешёвыми бумажными салфетками, и иконы не истинные, «лавочной выработки», и истинную «серебряную лампадку»… И в самого Распутина всматривается внутренним зрением, понимая, что тот так же видит и его.

«Перед пирогом с красной рыбой перекрестились на образа, а как „аминь“ сказать, внизу или вверху — то невдогад — явственно стон учуялся.

„Что это, — говорю, — Григорий Ефимович? Кто это у тебя вздохнул так жалобно?“

Лёгкое удивление и как бы некоторая муть зарябила лицо Распутина.

„Это, — говорит, — братишко у меня тебе жалуется, а ты про это никому не пикни, ежели Бог тебе тайное открывает… Ты знаешь, я каким дамам тебя представлю? Ты кого здесь в Питере знаешь? Хошь русского царя увидеть? Только пророчествовать не складись… В тебе ведь талант, а во мне дух!..“»

Нет, Клюев не хочет видеть царя… Дамам он позже будет представлен, но сейчас отмечает, как Распутин пытается распределить «роли» на будущую встречу, дабы Клюев его не

«заслонил»… Других нечего опасаться. А этот — может.

И понимает распутинское беспокойство Клюев. И переводит разговор на другое.

«Неладное, — говорю, — Григорий Ефимович, в народе-то творится… Поведать бы государю нашу правду! Как бы эта война тем блином не стала, который в горле комом становится?..»

Знает ведь, кому говорит. Чует отношение Распутина к длящейся второй год войне (а ведь могло распутинское слово предотвратить роковой шаг ещё год назад — да вовремя на него покушение было устроено), и сам Клюев, очнувшийся от первоначального военного угара, уже написавший «Нивушку-чернёшеньку» и «Покойные солдатские душеньки…», переживал всё происходящее как предапокалиптическое время. Распутину на больную мозоль наступил — и тот среагировал. И сам перевёл разговор.

«Я и то говорю царю, — зачастил Распутин, — царь-батюшка, отдай землю мужикам, не то не сносишь головы!»

Ой ли! Зная отношение Николая II к частному землевладению, сунулся бы Распутин к нему с такой речью? А мог и сунуться. Ведь когда приставали к нему репортёры различных газет — прямо им отвечал: «Интересуюсь я теперь мужичком, от него всё. Вот построили вокзал. Хороший вокзал… А где же мужички? Их под лавку загнали. А ведь деньги-то они давали на постройку.

Вот вы все пишете про меня небылицы, врёте, а я ведь за мужичков… Мы теперь решили ставить архиереев из мужичков. Ведь на мужицкие деньги духовные семинарии строятся…

На чём Россия держится?.. На мужике. Вот закрывают кабаки — два закроют, а один откроют, а мужики тащат да тащат деньги… Поеду в Петербург, буду стараться за мужичков…

Ты вот что, дорогой, напиши, коль ты так уж писать хочешь… вот что: всяка аристократия мужиком питается… Мужичок — есть сила и охрана аристократии-то. Мужичок — знамя, и знамя это всегда было и всегда будет высоко…»

Но сейчас перед ним не царь и не газетный корреспондент, а Клюев, отношение которого к «землице Божьей» знает Григорий Ефимович. И подыгрывает, не лицемеря. Ибо сам понимает — это последняя и единственная возможность предотвратить грядущий пожар. Упование. В общем-то, уже несбыточное.

И опять всё видит Клюев. И снова пытается говорить о другом.

«Старался я говорить с Распутиным на потайном народном языке о душе, о рождении Христа в человеке, о евангельской лилии, он отвечал невпопад и наконец признался, что он ныне

„ходит в жестоком православии“. Для меня стало понятно, что передо мной сидит Иоанн Новгородский, заклявший беса в рукомойнике, что стон, который я слышал за нашей молитвой перед пирогом, суть жалоба низшей пленённой Распутиным сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а поклонился ему по-монастырски…»

И уже обозначив отчётливую дистанцию между собой и Распутиным, проведя незримую и непереходимую черту, привёл к нему Клюев Есенина, который, судя по всему, чрезвычайно понравился «старцу», больше, чем его «сомолитвенник», — и получили они тогда рекомендательное письмо к полковнику Ломану. А тот взялся за дело по-хозяйски.

По донесениям филёров, Дмитрий Николаевич Ломан с октября 1914-го по декабрь 1916 года посещал Распутина 19 раз. И тут — хочешь не хочешь — задашь вопрос: какую роль он играл в дворцовой интриге вокруг «старца»?

Сын Д. Н. Ломана вспоминал, как «появился Клюев, такой же благостный, каким я привык его видеть. Он мне напоминал попа-расстригу, а они у нас тоже время от времени появлялись. На этот раз Клюев был не один. С ним пришёл молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубахе и русских цветных сапогах на высоченном каблуке. Я на него взглянул, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только сошёл с серого волка».

Сам полковник Ломан устраивал чтение (по отдельности) Николая Клюева и Сергея Есенина перед императрицей Александрой Фёдоровной. Клюев в «Гагарьей судьбине» вспоминал об этом чтении без особого восторга: «Как меня учил сивый тяжёлый генерал, таким мой поклон русской царице и был: я поклонился до земли, и в лад моему поклону царица, улыбаясь, наклонила голову. „Что ты, нивушка, чернёшенька…“, „Покойные солдатские душеньки…“, „Подымались мужики-пудожане…“, „Песни из Заонежья“ цветистым хмелем сыпались на плеши и букли моих блистательных слушателей.

Два раза подходила ко мне царица, в упор рассматривая меня. „Это так прекрасно, я очень рада и благодарна“, — говорила она, едва слышно шевеля губами. Глубокая скорбь и какая-то ущемлённость бороздила её лицо.

Чем вспомнить Царское Село? Разве только едой да дивным Феодоровским собором. Но ни бархатный кафтан, в который меня обрядили, ни раздушенная прислуга, ни похвалы генералов и разного дворового офицерья не могли размыкать мою грусть, чувство какой-то вины перед печью, перед мужицким мозольным

лаптем».

А ещё раньше, в январе 1916 года, Клюев и Есенин выступали перед великой княгиней Елизаветой Феодоровной сначала в Марфо-Мариинской обители, а потом в её московской резиденции, и получили от неё по экземпляру Евангелия и серебряные образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии…

Послушаем снова самого Клюева: «Гостил я и в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Феодоровны. Там легче дышалось и думы светлее были… Нестеров — мой любимый художник, Васнецов на Ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Феодоровна и простая, спросила меня про мать мою, как её звали и любила ли она мои песни. От утончённых писателей я до сих пор таких вопросов не слыхал».

Неспроста, ох неспроста зашёл этот сердечный душевный разговор в покоях великой княгини. Подготовилась она к этой беседе. И чем больше думаешь об этих встречах — тем естественнее приходишь к выводу: это были смотрины. Елизавета Феодоровна, ненавидевшая Распутина, присматривалась к Клюеву, подведённому к ней деятелями из «Общества возрождения художественной Руси» и полковником Ломаном в частности.

В 1906 году генеральша А. В. Богданович записала в своём дневнике: «Мадемуазель Клейгес говорила, что в бумагах покойного Трепова нашли документы, из которых ясно, что он собирался уничтожить всю царскую семью с царём во главе и на престол посадить великого князя Дмитрия Павловича, а регентшей великую княгиню Елизавету Феодоровну».

Слухи ли, сплетни ли — но разговоры такие ходили… При любых обстоятельствах, по мнению великой княгини и её окружения, Распутин подлежал удалению от дворца. И физическому уничтожению. А на его место… коли иного варианта не просматривается… хотите мужика — будет вам мужик!

Клюев нутром почуял, что его самого и его любимого друга затягивают в смертоносную воронку, чего не почувствовал Есенин, для которого осталось загадкой поведение Клюева в эти дни. В контексте этих событий становится понятным смысл есенинского письма Михаилу Мурашову от 29 июня 1916 года: «Дорогой Миша! Приветствую тебя из Москвы. Разговор у меня был со Стуловым, но немного, кажется, надо погодить. Клюев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику. Стулов в телеграмме его обругал, он, оказывается, был у него раньше, один, когда ездил с Плевицкой и

его кой в чём обличили».

Н. Стулов, как Есенин, служил в это время в чине прапорщика при Царскосельском военном санитарном поезде № 143 и исполнял разнообразные поручения Д. Н. Ломана, в частности, устраивал Клюева и Есенина на жительство в Москве для выступлений перед Елизаветой Феодоровной. Жаль, что не сохранилась его телеграмма и невозможно сказать — в чём именно Стулов «обличил» Клюева. Но фраза «я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику» говорит о том, что Клюев, гостивший у Есенина в Константинове, отказался ехать с ним в Петроград, где, видимо, предполагалась очередная встреча с членами царской фамилии. Отсюда и «политика» в письме ничего не понявшего Есенина, который был обречён возвращаться к месту воинской службы.

«Гришка Распутин мне дорогу перешёл. Кабы не он — я был бы при царице…» Это Клюев говорил уже в начале 1930-х годов, многое перечувствовав и переосмыслив, когда в «Песни о Великой Матери» рисовал портрет Николая II почти идиллической акварелью, где Распутин выступает как нечистый («Где с дитятей голубится чёрт») из заводи реки Смородины, разрушающий царскую обитель.

Вот он, речки Смородины заводь,
Где с оглядкой, под крики сыча,
Взбаламутила стиркой кровавой
Чёрный омут жена палача!
……
Ярым воском расплавились души
От купальских малиновых трав,
Чтоб из гулких подземных конюшен
Прискакал краснозубый центавр.
Слишком тяжкая выпала ноша
За нечистым брести через гать,
Чтобы смог лебедёнок Алёша
Бородатую адскую лошадь
Полудетской рукой обуздать!

А перед революцией многие сравнивали самого Клюева с «краснозубым центавром».

* * *

Весной 1917 года Николай Гумилёв написал, пожалуй,

лучшее своё стихотворение. Одно из немногих стихотворений, пронизанных подлинным страхом, и, наверное, единственное, где этот страх продиктован ощущением неумолимой поступи рока, надвигающегося на Россию. Это стихотворение «Мужик».

В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и тёмных,
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
……
Вот он уже и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной негромкой,
Но озорной, озорной.

Считается, что стихотворение насыщено приметами биографии Распутина. Но есть в нём и ещё один смысловой слой, не сразу угадывающийся.

Гумилёв никогда не встречался с Распутиным. При чтении же «Мужика» создаётся устойчивое впечатление, что речь идёт о человеке, хорошо знакомом Гумилёву лично, и на наших глазах совершается контаминация образов царского фаворита и того, с кого Гумилёв по сути писал его портрет. С Николая Клюева, образ которого в литературных кругах Петербурга уже тугим узлом связался с образом Распутина.

«В конце 1915 года, — вспоминал Рюрик Ивнев, — иеромонах Мардарий, приехавший за несколько лет до этого из Сербии, прочёл в Колонном зале Дворянского собрания лекцию „Сфинкс России“, в которой, не называя имени Распутина, обрушился на него с обвинениями в подрыве основ Империи.

С не меньшим основанием фразу „Сфинкс России“ можно применить и к поэту Николаю Клюеву. Он был загадочен с головы до ног».

Это воспоминания 1969 года. А по горячим следам писали и говорили куда хлеще: «Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идёт снизу, а приходит и с самого верха. Клюевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но — это нужно заметить — в те годы скорее ждала революции сверху… Распутинщиной от клюевщины несло,

как и теперь несёт» (В. Ходасевич).

Вернёмся, однако, к Гумилёву.

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.

Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.

Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?

Что за апокалиптическая картина? А ведь в ней заключён глубинный смысл.

Гумилёв пишет сюжет с Распутиным, а видит перед собой Клюева, носившего на груди древлеправославный восьмиконечный крест, ставший символом православия после разделения христианской церкви на западную и восточную и, отвергнутый, изгнанный отовсюду после нововведений Никона. «Всюду во всей России, — писал Фёдор Мельников, — на всяком подобающем месте возвышались и сияли своим благолепием восьмиконечные кресты Христовы: на святых храмах Божиих, на колокольнях, над входными воротами в ограду церковную, даже над воротами и калитками каждого дома христианского… Возвышался он над хоругвями, сам будучи хоругвиею христианства, над дверями церковными и во всех других местах храма Божия, где полагался Крест; на груди всякого русского человека висел восьмиконечный крестик, хотя и на четвероконечном, как на основе изображённый…» Восьмиконечный крест отчётливо виден на груди Клюева на петроградской фотографии 1916 года, где он снят рядом с Сергеем Есениным.

Древняя мужицкая Русь в образе не то Распутина, не то Клюева входит в «гордую нашу столицу», и при её появлении готовы покинуть свои места «крест на Казанском соборе и на Исакии крест» — символы и хранители императорской, романовской России, замершей в предчувствии неминуемого возмездия.

Над потрясённой столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.

Поразительный образ! Львица — глава прайда, охотница и добытчица (охотник и путешественник Гумилёв хорошо знал повадки этих зверей). Мужицкая Россия — добыча градальвицы сама превращается в охотника на своего преследователя-хищника. И конца этой новой охоте не предвидится.

Что ж, православные, жгите
Труп мой на тёмном мосту,
Пепел по ветру пустите…
Кто защитит сироту?

В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный шум их шагов.

Стихотворение «Мужик» было написано в марте 1917 года и напечатано в книге «Костёр», вышедшей в 1918 году. Но нет никаких сомнений, что Клюев знал его до публикации. Весной 1917-го он был в Петрограде, очевидно, слышал его от самого Гумилёва и уже осенью написал свой ответ.

Меня Распутиным назвали.
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны,

Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах…

Клюев, утрируя слухи и сплетни, ходящие по столице о Распутине и применяя их к себе, подчёркивает своё первородство, обозначает свой природный русский и одновременно вселенский духовный исток — в образе Царьграда, Святой Софии, где Лев — сакральное животное в клюевском мире — не охотник на

человека и не защитник от него своего потомства. В клюевской «алконостной России» они говорят на одном языке, который неведом мнимым друзьям и приятелям и временным «единомышленникам», окружавшим его в столице в канун краха империи.

Картавит дружба: «Святотатец».
Приятство: «Хам и конокрад».
Но мастера небесных матиц
Воздвигли вещему Царьград.

В тысячестолпную Софию
Стекутся зверь и человек.
Я алконостную Россию
Запрятал в дедовский сусек.
……
Потомок бога Китовраса,
Сермяжных Пудов и Вавил,
Угнал с Олимпа я Пегаса,
И в конокрады угодил.

Слишком жива была в памяти Клюева встреча с Распутиным, с которым он пытался, но так и не смог найти общий язык.

И не мог Клюев не вспомнить своё посещение Царского Села и своих совместных с Есениным чтений перед Елизаветой Феодоровной в январе 1916 года в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке и в её московской резиденции. Тогда-то и пущен был по питерским салонам слух о нём, как о новом Распутине. И «распутинский» мотив уже не отпустит его практически до конца жизни. Только если Распутин в реальности и клюевском представлении — охранитель и надежда трона, то Клюев — в 1917-м — его сокрушитель.

После гибели Распутина Ломан заказал Клюеву и Есенину стихотворный сборник в честь императорского дома. Императорский дом доживал последние недели, а царедворцы всё ещё играли в политику, просчитывали «тактику» и «стратегию». Благо — перед глазами уже был наглядный пример: книга вопиюще бездарных и не менее крикливых стихотворений Сергея Городецкого «Четырнадцатый год» с привлекшим всеобщее внимание «Сретеньем царя»… Клюев отозвался на предложение, более похожее на требование, поразительным документом, названным «Бисер малый от уст мужицких» (по образцу древней рукописной книги). Это не объяснение, не письмо, не послание. Это — духовный манифест.

В нём сконцентрировалось всё клюевское пребывание в литературном мире двух столиц. Унижение и злорадство писательского круга, вечные отсылки критиков к Никитину, Кольцову и Сурикову… Но не это главное, всё это — попутно. Главное — небесная Русь, воплощённая в художественном слове, как его понимали древнейшие русские устная и книжная традиции. Формально Клюев отзывается на приглашение Ломана, но по сути — пишет императору и царскому дому.

Здесь Клюев поднимается на удивительную высоту, с которой он, обладающий правом, дарованным тысячелетней традицией, обозревает всё художественное пространство России, накануне грандиозного мирового катаклизма. В этот раз он пишет:

«Государь и милостивец.

Брат Сергей поведал мне пресладостную весть о том, что Вам положил Бог на душу желание предать тиснению купно мои и Сергиевы писания. Усматривая в таковом душевном желании Вашем веяние Духа Животворящаго, пекущагося о всякой правде и красоте, и под тем или иным видом укрепляющаго в вечном свитке русско-народнаго творчества дела слабых рук наших и словеса наших грешных уст, я, Ваш, Государя моего, покорнейший слуга, имею честь доложить Вам, от совести моей, следующее: всякая книга достигает до высокаго и до низкаго, до сильнаго и до дрожащаго, наипаче же книга, отразившая в себе век, веру или дух народа и его природы; такой всосавшей в себя жизнь и родную природу книгой являются писания брата Сергея Александровича Есенина. Говорю сие не для слов, а от ясных осознанности и духовнаго прозрения златоустнаго лика Есенина в ряду таких жизнеписателей, как Андрей Рублёв, Гурий Никитин с товарищи и протч.

От Киевских пещер до Соловков тянется незримая для гордых глаз, золотая тропа русско-народнаго творчества. Те люди, которые протоптали эту тропу, много страдали, много трудились, много пролили крови… Теперешние же писатели и художники думают, что они родились сами по себе, скроенные из разрозненных лоскутьев западной мысли и дела. У них есть так называемая литература, они гордятся сказанным миру новым, будто бы русским словом, но то, что кажется последним достижением их мысли, давно родилось в стихийной душе народа. Доказательством же сего и служит медовое искусство брата Сергия…

Ведь это то же самое, что в гурьевских росписях церкви Златоуста, что на Коровниках, в Ярославле. Ведь это те же фрески, и в них открывается совершенно новый эстетический мир, необыкновенно поучительный для понимания русской души.

Но и помимо этой поучительности есть в них ещё власть даже над утратившей веру душой: незримыя нити возвращают блудного сына к воспоминаниям детства, пробуждают что-то вечно дремлющее в низинах души. Так, живя в столице, погрузившись с головой в деловую, сухую суету, всё же встрепенёшься и вспомнишь о чём-то родном и далёком при звоне пасхальных колоколов. С Итальянских озёр, где вечно празднует природа, всё же тянет русского человека домой, на лесную опушку, в тенистый овраг за селом, или в ржаное поле, откуда видны золотыя маковки (это — воспоминание клычковских рассказов о путешествии Сергея Антоновича в Италию. — *С. К.)*…

Поэзия Никитина и Спиридона Дрожжина не есть русская поэзия, их стих, где голыя фабула и тенденциозность, пришедшия от немецкаго мещанскаго искусства, далёк нашей душе. Мы же с Есениным, как и далёкие наши братья, древние изографы, умеем облекать свои мысли в образы, в затейную, как арабская вязь, форму. Для нас, как и для наших художественных предков, задачи декоративный так же близки и дороги, как и задачи повествовательный. В искусстве не одна, а тысячи ценностей, но ничего не стоящее в нём — это так называемый реализм…

Языческо-папитское понимание искусства не допускает, напр., петь про Христа, сидящаго на завалинке. (Это — о есенинской „маленькой поэме“ „Исус-младенец“, ещё не напечатанной, но читанной Клюеву. — *С. К.)* Но Христос на завалинке, как и росписная мужицкая дуга, в которую впряжён огненный коренник, возносящий пророка Илию на небо, понятны лишь пчелиному сердцу юноши христианина, для котораго просто недопустимы без Христа мужицкий обиход и вся русская природа.

Дуга на небесном кореннике и вятский колоколец под ней кажутся неуместными и кощунственными для известной породы людей, неспособных ни на духовное, ни на просто житейское дерзание, не верующих в общение земли с небом, доверяющих больше градуснику, чем голубю — вестнику того, что земля суха, стихли ветры и масличное дерево зеленеет по-прежнему. Где же больше правда, в градуснике или в голубе? Я и Сергей веруем в голубя. И как художники-христиане благословляем блаженные персты, изобразившие русскую дугу на иконе — знак того, что земля и небо — кровная родня…

Существует тайное народное верование, что Русь не кончается здесь, на земле, что всё праведное на Руси возсоздаётся и на небе. Иначе и быть не может. Верите же Вы фотографической пластинке, запечатлевающей внешнюю жизнь, почему же не поверить и в то, что Ваша Трапезная палата — плод чистой мысли

и устремления — отражена в сферах небесных. Есенин и я веруем в это крепко. Когда утихнет военная буря, очистится от щепного и человеческого мусора новопостроенный Вами Китеж (Фёдоровский собор. — *С. К.),* замерцает в ободе его врат доброочитый Спас с Егорием, сгинут из теремов биллиарды и рояли, а взамен их войдёт в терем белица-тишина, Вам будет понятно, что Вы свили гнездо Фениксу, посадили злато-древный дуб, под которым явится Рублёвская Тройца. Ибо только тогда Русь вышлет к Вам новых Рублёвых, Иоаннов Кронштадтских, трудников чистаго слова, мысли и молитвы. И каким бы высоким счастьем почёл я лично надеть вериги, и в костромском кафтане, с бородой по локоть, с полупудовым узорным ключом — быть привратником у такого Феникс-града!

Верьте, Государь мой, что только творческая белая тишина крепко обяжет людей на чистое поведение в стенах Ваших теремов: никто не посмеет в них закурить, плюнуть на пол, рассказать похабный анекдот. Скажу Вам правду: „Святой Руси“ угрожает нашествие мещанства.

Английско-франко-немецкая перечница сыплет в русскую медовую кутью зелёный перец хамства, пинкертоновщины, духовного осотонения. Вербовка под стяг Сатаны идёт успешно. Что же нерушимая стена, наш щит от всего этаго? Ответ один: наша нерушимая стена — русская красота.

На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкия Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик Царя и аромат храмины Государевой — я отвечу словами древлей рукописи:

„Мужие книжны писцы золотари заповедь и часть с духовными приемлют от Царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми“.

Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чём не имеешь никакого представления. Говорить же о чём-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этаго окромя лжи и безобразия не выйдет.

Остаюсь Вас Государя моего покорнейший слуга и молитвенник Николай Алексеев Клюев».

…Он, нутром чуявший, что неспроста все эти приглашения, забота и обласкивания, что его с любимым другом втягивают в многослойную и опаснейшую интригу, он, потомственный старовер — со всеми своими религиозными отступами и

отклонениями, — не доверявший Романовым, — не мог не ответить сплетникам и клеветникам от имени Вечности.

За евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не обёрточный Романов,
А вечность жалует меня.

Увы, для паюсных умишек
Невнятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.

Но Бог с ними, с обёрточными Романовыми… А вот «евхаристия шаманов» дорогого стоит. За этой евхаристией, поистине, может быть лишь одно причащение — кровью и огнём. Он знал, что впереди: кровь и огонь.

Глава 11
ПЕРЕД ПОЖАРОМ

1916 год ознаменовался для Клюева и Есенина двумя важными событиями. В феврале в издательстве М. В. Аверьянова вышла есенинская «Радуница» (его первая книжка), а чуть раньше, в конце января — клюевский сборник «Мирские думы», состоящий из двух разделов: сами «Мирские думы», включающие и «Поминный причит», и «Слёзный плат», и «Беседный наигрыш, стих доброписный» — и «Песни из Заонежья», составленный из клюевских вариаций на мотивы северного фольклора, завершаемый «Скрытным стихом». Книга получила восторженные отзывы критики.

«…За четыре года поэт прошёл большой путь, и трудно узнать в Клюеве „Мирских дум“ Клюева „Сосен перезвона“». Чужой символизм стихов, посвящённых Александру Блоку, «…уступил место крепким образам, уже несомненно принадлежащим или Клюеву, или тому, чем жив Клюев теперешний…». Так писал о «Мирских думах» Натан Венгров — как будто от недочитанного и плохо понятого «Сосен перезвона» (где не было никакого «чужого символизма» — уж нечто подобное заметил бы чрезвычайно внимательный к подобным «заимствованиям» Гумилёв) перешёл сразу к последней книге, минуя «Лесные были». С концептуальной статьёй «Земля и железо» выступил Иванов-Разумник: «Со старонародным словом, со старонародной мирской думой приходит в город Клюев; сила его в земле и в народе… На Русь деревенскую, лесную, полевую… поднялось войной железо: вот глубина мысли народной… Конечная победа — за силой любви, за силой духа, а не за силой железа, в чьих бы руках оно ни было…» Но настоящий гимн «Мирским думам» спела Зоя Бухарова в приложении к «Ниве»: «…Мы так долго жили в недостойном рабстве у Запада, что совсем ещё недавно всё национальное должно было великим трудом пробивать себе дорогу… На благодатную, подготовленную почву пало в настоящие дни творчество Николая Клюева — самого талантливого, мудрого и цельного из… поэтов-крестьян, стоящих совершенно в стороне от всех столь противоречивых литературных течений последнего времени. „Мирские думы“ обвеяны духом чрезвычайной значительности, духом исключительного, сосредоточенного единства…»

Десятого февраля 1916 года Есенин и Клюев в литературном кружке слушательниц Императорского женского педагогического

института познакомились с профессором Павлом Никитичем Сакулиным, известным учёным-филологом. Впечатление профессора от бесед с поэтами и чтения их книг позже воплотилось в его статье «Народный златоцвет», напечатанной в мае в журнале «Вестник Европы». В ней во многом расставляются основополагающие акценты в разговоре как о народной поэзии, так и о поэзии Сергея Есенина и Николая Клюева.

Но прежде чем обратиться к статье Сакулина, вспомним о безымянной статье «Умирающая русская песня», напечатанной в журнале «Москва» в сентябре 1913 года.

«Народная песня — это живая художественная летопись народной жизни. Только в ней и сказывались таившиеся в народе творческие возможности, творческие силы… И вот теперь эта народная песня, эта художественная исповедь народа умирает с каждым днём, с каждым часом. Вместе с отхожими промыслами, с железными дорогами, с фабриками и заводами, угрюмые трубы которых высятся теперь и среди полей, вместе с каменными городами — в глухие деревенские углы, в крестьянские низы пробирается развязная, цинично-развратная пьяная фабричная частушка. Крикливая, пришла она и воцарилась на деревенской улице, на крестьянских свадьбах, на очаровательных, полных непосредственного увлечения „посиделках“ (беседах) молодёжи, и утвердилась во всех значительных моментах деревенской жизни, в обрядностях, для которых народная фантазия сложила свои особые, обвеянные глубоким поэтическим вдохновением песни.

Чтобы понять, какая красота уходит из жизни, нужно попасть в далёкие медвежьи углы, сохранившие ещё свой неприкосновенный облик, и здесь слушать народных певцов, число которых с каждым годом всё уменьшается. Деревня начинает забывать свои прекрасные песни».

Трудно не заметить, что отдельные места этой статьи типологически совпадают с текстом будущего есенинского трактата «Ключи Марии». Трудно также отделаться от мысли, что «Ключи Марии» начали складываться уже в 1916 году под впечатлением бесед с Клюевым, который также горевал о гибели старой русской песни и терпеть не мог частушку, под впечатлением от его «Избяных песен», которые более всего любил Есенин в клюевской поэзии, — и в своеобразном отталкивании от статьи Сакулина, возражавшего против подобного «пессимизма».

«Поэтическое творчество русского народа не замерло: оно приняло лишь новые формы. Предаваться печальным ламентациям решительно нет никакого основания. Замечательно, что те, кому удаётся глубже заглянуть в творческую душу народа,

возвращаются из деревни не с хмурыми лицами, а с запасами самых бодрых впечатлений… О. Э. Озаровская не иначе выражается о своём посещении Севера, как о поездке „за жемчугом“… Ошибочность ходячих представлений об „упадке“ народной поэзии объясняется, во-первых, давней привычкой судить о народе как бы огульно, а во-вторых, недостаточной осведомлённостью. По ложной традиции „народ“ мыслится как слитая воедино масса. Этого никогда не было, нет и теперь… Традиционная поэзия не является в руках народа мёртвым капиталом, а находится в состоянии непрерывной переработки, и народная память хранит лишь то, что теперь продолжает говорить его сердцу и уму…

Во всех отмеченных стадиях и формах так наз. народной поэзии мы видим продукты творчества отдельных личностей, усвоенные массой и устно распространяемые.

Имена этих поэтов из народа остаются по большей части неизвестными. Но всегда были, есть и теперь поэты, имена которых спасены от забвения. Степень их самобытности, так сказать, „народности“, до бесконечности разнообразна. Некоторые совершенно утратили своё „народное“ лицо, слились с общей массой литераторов. Таких, окультуренных, писателей в современной печати действует очень много. Рядом с ними найдутся, однако, и такие, которые, свободно, развернув свою поэтическую индивидуальность, не порвали с народной почвой, творя в народном стиле и часто для народа».

К последним Сакулин отнёс и Клюева, и Есенина.

В своём протесте против «ходячих представлений об „упадке“ народной поэзии» Сакулин был отчасти прав, но не меньшая правда была и на стороне поэтов, отчётливо представлявших себе процесс «разложения» старонародного творчества. Клюев знал, что говорил, произнося уже после революции речь в Вытегорском красноармейском клубе «Свобода»: «Триста годов назад, когда мужику ещё было где ухорониться от царских воевод да от помещиков, народ понимал искусство больше, чем в нынешнее время. Но приказная плеть, кабак государев, проклятая цигарка вытравили, выжгли из народной души чувство красоты, прощёную слёзку, сладкую тягу в страну индийскую… А тут ещё немец за русское золото тальянку заместо гуслей подсунул — и умерла тиха-смирна беседушка, стих духмяный, малиновый. За ним погасли и краски, и строительство народное. Народился богатей-жулик, мазурик-трактирщик, буржуй треокаянный. Сблазнили они мужика немецким спинджаком, галошами да фуранькой с лакировкой, заманили в города, закабалили обманом по фабрикам да заводам; ведомо же, что в 16-тичасовой упряжке не

до красоты, не до думы потайной. И взревел досюльный баян по-звериному:

Шёл я верхом, шёл я низом, —
У милашки дом с карнизом,
Не садись, милой, напротив —
Меня наблевать воротит».

Но в отношении «ложной традиции», по которой «народ мыслится как слитая воедино масса», Сакулин был прав «на все сто». Подтверждением тому служит хотя бы письмо Владислава Ходасевича Александру Ширяевцу, которое и поныне служит блестящей иллюстрацией того отношения к народной поэзии, против которого и была направлена статья «Народный златоцвет».

В декабре 1916 года Ширяевец послал Ходасевичу свою книгу «Запевка» с просьбой высказать своё мнение. Ходасевич и высказал: «Мне не совсем по душе весь основной лад Ваших стихов, — как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихи „писателей из народа“. Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах *самого народа,* в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., — утрачивают они главное своё достоинство — примитивизм. Не обижайтесь — но ведь *всё-таки* это уже „стилизация“. И в Ваших стихах, и у других, упомянутых мной поэтов, — песня народная как-то подчищена, выхолощена. Всё в ней новенькое, с иголочки, всё пестро и цветисто, как на картинках Билибина. Это — те „шёлковые лапотки“, в которых ходил кто-то из былинных героев, — Чурило Пленкович, кажется. А *народ* не в шёлковых ходит, это Вы знаете лучше меня.

Народная песня в народе родится и в книгу попадает не через автора. А человеку, уже вышедшему *из* народа, не сложить её. Писатель из народа — человек, из народа ушедший, а писателем ещё не ставший. Думаю — для него два пути: один — обратно в народ, без всяких поползновений к писательству; другой — в писатели просто. Третьего пути нет… Да по правде сказать — и народа-то такого, каков он у Вас в стихах, скоро не будет… У России, у русского народа такое прекрасное *будущее,* что ему (будущему) служить да служить. А старое — Бог с ним… И тот, кто вздумал бы с Вашего места вернуться в народ, — тому пришлось бы только допевать последние старые песни, которые самому народу скоро сделаются непонятны… Хоровод — хорошее дело, только бойтесь, как бы не пришлось Вам водить его не с „красными девками“, а сам-друг с Клюевым, пока Городецкий

барин снимает с Вас фотографии для помещения в журнале „Лукоморье“ с подписью: „Русские пейзане на лоне природы“».

Через несколько лет Сергей Есенин в разговоре с Юрием Либединским по-своему как бы заочно ответил на подобные рассуждения: «…Вот ещё глупость: говорят о народном творчестве как о чём-то безликом. Народ создал, народ сотворил… Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы поём, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный — и от меня сохранилось бы только несколько песен».

И напрасно Ходасевич не пожелал вспомнить ни «Тонкую рябину» И. Сурикова, ни «Песню разбойника» А. Вельтмана, ни «Среди долины ровныя» А. Мерзлякова, ни «Дубинушку» А. Ольхина, ни «То не ветер ветку клонит…» С. Стромилова, ни своих любимых «Коробейников» Н. Некрасова (маленький отрывок из большой поэмы стал воистину *народной* песней)… Интересно, кстати, вспоминал ли Владислав Фелицианович, когда писал уже за границей мемуар о Есенине, где привёл и свою переписку с Ширяевцем, строки о «прекрасном будущем русского народа» — к каковому «будущему» он не пожелал вернуться из-за рубежа?..

Не исключено, что «ходасевичской» логикой руководствовались многие стихотворцы, объединившиеся вокруг «Альманаха Муз», где публиковались, в частности, стихи Ахматовой, Гумилёва, Георгия Иванова, Рюрика Ивнева, Кузмина, Липскерова, Константина Ляндау, Николая Недоброво, Бориса Садовского — которые, по воспоминаниям Владимира Чернявского, тоже печатавшегося в сборнике, заявили, что не будут участвовать в альманахе, «если на его страницы будут допущены „кустарные“ Клюев и Есенин». Все добрые слова о Клюеве, написанные и сказанные ими, остались в прошлом.

Ширяевец, почуяв еле скрытый снобизм адресата, ответил своему корреспонденту зло, иронично, с явным нежеланием вдаваться в полемику по существу. Тем паче что явно ощутил пожелание Ходасевича — «слиться с общей массой литераторов» (о чём писал Сакулин). Ответил — в тон и в такт, дескать, не обижайтесь на «убогонького»…

«Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шёлковых лапотках с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или „Летописью“ в руках, захлёбывающийся от

открывающихся там истин?.. Ей-богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне всё же милее омуты, а не купальни… Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно „лозунгами“… Пусть уж о прелестях современности поёт Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем… Придёт предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь „Гранд-Отель“, а потом тут вырастет город с фабричными трубами… И сейчас уж у лазоревого плёса сидит стриженая курсистка или с Вейнингером в руках, или с „Ключами счастья“. Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это всё потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житьё на свете? Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около Мельниковой дочки, а не стриженой курсистки… О современном, о будущем пусть поют более сильные голоса, мой слаб для этого…»

И уж совершенно в особом свете воспринимал Ширяевец строки про «барина Городецкого», уже зная от Клюева все похождения этого «барина» и прочитав письмо самого Городецкого с жалобой на то, что Есенин и Клюев его «предали», а также получив клюевские «Мирские думы» с надписью, только укрепившей Александра в правильности избранного пути: «Русскому песельнику Александру Ширяевцу — моему братику сахарноустому с благословением и молитвой о даровании ему разумения всерусского слова не как забавы, а как подвига и жизни бесконечной. Николай Клюев, январь 1917 г.».

О Ходасевиче же у Клюева через несколько лет нашлись совершенно иные слова, записанные Николаем Архиповым: «„Сердце словно вдруг откуда-то…“ — вот строчка, которой устыдился бы и Демьян Бедный! А она пышно напечатана в „Тяжёлой лире“ Владислава Ходасевича… Проходу не стало от Ходасевичей, от их фырканья и просвещённой критики на такую туземную и некультурную поэзию, как моя „Мать-Суббота“. Бумажным дятлам не клевать моей пшеницы. Их носы приспособлены для того, чтобы тукать по мёртвому сухостою так называемой культурной поэзии. Личинки и черви им пища и клад. Пусть торжествуют!»

«Ходасевич это мёртвая кость, да и то не с поля Иезекиилева, а просто завалящая».

* * *

Есенинская «Радуница» сразу стала объектом пристального внимания критиков, которые наперебой сравнивали молодого поэта с Клюевым. Наиболее отчётливо эту параллель выстроил тот же Сакулин: «Как и у Клюева… „любовь к отечеству“ слита у Есенина с „плакучей думой“ о родине, об этой „горевой полосе“. И он, юный, рвётся к небесному, к вечному… В сердце юноши-поэта „почивают тишина и мощи“, и язык его становится похож на язык Клюева… Клюев и Есенин — тоже „народ“, как и те, кто поёт залихватские частушки… „Народ“ есть нечто многосоставное и сложное; он, если угодно, действительно сфинкс…

Клюев и Есенин нашли заветный клад из самоцветных камней. Благоговейной рукой они выкладывают из них художественно-мозаичные образы. А иногда беззаботно подбрасывают на ладони, любуются их ярким блеском и сочетанием красок…»

Зоя Бухарова акцент сделала на разнице «подхода к темам, манере и формы трактовки». А как общее — было обозначено «кроме их постоянно-совместного публичного выступления, только одно: народность».

Для самого же Клюева разница состояла не в «манере» и не в «форме», а в другом — самом существенном.

«Теперь я в Петрограде живу лишь для Серёженьки Есенина, — писал он Ширяевцу в начале 1917 года, — он единственное моё утешение, а так всё сволочь кругом. Читал ли ты „Радуницу“ Есенина? Это чистейшая из книг, и сам Серёженька воистину поэт — брат гениям и бессмертным. Я уже давно сложил к его ногам все свои дары и душу с телом своим. Как сладостно быть рабом прекраснейшего! Серёженька пишет про тебя статью. Я бы написал, но не умею. Вообще я с появлением Серёженьки всё меньше и меньше возвращаюсь к стихам, потому что всё, что бы ни написалось, жалко и уродливо перед его сияющей поэзией. Через год-два от меня не останется и воспоминания…»

Кажется, что Клюев утрирует. На самом деле он видел в есенинской «Радунице» те естественные чистоту, лёгкость и гармонию рисунка, непринуждённо соединяющего человеческое с божественным, что в настоящее время покидали его собственные стихи, отягощённые тревожными видениями, неподъёмными для души. Слово, призванное для их воплощения, становилось всё более насыщенным гнетущей энергией преодоления, и кажется, что в «Поддонном псалме», который поначалу носил название «Новый псалом», эта поддонная сила вторгается в мир клюевской

Руси из-за посмертных пределов, угрожая не только ушедшим за земную черту, но и живым.

Его всё чаще навещала умершая мать, и он вспоминал, как она явилась к нему во сне после похорон и «показала весь путь, какой человек проходит с минуты смерти в вечный мир…».

Есть моря черноводнее вара,
Липче смол и трескового клея,
И недвижней стопы Саваофа:
От земли, словно искра из горна,
Как с болот цвет тресты пуховейной,
Возлетает душевное тело,
Чтоб низринуться в чёрные воды —
В те моря без теченья и ряби;
Бьётся тело воздушное в черни,
Словно в ивовой верше лососка;
По борьбе же и смертном биенье
От души лоскутами спадает.
Дух же — светлую рыбью чешуйку,
Паутинку луча золотого —
Держит вар безмаячного моря…

Эти видения были явлены поэту задолго до открытия «чёрных дыр» во Вселенной.

Стоит ли удивляться, что душа, отягощённая ими, и впрямь — «чудище поддонное, стоглавое, многохвостое, тысячепудовое» — напоминает древнего Левиафана, и спасение её лишь в светлом видении, что приходит во исполнение веления: «Прозри и виждь: свет брезжит! Раскрылась лилия, что шире неба, и колесница Зари Прощения гремит по камням небесным!» Письменное слово наполняется вселенской тяжестью, изнемогая под ней: «Нет слова неприточного, по звуку неложного, непорочного; тяжелы душе писания видимые, и железо живёт в буквах библий!» Лишь Глагол Добра ведёт к познанию «таин глубинных». И познание таинства родимой речи органично сочетаемо с познанием таинства родимой жизни, где зыбка младенчества — укрепа от земного зла и внеземных кошмаров, где сама Русь — не «жена, одетая в солнце» (этот бестелесный символ ничему противостоять не может, напротив — подвержен всем мыслимым соблазнам), а «баба-хозяйка, домовитая и яснозубая», которой, как и самому поэту — «только тридцать три года — возраст Христов лебединый» (Клюев впервые обозначает свой точный возраст, тогда как везде для посторонних глаз шифровал его, дабы нельзя было по нумерологии «чужим людям»

предсказать его судьбу или узнать его слабости. И его младший современник Борис Шергин скрывал свой истинный возраст)… Здесь невозможно не услышать и полемический отсыл в сторону Николая Бердяева, который в статье «„О вечно-бабьем“ в русской душе» обрушился на книгу Василия Розанова «Война 1914 года и русское возрождение»: «Великая беда русской души в том же, в чём беда и самого Розанова — в женственной пассивности, переходящей в „бабье“, в недостатке мужественности, в склонности к браку с чужим и чуждым мужем. Русский народ слишком живёт в национально-стихийном коллективизме и в нём не окрепло ещё сознание личности, её достоинства и прав…» Бердяеву тут же ответил В. Эрн статьёй «Налёт валькирий»: «„Бабье“ по мысли Бердяева — это что-то чрезвычайно предосудительное, низменное, отрицательное… Прикрываясь Розановым, Бердяев делает налёт на православие…» А клюевская «баба-хозяйка» — народное в личном, персонифицированном, с полновесным ощущением своей земли под ногами и своего неба над головой. Русь — как оплот светлой силы в противостоянии с силой чёрной.

Ель Покоя жильё осеняет,
А в ветвях её Сирин гнездится:
Учит тайнам глубинным хозяйку, —
Как взмесить нежных красок опару,
Дрожжи звуков всевышних не сквасить,
Чтобы выпечь животные хлебы,
Пишу жизни, вселенское брашно…

Он сам, побывавший «под чудною елью» и отведавший «животного хлеба», знает, что спасение и победа над смертью лишь в одном:

Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног:
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог!

Это не имеет никакого отношения к «хлыстовству». В православной церковной традиции «прилагатися» означает «присоединяться». Именно в таком смысле толкуют Отцы Церкви слова Иакова перед смертью: «…аз прилагаюся к людем моим…» И у блаженного Феодорита: «Приложися к народу своему» заключает надежду воскресения… Воскресения вселенского,

воскресения ушедших, прошедших «моря черноводнее вара», воскресения духовной сокровищницы Руси, что незримо сохранялась Божественной волей за века отпадения. Всё оживает в роковой час всемирного противостояния злу и железу.

Пир мужицкий свят и мирен
В хлебном Спасовом раю,
Запоёт на ели Сирин:
Баю-баюшки-баю.

От звезды до малой рыбки
Всё возжаждет ярых крыл,
И на скрип вселенской зыбки
Выйдут деды из могил.

Ключевой образ в «Поддонном псалме» — образ животного хлеба, отсылающий к притче Иисуса Христа о закваске: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё». И к толкованию этой притчи апостолом Павлом: «Разве вы не знаете, что малая закваска квасит всё тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом… станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины…»

«Новое тесто» узрел Клюев в есенинской «Радунице», в центральной вещи книги — маленькой поэме «Микола», герой которой послан Богом на землю, дабы защитить «скорбью вытерзанный люд». И пришедший Микола, «где зовут его в беде», обращается к позвавшим его: «Я пришёл к вам, братья, с миром — исцелить печаль забот… Собирайте милость Божью спелой рожью в закрома…» Сам Есенин становится в восприятии Клюева сродни Миколе, «приложившимся», соединившимся со своим духовным братом, что уже познал и свет Фавора, и воздействие адских сил, дабы изменить своим словом духовный мир Руси, изнемогающей в бесконечной брани.

Земля, как старище-рыбак,
Сплетает облачные сети,
Чтоб уловить загробный мрак
Глухонемых тысячелетий.

Провижу я: как в верше сом,
Заплещет мгла в мужицкой длани, —
Золотобрёвный, Отчий дом

Засолнцевеет на поляне.

Пшеничный колос-исполин
Двор осенит целящей тенью…
Не ты ль, мой брат, жених и сын,
Укажешь путь к преображенью?

«Брат, жених и сын» позднее естественно перейдёт в наставительное и целительное для заблудшего Есенина — «супруги мы». Это «супружество» отсылает к смыслам евангельских образов «брачной одежды», «брачной вечери», «брачного пира», «чертога брачного». Но «супружество» клюевское подлежит более утончённому толкованию в разрезе смыслов, воплощённых в апокрифических евангелиях, в частности в «Евангелии от Филиппа»: «Вот место, где находятся дети чертога брачного… Те, кто там, — не одно и другое, но они оба — только одно…» Ибо этот брак «не плотский, но чистый, он принадлежит не желанию, но воле. Он принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету… И святое святых явилось, и чертог брачный призвал нас внутрь…»

Слишком многое он возлагал на своего «брата, жениха и сына», представляя себя и собрата как единое целое, чья связь скреплена ещё и воздействием сил враждебного мира…

* * *

В течение всего 1916 года Клюев с Есениным были практически неразлучны, исключая то время, когда Есенин, призванный на военную службу, выезжал с санитарным поездом к линии фронта. В конце марта — начале апреля Клюев обратился с письмом к полковнику Д. Ломану:

«Полковнику Ломану

О песенном брате Сергее Есенине моление.

Прекраснейший из сынов крещёного царства мой светлый братик Сергей Есенин взят в санитарное войско с причислением к поезду № 143 имени е. и. в. к. Марии Павловны.

В настоящее время ему, Есенину, грозит отправка на бранное поле к передовым окопам. Ближайшее начальство советует Есенину хлопотать о том, чтобы его немедленно потребовали в вышеозначенный поезд. Иначе отправка к окопам неустранима. Умоляю тебя, милостивый, ради родимой песни и червонного всерусского слова похлопотать о вызове Есенина в поезд —

вскорости.

В желании тебе здравия душевного и телесного остаюсь о песенном брате молельщик

Николай, сын Алексеев, Клюев».

Сам Клюев готов был пойти вместе с Есениным санитаром, но ему, как белобилетнику, было в этом отказано. Есенин же служил в Царском Селе, к линии фронта выезжал дважды в течение года — и со своим неотступным спутником продолжал посещать литературные вечера и принимать участие в публичных выступлениях.

Ещё до призыва «песенного брата» Клюев в «Обществе свободной эстетики» читал «Беседный наигрыш», а Есенин — «Песнь о Евпатии Коловрате». «Школа сценического искусства» В. Сладкопевцева (который обозвал Есенина «футуристом») сменяется Пенатами, где поэты гостят у И. Е. Репина. Оба присутствуют в зрительном зале курсов Поллак на Галерной на представлении Общедоступного и Передвижного театра пьес Рабиндраната Тагора «Письмо царя» и князя М. Волконского «Освобождение», читают стихи на вечере «сказки и былин» актрисы и исполнительницы русских народных сказок В. Уструговой и на «вечере-беседе» о войне, устроенном обществом «Соборная Россия» в зале городского попечительства о бедных Петрограда в Геслеровском переулке, где председатель совета общества А. Васильев выступает с патетической речью: «Вселенная и есть мировой порядок — великая тайна Божия… Глубочайшее в этой тайне миростроительства таинство — это всеобщее жертвоприношение: принесение всеми стихиями и существами мира себя в жертву, плодом которой является новая, более совершенная ступень мировой жизни. Война — неизбежное и законное явление предустановленного Творцом порядка мировой жизни… Нынешняя война — великое для России счастье: она уже отрезвила и обновила народ, восстановляет внутреннее в нём единство и выявляет таившуюся внутреннюю силу, красоту и доблесть. Образчик этой духовной мощи и красоты будет представлен в произведениях приглашённых в собрание деревенских стихотворцев и в пении и сказах баяна-гусляра…»

И Клюев, и Есенин читали о «великом счастье», постигшем Россию.

На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.

Это — Клюев. А Есенин читал свою чистую и печальную «Русь»:

Понакаркали чёрные вороны
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озёр.
……
Повестили под конами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

* * *

«Счастья» тогда было в России действительно хоть залейся.

Кадровая армия была практически выбита к весне 1915 года. Пополнение шло из льготников и даже частично белобилетников, никогда в армии не служивших и не умевших обращаться с оружием. Дезертирство принимало массовый характер, и уже после революции вылавливались дезертиры *Первой мировой войны*, чтобы поставить их под ружьё. Отсутствие винтовок, патронов, снарядов превращало военные действия в сущий кошмар, когда в состоянии оцепенения солдаты прислушивались к вою немецких орудий и видели массовую гибель товарищей — а ответить было нечем…

Героизм отдельных частей сплошь и рядом обесценивался стратегическими просчётами и провалами. То, что творилось в тылу, напоминало пир во время апокалипсиса. Частные военные заводы взвинчивали цены на продукцию в полтора-два раза выше казённых. Предприниматели качали дикие субсидии из казны, по ходу дела проплачивая либералов из Государственной думы, прикрывавших их делишки. «Фонды помощи» раненым, беженцам и вдовам присваивали себе колоссальные суммы. Стратегическое сырьё и военное имущество наряду с зерном и продовольствием продавались противнику через нейтральные государства… При этом в деревнях была введена продразвёрстка, что, понятно, не улучшало отношение народа, и так измученного войной за непонятные ему цели, к правящему режиму. И как всегда бывает в подобных ситуациях, махровым цветом цвела шпиономания. А параллельно со всем этим витала крамольная идея. По

воспоминаниям А. Ф. Керенского, «в 1915 г., выступая на тайном собрании представителей либерального и умеренного меньшинства в Думе и Государственном Совете, обсуждавшем политику, проводимую царём, в высшей степени консервативный либерал В. А. Маклаков сказал, что предотвратить катастрофу и спасти Россию можно, лишь повторив события 11 марта 1801 г.». То есть убийство Павла I. То же самое предлагал и генерал Крымов.

В это время одна из верных конфиденток Григория Распутина записывает тяжкие и мудрые слова «старца»: «Страна наша богатая, край сытый — ешь, пей, наслаждайся! И так жил русский народ. И, ох, как жил. Русский боярин, генерал, богатеи, купцы в скверности большой пребывают. Теснят бедноту, последнюю рубашку с нищего драли, лжой его обирали. Бедняков друг на дружку натравливают. Тако беззаконие творят. И вот дела их. Перепортив дома чистых отроковиц, опоганив чужих жён, что эти охальники делают? Они уезжают в чужие земли к иноверцам. Там наворованную казну вытряхивают и в пьянстве озорном своё отечество предают. Вот что делают князья и вельможи наши. И купцы бахвальники и генералы спесивые. А священнослужители? Они останавливали ли их, забывших честь и Бога? Они, не убоявшись сильных и могучих, говорили ли им: куда идёте, безумцы? Зачем тешите дьявола, уготовляя себе ад кромешный. За что обижаете младшую братию — народ, который на вас, окаянных, денно и нощно работает? Пошто творите беззаконие сие? Нет, они молчали. Нет, они жадно выманивали у них подачки, жирели от кусков со стола злодеев! Отращивали себе животы семипудовые. Говорили богатеям: грешите, сквернословьте, обирайте. Только не забывайте нас, и мы у Бога вымолим вам прощение. Жертвуйте на церковь, и простится вам…

Кто хуже мужика живёт? И сам голодный, и скотина. И что же вышло? Возненавидел народ начальство. Нет у него веры и в священство. Пока молчит эта ненависть — бороться с ней можно. А как заговорит она — горе великое будет! О, если заговорит злоба народная — будет сотрясение страшное, камни запрыгают…

В Думе кто орудует? Помещик, генерал пыжистый, жиды-христопродавцы. Неужто им наше русское житьё интересно? Сколько лет эта Дума нам головы морочит, а что она хорошего для народа удумала, кому от неё улучшение вышло? Да никому. Соберутся да грызутся. Да ещё величаются: я, де, за народ стою, я ему лучшую жизнь пробиваю. А сам так и стреляет, где бы ему лишний кусок оттяпать, от сытого житья отчего же не повилять

хвостом, не поговорить, не погорячиться. Оно даже для приятства идёт, в теплоте погреться…

Говорю Вам — земля Русская в большом шатании. Как буря рвёт листья, ломает ветви, дубы, рвёт корни… и тут сломает, вырвет столетнего богатыря с корнями, вырвет, изломает… Буря всё может!..»

Запись этих слов датируется 20 сентября 1916 года.

Зреет совершенно определённый план — ради спасения монархии заключить сепаратный мир с немцами, что совершенно не отвечало интересам союзников, прежде всего — англичан. Именно под их давлением был снят со своего поста премьер-министр Штюрмер. Николай II поддаётся нажиму союзников — да чему же удивляться, если сам Распутин говорил о нём: «Папа… что ж. В нём ни страшного, ни злобного, ни доброты, ни ума, всего понемногу. Сними с него корону, пусти в кучу — в десятке не отличишь. Ни худости, ни добротости — всего в меру. А мера куцая, для царя маловата. Он от неё царской гордости набирается, а толку мало. Не по сеньке шапка…»

Об Александре Фёдоровне — иные слова: «Никакой в ней фальши, никакой лжи, никакого обмана. Гордость — большая. Такая гордая, такая могучая. Ежели в кого поверит, то ж навсегда… Многие понятия о ней не имеют. Думают, либо сумасшедшая, либо двусмыслие в ней какое. А в ней особенная душа. Нет, в её святой гордости никуда, кроме мученичества, пути нет».

Рождается новый план. Организация «хлебных бунтов» с их последующим подавлением, роспуском Думы, введением чрезвычайного положения — и сепаратным миром. Через бунт, через кровь, но — мир с последующим замирением «общественности» и приведением в «надлежащий вид» потенциальных заговорщиков из царского дома и генералитета. Здесь — безусловная солидарность императрицы с Распутиным — с опорой на начальника Петроградского военного округа, начальника Петроградского охранного отделения, коменданта Петропавловской крепости, директора Департамента полиции… Для заговорщиков же, находящихся в прямой связи с английской разведкой, главная опасность — Распутин. Дни его сочтены. И сам он об этом знает. Чувствует в последние дни, что не придётся ему пройти по земле грозою…

Роковой знак — жестокая ссора между Александрой Фёдоровной и её сестрой, великой княгиней Елизаветой, для которой Григорий был предметом неутихающей ненависти. Последняя фраза уходящей Елизаветы: «Помни о судьбе Людовика и Марии Антуанетты!»

И — убийство Распутина… Подлинная картина этого кровопролития не восстановлена по сей день.

Был ли посвящён Клюев в злодейство, сотворённое зимним вечером 1916 года? Невозможно утвердительно ответить на этот вопрос, но невозможно не задать и другой: только ли художественное воображение диктовало ему монолог главного организатора убийства — великого князя Дмитрия Павловича — в позднейшей «Песни о Великой Матери»?

Чу! Звякнул медною подковой
Кентавр на площади Сенатской.
Сегодня корень азиатский
С ботвою срежет князь Димитрий.
Чтоб не плясал в плющевой митре
Козлообраз в несчастном Царском.
Пусть византийским и татарским
Европе кажется оно,
Но только б не ночлежки дно,
Не белена в цыганском плисе!
«Не от мальчишеской ли рыси
Я заплутал в бурьяне чёрном
И с Пуришкевичем задорным
Варю кровавую похлёбку?
Ах, тяжко выкогтить заклёпку
Из царскосельского котла,
Чтоб не слепила злая мгла
Отечества святые очи!..»
Так самому себе пророчил
Гусарским красноречьем князь…

Монархия Романовых сама по себе была для Николая врагом русского народа, попирателем его духа и веры. И Григорий Распутин был живым олицетворением этой вражеской силы.

Господи, опять звонят,
Вколачивают гвозди голгофские,
И, Тобою попранный, починяют ад
Сытые кутейные московские!

О душа, невидимкой прикинься,
Притаись в ожирелых свечах
И увидишь, как Распутин на антиминсе
Пляшет в жгучих, похотливых сапогах…

Для Клюева стёрлась (как и для многих) всякая разница между Распутиным-человеком и Распутиным-образом сплетен и газетных хроник. Тем легче было поставить своё несмываемое клеймо.

Что, как куща, вереД-стол уютен,
Гнойный чайник, человечий лай,
И в церквах обугленный Распутин
Продаёт сусальный, тусклый рай.

* * *

А в это время выступления Есенина и Клюева встречали в отечественной прессе весьма жёсткий приём.

«Городецкий ушёл, но его поэты — Клюев и Есенин — кажется, ещё обвевают крылами своей „избяной“ поэзии новое общество…

Их искание выразилось главным образом в искании… бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фабричных, модных, форсистых, помады головной и чуть ли не губной…

Вообще всего того, без чего, по понятию и этих „народных“ поэтов, немыслим наш „избяной“ мужик».

«А поэты-„новонародники“ гг. Клюев и Есенин производят попросту комическое впечатление в своих театральных поддёвках и шароварах, в цветных сапогах, со своими версификаторскими вывертами, уснащёнными какими-то якобы народными, непонятными словечками. Вся эта нарочитая разряженность не имеет ничего общего с подлинной народностью, всегда подкупающей искренней простотой чувства и ясностью образов».

На этом фоне особо выделился отзыв Александра Тинякова в газете «Земщина». Статья называлась «Русские таланты и жидовские восторги».

«Истинной красоты, истинного величия и настоящей глубины евреи самостоятельно заметить и оценить не могут. Даже и тогда, когда кто-нибудь натолкнёт их на „истинное“, — и то они разобраться толком в глубоком явлении не умеют, а главным образом „галдят“ около значительного имени. „Галдежом“ своим, даже и сочувственным, они приносят в конце концов вред, потому что мешают вникнуть в истинный смысл того явления, о котором галдят… потому что среди талантливых русских людей очень много людей, по характеру своему мелких и слабых. Пойдя на удочку еврейской похвалы, эти маленькие таланты гибнут, не

принося и половины той пользы родине, которую могли бы принести…

Приехал в прошлом году из Рязанской губернии в Питер паренёк — Сергей Есенин.

Писал он стишки, среднего достоинства, но с огоньком, и — по всей вероятности — из него мог бы выработаться порядочный и полезный человек. Но сейчас же его облепили „литераторы с прожидью“, нарядили в длинную, якобы „русскую“ рубаху, обули в „сафьяновые сапожки“ и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот, позоря имя и достоинство русского мужика, пошёл наш Есенин на потеху жидам и ожидовелой, развращённой и разжиревшей интеллигенции нашей… Со стороны глядеть на эту „потеху“ не очень весело, потому что сделал Есенин из дара своего, Богом ему данного, употребление глупое и подверг себя опасности несомненной. Жидам от него, конечно, проку будет мало: позабавятся они им сезон, много — два, а потом отыщут ещё какую-нибудь „умную русскую голову“, чтобы и в ней помутился рассудок…»

…Клюев, естественно, не мог быть согласен с основным в своей крайней несправедливости посылом Тинякова — что, дескать, именно «литераторы с прожидью» облачили Есенина в «русскую» рубаху и «сафьяновые сапожки»… В то же время он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что печатается он со своим другом именно у издателей-евреев — идёт ли речь о «Биржевых ведомостях» или о «Северных записках», издательница которых Софья Чацкина истерически вопила, узнав о чтении стихов Есениным перед императрицей: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» — что тут же разошлось по писательским домам, и началось нашёптывание: «антисемит»… Так что ничего удивительного, что в стихотворении, посвящённом «отроку вербному», Клюев дал свою оценку змеиному шёпоту:

Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп;
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин — поэт-юдофоб!»

О бездушное книжное мелево,
Ворон ты, я же тундровый гусь!
Осеняет Словесное дерево
Избяную дремучую Русь!

Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,

И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!

Белая Индия… Это — основополагающий образ клюевской поэзии, впервые возникший у него в предреволюционном 1916 году. Возникший не случайно. И в своём повороте к Востоку Николай был не одинок.

Глава 12
БЕЛАЯ ИНДИЯ

Сын староверов и великий русский энциклопедист, начавший своё обучение в Выговской пустыни, Михаил Ломоносов, ассоциировавшийся у Клюева с самим народом («за обозом народ — Ломоносов в песнорадужном зипуне»), разрабатывал проект движения российских судов через Северный Ледовитый и Тихий океаны в Индию… Речь шла об обретении новых геостратегических основ России в мировом бытии. И, возможно, не только — ибо, утверждал Ломоносов: «и целой Ориентальной академии быть бы полезно». И если ранее поиски путей на Восток были вызваны именно стремлением к мирной торговле, то при Павле I Россия открыто бросила вызов Британской империи, отправив под началом генерала Платова казачий корпус в Индию — с целью, в том числе, овладения Тибетом. Корпус прошёл 1564 версты, когда его настигло известие об убийстве императора. Как писал французский журнал «Монитор» — «Павел I умер в ночь с 24 на 25 марта. Английская эскадра прошла Зунд 31-го. История узнает связь, которая могла существовать между этими двумя событиями».

Пройдёт менее ста лет — и в 1893 году принявший православие тибетский врач Жамсаран Бадмаев представит Александру III доклад «О задачах русской политики на азиатском Востоке», где напишет о необходимости присоединения к Российской империи Тибета, Монголии и Китая… «Восточный проект» поддержат митрополит Антоний Волынский (Храповицкий), архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), архиепископ Андрей Уфимский (князь Ухтомский), позже перешедший в старообрядчество. А уже в 1910–1914 годах Николай II разрабатывает план присоединения на началах автономии к Российской империи Тибета, поддержанный, с одной стороны, далай-ламой, а с другой — германским императором Вильгельмом, заинтересованным в том, чтобы вытеснить с Востока Британскую империю. Так что втягивание Антантой России в войну с Германией при помощи своей «внутренней партии» имело безусловный геополитический смысл.

Но одно дело — геополитика, другое — историческая и духовная связь Руси и Индии. Ещё в Древней Руси было сложено «Слово о рахманах» и переведено на русский «Сказание об Индийском царстве». Это греческое творение XII века, написанное в форме послания индийского царя и священника-христианина

Иоанна византийскому императору Мануилу, при всей фантастичности отвечало давней мечте христиан Восточной Европы и Малой Азии о сильном православном государстве на Востоке, способном противостоять язычникам и мусульманам. «Сказание об Индийском царстве» получило распространение на Руси во второй половине XV века, когда уже было сложено тверским купцом Афанасием Никитиным его знаменитое «Хожение за три моря» — в ту страну, куда издавна стремились русская мечта и мысль, нащупывающие подспудную тесную связь, соединяющую два мира. Никитин завершил своё «Хожение» прославлением Бога на арабском языке с цитатой из 59-й суры Корана и мусульманским перечнем божественных имён.

В разное время и по-разному открывался русским людям таинственный Восток.

«В Юаньши, гл. XXIV, записано под 1330 г., что император Вэнь-цзун (1329–1332), правнук Кубилая, создал русский полк под начальством темника. Название полка — Сюан-хун — У-ло-се Ка-ху вей цинюои — Вечно верная русская гвардия…» Это цитата из статьи Э. Брейтшнейдера «Русь и Асы на военной службе в Пекине», напечатанной в «Живой старине» в 1894 году.

Речь идёт о тверичах, разгромленных ордынцами и Иваном Калитой в 1327 году, угнанных в полон и ставших воинами, псарями и сокольничьими при китайском императорском дворе. О них писал в 1960-х Сергей Николаевич Марков — собеседник Клюева конца 1920-х годов — в книге «Земной круг».

«Русские невольники, — писал Марков, — разделяли с китайским народом все те тяготы, которым он подвергся во время правления хана Шунь-ди…

И кто знает, может быть, русские люди принимали участие в освободительных восстаниях против монгольского владычества в Китае?.. Русские люди были свидетелями свержения ненавистного господства дома Юань в Китае. Может быть, последний великий хан увёл с собою своих русских невольников? Ответить на этот вопрос невозможно.

Но не здесь ли и скрыта вековая загадка Беловодья? Вспомните, как ещё лет сто назад бородатые алтайские кержаки искали свою страну обетованную в пределах Западного Китая, в Монголии, пробираясь к озеру Лобнор? Какие жизненные корни имела старая сказка о заповедном Беловодье, о звоне русских колоколов в самой глубине Центральной Азии? Может быть, привлекательная для русских раскольников легенда была основана на вполне жизненных событиях далёкого прошлого?»

Клюев знал и о поисках староверами истинных благочестивых епископов, которые, по преданию, скрывались в Ливанских горах

или в Египте — на берегах Нила. Он знал о путешествии иноков Павла и Алимпия в Сирию, Палестину и в Египет, где близ Каира они и нашли старцев-старообрядцев. Знал он и о том, что выговский старец Михаил Вышатин окончил свои дни в Палестине. Это знание и рождало строки, пронизанные ощущением русской вселенскости:

С Соловков до жгучего Каира
Протянулась тропка — Божьи чётки,
Проторил её Спаситель Мира,
Старцев, дев и отроков подмётки.

Русь течёт к Великой Пирамиде,
В Вавилон, в сады Семирамиды;
Есть в избе, в сверчковой панихиде
Стены Плача. Жертвенник Обиды.

О связи с дальним и прекрасным Востоком, об «Индеюшке богатой», о таинственном Беловодье, где нет власти, людьми поставленной, где правой вере простор, где свободен дух человеческий, где обретает волю и покой тот, кто войти туда достоин, — повествовалось в староверческих апокрифах, многие из которых могли и не дойти до нас — ибо не подлежали лицезрению праздных глаз, оставались глубоко под спудом, передавались лишь в руки верных — и гибли в исторических катаклизмах, а то и вовсе не записывались, передавались из уст в уста, вроде того песнопения, которым уже после революции завершил Клюев своё стихотворение в прозе «Красный конь»:

Эх ты, сердце наше — красный конь,
У тебя подковы — солнце с месяцем,
Грива-масть — бурливое Онегушко,
Скок — от Сарина Носа к Арарат-горе,
В ухе Тур-земля с тёплой Индией,
Очи — сполохи беломорские, —
Ты лети-скачи, не прядай назад; —
Позади кресты, кровь гвоздиная,
Впереди — Земля лебединая.

Тайные списки легенды о Беловодье в XIX веке изымались и хранились в секретных полицейских архивах… Они были и своего рода руководством для путника, что идёт к земле обетованной через зашифрованные точки маршрута.

«Маршрут, сиречь путешественник: от Москвы на Казань, от Казани до Екатеринбурга и на Тюмень, на Каменогорск, на Выбернум деревню (Барнаул. — *С. К.),* на Избенск (Бийск. — *С. К.),* вверх по реке Катуни на деревню Устьюбу, во оной спросить странноприимца Петра Кириллова.

Около их пещер множество тайных и мало подале от них снеговые горы распространяются на 300 вёрст, и снег никогда на оных горах не тает. За оными горами деревня Умоменская (Уймон. — *С. К.)* и в ней часовня; инок схимник Иосиф. От них есть проход Китайским государством, 44 дня ходу, через Губань, потом в Опоньское государство. Там жители имеют пребывание в пределах окияна-моря, называемое Беловодие. Там жители на островах семидесяти, некоторые из них и на 500 верстах расстоянием, а малых островов исчислить невозможно…

Бог наполняет сие место…

В том месте приходящих из России принимают первым чином: крестят совершенно в три погружения и желающих там пребыть до скончания жизни…

В тамошних местах татьбы и воровства и прочих противных закону не бывает. Светского суда не имеют; управляют народы и всех людей духовным власти. Тамо древа равны с высочайшими древами. Во время зимы морозы бывают необычайные с рассединами земными. И громы с землетрясением немалые бывают. И всякие земные плоды бывают; родится виноград и сорочинское пшено. И у них злата и серебра несть числа, драгоценного камения и бисера драгого весьма много. А оные опоньцы в землю свою никого не пущают и войны ни с кем не имеют: отдалённая их страна. В Китае есть град удивительный, яко подобного ему во всей подсолнечной не наберётся».

Эта легенда о таинственном Беловодье возникла ещё до раскола, но после него обрела новый смысл. Речь ведь идёт не о доселе неизвестной — о забытой земле. И из поколения в поколение передаётся завет — найти тот край, дорога к которому позабыта — а лежит этот край в восточной земле, и бредут староверы на поиски некогда утерянного рая земного.

Там — в Уймонской долине — действительно оседали многие из русских странников, пустившихся на поиски Беловодья. Другие же шли дальше, на Восток.

Поиски — поисками, а была ещё и прапамять, хранящая знание о едином истоке, о котором стали писать и издавать книги в России и Индии в начале XX века.

К 1916 году, на который в клюевском восприятии приходится пик противостояния вербы и железа, Руси и Запада — Николай обретает тайное знание этой связи — и её воплощение в его

поэтическом творчестве растянется на несколько лет. Ключевым в этом никак композиционно не организованном поэтическом цикле станет стихотворение (точнее, минипоэма) «Белая Индия».

«Сказка — алмазный узор», утерянная Всевышним, что обронил её «в Глуби Глубин», исчезла «на дне всех миров, океанов и гор» — и ни один архангел не смог отыскать её — ни у Смерти, ни у Времени, ни у Месяца, ни у Солнца, — до тех пор, пока

Земля — Саваофовых брашен кроха,
Где люди ютятся средь терний и мха,
Нашла потеряшку и в косу вплела,
И стало Безвестное — Жизнью Села.

В Белой Индии обретение селом «Безвестного» влечёт «загадок и тайн золотой приворот»… И разгадка этих тайн приводит к прозрению путей, соединяющих современность с праисторией, когда арьи (в изначальном значении — пахари) слагали вещие гимны о своей прародине, уходя чрез горы и реки на юг, сохранив и приумножив тайное знание в дебрях Индостана.

На дне всех миров, океанов и гор
Цветёт, как душа, адамантовый бор, —
Дорога к нему с Соловков на Тибет,
Чрез сердце избы, где кончается свет…

Избяной космос и Белая Индия здесь едины в своём гармоничном соитии, и сокровища мирового духа и мировой культуры под пером олонецкого странника становятся в один ряд с нерукотворной красотой северных лесов, восточных пустынь, южных ароматных чащ, красотой Русской Избы и Индийской Пагоды… Трапеза за столом родного дома несёт смысл обретения Солнца и вызывает в памяти создание богом Вишну предков из *трёх лепёшек*… (И как тут не вспомнить процедуру выдерживания младенца Николая в хлебной квашне?)

Сократ и Будда, Зороастр и Толстой,
Как жилы, стучатся в тележный покой.
Впусти их раздумьем — и въявь обретёшь
Ковригу Вселенной и Месячный Нож —
Нарушай ломтей, и Мирская душа
Из мякиша выйдет, крылами шурша.
Таинственный ужин разделите вы,

Лишь смерти не кличьте — печальной вдовы…

«Сократ и Будда, Зороастр и Толстой» — это соединение четырёх потоков мысли, изошедших из четырёх сакральных точек Земли — Греции, Индии, Персии и России. Всё сокровище человеческой мысли, унаследованное Землёй, исходит из этих четырёх источников, что соединяются воедино в «Белой Индии» — на Русском Севере — прародине человечества, в легендарной Гиперборее. Веды и Авеста повествуют о ней, а Эллада — духовное дитя классического Древнего Востока — унаследована русской архаикой — чрез Византию, что одарила Русь словом Христовым. И неназываемая икона Спаса Нерукотворного осеняет клюевскую Белую (северную) Индию со всеми её сокровищами.

В потёмки деревня — Христова брада,
Я в ней заблудиться готов навсегда,
В живом чернолесьи костёр разложить
И дикое сердце, как угря, варить,
Плясать на углях и себя по кускам
Зарыть под золою в поминок векам,
Чтоб Ястребу-духу досталась мета —
Как перепел алый, Христовы уста!
В них тридцать три зуба — жемчужных горы,
Язык — вертоград, железа же — юры,
Где слюнные лоси, с крестом меж рогов,
Пасутся по взгорьям иссопных лугов…
Ночная деревня — преддверие Уст…
Горбатый овин и ощеренный куст
Насельников чудных, как струны, полны…
Свершатся ль, Господь, огнепальные сны?!

Это символическое «саморасчленение» помимо всего прочего отсылает к древнеиндийскому мифу о великане Пуруше, из тела которого после жертвоприношения было создано всё мироздание: дух воплотился в луну, глаз — в солнце, уста — в богов Индру и Агни, дыхание — в ветер, пуп — в воздушное пространство, голова — в небо, ноги — в землю, ухо — в четыре стороны света… Через много лет Клод Леви-Строс откроет то, что Клюев знал изначально: «Запад, хозяин машин, обнаруживает очень элементарные познания об использовании и возможностях той высшей машины, которой является человеческое тело. Напротив, в этой области и связанной с ней области отношений между телесным и моральным Восток и Дальний Восток обогнали Запад

на несколько тысячелетий…» Стихотворение «„Я здесь“, — ответило мне тело…», позже названное «Путешествие», воспроизводит путь по вселенной тела, где семь чакр, известных из учения йоги, — нервных сплетений, воздействие на которые регулирует здоровье человека, полностью соответствуют семи точкам, известным русским знахарям: сахасрара соответствует родничку, аджна — челу, вишудха — горлу, анахата — сердцу, мерударда — ярлу, манипура — животу, свадхистхана — роду. Клюевское плавание по миру тела — открытие новых материков с их собственной жизнью. В «сердце мысе» — «цветут миндаль и кипарис», на «острове Печень» — «в долинах с жёлчными лучами отары пожранных овец», живот — «плотяные Печенеги», где «населяет гребни суши крылатый яростный народ»… Словно Одиссей, пройдя опасные земли, поэт причаливает к желанному краю — роду, где зарождение нового слова и нового учения неотрывно от самого процесса оплодотворения.

Как звездотечностью пустыни
Везли семь солнц — пророка жён, —
От младшей Евы, в Месяц Скиний,
Род человеческий рождён.

Здесь Зороастр, Христос и Брама
Вспахали ниву ярых уд,
И ядра — два подземных храма
Их плуг алмазный стерегут.

(Впрочем, здесь несомненно видны и следы чтения «Авроры» великого немецкого мистика, выходца из народной среды Якова Бёме, пользовавшегося особым вниманием Клюева, который безусловно разделял ненависть немца к учёности как сугубо цеховой науке — «Я учусь у рябки, а не в Дерптах»… «Всё тело сего мира подобно человеческому телу, — вещал Бёме, — ибо в самой внешней своей окружности оно окружено звёздами или взошедшими силами природы; и в теле правят семь духов природы, а сердце природы — посреди них внутри».)

Клюевский космос сосредоточен в северной деревне, которая сама воплощает собой единый узел времён и пространств… Композиционные схемы вышитого и тканого орнамента, идентичные в Индии и на Русском Севере (богини с поднятыми вверх руками, утицы и павы, композиции из четырёх свастик, соотносящиеся с понятием «аскезы пяти огней» — стояния жреца между четырьмя кострами под лучами солнца, однородная символика плодородия на орнаментированной рубахе), были

хорошо знакомы Клюеву… «В пёстрой укладке повойник и бусы / свадьбою грезят: „Годов пятьдесят / Бог насчитал, как жених черноусый / выменял нас молодухе в наряд“…» Женский повойник, также связанный с символикой плодородия, равнозначной у русов и арьев, — не только память о матери и свидетельство некогда бывшего достатка в доме (за повойник отдавали две дойные коровы) — но и наглядное свидетельство той незримой нити, что пронизывает все стихи Клюева ближайших пяти-шести лет:

Помнит моя подоплёка
Жёлтый Кашмир и Тибет,
В шкуре овечьей Востока
Теплится жертвенный свет.
……
Я — лежебок из чулана
В избу зазимки принёс…
Нилу, седым океанам,
Устье — запечный Христос.

Так вещает сам тулуп поэта, висящий в чулане, а поэт, вслушиваясь в безмолвную речь одушевлённого друга, находит свой ответ:

Кто несказанное чает,
Веря в тулупную мглу,
Тот наяву обретает
Индию в красном углу.

«Индия» неизменно ставится в красный угол, «все разноверья и толки» омываются в православной купели, а сама связь — таинственна, незрима и несказанна, доступна лишь *ведающему* тайну, разлитую в воздухе Божественного мира.

И невозможно не обратиться здесь к ещё одной ключевой фигуре русской культуры XX века, уже напрямую связанной с Клюевым — к Николаю Константиновичу Рериху.

* * *

Они познакомились в 1915 году в обществе «Краса». Сблизили их горячая любовь к русской истории и к древнерусскому искусству, духовные поиски «Града Невидимого»

и стремление восстановить давно распавшуюся и почти позабытую связь между русским и индийским народами, доказать их извечную близость друг к другу.

Многое в «листах» Рериха тех лет было духовно родственно Клюеву.

«Приходят враги разорять нашу землю, и становится каждый бугор, каждый ручей, каждая сосенка ещё милее и дороже. И отстаивая внешне и внутренне каждую пядь земли, народ защищает её не только потому, что она своя, но потому, что она и красива, и превосходна, и, поистине, полна скрытых значений.

Велика красота русская, у нас бесконечно много того, что ещё недавно считалось неценным. Чего не видно из окон вагона, когда, бывало, ездили „куда следует“. Чего мы не хотели знать. Как вообще не хотели знать свою собственную землю…

Знаю, пройдёт испытание. Всенародная, крепкая доверием и телом Русь стряхнёт пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберётся сил. Найдёт клады подземные.

Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша — полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила.

Русь верит и ждёт».

Похоже на неспешную беседу, ведущуюся в глубоком раздумье — и тональность сродни тонкой цветовой и световой тональности полотен, оттеняющей глубокое внутреннее напряжение — из жизни Древней Руси: «Человечьи праотцы», «Вестник», «Знамение», «Звёздные руны», «Заклятие земное», «Прокопий праведный за неведомых плавающих молится».

И одновременно с Древней Русью создавались полотна, посвящённые далёкой Индии: «Дессавари Абунту», «Дессавари Абунту с птицами», прототипом которых служили фрески Аджанты.

Пройдут годы — и Рерих в книге «Алтай — Гималаи» будет пересказывать «Индийское Евангелие» — «в рукописях, имеющих древность около 1500 лет», «как говорят в Гималаях о Христе». «Индийское Евангелие» вспоминал и Клюев — и трудно подумать, что не вели они бесед между собой об этом удивительном сказании в год предреволюционного катаклизма.

Апокрифическое «Тибетское евангелие» было одной из настольных книг Клюева.

«Четырнадцати лет молодой Иисус, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев, в благословенной Богом стране.

…Он оставил заблуждавшихся поклонников Джайна и остановился в Джаггернате, в стране Орсис, где покоятся

смертные останки Виассы-Кришны, и там белые жрецы Брамы устроили ему радушный приём.

Они научили Его читать и понимать Веды, исцелять молитвами, обучать и разъяснять народу Священное Писание, изгонять из тела человека злого духа и возвращать ему человеческий образ…»

Далее рассказывается, что Иисус «ходил к Судрам, проповедовать против Браминов и Кшатриев», что Он «отвергал божественное происхождение Вед и Пуран», «отрицал Тримурти и воплощение Пара-Брамы в Вишну, Сиву и других богов», за что белые жрецы и воины решили убить Его, но Он бежал и «поселился в стране Гаутамидов, где родился великий Будда Скиа-Муни», то есть в Непале и Гималайских горах. Из другого источника, приводимого Рерихом, в книге «Алтай — Гималаи» следует, что «Иисус преодолел горный проход, и в главном городе Ладакха — Лехе. — Он был радостно принят монахами и людьми низкого состояния. И Иисус учил в монастырях и на базарах; там, где собрался простой народ, — именно там Он учил… По Тибетскому Евангелию из Гималаев путь Его лежал в Перси. И обратно — в страну Израиля».

Рерих читал Клюеву своё стихотворение, написанное в 1911 году, где звучали имена его самого и членов его семьи — как звали их, по убеждению художника, в III веке до н. э. в Китае, и где упоминался легендарный камень Чинтамани («Сокровище Мира»), что был принесён по древнему преданию на Землю с Ориона, камень, наделённый таинственной лучевой силой, влияющей на рост духовного потенциала жителей страны, его обретшей.

Камень, знай, Камень, храни.
Огнь согрей, Огнем зажгися.
Красным от гнева.
Синим — спокойным.
Зелёным — познанья.
Знай один. Камень храни.
Фу, Ло, Хо, камень несите.
Воздайте сильным.
Отдайте верным.
Йенно Гуйо Дья прямо иди.

Прямо идущий — сам Рерих в своей предшествующей инкарнации. Несущие камень — жена и двое сыновей.

Воспоминания о беседах с Рерихом, о его стихах через несколько лет отложатся в строках Клюева, которые войдут в

книгу «Львиный хлеб».

Помню пагодные узоры,
Чайный сад и плеск че-чун-чи.

Гималаи видели ламу
С ячменным русским лицом…
Песнописец, Волгу и Каму
Исчерпаю ли пером…
……
В веретёнце — жалобы вьюги,
Барабинская даль в зурне…
Самурай в слепящей кольчуге
Купиною предстанет мне…

…Клюев совершал путь духовный — Рерих совершил путь физический и окончил свои дни в Индии, в долине Кулу. И уже с далёкого Востока раздавался его призыв: «Итак, надо всеми физическими условностями и разделениями намечаются возможности нового истинного общего единения. Во имя этого мира всего мира, во имя мира для всех, во имя взаимного понимания радостно произнести здесь священное слово „Шамбала“».

«Шамбала» — буквально «Белый остров», а источник этого имени — в «Махабхарате» (страну вечного счастья, «блаженный остров» индусы называли «Шветадвипа» — что также означает «Белый остров»). И велик соблазн услышать в словах Рериха клюевскую ноту, прозвучавшую в стихах, написанных десятью годами ранее:

Уплывём же, собратья, к Поволжью,
В папирусно-тигриный Памир!
Калевала сродни желтокожью,
В чьём венце ледовитый Сапфир.
В русском коробе, в эллинской вазе
Брезжат сполохи, полюсный щит,
И сапфир самоедского князя
На халдейском тюрбане горит.

Дух поэта «рыщет, где хочет» — но именно дух. Не «сказку богомерзкую», якобы могущую воплотиться в геополитической реальности, искал он, «сказку», что способна исказить любой поиск, предпринятый с самыми благородными целями.

…Тогда же, после начала Первой мировой войны, появились и первые работы будущих евразийцев, воспитанных в традициях либеральной академической среды — Г. Вернадского («Против солнца. Распространение русского государства к Востоку», 1914 год) и П. Савицкого («Борьба за империю. Империализм в политике и экономике», 1915 год), где подчёркивалась особая роль природного фактора в историческом процессе и естественное расширение России на Восток квалифицировалось как образование «великой национальной русской цельности». Симптоматично, что эти работы появились как, если угодно, идейное обоснование противостояния антиазиатским настроениям, идущим с Запада… Уже позднее появится «Закат Европы» Освальда Шпенглера, а ещё позднее, уже в эмиграции, «продолжатели дела» евразийцев, в частности Н. Трубецкой, соблазнённый «жёлтой идеей», будут поклоняться Чингисхану и выступать с позиций, враждебных Индии…

В этой пестроте теорий, мнений, взглядов, трудов и выступлений, что свидетельствовала о полной потере почвы под ногами у многочисленных представителей русского «образованного люда» в начале века, Клюев сохранял удивительную цельность и ясность в своей обретённой опоре на незримую горизонталь, соединяющую Русь с Востоком, и устойчивое видение вертикали, соединяющей земной мир с небесным… В 1918 году в своих знаменитых «Скифах» Александр Блок по-своему декларировал «всечеловечность» русского сознания:

> Мы любим всё: и жар холодных числ,
> И дар божественных видений.
> Нам внятно всё: и острый галльский смысл,
> И сумрачный германский гений.

Но ещё за два года до блоковских строк Клюев начертал свой вектор устремления русской мысли и чувства:

> Беседная изба — подобие вселенной:
> В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь,
> Где кормчему уму, душе многоплачевной
> Под веретённый клир усладно отдохнуть.
> ……
> Индийская земля, Египет, Палестина —
> Как олово в сосуд, отлились в наши сны.
> Мы братья облакам, и савана холстина —
> Наш верный поводырь в обитель тишины.

Этот мотив станет определяющим в его поэзии послереволюционных лет, когда он будет всё явственнее ощущать наступление ненавистного железа на любимую Россию.

Глава 13
РАТЬ СОЛНЦЕНОСЦЕВ

За несколько недель до Февральского переворота Клюев знакомится на квартире Иванова-Разумника с Андреем Белым, который с интересом слушает его рассказы о хлыстах и сектантах Русского Севера… А 12 февраля уже сам Николай вместе с Есениным слушает доклад Андрея Белого «Александрийский период и мы в освещении проблемы „Восток и Запад“» на заседании Религиозно-философского общества в Демидовом переулке и там же по приглашению Белого читает свой «Новый псалом» (ещё не «Поддонный»).

Как отметил в своём дневнике С. Каблуков, Андрей Белый «кончил… приглашением, обращённым к молодому сочинителю стихов Клюеву, прочесть стихотворение „Новый Псалом“, которое можно считать как бы эпиграфом к его докладу. Клюев просить себя не заставил, и целых 15 минут с кафедры Рел<игиозно>-Ф<илософского> Об<щест>ва раздавались рифмованные вопли явно хлыстовского кликушествования. Впоследствии выяснилось, что Клюев и в самом деле чистейший хлыст, считающий себя Христом, имеющий своих верных и даже своего „архангела Михаила“».

А Клюев читал:

О родина моя земная, Русь буреприимная!
Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной,
Как гора, необхватной,
Свежительной и мягкой,
Как хвойные омуты кедрового моря!..

Показательна реакция на поэму уже знакомой нам Зинаиды Гиппиус, записавшей в дневник то, что практически совпало по смыслу с записью Каблукова: «Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-русопятский „псалом“ Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавшийся даже в кабаре „Бродячей Собаки“ (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно вверзившийся в „пейзанизм“. Жирная, лоснящаяся физиономия. Округлый, трубкой. Хлыст. За ним ходит „архангел“ в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!»

Клюев насквозь видел публику, слушавшую его стихи: «…всё сволочь кругом…» Любопытные воспоминания оставил о Николае Рюрик Ивнев, который познакомился с ним ещё до войны. Вспоминал Ивнев, как после чтения стихов в салоне Швартц на Знаменской Клюев вышел вместе с ним, остановился у набережной Фонтанки и тихо произнёс как бы про себя:

— Пустые люди.

— Про кого это вы, Николай Алексеевич? — спросил Рюрик.

— Про всех… Про петербургскую нечисть. С жиру бесятся. Ни во что не верят. Всех бы их собрать да и в эту чёрную воду.

— Ну а дальше что?

Николай не ответил. После долгой паузы произнёс жёстким голосом:

— Интеллигенция не лучше их.

Ивнев задал, как ему казалось, естественный вопрос:

— Тогда зачем вы водитесь с нами?

Реакция Клюева поразила его.

«Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. При свете фонаря они показались мне до того страшными, что холодок прошёл по коже. Он, наверное, заметил это, потому что взял мою руку и крепко сжал её.

— Вас я не трону. Вы не из этой чёрной стаи.

Я улыбнулся:

— Можно подумать, что вы…

— Верховный правитель? — закончил он за меня.

— Вроде этого, — ответил я.

— Душно здесь, всё пропитано сыростью, — произнёс он загадочно. — Вот в Олонецкой у нас легко дышать.

Я хотел спросить у него, почему же он не живёт в Олонецкой губернии, а крутится здесь, в этой „душной сырости“, но он, как бы разгадав мои мысли, сказал:

— Если бы я остался там, то кто же был бы здесь».

Потом — опять молчание… Несколько слов о Есенине, о том, что «слаб духом» отрок вербный, что «спасать его надо», а похвалы Блока и Городецкого «тяжелее плит каменных»… И, наконец, после долгой паузы:

— Всё надо начинать сначала.

Доверять мемуарам Ивнева можно с большой поправкой. Но настроение Клюева того времени он передал точно. Более того, «восстанавливая по памяти» спустя много лет тексты писем Есенина к нему, точнее, заново их сочиняя, видимо, на основе запомнившихся бесед, Рюрик в одном из «писем» привёл «слова» Есенина о том, что Клюев мнит себя новым Распутиным. Точнее,

приписал Есенину собственное, выношенное им (и не им одним) мнение о Николае… А в марте 1917 года состоялась их новая встреча, когда «всё началось сначала» — и это «начало» породило вихрь восторга в душах «крестьянской купницы».

Ивнев вспоминал, как встретил на Невском Клюева, Есенина и Клычкова (приписал он туда же и Петра Орешина, с которым «собратья» и знакомы-то ещё не были). «Они шли, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то странном возбуждении, размахивая руками, похожие на деревенских парней, возвращающихся с гулянки. Сначала я подумал, что они пьяны. Но после первых же произнесённых слов убедился в их полной трезвости. Очевидно, их возбуждение носило иной характер». Особенно запомнилось Рюрику «шипение» «елейного», как он выразился, Клюева:

— Наше времечко пришло!

Есенин лукаво щурился, говорил колкости, а сам незаметно жал Рюрику ладонь.

Спустя несколько дней на одном из митингов Ивнев вновь столкнулся лицом к лицу с Клюевым. И тот заговорил уже по-другому, без агрессии:

— Кто старое помянет, тому глаз вон… Ошалели мы тогда. Шутка ли сказать!.. Владыки мира полетели вверх тормашками. Помните салон Швартцихи? Митрополиты, кареты, машины — всё к чёртовой матери сгинуло! Эти старые дуры, которые увивались около меня, чтобы послушать мои былины, думали купить меня своими ласковыми словами, а я в душе смеялся над ними. Мне они нужны были, чтобы проникнуть к той, которая всё решала сама и заставляла муженька плясать под свою дудку. Я хотел её руками задушить все дворянские шеи. Но дело обошлось и без меня. Как же было мне не опьянеть от радости, хотя я уже давно чувствовал, что придётся начинать всё сначала.

Сомнительно, конечно, упоминание Клюевым «чёртовой матери», а также циничная интонация, в которую облечены слова об императрице… Но мысль, тайная цель переданы, пожалуй, верно. Тогда крушение дома Романовых виделось как свершение вековой народной мечты, избавление народа от «голштинской» власти. Воля, волюшка-мать настала!..

— Вы, конечно, читали «Петербург» Андрея Белого? — спрашивал Клюев Ивнева. — Никто не понял души Петербурга так, как понял он. Только в Петербурге могло произойти всё это. Как подгнивший дуб, рухнула империя. Подсчитать невозможно с точностью, сколько тысяч станций у нас в России. И надо же было, чтобы царь отрёкся от престола именно на станции Дно. Отрёкся на Дне и оказался на дне. Мне скажут, что это —

случайность? Бедные мы все кроты. В темноте живём и света не видим.

Клюев не видел в происходящем никаких случайных совпадений. На самом деле отречение Николая произошло в Пскове 2 марта после того, как царский поезд, шедший к охваченному волнениями Петрограду, не был пропущен железнодорожными рабочими станции Дно. 1 марта был издан приказ № 1, призывавший солдат действующей армии избирать в частях комитеты солдатских депутатов, приказ, совершенно разложивший армию. А в ночь на 2 марта было образовано Временное правительство, председателем которого стал князь Львов… В 23 часа 40 минут Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила.

«Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг, — записал в дневнике бывший император. — Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман».

На следующий день отрёкся от власти Михаил Романов. С империей было покончено. Ни о каком «спокойствии», ни о каком «удержании армии на фронте» теперь и речи быть не могло.

А далее последовала амнистия почти 90 тысяч человек, из которых абсолютное большинство было уголовными преступниками. Так называемые «птенцы Керенского» развязали на городских улицах настоящий террор мирного населения. А само население ликовало на митингах. На митингах, некоронованным королём которых был глава Временного комитета Государственной думы Михаил Родзянко.

«…Там, в бывшей Государственной Думе, всё и происходило, „решалась судьба России“, — вспоминал Алексей Ремизов. — …К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привёл, и об этом было много разговору. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты, медали, — чтобы передать Родзянке. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя Родзянку. Родзянко был у всех на устах».

Реакция Клюева на этого нового «вождя» была совершенно недвусмысленной. Услышав крик: «Да здравствует Родзянко!» — он повернулся к нему спиной.

— Пойдёмте отсюда. Тошно слушать. Нашли кого прославлять. Этого сукина сына я б задушил своими руками, дворянское отродье! Камергер! Царский лакей, возжелавший сесть на престол своего барина! Он так же будет душить крестьян, как душил его барин… — И, помолчав, добавил: — Тяжела шапка Мономаха, но ещё тяжелее упустить эту шапку.

Государство шло вразнос. Уже упразднён Департамент полиции, в Петрограде идёт политическая забастовка. Временное правительство восстанавливает автономию Финляндии, признаёт право Польши на отделение — недалеко до провозглашения «самостийной Украины» и «автономии Шлиссельбургского уезда»… Синод радостно приветствует торжество «всеобщей свободы России» и, как сообщали «Биржевые ведомости», «В. Н. Львов распорядился представить ему списки всех священников, протоиереев и других, принимающих участие в Союзе русского народа и т. п. Организациях. Все они будут уволены. Синодальный обер-прокурор в ближайшее время опубликует воззвание о том, что священнослужители не должны принимать участие в какой бы то ни было политике». Временным государственным гимном становится «Марсельеза».

А Клюев пишет свою «Марсельезу» — крестьянскую, что позже станет «Красной песней».

Пролетела над Русью жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди…
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!

Сбылись думы и давние слухи, —
Пробудился Народ-Святогор;
Будет мёд на домашней краюхе
И на скатерти ярок узор.
……
Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай вожделенный, родной.

Вот за что он терпел тюремные муки, вот чего желал много лет — с того дня, как взял в руки перо… Пришествия мужицкого Спаса, явления Китеж-града, возрождения древлей благочестивой Руси… Воскрешения того,

Чей крестный пот и серый кус
Лучистей купины.
Он — воскрешённый Иисус,
Народ родной страны.
……
То кровью выкупленный край,
Земли и Воли град,

Многоплеменный каравай
Поделят с братом брат…

Не может не обратить на себя внимание написание имени Господа — «Иисус». Презрев староверческий канон, Клюев соединяет в единое целое староверие с нововерием, Китеж-град — сакральный символ староверчества — и «ладан Саровских сосен»… Для Клюева в час воли все противоречия и нестроения стираются — и вселенскому физическому и духовному единству слагает он свой величественный гимн — «Песнь Солнценосца», где въявь являются «три жёлудя-солнца» из славянских мифологических сказаний, в котором даже демоны, лишённые своей демонической силы, становятся братьями в ликующем хороводе.

О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!

Мы — рать солнценосцев — на пупе земном
Воздвигнем стобашенный пламенный дом:

Китай и Европа, и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,

Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать:
Им Бог — восприемник, Россия же — мать.

Прежний сумрак разрезают палящие солнечные лучи, солнце охватывает всю вселенную, сжигает старый мир и порождает новый, а «стобашенный пламенный дом», кажется, напоминает новую Вавилонскую башню — и это невольное сходство проходит мимо сознания поэта. Более того, в этой «Песни» совмещаются несовместимые символы:

Верстак — Назарет, наковальня — Немврод,
Их слил в песнозвучье родимый народ…

Родина Иисуса Христа — и имя идолопоклонника, основателя Вавилона, имя, сакральное в масонских ложах, и это у Клюева соединяется в одном «песнозвучье»… Он творит *свою* революцию, имеющую слишком мало общего с той, что творится на городских улицах и в русских селеньях.

* * *

Совершенно иное увидел в свершающейся «мистерии» Сергей Есенин. В мае в эсеровской газете «Дело народа» появляется его поэма «Товарищ», написанная по горячим следам Февраля. «Товарищ Иисус» (у Есенина староверческое написание имени также чередуется с нововерческим) сходит с иконы — «стоять за волю, за равенство и труд» в «чёрной ночи» — и падает, «сражённый пулей»… Слова поэта безжалостны и неумолимы: «Больше нет воскресенья!» И все звуки заглушает одно «железное» слово: «Рре-эс-пуу-блика!», напоминающее своим звучанием воронье карканье.

Чрезвычайный интерес вызывает восприятие свершившегося Михаилом Пришвиным, для которого Февраль стал своего рода свидетельством того, что наконец «Бога узнают, а то ведь Бога забыли». И вот что он пишет в своём дневнике: «Всё больше и больше с каждым днём вырастает фигура Петра Великого, как нашего революционера (Петроград, освободивший Россию), и всё выпуклее вспоминается смутный страх мой во время заседания Совета рабочих депутатов в Морском корпусе, что рабочие свергнут статую царя-революционера. Страх этот был ни на чём не основан и был порождён моим особенным „декадентским“ состоянием души. Но он был… Я вошёл в огромную залу и видел, море голов сидят, я сел с ними и прислушался, о чём говорят: пулемёт, молитва, правда».

Для Клюева всё происходящее было наполнено как раз антипетровским смыслом. Но «пулемёт, молитва и правда» соединялись в его стихах революционной поры в какой-то противоестественной гармонии. Позже он напишет антимрановские стихи, где воздаст хвалу «пулемёту, несытому кровью битюжьей породы, батистовых туш», а одно из стихотворений 1918 года так и назовёт — «Пулемёт».

Пулемёт… Окончание — мёд…
Видно, сладостен он для охочих
Пробуравить свинцом народ —
Непомерные звёздные очи.

И если «чашу с кровью — всемирным причастьем нам испить до конца суждено», — то настанет день, когда «под Лучом заскулит пулемёт, / сбросит когти и кожу стальную…». После Октября он ответит «Товарищу» Есенина своим «Товарищем».

Убийца красный — святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить…
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.

До Коммуны ещё дожить надо… Февраль — лишь прелюдия. Прелюдия той красочной симфонии, что должна найти своё земное воплощение и которую слагает Клюев с упованием на будущее:

Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном…
……
Железный небоскрёб, фабричная труба,
Твоя ль, о родина, потайная судьба!
Твои сыны-волхвы — багрянородный труд
Вертепу Господа или Ироду несут?
Пригрезятся ли им за яростным горном
Сад белый, восковой и златобрёвный дом, —
Берестяный придел, где отрок Пантелей
На пролежни земли льёт миро и елей…

Показательно, как воспринял Февраль один из самых молодых поэтов «крестьянской купницы», Алексей Ганин. Уроженец деревни Коншино Вологодской губернии, начавший печататься в вологодских газетах в 1913 году, он воссоздавал в своей поэзии крестьянскую жизнь, как порождение идеальной духовной жизни мироздания. Тончайший лирик, называвший себя «романтиком начала XX века», он умел воплощать не слышное грубому уху и не видное незрячему глазу движение природного мира, преображающего всё сущее: «И будто жизни нет, — но трепет жизни всюду. / Распался круг времён, и сны времён сбылись. / Рождается Рассвет, — и близко, близко чудо: / как лист — падёт звезда, и солнцем встанет лист…» Клюев благостно, в числе других друзей, упоминал о нём в письме Ширяевцу: «Мы в Петрограде читали и пели твои стихи братски — четыре поэта-крестьянина: Серёженька, Пимен Карпов, Алёша Ганин и я. Нам всем понемножку нравится в тебе воля и Волга — что-то лихое и прекрасное в тебе…» Ганин в эти дни был неразлучен с Есениным — вместе засиживались в Обществе распространения эсеровской литературы, читали и обсуждали щаповскую «Историю

раскольнического движения», о которой они узнали, скорее всего, от Клюева. Вместе бродили по Петрограду с новыми знакомыми — Миной Свирской и Зинаидой Райх, за которой Алексей ухаживал. В конце концов отправились вместе на Соловки — и во время сего путешествия Ганин в качестве шафера присутствовал на венчании Сергея и Зинаиды в церкви Кирика и Иулиты Вологодского уезда.

Но то, что писал в эти дни Ганин, сущностно разнилось с тем, что выходило из-под пера его друзей. В происходящем он видел приношение даже не Ироду, а самому дьяволу.

Это спустя много лет будут исследователи ломать копья вокруг «масонской темы», связанной с Февралём. Это спустя много лет уцелевшие масоны будут вспоминать — из кого состояло Временное правительство и кто на самом деле был движущей силой Февраля. Это позже будет основательно проясняться физиономия фонтанирующего Керенского, кажется, тонувшего тогда в бесконечном словоизвержении… Для Ганина всё творившееся на его глазах было чернее адской ночи и очевидно до боли.

Об этом он и писал свою страшную поэму «Сарай» с многозначительным посвящением: «Посвящаю живым — сущим в часе со мной за воротами „Завтра“ в ладонях Времени».

Лежу у храма на плите,
Жду с неба светлого хранителя,
Вот прийдет в зорней красоте,
Раскроет дверь — и в песнь обители
Уйду, погрязший в суете.
……
И вот пришёл, но света нет,
А крылья — чёрной ночи сумрачней…
Не он. И был суров привет:
Вставай, во гробе ли разумничать?
И встал я. Вижу — храма нет.

Во тьму земной упёрся Край.
Хочу к звезде взмахнуть ресницами
И не могу.
«Дорога в рай», —
Твердит. А путь кишит мокрицами
И впереди — глухой Сарай.

«Тёмный проводник Земли» доводит обманутых до Сарая и стучится в дверь, окликая привратника слишком хорошо

узнаваемыми в масонской среде словами. «Стучит: Откройте, гость пришёл, откройте мастеру-строителю…» Дверь отворяется. И пришедшие попадают в настоящую преисподнюю.

Я рад?.. Чему?.. В Сарае пир.
Гремит нестройно чья-то музыка.
На трупах золотой кумир.
Кругом танцуют знать и блузники.
Нет окон… в щелях горний мир.

И слышу, говорит кумир:
«К победному столу, кто званые».
Все званые. Сарай — весь мир.
Идут тела, гниеньем рваные,
Отпраздновать последний пир.

Садятся за столы цари.
Их головы на блюдо сложены.
За милость от рабов дары…
И все, с отрубленными рожами,
Пришли, кто украшал дворы.

* * *

В начале 1917 года Есенин написал своё, пожалуй, ключевое стихотворение этого периода, многое объясняющее в его дальнейшем конфликте с Клюевым.

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза…

Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!

Привязало, осаднило слово
Даль твоих времён.
Не в ветрах, а, знать, в томах тяжёлых
Прозвенит твой сон.

Поэты в те весенние дни читали друг другу всё только что написанное. И Клюев, услышав стих о неразбуженных дедовских могилах, не мог не понять: его любимый Сергунька отходит в сторону от его ключевых мотивов, которые, мнил Клюев, должны стать мотивами общими. Это духовная ревизия всего его наследия — от «Избяных песен» до «Подонного псалма». А сомнение, связанное с «томами тяжёлыми», он попытался развеять в ответном послании своему собрату.

Построчный пламень во сто крат
Горючей жупела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад
Не для певцов любви и веры.

Не для тебя, мой василёк,
Смола терцин, устава клещи,
Ржаной колдующий Восток
Тебе открыл земные вещи.
……
И знаю я, мой горбунок
В сосновой лысине у взморья;
Уж преисподняя из строк
Трепещет хвойного Егорья.

Он возгремит, как Божья рать,
Готовя ворогу расплату,
Чтоб в книжном пламени не дать
Сгореть родному Коловрату.

Здесь очевидна отсылка к ранней поэме Есенина «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице, о чёрном идолище и Спасе нашем Иисусе Христе», и Клюев отождествляет Есенина с героем своего творения. Но главное то, что ни «смола терцин», ни «устава клещи» — ни старая, ни новая поэтическая форма, как нечто застывшее, книжное — не для Есенина. И Есенин, уже отталкиваясь от клюевской мысли, пишет весной или летом 1917 года восторженное стихотворение «О Русь, взмахни крылами…», где выстраивает свою хронологическую поэтическую родословную — от Алексея Кольцова через Николая Клюева. Клюев здесь — «смиренный Миколай», «весь в резьбе молвы», тогда как Есенин — совершенно иной.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,

Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.

Мало того что разбойный. «Но даже с тайной Бога веду я тайно спор…» Спор с «тайной Бога» чреват последствиями необратимыми. Для Клюева самым тяжёлым было услышать в эти дни всеобщего ликования от Есенина: «Не изменят лик земли напевы, / не стряхнут листа… / Навсегда твои пригвождены ко древу / красные уста. / Навсегда простёр глухие длани / звёздный твой Пилат…» А ежели и предстоит сошествие с креста и «новое восславят рождество поля, и как пёс пролает за горой заря», то встреча Воскресшего будет совсем не той, на какую надеялся «смиренный Миколай».

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.

Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли…
И со щёк заката
Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.

Нет, не просто так у Клюева вырвались строки в стихотворении, посвящённом Есенину: «Ты отдалился от меня, за ковыли, глухие лужи…» Внешне это отдаление пока что не обозначалось со всей очевидностью. Поэты ещё ощущают себя друзьями и единомышленниками. «Кланяются Вам Клюев и Есенин, — пишет Иванов-Разумник Андрею Белому. — Оба в восторге, работают, пишут, выступают на митингах…» Иванов-Разумник ещё до революции затевает сборник «Скифы», название которого отсылает к Герцену, проникнутый идеей «духовного максимализма, катастрофизма, динамизма», и пишет к нему совместно с С. Мстиславским предисловие: «На наших глазах, порывом вольным, чудесным в своей простоте порывом, поднялась, встала, от края до края молчавшая, гнилым туманом застланная Земля. То, о чём ещё недавно мы могли мечтать лишь

в мечтах молчаливых, затаённых мечтах думать — стало к осуществлению как властная, всеобщая задача дня. К самым заветным целям мы сразу, неукротимым движением продвинулись на пролёт стрелы. На прямой удар. Наше время настало…» Дословное повторение клюевского «Наше времечко настало». И какие бы сомнения ни терзали Есенина — основной посыл Разумника был ему близок, и не зря в следующем стихотворении он отдаёт должное ему: «Звездой нам пел в тумане разумниковский лик» и «апостол нежный Клюев нас на руках носил»… Их «отческую щедрость» Есенин никогда не забывал — и в письме Ширяевцу от 24 июня будет писать в унисон со словами Клюева и Разумника, неоднократно слышанными: «Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но всё-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублёва Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трёх китах стоит, а они все романцы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костёр Стеньки Разина…»

«Земля на трёх китах стоит…» Земля, стоящая на трёх китах и движущаяся на них во Вселенной — вот устройство *родного* мироздания. «Поморский дом плывёт китом», — напишет Клюев через десятилетие с лишним в «Песни о Великой Матери», где дом в Поморье становится синонимом Земли, определяющей свой путь в космической траектории… И путь этот определён самим Божьим провидением…

«Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим, это Разумник Иванов, — продолжал Есенин. — Натура его глубокая и твёрдая, мыслью он прожжён, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.

На остальных же просто смотреть не хочется, с ними нужно не сближаться, а обтёсывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется. Таков и Блок, таков и Городецкий, и все и весь их легион…»

Похожее по тону письмо Ширяевец получил весной от Клюева: «Умоляю не завидовать нашему положению в Петрограде. Кроме презрения или высокомерной милости мы ничего не видим от братьев образованных писателей и иже с ними…»

Каждый день этого года по событиям вмещал в себя как минимум несколько месяцев. Клюев готовит издание двухтомного

«Песнослова» (один поначалу том разросся в два) и переживает, что отход Есенина от него — лишь дело времени, что Есенин уже «разлюбил его сказ», ибо, по его собственному признанию, стал «зрелей и весом тяжелей»… Есенин ещё не предчувствует жестокого конфликта, но уже недалеко время, когда он будет беседовать с Блоком, на которого ему сейчас «смотреть не хочется», и высказывать всё, что надумалось по поводу Клюева, с которым пока ещё — душа в душу.

До великого и рокового Октября оставалось совсем немного.

Глава 14
РОКОВОЙ РУБЕЖ

Жизнь в революционной России — сфера смешения ценностей, чувств, образов мышления, действий и противодействий. Динамика этого коловорота определяется огромными просторами территории, временем совершения событий, скоростью вызревания в умах людей, объединённых в различные группировки, понимания того, что уже произошло и что ещё происходит, что может произойти — и «чем дело кончится и сердце успокоится».

Как будто кто-то поворачивает гигантский калейдоскоп, вращая его по нарастающей, всё быстрее и быстрее, и события то разбегаются отдельными осколками жизни по самым отдалённым уголкам Руси, то складываются в тот или иной жизненный уклад-узор, который тут же вновь распадается на другие осколки.

Жизнь России со времени революционного взрыва в Петрограде, и так не отличавшаяся гармоничностью и цельностью, приходящая с начала войны во всё большее и большее расстройство, — становится совершенно мозаичной. Вся Русь превращается на глазах в огромное, постоянно меняющееся на глазах мозаичное полотно. И главными средствами, определяющими композицию и смысл этой мозаики, становятся цели, ожидания, надежды людей.

Человек, будучи как бы кусочком смальты в обшей мозаике жизни, по мере движения революционной стихии становится сам «человеком-мозаикой», в которой роль осколков смальты играют его меняющиеся ценности, цели, восприятие жизненных противоречий и сами его противоречивые действия, поступки, изменения отношения к происходящему и к самому себе.

* * *

Камертоном, по которому власть победивших определяет ценность человека, является его отношение к революции: принял — не принял. А затем — его отношение к власти: наш — не наш. (Этот камертон определял и события февраля — октября 1917 года, и события августа 1991-го — октября 1993 года.) И никто не задумывается, что даже у тех, кто революцию принял — есть свои цели и чаяния. Каждый хотел от революции реализации своих ожиданий и надежд. Люди — кусочки смальты — в

революционном потоке стихии действовали непредсказуемым даже для самих себя образом, видя действительность совсем иную, чем предполагали до революции. Действительность превзошла все их ожидания и изменила их цели.

Мозаика жизни 1917 года, калейдоскоп событий, сменявших одно на другое и сталкивающихся в непримиримом противоречии, поражают воображение и поныне. Иной раз создается полное ощущение дежавю.

В марте в Петрограде вводится карточная система на хлеб.

Двадцать девятого марта на Николаевский вокзал прибывает в Петроград Е. Брешко-Брешковская — «бабушка русской революции», которую встречают член Государственной думы Н. В. Чайковский, трудовик Дзюбинский и Керенский, провозглашающий:

— Дорогу бабушке! Идёт свободная женщина свободной России!

На следующий день в газетах публикуются списки лиц, сотрудничавших с жандармским управлением (всё это чудовищно напоминает 1991 год!).

Объявление в газетах: «В галантерейных магазинах появились в продаже красные галстуки. На некоторых галстуках имеются золотом сделанные надписи: „Да здравствует свободная Россия!“ Товар этот раскупается нарасхват, несмотря на сравнительно дорогие цены».

Третьего (17-го по новому стилю) апреля появляется в Петрограде приехавший в «экстерриториальном» вагоне из Германии Ленин. С броневика на Финляндском вокзале он провозглашает лозунг: «Да здравствует всемирная социалистическая революция!» На следующий день в Таврическом дворце звучит ленинский доклад — знаменитые Апрельские тезисы.

Четырнадцатого апреля газета «Земля и воля» выходит с шапкой «Из записной книжки социалиста». Под этой шапкой печатается изречение Петра Кропоткина: «Беспорядок — это расцвет благородных страстей и самоотверженных порывов, это эпопея возвышенной любви к человечеству».

Шестнадцатого апреля печатаются прокламации, призывающие к расправе с Лениным.

Девятнадцатого апреля — налёт на Александро-Невскую лавру.

Двадцать первого апреля (4 мая) в Петрограде проходит стотысячная демонстрация рабочих и солдат с требованием мира и передачи власти Советам.

Двадцать четвертого апреля печатаются воззвания о том, что

«свобода в опасности! Не нужно митингов и шествий!». Непрестанно поступают сообщения о погромах и перестрелках на улицах.

Двадцать седьмого апреля (10 мая) Временное правительство издаёт постановление о свободе печати и торговле произведениями печати.

Через два дня военный министр Гучков подаёт в отставку, заявляя, что армия ему не подчиняется.

Четвёртого (17) мая в Петрограде открывается Всероссийский съезд крестьянских депутатов.

На следующий день образуется коалиционное Временное правительство из трудовиков, эсеров, меньшевиков, кадетов, народных социалистов, естественно, масонов. Председатель — князь Львов.

Через неделю в столице создаётся Красная гвардия — вооружённые отряды, для которых «матерью порядка» является всеобъемлющая анархия.

Проходит несколько дней — и начинается расследование о контактах Ленина и Зиновьева с немецким командованием.

Двадцать четвёртого мая (6 июня) происходит преинтереснейшее событие. В Петрограде открывается сионистский съезд, на который собираются самые отчаянные революционеры — большевики, меньшевики, бундовцы, эсеры, анархисты, поалей-ционисты — еврейской национальности. Принимают решение о дальнейших действиях — о вооружённом восстании.

Второго (15) июня на первом Всероссийском съезде духовенства и мирян в Москве Сергей Булгаков горестно вопрошает: «Если грядущая Россия станет строиться без имени Христа, если демократия российская окажется в духовном разрыве со Святой Русью, то… кому она нужна, кому из нас дорога будет отрекшаяся от Христа Россия?»

Тридцать первого августа Зинаида Гиппиус сделала в дневнике примечательную запись: «…Поведение… его (Керенского. — *С. К.)*… сумасшедше-фатально… С того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об „измене“ главнокомандующего, — всё стало непоправимым… Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал».

В том, что «кончен бал», сомнений не было ни у кого, кто мог трезво оценивать события. Уничтожающую характеристику возглавившему Временное правительство «социалисту» дал Сомерсет Моэм, резидент английской разведки, работавший на свержение Керенского и на утверждение главой республики

Бориса Савинкова: «Керенский… произносил бесконечные речи. Был момент, когда возникла опасность того, что немцы двинутся на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась всё более угрожающей, приближалась зима, и не было топлива. Керенский произносил речи. Ленин скрывался в Петрограде, говорили, что Керенский знает, где он находится, но не осмеливается его арестовать. Он произносил речи».

Пока произносились бесконечные речи, Россия погружалась в пучину смуты.

Деревня уже находилась в состоянии гражданской войны. Бои за землю шли нешуточные — одно село шло на другое с оружием в руках под командованием бывших солдат и дезертиров с криками «ура!». К осени 1917 года крестьянскими мятежами (в ответ на полное нежелание и неспособность Временного правительства решать земельную проблему) был охвачен 91 процент всех уездов бывшей Российской империи.

И жутким откликом на послефевральскую смуту стало отсылающее к древнейшему русскому памятнику «Слово о погибели Русской земли» Алексея Ремизова:

«Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка, — поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: брата родного выгнали, краснозвонный Кремль очистили — не стерпелось братнино иго иноверное.

Была вера русская искони изначальная.

Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубах сжигали себя.

Где ты, родная твердыня, Последняя Русь?

Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.

Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?

Или нет больше на Руси — Последней Руси бесстрашных вольных костров?»

И причину кошмара, творящегося на Русской земле, Ремизов зрит в оскудении и исчезновении веры: «Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, жёны и мужи праведные в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело своё, сея вражду, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь…

Русь моя, земля русская, родина беззащитная,

обеспощаженная кровью братских полей, подожжена горишь!»

И словно отвечает Ремизов в «Слове о погибели Русской земли» Клюеву — его «Поддонному псалму», его величанию России: «О родина моя земная, Русь буреприимная! Ты прими поклон мой вечный, родимая, свечу мою, бисер слов любви неподкупной…» У Ремизова и Русь сгибла, и поминальная лампада вместо свечи зажжена: «О, родина моя обречённая, покаранная, жестокой милостью наделённая ради чистоты сердца твоего, поверженная лежишь ты на мураве зелёной, вижу тебя в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы…»

Это «Слово» Ремизов написал 5 октября 1917 года, и уже позже, в Париже, встретив писателя, Керенский упрекал его за то, что тот своим «Словом», написанным «против главы Временного правительства», сыграл на руку большевикам. «Играть на руку» кому бы то ни было Ремизов и не думал, а его «Слово» — плач по послефевральской России — появилось в печати уже в России послеоктябрьской — сначала в литературном приложении к газете «Воля народа», а затем — во втором сборнике «Скифы».

* * *

А первые «Скифы» вышли летом в Петрограде — с романом Андрея Белого «Котик Летаев», драматической «русалией» Ремизова «Ясня», циклом Клюева «Земля и железо», который завершался стихотворением «Оттого в глазах моих просинь…» с посвящением «прекраснейшему из сынов крещёного царства крестьянину Рязанской губернии Сергею Есенину». (Позднее этим стихотворением автор откроет другой цикл — «Поэту Сергею Есенину».) Сборник предварялся стихотворением Валерия Брюсова «Древние скифы».

В 1922 году на вечере памяти Блока в Вольной философской ассоциации Иванов-Разумник вспоминал: «Идея духовного максимализма, катастрофизма, динамизма — была для Блока тождественна со стихийностью мирового процесса; только случайным отсутствием Александра Александровича в Петербурге и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в „Скифах“… К концу 1917 года, уже после Октябрьской революции, вышел второй сборник „Скифов“, опять без произведений Александра Александровича; он должен был появиться впервые в третьем. Кстати рассказать: в первом

сборнике было напечатано стихотворение Валерия Брюсова „Скифы“, и тогда мы говорили с Александром Александровичем, насколько эти брюсовские „Скифы“ мало подходят к духу сборника (настолько мало подходят, что, печатая их, мы, редакция сборника, сами переименовали их в „Древних скифов“ — так и было напечатано), говорили и о том, какие „Скифы“ должны бы были быть напечатанными, чтобы скифы были скифами, не „древними“, а вечными. А. А. Блок напомнил об этом разговоре, когда в начале восемнадцатого года дал мне прочесть только что написанных своих „Скифов“. Вместе с тогда же написанными „Двенадцатью“ они должны были открыть собою третий том нашего сборника. Но времена переменились — не до „сборников“ больше было…»

Действительно, «не до сборников»… Блок писал свои «Двенадцать» и «Скифы» уже совсем в другую эпоху — оглядываясь не на брюсовские стихи, а на клюевский цикл, на есенинские поэмы «Товарищ», «Пришествие», «Отчарь».

Предисловие же Иванова-Разумника к сборнику звучало предельно агрессивно и восторженно-устрашающе:

«„Скиф“.

Есть в слове этом, в самом звуке его — свист стрелы, опьянённой полётом; полётом — размеренным упругостью согнутого дерзающей рукой надёжного, тяжёлого лука. Ибо сущность скифа — его лук: сочетание силы глаза и руки, безгранично вдаль мечущей удары силы…

…И эти времена и сроки — всегда перед нами; всегда кипит перед нами вечное вино жизни. Бесчинно проливают его безумцы, по каплям смакуют его духовные скопцы. Но если безумец может быть оправдан, то скопец — всегда осуждён…»

Эти слова стали побудительным толчком для клюевского «шокирующего» стихотворения «О скопчество — венец, золотоглавый град…», где физиологическая образность лишь оттеняет духовную составляющую, а страсть, выламывающаяся из каждой строки, как бы укрощается к финалу кнутом «времени-ломовика» — и завершается этот гимн «осуждённого» безапелляционной строкой: «Пусть критики меня невеждой назовут». Так уже и назвали. И назвал именно тот, кто величал и будет величать Клюева первым поэтом революции.

Этого «разброда и шатания» в скифском лагере ещё не чует Иванов-Разумник — и строит в боевые порядки «скифов» и «эллинов» перед решающим революционным боем. Ничто в «Скифах» не мыслилось иначе как в мировых масштабах и глобальных категориях.

Андрей Белый помимо «Котика Летаева» публикует статью

«Жезл Аарона». «Тайну мудрости», «Цветок нового Слова», освобождённый от «ветхих смыслов понятий», он видел в клюевском цикле «Земля и железо».

В бору, где каждый сук — моленная свеча,
Где хвойный херувим льёт чашу из луча,
Чтоб напоить того, кто голос уловил
Кормилицы мирской и пестуньи могил, —
Там, отроку-цветку лобзание даря,
Я слышал, как заре откликнулась заря,
Как вспел петух громов и в вихре крыл возник,
Подобно рою звёзд, многоочитый лик.

В ответ на «Жезл Аарона» Есенин напишет «Ключи Марии», над которыми начал работать той же осенью 1917 года — во всяком случае, обдумывать их, суммируя свои многочасовые беседы с Белым и Клюевым… С Клюевым, от которого он начал внутренне отстраняться, — и сотоварищ его почуял это мгновенно.

«Мир Вам и крепость, возлюбленный Михаил Васильевич, — писал покинувший Петроград и вернувшийся в Олонию Клюев Аверьянову в начале октября. — Присылаю Вам „Песнослов“ в окончательном виде и буду ждать издания в радости с уверенностью во внешность его, соответствующую содержанию… Моя новая книга подвигается вперёд успешно, но ответственное, страшное время обязывает меня относиться к своему писанию со всей жестокостью…» Значимые слова, ибо далее — «со всей жестокостью» — о Есенине: «Живу я в большом сиротстве, в неугасимой душевной муке, в воздыханиях и молитвах о мире всего Мира, об упокоении всех убиенных, в том числе об одном известном Вам младенце, жизнь которого и торжество так дороги и насущны мне. Но чего не сделает человек, когда покинет его Ангел? Верую, что младенцы, пожранные Железом, будут в Царстве и наследуют Жизнь вечную. Это меня утешает, хоть и плачет Золотая Рязань…»

Жуткий, если вдуматься, текст. Можно подумать, что до Клюева дошло ложное известие о смерти Есенина — таких известий тогда было в избытке, люди исчезали в безвестности или появлялись спустя время. Но у Клюева — речь о другом. О молитве за живого Есенина, как за умершего, наравне с убиенными, ибо «человека покинул Ангел» и плачет по нему Золотая Рязань… Есенин со своей стороны мог бы спросить — кого же в действительности Ангел покинул? Но у Клюева — своя печаль. Он шлёт новые стихи Миролюбову для «Ежемесячного

журнала» и специально подчёркивает в письме: «И на этот раз очень прошу напечатать, они для меня и лично нужны, но очень был бы благодарен, если бы Вам понравились они и литературно… Я много грешил в Питере — и так сладостно покаяние под родными соснами. Впрочем, и грехи мои так понятны, а иногда даже и нужны…» Одно из посланных стихотворений — не покаяние, но жалобный плач. По собственным грехам? Не о них сейчас речь. О горе сердечном.

Ёлушка-сестрица,
Верба-голубица,
Я пришёл до вас:
Белый цвет Серёжа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ!

«С Китоврасом» — с человеком-конём, взятым премудрым Соломоном и заспорившим с хозяином, как повествует древнее «Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном»: «Однажды Соломон сказал Китоврасу: „Теперь я убедился, что сила твоя — как и человеческая, и не больше твоя сила нашей силы, ибо поймал я тебя“. И ответил ему Китоврас: „Царь, если хочешь узнать мою силу, сними с меня цепи и дай мне свой перстень с руки, тогда увидишь силу мою“. Соломон снял с него железную цепь и дал ему перстень. А он проглотил перстень, простёр крыло своё, размахнулся и ударил Соломона, и забросил его на край земли обетованной. Узнали об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона».

Достаточно было Есенину прочесть в клюевском контексте имя «Китоврас», чтобы восстановить всю смысловую цепочку и понять клюевский намёк на есенинское «О, Русь, взмахни крылами…», на его «разбойность» и «сшибание камнем месяца», на его спор «с тайной Бога»… И следуя обратному направлению мысли, вернуться к «мудрости» Клюева-Соломона и «силе» Китовраса (дескать, «сила есть — ума не надо»)… Всего этого уже хватало для смертельной обиды. Но дальше следовало:

Он пришелец дальний,
Серафим опальный,
Руки — свитки крыл.
Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.

«Серафим опальный» сразу же отсылает к «серафиму» из «Святой были», что «разошёлся… с жизнью внутренней» и возвёл «навет» на «святорусский люд» — как тут не вспомнить есенинского «Товарища» с расстрелом Исуса в финале? А после признания в любви к Есенину, как «к маминым иконам» — высшая степень любовного чувства для Клюева! — опять «самоуничижение», что паче гордости: «Пусть я некрасивый, хворый и плешивый, но душа, как сон»… Это и ответ на жестокие есенинские насмешки, которые тот позволял себе над старшим собратом, и опять же отсыл к есенинскому «смиренному Миколаю», у которого «тихо сходит пасха с бескудрой головы»… И, наконец, обозначение того главного, что и составляет «соломонову мудрость» Николая: знание вещего сна, — «где в углу за печью чародейной речью шепчется Оно»… То таинственное, жизнедающее Оно, что проявилось в «Белой повести», посвящённой памяти матери, растворившееся в воздухе деревенской избы и кликавшее в иные миры. То незримое, что преображает сущий мир, соединяя его с миром горним, что стало живительной влагой для клюевского слова в предреволюционном цикле «Земля и железо», от которого пришли в восторг и Белый, и Разумник, и Есенин, и обалдели слушатели Религиозно-философского общества — от маститой Зинаиды Гиппиус до юного Михаила Бахтина.

Неизреченен Дух и несказанна тайна
Двух чаш, двух свеч, шести очей и крыл!
Беседная изба на свете не случайна —
Она Судьбы лицо, преддверие могил.

Нет, не может Клюев так просто отпустить от себя своего наперсника, уже передав ему свои духовные сокровища. Горе настолько велико, ощущение предательства до такой степени губительно, что сам Николай, перед тем как помолиться за Есенина живого как за умершего, пишет о себе как об убитом — убиенном злодейской волей коварного Годунова царевиче Димитрии.

Буду в хвойной митре,
Убиенный Митрий,
Почивать, забыт…
Грянет час вселенский,
И собор Успенский
Сказку приютит.

Ещё не зная этого стихотворения, Есенин при встрече с Петром Орешиным, печатавшим в «Деле народа» и «Знамени труда» стихи и корреспонденции о деревенской жизни, точнее, о её послефевральском окончательном развале, читал ему только что написанное «Преображение» с молитвой «Господи, отелись!» (образ из «стад небесных», о которых прочёл в афанасьевских «Поэтических воззрениях славян на природу») и пророчеством того, что «Новый Содом сжигает Егудиил» и «зреет час преображенья, он сойдёт, наш светлый гость, из распятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь»… Как хотите — но это уже не Христос, распятый римлянами по наущению иудеев. Это — есенинский «светлый гость», «дорогой гость», от шествия которого видна лишь «золотая дуга» над облачной кущей и который «из лона голубого, широко взмахнув веслом, как яйцо, нам сбросит слово с проклевавшимся птенцом»… Кажется — отсылка к Клюеву, у которого «в суставе утка, а в утке — песня-яйцо…». Только у Клюева, в отличие от него — Есенина — ничего не проклёвывается. Есенин чувствует себя взмывающим поверх разумниковских заклинаний, клюевского религиозно-культурного пласта, беловских теорий. Уже и сам Блок ему не брат… И так Орешину и вызвездил в лоб: «Я от Клюева ухожу. Вот лысый чёрт! Революция — а он избяные песни. А поэт огромный. Ну, только не по пути!..» Давно ли «Избяные песни» наизусть читал, восторгался, как «олонецкий знахарь хорошо знает деревню» — да и сейчас знает им цену… Цена ценой, а своё, почитай, уже бесценное, ибо крылья за спиной выросли: «Мы ещё Белому и Блоку загнём салазки!.. Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать!» Слишком тут много было от силушки, от внутреннего горения, от вдохновения, от ощущения творческого свершения, что порождает в душе тот восторг, когда не думаешь о справедливости слов, сорвавшихся с языка… Но было и серьёзное — явно наметившееся расхождение с Клюевым по основополагающим позициям.

Если «больше нет Воскресенья» — так и нечего цепляться за старые символы. «Предоставьте мёртвым хоронить мертвецов»… Это и почуял Клюев, у которого впервые в стихи, посвящённые Есенину, вторгся смертный мотив.

* * *

Прошёл октябрь. Без всякого сопротивления был занят Зимний дворец. Анархия по стране разливалась морем разливанным — без конца и без края… Ощущение безвластия всё

нарастало. В чьих руках власть — кто знал, кто догадывался, кому было вообще наплевать: «власть народная — значит, моя». В отдельно взятом уезде, деревне, на сущем пятачке…

А за власть надо драться. «Будет ещё очень много крови», — предупредил Ленин. И это при том, что отменялась смертная казнь, отпускались на волю поначалу арестованные враги новой власти под честное слово…

Революция включает в себя столько разнонаправленных потоков, подчас несовместимых друг с другом или прямо враждебных друг другу, что поистине приходится силой ввести их в одно русло, не дать им затопить страну, народ, государство… Февральская захлестнувшая через край свобода обнажила во многих людях самые низменные эгоистические чувства, да и любителей кровушки нашлось немало.

Кровавый катаклизм после Февраля стал неминуем, ведь столкнулись интересы не частных лиц, а целых слоёв, сословий, классов.

Но пока — советская власть управляет декретами. И первым стал — долгожданный Декрет о земле. Отмена частной собственности на землю, уже реально осуществлённая земельными комитетами, фактически узаконивалась.

Отменяется смертная казнь на фронте, освобождаются солдаты и офицеры, арестованные по политическим мотивам. И в первые же дни смены власти начинается стрельба и в Петрограде, и в Москве. «Комитет спасения родины и революции» руководит мятежом юнкеров, который подавлен за один день. Три дня и три ночи обстреливается Московский Кремль. Петроград и его окрестности объявляются на осадном положении.

Под грохот выстрелов на Поместном соборе Русской православной церкви проходят выборы патриарха — спустя 200 лет. Им становится митрополит Московский Тихон.

Начинаются выборы в Учредительное собрание. Письма крестьян и городских обывателей в «Учредилку» запоминающиеся.

«Если бы я задал себе вопрос: когда лучше жилось — при „старом строе“ или при новом, то я не мог бы ответить. Старый строй с его жандармско-полицейским режимом безусловно мне не симпатичен, „новый“ так называемый строй страдает симптомами анархии и полной государственной беспринципностью. Но нужно заметить, что в океане русской анархии повинна старая власть. Историческая лошадь, русский народ получил свободу, и эта свобода понята им крайне своеобразно и характерно, особенно с особенностью русского духа, воспитанного „царским режимом“… И если ранее т. н. „революционеры“ бежали от „николаевского“,

„старого“ режима, то теперь людям, стоящим близко к пониманию конституционно-парламентского строя, приходится бежать за границу от царя русской земли, русского мужика с топором в руках, не могущего протереть кулаком глаза и увидеть „правду“, ту правду, о которой он хлопотал и хлопочет…»

«Я и другие, много нас, хотим голосовать за батюшку царя Николая, при котором нас, бедняков, никто не трогал и всё было доступно и дёшево, и хлеба было много, а теперь при новом вашем правительстве одни грабежи да убийства и насилия, и жаловаться некуда, и делает всё солдатня. Неужели батюшка не вернётся к нам? Господи, вразуми народ и верни нам защитника царя».

«Прочитал события при открытии Учредительного собрания… я вижу, что вы, представители народа, собрались туда для партийных распрей, а не для работы по восстановлению нового республиканского строя. Довольно шума; довольно братской крови — нужно строительство новой, тихой, светлой жизни; нужно заключить демократический, почётный для всех народов мир. Не нужно вашего шума — нужна плодотворная работа для восстановления жизни изголодавшихся крестьян, солдат и рабочих… Все вы там собравшиеся, как я посмотрю, не представляете из себя истинных тружеников, а вы есть люди, ищущие сильных ощущений и любители скандала и самохвальства. Я говорю вам, мой голос пославшего вас туда, что всему бывает предел, считайтесь с голосом народной массы — она хочет покоя, хочет отдыха после проклятой бойни… Бойтесь, лопнет наше терпение и мы перебьём и разгоним вас всех и скажем, что мы сами собой будем управлять без всяких партий. Будет одна партия труда и справедливости; не будет ни правых, ни левых. Голос мой есть голос исстрадавшихся людей, как я, — нас легион».

Всё это многоголосье парадоксально сливается со «Словом о погибели Русской земли» Ремизова, которое Иванов-Разумник в статье «Две России», помещённой после ремизовского «Слова» во вторых «Скифах», противопоставил стихам Клюева и Есенина — анафематствование революции противопоставлял приятию… Он тогда не знал о стихах Клюева, написанных той же осенью, ещё до октября, 1917 года — на рубеже эпох.

На божнице табаку осьмина
И раскосый вылущенный Спас,
Не поёт кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.
Древо песни бурею разбито, —

Не Триодь, а Каутский в углу.
За окном расхлябанное сито
Сеет копоть, изморозь и мглу.

С «беседной избой» произошло что-то страшное. «Уму — республика, а сердцу — матерь-Русь…» Но вот вторглась в избу «республика» — и воздух в ней стал другой, вся жизнь поменялась, душа из неё ушла, и космос избяной пропал.

В избе гармоника: «Накинув плащ, с гитарой…»
А ставень дедовский провидяще грустит:
Где Сирин — красный гость, Вольга с Мемёлфой старой,
Божниц рублёвский сон, и бархат ал и рыт?

«Откуля, доброхот?» — «С Владимира-Залесска…»
— «Сгорим, о братия, телес не посрамим!..»
Махорочная гарь, из ситца занавеска,
И оспа полуслов: «Валета скозырим».

Живая старина исчезает на глазах, благодатный аромат избы заглушается махорочным дымом, а голоса странников и самосожженцев, вселявших в сердце сладость и печаль, — галдежом картёжников, что уже ни в красный угол, ни на старую резьбу не глянут. Не для них, «цивилизовавшихся», эта старина, печально покидающая обжитое веками жилище.

Под матицей резной (искусством позабытым)
Валеты с дамами танцуют вальц-плезир,
А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым,
Щипля сусальный пух и сетуя на мир.

Кропилом дождевым смывается со ставней
Узорчатая быль про ярого Вольгу,
Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней
Пропляшет царь морской и сгинет на бегу.

Уж не думал ли Клюев, слагая эти, исполненные редчайшей, осмысленной и тревожной красы стихи, о своём «белом цвете Серёже», что ещё ответит ему, ещё позабавится, ещё вдарит своей сокрушительной «Инонией»?

Глава 15
КЕРЖЕНСКИЙ ДУХ

Сочиняя передовицу к «Скифам», Иванов-Разумник, очевидно, держал в уме слова Иннокентия Анненского: «В нас ещё слишком много степи, скифской любви к простору. Только на скифскую душу наслоилась тоже давняя византийская буколика с её вертоградами, пастырями, богородицыными слёзками и золочёными заставками».

И Разумник формулирует принципиальное одиночество «скифов» — до Февраля и после, когда, казалось, «наше время настало»… «Но прошли дни — и немного дней — и… рассеялось марево этой всеобщности порыва… Снова на трибунах и на газетных столбцах уверенно заговорили… разумные, слишком разумные политики „Справедливости“… Как раньше, и больше, чем раньше, они не хотят нашей Правды… Мы снова чувствуем себя скифами, затерянными в чужой нам толпе, отслонёнными от родного простора».

Наступил Октябрь — и «скифы» снова почувствовали себя в своей стихии.

По существу их мироощущение было религиозно-катастрофическим. Радость от грядущего перестроения всего бытия соседствовала с воспеванием первобытного хаоса. Но говорить о каком бы то ни было единстве взглядов не приходилось.

Из письма Иванова-Разумника Андрею Белому: «Партии — омерзительны; фракционные раздоры и диктатура одного человека, искреннего, но недалёкого, — погубили революцию. Теперь такие же люди хотят вывести из тупика — и всё дальше и дальше заходят в него. Вожди „большевистские“ — всё то же самое политическое болото; но *масса* большевистская — лучшие и самоотверженнейшие люди. Я с ними провёл все дни „октябрьской революции“ — с 26 по 28 октября я был безвыходно в Смольном; потом через дня два-три в Царском массами были кронштадтцы и красногвардейцы. Как горевал я, что Вы уехали — особенно когда узнал, что творится в Москве…

Сегодня утром я послал Вам заказную бандероль — корректуру „Котика Летаева“, об этом речь идёт на следующем листе; я завернул её в газету „Знамя Труда“ от 28 окт<ября>, где есть моя статья „Своё лицо“. Прочтите её, чтобы стало ясно, почему я не с Лениным, но и не с теми, кто хочет обрушить громы на его голову…

Посылаю Вам сегодня в этом письме поэму Есенина „Пришествие“, посвящённую Вам. Как Вы думаете, если поместить её в 3-ем „Скифе“? В ней есть чудесные места, некоторые я твержу уже несколько дней. И снова революция, как Крестный путь, как Голгофа… Растёт мальчик (и откуда что берётся); пройдя через большие страдания, быть может, и до Клюева дорастёт. Кое в чём он уже теперь равен ему…

Ремизов — „Слово о погибели Русской Земли“ — вещь совершенно удивительная по силе и глубоко мне по духу враждебная. О ней — статья моя „Две России“, непосредственно за ней следующая… Моё мнение — именно в „Скифах“ надо напечатать это великолепное „Слово“, глубоко *реакционное* не по внешности, а по глубокой внутренней сущности. З. Н. Гиппиус отказалась напечатать это „Слово“ в предполагавшейся Савинковской газете, заявляя, что „Слово“ это „слишком черносотенно“…

А III „Скиф“ необходимо вместе составить в Царском Селе, в декабре! Жду…» (9 ноября 1917 года).

Третий сборник «Скифы» так и не вышел. А во втором Разумник вместе со стихами Есенина, Клюева, Ганина и Орешина опубликовал две свои статьи — «Две России» и «Поэты и революция», и ещё восторженную статью Белого «Песнь Солнценосца» о клюевской поэме. В письме Разумнику от 4 января 1918 года Белый писал: *«„Песнь* Солнценосцев“ (так! — *С. К.)* одинаково нам обоим дорога. Н. А. Клюев… всё более и более, как явление единственное, нужное, необходимое, меня волнует: ведь он — единственный народный Гений (я не пугаюсь этого слова и готов его поддерживать всеми доводами внешнего убеждения)».

«Две России» — это Россия Ремизова, противостоящая России Клюева и Есенина.

«„Святая Русь“ Ремизова, исконного „старовера“, лежит „об-о-пол“ петровской революции. Но всё-таки понимает ли он, что в своей революции Пётр был в тысячи и тысячи раз более взыскующим Града Нового, чем девяносто из сотни староверов, сжигавших себя в срубах во имя „Святой Руси“?..» (Эту же мысль, усвоенную у Разумника, позже повторит Троцкий в «Литературе и революции»!)

Через несколько дней после выхода «Скифов» критик получил гневное есенинское послание:

«Дорогой Разумник Васильевич!

Уж очень мне понравилась с прибавлением *не* клюевская „Песнь Солнценосца“ и хвалебные оды ей с бездарной „Красной песней“.

Штемпель Ваш „первый глубинный народный поэт“, который Вы приложили к Клюеву из достижений его „Песнь Солнценосца“, обязывает меня не появляться в третьих „Скифах“. Ибо то, что Вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счёл только за мышиный писк…

Клюев, за исключением „Избяных песен“, которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его „прекраснейшему“ и „белый свет Серёжа, с Китоврасом схожий“.

То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.

„Я яровчатый стих“ и *„Приложитесь ко мне, братья“* противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а…

Но об этом говорить не принято, и я оставлю это для „лицезрения в печати“, кажется, Андрей Белый ждёт уже…

В моём посвящении Клюеву я назвал его *середним* братом из чисел 109, 34 и 22. Значение среднего в „Коньке-горбунке“, да и во всех почти русских сказках — „так и сяк“.

Поэтому я и сказал: „Он весь в резьбе молвы“, — то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель.

А я „сшибаю камнем месяц“, и чёрт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает.

Говорю Вам это не из ущемления „первенством“ Солнценосца и моим „созвучно вторит“, а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклёвывается из сердца самого себя птенцом…»

Числа 109, 34 и 22 — возраст Кольцова, Клюева и Есенина на 1917 год, на момент написания стихотворения «О Русь, взмахни крылами…». «Созвучно вторит» — слова из злополучной разумниковской статьи «Две России», которая не пришлась Есенину по душе поистине «не из ущемления» клюевским «первенством».

Самому Клюеву разумниковские слова, что Пётр был более «взыскующим Града Нового», чем староверы, сжигавшие себя в срубах, должны были стать поперёк горла… Это перекликалось в его сознании с памятным «Грядущим Хамом» Мережковского, который утверждал, что *«первый русский интеллигент* — Пётр… Единственные законные наследники, дети Петровы — все мы, русские интеллигенты… Кто любит Петра, тот и нас любит, кто его ненавидит, тот ненавидит и нас… Мы, „беспочвенные“ интеллигенты, предпочтём остаться с Петром и Пушкиным, который любил Петра как самого родного из родных, нежели с теми, для кого Пётр и Пушкин чужие». Для Клюева Пушкин был

противоположностью Петру, ответом на реформы Петра, на его эпоху и эпоху его последователей, при которых на Руси было уничтожено четыре пятых русских монастырей.

В «Песни Солнценосца» оживает вся мировая архаика — от Назарета до Садко, которому Клюев и вкладывает в уста слова: «Я — песноводный жених, русский яровчатый стих». Это поэтическое воплощение мечты Николая Фёдорова о всенародном, всеславянском храме, ибо «славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеобщем соединении и приятие её как руководства, как плана, проекта деятельности, жизни», поскольку — «*нет вражды вечной, устранение же вражды временной составляет нашу задачу*. России остаётся на выбор: 1) или примирить Европу и Азию, Запад и Восток (ближний и дальний) и примирить не теоретически только, как это сделал Константинополь, но и практически, устраняя причины к раздору; 2) или же самой разложиться на Азию и Европу. Даже и замечено уже было, что народ в России уйдёт в раскол, а верхние слои обратятся в католическое суеверие или в протестантское неверие».

В «Песни Солнценосца» свершается даже не примирение — соединение, и — не только сторон света, но Бездны с Зенитом.

У Есенина же, после «Преображения», где россияне — «ловцы вселенной» — старая вселенная в «Инонии» рушится и исчезает без следа. Может быть, он вспоминал читанное ему некогда Клюевым:

> Наша земля — голова великана,
> Мы же — зверушки в трущобах волос,
> Горы — короста, лишай — океаны,
> В вечность уходит хозяина нос.
> В перхоть мы прячем червивые гробы,
> Костные скрепы сверлом бередим.
> Сбудется притча: титан огнелобый
> Нам погрозится перстом громовым.
> Коготь державный косицы почешет —
> Хрустнут Европа, безбрежный Китай…
> В гибели внуков ничто не утешит
> Светлого Деда, взрастившего рай.

И о каком «храме», о каком недавно желаемом новом пришествии Христа может идти речь, когда «иное пришествие, где не пляшет над правдой смерть», несёт с собой вселенскую катастрофу, совершаемую с участием самого поэта, что сам становится подобием — нет, не «огнелобого титана», а карающего

архангела.

До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук…
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как златой калач.
И в провал, осенённый бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвёздную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.

Это уже не «светлый гость» «Преображения», что сходит на землю «из распятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь»… Создается новое мироздание после наступившего апокалипсиса — и в этом мироздании нет места ни распятию, ни воскресению, ни евхаристии, ни причастию. «Связь со старым миром порвана», — объяснял Есенин. Не с миром — со старым мирозданием. В есенинской «Инонии» то, что было кощунством в старой системе координат — уже не кощунство. «Тело, Христово тело выплевываю изо рта… Даже Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов… Языком вылижу на иконах я лики мучеников и святых… Проклинаю тебя я, Радонеж, твои пятки и все следы!.. Ныне ж бури воловьим голосом я кричу, сняв с Христа штаны…» Эти всесокрушающие удары в сакральные точки православного мировоззрения объяснимы при обращении к пророку Иеремии, которому посвящена «Инония»: «Так говорит Господь: вот, идёт народ от страны северной, и народ великий поднимается от краёв земли; держат в руках лук и копьё; они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море; и несутся на конях, выстроены. Как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона…» «Дочь Сиона» пожрана катаклизмом, вызванным не всадниками, а новым «пророком — Есениным Сергеем»… Нет ни Московии, ни Америки, «ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». И когда на очищенной новой земле рождается «Инония с золотыми шапками гор», заново звучит с «золотых шапок»: «Радуйся, Сионе… Слава в вышних Богу, и на земле мир…» Обретение

после отречения — словно отвечает эта «песня с гор» клюевскому Садко «Песни Солнценосца».

Третьего января 1918 года Есенин навестил Блока. В этот день Блок сделал примечательную запись: «На улицах плакаты: все на улицу 5 января (под расстрел?)». Да, именно под расстрел пошли немногочисленные защитники разогнанного Учредительного собрания. «К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов). — Весь вечер у меня Есенин».

Есенин читал ещё не законченную «Инонию». Блок подмечал в его внешнем облике проявившееся сходство с Андреем Белым (тот заражал своей порывистой манерой разговора — и Есенин на какое-то время перенял её). Внимательно слушал, потом задавал вопросы. Есенин — объяснял.

— Я не кощунствую. Я не хочу страдания, смирения, сораспятия.

Последнее слово возвращало к «Посланию к Галатам» святого апостола Павла, часто цитируемому Клюевым: «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но во мне живёт Христос».

— Вы — западник, — бросал Есенин Блоку. — Но между нами нет щита, я его не чувствую. И революция должна снять все щиты.

Цепляя на себя клюевскую маску — называясь выходцем из богатой старообрядческой семьи (что не имело никакого отношения к реальности) — связывал старообрядчество с хлыстовством и тут же резко отстранялся от Клюева.

«Клюев — черносотенный (как Ремизов), — записал Блок есенинские слова. — Это не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой); но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа: тут общими силами выяснили».

Это «черносотенный» парадоксально совпало с Гиппиусихиной характеристикой Ремизова, но Есенин вкладывал в слово, естественно, иной смысл. Не о политической реакционности шла речь, а, если угодно, о поэтической. То бишь духовной и смысловой (не только формальной). Это был и камушек в огород Разумника, для которого Ремизов — реакционер, а Клюев — солнценосец.

Блок, конечно, читал разумниковские «Две России». Следы этого чтения прослеживаются отчётливо.

Пафос статьи Разумника, влияние есенинского чтения и долгой беседы с младшим собратом, что лишь недавно (трёх лет не прошло!) приходил к Блоку, дрожа от волнения, — всё отложилось в строках написанной им через несколько дней

статьи «Интеллигенция и революция».

«Дело художника, *обязанность* художника — видеть то, *что* задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“.

Что же задумано?

Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью… Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но *это* называется *революцией*».

И далее размышляет об *этом* Блок в унисон не только с есенинской «Инонией», но и с клюевской «Песнью Солнценосца».

«Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несёт новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своём водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это её частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издаёт поток. Гул этот всё равно всегда — *о великом.*

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет — гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесёт в заметённые снегом страны — тёплый ветер и нежный запах апельсинных рощ; увлажнит спалённые солнцем степи юга — прохладным северным дождём.

„Мир и братство народов“ — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чём ревёт её поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать».

«Двенадцать» и стали таким напряжённым трагическим вслушиванием в происходящее. И если Разумник писал о «тёмной веками вскормлённой злобе» в низах и задавался вопросом — не больше ли её в верхах, то для Блока природа этой злобы составляла ещё больший вопрос:

Черная злоба?
Святая злоба?

Слабую попытку ответа обрывает патруль:

Товарищ, гляди
В оба!

И, наконец, главный вопрос, задаваемый Разумником с привлечением клюевской строки: «Народ, грабитель и насильник, — „воскрешённый Иисус“?.. Не может душа народная быть сопричтена к разбойникам и убийцам» при том, что «видим мы и грабёж, и насилие»… Блок трезво и безжалостно описывает в «Двенадцати» и грабёж, и насилие: «В зубах — цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз… Свобода! Свобода! Эх, эх, без креста!» Любой, взявший газетный лист с поэмой, увидел бы в этих строках забубённых каторжников. А тот же Клюев прочёл бы их другими глазами — ибо «бубновые тузы» на спинах по указу Петра I почти весь XVIII век носили староверы, и только Екатерина II отменила это императорское распоряжение… А Христос? Он — в снежной дымке, в воздухе, неуязвимый для пуль, выпущенных в него новыми «апостолами»… Вопреки финалу есенинского «Товарища», где «пал сражённый пулей младенец Иисус», сошедший с иконы, и которому «больше нет Воскресенья»… А у Блока — «нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди — Исус Христос». И этот образ — совсем уже из иного источника.

«Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провели в тюрьме долгие годы; и первый — единственный христианский поэт после Данте, а второй — человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядёт к нам из России». Так писал Оскар Уайльд в своей тюремной исповеди — *«De Profundis»*.

Несколько нитей завязывают этот непростой узел. В первую очередь в тексте поэмы бросается в глаза староверческое написание — «Исус» — «белоснежного Христа», кажется, впрямую заимствованного у Уайльда. Но здесь же возникает анархист князь Кропоткин, от которого по ассоциации тянется нить к другому прославленному анархисту — Михаилу Бакунину, — о нём Блок написал отдельную статью сразу после первой русской революции. О нём, о котором, по словам поэта, «можно писать сказку». Люто враждовавший с Марксом, он в своё время отмечал, что «марксисты должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую… Они должны отвергать крестьянскую революцию уже по одному тому, что эта революция специально славянская». Но самое главное — ни мимо Блока, ни мимо «скифов» не могли пройти слова Николая Бердяева в статье «Интернационал и единое человечество», напечатанной в «Русской свободе» в мае 1917-го: «…У Бакунина была идея

русского революционного мессианства… „Большевизм“ г. Ленина есть крайнее выражение этой идеи. В Григории Распутине нашла себе выражение чёрная хлыстовская идея. В г. Ленине и кружащихся вокруг него ярко выражена красная хлыстовская стихия… В лениновском большевизме идея… утверждается в исступлённой ненависти и раздоре, в обречении на гибель большей части человечества…»

Запомним эти слова: «красная хлыстовская стихия». Ничуть не меньшие враги Ленина, чем Бердяев, оценивали происходящее в более точных категориях.

Так, Влас Дорошевич в одном из фельетонов, напечатанных в июле 1917 года, так охарактеризовал Ильича: «Ленин — это легенда семнадцатого века, капризами взвинченной фантазии перенесённая в двадцатый».

А уже в эмиграции высланный Лениным за границу Георгий Федотов оценивал вождя в ещё более глобальном контексте: «Их (большевиков. — *С. К.)* почвой была созданная Лениным железная партия. Создание этой партии было… свидетельством о каких-то огромных — пожалуй, даже *допетровских* (выделено мной. — *С. К.)* — социальных возможностях. Вся страстная, за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконцентрирована в один ударный механизм, бьющий… с нечеловеческой силой».

Партия, вдохновляемая антирусской идеологией, аккумулировала силу, вдохновляемую извечной русской мечтой о земной справедливости. По сути, в революции 1917 года сложились несколько революционных потоков, не просто противоречащих, а откровенно враждебных друг другу. В этом и заключается загадка последующего мощного и трагического пути России в XX столетии.

«Большевизма и революции нет ни в Москве, ни в Петербурге, — записывал Александр Блок. — Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глуби России, может быть, в деревне»…

Религиозный пафос революции был подавляющим. Он сказывался во всём — в быту, в творчестве рабочих и крестьянских поэтов, в самом всесокрушающем революционном энтузиазме. Читая прессу тех лет, приходишь к выводу: без религиозной составляющей революция была бы обречена. Это при том, что верхушка революционных вождей — закоренелых атеистов (а среди них были и чистые сатанисты вроде Якова Свердлова) — ненавидела православие лютой ненавистью.

И ещё один вывод напрашивается со всей очевидностью. В своём духовном, мировоззренческом диалоге, во взаимоприятии

и взаимоотрицании точнее Блока, Клюева и Есенина никто, пожалуй, в те дни не проникал в суть свершающегося. Нам, неблагодарным потомкам, восхищающимся их стихами, должно быть страшно за предание забвению их заветов и прозрений, их жестоких уроков — нам, легко поверившим в то, что не было *революции,* а был всего лишь *переворот,* нам, смирившимся с жизнью, покрытой буржуазной ряской. Когда настанет черёд возмездия за это — не следует посыпать голову пеплом.

* * *

Шестнадцатого февраля Иванов-Разумник писал Андрею Белому: «Постоянно приходится встречаться и чувствовать духовную связь свою с самыми разными людьми. Блок и Лундберг, Есенин и Сюнненберг, Чапыгин и (судя по стихам и письмам) Клюев — люди разных кругов, разных вер, разных верований. Чувствую, что жутко было бы одному остаться лицом к лицу со всем вражеским станом; но чувствую и другое — что и тогда бы, один, не перестал бы я делать и говорить то, что делаю и говорю. Как радостно, что Вы, что Блок — на этой же стороне пропасти!»

Но даже Блок с Белым не были «на одной стороне пропасти». В письме Блоку Белый восхищался его «Скифами», а о «Двенадцати» писал: «С ними я не согласен».

«Скифская рать» разбрелась в разные стороны, каждый пошёл своей дорогой, — остались памятником этому кратковременному содружеству два сборника, на страницах которых сошлись в горячем порыве приятия и отрицания революции — народ и интеллигенция.

А Клюев… Клюев поддерживает эпистолярное общение с Виктором Миролюбовым, присылает ему стихи и, конечно, знает из писем своего адресата о гневных словах Есенина (тот оставил черновик своего письма Миролюбову). Для Клюева, пребывавшего в крайней бедности и в очень тяжёлом физическом и душевном состоянии, это известие стало лишней щепоткой соли на раны, чем и объясняется горечь его тона в послании.

«Присылаю Вам, дорогой Виктор Сергеевич, три стихотворения под общим названием „Республика“. Не знаю, как они сложены, но по чувству истинны и необлыжны. Если Вы найдёте достойным напечатать их в „Ежем<есячном> журнале“, то вышлите за них и деньги кряду же по получении, как Вы обещали в письме на стихотворение „Уму республика“, причём и за это последнее стихотворение тоже уплатите заодно. Мне

стыдно с Вами говорить так, но я очень нуждаюсь. Мука ржаная у нас 50 руб. и 80 руб. пуд. Есть нечего и взять негде. Сам я очень слаб и болен, вся голова в коросте, шатаются зубы и гноятся десны, на ногах язвы, так что нельзя обуть валенка, в коросте лоб и щёки, так что опасно и глазам. Я очень и очень удручён, ни за что придётся пропадать, хотя при пролетарской культуре такие люди, как я, и должны погибнуть, но всё-таки не думалось, что моя гибель будет так ужасна, — ведь у меня столько друзей с братьями, которым стоило бы один раз в неделю не сходить в „Привал комедиантов“ или к любовнице, и я был бы сыт в моей болезни. Вот Есенин, так молодец, не делал губ бантиком, как я, а продался за угол и хлеб, и будет цел и из всего выйдет победителем — плюнув всем „братьям“ в ясные очи».

Клюев уже не сдерживался, может быть, и понимая в глубине души, что никому Есенин не «продавался», но получить удар от своего «жавороночка» — ни с чем не сравнимая боль… И всё же — проходит немного времени, Иванов-Разумник умасливает «Серёженьку», объясняя ему — насколько тот не прав в оценке клюевских революционных гимнов. И Есенин оттаивает. Уже следующее стихотворение — где он воспевает «щедрость наставников моих», где «звездой нам пел в тумане разумниковский лик» и «апостол нежный Клюев нас на руках носил» — говорит о том, что добро не забыто, даром что «теперь мы стали зрелей и весом тяжелей»… Уже написана статья «Отчее слово» о «Котике Летаеве» Белого, где финал «Песни Солнценосца» цитируется в абсолютно доброжелательном контексте. Наконец, в феврале выходит тот самый коллективный сборник, о котором Есенин писал Ширяевцу — «Красный звон» с циклом поэм Есенина «Стихослов», с подборками стихов Клюева, Ширяевца и Орешина. И если А. Гизетти обвинял поэтов в том, что они якобы избрали путь идолопоклонства и «пресмыкания перед народной революционной стихией», а будущий имажинист Вадим Шершеневич — в «спекуляции на модных настроениях», то известная нам Зоя Бухарова под характерным псевдонимом «Фома Верный» писала в «Знамени труда»: «„Красный звон“ должен найти самое широкое сочувствие и распространение. Будем бережно хранить его свежие, дорогие страницы от всяких тёмных, лукавых покушений. Будем отдыхать на них от мелочно-обывательской, жалко-трусливой болтовни. И нетленными, благоуханными, невредимыми донесём эти скрижали Великой Русской Революции — до наших потомков, не удостоившихся быть благоговейными очевидцами грозного, но прекрасного мирового переворота».

Посодействовал заочному примирению и Миролюбов, о чём

известил Клюева, а Николай откликнулся сердечным письмом, где, что характерно, обозначил свою «третью правду», свой путь в революционном взбаламученном море: «Я не большевик и не левый революционер. Дорогой Виктор Сергеевич. Тоска моя об Опоньском царстве, что на Белых Водах, о древе, под которым ждёт меня мой Царь и брат. Благодарение Вам за добрые слова обо мне перед Серёжей, так сладостно, что моё тайное благословение, моя жажда отдать, переселить свой дух в него, перелить в него все свои песни, вручить все свои ключи (так тяжки иногда они, и единственный может взять их) находят отклик в других людях. Я очень болен, и если не погибну, то лишь по молитвам избяной Руси и, быть может, ради „прекраснейшего из сынов Крещёна Царства“».

Есенин в это время работал над одним из первых вариантов «Ключей Марии» — название ещё не родилось, но было уже подсказано клюевским письмом, прочитанным у Миролюбова. Трактат о поэзии, писавшийся под явным влиянием бесед с Клюевым и Белым об орнаменте и в подспудной полемике с «Жезлом Аарона», получил имя с соответствующим примечанием: «Мария» на языке хлыстов шелапутского толка означает «душу». При очевидной для посвящённых отсылке к Клюеву, к его знанию этого потаённого мира, высвечивается и ещё один смысл: Мария, не хлопотавшая, в отличие от Марфы, а благоговейно внимавшая Христу. И как примеры высшей поэзии на первых страницах приводились стихи Клюева из цикла «Земля и железо».

* * *

Россия перешла на григорианский календарь. Был принят закон о социализации земли. Ликвидирован Святейший синод. Наконец, Россия объявила себя вышедшей из войны, был отдан приказ «о полной демобилизации по всему фронту».

Церковь лишалась прав юридического лица и всего имущества. В знак протеста в провинции прошли крестные ходы, расстрелянные карательными отрядами.

Восемнадцатого февраля немцы прекратили перемирие с Советской Россией и начали наступление на Псков и Нарву. А через два дня на фоне немецкого наступления и непрекращающихся антибольшевистских выступлений в Петрограде Совнарком принял решение о переезде и переносе столицы в Москву.

Ещё через два дня в Петрограде вводится военное положение. Немцы занимают Псков. Заключается похабный (без всяких

кавычек!), но, увы, жизненно необходимый мир в Брест-Литовске. Россия практически превращается в протекторат Германии.

А в Мурманск прибывает английский крейсер «Глория» по договору с исполкомом Мурманского совета для обеспечения безопасности города и отражения немцев на севере. В Архангельске с той же целью высаживаются французские и американские части. Начинается по сути ползучая оккупация страны.

Десятого марта советское правительство переезжает в Москву. Петербургскому периоду российской истории приходит конец.

И в это время Клюев, при получении последнего известия, пишет одно из самых своих поразительных стихотворений.

То, до чего додумались Бердяев, Дорошевич, Федотов — Клюеву было ясно изначально, но последним шагом Ленина, вдохновившим поэта, — стал именно переезд власти в Москву. Статуса столицы лишалось детище Петра-антихриста, начинался заново московский период русской истории, прерванный триста лет назад.

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казённый,
Народный испод шевеля,
Несётся глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна, —
То Чёрной Неволи басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Честно говоря, когда сплошь и рядом приходится читать о лукавстве, расчётливости и гибкости Клюева, который умел «прилаживаться», — возникает единственный вопрос: о ком речь? Эти стихи не несут в себе ни малейшего признака лицемерия.

Так, «подлаживаясь», не пишут. И не стоит забывать о цене, которую при вполне реальной перемене ситуации пришлось бы заплатить за эти величальные строки.

Поразительно, что это первое стихотворение в русской советской поэзии, посвящённое Ленину, не несёт на себе никаких признаков самообмана. Клюев трезв и точен. Он разговаривает с Лениным, как «посвящённый от народа», как «потомок лапландского князя, Калевалы волхвующий внук». Он видит в Ленине то, что видела в нём забитая, замордованная черносошная Россия, которая впервые за столетия услышала: «Это — твоя страна». Он слышит в речах Ленина то, что слышали его братья-староверы, которых Ульянов — ещё не глава государства — с восторгом и интересом слушал и советовал своим соратникам использовать в борьбе против самодержавия. «Красная молвь» словно входит в эти стихи с древней иконы «Спаса в Силах», а «вихрь и гроза», причисленные к «ангельским ликам», отсылают к многажды читанному и знаемому наизусть Апокалипсису. Но…

Но — куда деть три столетия блестящего петербургского периода, когда все живущие поколения памятью и родословной принадлежат ему кровно?

Есть в Смольном потёмки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца», —
Толкует удалых ватага…
Позёмкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звёзд,
У зорь, что румянят ракиты…
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережёт
В глухих преисподних могилах…
О чём же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

«Татарско-унылые напевы» возвращают к «златоордному мурзе» — ибо других напевов у живших под Романовыми, как под Золотой Ордой, пока ещё нет… И живы ещё Николай,

Александра, их дочери и сын… Но Клюев уже зрит всё наперёд.

А хоронить… Хоронить ненавистную романовщину он готов вместе со всеми «февралистами» — всех в одну яму.

Керенками вымощенный просёлок —
Ваш лукавый искариотский путь.
Христос отдохнёт от терновых иголок,
И легко вздохнёт народная грудь.

Сгинут кровосмесители, проститутки,
Церковные кружки и барский шик,
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.

«Кровосмесители» и «церковные кружки» явственно напоминают о «Башне» Вячеслава Иванова, сожительствовавшего с падчерицей, и о «Религиозно-философских собраниях», суть которых беспощадно обнажил Блок. Но главное — дальше, а дальше — призыв к «русским юношам, девушкам»:

В львиную красную веру креститесь,
В гибели славьте невесту-Россию!

Так впервые в «революционном» цикле появляется образ льва. На колоннах «Львиной капители» в долине Ганга львы, спящие с полуразверстыми лапами, символизируют Север. Но неизбежно возвращение ещё к одному смыслу — к смыслу подвига мучеников-христиан, травимых львами в римском Колизее. Те — славили Христа. Этим — новым мученикам — славить «невесту-Россию»… И отвечать злом на зло, презрев христианскую заповедь:

Жильцы гробов, проснитесь! Близок Страшный суд
И Ангел-истребитель стоит у порога!
Ваши чёрные белогвардейцы умрут
За оплевание Красного Бога.
……
За то, чтобы снова чумазый Распутин
Плясал на иконах и в чашу плевал…

Это не Распутин, никогда в жизни не плясавший на иконах, а его отложившаяся в памяти газетная карикатура… Но вспомним

бердяевское противопоставление «распутинской чёрной хлыстовской идеи» и ленинской «красной хлыстовской стихии»… Русский обыватель, читая подобное, мог бы только, перекрестившись, произнести про себя: «Хрен редьки не слаще»… Но Клюеву «красное хлыстовство» — слаще. И ещё как слаще!

Хвала пулемёту, несытому кровью
Битюжьей породы, батистовых туш!..
Трубят серафимы над буйною новью,
Где зреет посев струннопламенных душ.

От такого многим станет не по себе… Клюев, словно ангел мести, призывает к умерщвлению «битюжьей породы», дабы на земле, пропитанной кровью, вызрел новый посев под Серафимовы трубы. Он уже ощущает себя «право имеющим», проповедником от новой земли, парадоксально перекликаясь с «пророком Есениным Сергеем».

Я — посвящённый от народа,
На мне великая Печать,
И на чело своё природа
Мою прияла благодать.
……
Пусть кладенечные изломы
Врагов, как молния, разят, —
Есть на Руси живые дрёмы —
Невозмутимый светлый сад.

Он в вербной слёзке, в думе бабьей,
В Богоявленьи наяву,
И в дудке ветра об арабе,
Прозревшем Звёздную Москву.

Это вам не «Я гений Игорь Северянин», что «повсеградно оэкранен» и «повсесердно утверждён» и который в том же 1918-м объявлен «королём поэтов». Гениев за последние 20 лет развелось, как собак нерезаных. А посвящённый от народа — один.

Клюевская революция явно не по Марксу. И не по Ленину. Пока в стихах, посвящённых последнему, лишь обрисован идеальный образ — пример того, кто обязан стоять во главе новой России… А Инония ещё раз отразится в клюевских стихах — в небольшой поэме «Медный Кит», уже пронизанной

тревожным чувством, что такой, как Клюев, при пролетарской культуре «должен погибнуть».

«Газеты пищат, что грядёт Пролеткульт», — а для этой жуткой организации деревенская изба — смертельный враг. Тревожные образы наплывают друг на друга, и, кажется, в пределах небольшого стихотворного пространства радость успевает многократно смениться смертной горечью. «Увы! Оборвался Дивеевский гарус, / Увял Серафима Саровского крин…» Словно есенинский ураган-торнадо смёл с лица земли всё драгоценное для Николая — и эту жертву надо принести, хотя совсем не есенинская «Инония» встаёт перед глазами:

Глядите в глубинность, там рощи-смарагды,
Из ясписа даль, избяные коньки, —
То новая Русь — совладелица ада,
Где скованы дьявол и Ангел Тоски.

Узреть эту Русь можно, лишь потеряв прежнюю, и если есенинский Исус сходил с иконы для борьбы «за равенство, за труд», то клюевские святые покидают долинное письмо не по своей воле.

Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать,
И с псковскою Ольгой, за жёлтые боны,
Усатым мадьярам себя продавать.

Святые, покидающие своё иконное пристанище, — это по сути страшное пророчество того, что наступит через несколько лет, когда в коммунистических журналах станут печататься «иконные» изображения «Кирилла и Мефодия» с лицами Бухарина и Преображенского (и держат новоявленные «просветители» вместо Евангелия «Азбуку коммунизма»), когда Андрей Платонов напишет в «Сокровенном человеке»: «Плакаты были разные. Один плакат перемалёван из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змия, воюя на адовом дне. К Георгию приделали голову Троцкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуя; кресты же на ризе Георгия Победоносца зарисовали звёздами, но краска была плохая — и из-под звёзд виднелись опять-таки кресты».

(Хочешь не хочешь, а вспомнишь здесь Василия Шукшина и его замечательную сказку «До третьих петухов», где черти требуют выскрести с икон изображения святых, а вместо них

намалевать — «нас», то бишь самих рогатых!)…

Погибла Россия — с опарой макитра,
Черница-Калуга, перинный Устюг!
И новый Рублёв, океаны — палитра,
Над ликом возводит стоярусный круг…

Умирает Россия-мать, чтобы родилась невеста-Россия, которую будут «в гибели славить» юноши и девушки и встречать «солёным словом» матросы, правящие свою обедню на Марсовом поле, где хоронили убитых городовых и застреленных ими бандитов и мародёров — всех, как «героев революции»… (как здесь вспоминаются «торжественные похороны» августа 1991 года!). И это — прозревает Клюев — «путь к Солнцу во Славе и Духе».

А что до «звёздной Москвы»…

Пятиконечная пламенеющая звезда издавна считается масонским символом — символом микрокосма, позаимствованным у древних римлян — в их мифологии бог войны Марс вырос из красно-оранжевого пятиконечного цветка лилии. Она была утверждена ещё в апреле 1917 года масонским Временным правительством в военно-морской кокарде. А в Красной армии введена в качестве символа по предложению Троцкого, причём поначалу была перевёрнута вверх ногами — двумя лучами вверх — и символизировала знак антихриста, но почти сразу повёрнута в изначальное правильное положение.

Но Клюев знал и другое. У русских язычников пятиконечная звезда — знак весеннего бога Ярилы, а у саамов Лапландии — оберег, охраняющий оленей. Его чрезвычайно почитали охотники-карелы — при встрече зимой с медведем охотник рисовал на снегу три пятиконечные звезды перед собой — и считалось, что медведь не может эту линию переступить.

Не было у Николая и не могло быть изначальной неприязни к этому символу. Но чем больше посещали его сомнения в том — его ли эта революция и та ли она, о какой он мечтал, — тем чаще он возвращался к «общепринятому» значению знака в его смертельной для русского человека интерпретации.

Не диво в батрацкой атласная дама,
Алмазный король за навозной арбой,
И в кузнице розы… Печатью Хирама
Отмечена Русь звездоглазой судьбой.

Нам Красная Гибель соткала покровы…

Слезинка России застынет луной,
Чтоб невод ресниц на улов осетровый
Закинуть к скамье с поцелуйной четой.

Его ещё не посещают мысли о грехе и покаянии. Но жуткие видения уже мелькают перед глазами.

…Двенадцатого марта скончался Алексей Тимофеевич Клюев. После похорон отца Николай покинул деревню и уехал на постоянное жительство в Вытегру. С этим городом он почти неразрывно будет связан ближайшие пять лет.

Глава 16
КОММУНА И ЛЕЖАНКА

Шестого апреля вытегорская газета «Известия» сообщала о собрании жителей города. Повестка дня насчитывала несколько пунктов: декрет об отделении церкви от государства, постановление губернского Совдепа о переходе золота, серебра и изделий из них в общенародное достояние, распоряжение Священного синода по поводу отобрания у церквей и учреждений духовного ведомства земли и других имуществ, о материальном обеспечении местного духовенства и другие текущие дела.

И в первую очередь были оглашены 17 пунктов декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Переполненное здание женской гимназии пронизывали токи ярости, недоумения, возмущения.

— Нам нужны церкви! Нам необходимы батюшки! — отчаянные вопли женщин заглушали речи казённых ораторов.

Корреспондент выражал недовольство тем, что «смешиваются понятия: храм, здание с церковью — обществом верующих». Он утверждал, что «согласно декрета никто не покушается на храмы — церковь…». Все эти разъяснения не произвели на собравшихся ни малейшего впечатления.

«После краткой речи тов. Леонтьева, пытавшегося отождествить право *церкви* как юридического лица с таковым же правом *союза* потребителей, собрание, усматривая умаление значения церкви, настолько наэлектризовывается, что продолжительное время стоит гам и шум, как это бывает на многолюдных митингах, где большинство не знает друг друга, встречается только впервые, где понятен подобный взрыв страстей; здесь же столь острое выявление чувств было и неуместно, и даже вредно для дела церкви, на что и было справедливо указано о. Марковым, внёсшим своим выступлением некоторое успокоение…»

Никакого «успокоения» не было и в помине. Более того, выступления очередных ораторов вызвали новый накал страстей.

«Оглашается известное выступление патриарха Тихона. Товарищ Клементьев, член Вытегорского Совдепа, пытается прочитать приговор нескольких волостей крестьян Самарской губернии на это послание….» А текст патриаршего послания, распространившегося по всей России с начала года, просто прочитанный вслух, сам по себе был способен накалить атмосферу до такой степени, что с собранием уже не смог бы

справиться ни один — пусть самый опытный и волевой — оратор.

«Тяжёлое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги её истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани…

Зовём всех верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей».

И тут же, после чтения «приговора крестьян Самарской губернии», как передал корреспондент газеты молодой поэт Сергей Ручьев — «опять митинг — и митинг беспорядочный. „Долой, вон, убирайся, не надо нам читать газету…“ Под общий шум, даже не приступив к оглашению приговора, тов. Клементьев покидает трибуну.

Такой же прием оказывается вначале товарищу Николаевскому, члену Вытегорского Совдепа, но тов. Николаевский заставил собрание выслушать себя и, при некотором шуме, в течение получасовой речи доказывал целесообразность (закона) об отделении церкви от государства. Отделяясь, церковь становится свободной и вольна молиться или нет за царя, за разных Питиримов и проч., может не молиться и за тех, кто волею истории стоит у власти. Свободно верующий христианин всё принимает на алтарь церкви. Церкви нужен живой дух, да она и есть — сама любовь и, только будучи несвободной, она могла иметь в своей среде Питиримов, Протопоповых, Распутиных и проч.».

Особо значимо здесь упоминание митрополита Петроградского Питирима, арестованного 2 марта 1917 года вместе с царскими министрами и уволенного 6 марта того же года на покой постановлением Святейшего синода. Он был одним из немногих в священноначалии, сохранивших верность царскому дому, наравне с о. Иоанном Восторговым, архиепископом Харьковским и Ахтырским Антонием, епископом Тобольским и Сибирским Гермогеном, епископом Камчатским Нестором, архиепископом Литовским Тихоном — будущим Патриархом… Почти все из упомянутых были также отправлены на покой — Синод избавлялся от «реакционного духовенства», принимая в то же время приветственные послания от епархий новому строю и «новой эры в жизни церкви»… «Из Лабинской. Вздохнув облегчённо по случаю дарования Церкви свободы, собрание священно-церковнослужителей принимает новый строй…» «Духовенство города Екатеринодара выражает свою радость в наступлении новой эры в жизни Православной Церкви…»

«Тульское духовенство в тесном единении с мирянами, собравшись на свой первый свободный епархиальный съезд, считает своим долгом выразить твёрдую уверенность, что Православная Церковь возвратится к новой жизни на началах свободы и соборности…»

Пройдёт год — и жестокие мучения и смерть настигнут как большинство из немногих оставшихся верными престолу «церковных реакционеров», так и представителей «прогрессивного духовенства», избавлявшихся от «обскурантов» в своих рядах. В марте 1918-го священника станицы Усть-Лабинской Михаила Лисицына, перед тем как зарубить, водили меж домов с петлёй на шее. В Пасху того же года священника Иоанна Пригоровского станицы Незамаевской Екатеринодарской губернии живого закопали в навозной яме, перед этим выколов ему глаза и отрезав язык и уши. А в Туле той же весной крестный ход был расстрелян из пулемётов… С июня 1918-го по январь 1919 года были убиты 18 архиереев, 102 священника, 154 дьякона, 94 монаха и монахини. Закрылись 94 храма и 26 монастырей.

О. Иоанн Восторгов будет расстрелян 5 сентября после совершения в московском храме Василия Блаженного молебнов над святыми мощами «от жидов умученного» младенца Гавриила. Он спокойно подошёл к вырытой могиле и после общей молитвы вместе со всеми приговорёнными призвал всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести искупительную жертву.

За месяц с небольшим до этого Совнарком издал закон об антисемитизме, предписывавший, в частности, следующее: «Принять решительные меры к пресечению антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона».

Понятно, что молебен над святыми мощами младенца Гавриила был квалифицирован новой властью именно как погромная агитация.

Но вернёмся в деревянную «сонную» Вытегру.

…— Нет среди нас гонителей церкви, как свободного общества, — вещал товарищ Николаевский. — Мы только хотим, чтобы свет евангельской истины не омрачался мракобесами…

Верил ли он сам в то, о чём говорил? Безусловно, верил. Как и многие из собравшихся верили в то, что с революцией пришёл в Россию «свет евангельской истины». Многим ещё предстояло удостовериться — как к свету евангельской истины относится новая власть.

Собрания и митинги в провинциальном городке следовали одни за другими. Один из них был посвящен «борьбе с

обывательщиной», на котором председатель президиума исполкома Вытегорского совета товарищ Мехнецов произнёс зажигательнейшую речь:

— Товарищи, помогайте же вашей власти дружной работой устроить продовольственную разруху (эта жуткая оговорка попала в газетный отчёт — Мехнецов хотел сказать «устранить». — *С. К.),* помогайте вашей власти вести борьбу со спекуляцией… Помните, что вы должны быть хотя бы в душе красноармейцами Свободы. Будьте все строителями новой России и проповедниками Свободы! Пусть заря лучшей жизни встаёт над страной, заря светлая, мощная и радостная, при которой легче будет дышать!.. Перестанем быть обывателями, будем гражданами!

Но преображение «обывателей» в «граждан» шло чересчур туго, свидетельством чему был отчёт на соседней с выступлением Мехнецова газетной странице о побоище «на почве пользования лесом в даче бывшей помещицы Бельской» между гражданами Тихмангской и Ухотской волостей, «в результате которого убиты 2 и нанесены тяжкие раны 3 лицам. По распоряжению уголовной следственной комиссии виновные отданы на поруки. Дело будет направлено в Окружной Народный Суд».

А 1 мая «Известия Вытегорского совета крестьянских и рабочих депутатов» поместили чрезвычайно интересный «анонс» предстоящего мероприятия.

«Вытегорский Комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) скоро устраивает вечер, посвящённый Карлу Марксу.

Широко постановленная программа, участие на вечере такого известного народного поэта, как т. Николай Клюев, — безусловно должно привлечь на вечер не только широкие пролетарские массы города, но всех интеллигентов.

Как заключительный аккорд, в 3-м отделении будет поставлена чудная революционная пьеса т. Николая Клюева „Красная Пасха“ — эта песнь Мщения, Скорби, песнь проклятия тем, кто предаёт социалистическую революцию…

Эта пьеса, алмазная жемчужина, такая сильная, захватывающая за живое, потрясающая глубиною красочной мысли, — вылилась на бумагу, кажется, только ради вечера, и нам, Вытегорам, выпало великое счастье первыми увидеть её у себя, — на вечере коммунистов-большевиков.

Кроме того, т. Николай Клюев скажет „малое слово от уст брата большевика“ „На пороге счастья и вечности“ и прочтёт несколько великолепных стихов из книги „Красный звон“.

Мы очень привыкли, если так можно выразиться, к „народнодомскому“ искусству, что вечер коммунистов,

независимо от того, как пройдут остальные №№ программы, — по одному тому, что на вечере примет участие т. Николай Клюев и будет разыграна его „Красная Пасха“, несомненно оставит на всех, кто будет присутствовать, неизгладимые впечатления».

В этой заметке обращают на себя внимание два сообщения: упоминание о неизвестных нам клюевских текстах — пьесе «Красная Пасха» и речи под названием «На пороге счастья и вечности» — и свидетельство того, что эту речь Клюев произносит, как «малое слово от уст брата большевика».

Его тоска действительно была тоской «об Опоньском царстве на Белых Водах» — и ближе всех он ощущал к себе именно Ленина, в ком чувствовал «керженский дух»… Но «дух» — это одно, а партия с её дисциплиной и уставом — нечто другое… Другое?

А вот здесь-то для Клюева не было разграничительной линии. Написав посвящение Ленину, он сознательно принял решение о вступлении в новый «монастырь», дух которого, по его представлению, соответствовал духу Древней Святой Руси. Не он один так думал, не у него одного было своё понимание «коммуны». Ярый антикоммунист Михаил Пришвин записал в своём дневнике: «Сейчас все кричат против коммунистов, но по существу против монахов, а сам монастырь-коммуна в святости своей признаётся и почитается всеми буржуями»…

В социал-демократическую партию тех же большевиков Николай не вступил бы ни за какие коврижки. А в ту партию, что стала в том же году «Российской коммунистической» — вступил. «Боже, свободу храни красного государя Коммуны!» Это при том, что в Олонецкой губернии наибольшей популярностью пользовались как раз левые эсеры, победившие на губернских выборах в июне 1918-го… Вытегорский уезд, правда, представлял собой некое исключение. Из 15 членов уездного исполкома 11 были большевиками и только четверо — левыми эсерами, а родной брат поэта Пётр Клюев был утверждён заведующим Вытегорской почтово-телеграфной конторой распоряжением комиссара Мурманского почтово-телеграфного округа. После разгрома левых эсеров 6 июля он, уже назначенный комиссаром почт и телеграфов, на заседании исполкома объявил, что «признает платформу Советской власти и одобряет политику Совета народных комиссаров».

Клюев свой выбор сделал до 6 июля. И ведь до сих пор о нём пишут, что он «играл» сначала в «крестьянского поэта», потом в «большевика»… Но этот выбор в то время являлся не «игровым», а смертным — в полном смысле этого слова. После него — отступления быть не могло.

Жаль, что невозможно сейчас прочесть заявление Клюева в РКП(б), как и узнать — кто давал ему рекомендацию… Есенин, написавший в июне того же 1918-го «Иорданскую голубицу» («Небо — как колокол, / месяц — язык, / мать моя родина, / я — большевик. / Ради вселенского / братства людей / радуюсь песней я / смерти твоей»), где «большевик», признающийся в своём «большевизме» с отчётливо слышимым вздохом неожиданности свершившегося, видит грядущую Россию ничего общего не имеющей с собственно большевистской программой («Вижу вас, злачные нивы / с стадом буланых коней, / с дудкой пастушеской в ивах / бродит апостол Андрей. / И, полная боли и гнева, / там, на окрайне села, / Мати Пречистая Дева / розгой стегает осла») — принёс через некоторое время в виде «заявления в партию» поэму «Небесный барабанщик», на которой бестрепетная рука столичного большевика вывела свою «рекомендацию»: «Нескладная чепуха. Не пойдёт». У Клюева — пошло. И есть большой соблазн предположить, что в качестве заявления он принёс свою «Марсельезу», то бишь «Красную песню» («Богородица наша, землица…») и «Есть в Ленине керженский дух…». И был не просто принят местными большевиками, а принят с распростёртыми объятиями. Культурные, образованные люди в партии были наперечёт.

О пьесе «Красная Пасха» мы можем судить лишь по газетным отчётам — тем более интересно вчитаться в их пышущие эмоциями и трогательные в первобытной стилистической неграмотности и смысловой обнажённости строчки.

«ВЕЧЕР В ПАМЯТЬ КАРЛА МАРКСА

…На вечере выступил — первый раз у нас в городе — т. Н. Клюев, наш близко-родной поэт-коммунист, певец перезвонов сосен милой Олонии…

В вступительном слове т. С. Ручьев рассказал биографию К. Маркса, т. П. Ваксберг познакомил присутствующих с коммунизмом, т. М. Мехнецов в горячей речи сказал о том, что „царствие коммунизма придёт и царствию его не будет конца“, а т. Н. Клюев, встреченный громом аплодисментов, произнёс „малое слово от уст брата-большевика“ — „На пороге Счастья и Вечности“.

В 3-м отделении Вытегоры первыми увидали полную глубоких символов революционную пьесу т. Н. Клюева — „Красную Пасху“…

Пьеса заканчивается торжественным пением рабочих „Христос Воскресе из Мертвых!..“

С этой песнью радости народной Пасхи разошлись по домам те, кто искал, но не нашёл на трудовом вечере большевиков того,

о чём часто приходится слышать на всех углах и закоулках в сплетнях про большевиков-коммунистов…»

В «Вытегорской коммуне» (уже в 1919 году) товарищ Александр Богданов, печатая большую статью о Клюеве «Пророк нечаянной радости», уделил место и «Красной Пасхе».

«Пьеса вызвала много разных противоречивых толков. Священник С. Марков с церковной кафедры назвал пьесу „Кровавой Пасхой“, небывалым кощунством.

Действительно, пьеса затрагивала больные нервы умирающего утончённого язычества.

Многими слушателями она была превратно понята.

Внешний рисунок прост, но действительно зрителям, привыкшим к реалистической драме, трудно было уловить гамму тонких ажурных символов…»

Но — несмотря на все «трудности восприятия» Вытегорский комитет РКП(б) принял пьесу восторженно. Он, как передали вытегорские «Известия», принёс «глубокую благодарность дорогим товарищам Н. А. Клюеву и М. Н. Мехнецову, всей „Красной Пасхе“: Мать-Земле (Н. Ф. Сидоровой), Любви-невесте (Л. И. Потаниной), Ангелу (Н. Г. Кучнеровой), Сыну-Воле (П. М. Ваксберг), Мщению (А. А. Абакумову), всем „Юным струнам“, К. Николичеву и духовому оркестру, всем, принявшим участие в вечере, всем, почтившим память нашего великого учителя и друга — Карла Маркса».

Всё это вместе взятое может произвести на современного человека чрезвычайно странное впечатление, но для тех людей ничего странного в происходящем не было.

* * *

«Великий Пётр был первый большевик» — так написал в поэме «Россия» Максимилиан Волошин, увидев в современных ему большевиках петровскую государственную «хирургию», петровскую жажду ломать через колено оставшиеся древние устои и обычаи, петровскую ненависть к старой вере — впрочем, не только к старой, если вспомнить его «всешутейший и всепьянейший собор», петровское стремление «научить Россию у Запада» и, конечно, то, что никакая плата человеческими жизнями за претворение в действительность задуманных проектов Петра не останавливала…

Клюев революцию воспринимал в антипетровском и в целом — в антироmановском ореоле (по-хорошему уж — в «антиголштинском», ибо в 1730 году пресеклась династия

Романовых по мужской линии, а в 1761-м — и по женской, и фамилию носили выходцы из Голштейн-Готторпской династии) — как возмездие за всё содеянное на Руси за последние 250 лет…

«В Соловках, на стене соборных сеней изображены страсти: пригорок, дерновый, такой русский, с одуванчиком на услоне, с голубиным родимым небом напрямки, а по серёдке Крестное древо — дубовое, тяжкое: кругяш ушёл в преисподние земли, а потесь — до зенита голубиного.

И повешен на древе том человек, мужик ребрастый; длани в гвоздиных трещинах, и рот замком дорожным, англицким заперт. Полеву от древа барыня в скруте похабной ручкой распятому делает, а поправу генерал на жеребце тысячном топчется, саблю с копиём на взлёте держит. И конский храп на всю Руссию…

Старичок из Онеги-города, помню, стоял, припадал ко древу: себя узнал в Страстях, Россию, русский народ опознал в пригвождённом с кровавыми ручейками на дланях. А барыня похабная — буржуазия, образованность наша вонючая. Конный енерал ржаную душеньку копием проболеть норовит — это послед блудницы на звере багряном, Царское Село, царский пузырь тресковый, — что ни проглотит — всё зубы не сыты. Железо это Петровское, Санкт-Петербурхское…»

Все переосмысленные символы Евангелия и Апокалипсиса были очевидны читателям газеты «Звезда Вытегры», где стихотворение в прозе «Красный конь» появилось в апреле 1919 года. Сам же Клюев вкладывал в написанное ещё один смыл, ведомый лишь ему самому. Когтем скребли по душе строки Есенина: «Не изменят лик земли напевы, не стряхнут листа. Навсегда твои пригвождены ко древу красные уста». И Николай вслушивается в пророчество «старичка с Онеги-города», что «вздыбится Красный конь на смертное страженье с Чёрным жеребцом. Лягнёт Конь шлюху в блудное место, енерала булатного сверзит, а крестцами гвозди подножные вздымет…» Тогда и «сойдет с древа Всемирное Слово», срок которому уходит далеко в глубь времён, ибо у «старичка» клубок слёзный «в горле со времён Рюрика стоит»…

И — свершилось. К вящему восторгу поэта.

«Нищие, голодные мученики, кандальники вековечные, серая убойная скотина, невежи сиволапые, бабушки многослёзные, многодумные, старички онежские, вещие, — вся хвойная пудожская мужицкая сила, — стекайтесь на великий красный пир воскресения!

Ныне сошло со креста Всемирное слово. Восколыхнулась вселенная — Русь распятая, Русь огненная, Русь самоцветная, Русь — пропадай голова соколиная, упевная, валдайская!»

И это уже дохристианская Русь мешается с христианской — и одна неотделима от другой, и «старичок с Онеги-города», и воскресшее, подобно Христу, Всемирное слово, Русь огненная соединяются в едином праздничном действе с Матерью-Землёй, Любовью-невестой, Сыном-Волей — героями «Красной Пасхи».

И внимают они песне олонецких скопцов, чьи слова вынесены в эпиграф «Красному коню»:

Что вы верные, избранные!
Я дождусь той поры-времечка:
Рознить буду всяко семечко.
Я от чистых не укроюся,
Над царями царь откроюся, —
Завладаю я престолами
И короною с державою…
Все цари-власти мне поклонятся,
Енералы все изгонятся.

Понятно, что происходящее нововерный батюшка воспринимает, как кощунство. Но слушают Николая вытегорские коммунисты и беспартийные, и солидарны с ним, что коммунизму, как новому царству Христову, «не будет конца», и почитают память «великого учителя и друга Карла Маркса».

Всё происходящее пронизано словом Христовым, каждый из присутствующих обуян подлинно религиозным вдохновением — и Маркс здесь не помеха, но союзник в религиозном действе вопреки тому, что писал о нём Сергей Булгаков в статье 1906 года «Карл Маркс как религиозный тип».

В самой же революции сталкивались силы, движимые исключительно «религиозными типами». В самой бешеной борьбе с православием была настоящая религиозная страсть.

Спрашивается, зачем бороться с Богом, если, как было объявлено, его нет? Зачем бороться с пустотой?

Знали, что не с пустотой борются. Знали, что верховный авторитет, евангельское Слово обесценивает многое и многое, внедряемое в жизнь новой властью. *И борьба с православием была проникнута истинно религиозным пафосом.*

И невозможно не вспомнить, что огромное количество местечковых евреев, принесённое революционным потоком в наркоматы, в ЧК, в уездные комитеты, в газеты, в банковскую систему — воспитывалось в духе лютой ненависти к Христу, которого называли «мамзер» — «незаконнорождённый». Им с детства внушали, что кресты и иконы — это «нечисть». Более того — русские люди («гои») в их представлении не считались

людьми, опять же квалифицировались как «нечисть» и «бездушный скот»… Это отношение проявилось мгновенно и столь ясно, что вызвало соответствующую реакцию. В петроградской газете «Молва» в июне 1918 года был описан митинг голодных людей на Знаменской площади:

«— Помитинговать штоль немножко?..

Против всех протестуют, но на „жидах“ все соглашаются, как один. И не только свободные граждане, но и красногвардейцы охотно поддакивают им.

— Конечно, жиды много портят. Они социализму вредят, потому ведь в банках — жиды, в газетах — жиды… А при настоящей коммуне — перво-наперво, конечно, всех жидов потопить…»

Проходили тогда в Петрограде и другие митинги и собрания. В частности, лекция магистра богословия, преподавателя Петроградской духовной семинарии иеромонаха Николая Ярушевича с характерным названием: «Святая Русь (Думы о прошлом, перспективы будущего)». В. Княжнин читал публичную лекцию «Патриарх Гермоген и его подвиг». Будущий живоцерковник священник Александр Введенский произносил на диспуте «С Богом или без Бога» речь «Современные анархисты и социалисты как богоборцы», а в концертном зале Тенишевского училища протоиерей И. Егоров и В. Лебедев читали соответственно лекции: «Христос — основной закон жизни» и «Закон и Бог».

Многое видевший в те дни своими глазами и много слышавший своими ушами Николай Бердяев, изо всех сил стремившийся сохранить «толерантность», столь необходимую «русскому интеллигенту», в частности, в своей работе «Христианство и антисемитизм», — всё же вынужден был констатировать очевидное и неумолимое: «Ненависть к евреям расовая, бытовая, политическая недопустима для христианина, но возможна религиозная ненависть к антихристовой идее еврейства, и в глубочайшем смысле этого слова — она неизбежна… Русский народ должен дать приют избранному народу Божьему, и русский же народ должен всей силой своего духа противиться антихристианской идее еврейства, еврейскому отвержению Мессии Распятого и еврейскому ожиданию иного мессии».

Вот только как сам Бердяев предполагал совместить одно с другим — отсутствие «политической ненависти» с «ненавистью религиозной»?.. Одна органично срослась с другой — и выплеснулась с обеих сторон, но с наиболее зверской жестокостью — именно с еврейской стороны.

Хотелось бы сказать — «а там, во глубине России, там — вековая тишина»… Но эпоха «вековой тишины» во глубине России и в каком бы то ни было её углу кончилась. Страсти кипели и там, где русские коммунисты венчали Христа с Марксом и древними языческими стихиями. Никто этого, естественно, не формулировал, но подспудно чувствовали все — выбор стоит кардинальный. Какой будет Россия, перефразируя Владимира Соловьёва — «Востоком Маркса иль Христа?» — ибо их несовместность, явственно обозначенная Сергеем Булгаковым, изначально понимали вожди и идеологи, но её же какое-то время упорно не желала понимать та самая «масса», которая, по идее, и была движущей силой революции.

А не желала понимать именно потому, что начала справедливости, равенства и свободы были неотделимы для неё от святыни в человеке. И именно это органическое единство в русском существе составляло предмет звериной ненависти многих представителей новой власти, начинавшей помимо переустройства всей жизни страны и народа свой знаменитый «штурм неба».

Социальная и классовая война естественно переходила в религиозную — самую жестокую из всех войн. На *этой* войне не берут пленных и не оставляют живыми раненых. Начиналась религиозная война власти и её ландскнехтов с частью народа, не желавшей сокрушать своё тысячелетнее мироздание.

* * *

Тридцатого июля 1917 года отец Павел Флоренский писал: «Всё то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет своё ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси… Я уверен, что худшее ещё *впереди*, а не позади, что кризис ещё *не* миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века».

То же самое мог бы через год сказать и Клюев, приехавший в Петроград уже в качестве почётного председателя Вытегорской организации РКП(б).

Он приехал с материалами двухтомника «Песнослов», о публикации которого в течение года вёл переписку с хорошо ему известным издателем М. Аверьяновым, обговаривая и условия

издания, и гонорар, и оформление. В конце концов, заручившись гарантией Наркомпроса, который изъявил желание издать двухтомник «в целях широкого распространения в народе», объявил Аверьянову, что договор с ним считает недействительным. Одновременно готовил к публикации сборник избранных революционных стихотворений — «Медный Кит».

«Только во сто лет раз слетает с Громового дерева огнекрылая Естрафиль-птица, чтобы пропеть-провещать крещёному люду Судьбу-Гарпун.

(Страфиль-птица — по преданиям славянской мифологии — всем птицам мать, укротительница бурь, спасающая под своим крылом землю от бед вселенских. — *С. К.)*

И лишь в сороковую, неугасимую, нерпячью зарю расцветает в грозных соловецких дебрях Святогорова палица — чудодейная Лом-трава, сокрушающая стены и железные засовы. Но ещё реже, ещё потайнее проносится над миром пурговый звон народного песенного слова, — подспудного мужицкого стиха. Вам, люди, несу я этот звон — отплески Медного Кита, на котором, по древней лопарской сказке, стоит Всемирная Песня».

Не знаю — понял ли хоть кто-нибудь из работников издательства при Петроградском совете рабочих и красноармейских депутатов, где «Медный Кит» готовился к выходу в свет, хоть что-нибудь в этом клюевском «присловье» к книге, где все стародавние знаки — как тревожное пророчество…

Клюев встречался с Блоком, ночевал у него на квартире, вёл с ним долгие разговоры об издании своих книг, о происходящем вокруг… Они хорошо понимали друг друга, и многое из написанного старшим собратом в статьях весны — лета 1918-го могло быть созвучно мыслям Клюева.

«Учение Христа, установившего равенство людей, выродилось в христианское учение, которое потушило религиозный огонь и вошло в соглашение с лицемерной цивилизацией, сумевшей обмануть и приручить художника и обратить искусство на служение правящим классам, лишив его силы и свободы.

Несмотря на это, истинное искусство существовало все две тысячи лет и существует, проявляясь то здесь, то там криком радости или боли вырвавшегося из оков свободного творца. Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества…»

И одновременно с этим — в записных книжках: «Я одичал и не чувствую политики окончательно». «Как безвыходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать далеко — на солнце и жить

совершенно иначе».

…Гражданская война полыхает по всей России. Англичане и французы хозяйничают в Мурманске, японцы во Владивостоке. Белые взяли Ставрополь, Николаевск, Екатеринбург, Екатеринодар, Казань. В Архангельске было создано Временное правительство Северной области во главе с масоном Н. В. Чайковским. Тем самым, кто встречал Брешко-Брешковскую… (Позднее, уже живя в эмиграции в Париже, Чайковский получит письмо от бывшего министра внутренних дел: «Вспомните, Николай Васильевич, хотя бы наш север, Архангельск, где мы строили власть, где мы правили… Вспомните тюрьму на острове Мудьюг в Белом море, основанную союзниками, где содержались „военнопленные“, т. е. все, кто подозревался союзной властью в сочувствии большевикам. В этой тюрьме начальство — комендант и его помощник — были офицеры французского командования, что там, оказывается, творилось? 30 % смертей арестованных за пять месяцев от цинги и тифа, держали арестованных впроголодь, избиения, холодный карцер в погребе и мерзлой земле…») На территориях, что под контролем красных, соответственно не прекращаются расстрелы.

Еще 20 мая Яков Свердлов выступил на пленарном заседании ВЦИКа с совершенно людоедским докладом «О задачах Советов в деревне»: «Мы должны самым серьёзным образом поставить перед собой вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримо враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городе, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне делаем то, что смогли сделать для городов…»

Когда к Троцкому пришла делегация церковно-приходских советов с заявлением, что Москва умирает от голода — теоретик «перманентной революции» ответил:

— Это не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы сможете прийти и сказать: «Мы голодаем».

Сельские Советы, как «контрреволюционные», большевиков не устраивали. Начали создаваться комитеты бедноты, куда сплошь и рядом набиралось всякое отребье, помимо конфискации продукции занимавшееся погромами храмов. За недосдачу крестьянами хлеба по продразвёрстке уже полагается десять лет

тюремного заключения. Одно за другим вспыхивают крестьянские восстания. Еще до официального объявления «красного террора» расстреливаются, часто после жестоких пыток, священники, диаконы, пресвитеры, иеромонахи, иноки, послушники…

А после убийства Урицкого (который отменно проявил себя в Петрограде в качестве палача — во время его всевластия в Питерской ЧК было уничтожено около пяти тысяч человек) и покушения на Ленина ВЦИК РСФСР под председательством Якова Свердлова (который и был фактическим организатором этого покушения) принял резолюцию: «…на белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и её агентов».

«Красная газета» (та самая, утробный рёв которой поэтически транслировал Клюев в двучастном цикле «Из „Красной газеты“») писала 31 августа: «За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотомщённую кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов — пусть польётся кровь буржуазии и её слуг — больше крови!»

Начался, как выразился сам же чекист Яков Петерс, «истерический террор».

Одновременно началось и неудержимое восхваление Ленина в газетах и на митингах. Слова «великий», «гениальный», «дорогой учитель» лились потоком. Инициировал эту кампанию опять же Свердлов. Ленин при жизни стал превращаться в миф.

Но то, как откликнулся Клюев на ранение вождя, не имеет ни прецедентов в русской поэзии, ни последующего продолжения. Он создаёт совершенно фантастический цикл стихов, где впервые возникает мотив физиологического соития Божественного с земным — словно нет разницы между Богом-отцом и античным божеством, наслаждающимся земным блаженством.

Братья, сегодня наша малиновая свадьба —
Брак с Землёй и с орлиной Волей!
Костоедой обглоданы церковь и усадьба,
Но ядрёно и здраво мужицкое поле.

Не жалейте же семени для плода мирскова,
Разнежьте ядра и случкой китовьей
Порадуйте Бога — старого рыболова,
Чтоб закинул Он уду в кипяток нашей крови!

Сладко Божью наживку чуять в заводях тела,
У крестца, под сосцами, в палящей мошонке:
Чаял Ветхий, что выловит Кострому да иконки,

Ан леса, как наяда, бурунами запела.

«Плотяный Христос» Клюева — антитеза «бесплотному», «бесполому» Христу Василия Розанова, о котором великий соблазнитель писал в «Тёмном лике» и «Людях лунного света» — и с этими книгами Клюев не расставался вплоть до своего последнего ареста. Стихи Клюева — прямое отвержение розановских умозаключений — дескать, «социализм — весь в крепкой уверенности о земле. Христианство же есть полая безнадёжность о всём земном! Социализм — хлебен, евангелие — бесхлебно. Социализм — день, когда все предметы имеют точные свои размеры и точный свой вид: христианство же всё, — ночь… когда предметы искажены, призрачны, не видны в реальных очертаниях и зато приобретают громадные фантастические формы… Социализм хочет сытого человека — у которого труд и сон без сновидений. Христианство прежде всего хочет сновидений; оно хочет плачущего человека, любящего свою печаль…». У Клюева и христианство — всё в земных, рельефных, гипертрофированных формах, и социализм его — знающий о небе и сверхчувственных материях. Более того, если у Розанова «христианство ничему не радуется, кроме *себя»* — у Клюева христианство — радость земли и всей Вселенной. И плоды земные обретают неощущавшуюся прежде сладость, и не противно христианству ни половое влечение, ни соитие, ни порождение новой жизни, а выкармливание грудью — сосцы и целительное молоко, напояющее жаждущего, — один из устойчивых клюевских образов. Нематериальное обретается в материальном, земное неразрывно связано с духовным.

Физиологический акт тождествен вселенской рыболовле, где «уды» фонетически и символически тождественны «уде». Плод сего сакрального действа — Лев, тождественный Христу и Ленину («Буйно-радостный львёнок народов и стран»). Вся Вселенная преображается с его приходом, вплоть до изменения магнитных полюсов Земли.

Оглянитесь, не небо над нами, а грива,
Ядра львиные — солнце с луной!..
Восшумит баобабом карельская нива,
И взрастёт тамарис над капустной грядой.

«Пламенеющий ленинский рай» воспоют, по мысли поэта, и железный Запад, и сермяжный Восток, а пуля, пробившая тело вождя, — что удар римского копья в ребро распятому Христу.

Ленин, лев, лунный лён, лучезарье:
Буква «Люди», как сад, как очаг в декабре…
Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье,
Но Христово лишь в язве, в пробитом ребре.

Есть в истории рана всех слав величавей, —
Миллионами губ зацелованный плат…
Это было в Москве, в человечьей дубраве.
Где идей буреломы и слов листопад.

Само слово «Ленин» становится сакральным в изменившейся Вселенной, оно слышно в голосе природных стихий, в шёпоте земли и пении океана, оно оплодотворяет всё живое и порождает новое Слово, подобное Слову, порождённому почти тысячелетие назад.

Жизни ухо подслушало «Люди» и «Енин».
В этот миг я сохатую матку доил, —
Вижу кровь в молоке, и подойник мой пенен…
Так рождается Слово — биение жил.

Слово Христа и Слово Ленина рождены той же силой, что некогда породила вещее Слово — о чём Клюев, и не только он, мог прочесть в «Поэтическом воззрении славян на природу» у А. Афанасьева: «В дуновении ветров признавали язычники *дыхание* небесного владыки, в… шуме падающего дождя слышали его дивную *песню,* а в громах — его торжественные *глаголы,* выступая в весенних грозах, он… будил её (природу. — *С. К.)* от зимней смерти своей могучею *песнею,* вновь творил её своим *вещим словом.* Слово божье = гром есть слово творческое».

Ленинское слово воплотилось в жизнь — в «октябрь — месяц просини, листопада», в месяц появления Николая Клюева на свет — и это временное наложение также исполнено для поэта сакрального смысла.

Символ Льва сопровождает весь «ленинский цикл», утверждая Ленина в его высшем предназначении, ничего общего не имеющем с «реальной политикой».

«Лев грядет… От мамонтовых залежей / Тянет жвачкой, молочным теплом…» «К Пришествию Льва василёк и коринка / Осыпали цвет — луговую постель…» «К кронштадтскому молу причалили струги, — / то Разин бурунный с персидской красой… / Отмерили год циферблатные круги, / как Лев обручился с родимой землёй»…

Клюев во втором томе «Песнослова» рядом с циклами «Сердце единорога», объединяющего «Избяные песни» и «Белую повесть», включает и «Долину единорога» — предреволюционные стихи, многие из которых насыщены дьявольской символикой и напоены потусторонней энергетикой (достаточно вспомнить дьявола, что станет «овцой послушной и простой» — по Оригену, утверждавшему прекращение вечных мук и прощение дьявола — и эти его утверждения были осуждены Пятым вселенским собором)… И здесь же помещает цикл «Красный рык», где «ленинский блок» занимает центральное место.

«Новому суровому слову» он несет своё подношение от лица и имени Древней Руси, от сакрального животного и священного символа русских лесов.

Я — посол от медведя
К пурпурно-горящему Льву, —
Малиновой китежской медью
Скупаю родную молву.
……
Я — посол от медведя, он хочет любить,
Стать со Львом песнозвучьем единым.

Здесь слышится мерная поступь рока — а роковое начало несёт в себе ожившая архаика, древняя непросветлённая тьма, вышедшая из тысячелетних глубин, где томилась она подобно свергнутым и заточённым в Тартаре Зевсом титанам из Гесиодовой «Теогонии».

Багряного Льва предтечи —
Слух-упырь и ворон-молва.
Есть Слово — змея по плечи
И схимника голова.

В поддёвке синей, пурговой,
В испепеляющих сапогах,
Перед троном плясало Слово
На гибель и чёрный страх.

Это не Распутин. Это сам Клюев — вестник прихода древних подспудных сил, размыкающих земную кору, в земном воплощении орудующих, словно «зелёная банда» или орда громил в Царскосельском дворце, — и спасения от этой силы нет и быть не может.

Царскосельские помнят липы
Окаянный хохот пурги…
Стоголовые Дарьи, Архипы
Молились Авось и Низги.

Авось и Низги — наши боги
С отмычкой, с кривым ножом, —
И въехали гробные дроги
В мёртвый романовский дом.

Известие о расстреле императора Клюев прочитал ещё в июле в вытегорской газете.

«Расстрел Николая Романова

18 июля состоялось 1-е заседание президиума Центрального Исполнительного Комитета 5-го созыва. Тов. Свердлов оглашает только что полученное по прямому проводу сообщение от 8-го Уральского Совета о расстреле бывшего царя Николая Романова.

В последние дни столице Красного Урала Екатеринбургу серьёзно угрожала опасность приближения чехословацких банд. В то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевших целью вырвать из рук Советской власти коронованного палача.

Ввиду этого президиум Уральского областного Совета постановил: расстрелять Николая Романова, что и приведено в исполнение 16-го июля.

Жена и сын Николая Романова отправлены в надёжное место».

И здесь же, на той же газетной странице — ещё одно сообщение.

«Похищение бывших князей

Алапаевский исполнительный комитет сообщает о нападении утром 18 июля неизвестной банды на помещение, где содержались под стражей бывшие великие князья: Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович и Палей.

Несмотря на сопротивление стражи, князья были похищены. Есть жертвы с обеих сторон. Поиски ведутся».

Ложь на лжи — и волне объяснимая. Большевики, естественно, не пожелали обнародовать, что антимонархисты, на знамёнах которых было начертано «Вся власть Учредительному собранию!», наступавшие на Урал, ненавидели императора не меньше «ленинцев» и «свердловцев» и «вырвать из рук Советской власти» Николая II они могли только с целью самим прикончить

его. Конечно, никто, кроме посвящённых, не мог знать, что Свердлов через располагавшуюся в Вологде американскую миссию отправил телеграфное донесение Якову Шиффу в Америку о том, что царь может быть захвачен белогвардейцами или немцами, и получил в ответ приказ «ликвидировать всю семью». Но самое главное в том, что от народа необходимо было скрыть ещё одно преступление: убийство императрицы, малолетнего цесаревича и четырёх царских дочерей. Вот поэтому «жена и сын Романова» были отправлены «в надёжное место», о дочерях не упоминалось вообще, а убитые и сброшенные в Алапаевскую шахту князья объявлялись «похищенными». В противном случае трудно было квалифицировать свершившееся иначе как преступную бойню.

Впрочем, большевики сами своим умолчанием, длившимся восемь лет, поспособствовали возникновению многочисленных самозванцев и самозванок, продолжающих отравлять пространство памяти об убиенных вплоть до наших дней.

И, конечно, никто не должен был знать, что неизвестный, невесть откуда привезённый раввин после таинственного ритуала на месте злодеяния оставил на стене дома Ипатьева две каббалистические надписи: «В эту ночь Белшацар (Валтасар. — *С. К.*) был убит своими слугами» и — «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесён в жертву для разрушения Государства. О сём извещаются все народы».

А через три дня, в свежем газетном номере, где Клюев печатал с посвящением товарищу М. Мехнецову стихотворное проклятие «чёрным белогвардейцам», «Романовскому дому» и «чумазому Распутину» и пел хвалу «пулемёту, несытому кровью», была опубликована новая заметка «Романов перед расстрелом», призванная, очевидно, внушить ещё большее отвращение читателей к царской семье.

«Окружавшие Николая в Тобольске попы, ханжи и обломки когда-то блестящей камарильи были от него далеко. Близкий друг его по Тобольску еп. Гермоген рыл окопы на чехословацком фронте.

Сам Николай в последние недели своей позорной жизни чувствовал себя совсем неплохо… Читал „Красный дьявол“, „Уральский рабочий“… Пополнел… Покраснел…

Алиса нервничала, фыркала, не переваривала тюремного режима…

Неусыпно охранял коронованных негодяев особый караул под командой рабочих, подступы к их последнему дворцу — отборный отряд рабочей красной армии…»

… Пройдёт чуть более десяти лет, многое станет известно об

этом ритуальном убийстве, многое переживёт, перечувствует и переосмыслит сам Клюев, с жутким и трагическим восторгом живописавший «гробные дроги» — на которых, ни больше ни меньше — «по-козьи рогат возница, / на запятках Предсмертный Час. / Это геенская страница, / Мужицкого Слова пляс!» (вот во что превратилось тогда его «спасение демонов»!)… И в «Песни о Великой Матери» он найдёт совсем иной тон и совсем иные слова для Николая II, описанного в преддверии мученической кончины.

…И увидал я государя.
Он тихо шёл окрай пруда.
Казалось, чёрная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он всё же выглядел царём.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковёр, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирины, ракиты, —
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя.

…Когда в 1982 году я сидел в мастерской у живописца Анатолия Яра-Кравченко и расспрашивал его о Клюеве, маститый художник, автор портретов членов политбюро ЦК КПСС, украшавших в праздничные дни фронтоны московских зданий, пряча таинственную улыбку, взял дерматиновую папку и открыл её с тихими словами: «Я Вам сейчас прочту». Он начал читать вслух именно эти строки из поэмы, считавшейся навсегда утраченной, и я, приросший к стулу, только и смог выдавить из себя: «Можно, я помогу Вам разобрать Ваш архив?» Анатолий Никифорович усмехнулся и, закрыв папку, произнес: «Потом как-нибудь, потом…» Это «потом», естественно, так и не наступило, а целиком всю поэму, извлечённую из архива Комитета государственной безопасности, Россия прочла уже в роковые осенние дни 1991 года на журнальных страницах.

* * *

Слишком хорошо отпечатался клюевский «Ленин» в сознании Маяковского, который потом рвал рубаху на груди: «Если б был он царствен и божествен, я б от ярости себя не поберёг…» С Маяковским Клюев встречался ещё до революции. Как-то раз в доме Фёдора Шаляпина, обожавшего клюевские стихи, они сидели за хозяйским столом. Маяковский отчаянно пытался перетянуть одеяло на себя, «я… я… я…» не сходило с его губ. Клюев молчал, смотрел исподлобья, а потом тихонько, напевно произнёс: «Идё-ёт железо на русскую берёзку»… Можно себе только представить, с каким чувством ужаса и отчаяния за погибающую человеческую душу читал Клюев маяковское «Несколько слов обо мне самом», где «полночь промокшими пальцами щупала меня и забитый забор, и с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор»… Эту сцену орального секса в тени собора, от которой «Христос из иконы бежал, хитона обветренный край целовала, плача, слякоть», и где, воззрившись на пустой киот, поэт в тупом отчаянии молит: «Время! Хоть ты, хромой богомаз, лик намалюй мой в божницу уродца века…» — Клюев хорошо запомнил и в вихре революционного погрома воскрешал своим словом древнюю архаику, как надёжную оборону против железа, которое, как он ясно видел, продолжает идти «на русскую берёзку» с удесятерённой силой. Отсюда и жалостливо-покровительственная интонация в ответе Маяковскому на его громовые «р-р-революционные» вопли — в стихотворении 1919 года.

Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне — журавиный перелёт и кот на лежанке.
Брат мой несчастный, будь гостеприимным:
За окном лесные сумерки, совиные зарянки!

Тебе ненавистна моя рубаха,
Распутинские сапоги с набором, —
В них жаворонки и грусть монаха
О белых птицах над морским простором.
……
Простой, как мычание, и облаком в штанах казинетовых
Не станет Россия — так вещает Изба.
От мереж осетровых и кетовых —
Всплески рифм и стихов ворожба.

Обострённое чувство, что из революции — его, клюевской революции — изымается то жизнетворческое, самое главное, ради чего он, народный радетель и заступник, «посвящённый от

народа», исторгал из своей лиры «музыку революции» с её нотами злобы, ненависти, ликования, проклятий, радости, победного клика, стона убиваемых, — всё более рождало в нём неприятие происходящего — и писались открытые инвективы «железному времени», где он не стеснялся уже и отрицания своих собственных первоначальных революционных выкриков.

Не хочу Коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей!
В стихотворной тягостной вязанке
Думный хворост буреломных дней.

Не свалить и в «Красную газету»
Слов щепу, опилки запятых.
Ненавистен мудрому поэту
Подворотный тявкающий стих.

…Эта «лежанка» долго ещё будет вспоминаться Клюеву как при жизни, так и после его гибели. Над ней будут злорадно хохотать молодые неоперившиеся дикари-стихотворцы из Пролеткульта, в обществе которых окажется Николай в эту трагическую осень в Петрограде, в редакции журнала «Грядущее», где он по соседству с «железными» пролеткультовскими мальчиками будет печатать свои «берёзовые» стихи.

Глава 17
«ПО МНЕ ПРОЛЕТКУЛЬТ НЕ ЗАПЛАЧЕТ…»

В конце августа 1918-го Клюев познакомился с Владимиром Кирилловым.

Крестьянин по происхождению, бывший эсер-максималист, позже меньшевик, судимый в 1906-м за участие в террористических актах и прошедший каторгу и ссылку, Кириллов со всей безоглядностью ринулся в революционное половодье. Естественным было его появление в рядах Пролеткульта, созданного за месяц до Октябрьской революции и ставшего самой массовой общественной организацией в Советской России. Идеология сей организации зиждилась на «примате классовых интересов» и «культурной гегемонии пролетариата». Обращает на себя внимание один из основополагающих тезисов: «Пролетариат должен постичь все достижения предыдущей культуры, усвоить из неё всё то, что носит на себе печать общечеловеческого». Сия декларация, практически совпадающая с тогдашними взглядами и словами Ленина, словно нарочно перечила одному из самых печально знаменитых стихотворений Кириллова, тут же приобретшему широчайшую известность.

Мы во власти мятежного страстного хмеля.
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты!»
Во имя нашего Завтра — сожжём Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
……
Слёзы иссякли в очах наших, нежность убита,
Позабыли мы запахи трав и весенних цветов,
Полюбили мы силу паров и мощь динамита,
Пенье сирен и движенье колёс и валов.

Эта декларация, дословно перекликающаяся с «Маяковской» («Белогвардейца найдёте — и к стенке. А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям по стенкам музеев тенькать, стодюймовками глоток старьё расстреливай!»), вызвала резкую реакцию у идеологов Пролеткульта, как совпадающая по смыслу с проповедями ненавистных «пролетариям» футуристов.

«Великий Художник — Пролетариат творит новую культуру.

Отвлечённую грёзу всей вселенной, красоту человеческой жизни, он воплощает в реальную форму. С любовью и верой мы смотрим в грядущее — оно несёт нам освобождение тела, души и мысли; оно несёт нам неисчерпаемое творчество народных масс. И пусть основанная на рабстве, собственности и грабеже буржуазная культура озлобленно, исступлёнными криками и клеветой встречает приход Великого Художника. Мы теснее и крепче сплотим свои ряды, мы восторженно взлелеем и соберём все цветы пролетарского творчества. В этом — основная задача нашего журнала».

Этой декларацией открывался журнал Пролеткульта «Грядущее», в котором появятся два ключевых клюевских текста — «Красный конь» и «Огненное восхищение». Кириллов, Всеволод Князев с не менее популярным, чем кирилловское «Мы», «Красным евангелием», Маширов-Самобытник, Яков Бердников и многие куда менее известные и совершенно забытые прозаики и стихотворцы из рабочей и крестьянской среды печатали свои вирши на тех же страницах, где публиковались и торжественные «Своевременные мысли» Ильи Садофьева, творившего под псевдонимом «Аксен-Ачкасов», написанные «в пику» «Несвоевременным мыслям» Горького и выдержанные, насколько это было возможно, в памятной стилистике «пролетарского классика».

«…Странно слышать и видеть, как некоторые бывшие идейные и духовные вожди пролетариата, долгие годы служившие великой цели освобождения рабочего класса, теперь, когда этот класс, сбросив с себя оковы векового рабства, неопытными, но могучими и непреклонными руками берётся за строительство новой жизни, эти бывшие вожди, вместо того, чтобы слиться с ним в этой великой работе, став в позу безучастных наблюдателей, занялись неблагодарной работой — отыскиванием на теле освободившегося исполина язв и рубцов — следов прошлого насилия и рабства.

Прикинувшись наивными простаками, они с ужасом кричат о мнимых преступлениях и жестокостях рабочего класса, о зоологических инстинктах толпы, об отсутствии идеализма и т. д., как будто не ведая о том, что ни одна революция в мире не была так гуманна и милосердна к побеждённому врагу…»

Любопытно, что в том же номере журнала «Грядущее», где появилось стихотворение «Мы» Кириллова, другие «пролетарии» утверждали прямо противоположное кирилловским сентенциям.

«Общество свободного Труда, организованное, стройное и гармоническое целое, во всеоружии знания и искусства готовится стать единственным творцом и повелителем как самого себя, так

и внешнего мира».

…Нельзя, впрочем, не сказать, что молодёжь, охваченная стихией всеразрушения (свойство абсолютно всех революций), всего лишь прилежно следовала своим именитым предшественникам — «культурным» варварам, ещё в годы первой русской революции вещавшим: «Сложите книги кострами, пляшите в их яростном свете, творите мерзость во храме! Вы во всём неповинны, как дети!» Павел Безсалько, впрочем, вспомнив этот брюсовский «призыв по армии искусств», прокомментировал его с достаточной пролетарской «аккуратностью»: «Да, кое-что мы разрушим, если это „кое-что“ царские монументы на площадях. Развалятся, верно, и церкви, которые мы перестанем посещать. Наверное, и многие дворцы, которые устроены так, что и одному в нём неудобно жить, а присматривать за ними нужно сотне! Мы не будем тратить огромные средства на поддержание такого архитектурного идиотства. Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся. И многое буржуазное и интеллигентское настолько обесценится, что его уже никто не будет ни хранить, ни ценить…» Это вариант, так сказать, «мягкого» обращения с прошлой «враждебной» культурой.

Обращение Брюсова к «грядущим гуннам» ещё можно было бы счесть рискованной поэтической гиперболой, но уже сразу после Февраля тогдашние демократы-интеллектуалы уже переходили в своём дикарстве на язык «презренной прозы»: «Возникла в Петрограде комиссия по охране памятников. А не нужна ли для равновесия комиссия для разрушения памятников?» (А. Амфитеатров). «И я бы на месте народа стал портить и уничтожать предметы искусства, потому что их захватили богатые люди. Единственная защита искусства состоит в том, чтобы отдать его народу, толпе» (Фёдор Сологуб).

* * *

Самым известным, самым популярным стихотворением Кириллова стало стихотворение под кричащим названием — «Железный мессия».

Вот он — Спаситель, земли властелин,
Владыка сил титанических,
В шуме приводов, в блеске машин,
В сиянии солнц электрических.
……

Вот он шагает чрез бездны морей,
Непобедимый, стремительный,
Искры бросает мятежных идей,
Пламень струи очистительной.

Казалось бы, какое-либо содружество между Клюевым и Кирилловым было полностью исключено по определению… Но — завязалась у них своеобразная «дружба-вражда» при явной взаимной человеческой симпатии.

«Я познакомилась с Николаем Алексеевичем Клюевым летом 1918 года в Петрограде, — вспоминала жена „пролетария“ Анна (ей тогда было 16 лет, она только-только вышла за Владимира замуж, и сняли они комнатушку на окраине Петрограда в Новой деревне). — …Как-то вскоре зашла к нам квартирная хозяйка Ульяна Сергеевна и сказала, что какой-то нищий спрашивает поэта Владимира Кириллова. Этим „нищим“ оказался известный поэт Николай Клюев. Хозяйку смутил его необычный старинный наряд — поддевка и войлочная шляпа.

Николай Алексеевич Клюев приходил к нам несколько раз, они сильно спорили с Кирилловым о путях революции и крестьянстве…»

Первое, что здесь обращает на себя внимание — Клюев пришёл к Кириллову сам. Он уже был знаком с его поэзией, и можно безошибочно утверждать, что его захватили ликующие строки Кириллова, посвящённые революционным матросам («Герои, скитальцы морей, альбатросы… Орлиное племя, матросы, матросы…»), которые сразу же отозвались в стихах «Медного Кита».

«Мой муж, — вспоминала Анна Кириллова, — очень ценил творчество Николая Клюева за его самобытность, знание старинных обычаев, редкий словарный лексикон и деревенскую революционность…» Может показаться, что она преувеличивает, и списать это преувеличение на время написания её коротеньких мемуаров — 1990 год… Но есть тому свидетельство самого Кириллова — отнюдь не мемуарное. В 1923 году, уже в иную эпоху, он написал стихотворение «Из дневника 18 г.», по которому трудно узнать Кириллова — «поджигателя Рафаэля» и «разрушителя музеев».

Я с другом шёл, олонецким поэтом,
Струилась пёстрыми излучинами речь,
Он говорил о Китеже воскресшем,
О красном боге бунта, о коммуне…
Я слушал странные, дремучие слова,

И гулко отдавались по асфальту
Его олонецкие в сборках сапоги…

Но вот качнулась звонко тишина,
Расколотая музыкой оркестра…
……
В цветах и стали двигалась пехота,
За нею конница… Тяжёлый чок копыт,
И пушки в зелени, и лёгкие двуколки,
Алели ленты в чёлках лошадей,
Качались розы в шелковистых гривах,
В петлицах розы, розы на штыках,
И вечер веял розовые блестки…
И друг сказал: «Багряное причастье —
Народ вкусил живую кровь Христа…»

…Вот уже кем-кем, но затворником Клюева этих лет нельзя назвать совершенно. Он с радостью шёл навстречу революционной молодёжи, не то чтобы невзирая на все идеологические расхождения, а пытаясь воздействовать на неё в русле своей, «клюевской», религиозной, духовной революции — как он пытался воздействовать в возможном будущем на Ленина своим циклом, начертав тот образ, который Ленину должно было воспринять… С Кирилловым, неустойчивым, шатучим, швыряющимся от «палача красоты» до апологии пролетария, заявляющего — «Он с нами — лучезарный Пушкин, и Ломоносов, и Кольцов…», — разговор был, что называется, на короткой ноге… Кириллов же первым и услышал от Клюева только что написанные послания новому другу — послания, исполненные тревожного пророчества при виде духовного дикарства молодёжи, ринувшейся в революцию.

Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.

Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.

Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово;

Жизни дерево надколото,
Не плоды на нём, а головы.
……
На святыни пролетарские
Гнёзда вить слетелись филины;
Орды книжные, татарские
Шестернёю не осилены.

(А это — отклик на одну из статей в «Грядущем» — статью Ильи Садофьева, громившего напечатанные в таком же «пролетарском» журнале «Пламя» поэму Александра Грина и рассказ Владимира Воинова. Герой рассказа — старик, ожидая прихода «белых», записывает по ночам фамилии «красных» для будущей мести. В диаметрально противоположной ситуации поступает, соответственно, наоборот.

«О, сколько теперь этих „хихикающих“, „на случай“ записавших „беленьких“, вломилось в приоткрытые двери пролетарских святынь!»

Автор статьи усматривал опасность в «переметнувшихся». Клюеву же очевидна опасность для культуры — рабочей ли, крестьянской ли; для него сами эти разграничения были неприемлемы, — исходящая от самих «пролетариев», во всяком случае тех из них, кто громче других называл себя таковыми.)

Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном.
Сон кольцовский, терем меевский
Утонули в море клюквенном.

Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.

Пророчествуя, что «цвести над Русью новою будут гречневые гении», — Клюев не только увещевал своего безоглядного в революционной лихости нового друга, указывая путь от бездушного железа — «к неоплаканному, родному», от бумажного слова — к животному, духосозидательному, но словно брал его в тёплые объятия и разворачивал лицом к тому миру, откуда Кириллов вышел. Звук самого его имени переозвучивал заново для него Николай.

Твоё прозвище — русский город,
Азбучно-славянский святой,
Почему же мозольный молот
Откликается в песне простой?
……
И когда апрельской геранью
Расцветут твои глаза и блуза,
Под оконцем стукнет к заранью
Песнокудрая девушка-муза.

«Поэзия, друг, не окурок, не Марат, разыгранный понаслышке…» На поверхности здесь вроде бы — отклик на совершенно ничтожную пьесу некоего Николая Николаева (под псевдонимом «Антон Амнуэль») «Марат», напечатанную в пролеткультовском журнале «Грядущее» в том же номере, где и клюевский «Красный конь»… Но амнуэлевский «Марат» появился позже. А клюевский «Марат, разыгранный понаслышке» — это страшное ощущение очевидной связи происходящего в Петрограде 1918-го с Парижем 1793-го…

А Кириллов — русский город в Вологодской губернии — в это же время накрепко связан был в сознании Клюева с расстрелом священнослужителей — отца Варсонофия, пресвитера Иоанна Иванова, игуменьи Серафимы и нескольких мирян. О казнях служителей церкви, тем паче служителей храмов Русского Севера, он не мог не слышать.

Как не мог и не знать о чисто робеспьеровско-маратовском кличе Зиновьева, оглашённом в газете «Северная коммуна»: «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожить». (А ещё через год с небольшим этот же большевик напишет знаменитые слова, потом приписанные другому историческому персонажу: «Обстановка часто заставляет прибегать к тому, чтобы действительно производить массовые аресты, и случается, что люди сидят без допроса часто невинные. Да, лес рубят, щепки летят; никакого другого средства тут не придумаешь».)

…А стихотворение «Мы ржаные, толоконные…» появилось в другом «пролетарском» журнале — «Пламя», органе Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов, где печатались статьи с характерными для того времени заголовками «Христос-социалист», «Илья Муромец — революционер». Появилось, правда, лишь в части тиража. Из другой части эта «антипролетарская крамола» была решительно изъята.

* * *

Красный террор, объявленный 2 сентября 1918 года, официально был завершён 6 ноября (после расстрела восьмисот человек в Петрограде). А 7 ноября выходит книга Клюева «Медный Кит». В «Пламени» на неё даёт восторженную рецензию Иннокентий Оксёнов под псевдонимом «А. Иноков».

«Клюев весь принадлежит народу, он вышел из народных глубин, из олонецких лесов. В его голосе мы слышим голос мудрой народной стихии, в его поэзии слышится вещая непреклонная воля.

Каждое слово поэта ценно, каждая строчка его — откровение, ибо в поэзии мы соприкасаемся с самыми истоками народного творчества, причащаемся первобытной радости чистейшей народной души…

Революция совершила в душе поэта великий переворот. Прежний певец избяного рая, находивший все радости мира в своем родном углу, окинул теперь острым взором большого художника весь широкий мир и увидел, что все страны, все культуры взаимно проникают друг в друга…

В „Медном Ките“ Клюев встаёт перед нами во весь свой рост большого художника. Народ может гордиться своим поэтом».

«Послом от Кита пришёл я к вам, братья. Воистину он хочет примириться с вами» — такую дарственную надпись сделал Клюев на книге, подаренной Александру Александровичу Богданову (Малиновскому) — теоретику Пролеткульта. Без сомнения — с этой же жаждой примирения «Всемирной Песни» с «чугунными, бетонными» он издавал «Медный Кит» в том же Петроградском совете рабочих и красноармейских депутатов, где выходил журнал «Грядущее»… И получил ответное приветствие — рецензию Павла Безсалько.

«Плавая по бурному океану русской жизни и наглотавшись многих медных и железных вещей, вроде — пулемёта, революции, Ленина, власти советов, республики, коммуны — кит почувствовал тяжесть в брюхе. — Ого! — подумал зверь, — я, кажется, забрюхател „современностью“.

Через известный промежуток, какой определён природой, кит родил.

Но родил вместо „современности“ Божьего ослушника, пророка Иону, проглоченного три тысячи лет назад в морях древней Иудеи.

Вышедши на свет Божий, мученик Иона решил издать книгу под названием „Медный Кит“, чтобы рассказать миру о вещах, виденных им во чреве кита. Книга эта издана Петроградским

Советом, вероятно, с научной целью, чтобы знали, как преломилась „современность“ в голове человека, который отстал от жизни ровно на 30 столетий…»

Далее Безсалько, позаимствовавший образ Ионы из клюевских «Избяных песен», с издевательскими комментариями цитировал «Поддонный псалом», «Есть в Ленине керженский дух…», «Уму республика, а сердцу — Матерь-Русь…», «На божнице табаку осьмина…» — и заключал намёком на пресловутую «келью под елью»: «В книге „Медный Кит“ и, что то же — „Еловый скит“ есть немало очень сильных, красивых стихотворений, но они не спасают читателя от тяжёлой улыбки при зрелище того, как автор тщетно силится уберечь от всеразрушающей революции свой древний Китеж-град, своё христианское миропонимание.

„Медный Кит“ — книга нездоровая. Да это и понятно: как можно было автору написать здоровую, ясную, солнечную книгу, когда он пробыл такое продолжительное время в тёмном свалочном месте прожорливого кита?»

Это едва ли можно было счесть за частное мнение критика. Клюеву ясно дали понять, что в «пролетарском» сообществе он гость как минимум нежеланный, которого терпят лишь по определённой необходимости. И он хорошо это понял. Тому свидетельство — стихотворение, появившееся на страницах «Пламени» в 1919 году.

По мне Пролеткульт не заплачет,
И Смольный не сварит кутью.
Лишь вечность крестом обозначит
Предсмертную песню мою.

Да где-нибудь в пёстром Харане
Нубиец, свершивши намаз,
О раненом солнце-тимпане
Причудливый сложит рассказ!

И будет два солнца на небе —
Две раны в гремящих веках,
Пурпурное — в ленинской требе,
Сермяжное — в хвойных стихах.

Это уже не «керженский дух» в «ленинской требе»… Два солнца ещё не гасят одно другое — но уже разведены по разным орбитам, где «пурпурное» соотносится с «железным», а «сермяжное» — с «живым»… Железный мир обогревает солнце с

Запада, Живой — с Востока.

От смертных песков есть притины —
Узорный оазис-изба…
Грядущей России картины —
Арабская вязь и резьба,

В кряжистой тайге — попугаи,
Горилла за вязкой лаптей…
Я грежу о северном рае
Плодов и газельих очей!

Эта фантастическая картина имела и реальный исток — южные плоды, тропические растения, разводимые в открытом грунте монахами Соловецкого монастыря… Но не только. Рискованный посыл Клюева в будущее и «грядущей России картины» — возможное пророчество о смене географических полюсов, цивилизационном сломе, последствия которого «новое небо и новая земля»… Этот евразийский мотив станет определяющим в книге, которая будет складываться в годы его «вытегорского сидения», книги, что будет названа «Львиный хлеб».

А пока — он предпринимает все усилия для издания двухтомного «Песнослова» — и пишет слёзное письмо Максиму Горькому: «…Революция сломала деревню и, в частности, мой быт; дома у меня всего житья-бытья, что два свежих родительских креста на погосте. Англичанка выгнала меня в Питер в чём мать родила. Единственное моё богатство — это четыре книжки стихотворений, в совокупности составивших „Первый том“ моих сочинений, и новая, не видевшая света книга, в которую вошли около двухсот стихотворений, в большинстве своём отразивших наше красное время, разумеется, в самом широком смысле, чаще так, как понимает его крестьянская Рассея.

Добравшись до Питера и не имея понятия о бесчисленных разделениях в людях и, в частности, в художественных литературных кругах, я встретил на одном из митингов комиссара советского книгоиздательства, который предложил мне издать книжку более или менее революционного содержания, — каковую я ему в обозначенный срок и представил. Но добро без худа не бывает: мои прежние издатели, которые раньше меня обязывали (обедом, десятирублёвой ссудой и т. п.) издаваться только у них, теперь огулом отказываются от печатания моего большеви<с>тского „Первого тома“ и т. д.».

Конечно, Клюев имел понятие «о бесчисленных разделениях в

людях» и, тем более, «в художественных литературных кругах». Договор с издателем Аверьяновым он расторг сам, получив предварительное туманное предложение издания от чиновников Наркомпроса… Но всё застопорилось, и Клюев, печатавшийся в журнале Луначарского, но не входивший с ним в личный контакт, обращается к посредничеству Горького, всеми силами выжимая слезу у не принимающего его стихов ни при какой погоде, но сентиментального и душевного, как ему кажется, обладающего немалым авторитетом писателя.

«Разные учёные люди почестнее указывают мне на Луначарского, которому, как члену рабоче-крестьянского правительства, будто бы оченно к лицу издать крестьянского поэта, но я весьма боюсь, что для того, чтоб издал меня Луначарский, — мне придётся немножко умереть, как Никитину с Кольцовым… Алексей Максимович, посудите сами: скоро праздник 25-го октября 1918 года, земля, говорят, будет вольной, и в свою очередь я буду поэтом Вольной Земли и т. п. Если же моё новое социалистическое отечество и Луначарский для издания народных поэтов ставят в действительности смертные условия, то Вы, Алексей Максимович, быть может, усмотрите возможность довести до сведения Луначарского, что я уже приготовился и на такие, самые лёгкие из условий (я оголодался до костей и обнуждался до потери „прав гражданина“) — мне бы только одним глазком взглянуть на Вольную Землю…»

Собственно говоря, при посредничестве Горького, поговорившего с Луначарским и убедившего его в необходимости издания произведений «крестьянского революционного поэта», два тома «Песнослова» вышли в свет в литературном отделе Наркомата просвещения в 1919 году.

Глава 18
«ОРФЕИ СЕРМЯЖНЫЕ»

1918 годом Есенин датировал своё, посвящённое Клюеву, стихотворение «Теперь любовь моя не та…»:

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошёл, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

Стихотворение, по-своему удивительное, и удивительнее всего в нём строки: «Ты сердце выпеснил избе, но в сердце дома не построил». Это — об «Избяных песнях», которые Есенин, как он сам писал и говорил недавно, — «ценит и признаёт». Чего же стоит это «признание», если «признаваемый» не может выстроить «дома» в своём «сердце»?

Ключ к этому стихотворению и, в частности, к этим строчкам, мы находим, как это ни парадоксально, у Василия Розанова. Для Есенина это имя на какое-то время стало путеводным.

«Есенин читает В. Розанова, — вспоминал Иван Грузинов. — Читает запоем. Отзывается о Розанове восторженно. Хвалит его как стилиста. Удивляется приёмам его работы. Розанов в это время для него как поветрие, как корь. Особенно нравились ему „Опавшие листья“…»

По сути во влечении Есенина к парадоксалисту Розанову не

было ничего парадоксального. Не только «Опавшие листья» он штудировал в то время (Грузинов отнёс свои воспоминания к 1919 году, но пристальное чтение это началось раньше, в период запойной работы над «Ключами Марии»). И проинтерпретировал Сергей своего нового «учителя» совершенно нетривиально.

В книге «Среди художников» в статье, посвящённой сборнику сказок А. М. Смирнова-Кутачевского «Иванушка-дурачок», Розанов дал замечательный по-своему портрет хрестоматийного героя русских народных сказок. «Что же такое этот „дурак“? Это, мне кажется, народный потаённый спор против рационализма, рассудочности и механики, — народное отстаивание мудрости, доверия к Богу, доверия к судьбе своей, доверия даже к случаю. И ещё — выражения предпочтения к делу, а не к рассуждениям, которые так часто драпируют собой тунеядство и обломовщину. Посмотрите-ка на дурака в работе, — хочется аплодировать…

В слишком многих домах у русских всё доброе и крепкое принадлежит действительно „дураку“, то есть „придурковатому“ сыну в ряду других детей, придурковатому „брату“ среди способных братьев, но которые благодаря своей „талантливости“, во-первых, ничего не делают, а во-вторых, доходят до разных „художеств“, приводящих их даже в тюрьму. Эти талантливые „натуры“, очевидно, развалили бы весь дом — развалили и растащили, если бы не „дурак“, которому „художества“ и проступки и на ум не приходят, который только ест и работает, — ну, положим, как лошадь или корова (если случится быть „дуре-сестрице“, что случается). Но ведь и в дому крестьянском лошадь явно полезнее пьющего человека, озорного человека, лентяя-человека… В элементарной жизни, какова русская старая и русская деревенская до сих пор жизнь, „дурак“ и всё множество действительных „дураков“ играют огромную строительную и огромную сохранительную роль… И можно сказать, чуть-чуть преувеличив, что деревня только и живёт „стариками да дураками“ среди склонной „закучивать“ молодёжи и умников…»

А теперь вспомним письмо Есенина Иванову-Разумнику двухлетней давности, где Сергей подчёркивал, что назвал Клюева *«середним* братом… Значение среднего в „Коньке-горбунке“, да и во всех почти русских сказках — „так и сяк“…». И лишний раз акцентировал: Клюев «только изограф, но не открыватель».

И получалось, что именно Есенин — в отличие от Клюева — «играет огромную строительную и огромную сохранительную роль». И получалось, что прежний дом рухнул стараниями старших и средних «талантливых натур»… При том, что к этому времени кардинально начал меняться сам есенинский образ жизни — и уж, скорее, Клюев мог бы поглядеть на своего

«меньшого брата», как на «пьющего человека, озорного человека, лентяя человека» (так и поглядит впоследствии). А для Есенина «всё доброе и крепкое» в его поэтическом хозяйстве — взято не просто из клюевских ларцов… Вынуто из клюевских рук, ослабевших и не могущих, в глазах «младшего», удержать собственное сокровище, на осмыслении которого и выстроятся гениальные «Ключи Марии» с отсылкой к Клюеву уже в самом названии трактата и примечании к нему: «Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу».

«Шелапуты», с которыми встречался Клюев в Рязанской губернии и о которых рассказывал Есенину, не имели отношения к «хлыстам». Их называли «шалыми людьми» за то, что они сторонились религиозной догматики, полагая: Бог создал всех равными, все мы его дети. Если человек поступает по Божьим законам, значит, у него в душе рай и рай вокруг него. Если человек носит в душе ад — он разрушает гармонию и в себе, и в окружающем мире. Они отличались чистотой нравов, трезвостью и трудолюбием.

Гармония души в орнаменте и слове — вот предмет пристального рассмотрения в «Ключах Марии» с проекцией её в будущий мир. «Будущее искусство, — писал Есенин, — расцветёт в своих возможностях достижений, как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где „избы новые, кипарисовым тёсом крытые“, где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сычёною брагой».

Беря из Клюева, можно сказать, горстями, используя читанное у него и слышанное от него, Есенин жёстко отодвигает своего учителя в прошлое, в пространство «слепоты нерождения», поминая неявно Осипа Мандельштама с его «курчавыми всадниками», бьющимися «в кудрявом порядке» и явно — Обри Бердслея, чей рисуночный абрис воинов, вправленных в растительный орнамент, в самом деле напоминал вьющуюся виноградную лозу, увешанную гроздьями: «Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, всё сплошь стало идиллией гладко причёсанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников. То, что было раньше для него сверлением облегающей его коры, теперь стало вставкой

в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужичий мозоль, вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошёл не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и „изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие“, ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона».

Жизнь человеческой души, образы, рождаемые душой, — вот что главное для Есенина. «Слышу твою душу», — вспоминались ему слова Клюева, и оказывалось, что тайна есенинской души ныне недоступна для Николая. И получалось, что один Есенин способен «слышать царство солнца внутри нас», что он «разгадал тайну наполняющих его образов», ибо «человеческая душа слишком сложна для того, чтобы заковать её в определённый круг звуков какой-нибудь жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые её запружают, ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметает их в прах на пути своём. Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма, так сметёт она и рассосёт сонм кругов, которые ей уготованы впереди».

Клюевский «круг» разорван, и сам клюевский образ, оказывается, «построен на заставках стёртого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновлённой души и потому должен быть предан земле. Предан земле потому, что он заставляет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство и сказать, что „убийца святей потира“. Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьём вместо змия самого Христа».

«Средний сын», бывший ближайший друг и учитель, который «и так и сяк», погнавшийся «за яркостью красок», оказывается «разрушителем» дома, воплощением «рационализма, рассудочности и механики» — на одной доске с «подглуповатым футуризмом», ненавистным самому Клюеву, и Оскаром Уайльдом… Можно себе представить, как читал Николай «Ключи

Марии», вышедшие отдельной книжечкой в ноябре 1919-го, как прозревал есенинский «ход» в обращении к Розанову, прекрасно знакомому Клюеву, и к «шелапутам»… Тонко и мудро вывернул всё «младший», а у «старшего» кровь в висках стучала и сердце заходилось от боли… А ещё и посвящение «с любовью» Анатолию Мариенгофу, также, видать, «посвящённому» — бездари без души, без любви, без благоговения, читая которого, впору не об «инквизиционном православии» вспоминать, а крестным знамением осенять себя.

И куда же это, и к кому это занесло Серёженьку! Бес крутит, змей манит, а человек — он слаб… Ушёл от друга и покровителя, в «вожди» подался — и чем изощрённее, чем умнее опорочит оставленного, тем значительнее почувствует себя. В новом окружении. Среди сущих бесенят, на которых и не взглянешь без страха за душу ушедшего.

И ведь — ни слова осуждения «младшему» на людях. Наоборот — во всех статьях газетных и речах произнесённых лишь самое высокое о нём. Есенин для Николая — в синклите избранных.

«Одним из проявлений художественного гения народа было прекраснейшее действо перенесения нетленных мощей, всенародная мистерия, пылинки которой, подобранные Глинкой, Римским-Корсаковым, Пушкиным, Достоевским, Есениным, Нестеровым, Врубелем, неувядаемо цветут в саду русского искусства. Дуновение вечности и бессмертия, вот цель великого артиста, создавшего „Действо перенесения“ („Самоцветная кровь“)».

«Путь к подлинной коммунальной культуре лежит через огонь, через огненное испытание, душевное распятие, погребение себя ветхого и древнего (не попались Есенину на глаза эти строки! — *С. К.),* и через воскресение нового разума, слышания и чувствования. Почувствовать Пушкина хорошо, но познать великого народного поэта Сергея Есенина и рабочего краснопева Владимира Кириллова мы обязаны» («Порванный невод»).

И тогда же — предисловие к есенинской подборке стихов в «Звезде Вытегры».

«Поэт-юноша. Вошёл в русскую литературу, как равный великим художникам слова. Лучшие соки отдала Рязанская земля, чтобы родить певущий лик Есенина.

Огненная рука революции сплела ему венок славы как своему певцу.

Слава русскому народу, душа которого не перестаёт источать чудеса даже средь великих бедствий, праведных ран и потерь!»

В письме же Миролюбову, написанном осенью 1919 года, не

скрывал Клюев своей горечи: «Принял Ваше письмо со слезами — оно, как первая ласточка, обрадовало меня несказанно. Никто из братьев, друзей и знакомых моих в городах не нашёл меня добрым словом, окромя Вас. На што Сергей Александрович Есенин, кажется, ели с одного куса, одной ложкой хлебали, а и тот растёр сапогом слёзы мои. Молю Вас, как отца родного, потрудитесь, ради великой скорби моей, сообщите Есенину, что живу я как у собаки в пасти, что рай мой осквернён и разрушен, что Сирин мой не спасся и на шестке, что от него осталось единое малое пёрышко. Всё, всё погибло. И сам я жду погибели неизбежной и безпесенной. Как зиму переживу — один Бог знает. Солома да вода — нет ни сапог, ни рубахи. На деньги в наших краях спички горелой не купишь. Деревня стала чирьем-недотрогой, завязла в деньгах по горло. Вы упоминаете про масло, но коровы давно съедены, молока иногда в целой деревне не найти младенцу в рожок…

Белогвардейцы в нескольких верстах от Пудожа. Страх смертный, что придут и повесят вниз головой, и собаки обглодают лицо моё. Так было без числа. <Я ведь не комиссар, не уцелею.> Есенин этого не чувствует. Ему как в союзной чайной — тепло и не дует в кафе „Домино“. Выдумают же люди себе стену нерушимую! Приехал бы я в Москву, да проезд невозможен: нужно всё „по служебным делам“, — вот я и сижу на горелом месте и вою как щенок шелудивый. И пропаду, как вошь под коростой, во славу Третьего Интернационала…»

Кафе «Домино» Клюеву хорошо запомнилось. Зимой того года, будучи в Москве, встретился он с Есениным и пришёл вместе с ним на «Вечер молодых поэтов». В окружении Александра Кусикова, Тараса Мачтета, Николая Адуева, в присутствии других друзей-имажинистов Есенин чувствовал себя королём и держался, как хозяин всего окружающего. Атмосфера накалялась, периодически разряжаясь очередным скандалом с выкриками публики и ответными репликами «поэтов», а с эстрады звучало такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Николай не выдержал, встал и ушёл, вскоре уехал в Вытегру и оттуда написал Есенину письмо — с нелицеприятными оценками виденного и увещеваниями. Текст его неизвестен, и о содержании и реакции на это послание Сергея можно судить лишь по «художественным» мемуарам Анатолия Мариенгофа.

Упомянув о том, как Пимен Карпов и Орешин «выясняли отношения» с Есениным по поводу имажинизма, мемуарист переходит к клюевскому письму: «Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд не пименовскому чета и желчь не орешинская. Есенин читал и перечитывал письмо.

К вечеру знал его назубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу. Потом три дня писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя её разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский духанщик над огнём деревянные палочки с кусками молодого барашка. Выволакивал из тёмных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас Миколушкин „сокол ясный“. Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева».

Вся эта живописная сцена не имеет никакого отношения к действительности. Никакого ответного письма Есенин не писал, о чём год спустя уведомил Иванова-Разумника: «Ну а что с Клюевым? Он с год тому назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил и с тех пор о нём ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление произвели довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но всё же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ощупью вот теперь он пойдёт?»

Суть на самом деле была не в манере. Оба с разных концов подходили друг к другу, чтобы сойтись в жёсткой мировоззренческой полемике. Есенин свой ход уже сделал. И при том — включал стихи Клюева (вопреки жестокому сопротивлению своих новых «собратьев») в имажинистский сборник «Конница бурь» (и его, и Орешина, и Михаила Герасимова. В другом сборнике и Алешу Ганина не забыл…). А в письме Ширяевцу, написанном летом 1920 года, удивительным образом перекликающемся тональностью и отдельными жизненными реалиями с клюевским письмом Миролюбову, Сергей высказывал своим претензии к Николаю совсем не «формального» порядка.

«Живу, дорогой, — не живу, а маюсь. Только и думаешь о проклятом рубле. Пишу очень мало. С старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошёлся, Клычков уехал, а Орешин глядит как-то всё исподлобья, словно съесть хочет…

А Клюев, дорогой мой, — Бестия. Хитрый, как лисица, и всё это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава Богу, что бодливой корове рога не даются. Поползновения-то он в себе таит большие, а силёнки-то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой по виду, а внутри чёрт…»

(Поразительна здесь текстуальная перекличка с неведомой Есенину тогда блоковской статьёй «Без божества, без

вдохновенья», где Блок уничтожающе отозвался о созданном Гумилёвым втором Цехе поэтов: «Если бы они все развязали себе руки. Стали хоть на минуту корявыми, неотёсанными, даже уродливыми, и оттого более похожими на свою родную, искалеченную, сожжённую смутой, развороченную разрухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют…»)

Это вам не «утомительная манера», о которой будет потом написано Иванову-Разумнику. И всё же поразительно: подобную претензию скорее Клюев мог бы предъявить стихам Есенина 1919–1920 годов, чем наоборот. (И ведь предъявит…) Тем паче что дальше разговор о «Китеже» и «рисунке старообрядчества» никак не может предполагать «корявость» и «неряшливость»… Но Есенину не до связных логических концов. Он стремится предупредить Ширяевца о возможном «зловредном» влиянии Клюева, которого намерен уложить «в гроб».

«…Брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с её несуществующим Китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это всё выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Всё это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет…»

…Тут Клюев получил нежданную «помощь» от человека, с которым, казалось, давно и навсегда разорвал отношения. От Сергея Городецкого, осевшего на Кавказе и печатавшего в местных газетах кроме стихов и поэм также критические статьи, в которых фигурировали и Есенин, и Клюев, и Алексей Ганин.

Но не статьи попались Клюеву на глаза, а газетный лист со стихотворением Городецкого «Орфеям Севера».

Эй вы, Орфеи сермяжные,
Соловьища лесные, овражные,
Чёрных полей голытьба!
Песней натужьте лохматую грудь!
Подступила судьба
Сладко, привольно, как Волга, вздохнуть
Всеми мехами груди миллионов,
Намозоленной бременем стонов.
……
Ковш захмеляющий брагою вспенен,
Песни звончей поцелуев.
Здравствуй, зелёный Сергунька Есенин,
Здравствуй, замшелый Микола, сын Клюев.
Здравствуйте все, именами незнамы,

Китеж подводный, Кремль чернозёма,
Каждому радуюсь радугой грома!

Обрадованный Клюев ответил Городецкому летом 1920 года сердечным письмом:

«Возлюбленный мой!

Прочёл в газетах твои новые, могучие песни, и всколыхнулась вся внутренняя моя. Обуяла меня нестерпимая жажда осязать тебя, родного, со страдной думой о новорождённой земле и делах её…

Так много пережито в эти молотобойные, но и слепительно прекрасные годы.

Жизнь моя старая, личная сметена дотла. Я очень страдаю, но и радуюсь, что сбылось наше — разинское, самосожженческое от великого Выгова до тысячелетних индийских храмов гремящее.

Но кто выживет пляску земли освободительной?!

Где Есенин? Наслышан я, что он на всех перекрёстках лает на меня, но Бог с ним — вот уж три года как я не видал его и строчки не получал от него.

Как смотришь — на его дело, на имажинизм?

Тяжко мне от Мариенгофов, питающихся кровью Есенина, но прощаю и не сужу, ибо всё знаю, ибо всё люблю смирительно…

Трудно понимают меня бетонные и турбинные, вязнут они в моей соломе, угарно им от моих избяных, кашных и коврижных миров. Но любовь — и им…»

Текстом этого письма Городецкий потом поделится с питерскими журналистами (не в первый раз строки из личных клюевских писем ходят по рукам и проникают в печать!), а о Мариенгофе и Есенине, уже после гибели последнего, напишет и опубликует такое, что Клюев окончательно прервёт общение с ним… Но это — впереди. А ныне… Реальная действительность ничего общего не имеет с клюевской мифологией, и остаётся лишь рассчитывать на чудные сны, которым когда-то суждено воплотиться в земном бытии.

Родина, я грешен, грешен,
Богохульствуя и кляня!..
Осыпается цвет черешен —
Жемчуга Народного дня.

Не в окладе Спас, а в жилетке
С пронырою кодаком…
Прочитают внуки заметки
О Черепе под крестом…

……
И над Суздальскою божницей
Издевается граммофон…
Пламенеющей колесницей
Обернётся поэта сон.

С Зороастром сядет Есенин —
Рязанской земли жених,
И возлюбит грозовый Ленин
Пестрядинный клюевский стих.

А дальше — всё нежнее и сердечнее… И в «Песнях Вытегорской коммуны» Есенин — соратник и союзник против «ожелезивания» страны на фоне повсеместной разрухи! «Не Сезанны, не вазы этрусские / заревеют в восстании питерском. / Золотятся в нём кудри Есенина, / на штыках красногрудые зяблики; / революция Ладогой вспенена, — / в ней шиповник, малина да яблоки. / Дождик яблочный, ветер малиновый / попретил Маяковскому с Бриками; / вспомнил молот над рощицей ивовой, / купину с огнепальными ликами…» Всё видел и всё прекрасно понимал Клюев — только смотрел духовным взором, и не под ноги себе — а вдаль. В жизни — полная безыллюзорность, в мечтах — красивейшая сказка, претворимая в дальней грядущей жизни. Он творит свои картины грядущего с бесстрашием последнего русского витязя из старой былины…

Он и Есенина хотел видеть таким. И какую же боль довелось испытать ему, когда прочёл он новую поэму «борца» — «Кобыльи корабли». Это было страшнее для Николая, чем любая «Инония»… Для Клюева это было духовное падение Серёженьки. И воплощалось оно в том, что поплыл его друг по течению мёртвой, гнилостной жизненной реки. Нашёл вдохновение в смерти. И как тут было не вспомнить есенинское «тебе о солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая»… А у самого рай — среди конских трупов? В кафе «Домино»? В «Стойле Пегаса»? Да кто же из них более живой-то — Клюев, еле дышащий от голода в своей деревянной нищей Вытегре, или «устроенный» Есенин, словно наслаждающийся своей коллективной пирушкой среди смерти и распада? И тут уже не только и не столько «обломки рифм, хромые стопы» в есенинской поэме. Это всё — лишь следствие омертвления души.

Не с коловратовых полей
В твоём венке гелиотропы, —

Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином…
От оклеветанных голгоф —
Тропа к иудиным осинам.

Написал — и словно осёкся… И долго потом вспоминал эти строки, коря самого себя за, как он думал, страшное пророчество… Угроза сменилась печалью, но печаль эта родила не менее страшные строки.

Скорбит рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, перелесицы трепля,
Парит есенинское лихо.

(В первоначальном варианте было — «соловьиный сад трепля»… Но Клюев отказался от слишком явной переклички с Блоком. Да и «перелесицы» здесь куда более органичны — в контексте всего стихотворения.)

Оно, как стая воронят
С нечистым граем, с жадным зобом,
И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом.

Мать — символ тысячелетней Руси — в гробу, а есенинская песнь — песнь отреченца — словно ворон кружит над ней… Более жёстокого приговора Есенину вынести было невозможно, но как строгая и ласковая мать после горьких слов, сказанных сыну, сменяет Клюев гнев на милость. И молит о возвращении духа потерянного в родной «запечный рай»… Рая-то уже нет. Но жив ещё «супруг духовный».

Словесный брат, внемли, внемли
Стихам — берестяным оленям:
Олонецкие журавли
Христосуются с «Голубенем».

«Трерядница» и «Песнослов» —
Садко с зелёной водяницей!
Не счесть певучих жемчугов
На нашем детище — странице.

Упоминание «Голубени» есенинской здесь совершенно к месту. Но «Трерядница», только-только вышедшая книга, разукрашена теми самыми «имажинистскими» цветами, включает и «Кобыльи корабли», и «Теперь любовь моя не та…» (впрочем, трудно сказать, с этим ли стихотворением попал Клюеву в руки сборник. Из части тиража это стихотворение было изъято, и нельзя исключить, что эту акцию в последний момент предпринял сам Есенин). И «Трерядницу» признал Клюев родной своему «Песнослову» по той высокой пронзительной грусти, не услышать которую не мог в последних есенинских стихах.

Я не скоро, не скоро вернусь.
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге,

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клён
Головой на меня похож.

Их диалог будет продолжаться и при жизни Есенина, и после неё…

Новая жестокая полемика развернётся, когда Николай приступит к своим первым поэмам, к «большому эпосу», который пророчил ему Гумилёв. После двух поворотных лет, вместивших во многом роковые события клюевской жизни.

* * *

Осенью 1919 года Клюев посылает письмо председателю издательства Петросовета и шурину Григория Зиновьева Илье Ионову с благодарностью за деньги, полученные в счёт новой книги, и с сообщением о своём житье-бытье.

«Дорогой товарищ, я получил от Вас две тысячи рублей окромя трёх тысяч, которые пошли в счёт книги моей „Огненное восхождение“. Я благодарен Вам за Ваше доброе отношение как за материальную помощь, но меня несказанно радуют два-три слова в Ваших письмах, в которых притаилась просто человечность, если не сказать милосердие. Мои друзья, которые передавали Вам рукопись моей книги, люди очень чистые и

чуткие, уверяют меня, что Вам можно поведать не одни денежные соображения. Они настояли на том, чтобы я обратился к Вам с настоящим письмом о следующем: идёт зима страшная, осьмимесячная гостья с мёрзлым углом, с бессапожицей, с неизбывным горем сиротства и беспощадного недуга моего. Волосы становятся дыбом, когда я подумаю о страшной зимовке с соломенной кашей в желудке, с невоплощёнными песнями в сердце. Какую нужно веру, чтобы не проклясть всё и вся и петь „Огненное восхождение“ народа моего…

Я не знаю, от кого, кем и как, но из Петрограда должно быть сделано предложение местному Вытегорскому исполкому изыскать возможность выдать мне паёк за (плату) из упомянутого исполкома, а не из городской лавки, тогда я буду получать 25 ф. муки, соль, немного масла, чай с сахаром, пшено и т. п.

Это так называемый комиссарский паёк, которым, надо сказать правду, зачастую пользуются люди вовсе недостойные. В общем любопытно, и мне необходимо, — узнать, найдёт ли нужным красная, народная власть уделить малую кроху „певцу коммуны и Ленина“, как недавно заявляли обо мне в Москве. Я очень страдаю. Потрудитесь в спасение моё. Родина и искусство Вам будут благодарны».

Может создаться впечатление, что Клюев так и не выбился из нищеты с дореволюционных времён — настолько напоминает это письмо его прежние — индивидуальные и совместные с Есениным — жалобные прошения о вспомоществовании… Но есть всё же существенная разница. Те письма писались в расчёте на дополнительные деньги к гонорарам за публикации и выступления для поддержки семьи. Здесь же — самый неподдельный крик о спасении от голодной смерти, которая косой выкашивала Россию, лишь подходя к своей самой обильной жатве 1921 года.

Картины, рисовавшиеся в отчётах сельских корреспондентов для «Звезды Вытегры», воистину впечатляли.

«Ежезерская волость.

В нашей глухой и бедной волости хорошо и привольно живёт лишь небольшая кучка местных мироедов, кулаков. Эта компания умудряется даже получить тот мизерный голодный паёк, который выдаёт Уездпродком бедноте нашей волости.

Ягремская волость.

У нас в составе волостного Исполкома преобладает кулацкий элемент».

На той же странице номера от 1 июня печатался документ за подписью заведующего уездпродкомом и отделом снабжения уездлеса П. Беланина.

«…все меры по доставке продовольствия в такое критическое время голодающему населению будут приняты, и результаты будут опубликованы в „Звезде Вытегры“.

Слухи, что городу с 1-го будут выдаваться пайки по 7 фунтов в неделю (даже шепчут, что по 5 фунтов в месяц), совершенно неправильны и прошу им не верить».

И здесь же — стихотворение Клюева под названием «Голод».

Родина, я умираю —
Кедр без влаги в корнях,
Возношусь к коврижному раю,
Где калач-засов на дверях.

Где изба — пеклеванный шолом,
Толоконная городьба!..
Сарафанным алым подолом
Обернулась небес губа,

Сапожки — сафьянные тучи,
И зенит — бахромчатый плат…

Казалось бы — вот он, вожделенный избяной рай на небесах, крестьянский мир, покинувший окровавленную, голодную землю и вознесшийся в райские кущи — клюевский мир, который он вожделел на этой земле… И тут же измученный, изголодавшийся поэт дарит нас поразительным признанием:

Родина, я умираю, —
Погаси закат-сарафан!
Не тебе поёт, а Китаю
Заонежский красный баян.

(Эта строфа позднее была исключена им из окончательной редакции. Может быть, понял, что перегнул палку.)

Стать бы жалким чумазым кули,
Горстку риса стихами чтя…
Нижет голод, как чётки, пули,
Костяной иглой шелестя.

Мнится на первый взгляд отречение от России, уничтожаемой голодом и войной. И уже не Индия, а Китай как вожделенная

земля встаёт перед глазами нищего поэта… На самом деле — это новое обращение к книге Нилуса, недвусмысленно писавшего в ней о «Поднебесной Империи»: «Китаец, можно, сказать, сатанист уже по своему темпераменту. Для него удовольствие в том, что своё божество он представляет себе и изображает в образе самом отвратительном и отталкивающем… То божество, под чьё покровительство ставит себя Китай, повсюду, даже на его национальном флаге, изображается им в образе отвратительного дракона. Это сатаническое чудовище, когтистое и хвостатое, с незапамятных времён и поныне представляет собой национальную китайскую эмблему. У китайцев всё во вкусе специфически-сатанинском: повсюду зубчатое, двурогое; всюду — когти и хвосты дьявола… А сам китаец? под рукавами его одежды как бы обрисовываются когти, а голове украшением служит хвост. У этого народа сатанизм выставляется как бы напоказ с особой демонстративностью.

В заключение надлежит отметить, что китайцы не только упорствуют в своём заблуждении, не поддаваясь евангелизации хуже дикарей Океании, Америки и самых варварских племён Африки, но они, кроме того, ещё и ненавидят страшнейшей ненавистью, доходящей до жесточайшей злобы, всех христиан без различия их исповедания».

Даже значительную часть правды, содержащуюся в этих словах, Клюев принять не мог и не хотел — ибо Китай рисовался в его воображении совершенно в ином ореоле.

Вспомянёт ли о волжской шири
Китайчонок в чайном саду?

Домекнутся ли по Тян-Дзину,
Что под складками че-чун-чи
Запевают, ласкаясь к сыну,
Заонежских песен ключи?

Многое в этих строках современному читателю останется непонятным, если не будет он знать о страшной трагедии 1900 года — о «боксёрском восстании» ихэтуаней в Китае. Это была самая настоящая религиозная война — и восставшие с поистине «страшнейшей ненавистью, доходящей до жесточайшей злобы», уничтожили Российскую духовную миссию, основанную ещё Петром I, сожгли Успенский храм и убили более двухсот православных китайцев наравне с русскими.

После того как русские войска под командованием генерала Н. П. Линевича вместе с союзниками взяли Пекин и подавили

восстание, останки русских мучеников были захоронены в братской могиле, а над ней поставлена часовня Христа Спасителя. Позднее в их память был выстроен православный храм в Тянцзине.

Так христианский Восток — во всей своей красочности, жизненном и культурном многообразии, осеняемый Духом Святым, снова становится союзником поэта в его противостоянии с «железным Западом», уже в послереволюционное время. И здесь Клюев вступает в очевидную полемику и с Нилусом, и с Владимиром Соловьёвым — с его работой «По поводу последних событий», как раз посвящённой ихэтуаньскому восстанию, — и отталкивается от строк из письма Константина Леонтьева, написанного в Оптиной пустыни, где народы, распустившиеся в «ненавистной всеевропейской буржуазии», будут «пожраны китайским нашествием»… И от смыкающихся по смыслу пророчеств святого Иоанна Кронштадтского — «освобождение России придёт с Востока», и иеросхимонаха Аристоклия Афонского — «…конец будет через Китай».

Но для Клюева это не «конец», а начало новой жизни, вдохновлённой мученической кончиной русских и православных китайцев, покоящихся в одной могиле.

А что касается «ненавистной всеевропейской буржуазии», то её наступление на русский мир не прекращалось — ни духовное, ни материальное, ни военное — сколько помнил себя Николай.

Безголовые карлы в железе живут,
Заплетают тенёта и саваны ткут,
Пишут свиток тоски смертоносным пером,
Лист убийства за чёрным измены листом.

Шелест свитка и скрежет зубила-пера
Чуют Сон и Раздумье, Дремота-сестра…
Оттого в мире темень, глухая зима,
Что вселенские плечи болят от ярма,

От железной пяты безголовых владык,
Что на зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, скуки покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов!

И всё же… В железе, давящем всё живое, Клюев ищет ту же песню и любовь, что одухотворяет всё земное бытие. И жаждет «допросить бы мотыгу и шахт глубину, где предсердие руд, у металла гортань, чтобы песня цвела, как в апреле герань»…

Иллюзия? Сказка? Но без неё и жизнь не в жизнь.

* * *

Первого ноября 1919 года член коллегии Наркомвнудел и заведующая отделом управления Петросовета С. Равич направила в Вытегорский уисполком письмо с просьбой о помощи голодающему поэту: «Уважаемые товарищи, у вас в Вытегре живёт широко известный поэт Николай Клюев. Он находится в чрезвычайно трудных продовольственных условиях. Николай Клюев — истинный пролетарский поэт и певец Коммуны. Творчество его дорого рабочему классу и трудовому крестьянству. Необходимо ему дать возможность заниматься спокойно своим хорошим дорогим нам делом. Исполкому надо позаботиться о том, чтобы Клюев был обеспечен сносным пайком и на зиму дровами. Не сомневаюсь, товарищи, что вы сейчас же сделаете это и тем самым дадите возможность поэту петь свои песни, столь близкие народу». От вытегорских властей — ни ответа, ни привета, ни помощи. Вновь посылается из Петрограда соответствующее письмо с резолюцией: «*Вторично.* Сделать письменное распоряжение: продкому, уездлесу и Трамоту, с донесением уисполкому о принятых мерах и ответить Равичу о сделанном исполнении». Клюев посылает письмо в Вытегорскую уездную продовольственную коллегию, где «на основании телеграфного распоряжения из центра о снабжении меня продовольствием» просит отпустить муку, соль, растительное масло, крупы, картофельную муку, соль, спички… И, наконец, из Вытегры в Петроград идёт телеграмма: «Обеспечению всем необходимым поэта Клюева меры приняты. Предсовдепа Беланин».

Когда Клюев писал Ионову о «недостойных людях», которые «пользуются комиссарским пайком» — он не обманывал и не преувеличивал. В Вытегре и во всей губернии, как, впрочем, и в стране в целом, творилось в это время что-то фантасмагорическое. Свидетельство тому — статья вытегорского журналиста Александра Богданова в «Звезде Вытегры» под красноречивым названием «Внутренний жандарм».

«Там проворовался член исполкома, там исчез коммунист с крупными деньгами, там чрезвычайные комиссии реквизируют направо и налево у перепуганных обывателей мебель, последние запасы хлеба.

Иногда такие реквизиции принимают анекдотический характер. Реквизируется без всяких оснований мелочь вроде

шёлковых перчаток, бутылки чернил, несколько пачек папирос и т. п. Всё это не что иное, как голос внутреннего жандарма.

Этот голос проявляется или невинно, в виде личных визитов товарищей в галифе с револьверами, или сопровождается насилиями, расстрелами.

Победить внутреннего жандарма, в волнах революции выстирать свою душу — вот наши неотложные задачи».

«Жандарм» сей был, что называется, «на своём месте». Коли «Вся власть — Советам!», значит — мне. А коли мне власть — что хочу, то и ворочу!

Богданов, словно ловя с губ клюевское слово, заклинает, как древний проповедник, своих земляков с газетного листа.

«Заблистали молнии революции. В Петроград прибыл первый социал-демократ — Голод. Под стон февральских мятежей, песни октябрьских дождей родилось „Пламя, всему миру — Назарет“…

Больше братского единения и обнажённости.

— Будем строить —

— Во имя Солнца!» («Звезда Вытегры», 13 августа).

«Братья-интеллигенты, не насилуйте душу народную. И так почти всё оплёвано.

Посмотрите на красные мечи Зари! Почернел старый мир, как червь на солнце.

Братья, слышите ли вы звоны Серафимовых крыл в громах русской революции…» (Звезда Вытегры. 31 августа).

Это буквальное воспроизведение стиля клюевской проповеди — его статей, которые поэт публикует в той же газете и которые он складывает в книгу «Огненное восхождение», посланную им в Петроград и пропавшую бесследно.

«Какую нужно веру, чтобы не проклясть всё и вся и петь „Огненное восхождение“ народа моего…» Он и пел в течение всего 1919 года, о котором скажет потом в «Погорельщине»: «Год девятнадцатый, недавний, но горше каторжных вериг…» А тогда — не вериги тянули вниз, но незримые крылья возносили к чаемому Солнцу — и статьи — нет, не статьи — стихотворения в прозе, и даже не они — слова в апостольском духе исходили из-под его пера при старой коптильне… И вещались на площадях и собраниях.

«Алое зеркальце», «Сдвинутый светильник», «Красные орлы», «Красный набат», «Газета из ала, пляска Иродиадина», «Сорок два гвоздя», «Порванный невод», «Огненная грамота», «Медвежья цифирь» — вот из чего складывалось «Огненное восхождение», словно икона «Спас в силах» писалась.

«Помню, мамушка-родитель лампадку зажигала: одиннадцать поклонов простых, а двенадцатый огненный, неугасимый. От

двенадцатого поклона воспламенялась громовая икона, девятый вал Житейского моря захлёстывал избу, гулом катился по подлавочью, всплёскивался о печной берег, и мягкий, свежительный, вселяя в душу вербный цвет, куличневый воскресный дух, замирал где-то на задворках, в коровьих, соломенных далях…

И Смерть-пастух с суковатым батогом в пятку ушла. Ступлю и главу её сокрушаю… Коммунист я, красный человек, запальщик, знамёнщик, пулемётные очи… Эй, годы — старые коровы! Выпотрошу вас, шкуры сдеру на сапоги со скрипом да с алыми закаблучьями! Щеголяйте, щёголи, разинцы, калязинцы, ленинцы жаркогрудые!..

Слушаю свою душу — степь половецкую, как она шумит ковыльным диким шумом. Стонет в ковылях златокольчужный витязь, унимает свою секирную рану; — только ключ рудный, кровавый неуёмен…

И за ветром свист сабли монгольской. Чисточетверговая свечечка Громовую икону позлащает. Мчится на огненном тарантасе, с крылатым бурным ямщиком в воздухах, Россия прямо в пламень неопалимый, в халколиван калёный, в сполохи, пожары и пыхи пренебесные…

Красные люди любят мою икону, глядятся в халколиванную глубь, как в зеркало. „Куличневый дух и в нашем знамени“, — говорят…» («Огненное восхищение»).

«Коммунары уходят на фронт.

Обнажайте головы!

Опалите хоть раз в жизни слезой восторга и гордости за Россию свои холопские зенки, вы — клеветники и шипуны на великую русскую революцию, на солнечное народное сердце!

Дети весенней грозы, наши прекрасные братья вступили в красный, смертный поединок.

Солнце приветствует их!..

Мы кланяемся им до праха дорожного и целуем родную, голгофскую землю там, где ступила нога коммунара!..» («Красные орлы»).

«Ключи от Врат жизни вручены русскому народу, который под игом татарским, под помещичьей плетью, под жандармским сапогом и под церковным духовным изнасилованием не угасил в своём сердце света тихого невечернего, — добра, красоты, самопожертвования и милосердия, смягчающего всякое зло. Только б распахнуть врата чертога украшенного в благоуханный красный сад, куда не входит смерть и дырявая бедность и где нет уже ничего проклятого, но над всем алая сень Дерева Жизни и справедливости…

Кто же собирается вокруг нечистого престола капитала?

Богачи и льстецы, хотящие стать богачами, падшие женщины, бесчестные пособники тайных пороков, шуты, сумасшедшие, развлекающие совесть своего владыки, и лжепророки, променявшие Христа на сатану, воскуряющие фимиам виселице и осеняющие распятием кровавую плаху…

Молодой воин, куда идёшь ты?

Я иду сражаться за бедных, за то, чтобы они не были больше навсегда лишены своей доли в общем наследии.

Я иду сражаться за то, чтобы изгнать голод из хижин, чтобы вернуть семьям изобилие, безопасность и радость.

Я иду сражаться за то, чтобы всем, кого угнетатели бросили в тюрьмы, вернуть воздух, которого недостаёт их груди, и свет, который ищут их глаза.

Да будет благословенно оружие твоё, молодой воин!» («Красный набат»).

Каждое слово жгло и вдохновляло слушающих. Клюев был для них своим, понятным — и в то же время виделся словно объятым неземным пламенем на многолюдных митингах.

«Было в нём что-то львиное, — вспоминал Григорий Ступин, — когда он на прощальном митинге, отправляя нас на Мурманский фронт в Петрозаводск, гремел на всю центральную площадь Вытегры и подходы к ней разных улиц, призывая нас, „своих детушек“ (а мы все были моложе его), защищать Мать-Революцию, Рабочую и Крестьянскую Родину от белого многоплеменного Змея-Чудовища»… Мужики, стоявшие рядом, заряжались его энергией и говорили промеж себя: «Густо говорит», «Сильно говорит», «Знать, и нам придётся защищать Мать-Революцию…», «Пойдём, лишь кликнут клич»…

Схожее впечатление осталось и у служащего Олонецкого губернского земства Александра Романского: «Выражался он очень образно, поэтому иногда его было трудно понять. Неожиданными были сравнения и сопоставления. Говорил размеренно, чётко, без запинок. Как сейчас вижу: стоит, одна рука приложена к сердцу, другая взметнулась вверх, сияющие, воспалённые глаза, и говорит иногда громко очень, иногда совсем тихо…

Никогда я ещё не видел и не слышал, чтобы говорили так горячо, чтобы оратор так сильно мог захватить слушателей. Все, затаив дыхание, слушали слова, которые лились красиво и свободно…»

В личном же общении Клюев совершенно менялся. Он был ласков, внимателен и заботлив с каждым собеседником — и держался при этом с истинным достоинством. Ни малейшей игры,

столь запомнившейся пристрастным современникам из бывшей столицы, земляки его не видели.

…Голод изматывал, борьба за жизнь не прекращалась ни на день. Гражданская война всё полыхала. А Клюев выступал, читал всё новые и старые произведения — и писал стихи, что складывались в его «евразийскую» книгу, которую он позже назовёт «Львиный хлеб».

Глава 19
«СЕГОДНЯ ВСКРЫТИЕ МОЩЕЙ…»

Не «керженский дух» веял по стране, и не «игуменский окрик» раздавался в речах новых властителей и с газетных «щелкопёрных» страниц. Слышался, скорее, глас «Великого инквизитора».

«Известия» от 4 ноября 1919 года. Заметка «У церковных стен».

«АНТИСЕМИТСКАЯ АГИТАЦИЯ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ В СОБОРЕ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО.

„Ящик“ — гробница имени Гавриила (Гавриила Белостокского. — *С. К.)* со следующей возмутительной надписью, послужившей в своё время материалом и для Виппера, обвинителя по делу Бейлиса: „Святе младенче Гаврииле Ты за прободенного нас ради от иудей от них же в ребра прободен был“ и т. д. (тропарь, глас 5), „Мученик Христов Гаврииле, идее же от истых зверей иудеев восхищен абже родителей лишен еси“ (кондак, глас 6)…

Собором заведуют священник Ковалевский и священник В. Кузнецов. Кузнецов, по его словам, уполномочен заведовать церковью комиссией охраны памятников старины.

Ковалевский, Кузнецов, сторожа собора супруги Мешковы арестованы».

За что? А получается — за «антисемитскую агитацию»…

А в это время в Вытегре разворачивается борьба двух революций — русской с именем Христа и антирусской, противоправославной — разворачивается как в жизни, так и на страницах одних и тех же газет.

Ещё 20 ноября 1918 года «Звезда Вытегры» поместила сообщение об одном из таких столкновений.

«В с. Андомский Погост недавно произошёл прискорбный случай избиения агитатора на религиозной почве.

Агитатор А. Мосягин в своих словах немного нетактично задел крестьян… К сожалению, крестьяне ещё до сих пор погрязают в вековых религиозных суевериях…

Их тёмный рассудок взбудоражили слова Мосягина…

Большим пособником избиения был и священник от. Смирнов.

На многолюдную толпу подействовали слова священника о том, чтобы постоять за „поруганную веру православную“.

И толпа постояла.

По делу избиения привлечены около 22 человек».

Через две с небольшим недели появилось извещение Вытегорской уездной ЧК с результатами «привлечения»: «По делу о контрреволюционном выступлении, происшедшем в Андомской волости, расстрелян священник Н. Смирнов как инициатор и главный соучастник этого мятежа». (Одновременно здесь же газета печатает призыв Иллариона Мгеладзе — будущего хорошего знакомого Есенина, известного под фамилией «Вардин»: «Деревню нужно очистить от кулацкой нечисти, калёным железом нужно выжечь эту язву».)

Проходит пять дней — и Александр Богданов печатает статью «О боге», где шарахается от пап к энциклопедистам, от Канта, Спинозы и Шопенгауэра к сверхчеловеку Ницше, от Льва Толстого и Максима Горького — к «богу апостола пшеничного рая Клюева».

«„Христианство — религия рабов“, — лениво процеживали сквозь зубы римские патриции. Но первые христиане были настоящими, подлинными христианами. В своих тёмных катакомбах они немного наивно, но искренно боготворили Христа.

Начиная с римских пап, византийских патриархов, патеров, ксендзов, наших русских попов Христос был украден у человека, был снова распят, подвергнут более тяжёлым мукам, чем на Голгофе».

Дескать — революцией снят с креста Христос. Только — тут невольно вспомнишь Есенина: «Опять его вои стегают плетьми и бьют головою о выступы тьмы…» Снова вступает в свои права сила — едва ли не более жестокая, нежели римская.

Статья «Вечерний звон», посвящённая снятию колоколов, завершалась на ударной ноте: «Вытегорский Исполком решил раз навсегда вычеркнуть из жизни этот пустозвон».

Вычеркнуть сразу не удалось. Нашлись трезвые головы среди коммунистов, — невозможно было не понять, что ещё большая часть народа (во время продолжающейся Гражданской войны!) отшатнётся от новой власти… А местная власть сама качалась, как на качелях. И своими судорожными действиями (как, впрочем, и центральная!) вносила ещё большую смуту в умы. И вот что выливалось на газетные страницы (историю с колокольным звоном оживлённо обсуждали крестьянки деревни Мегра): «Проходя мимо небольшой кучки собравшихся свободных кумушек, пришлось невольно остановиться, услышав разговор о местной власти. Одна из них громко призывала Бога покарать того, кто выдал записку местному попу о запрещении колокольного звона, другая же настойчиво уверяла, что Бог обязательно сведёт тому руки и повернёт ноги пятками наперёд.

„Я доподлинно узнала, что это сделали наши еретики-‘команисты“’. Другая, не менее крикливая ханжа-богомолка настойчиво предлагала отслужить молебен о здравии того, кто разрешил звонить, но, к сожалению, не знает, как его, благодетеля, звать…»

А 21 февраля 1919 года на заседании исполкома выносится следующее решение: «Принимая во внимание, что острота момента, вызвавшая со стороны Исполкома запрещение колокольного звона, миновала — отменить постановление от 3 декабря 1918 г. о запрещении колокольного звона. При этом довести до сведения всех граждан, что в случае злоупотребления колокольным звоном последний будет вновь запрещён, и виновные будут подвергнуты наказанию по всей строгости революционных законов».

«Бороться с вековыми предрассудками» и впрямь подчас рекомендовалось в формах «просветительских».

«У нас, как и во Франции, борьба с церковью ограничивается огульным, бездоказательным, необоснованным и поверхностным отрицанием святости церкви и её догматов. Они и не были разрушены, но лишь отодвинуты за поле зрения и обихода и продолжают там существовать, сохраняя своё обаяние, умело создавшееся на протяжении веков…

Мало ограничить сферу распространения заразы. Необходимо произвести полную дезинфекцию мозгов, расчистить почву, вырвать с корнем плевелы суеверия…

Взамен упразднённого Закона Божия следовало бы ввести в школах или на вольных периодических курсах ознакомление с изысканиями серьёзных учёных в области истории религий, исследований древнего востока и т. д…

Крест, напоминающий ныне лишь о позорной казни, ставший символом смирения и самоуничижения, будет оправдан и вырван из цепких поповских лап. Он вновь обретёт своё первоначальное благородное отображение символа жизни и расцвета её во всех своих видоизменениях, от египетского с кольцеобразною рукояткою, греческого равностороннего, индусской свастики к мальтийскому с лучами пламени.

Лишь в свете знания религия перестанет быть опиумом народов» (Звезда Вытегры. 15 февраля 1919 года).

Но «дезинфекцию мозгов» и «расчистку почвы» проводили не только методами «просвещения». Точнее — и ими тоже. В своеобразной интерпретации. Это была лютая трёхлетняя кампания, начавшаяся в 1918-м.

Одиннадцатого апреля в Троице-Сергиевой лавре происходит вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского под стрёкот

кинокамеры Дениса Кауфмана (Дзиги Вертова). Периферия, опять же, не отставала.

В «Звезде Вытегры» уже в феврале печатаются письма священников с их отречениями от сана и извещение о вскрытии мощей святого Александра Свирского. «Колокольный звон… Всем он набил оскомину…» — злорадствует корреспондент и задаётся вопросом: «Годен ли идти святой в ряды Красной армии… Оказалось, что нет. Состоял святой из черепа, воскового туловища и ваты. Было немного стружек…»

Трудно подыскать что-либо столь же противное, неприемлемое для Клюева ни по уму, ни по душе, как это кощунство. Ангельские слова находил он для святого, столь почитаемого им — в пику газетному скрипу, что железом по стеклу. Он говорил, а Николай Архипов записывал: «Есть подземный пчельник с земляным пасечным дедом. Там чёрные (антрацитовые) улья и чёрный мёд в них — мёд души народной. Серебряные пчёлы множат тяжкий мёд… Блюдут подземные пасеки посвящённые от народа: Александр Свирский, Лазарь Муромский, их же сонм не перечислишь. Тьмы серафимов над печью, Агнец-коврига — поющие знаки вечности, за ними же следует Лев, Ангел, Телец и Орёл.

Лев — страж умный, Орёл — очи мысленные, Ангел — сердце слёзное, Телец — плоть. Для плоти же Тельца — хлев — формы земные: изба, гумно, посев, лён и одежда. Огонь же не разгадан и ангелами — он от уста Агнца. От огня — Роза поцелуя. Рождество поцелуя празднуется, как некогда рождество слова во плоти (слово стало плотию).

Подземные пасечники это знают».

Сложным ассоциативным путём шёл в этих размышлениях Клюев от поучительного слова Андрея Денисова «Сотове медовнии, словеса добра, сладость же их — исцеление души». И этого животворного огня Клюев не видит в храмах новообрядческих, в храмах «тихоновских». Он, по-прежнему уповающий на «керженский дух», на воскрешение в революционном огне «мучеников, убогих, кандальников вековечных», словно восприявший Слово Иоанна Патмосского, что слышал глас Господень: «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звёзд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой и терпение твоё, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни,

откуда ты ниспал, покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься».

«Сдвинутый светильник» — так и назвал поэт слово своё о новой «голштинской» церкви. «Уже от входных врат сердце засолонело», ибо «железные они» — «как в каторжных царских острогах», паперть «замызгана», «стены — извёстка мёртвая», иконы — «не по чину расположены», да и сами лики «машкарой выглядят, прокажёнными какими-то, настолько они подновлены». И — горечь от увиденного сродни Аввакумовой: «Какое там молитвенное откровение! Подавай нам афишу, чтобы за версту пёрла, мол, у нас для вас — в самый раз. Забыла Голштиния, что ведь было когда-то иконоборчество. Люди за обаяние иконой на костры шли, на львиные зубы. Из каких же побуждений райский воздух древних икон церковь суриком замазывает? — Утрачено чувство иконы — величайшего церковного догмата. И явилась потребность в афише, т. е. в том, чем больше всего смердит диавол капитал, бездушная машинная цивилизация».

Ни веры, ни жизни не видит Николай в храме, пред входом в который «младенца возбуждал» в себе. И как Андрей Денисов видоизменял слова Иоанна Златоуста, вещавшего: «Церковь Божия *не только* стены и покров, но вера и жизнь», так же и Клюев отказывает всей новообрядческой церкви в подлинной вере, более того, обвиняет её, гонимую и казнимую, в новом убийстве Христа, *поминая анафему патриарха Тихона…* И обвиняет словами, исполненными истинной поэзии и подлинного религиозного чувства, перекликаясь уже не с автором «Поморских ответов», а с самим огнепальным протопопом, у которого «суетно кадило и мерзко приношение» в новой церкви, а Спас на иконах «яко немчин брюхат и толст учинён… А то всё писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя…»

И слово Николая напоминает древние плачи: «Увы! Увы! Облетело золотое церковное древо, развеяли чёрные вихри травчатое, червонное узорочье, засохло ветвие благодати, красоты и серафических неисповедимых трепетов! Пришёл Железный ангел и сдвинул светильник церкви с места его…

Воистину мена Христа на разбойника Варавву!

Обезъязычела Церковь от ярости, от скрежета зубного на Фаворский свет, на веянье хлада тонка, на краснейший виноград красоты и правды народной.

А где скрежет зубный, — там и ад непробудный. Там и мощи засмердят, и Александры Свирские с Митрофаниями Воронежскими в бабьи чулки да душегрейки разрядятся…

От крови Авеля до кровинки зарезанного белогвардейцами в городе Олонце ребёнка взыщется с Церкви.

Кровь русского народа на воздухах церковных.

И никакая англо-американская кислота не вытравит сей крестной крови с омофоров церковных генералов…

„Приду и сдвину светильник твой с места его…“ Это не я говорю, а в Откровении прописано, — глава вторая, стих же пятый побеждающий».

Кажется, ничего святого не осталось… Поэт, восставший против Тихоновой церкви, восстаёт одновременно против большевистского кощунства вскрытия мощей — и пишет «Самоцветную кровь». Её он опубликует не в вытегорской печати, не на родине, а в Петрограде, в «Записках передвижного общедоступного театра», может быть, в единственном месте, где это слово могли принять.

«Народ, умея чтить своего гения, — пишет Клюев, — поклоняясь даже кусочку трости, некогда принадлежащей этому гению, никогда понятие о мощах не связывал и не связывает с представлениями о них как о трёх или четырёх пудах человеческого мяса, не сгнившего в могиле. Дело не в мясе, а в той весточке „оттуда“, из-за порога могилы, которой мучились Толстой и Мечников, Менделеев и Скрябин, и которой ищет, ждёт и — я знаю — дождётся русский народ. Какую же нечуткость проявляют те люди, которые разворачивают гробницы с останками просто великих людей в народе! (Позднейшие злоупотребления казённой, никонианской Церкви в этой области отвергнуты всенародной совестью, а потому никого ни в чём не убеждали и убеждать не могут.) Народ хорошо осведомлён о том, что „мощь“ человека выявлена в настоящий век особенно резко и губительно. Лучи радия и чудовище-пушка, подъёмный кран и говорящая машина — всё это лишь мощь, уплотнённая в один какой-либо вид, ставшая определённой вещью и занявшая определённое место в предметном мире, но без возможности чуда множественности и сознательной жизни, без „купины“, как, определяя такое состояние, говорят наши хлысты-бельцы. Вот почему в роде человеческом не бывало и не будет случая, чтобы чьи-нибудь руки возложили воздухи на пушечное рыло или затеплили медовую свечечку перед гигантским, поражающим видимой мощью, подъёмным краном…»

Читаешь эти строки — и невольно думаешь о том, с какой лёгкостью нынешние священники осеняют крестным знамением и кропят святой водой «мощь уплотнённую» — от военных кораблей и подводных лодок до «мерседесов» и внедорожников современных буржуа… Не о них ли Клюев писал девять

десятилетий тому назад: «…В неприступных палатах, что по-аглински банками зовутся, гремит Золотой Змий, пирует царь Ирод-капитал и с ним князи и старшины, и тысячники, беззаконии студодейцы и осквернители и блазнители нечестивыи…»

Но с «Иродиады студодейной», «Иродиады бескостной» нечего и взять. Страшно думать о том, слагая сердечные гимны новой власти, что те самые товарищи, которые казались братьями во Христе, совершают — по незнанию, по злобе ли — дьявольское кощунство над мощами святых, видя в них лишь «восковое туловище… вату… и немного стружек»… И пытается Клюев объяснить смысл происходящего, вразумить своих соотечественников, допускающих варварство и участвующих в нём: «…Память совершается, не осыпается краснейший виноград, благословенное тело гробницы, хотя бы в ней обретались лишь стружки, гвозди, воск и пелены. Стружки с гвоздями как знак труда и страстей Христовых; воск как обозначение чистоты плоти и покрывала как символ тайны. Из алкания, подобного сему, спадает плод и из уст русских революционеров:

Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придёт».

Он вспоминает народовольческий гимн — словно возвращает нынешних революционеров памятью к их предшественникам, надеясь, что не из уважения к церкви — из благоговения перед мученическими судьбами народников остановятся разрушители. Он взывает к их народолюбию — ради чего же они творили революцию, как не ради блага народа — по их словам?! Он заклинает их речью о народной красоте, что, поруганная, не останется неотмщённой.

«Направляя жало пулемёта на жар-птицу, объявляя её подлежащей уничтожению, следует призадуматься над отысканием пути к созданию такого искусства, которое могло бы утолить художественный голод дремучей, черносошной России… А пока жар-птица трепещет и бьётся смертно, обливаясь самоцветной кровью, под стальным глазом пулемёта. Но для посвящённого от народа известно, что Птица-Красота — родная дочь древней Тайны, и что переживаемый русским народом настоящий Железный Час — суть последний стёг чародейной иглы в перстах Скорбящей Матери, сшивающей шапку-невидимку, Покрывало Глубины, да сокрыто будет им сердце народное до новых времён и сроков, как некогда сокрыт был Град-Китеж землёй, воздухами и водами озера Светлояра».

В этих строчках трудно было не ощутить внимательному читателю подспудную угрозу, ибо известно: «новые времена и сроки», которые совлекают Покрывало Глубины с заветного клада, — есть последние времена для жизни, этот клад схоронившей… Не об этом, скорее всего, думали те, кто скоропостижно откликнулся на «Самоцветную кровь», снабжённую Клюевым подзаголовком «Из Золотого Письма Братьям-Коммунистам». Ощетинились «Братья-Коммунисты», интуитивно почуяв «анчарный яд» в «стволе» клюевского слова супротив вскрытия мощей.

«…С этой ставкой на корявую бабёнку можно очень далеко уйти — назад», — вещал анонимный рецензент в «Вестнике театра». Более содержательным был отклик В. Блюма, который через несколько лет объявит о том, что «пора убирать исторический мусор с площадей», подразумевая под «мусором», в частности, памятник «Тысячелетие России» в Новгороде и памятник «гражданину Минину и князю Пожарскому» в Москве… А тогда в «Вечерних известиях», укрывшись псевдонимом «Тис», он писал со смешанным чувством страха, отвращения и ненависти: «Хлыстовский „революционер“, нашедший в прошлом году в т. Ленине какой-то керженский дух, исследует „наперекор точнейшим естественным наукам“ то, что „маковым цветом искрится внутри у каждой рязанской и олонецкой бабы“». И если для поэта мощи — это «тайная культура народа», то для рецензента — «пережиток грубейшего фетишизма»…

В общей сложности в 1918–1920 годах было вскрыто 65 рак с мощами святых в четырнадцати губерниях России. Через десять лет в поэме «Каин» Клюев воплотит весь ужас свершившегося, созерцая кощунство глазами «детины с угольком в зубах и с леворвертом на поясе», но уже не отделяя от него и себя — словно провоцировавшего тогда совершаемое на его глазах в 1929-м разрушение храмов своим поэтичнейшим словом о «сдвинутом светильнике».

…Сегодня вскрытие мощей.
Любил могильные фиалки
Подростком собирать в картуз, —
Теперь на сон пустой и жалкий
Я улыбаюсь в карий ус.
Иду с товарищем-наганом
На тайну смерти и гробов,
В ладью луны за океаном
Невозвратимых парусов.
Луна — любовница светилам,

Но в юно-палевый восход
Тоска старинная по жилам
Змеёй холодною ползёт.
……
Запахло тлеющим арбузом,
И нос чихал от едкой моли…
Мы написали в протоколе:
«В такой-то год, в такой-то день
Нашли в гробнице сохлый пень,
Мироточивую колоду…»
На паперти же по народу,
Как в улье гуд, росла молва,
Что Иоаннова глава
Зардела… Ну, конечно, вапой.
Мне кот услужливою лапой
Помог бумагу подписать,
Хвостом же приложил печать.

Для Николая сбережение святых мощей, сохранение сокровищ древностей и сектантских архивов — единое подвижническое действие. Он увещевал и своих земляков на встречах, где произносил огненные речи «по текущему моменту», и делегатов уездного учительского съезда, произнеся «Слово о ценностях народного искусства». То, чем он раньше делился с Блоком и Есениным, то теперь пытался сделать достоянием провинциальных учителей.

«Думают, подозревают ли олончане о той великой, носящей в себе элементы вечности, культуре, среди которой они живут?

Знают ли, что наш своеобразный бытовой орнамент: все эти коньки на крышах, голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон — символы, простые, но изначально глубокие, понимания олонецким мужиком мироздания?..

Как жалки и бессодержательны все наши спектакли-танцульки перед испокон идущей в народе „внешкольной работой“, великим, всенародным, наиболее богатым эмоциями, коллективным театральным действом, где каждый зритель — актёр, действом „почитания мощей“.

Искусство, не понятое ещё миром, но уже открытое искусство, и в иконописи, древней русской иконописи, которой так богат Олонецкий край…

Надо быть повнимательней ко всем этим ценностям, и тогда станет ясным, что в Советской Руси, где правда должна стать фактом жизни, должны признать великое значение культуры,

порождённой тягой к небу, отвращением к лжи и мещанству, должны признать её связь с культурой Советов.

Учительство должно оценить этот источник внутреннего света по достоинству, научить пользоваться им подрастающее поколение, чтоб спасти деревню от грозящей ей волны карточной вакханалии, фабрично-заводской забубённости и хулиганства…»

Почти век прошёл, как были написаны и произнесены эти слова — а словно сегодня сказаны, и вновь надо возвращаться к тому, с чего когда-то пытались начать мудрецы, которых не пожелали понять тогда, не желают слышать и теперь.

И ещё одно: удивительным образом смысл и тональность клюевского «Слова о ценностях народного искусства» перекликаются со словом, что было опубликовано в 1965 году в «Молодой гвардии» под названием «Берегите святыню нашу!» за подписями трёх гениев, что тесно общались в своё время с Николаем — за подписями Сергея Конёнкова, Павла Корина, Леонида Леонова:

«Ни для кого не секрет, что на Севере разбираются на дрова, летят в топки пароходов, полыхают яркими кострами на лесосеках маленькие деревянные шедевры, создания безымянных предков, самородных русских зодчих. Гибель этих творений человеческого гения проходит в тишине, как явление вполне законное и закономерное… Нам стыдно и горько доказывать взрослым людям такие истины, но приходится говорить о том, что древние камни и знаменитые могилы (куда добирается небрежная рука осквернителя, добирается и даже шарит по костям, которые принадлежат векам, ради работ сомнительного научного значения), что эти камни и могилы — часть нашей истории, часть нашего собственного бытия. Горько и стыдно убеждать в очевидной истине, которую должно со школьной скамьи прививать человеку, доказывать, что эти обветшалые строения, отдаваемые на милость непогоды и хулиганства, святыни…»

С этого слова трёх русских титанов слова, резца и кисти и началось Всероссийское добровольное общество охраны памятников истории и культуры, на одном из первых заседаний которого старейший русский писатель и краевед, дворянин, прошедший лагеря и ссылки, Олег Васильевич Волков поинтересовался: «А не отправят ли, господа, нас за это на Соловки?» Горький жизненный опыт сказался в самом вопросе.

…А тогда Клюев, убеждённый в том, что христианские заповеди органически сочетаются с принципами коммунизма, надеялся, что его слово дойдёт и до земляков, и до власть имущих.

Но вскоре Николаю дали понять, что его понимание фундаментальных основ духовного перестроения государства и народа кардинально расходится с пониманием большинства «на заставах команду имеющих».

Глава 20
«ОБРЕТЕНИЕ ВОСТОКА»

Вытегоры вспоминали, что Клюев собирал толпы на своих выступлениях — будь это концерт или митинг. На него «народ валил валом», и, конечно, каждая его речь, будь это городская площадь или собрание в небольшом зальчике, тут же эхом отзывалась по всему городу.

— Истина победила! Вера и мысль освобождают порабощённых! Да здравствует Революция!

Кто только из ораторов не произносил тогда подобных слов… Но клюевское выступление на новогоднем собрании коммунистов в начале 1920 года воспринималось по-особому. Потому что — Клюев!

«Битком набит зал; пламенные речи ораторов, неизменно заканчивавшиеся революционными гимнами в исполнении духового оркестра, внимание аудитории и жуткие картины расправ обнаглевшей версальской буржуазной своры над безоружной 30-тысячной толпой коммунаров, их жён и детей — всё это создавало поистине трогательную картину отдачи вытегорами должной дани трагическому эпизоду из борьбы французского рабочего с господствующим классом… Митинг закончился вдохновенным словом поэта Н. А. Клюева о Коммуне».

Так «Звезда Вытегры» сообщала в середине марта о праздновании «Дня Парижской коммуны»… И проходит лишь несколько дней — та же газета извещает уже о другом собрании — об уездной конференции вытегорских коммунистов, ни один из которых, разумеется, не мог пройти мимо этого знаменательного события. Слишком ответственный вопрос стоял в повестке дня — «Об оставлении поэта Клюева в партии».

Со всей остротой он встал именно после публикации «Слова о ценностях народного искусства». А тут ещё как нельзя более «вовремя» та же «Звезда Вытегры» опубликовала стихотворное посвящение горячей клюевской поклонницы ещё с предреволюционных лет Зои Бухаровой, обращённое не только к любимому поэту, но и к «слепым на правый глаз свой», как назвал Клюев современников в «Огненной грамоте».

Вместить ли Слово тайны древней
Опустошённою душой?!
О, сын земли, о, сын деревни —
За нас ли крест подъемлешь свой?..

Ты, как Давид, прозреньем светел,
Как Русь — в распятьи терпелив,
Но воскресеньем кто ответил
На благодатный твой призыв?

…В конечном счёте на этом собрании в миниатюре разыгрался эпизод уже валом катившейся по России борьбы между революцией русской и православной и революцией антирусской и атеистической — при том, что сплошь и рядом по разные стороны этих незримых баррикад находились русские люди.

«…Тов. Кривоносов сообщает конференции, что при последней перерегистрации членов партии возник вопрос о религиозности члена партии т. Клюева, а именно было заявлено, что т. Клюев человек религиозный, бывает в церкви, прикладывается к иконам…»

Понятно, что без доноса не обошлось. И не так уж важно сейчас — кто первым дал понять, что поэту, верующему в Бога, не место в партии. «Т. Кривоносов оглашает циркулярное письмо Губкома от 2 марта о непринятии в партию религиозных людей»… Дело уже касалось не только персонально Клюева, который получил приглашение на конференцию за три часа до собрания. Единственно, чем мог ответить поэт — огласить своё слово «Лицо коммуниста», написанное одновременно с «Самоцветной кровью» для так и не изданной книги «Золотое письмо к братьям-коммунистам».

К сожалению, текст этого выступления нам известен лишь в газетном пересказе, впрочем, по-своему красочном.

«С присущей ему образностью и силой оратор выявил цельный благородный тип идеального коммунара, в котором воплощаются все лучшие заветы гуманности и общечеловечности.

Любовь как брак с жизнью, мужественные поступки, смелость мысли, ясность взора, бодрая жизнерадостность — таков лик коммуниста, сближающий его отчасти с мучениками и героями великих религий на заре их основания.

С другой стороны, в отличие от фанатиков религии коммунар более смотрит на землю, чем на небеса, борется с житейской грязью, подхалимством и лицемерием.

При таких свойствах творческая работа коммунистов не останется втуне, и поэт, предчувствуя грядущее в мир царство свободы, где нет ни рабов, ни меча, ни позорных столбов, доказал собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными

чувствованиями, ибо слишком много точек соприкосновения в учении коммуны с народной верою в торжество лучших начал человеческой души…»

В ответ собравшиеся товарищи заявили, что произнесённое слово «не может служить ответом» по существу вопроса о религиозных убеждениях Клюева, и поэт должен более определённо ответить на поставленный перед ним вопрос.

Клюев не собирался ничего скрывать. Его религия — особенная. Он не православный (имел в виду новоправославие), не католик, не магометанин. В церковь он ходит как исследователь-поэт. Но какова особенность его религии… Всё им было написано и представлено духовно слепым его судьям: и «Красный конь», и «Огненное восхищение», и «Сорок два гвоздя» — слово о «Христовой плоти — плоти народной, все-русской, всечеловеческой». На вопрос: «Верит ли он в загробную жизнь и в сверхъестественное?» — ответил, что согласен со всей программой партии, а дальнейшее разъяснение своей веры считает равносильным публичному раздеванию… Спокойствие, убеждённость в своей правоте и красочная самоцветная речь произвели неизгладимое впечатление на собравшихся, и судьи сбавили тон. В их собственных последующих репликах слышна была неуверенность, ощутимы были колебание и неустойчивость. «Тов. Гершанович Д., находя, что тов. Клюев крупный всероссийский поэт, что в поднятом вопросе столкнулись две идеологии — мистическая и материалистическая, что решение вопроса имеет принципиальное значение, что тов. Клюев при своей религиозности всё-таки полезен партии, полагает необходимым перенести вопрос об утверждении тов. Клюева на обсуждение высшей партийной организации.

Тов. Кривоносов полагает, что т. Клюев достаточно объяснил свои религиозные убеждения, которые имеют совершенно особый характер, его религия — религия особая, это может быть вера в грядущее царство социализма, свободы и т. д., но не вера в предрассудки… (тут грозный товарищ уже волей-неволей стал подыгрывать Клюеву! — *С. К.)* …Т. Кривоносов делает вывод, что тов. Клюев может быть членом партии и вопрос об утверждении его членом партии следует поставить на голосование…»

Голосованием (25 голосов против 12) кандидатура Клюева в партии была утверждена. При этом сам он заявил, «что в церковь он может и не ходить».

Корреспондент газеты счёл необходимым подчеркнуть, что клюевский доклад «был заслушан в жуткой тишине и произвёл глубокое потрясающее впечатление», что «конференция, поражённая доводами Клюева, ослепительным красным светом,

брызжущим из каждого слова поэта, братски высказалась за ценность поэта для партии», — и в конце уже явно сравнил Клюева с Яном Гусом, а конференцию — с Констанцским собором: «Наш родной поэт, песнослав коммуны и светлый брат трудящихся, несмотря на Констанцский собор, так обидно над ним учинённый, не покинул своих красных братьев. Иначе и быть не могло»…

Но совершенно иначе расценил происшедшее всё тот же «главный вопрошающий», председатель уездной партконференции т. Кривоносов. «Автор (заметки „Поэт и коммунизм“. — *С. К.)* между прочим пишет, что т. Клюев доказал собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными чувствами. Тов. Клюев не доказал, — ибо и не доказывал. В своём докладе он лишь указывал, что коммунист должен с уважением относиться к религиозным настроениям других, понимая под „религиозными настроениями“ не веру в Бога, как его обычно понимают, не веру в загробную жизнь и какие-то сверхъестественные силы, а вкладывая в это слово совершенно иной смысл.

Скажу больше, не поэт „доказал“ собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными настроениями, а собрание доказало поэту, что коммунисту не пристало ходить в церковь, молиться и прикладываться к иконам…»

Обсуждение же происшедшего «высшей партийной организацией» через несколько месяцев закончилось, в общем-то, ожидаемо. Постановлением губкома РКП от 28 апреля Клюев был исключён из партии, «так как религиозные убеждения его находятся в полном противоречии с материалистической идеологией партии и её задачами в деле борьбы за освобождение рабочего класса».

Редакция петрозаводской «Олонецкой коммуны», приведя это сообщение, сочла необходимым снабдить его следующим примечанием: «Н. А. Клюев, известный поэт; при всём своём сочувствии коммунизму Клюев является христианином-мистиком и ретиво выполняет все обряды православной церкви».

Толки, ходившие про Клюева в «обывательской среде» и не только в ней, докатились и до наших времён. Бывший чекист Н. Пелевин уже в конце 1950-х годов рассказывал ленинградскому литературоведу Л. Когану, что Клюев, «елейный и подхалимистый», «собирал всяческими способами иконы, особенно старые, и, как потом выяснилось, торговал ими. Его, конечно, вскоре исключили из партии». То, что Клюев собирал старые иконы, сам реставрировал их, спасая «ценности народного искусства», знали многие вытегоры. Но ни о какой «торговле» речи не было — ценнейшие творения иконописи Николай станет

предлагать на продажу своим близким друзьям и знакомым, испытывая тяжелейшие материальные лишения, уже будучи фактически выброшенным из литературы, когда редкие публикации не давали средств, необходимых для жизни.

«Судилище», предшествовавшее исключению из партии, сам Клюев воспринял скорее не как «Констанцский собор», а как полемику новообрядческого монаха Неофита с насельниками выговской староверческой общины и с их духовным главой Андреем Денисовым. Не из партии его исключили — новый мир отторг его от себя.

Но так ли чужд был по сути этот новый мир христианским заповедям? Ответ на этот вопрос дал через несколько лет митрополит Сергий (Страгородский) в послании к созыву Поместного собора Православной церкви.

«Что этот строй не только не противен христианству, но и желателен для него более всякого другого, это показывают первые шаги христианства в мире, когда оно, может быть, ещё не ясно представляя себе своего мирового масштаба, на практике не встречая необходимости в каких-либо компромиссах, применяло свои принципы к устройству внешней жизни первой христианской общины в Иерусалиме: тогда никто ничего не считал своим, а всё было у всех общее (Деян. IV, 32)… Борьба с коммунизмом и защита собственности нашими церковными деятелями и писателями в прежнее, дореволюционное время, по моему мнению, объясняется причинами для церкви внешними и случайными… Очень многие писали и говорили против коммунизма просто по привычке к своей, так сказать, государственности, по привычке на всё смотреть больше с государственной, чем с церковной точки зрения…

Я убеждён, что Православная наша церковь своими „уставными чтениями“ из отцов церкви, где собственность подчас называлась, не обинуясь, кражей, своими прологами, житиями святых, содержанием своих богослужебных текстов, наконец, „духовными стихами“, которые распевались около храмов нищими и составляли народный пересказ этого церковнокнижного учения, всем этим церковь в значительной степени участвовала в выработке… антибуржуазного идеала, свойственного русскому народу. Допустим, что церковное учение падало уже на готовую почву или что русская, по-западному некультурная, душа уже и сама по себе склонна была к такому идеалу и только выбирала из церковной проповеди наиболее себе сродное, конгениальное… Вот почему и утверждаю, что примириться с коммунизмом как учением только экономическим (совершенно отметая его религиозное учение) для Православной

нашей церкви значило бы только возвратиться к своему забытому прошлому, забытому официально, но всё ещё живому и в подлинно церковной книжности, и в глубине сознания православно-верующего народа. Примириться с коммунизмом государственным, прибавим в заключение, для церкви тем легче, что он, отрицая (практически лишь в известных пределах, хотя это и временно) частную собственность, не только оставляет собственность государственную или общенародную, но и карает всякое недозволенное пользование тем, что лично мне не принадлежит. Заповедь „не укради“ остаётся основным положением и советского уголовного кодекса. Христианство же заинтересовано не тем, чтобы обеспечить христианину право на владение его собственностью, а тем, чтобы предостеречь его от покушений на чужую собственность…»

Эта проповедь нестяжательства, тем более актуальная и по сей день, не могла не быть близка Клюеву, который ещё в первый год революции услышал «Нила Сорского глас», отрицающий и мир, построенный на неправедно нажитом, и то «религиозное учение» мира нового, что оправдывает кощунства над святынями.

А ведь с самого начала революции проповедь нестяжательства шла с кощунством рука об руку. И разрешить эту дилемму не представлялось возможным.

* * *

Первого марта 1920 года, ещё до конференции вытегорских коммунистов, губернский отдел народного образования вынес следующее решение: «Признать желательным издание в 3000 экземпляров избранных сочинений Н. Клюева в размере до 60 страниц для распространения среди школ губернии. Поручить т. Леонтьеву составить смету и выяснить возможность для печатания книги в Петрозаводске. По получению сметы направить её в Наркомпрос для утверждения».

И по губернским школам пошла книга уже беспартийного поэта — «Неувядаемый цвет» (название было взято из «Истории Выговской пустыни» Ивана Филиппова). В состав её вошли старые стихи — цикл «Песни из Заонежья» и «маленькие» эпические поэмы, также созданные ещё до революции.

Новая же книга «Львиный хлеб», включившая стихотворения, созданные в последние два года и сложившаяся к концу 1921-го — гениальный прорыв в будущее: провидение судеб России, определение магистрального пути её грядущего развития.

В процессе её создания открывался совершенно новый способ

творческого мышления, рождался новый творческий метод, недоступный другим художникам слова ни тогда, ни тем более в настоящее время. Клюев открывал возможность движения внутри самого слова — именно внутреннего движения слова посредством «образо-созвучия», что позволило раскрыть внутри слова движение смыслов. И лишь горькая улыбка могла промелькнуть на его губах, когда он читал в «Известиях» характеристику своей поэзии, как «мало ценной», потому что поэт якобы «в неизмеримо большей степени является певцом былой статики, чем поступательной динамики мирового размаха». Ответ на подобную инвективу мог быть лишь один: «Невнятно „Известиям“ дымкой овинной повитое Слово, как сфинкса лицо»… «Россия — Сфинкс» — вспоминается Блок. Но у Клюева сама грядущая Россия, смотрящая сфинксом в лица современников и потомков из его строк, отождествляется со Словом поэта.

«Львиный хлеб — это, в конце концов — судьба Запада и Востока.

Россия примет Восток, потому что она сама Восток, но не будет уже для Европы щитом.

Вот это обретение родиной-Русью своей изначальной родины — Востока и есть Львиный хлеб».

Так объяснял Клюев смысл словосочетания, положенного в название новой книги, Николаю Архипову.

Очевидная отсылка к блоковским «Скифам» становится не столь очевидной, если мы обратимся к стихам 1919–1921 годов, где символический «Восток» будет складываться из многих смысловых наслоений.

Клюев всё более и более осознавал свою творческую сверхзадачу как преодоление пропасти, разверзшейся в XVII столетии и всё углубляющейся и увеличивающейся из века в век…

Революция подарила надежду на преодоление раскола, но с каждым днём эту же надежду губила, ибо во всей повседневности, в каждом прожитом часе ощущалось и осмысливалось наступление железной западной пяты, губящей естество и красоту русской жизни.

«Дом, разделившийся в себе, не устоит…» Дом раскалывался изнутри, и соединять рушащиеся стены приходилось железной скрепой, не щадящей ни людей, ни цветов, ни рощ.

Лев — символ воскрешения Христа. Львиный хлеб — тело Христово, знак Святого причастия. Он же — символ мучеников-христиан, бросаемых на арену на съедение львам под восторженные крики римской черни.

Вспыхнет сердце — костёр привратный,
Озаряя Терновый лик…
Римский век багряно-булатный
Гладиаторский множит крик.
……
Нет иглы для низки и нити
Победительных чистых риз…
О, распните меня, распните,
Как Петра, головою вниз!

«Головою вниз» распять себя испрашивал апостол Пётр, ибо знал, что недостоин распинаться, как его Учитель, — трижды отрёкся он от Христа во дворце Каиафы, слыша вокруг себя крики — «И ты был с Ним»… И свою вину — пусть невольную — не может избыть Клюев, благословлявший революцию как возрождение Святой Руси, воплотившейся в огненном лике и Христовых ранах — и обернувшейся «железной пятой»…

«Неославянофильской книгой» назовёт через много лет «Львиный хлеб» Борис Филиппов. Точнее было бы назвать эту книгу «евразийской», но и это определение не исчерпает её смысла. Кажется на первый взгляд, что соединение России и Востока, России и Африки, России и Запада (даже!) в ней созвучно самой идее мировой революции — пусть в клюевском «духовном» восприятии. «От Бухар до лопского чума полыхает кумачный май…»; «Там, Бомбеем и Ладогой веющий, притаился мамин платок…»; «Прозвенеть тальянкой в Сиаме, подивить трепаком Каир, в расписном бизоньем вигваме новоладожский править пир…»; «И стихом в родном самоваре закипает озеро Чад…» Подобные строки можно приводить до бесконечности. Но они мало что объяснят вне контекста движущихся клюевских смыслов. А смыслы эти раскрываются одновременно с раскрытием прошлых эпох Вечной Руси («Как и при Рюрике, ныне много полюдных дорог: в Индию, в сказку, в ковригу (горестен гусельный кус!), помнит татарское иго в красном углу Деисус»), обращённой в будущее.

Это идеальное начертание грядущей земной гармонии скорректировал в «Философии общего дела» Николай Фёдоров: «Магометанский Восток, окружённый со всех сторон христианами, вступая в храм, оставит оружие; и дальний Восток, освобождённый от антихристианского давления, вступит в единение с принявшими на себя долг воскрешения, и вместо нирваны разделит с ними этот долг. Тогда можно будет сказать, что литургия оглашенных уже кончилась, оглашенные сделались

верными, третья часть литургии, литургия верных, начинается, т. е. наступает третий день воскрешения. Необходимо заметить, что и об отношениях всех народов к друг другу вообще, и о наших отношениях ко всем другим народам в особенности, можно также сказать, что причины, нас разделяющие, мелки и ничтожны, причины же, которые должны вести к нашему соединению, велики и глубоки…»

И кажется поначалу, что Клюев, прозревая грядущее, вторит этим заветным словам своего любимого философа:

Выстроит Садко Избу соборную,
Подружит Верхарна с Кривополеновой
И обрядит Ливерпуль, Каабу узорную
В каргопольскую рубаху с пряжкой эбеновой!

Лишне говорить, что не в наряде суть. В соответствии наряда и нутра. Но то, что происходит у Клюева, помещается далеко за рамками обычного земного восприятия.

Чу! За божницею рыкают львы,
В старой бадье разыгрались киты…
Ждите обвала — утёсной молвы,
Каменных песен из бездн красоты!

То, что сохранила в человеческой памяти древняя мифология, оживает на наших глазах — и львы библейские, и киты, что держали веками землю на своих спинах. Что до «утёсной молвы», то она лишь предвестие всесветного переворота.

Ибо нет душевного покоя, растворения в красоте земной — в железной современности, ломающей души, истребляющей жизни. Ибо свершается то, о чём два с половиной столетия назад говорили и писали несгибаемые староверы.

«А о последнем антихристе не блазнитеся, — ещё он, последний чорт, не бывал: нынешния бояре ево комнатныя, ближняя дружья, возятся, яко беси, путь ему подстилают, и имя Христово выгоняют. Да как вычистят везде, так Илия и Енох, обличители, прежде будут, потом аньтихрист во своё ему время. А тайна уже давно делается беззаконная, да как распухнет, так и треснет. Ещё после никониян чаем поправления о Христе Исусе, Господе нашем» (Протопоп Аввакум. «Послание братии на всем лице земном»).

Мнится наступление нового никонианства, «железный неугомон» разрывает слух, и сами по себе встают неумолимые

вопросы: «Не заморскую ль нечисть в баньке отмывает тишайший царь? Не сжигают ли Аввакума под вороний несметный грай?..» Нет, тайна беззакония свершается далее и по-новому — никонианство отвергается вместе со староверием, «штурм небес» набирает силу, и вскрытие мощей — свидетельство тому… «От Бухар до лопского чума полыхает кумачный май…» Но за «кумачным маем» открывается Клюеву картина мира дохристианского, омытого катаклизмами и начинающего своё новое бытие.

В лучезарьи звёздного сева,
Как чреватый колос браздам,
Наготою сияет Ева,
Улыбаясь юным мирам.

Эти юные миры поэт прозревает после своей грядущей кончины.

Грянет час, и к мужицкой лире
Припадут пролетарские дети,

Упьются озимью, солодягой,
Подлавочной ласковой сонатой!..
Уж загрезил пасмурный Чикаго
О коньке над пудожскою хатой,

О сладостном соловецком чине
С подблюдными славами, хвалами…
Над Багдадом по моей кончине
Заширяют ангелы крылами.

И помянут пляскою дервиши
Сердце-розу, смятую в Нарыме,
А старуха-критика запишет
В поминанье горестное имя.

Здесь уже останавливает не только и не столько пророчество о своей смерти в Нарыме, сколько то, что в последний путь поэта проводят «дервиши» и помянут его взмахом крыльев ангелы «над Багдадом»…

Ему хорошо была знакома книга Инайят-хана, профессора, прошедшего суфийскую школу и посетившего Россию перед Первой мировой войной, — «Суфийское послание о свободе

духа», вышедшая в Москве в 1914 году. Подобно тому как Инайят-хан писал о музыке («Будучи высшим из искусств, она поднимает душу до высочайших областей духа. Будучи сама по себе невидима, она скорее достигает невидимых областей»), Клюев впервые и единственный раз использовал в стихах «Львиного хлеба» музыкальные ноты, как знаки незримого мира, как звуки, идущие из «невидимой Руси»: «Мир очей, острова из улыбок и горы из слов, / баобабы, смоковницы, кедры из нот: / Фа и Ля на вершинах, и в мякоть плодов / ненасытные зубы вонзает народ…»; «Огневое Фа — плащ багряный, / завернулась в него судьба… / Гамма Соль осталась на раны песнолюбящего раба…» И не мог Клюев не радоваться, читая у Инайят-хана: «Сердце человека есть Престол Божий… Дыхание поддерживает связь между телом, сердцем и душой. Оно состоит из астральных колебаний и оказывает большое влияние на физическое и духовное развитие. Поэтому первое дело суфия — очищение сердца, чтобы привести в состояние гармонии всё своё существо»… Отсюда и «сердце — роза, смятая в Нарыме», и грядущий трактат «Очищение сердца», что писался уже после Нарыма незадолго до кончины. Отсюда же — предвкушение полного перенастрой русской лиры после вселенской катастрофы, когда поменяются полюса земли: «Гулы в ковриге… То стадо слонов / дебри пшеничные топчет пятой… / Ждите самумных арабских стихов, / пляски смоковниц под ярой луной!» И, наконец, сакральный танец, которым дервиши поминают поэта, — действо, облегчающее уходящему переход в иной мир. И десять лет спустя в «Песни о Великой Матери» Клюев опишет проводы своей родительницы «старцами с Востока»:

Ещё поминками зимы
Горел снежок на дне оврагов,
Когда дорогой звёздных магов
К нам гости дивные пришли,
Три старца — Перския земли.
Они по виду тазовляне,
Не черемисы, не зыряне,
Шафран на лицах, а по речи —
Как звон поленницы из печи.

И их приход не смутил святого Георгия, что сошёл с иконы для последней молитвы над праведницей.

Весь в чешуе кольчуги бранной
Сошёл с божницы друг желанный

И рядом с мученицей встал,
Чтоб положить скитской начал
Перед отплытьем в путь далёкий.
Запели суфии: «Иокки!
Чамарадан, эхма-цан-цан!..»
Проплыл видений караван:
Неведомые города
И пилигримами года
В покровах шелестных, с клюками,
И зорькой улыбался маме
То-светный Божий Цареград…

В холодной же и жестокой современности подобные срывы в «восточный оазис», как «вечный приют», были чреваты таким самоотречением, последствия которого непредсказуемы. Оскал дьявола мелькал в этом оазисе — и Клюев прозревал и его.

Глава 21
«ЧЕТВЁРТЫЙ РИМ» И «МАТЬ-СУББОТА»

После исключения из партии Николай дважды за полгода посетил Петроград. Первый раз приехал на несколько дней ещё в октябре 1920-го и встретился со старыми друзьями и знакомыми — Александром Блоком, Ивановым-Разумником, Евгением Замятиным, Алексеем Ремизовым, Ароном Штейнбергом.

Двадцать пятого октября Блок выступал вместе с Клюевым и Ремизовым на вечере издательства «Алконост» в Доме искусств, посвящённом выходу второго номера журнала «Записки мечтателей».

Бывший «скиф» Арон Штейнберг вспоминал о вечере в «Вольфиле»: «И для всех наших друзей, которых Клюев разрешил позвать на полуоткрытое собрание, на котором он согласился читать свои произведения, навсегда останется в памяти его глубоко, глубоко захватывающий и дикий, какой-то почти нечеловеческий голос»… Сохранилась запись голоса Клюева, и сквозь все искажения звука можно ощутить его «нечеловечность», высочайшую, вздымающуюся в какие-то неведомые сферы слуха, почти разрывающую перепонки ноту. Живописное впечатление оставила Ольга Форш. «Он топотал, ржал в великолепном вдохновении. Он взвихрил в зале хлыстовские вихри, вовлекая всех в действо „беседной избы“. Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту. Хотелось, защищаясь, распахнуть форточку и сказать для трезвости таблицу умножения»… Это уже достаточно близко к позднему восприятию Блока, который поделился им с Дмитрием Семёновским: дескать, в стихах Клюева «тяжёлый русский дух: нечем дышать и нельзя лететь»… Потому дышать казалось им и нечем, что смысл прочитанного не улавливался, оставался за семью печатями… Форш вспоминала о выступлении Клюева ещё дореволюционном, на заседании Религиозно-философского общества, где Николай читал «Поддонный псалом» и стихи цикла «Земля и железо». Тогда собравшиеся восприняли явление и стихи Клюева вроде преддверия адской тьмы, что и сформулировала позднее писательница: «Космос, не просветлённый Логосом, предтеча антихриста»… Что уж тогда говорить о том «неизгладимом впечатлении» (Штейнберг), что произвёл Николай на собравшихся в своеобразном «втором издании» Религиозно-

философского общества — Вольной философской ассоциации, где слушатели все были знакомые и слушали уже не гимны «беседной избе», а стихи из «Львиного хлеба»…

Барсова пасть и кутья на могилушке,
Кто породнил вас, Зиновьев с Егорием?
Видно, недаром блаженной Аринушке
Снилися маки с плакучим цикорием!

Эпоха соединила поначалу несоединимое, а потом чужеродное ей, но родное, исконное, древнее, жизнестроительное — извергла из своих уст, изгнала из своего миропонимания… И сам поэт, венчавший Ленина и Льва, отторгнут и «вычищен».

В позднейшей редакции «Зиновьева» заменит «турбина» — и не по причине самоцензуры. Не в личности дело, а в сути эпохи, что предпочла железное живому.

…На этих вечерах присутствовал журналист и поэт Фёдор Грошиков, который в «Красной газете» изложил свои впечатления о клюевских выступлениях.

Начал он со строк из клюевского письма, любезно предоставленного Сергеем Городецким. «Трудно понимают меня бетонные, турбинные люди, душно им от моих избяных, кашных и коврижных миров…» — жалуется поэт Николай Клюев в письме одному из своих друзей. Оказывается, не только «бетонным» и «турбинным» душно, но и Блоку стало «нечем дышать»… А Грошиков пишет свой ответ на клюевское пророчество «Грянет час — и к мужицкой лире припадут пролетарские дети…»: «Жалуется, ибо не видит, что революционный пролетариат торопится навсегда уйти от тех понятий, которыми жила когда-то наша тёмная, кряжистая, мистическая деревня… Клюев никогда не будет нашим певцом, певцом действенного, городского пролетариата, ибо слишком глубоко в земле роятся корни его творчества. Но всё развитие его творчества показывает, что связь деревни с городом растёт и крепнет, что коренным образом изменяется психология мужика-землероба. И недалёк тот день, когда мы будем гостить на пышной свадьбе земли с железом, деревни с фабричной трубой, крестьянина с рабочим…» Есть ли самому Клюеву место на этой свадьбе? Ответ — в названии самой статьи: «Последний из могикан».

Но это слово Фёдора Грошикова оказалось не последним. Через несколько лет он напишет посвящённое «последнему из могикан» стихотворение «К родным истокам» уже совершенно в иной тональности, когда все идеологические претензии отступили в нети перед искренним восхищением клюевским

поэтическим даром.

Я знаю, скоро люди
Тебя полюбят вновь —
Прими, желанный Клюев,
Привет мой и любовь!

Статью «Последний из могикан» Клюев читал внимательно. О стихотворении «К родным истокам» так и не узнал. Грошиков отдал его в «Красную новь», но оно не было принято к печати, так и оставшись неопубликованным.

* * *

Там же, на вечере в Вольной философской ассоциации, Штейнберг передал Клюеву привет от Есенина, с которым виделся в Москве. О похождениях имажинистов во главе с Есениным уже звон стоял по городам и весям. Николай буквально вцепился в Штейнберга: «Что Серёженька? Хулиганит? Сбился с пути? Продаёт, как баба, поэзию?» Штейнберг ничего не стал скрывать — рассказал и про «Стойло Пегаса», и про имажинистские вечера, оканчивающиеся скандалами, и о том, как Есенин с приятелями расписывал Страстной монастырь четверостишиями, и как ходит гоголем в цилиндре по Москве — и сам чёрт ему не брат… У Клюева слёзы потекли по щекам. «Ох, Серёженька, Серёженька, подумать только, Рязанской земли человек, такой хорошей земли!» Это «Рязанской земли человек» врезалось Штейнбергу в память на всю оставшуюся жизнь. А Клюев плакал о своём друге, что оторвался от почвы и погрузился в богемное городское болото.

Он вернулся в Вытегру, где до него дошло известие ещё об одном отреченце — Валерии Брюсове. Тот, благословивший своим предисловием его первую книгу «Сосен перезвон», теперь кардинально пересматривает своё мнение. Писавший некогда, что «огонь, одушевляющий поэзию Клюева, есть огонь религиозного сознания», оценивший «Братские песни» как «редкий у нас образец подлинно религиозной поэзии» — Брюсов пишет о «Песнослове» в совершенно уничижительной интонации: «Прошли годы; перед нами 1-ый том сочинений Клюева, но ожидания далеко не оправданы. Полу-крестьянин, полу-интеллигент, полу-начётчик, полу-раскольник, Николай Клюев не вышел из узкого круга своих наблюдений. Картинки северной природы, пересказы духовных книг, изредка — подражание

частушкам, всё — пропитанное религиозным пафосом, в духе нашего раскола, вот — поэзия „Песнослова“… Стихи Н. Клюева переполнены мистическими настроениями и церковными образами… Всё это бесполезно как научный материал, ибо вольно переложено, утомительно как стилизация, однообразно… По форме стихи Клюева застыли на образцах 90-х годов прошлого века…»

И всё это — даже не о втором томе «Песнослова», а о первом, где напечатаны стихи «Сосен перезвона», «Братских песен», «Лесных былей» — некогда расхваленные Брюсовым. И как подтверждение своих уничижительных тезисов Брюсов приводит в пример стихи как раз из этих же разделов книги…

Клюев уже поначитался о себе многого. И то, что он «в неизмеримо большей степени является певцом былой статики, чем поступательной динамики мирового размаха», и то, что он, «не довольствуясь душевной кастрацией… докатился и до физической — до фабрикации и восхваления „рожающих стокрылых сыновей и ангелов“ — безудых мужей»… Но что с них взять, с убогих… А Брюсов — это совсем другой коленкор.

Не обида поэтом овладела, а тяжкая дума — что же будут делать те, кто жаждет закопать его — «мистика», «стилизатора», «пересказчика»? С кем останутся?

Меня хоронят, хоронят
Построчная тля, жуки,
Навозные проворонят
Ледоход словесной реки!

Проглазеют моржа златого
В половодном разливе строк,
Где ловец — мужицкое слово
За добычей стремит челнок!

А самое уязвляющее в брюсовском отзыве — это «полу-крестьянин, полу-интеллигент, полу-начётчик, полу-раскольник»… Сразу вспомнилось: «Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда…» Этот намёк на пушкинскую эпиграмму Клюев просёк мгновенно. Нет, так играть с ним, написавшим «моя душа, как мох на кочке, пригрета пушкинской весной», он никому не позволит! Пусть прежний «наставник» получит своё!

Не с того ль из книжных улусов
Тянет прелью и кизяком?

«Песнослову» грозится Брюсов
Изнасилованным пером.

…В мае 1921 года Клюев снова приезжает в Петроград со сборником «Львиный хлеб», который выйдет в издательстве «Наш путь». Тогда же получает членский билет Всероссийского союза писателей. И, очевидно, тогда же знакомится с появившейся в январе того же года книгой Есенина «Исповедь хулигана».

* * *

Наверное, никакое более творение Есенина не произвело на Клюева столь тяжёлого впечатления, как эта «Исповедь».

«Я нарочно иду нечёсаным / с головой, как керосиновая лампа на плечах. / Ваших душ безлиственную осень / мне нравится в потёмках освещать. / Мне нравится, когда каменья брани / летят в меня, как град рыгающей грозы. / Я только крепче жму тогда руками / моих волос качнувшийся пузырь…» Клюев умел отражать каждый удар, причинявший ему боль, но никогда не мог сказать, что ему «нравятся каменья брани»… И это «нравятся» ставило в его глазах Есенина в один ряд с литературной швалью, наслаждающейся так называемой «литературной борьбой», то есть свалкой на уничтожение. Это «нравятся» звучало для него страшнее, чем любой личный выпад Есенина, «разлюбившего клюевский сказ», в его, Клюева, адрес. Все нежные слова Есенина, обращённые к родному краю, в «Исповеди» перекрывались бранью «хулигана», отвечающего на брань с мнящимся Клюеву наслаждением. И его собственные «злачёные рогожи» («Ах, и солнышко отмыкало голос нив и бездорожий и земле в поминок выткало золочёные рогожи…») в контексте «Исповеди» обретали жуткий смысл в устах человека, потерявшего себя. «Стеля стихов злачёные рогожи, мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи!» И эта нежность тут же по контрасту оборачивалась похабством: «Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать…» И чем дальше, тем страшнее рисовалась ему картина падения Серёженьки: «Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь!.. Я пришёл, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс…» А самое главное — внешнее изменение, неотрывное от внутреннего перерождения: «Самый лучший поэт», жалеющий «бедных крестьян», ходит «в цилиндре и в лаковых башмаках…».

«Заземление» образа поэта в «Исповеди хулигана», его

снижение по сравнению с космической «антиклюевской» «Инонией» вызвали у Николая на «запредельном» контрасте воплощение образа поэта в «Четвёртом Риме».

Не хочу быть знаменитым поэтом
В цилиндре и в лаковых башмаках,
Предстану миру в песню одетым
С медвежьим солнцем в зрачках,
С потёмками хвой в бородище,
Где в случке с рысью рычит лесовик!
Я сплёл из слов, как закат, лаптище
Баюкать чадо — столетий зык, —
В заклятой зыбке седые страхи,
Колдуньи Дрёмы, горбун Низги…
Моё лицо — ребёнок на плахе,
Святитель в гостях у бабы-яги.

Это — запев к поэме, в которой поэт обретает вселенскую суть и стать — подобно протопопу Аввакуму на вторую неделю Великого поста: «…Разпространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен, под небесем по всей земли разпространился, а потом Бог вместил в меня небо и землю, и всю тварь…» И Клюев здесь не уступает Аввакуму, но «вся тварь» земная выпукла и вещественна, каждая — в своём бытии, и все они вместе — вмещены в словесную плоть Николая.

Писавшие потом об этой поэме, вышедшей отдельным изданием, сводили весь её смысл к полемике с Есениным и имажинистами. Имажинистов Клюев вообще в упор не видел, и одно-единственное упоминание Мариенгофа в его стихах — лишь наглядное обозначение того кошмара, в которое, как думал Клюев, превратил свою жизнь Есенин. Но и «Исповедь хулигана» здесь была лишь первотолчком. По сути «Четвёртый Рим» — это финальный аккорд симфонии под названием «Львиный хлеб» — апология Востока и пророчество о неминуемом вселенском повороте, после которого и наступит Четвёртый Рим, ибо на *этой* земле, под *этим* небом, как было сказано в XVI веке: «…вся христианская царства приидоша в конец и снидошася воедино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть росеское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не быти…» Если понимать заключительные слова как «дай Бог, чтобы четвёртого не было!», то речь идёт о грандиозном мировом катаклизме, который и воплощает Клюев в своей поэме:

Котёл бессмертен, в поморьях щаных
Зареет яхонт — Четвёртый Рим:
Ещё немного и в новых странах
Мы жёлудь сердца Земле вручим.
В родных ладонях прозябнет дубом
Сердечный жёлудь, листва-зрачки…
Подарят саван заводским трубам
Великой Азии пески.
И сядет ворон на череп Стали —
Питомец праха, судьбы маяк…

По существу, распутинская пляска, которую плясал Клюев «перед царским троном», о чём он далее повествует в поэме — «чтоб метлою пурги сибирской замести истории след», — продолжается уже во вселенском масштабе, и рождение нового слова сопровождается рождением нового мира. «Не от песни ль пошёл вприсядку / звонкодугий лихой Валдай, / и забросил в кашную латку / многострунный невод Китай? На улов таращит Европа / окровавленный жадный глаз. / А в кисе у деда Антропа кудахчет павлиний сказ…» Железному Западу наступит конец, а благословенный Восток, куда скроется поэт, — незыблем, и оттуда вернётся песнотворец со стихами — «жемчугами Востока», дабы сложить их «пред образом Руси». Такова кульминация «Четвёртого Рима».

Сам же поэт так объяснял смысл и суть поэмы Николаю Архипову: «Только в союзе с землёй благословенное любовью железо перестает быть демоном, становясь слугой и страдающим братом человека. Это последняя песня — праведный строй и торжество рая.

Но кто слышит её? Учёный застегает сюртук и поэт затыкает уши книгой.

Истинная культура — это жертвенник из земли. Колосья и гроздь винограда — жертва Авеля за освобождение мира от власти железа. Расплавятся все металлы и потекут, как реки. В этом последнем огне сгорит древний Змий… И вот уже ворон сидит на черепе стали».

(Леденящая кровь картина технократического апокалипсиса.)

«Через ледяное горло полюса всех нас отрыгнёт земля в кошель доброго Деда. Вот тут-то: Ау, Николенька, милый!»

(Невозможно сразу не узнать грядущую картину нового ледникового периода и нового потепления.)

«Возвращение Жениха совершается вечно. Оно станет и моим уделом за мою любовь к возлюбленному, как к сердцу мира.

Что ищете живого с мёртвыми?

Воскрес Авель, и железо стало гроздью и колосьями».

Конечно, в суть поэмы, как её объяснял Клюев, почти никто из современников проникнуть не мог.

Надежда Павлович (под псевдонимом Михаил Павлов) в «Книге и Революции» оценила «Четвёртый Рим» со всей отчётливостью: «За песни его об этой тёмной лесной стихии мы должны быть Клюеву благодарны: врага нужно знать и смотреть ему прямо в лицо». Подобных определений к Клюеву до сей поры не применялось, но в дальнейшем всё чаще и чаще о нём будут писать в тоне, заданном Павлович, будущей «православной поэтессы». Были, впрочем, и те, кто не утруждал себя глупостями в плане — почему Есенин ходит в лаковых башмаках, а Клюев в лаптях, — а оценили «Четвёртый Рим» в самых высоких словесах. Старый знакомый, артист и режиссёр Виктор Шимановский, писал Клюеву: «Дорогой Николай! У меня в руках единственная, небывалая книжка, небольшая, тонкая, белая, даже как будто излишне „изящная“ на вид — „Четвёртый Рим“.

Тайна, тайна в ней, какая-то обнажённая невероятная тайна. Слово жизни, слово о жизни…

А может быть, сама жизнь?

…Читаю её, перечитываю, нет, даже не так: вслушиваюсь, впиваюсь или сам пою. Не знаю.

Но только это не обычное чтение. Что-то другое.

Да что говорить.

Только бедные, унылые люди не чувствуют эту невиданную книжку.

И, не чувствуя её, они не остаются равнодушными, но, страшась силы, в ней заключённой, они ненавидят её, как ненавидят стихию, как ненавидят Россию, как ненавидят Любовь распинающую и Распятую…

Если б создать такой же необычайный, как сама поэма, инструмент, какая бы потрясающая симфония самумов и ураганов сорвалась бы с этих тонких, белых, чересчур нежных страничек этой маленькой книжки…

Это уже не литература!..

В „Вольфиле“ поэма не понята. Говорилась всякая чушь. Кажется, только Разумник Вас<ильевич> отстаивал, да ещё кое-кто…»

Разумник Васильевич спел восторженный гимн *силе* Клюева: «…Не Сталь победит мир… а духовный взрыв приведёт к Четвёртому Риму: в силу „стальных машин, где дышит интеграл“, не верит *мужицкий* поэт… Самонадеян захват поэмы; но Клюев — имеет право на самонадеянность: силач! Техникой стиха его

недаром восторгался Андрей Белый; но недаром он и боялся того духа, который сквозит за „жемчугами Востока“ стихов Клюева… Торжественной песнью плоти является вся первая часть „Четвёртого Рима“».

…После этой «песни плоти» могло создаться впечатление, что диалог Есенина и Клюева завершён на более или менее продолжительный период. Но ещё не подошёл к концу ноябрь 1921 года — и сразу после «Рима» Клюев пишет «Мать-Субботу», где сей диалог получил своё продолжение — подспудное, бытийное, на тончайших творческих энергиях.

В основе этого диалога лежит слово Христа: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец Ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше ли их?» А перед этим было: «Душа не больше ли пищи и тело одежды?»

Клюев, для которого небесное сосредоточивалось в земном, а земное — в небесном, впадал в исступление от необратимого разрыва двух ипостасей в реальности — для него нестерпима была сама мысль, что «не откроет куриная лапка адамантовых врат коммун, перед ними не вымолить корки за сусальный пряничный стих…». «Пряничным стихом», настоянным на хлебной опаре, писалась «Мать-Суббота».

А в это время Есенин… Но тут лучше обратиться к книгам ныне забытого писателя Сергея Патрашкина, писавшего под псевдонимом «Григорьев». Вот описание с натуры встречи автора, Есенина и Кусикова в мастерской Сергея Конёнкова. В разговоре принимают участие служитель в мастерской Конёнкова Григорий Александрович и его жена.

«Есенин (блажен: он некогда насытится): „А как же землю удобряют и коровьим, и лошадиным, а хлеб растёт, и мы его едим“. Гр. А.: „Навоз тронь рукой, обожжёт. В нём огонь“. Она: „Хлеб затем и растёт. На самой вершинке колос“. Кусиков: „А картошка?“ Она: „Картошку, старые люди говорили, и есть грешно“. Гр. А.: „Чёртовы, слышь, яйца“. Кусиков: „А вот Есенин говорит, что и хлеб грешно есть. Серёжа — ну-ка, „Песнь о хлебе““. (Есенин читает эстрадно, вдохновенно и даже жутко): „Вот тогда-то входит яд белёсый в жбан желудка яйца злобы класть…“ Гр. А. (после деликатной паузы): „Ты, Серёжа, хочешь, чтобы птица не пила, не ела, да пела“. Кусиков (галантно к Ней): „А как вам понравилось?“ Она (по существу): „Ученики-то срывали колосья в субботу. А он сказал — ничего в субботу нельзя делать, а хлеб жать можно. Какой ни будь праздник в жнитво!..“»

Здесь достигает своего предела переосмысление Евангелия, перевёртывание его смысла в обращении писателя, наряду с

«Песнью о хлебе», к «Инонии»: «Голод преображает. Прощёный грех Есенина — изблевание тела Христова, имеет своё натуралистическое объяснение и оправдание… Духовный голод должен достичь своего наивысшего напряжения, чтобы отвергнуть пищу… Причащая голодного Спаса мужицкой вытью, пророк Есенин по библии, но отнюдь не по евангелию заключает новый договор с Богом. Новый Израиль, богоборец жалостью, подобно Аврааму протягивает к Богу, нищему на росстани мира „гостию“. Вот за то и прощено будет Есенину изблевание тела Христова, что он подал Богу в трудные для Него дни хотя бы не ради Христа, а ради Волоокого Спаса милостыню… Ещё не скоро мы вкусим хлеба со спокойной совестью!..»

Всё это читал Клюев — и есенинская «Песнь о хлебе» была воспринята им, как возвращение в первозданный хаос. Но засело внутри — «грех Есенина прощёный и не весь он в погибели…». Другое дело, что у самого Клюева коврига, восходящая на божественной опаре, не плоть, предназначенная для «жбана желудка», «не яйца злобы», а творение «ангела простых человеческих дел», что «хлебным теленьям дал тук и предел» и, «вскипев урожаем в персях земли», освятил великое изделие для трапезы.

«Песнь о хлебе» Есенина — первобытный крик человеческого существа, крик, в котором — боль на разрыв.

Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как жёлтый труп.

На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

На наших глазах свершается убийство. Без покаяния и отпевания. У Клюева же в «Анти-песни о хлебе» — «Матери-Субботе» — творится священнодейство, в котором нет места «катафалкам», гарканью и соломенному мясу. Творится именно священная жертва.

Предуготовляется воскрешение духа во плоти — в ковриге. Пред действом наступает священная тишина, как в ночь перед Воскресением. В действе принимают участие все покровители нивы, пашни и жнитвы.

Поэма вся выстроена по «нарастающей звуковой». Шёпот

«ангела простых человеческих дел» и ответное бульканье «гусыни-бадьи», и бубнение мухи, когда изба начинает оживать, каждый одухотворённый предмет обихода наводит чистоту в преддверии хлебной Евхаристии — ещё не нарушают благоговейной тишины, когда «дремлет изба, как матёрый мошник»… И в этой тишине начинает совершаться мистическое действо: «Бабкины пальцы — Иван Калита — / смерти грозятся, узорят молву, / в дебрях суслонных возводят Москву…» Начинается возведение «Четвёртого Рима» — мать городов русских заново возводится бабьим действом и словом поэта… С этого мгновения беззвучный звук, неслышный обычному слуху, усиливается с каждым движением обихода и Божьей твари. Если до этого восклицание принадлежало лишь ангелу простых человеческих дел, то теперь восклицающая нота исходит из Красного угла, и с ним сливает своё восклицание принимающий участие в мистерии поэт.

Слышите ль, братья, поддонный трезвон —
Отчие зовы запечных икон?!
Кони Ильи, Одигитрии плат,
Крылья Софии, Попрание врат,
Дух и Невеста, Царица предста
В колосе житном отверзли уста!

И начинается самое главное. «Сладостно цепу из житных грудей / пить молоко первопутка белей, / зубы вонзать в неневестную плоть — / в темя снопа, где пирует Господь…» Перед нами в буквальном смысле акт физиологического наслаждения, предшествующий возжиганию в печи священного огня, что «прочит… за невесту калым». Ощущение происходящего как священнодействия вызывает в памяти крещение младенца Николая в квашонке и согревания его в русской печи во время обряда «перепечения»… Так рождение хлеба сопрягается с рождением поэта. Тихое парение серафимов над печью «разжигает» действо, переходящее в «брачную пляску», что косвенно напоминает об элевсинских таинствах… Но у Клюева эта пляска памятной нитью неразрывно связана и с хлыстовским радением, и с танцами суфиев.

Брачная пляска — полёт корабля
В лунь и агат, где Христова Земля.
Море житейское — чёрный агат
Плещет стихами от яростных пят.
Духостихи — златорогое стада,
Их по удоям не счесть никогда,

Только следы да сиянье рогов
Ловят тенёта захватистых слов.
Духостихи отдают молоко
Мальцам безудным, что пляшут легко.
Мельхиседек и Креститель Иван
Песеннорогий блюдут караван.

И следующая, уже полнозвучная, наполняющая всё пространство поэмы сцена соития во имя рождения поэта — приводит к предвкушению рождества грядущего Мессии.

А впереди — новое воскрешение Исуса, «пеклеванного Исуса».

Ты уснул, пшеничноликий,
В васильковых пеленах…
Потным платом Вероники
Потянуло от рубах.

Блинный сад благоуханен…
Мы идём чрез времена,
Чтоб отведать в новой Кане
Огнепального вина.

Смысл своей поэмы Клюев, как и в случае с «Четвёртым Римом», разъяснял Николаю Архипову, и это разъяснение снова напоминало об отвергнутом Церковью учении Оригена.

«Мистерия избы — Голубая Суббота, заклание Агнца и урочное Его воскресение. Коврига — Христос избы, хлеб животный, дающий жизнь верным.

Рождество хлеба, его заклание, погребение и воскресение из мёртвых, чаемое как красота в русском народе, и рассказаны в моей „Голубой Субботе“.

(„Голубая Суббота“ — первоначальное название поэмы, свидетельствующее о Свете Фаворском, осеняющем мистерию. — *С. К.)*

Причащение Космическим Христом через видимый хлеб — сердце этой поэмы.

Человек-пахарь, немногим умалённый от ангелов, искупит ржаною кровью мир. Ходатай за сатану, сотворивший хлеб из глыбы земной, пахарь целует в уста древнего Змия и вводит в субботу серафима и диавола, обручая их перстнем бесконечного прощения…»

И тогда же Архипов записывал клюевские размышления о

«семени Христовом» — «антисимволические» и «антирозановские»:

«…Для меня Христос — вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой — вещественным солнцем, золотым семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу, мир воздушный и преисподний — огненный.

Семя Христово — пища верных. Про это и сказано: „Приимите, ядите…“ и „Кто ест плоть мою, тот не умрёт и на Суд не приидет, а перейдёт из смерти в живот“.

(Богословам нашим не открылось, что под плотью Христос разумел не тело, а семя, которое и в народе зовётся плотью.)

Вот это < понимание > и должно прорезаться в сознании человеческом, особенно в наши времена, в век потрясённого сердца, и стать новым законом нравственности.

А без этого публичный дом непобедим, не будет истинного здоровья, мужества и творчества.

Вот за этот закон русский народ почитает Христа Богом, а так бы давно забыл его и поклялся бы турбинам или пару».

…Уже в августе 1922 года, снова приехав в Петроград, Клюев опять выступал на заседании Вольной философской ассоциации, на котором присутствовали и молодые писатели — «Серапионовы братья».

Живописное воплощение этого чтения Ольгой Форш, пришедшей в восторг от «Четвёртого Рима» и назвавшего Клюева не иначе как «король поэтов», позволяет увидеть — как именно «поняли» Клюева присутствующие.

«Читая, Микула разъярялся. Космы отросших волос ему прянули на глаза. Он сквозь космы сверлил голубыми, пьяными от лирных волнений, и сверкающими, и гаснущими от вспененных чувств взорами. Порой — как одержимый элевзинским таинством, помавая тирсом, воскликнет вдруг „эвоэ!“ — он взрывал мощным голосом… Прославлена от земли в зенит вертикаль. И она — мать, рождающая самосильно.

Никогда, может быть, не было такого возвеличения начала женского, идеи женской — церковью, философией, бытом хитро сведённой к метафизическому и всякому „приложению“ мужчины. В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко русской концепции впервые женщина возносилась в *единицу* самостоятельной ценности как мать. Прочее всё — дама, роза, мистика, дева — отметается как баловство.

Вскрывались внезапно и находили оправдание глубины народные, даже то, что казалось бессмыслицей и похабством. И вдруг подумалось — быть может, бессознательной тягой к лону

матери, тягой к тёмному, уберегающему материнскому охранению и досадой, что его уже нет, объясняется происхождение всего ужасающего, единственного в мире российского мата.

Окончил Микула стихи свои плача».

Таким было «видение» поэмы Ольгой Форш. С молодых литературных дикарей и взять-то особо было нечего.

«*Молодые*, кто здесь, кто там, смотрели внимательно-вежливо, и глаза их были сухи.

Они заговорили по очереди. Они отлично поняли и оценили силу стиха, богатство образов, узор языка, но им было всё равно. Они кондовую мощь Микулы восприняли со стороны, как иностранцы… Весь пафос Микулы, который целиком зачался, рос и ветвился славянской вязью, был для них таким же прошлым, каким земля на китах… Прошлое было им, как цыплятам в инкубаторе скорлупа, из которой скорей надо выторкнуться.

Но зато Микуле они разъяснили его всеми методами, напоследок формальными».

Подобное отношение к «Микуле» можно сплошь и рядом встретить и ныне. «Разъясняющих» хватает. А тогда — тогда Николай мог произнести одну-единственную фразу, запомненную Ольгой Форш:

— Пойти бы куда… дух томится.

И плач его был не только от своей поэмы. Он не мог не понимать — как резко начали редеть ряды тех, кто при всём отталкивании, при всей «самости», при всём последующем отторжении — некогда согревал его в духе, находил для него нужные слова. Уже не было Блока, скончавшегося в страшных мучениях, не было Гумилёва, расстрелянного за «участие в контрреволюционном заговоре». Между эпохами ложилась непреходимая черта. Наступала новая, тяжёлая, неуютная жизнь, которая грозила неведомым и внушала страх, какого не испытывал Николай в самые тяжёлые дни голода, Гражданской войны, «красного» и «белого» террора.

Оставался Иванов-Разумник. И — каков бы он ни стал — Серёженька, от которого получил Николай душевное письмецо.

«Мир тебе, друг мой! Прости, что не писал тебе эти годы, и то, что пишу так мало и сейчас. Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать всё, чем мыслю и отчего болею. А о тебе я всегда помню, всегда во мне ты присутствуешь. Когда увидимся, будет легче и приятней выразить всё это без письма.

Целую тебя и жму твою руку».

Наверное, ничто не могло так обрадовать Николая в те дни,

как это послание. Радость ещё была и в том, что наконец-то он мог высказать всё, что накопилось в душе, отдалившемуся «братику». Он чувствовал, что и ему самому, и Есенину это необходимо.

Глава 22
«НА ЗАКЛАНИЕ ЗА РОССИЮ…»

Виктор Мануйлов вспоминал, что в 1921 году Есенин говорил с ним о Клюеве с большой нежностью, как о старшем брате, говорил о том, что без Клюева он остался бы несмышлёнышем и в жизни, и в поэзии. Незадолго до этого разговора Есенин писал Иванову-Разумнику письмо из Ташкента в Москву, где Клюев поёт у него «Россию по книжным летописям и ложной зарисовке всех приходимцев», что «Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок». Ещё до этого он отправил Разумнику письмо, где высказался о своих прежних учителях и наставниках в том же ключе, и, не получив ответа, счёл необходимым объясниться ещё раз. Объяснялся по поводу «мастерства в нашем языке», но, по сути, убеждал самого себя в необходимости разрыва с прежними наставниками и рачителями ради высвобождения из-под их влияния и дальнейшего «раздвигания зрения над словом»… Второе письмо так и осталось неотправленным, и понимание того, чем он в жизни обязан Клюеву, никуда не делось.

Клюев же снова и снова возвращался памятью к жестоким есенинским строчкам: «Ты сердце выпеснил избе, но в сердце дома не построил…» И волей-неволей задавался вопросом — каков же дом самого Серёженьки?.. Разные слухи доходили до него. Николай Ильич Архипов, приехавший из Москвы, многое порассказал о есенинской жизни, о быте на Пречистенке, об Айседоре Дункан, захомутавшей «братика»… Снова и снова вставала пред глазами Клюева картина: его возможное пришествие на порог нынешнего есенинского «дома».

Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домовой ограде…
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб, Христа ради!

Как бы тяжко ни жилось Клюеву в эти годы, как бы материально он ни нуждался — милостыню ещё не просил. Просить её придётся спустя несколько лет, уже в Ленинграде и в Москве, вышвырнутому из литературы поэту. Так прозвучало ещё одно жуткое пророчество о будущей нерадостной жизни.

Я скоротал все просёлки,

Придорожные пни и камни!..
У горничной в плоёной наколке
Боязливо спрошу: «Куда мне?»

В углу шарахнутся трости
От моей обветренной палки,
И хихикнут на деда-гостя
С дорогой картины русалки.

Два мира, две жизни, два диаметрально противоположных друг другу образа. Нищий — и бывший его собрат во дворце с горничной. Обветренная палка — и трость, с которой так любил фотографироваться в те годы Есенин. И даже русалка — на «дорогой картине», для услаждения «народным»…

За стеною Кто и Незнаю
Закинут невод в Чужое…
И вернусь я к нищему раю,
Где Бог и Древо печное.

Вопрос и ответ не узнавших странника, что не «в затонах тишины созвучьям ставят сеть», но ловят Чужое в Чужом… И странник, бывший поэтом, возвращается к родимому печному Древу, которое в следующей строфе преображается в одно мгновение.

Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки.

Он шёл к печному Древу, а очутился под смоковницей… Его не узнал брат во Слове, а вместо Древа Жизни — дерево, что по Библии, если не приносит доброго плода, то его «срубают и бросают в огонь». Там — модная трость, здесь — смоковница, напомнившая ещё раз о «недобром плоде», что приносит ныне Есенин.

И не просто смоковница… Солодовая. Солод-то есть, да пива нету. Пива того, духовного, что причащало его с «братцем» на их «вечерях». И ещё дальше отсылает этот не пригодившийся «солод» — к «пивушку», которым причащался сам Клюев у «христов», к «пивушку», которое, по их словам, «человек плотскими устами не пьёт, а пьян бывает»… Но не сектантский смысл несёт в себе эта коннотация — она вызывает в памяти у понимающего смысл

происходящего в старых радельных напевах: «Ай, кто пиво варил, ай, кто затирал? Варил пивушко Сам Бог, затирал Святой Дух»… Здесь — воспоминание о благотворном духовном пиршестве, что никогда не вычеркнет из своей жизни ни один, ни второй.

Поистине, бездонно клюевское слово. И сам он это подтверждает любому «фоме неверующему».

В моё бездонное слово
Канут моря и реки.

А смертный мотив, столь часто повторяющийся в «Львином хлебе», здесь объединяет поэта и матерь-Русь, упокоившихся до Судного дня.

Кого же оставляют они на Земле?

Домовину оплачет баба,
Назовёт кормильцем и ладой…
В листопад рябины и граба
Уныла дверь за оградой.

За дверью пустые сени,
Где бродит призрак костлявый,
Хозяин Сергей Есенин
Грустит под шарманку славы.

Кто же реально ближе к смерти? Клюев, которого проводят ласковым словом, или живой Есенин, слышащий «шарманку славы» и стук костей? Да не просто слышащий — «грустящий» под шарманку свалившейся на него славы. Тут и качество самой славы явлено. И печаль о братике, совсем ей не радующемся. Запомнит это Есенин. Запомнит — и через несколько лет с грустью ответит Клюеву в «Чёрном человеке».

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

«Роща в сентябрь» — это сказано в унисон с клюевским

«листопадом рябины и граба». И когда Николай Ильич Архипов в своих записях по горячим следам привел слова Есенина, якобы говорившего Клюеву, что «деревья съехались, как всадники» — это его, клюевское, — то, скорее всего, речь шла о той же «осыпающейся роще»…

Но продолжался и незримый диалог. «Листопад рябины и граба» удивительным образом перекликнулся с «осенней гулкой ночью», сначала обдавшей героев есенинского «Пугачёва» дождём, а в финале «общипавшей, как тополь зубами дождей, Емельяна». «Призрак костлявый» проявился под пером Клюева в есенинском «доме» одновременно с появлением у Есенина «тени с верёвкой на шее безмясой» — призрака Петра III, чью личину натягивал на себя есенинский Пугачёв — дабы «обтянуть тот зловещий скелет парусами и пустить его по безводным степям, как корабль» — в предчувствии неминуемого конца.

Клюев писал стихотворение в ноябре 1921-го, когда Есенин вычитывал последнюю корректуру трагедии. «Пугачёв» выйдет через месяц, а ещё через месяц Николай прочтёт его почти одновременно с есенинским письмом, где братик ему напомнит: «А о тебе я всегда помню, всегда ты во мне присутствуешь».

Ранее, в Петрограде, Клюев обронил в сердцах о любимом Серёженьке: «Ему бы хоть в тюрьму попасть. Он понял бы луч солнечный и слово человеческое». Теперь же, растроганный, корил себя за эти слова. А тут ещё Архипов передал ему на словах всё самое доброе, сказанное Есениным: «Учитель… люблю… ценю…» И, не скрывая нахлынувших чувств, писал свой ответ.

«Семь покрывал выткала Матерь-жизнь для тебя, чтобы ты был не показным, а заветным. Камень драгоценный душа твоя, выкуп за красоту и правду родимого народа, змеиный Калым за Невесту-песню.

Страшная клятва на тебе, смертный зарок! Ты обречённый на заклание за Россию, за Ерусалим, сошедший с неба.

Молюсь лику твоему невещественному.

Много слёз пролито мною за эти годы. Много ран на мне святых и грехом смердящих, много потерь невозвратных, но тебя потерять — отдать Мариенгофу, как сноп васильковый, как душу сусека, жаворонковой межи, правды нашей, милый, страшно, а уж про боль да про скорбь говорить нечего…

Коленька мне говорит, что ты теперь ночной нетопырь с глазами, выполосканными во всех щёлоках, что на тебе бобровая шуба, что ты ешь за обедом мясо, пьёшь настоящий чай и публично водку, что шатия вокруг тебя — моллюски, прилипшие к килю корабля (в тропических морях они облепляют днище корабля в таком множестве, что топят самый корабль), что у тебя

была длительная, смертная <с>хватка с „Кузницей“ и „Пролеткультом“, что теперь они ничто, а ты победитель.

Какая ужасная повесть! А где же рязанские васильки, дедушка в синей поддёвке, с выстроганным ветром бадожком? Где образ Одигитрии-путеводительницы, который реял над золотой твоей головкой, который так ясно зрим был „в то время“?

Но мир, мир тебе, брат мой прекрасный! Мир духу, крови, костям твоим!

Ты действительно победил пиджачных бесов, а не убежал от них, как я, — трепещущий за чистоту риз своих. Ты — Никола, а я Касьян, тебе все праздники и звоны на Руси, а мне в три года раз именины…»

Клюев писал Есенину о несоответствии внешнего и внутреннего в нём, внушал себе, что эта «змеиная кожа» — «до Апреля урочного», и сам прекрасно знал, что не «бежал» же сам, «сохраняя чистоту риз», да и сохранить их было невозможно. Оттого и «много ран… грехом смердящих». Но грехи его — другие, нежели у Серёженьки… А цену «битвы» с пролеткультовцами он знает сам, и «Пугачёва» читал с осознанием того, что переступил Есенин роковую черту.

«Клычков с Коленькой послал записку: надо, говорит, столкнуться нам в гурт, заявить о себе. Так скажи ему, что это подлинная баранья идеология; — да какая же овца безмозглая будет искать спасения после „Пугачёва“? Не от зависти говорю это, а от простого и ясного сознания Величества Твоего, брат мой и возлюбленный.

И так сладостно знать мне бедному, не приласканному никем, за своё русское в песнях твоих…

Князев пишет книгу толстущую про тебя и про меня. Ионов, конечно, издаст её и тем глуше надвинет на Госиздат могильную плиту. Этот новый Зингер, конечно, не в силах оболванить того понятия, что поэзия народа, воплощённая в наших писаниях, при народовластии должна занимать самое почётное место, что, порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, самым глубоким в народе. Нам с тобой нужно принять это как знамение — ибо Лев и Голубь не простят власти греха её. Лев и Голубь — знаки наши — мы с тобой в львиноголубинности. Не согрешай же, милый, в песне проклятиями, их никто не слышит. „Старый клён на одной ноге“ — страж твой неизменный. Я же „под огненным баобабом мозг ковриги и звёзд постиг“. И наваждение — уверение твоё, что я всё „сердце выпеснил избе“. Конечно, я во многом человек конченый. Революция, сломав деревню, пожрала и мой избяной рай. Мамушка и отец в могиле, родня с сестрой во главе забрали себе всё. Мне досталась

запечная Мекка — иконы, старые книги — их благоухание — единственное моё утешение.

Но я очень страдаю без избы, это такое уродство, не идущее ко мне положение. Я несчастен без своего угла. Теперь я живу в Вытегре — городишке с кулачок, в две улицы с третьей поперёк, в старом купеческом доме. Спас Нерукотворный, огромная Тихвинская, Знамение, София краснокрылая, татарский Деисус смотрят на меня со стен чужого жилья. И это так горько — неописуемо…»

«Проклятия» в глазах Клюева, которыми согрешает Есенин, — это читаный-перечитаный Николаем «Сорокоуст» и всё та же «Исповедь хулигана». А что касается схватки с «Кузницей» и Пролеткультом — то не о Есенине здесь впору вести речь, а о самом Клюеве, в стихах которого «пролеткультовская рота» удостаивается отнюдь не злой иронии, что слышна в письме. Нет — пару лет назад Клюев «схватывался» с этой «ротой», как с врагом красоты, вещавшим, что если «в машине-орудии — всё рассчитано и подогнано» — стало быть, «будем также рассчитывать и живую машину-человека», как писал Алексей Гастев. Клюев рассчитывался с этими уничтожителями русских сокровищ, духовного наследия Руси-России в непечатавшихся, но читанных публично стихах.

Эй, заплечный рогатый мастер!
Готовь для искусства дыбу!
Стальноклювым вороном Гастев
Взгромоздился на древо-судьбу,

Клюёт лучезарные дули:
Ухо Скрябина, тютчевский глаз…
В голубом васильковом июле
Свершится мужицкий сказ:

Городские злые задворки
Заметелят убийства след,
По голгофским русским пригоркам
Зазлатится клюевоцвет.

Дошло ведь до того, что на стражу вечной красы России, «лика Коммуны и русской судьбы» вызывается… Распутин.

Григорий Новых цветистей Безсалько,
В нём глубь Байкала, смётка бобров.
От газетной ваксы и талька

Смертельно выводку слов.

Пересыплют в «Известиях» Кии
Перья сиринов сулемой,
И останутся от России
Кандалы с пропащей сумой.

Страшное видение грядущего… И всё же оно сменяется видением благотворным. Клюев верит: *они* все — ничто, а его победа неизбежна.

Брат великий, сосцы овина
Пеклеванный взрастили цвет,
Избяных напевов ряднина
Свяжет молот и злак в букет.

…И теперь вспоминает он ещё об одном «рядовом» пролеткультовской «роты» — Василии Князеве, авторе «Красного евангелия», «Песен красного звонаря», стихотворца не менее плодовитого, чем Демьян Бедный, сочинителя книги, с которой во многом пойдёт на десятилетия отсчёт поэтической репутации Клюева. «Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)» — так будет она называться, а отрывки из неё уже печатались и в «Грядущем», и в «Красной газете». Сам Клюев слышал в Питере в князевском исполнении приговор себе самому. «Пахотная идеология»… «Ржаной океан» мистицизма… «Клюев — умер. И никогда уже не воскреснет: не может воскреснуть: — нечем жить!» «Жизнь Есенина» в этом своеобразном сочинении своеобразно «продлялась», а нынешнее состояние поэта оценивалось как «промежуточное», более того — ему необходимое: имажинизм, дескать, для него — «лаборатория, док, ангар, гараж, университет, академия… тайная мастерская Дедала…». И это тоже — будет повторяться с перерывами, а в наши дни — с восхищённым придыханием… «Какая ужасная повесть!»

Послушав в устном исполнении Князевым отрывки из «Ржаных апостолов», Клюев преподнёс пролеткультовцу двухтомник «Песнослова» с дарственной надписью: «Товарищу Василию Князеву в вечер чтения его статьи обо мне. Н. Клюев. Да славятся уста солнца и сосцы матери-ковриги. Хлеб победит!»

Клюев не знал, что Есенин уже объяснился со своей «пустозвонной братией»… Не попался ему на глаза журнал «Знамя» со статьёй «Быт и искусство», где, повторяя и развивая отдельные положения «Ключей Марии», Есенин вырезал, как

резцом: «У собратьев моих нет чувства родины во всём широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано всё. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния… Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше, не меньше, как ни на что не направленные выверты».

Главное для Николая было всё же в другом. Он перестаёт видеть разницу в отношении к народным поэтам новой и старой власти. Каких-то пять лет назад, совсем в другой жизни писал он Есенину: «У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моём творчестве, которые в своё время послужат документами — вещественным доказательством того барско-интеллигентского взгляда на чистое слово и ещё того, что салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества…» Теперь новое барство, «пролетарское», смотрит на него аракчеевским взглядом, и Николай констатирует с тяжёлым сердцем: «…Порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе…»

«Покрываю поцелуями твою „Трерядницу“ и „Пугачёва“. В „Трерядице“ много печали, сжигающей скорлупы наружной жизни. „Пугачёв“ — свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта, но нужней и желаннее „Бориса Годунова“, хотя там и золото, и стены Кремля, сафьянно-упругий сытовый воздух 16–17 века. И последняя Византия.

Брат мой, пишу тебе самые чистые слова, на какие способно сердце моё. Скажу тебе на ушко: „Как поэт я уже давно, давно кончен“, ты в душе это твёрдо знаешь. Но вслух об этом пока говорить жестоко и *бесполезно.*

Радуйся, возлюбленный, красоте своей, радуйся обретший жемчужину родимого слова, радуйся закланию своему за мать-ковригу. Будь спокоен и счастлив…»

Словно намеренно растравляя себя, Клюев завершает письмо буквально князевскими словами. Словно нарочито уничижаясь (а уничижение здесь паче гордыни), стремится вдохнуть свою последнюю жизненную силу в «брата и сопесенника».

«За своё русское в песнях твоих…»; «Обретший жемчужину родимого слова…» Это после проклятий «Исповеди хулигана» в «Четвёртом Риме». «Радуйся закланию своему за мать-ковригу…» Это после «Песни о хлебе» есенинской и своей «Матери-Субботы» — где подлинное «заклание за мать-ковригу»… И ведь в конце — после признания своей «кончины» «как поэта» — выспрашивает у

«брата»: читал ли он второй том «Песнослова», и как он ему кажется? И каков «Четвёртый Рим»? И прав ли Брюсов, громя «Песнослов» в «Художественном слове»?

Есенин ответил Клюеву не скоро. Перед этим он написал письмо Иванову-Разумнику, который сообщил ему, что затевает новый журнал «Эпоха». Есенин только этого и ждал — подобной весточки от бывшего наставника; душа в «новом дружеском сообществе» исстрадалась до предела.

«Журналу Вашему или сборнику обрадовался чрезвычайно. Давно пора начать — уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней „в семью едину“, потому что мне, например, до чёртиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией, а Клюев засыхает совершенно в своей Баобабии. Письма мне он пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду.

Я встормошил здесь всю публику, сделал для него, что мог, с пайком и послал 10 милл<ионов> руб. Кроме этого, послал ещё 2 милл<иона> Клычков и 10 — Луначарский.

Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или „ризы души своей“ боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда ведь и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к Богу.

Чужда и смешна мне. Разумник Васильевич, сия мистика дешёвого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет всё быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо всё и выходит».

Вот и получается на поверку, что в последнее время Есенин думает о Клюеве с добром, находясь от него на расстоянии. Когда же встретится или прочтёт письмо с нотами, напоминающими об учительстве и покровительстве, сей же час взыгрывает ретивое, и начинается смешение воедино Клюева-поэта и Клюева-человека, причём в самых неприятных для Есенина проявлениях… А напоминание о «Четвёртом Риме», читанном со всё увеличивающимся раздражением, стало, видимо, последней каплей.

«„Рим“ его, несмотря на то, что Вы так тепло о нём отозвались, на меня отчаянное впечатление произвёл. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. „Молитв молоко“ и „сыр влюблённости“ — да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими „бутербродами любви“.

Интересно только одно фигуральное сопоставление, но увы — как это по-клюевски старо!.. Ну да это ведь попрёк для него очень небольшой, как Клюева. Знаю, в чём его сила и в чём

правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого — Штейнера, тогда, я уверен, он записал бы ещё лучше, чем „Избяные песни“. Ещё раз говорю, что журналу Вашему рад несказанно. Очень уж опротивела эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходасевич стал первоклассным поэтом?.. Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и, в Германию отъезжая, благословил.

Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем…»

Уже высказав всё, что думал по поводу творчества своих новых «собратьев», Есенин намеренно ёрнически смешивает Клюева с Мариенгофом и Шершеневичем, словно отталкиваясь от горьких слов «сопесенника» — «тебя потерять — отдать Мариенгофу как сноп васильковый, как душу сусека, жаворонковой межи, правды нашей, милый, страшно, а уж про боль да про скорбь говорить нечего». Дескать, не мариенгофский я и не клюевский, а «ласки любимых облепили меня, как икра бутерброд» Шершеневича то же, что «влюблённости сыр» Клюева. Делает вид, что невдомёк ему: «метафорическое одичание» Шершеневича ничего общего с «пищным раем» Клюева не имеет и иметь не может… И здесь же — «знаю, в чём его сила и в чём правда». Дескать, может писать даже лучше, чем его любимые «Избяные песни».

Самому же Клюеву в письме, написанном перед отъездом за границу, обещает помочь материально, как может.

«Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со „Скифов“…

В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока всё в периоде организации и пусто — хоть шаром покати.

Голод в центральных губ<ерниях> почти такой же, как и на севере. Семья моя разбрелась в таких условиях кто куда.

Перед отъездом я устрою тебе ещё посылку. Может, как-нибудь и провертишься…

Потом можешь писать на адрес моего магазина приятелю моему Головачёву… Это на случай безденежья. Напишешь, и тебе вышлют из моего пая, потом когда-нибудь сочтёмся. С этой стороны я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни…»

Что до поэзии, то здесь Есенин, не в пример тому, что было в письме Разумнику, предельно сух и лаконичен: «Уж очень ты стал действительно каким-то ребёнком — если этой паршивой спекулянтской „Эпохе“ (издательству. — *С. К.)* за гроши свой „Рим“ продал. Раньше за тобой этого не водилось.

Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво.

Ну, да ведь у каждого свой путь».

Это ответ на слова Клюева: «Каждому свой путь. И гибель!» А следующая строчка Есенина — словно протянутая рука уже не на бытовой почве: «От многих других стихов я в восторге». И этот восторг тут же перебивается укором Клюеву по поводу Клычкова. «…Ругать его брось, потому что он тебя любит и сделает всё, что нужно». Это — ещё один посыл к тому, чтобы собраться, наконец, старым друзьям «в семью едину».

А что до «оптинской дури», то Есенин здесь как будто перечёркивает даже сказанное ранее в «Ключах Марии», где Клюев, по его словам, «вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни… повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея»… Только то, что ныне выходило из-под клюевского пера, уже не напоминало ни о какой Оптиной пустыни.

От иконы Бориса и Глеба,
От стригольничьего Шестокрыла
Моя песенная потреба,
Стихов валунная сила.

Кости мои от Маргарита,
Кровь — от костра Аввакума.
Узорнее аксамита
Моя золотая дума.

Дониконовская икона, сборник поучений Святых Отцов, Людогощинский крест секты стригольников, отрицавших «лживых учителей», «лихих пастырей», стригольников, молившихся и каявшихся матери-земле и «от земли к воздуху зряше»… «Валунная сила» — от единения сил Матери-Сырой земли, Бога-отца, Исуса, с которым как с равным собеседуют Богородица и Иоанн Предтеча на нетрадиционном «сидячем» деисусе на срединной горизонтали двенадцатиконечного Людогощинского креста 1360 года в новгородской церкви Фрола и Лавра на Людогощей улице — и Аввакумов костёр, вечный символ стояния за истинную веру, костёр, из пламени которого в клубах дыма, по староверческому преданию, протопоп вознёсся на небо.

…В это же время Николай Архипов записывал за Клюевым рассказанные им сны. Сны частью благотворные, но более — страшные и пророчащие о недобром. Два сна поначалу записались, в которых Есенин присутствует.

«Нездоровилось мне… Всю ночь дождь клевал окошко. А как задремал я, привиделся мне сон.

Будто горница с пустыми стенами, какая в приезжих номерах бывает, белесоватая. В белесоватости — зеркало, трюмо трактирное; стоит перед ним Сергей Есенин, наряжается то в пиджак с круглыми полами, то с фалдами, то — клетчатый, то — синий с лоском. Нафиксатуарен он бобриком, воротничок до ушей, напереди с отгибом; шея жёлтая, цыплячья, а в кадыке голос скачет, бранится на меня, что я одёжи не одобряю.

Говорю Есенину: „Одень ты, Серёжа, поддёвочку рязанскую да рубаху с серебряным стёгом, в которые ты в Питере сокручен был, когда ты из рязанских краёв ‘Радуницу’ свою вынес!..“

И оделся будто Есенин, как я велел. И как только оделся, — расцвёл весь, стал юным и златокудрым. И Айседора Дункан тут же объявилась: женщина ничего себе — добрая, не такая поганая, как я наяву о ней думал. Ей очень прилюбилось, что Есенин в рязанском наряде…»

Что происходит? Происходит обретение Есениным гармоничного соответствия внешнего и внутреннего (наконец-то!), русского облачения с коловратовой сущностью. И даже Дункан хорошеет и уже «не такая поганая» (ещё не знаемая Клюевым) рядом с Есениным, вернувшимся в Русь.

«Потом будто приехали мы к большим садам. Ворота перед нами — столбы каменные, и на каждом столбе золотые надписи с перстом указующим высечены: направо — аллея моя, налево — Сергея Есенина…

И знаем мы, что если пойдём все по одному пути или порознь — по двум, — то худо нам будет…» (А ситуация безвыходная. И путь, как на распутье у витязя, лишь один — прямой.) «Сговорились и пошли напрямки…

Темно кругом стало и ветряно… Вижу я фонтаны по садовым площадкам, а из них не вода, а кровь человеческая бьёт…

И не пошли мы дальше, а свернули вправо, туда, где дерева зелёные…»

Свернули, зная, что «худо будет». Обоим. Но свернули на дорогу, «нежным песком усыпанную», подальше от кровавых фонтанов. «Меж дерев стали изваяния белые попадаться, лица же у изваяний закрыты как бы золотыми масками…

Стал я узнавать изваяния: Сократа, Сакья-муни, Магомета, Данте…

И вышли мы опять к воротам, в которые вошли, к калитке с моим именем. Подивились мы и порешили пройтись и тем путём, который есенинским назван.

Вижу я — серая под ногами земля, с жилками, как стиральное мыло. И по всему пути — огромные мохнатые кактусы насажены, шипы по ножевому черню. Меж кактусов, как и на первом пути, —

болваны каменные, и на всяком болване по чёрной маске одето: Марк Твен, Ростан, Д'Аннунцио, а напоследок Сергей Клычков зародышем каменным уселся. И вместо носа у него дыра, а в дыру таково смешно да похабно цигарка всунута…

Стали мы с Есениным смеяться…

В смехе я и проснулся».

Что же в итоге? Клюевская тропа — тропа мудрецов, не разгаданных до конца и поныне. Есенинская — тропа тех, кто нарасхват был, гениев, чью жизнь и судьбу определяло «человеческое, слишком человеческое»… А смех их двоих во сне — к горючим слезам наяву.

Второй сон с участием Есенина — ещё более драматический.

«Два сна одинаковые… К чему бы это? Первый сон по осени привиделся.

Будто иду я с Есениным лесным сухмянником, под ногами кукуший лён да богородицына травка. Ветерок лёгкий можжевеловый лица нам обдувает; а Серёженька без шапки, в своих медовых кудрях, кафтанец на нём в синюю стать впадает, из аглицкого тонкого сукна и рубаха белая белозёрского шитья. И весь он, как берёзка на пожне, лёгкий да сквозной.

Беспокоюсь я в душе о нём — если валежина или пень ощерый попадёт, указую ему, чтобы не ободрался он…

Вдруг по сосняку фырк и рык пошёл, мяряньe медвежье…

Бросились мы в сторону… Я на сосну вскарабкался, а медведь уж подо мной стоймя встал, дыхом звериным на меня пышет. Серёженька же в чащу побежал, прямо медведице в лапы… Только в лесном пролежне белая белозёрская рубаха всплеснула и красной стала…

Гляжу я: потянулись в стволинах сосновых соки так видимо, до самых макушек… И не соки это, а кровь, Серёженькина медовая кровь…

Этот же сон нерушимым под Рождество вдругоряд видел я. К чему бы это?»

Клюев знал — к чему. Видеть во сне медведя — значит, встретиться наяву с могущественным врагом, жестоким, решительным, но не очень умным. Убить во сне медведя — победить наяву своего врага. А быть растерзанным — к поражению.

«Лёгкий да сквозной» Серёженька к смерти своей сам пошёл. Клюев — до поры на дереве отсиделся.

Страшной реальностью наяву сон этот обернётся.

* * *

Когда в декабре 1921 года Николай Архипов ехал в Москву, он вёз от Клюева подарок — Ленину. Вырезку цикла «Ленин» из второго тома «Песнослова» с дарственной надписью: «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери из русского рая красный словесный гостинец посылаю Я — Николай Клюев, а посол мой сопостник и сомысленник Николай Архипов. Декабря тысяща девятьсот двадцать первого года».

Ведь на что-то же рассчитывал Николай, отправляя сие послание. Опальный, отторгнутый от «авангарда», известный поэт и бескомпромиссный борец за Коммуну в её идеальном, подлинно народоправном воплощении, он пытался уже напрямую дать понять вождю — каким хочет его видеть поэт, по какому пути хочет направить. Он и здесь оставался наставником для того, кто едва ли желал внимать подобным «наставлениям».

И через несколько лет, уже в новой исторической реальности Клюев будет продолжать твердить своё.

— Красные знамёна — это языки пламени подземного, адова, преисподнего огня. Ленин — земная чёрная сила.

Красные знамёна обернутся адовым огнём. «Красный олень» и «пурпурно-горящий Лев» обратятся в «земную чёрную силу», и эта «чёрная сила» — своеобразный ответ на письмо Ленина, опубликованное лишь через четверть века после его кончины, где будущий вождь, ещё сидя в Швейцарии, описывал свои встречи: «…один — еврей из Бессарабии, видавший виды, социал-демократ или почти социал-демократ, брат — бундовец и т. д. Понатёрся, но лично неинтересен… Другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Чернозёмная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать…»

Книгу «Ленин», что выйдет в конце 1923 года, Ульянов уже не прочтёт, но цикл из «Песнослова» просмотрит внимательно и оставит в своей библиотеке.

…Через тринадцать лет, уже из ссылки, Клюев напишет в «Красный Крест» Екатерине Павловне Пешковой: «Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату». Трудно сказать, в какой форме этот привет был передан. Возможно, вождь поблагодарил за подарок поэта через ту же Крупскую, которая передала слова мужа Архипову. Дословно их никто не зафиксировал.

А что думал над этими стихами человек, который мечтал разжечь пожар мировой революции и на пепелище выстроить новый мир — и вынужден был, как истый государственник, скреплять железными обручами страну и воссоздавать в новом виде Российскую империю? Что думал он — люто ненавидевший Церковь и священство, и тянущийся к чернозёмному крестьянину,

не забывшему Бога, и ради него вынужденный отказываться от примитивных утопических догм? Что бродило в его голове, склонившейся над стихами поэта, написавшего его таким, каким никто и никогда не писал и уже не напишет? Нам этого знать не дано…

Глава 23
ПРОЩАНИЕ С ВЫТЕГРОЙ

В июле 1921 года был образован при ВЦИКе комитет помощи голодающим под председательством Калинина. Через десять дней образуется ещё один комитет помощи голодающим под председательством патриарха Тихона. 14 августа комитет под председательством патриарха был распущен. А через две недели был распущен и комитет, возглавлявшийся Прокоповичем, Кусковой и Кишкиным — старыми социалистами — по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Второго января 1922 года Лев Троцкий разрабатывает план изъятия церковных ценностей со следующим «железным аргументом»: «…Лучше выручить в этом году 50 млн руб., чем надеяться получить 75 млн на следующий год, ибо на следующий год может произойти мировая пролетарская революция… и тогда денег нигде уже не будет». Ещё в июне прошлого года на III заседании Коминтерна он же заявлял: «Мы только сейчас видим и чувствуем, что не стоим непосредственно близко к конечной цели, к завоеванию власти в мировом масштабе, мировой революции…» Теперь же цель, кажется, близка. На дворе — новая экономическая политика, та, что «всерьёз и надолго». Всерьёз и надолго она требует денег. Больших денег. Необходим стартовый капитал для частного предпринимательства. На международной арене нужно убедить всех в экономической состоятельности новой власти. И это — главная цель.

Клинический прогноз Троцкого станет своего рода дополнительным импульсом для поспешного насильственного ограбления Русской православной церкви. По сути это была кульминация религиозной войны, уже четвёртый год бушевавшей на просторах России, войны, сопровождавшейся мощной идеологической кампанией.

Голод в Поволжье, как мнилось, был идеальным поводом для её победоносного завершения.

Шестнадцатого февраля ВЦИК принимает постановление об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. А через два дня будущий обновленческий священник Александр Введенский выступает с обращением под заголовком «Церковь и голод». И это не плач по умирающим с голоду. Это хорошо отработанная истерика наёмного провокатора.

Далее — события ускоряют свой бег и, кажется, уже никакая фантасмагория не выдержит сравнения с будничной реальностью.

Спустивший с постамента своего коня и пустивший его в галоп по петроградским улицам Пётр I уже никого не удивил бы в те дни. Самая страшная сказка становилась былью.

Двадцать второго февраля Ленин подписывает секретную директиву о конфискации церковных ценностей и репрессиях против духовенства. Через три дня публикуется декрет об изъятии церковного имущества.

Первого марта Ленин на Всероссийском съезде металлистов призывает учиться торговать и вещает о необходимости «мозги сделать более гибкими и скинуть всякую коммунистическую, вернее, русскую обломовщину…». Оговорка более чем симптоматична. Многие слушатели могли сделать однозначный вывод, что борьба против обломовщины неотделима от борьбы против «русскости», а что касается коммунизма, то не так уж и много в нём русского начала…

Пятым марта датируется письмо митрополита Петроградского Вениамина, кстати, олончанина, земляка Клюева.

«Вся Русская Православная Церковь по призыву и благословению своего отца, Святейшего патриарха, ещё в августе месяце 1921 года со всем усердием и готовностью отозвалась на дело помощи голодающим. Начатая в то же время и в Петроградской Церкви работа духовенства и мирян на помощь голодающим была, однако, прервана в самом же начале распоряжением советской власти.

В настоящее время правительством вновь предоставляется Церкви право начать работу в помощь голодающим…

…Отдавая на спасение голодающим самые священные и дорогие для себя, по их достоинству, а не материальному значению, сокровища, Церковь должна иметь уверенность:

1) Что все другие средства и способы помощи голодающим исчерпаны.

2) Что пожертвованные святыни будут употреблены исключительно на помощь голодающим.

3) Что на пожертвование их будет дано благословение и разрешение высшей Церковной власти…»

Что могло вызвать это послание в душах исполнителей директивы о конфискации церковных ценностей, многие из которых воспитывались в «знании», что Христос — «мамзер» («незаконнорождённый»), иконы — нечисть, а мощи — мусор?

Только ещё большую жажду разорения храма и убийства тех, кто станет у них на пути.

Тринадцатого марта патриарх Тихон разъяснил в Послании «Ко всем верным чадам Российской Православной Церкви», что изъятие не должно касаться священных сосудов и других

предметов для богослужебного употребления. Это и в самом деле было для власти покушением на сами основы безбожия, что «свиной хребет о звёзды утренние чешет», как напишет Клюев десять лет спустя. Это было воспринято как новый сигнал к продолжению гражданской войны уже и с тем населением, которое полностью было на стороне большевиков и не отделяло заповедей революции от заповедей Христа.

И через два дня… В Шуе Иваново-Вознесенской губернии была остановлена верующими уездная комиссия по изъятию ценностей. Был вызван отряд красноармейцев, которому противустали мужики с вилами и кольями. Всё закончилось пулемётным расстрелом прихожан и ограблением храма.

Политбюро было ошарашено. Уже три года продолжались убийства священнослужителей, и это считалось в порядке вещей. А здесь огонь пришлось открыть не по «толстопузому попу» и не по «белогвардейцу». Кажется, чем можно было пронять новую власть? По стране бушевали крестьянские восстания и подавлялись, и снова разгорались с высшей степенью озверения и с одной, и с другой стороны… Ко всему можно было бы привыкнуть.

Можно было бы… Да при всём том — не привыкалось. Герои «красного террора», солдатики, стрелявшие в своих же земляков, в неостановимом революционном порыве мечтавшие дойти «хоть до Перу, хоть до Ганга» — долго ещё потом бились в падучей (в прямом и в переносном смысле), продолжали жить с повреждёнными душами и быстро успокаивались, не доживая своего жизненного срока, либо их *успокаивали* навсегда где-нибудь в Бутове или в общих могилах при Донском монастыре… Так или иначе, политбюро, не на шутку встревоженное, приняло тогда решение о прекращении дальнейших изъятий церковных ценностей.

Ленин на этом заседании не присутствовал. Узнав о решении, он продиктовал своё ныне знаменитое секретное письмо — инструкцию по уничтожению духовенства.

«Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратегическую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадёжна и особенно не выгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не

тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету».

И далее — формулируется главная цель: ради чего должна быть произведена эта «операция». Ни слова в этом письме не сказано о собирании средств ради помощи голодающим. Речь совершенно о другом.

«Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало… Никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил нам нейтрализацию этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне…»

И далее — разъяснение средств к кратчайшему достижению цели:

«Официально выступить с какими то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, — и никогда и ни в каком случае не должен выступать в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменена. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретная, противник, конечно, скоро узнает)…

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными

работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…»

Нет, что ни говори, человек был гениальный. В любой проигрышной для себя ситуации — будь то решение о вооружённом восстании, заключении Брестского мира или войны с религией — он находил единственно верное решение. И здесь, как и в случае с вооружённым восстанием: «Сегодня рано, а завтра — поздно». И здесь, как и с Брестским миром — против политбюро, — и полная победа над большинством. Формулировки безукоризненны с точки зрения поистине дьявольской логики, средства достижения цели обозначены с предельной чёткостью. А главное — абсолютно точное понимание ситуации и абсолютная решимость в главном вопросе: «Цель оправдывает средства».

И чрезвычайно интересный нюанс. «Секретная телеграмма» должна стать известной «именно потому, что она секретная». А это секретное письмо так и осталось секретным. И не помогло никакое выдвижение Калинина на передний план вместо Троцкого, который уже достаточно «засветился»…

А Ленин — так и остался спасителем в глазах миллионных масс. Он им и был в годы Гражданской войны. Но на лик спасителя не должно было лечь ни одного тёмного пятна. Все телеграммы и письма с требованиями расстрелов спокойно публиковались в издававшихся и переиздававшихся собраниях сочинений. Но это письмо было спрятано за семью замками.

И ещё кажется, что в этом письме, помимо всего прочего, содержится едва ли не прямой ответ на послание митрополита Вениамина. Во всяком случае, эти два документа словно нарочно ложатся рядом для обозначения жесточайшего бытийного и человеческого контраста.

Теперь расстреливать священнослужителей стали уже не в порядке ожесточённого своеволия против православия, а на основании ленинского письма. И это деяние, кто бы что бы ни думал, не прошло для вождя без последствий.

В том же марте один припадок начинает сменять другой. 25 мая новый приступ (склероз сосудов мозга) привёл к частичной

потере речи.

Он ещё успеет, оправляясь от болезни, санкционировать высылку из России двухсот враждебно настроенных против власти интеллигентов, в том числе и своих личных противников вроде Николая Бердяева и Ивана Ильина (как бы в контраст с расстреливаемыми митрополитами, архимандритами, настоятелями, духовными профессорами, которым никакая высылка не «грозила»). Он ещё успеет отвергнуть сталинский план «автономизации» и обосновать идею создания Союза Советских Социалистических Республик, и это приведёт почти через 70 лет к развалу государства. Он ещё успеет поучаствовать на расстоянии в противостоянии Сталина и Орджоникидзе, с одной стороны, и грузинских национал-шовинистов — с другой, причём обвинит Сталина в великорусском национализме. Он ещё успеет продиктовать серию статей, где предлагал расширить состав ЦК за счёт рабочих и крестьян — что не было выполнено, и текст так называемого «завещания» был препарирован и искажён до такой степени, что историки потом не смогут определить — что здесь от Ленина, а что от его так называемых «преемников».

* * *

Всё это нарастающей волной дошло до «глухой» Вытегры, которая якобы, по словам Клюева, «не слышала урагана»…

Мотив голода в стране и мотив конфискации церковных ценностей сливались в один.

«Трудовое слово» от 22 апреля 1922 года:

«ЦЕННОСТИ — ГОЛОДАЮЩИМ!

В Уральске скопилось 8000 голодающих детей. Приток бесприютных детей в Уфе ежедневно до 200 человек. В Немкоммуне на Волге насчитывается 26 000 детей, не получающих никакого питания. Трупы умерших от голода лежат недели…

В деревнях находят мёртвых матерей, крепко держащих в своих объятьях ещё живых детей. Нансен заявил, что мародёрство и трупоедство принимают массовый характер…

Здесь уже не говорят. Уже не стонут. Тишина кладбища. Жуть одной общей братской могилы. И эти страшные, открытые глаза мертвецов, застывшие с немым укором…

В *хлебе* спасение Поволжья. В *хлебе* — победа.

Церковь полна серебром и многими ценностями.

Тот, кого называют своим учителем и богом, велел голодного накормить, неимущему отдать последнюю рубашку; он не сказал,

что сокровища всего мира не стоят души одного умершего человека; а тех, которые строят гробницы пророкам и памятники, очищают внешность чаши и блюда, между тем как оставили главное в законе — милость, и внутри полны хищения и неправды, он назвал — повапленными гробами».

И тут же — воззвание петроградских священников о помощи голодающим. Имена этих пастырей уже были хорошо известны: обновленцы Введенский, Красницкий и их соратники.

…«Двенадцать снов царя Мамера» вспомнит Клюев в «Песни о Великой Матери». Давно известно ему это сказание, списанное с Кирилло-Белозёрского списка, книга, пришедшая из Сербии, а туда пришедшая из Индии через Иран и Византию, повествующая о снах-загадках царя города Ириин Шахаиши и толкованиях раба-философа Мамера на эти сны. Он сам видит вещие сны, рассказывает их Коленьке Архипову и сам пытается разгадать их смысл, а мрачные пророчества из «Сказания» не отпускают и мнятся сбывшимися. «И рече Мамер: приидет година тя злая иереи всех начнут учити закону, а сами закона не брегоуще ходят… цари будут борзи и восстают царь на князя, а князь на царя и крамолу сотворят. И друг другу будет враг и мятежно вельми, и пролиется кровь человеческая. И тогда восплачутся мнозие горько; и восстанет господин на раба и раб на господина, а старцы на старца, а сосед на соседа… судьи неправедные начнут судити по мзде, а не по правде: виноватого оправдают, а правого обвинят…»

…О чём он думает, читая этот древнейший текст? О том, как церковь — инструмент государства — была на стороне сильного, а не слабого? И за это — страшное возмездие ей ныне? Или о том, как отшатнулись от церкви толпами, слоями, стали искать «истинного Христа», впадая в ереси и в полное безбожие? И за это — возмездие им всем? Сам же был против старой власти — и в тюрьме сидел, и под наблюдением полицейским сколько лет ходил… Дождался — вот оно, счастье народное! Сошло с креста русское слово! Чтобы вновь распятым быть, как вещал Христос, явившийся Петру, когда тот уходил из Рима… «Развенчана мать-красота»… Да не сам ли пророчествовал ещё в 1917-м: «Чашу с кровью, всемирным причастьем / Нам испить до конца суждено»?

Тяжкие думы одолевают, вопрошает-вопрошает — и нет ответа.

…Он уехал в Питер в августе 1922 года, повёз с собой для издания «Мать-Субботу» и макет исправленного, подготовленного к переизданию «Львиного хлеба».

Он прибыл в Петроград 13 августа, в тот самый день, когда был расстрелян митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин

вместе с архимандритом Сергием (Шейным), юристами — профессором Юрием Новицким и Иваном Ковшаровым после почти двухмесячного судебного процесса.

* * *

Недолго пробыл Николай в Петрограде. В день отъезда он пришёл ещё раз в «Вольфилу» на очередной вечер памяти Блока, где Иванов-Разумник читал отрывки из «блоковского дневника» Андрея Белого, пребывавшего в это время в Берлине. Со смешанным чувством собравшиеся слушали, с неуютом, с тревогой неявленной.

«Соня Каплун мне сейчас рассказала про один разговор её с А. А. Блоком о „Двенадцати“. Она: „В Киеве считают вас в ‘РКП’“? Блок: „Как, неужели меня считают коммунистом?“ (Сказал с мрачной горестью.) Она: „Нет, я вовсе не вижу в ‘Двенадцати’ никакой партийности и менее всего коммунизма, но я вижу октябрь“. Блок: „Как я рад, что, наконец, это начинают понимать!“ Блок до конца остался при „Двенадцати“, но никогда ничего общего не имел с коммунизмом…»

…Через Петрозаводск Николай добрался до родной и становившейся всё более чужой и чуждой ему Вытегры. Наслушался о своей поэзии, о своих новых вещах в это посещение бывшей столицы. Наслушался — и делился теперь заветным с Коленькой Архиповым:

— Разные учёные люди читают мои стихи и сами себе не верят. Эта проклятая порода никогда не примирится с тем, что человек, не прокипячённый в их ретортах, может быть истинным художником. Только тогда, когда он будет в могилке, польются крокодиловы слёзы и печати, и общества; а до тех пор доброго слова такому, как я, художнику, ждать нечего. Скорее наши критики напишут целые книги про какого-нибудь Нельдихена или Адамовича, а написать про меня у них не поднимается рука. Всякому понятно, что всё то, чем они гордятся, самое их потаённое, давно уже мной проглочено и оставлено позади себя. Сказать про это вслух нашим умникам просто опасно: это значит похерить самих себя, остаться пустыми бочками, от которых по мостовой шум и гром, а доброго вина ни капли.

Говорил без злорадства, без раздражения, с тихой печалью, как о чём-то давно понятом про себя самого.

Вспомнил блоковский вечер. И как-то само произнеслось с раскавыченной блоковской строкой:

— Не хочу быть литератором, только слов кощунственных

творцом. Избави меня Бог от модной литературщины! То, что я пишу, это не литература, как её понимают обычно.

Белый, некогда близкий и пытливый собеседник, стал теперь совершенно чужим.

— Наша интеллигенция до сих пор совершенно не умела говорить по-русски; и любая баба гораздо сложнее и точнее в языке, чем «Пепел» Андрея Белого.

…Стол в горнице, простая небогатая трапеза. Они вдвоём сидят под киотом, под Спасом дониконовского письма, неторопливо вечеряют, душевно беседуют, словно чувствуя, что недолго осталось.

Тогда же и написались стихи, печальные стихи, в которых кроме Николая Архипова — его одиннадцатилетний сын Илья. И Клюев обращается к другу:

Чёрный ангел станет у двери
С рогатым тяжёлым ковшом,
Чтоб того, кто любви не верил,
Напоить смердящим вином,

Чтоб того, кто в ржавых просонках
Не прозрел Господних чудес,
Укачал в кровавых пелёнках
С головой ослиною бес:

«Баю-бай, найдёныш любимый,
Не за твой ли стыд и кураж —
Ворота Четвёртого Рима
Затворил белокрылый страж?..»

Печаль от кратковременности счастья, от ощущения быстротекущей жизни оборачивается ужасом от пришедшего видения. Ничего не мог в точности знать Клюев наперёд, но как прозрел внутренним взором «чёрного ангела» у двери друга, не верящего любви…

Уже в 1937 году, обороняясь от наветов, арестованный Николай Архипов напишет письмо В. Бонч-Бруевичу, оправдываясь в своём знакомстве с Клюевым, который, погибающий в Томске, воспринимался уже буквально как прокажённый. И вот что писал Архипов:

«С поэтом Клюевым я познакомился в 1918 г. в бытность мою в Вытегре (бывш. Олонецкой губернии). Я ещё в университетские годы занимался вопросами искусства и на этой почве, в обстановке уездной глуши, произошло моё сближение с поэтом

Клюевым. Писал он в те годы (я полагаю, под моим влиянием) много революционных стихов и гимнов, но позднее, после переезда в Ленинград, когда мы оказались разобщёнными (я работал в Петергофе), он попал под чуждые влияния, и наши отношения вступили в полосу охлаждения и окончательно порвались с переездом Клюева в Москву… Знаю, что позднее он был выслан из Москвы в Сибирь, но за что и где находится в настоящее время — мне неизвестно. Моего знакомства с ним я скрывать не имел основания, и в 1930 г. я давал сведения в Ленинградское отделение НКВД о его творческой работе и окружающей его среде…»

К оперативным материалам на Клюева у нас доступа нет, и что это были за донесения Архипова — неизвестно.

«Чёрный ангел» скоро навестил и Клюева. В июне 1923 года поэт был арестован в Вытегре. «Дело», заведённое на него, нам неизвестно, но нетрудно предположить, что оно впрямую связано с изъятием церковных ценностей, тех, которые Николай пытался, по возможности, спасти из разоряемых церквей… Обвиняли его в воровстве? В утайке золота и серебра от голодающих крестьян? Или обвинение было куда более серьёзным?

Так или иначе, но Клюев был препровождён в Петроград на знаменитую Гороховую улицу, мелькнувшую когда-то у него в «ленинском» цикле в соединении с любимой птицей Максима Горького.

> Чу! Кричит буревестник… К Гороховой, 2
> Душегубных пучин докатилась молва.

Докатилась…

Глава 24
БАСНЯ И БЫЛЬ О ЕСЕНИНЕ

Крик. Крик и холод. Холод, выевший, словно зверь, внутренности, сменился адской жарой. Дышать было нечем, и казалось, что капли не пота, а крови проступают сквозь кожу.

Это была «пробковая камера», в которой Клюеву довелось пробыть три дня, о чём он потом с непреходящим ужасом рассказывал Архипову: «Много горя и слёз за эти годы на моём пути было. Одна скорбь памятна. Привели меня в Питер по этапу, за секретным пакетом, под усиленным конвоем. А как я перед властью омылся и оправдался, вышел из узилища на Гороховой, как веха в поле, ни угла у меня, ни хлеба…»

Кто допрашивал Клюева и на какой предмет — не установлено по сей день. Принимал ли участие в допросах сам начальник Петроградского ГПУ Станислав Мессинг? Что из поэта пытались вытрясти? И как именно он «омылся и оправдался»?

Арест был, безусловно, связан с кампанией по ограблению церквей. Сестра Клюева Клавдия Расщеперина рассказывала потом Есенину, что «Клюев был комиссаром по отбиранию церковных ценностей, что-то оказалось нечисто… и его посадили» (это известно со слов Галины Бениславской). Доверять подобным свидетельствам нет никакой возможности — Клавдия давным-давно разорвала отношения с братом, как «не ледащим и не путящим», да ещё и на пару с мужем обокрала его. Бениславская Клюева вообще ненавидела лютой ненавистью. Есенин же иной раз обронял нечто похожее со слов Клавдии, не задумываясь особо о достоверности сообщаемого.

Клюев, очевидно, входил в некую комиссию по изъятию ценностей, но если он и состоял в ней, то лишь с одной-единственной целью: спасти то, что можно спасти. Ведь при погроме храмов с икон обдирались золочёные ризы, а сами иконы или тут же летели в огонь, или забирались иными «уполномоченными» для развлечения в импровизированных «тирах» (подобный «тир» стоял, в частности, в личной бане Генриха Ягоды).

Что-то страшно-провидческое происходило на глазах Николая.

«Кровь русского народа на воздухах церковных…» Так писал он в 1919-м, в «Сдвинутом светильнике». В стихах того года ещё и похлеще было:

За праведные раны,
За ливень кровяной
Расплатятся тираны
Презренной головой.
Купеческие туши
И падаль по церквам,
В седых морях, на суше
Погибель злая вам!

(Как нарочно, перепечатка именно этих стихов в «Трудовом слове» в 1923-м стала его последней прижизненной публикацией в вытегорской печати.)

И ныне, видя своими глазами эту «злую погибель», словно в перевёрнутом зеркале, он видел и стародавние события знаменитого зорения Выговской пустыни и Иргизских скитов в конце царствования Николая I. «…Все эти очаги русской культуры были по инициативе и настоянию официальной иерархии разорены и разграблены. Старая Русь пережила новое нашествие варваров. Старообрядцы были поставлены вне закона, и с ними и с их имуществом могли делать всё что угодно».

Так писал в 1916-м Иван Кириллов, приводя в подтверждение слова Даниила Мордовцева: «Недаром до сих пор саратовские старожилы, которые помнят, когда и как уничтожались Иргизские скиты, рассказывают, что некоторые из мелких официальных лиц, принимавших участие в фактическом уничтожении скитов, набивали громадные сундуки серебряными ризами от ободранных икон и другими сокровищами, скопленными раскольниками».

И ныне «поживлялись» многие на разграблении церквей. А Клюев, видя, как превращаются в щепу и сгорают целиком иконы и старого, и нового письма, пытался сохранить, что мог.

И не смел подумать о некоем свершающемся «справедливом возмездии». Видел: новые варвары сменились варварами новейшими.

Рушили, не ведая сомнений. Спорадически, судорожно. Первая кровавая увертюра к грядущему «штурму небес».

Блузник сапожным ножом
Раздирающий лик Мадонны —
Это в тумане ночном
Достоевского крик бездонный.

И ныряет, аукает крик —
Черноперый колдующий петел…

Неневестной Матери лик
Предстаёт нерушимо светел.

…В конце 1921 года Клюев, созерцая нараставшую антиправославную смертоносную волну, писал начало огромной «словесной иконы», так и оставшейся незавершённой, воплотившей красу древней иконописи, что творила в его слове «артель» природных сил стародавней Руси.

Имена — в сельделовы озёрные губы,
Что теребят, как парус, сосцы красоты…
Растрепала тайга непогодные чубы,
Молотя листопад и лесные цветы, —
То горящая роспись «Судище Христово»,
Зверобойная желть и кленовый багрец.
Поселились персты и прозренья Рублёва
Киноварною мглой в избяной поставец.
«Не рыдай мене Мати» — зимы горностаи,
Всплески кедровых рук и сосновых волос:
Умирая в снегах, мы прозябнем в Китае,
Где жасмином цветёт «Мокробрадый Христос».

Всеми возможными способами он собирал осквернённые, а иной раз и покалеченные иконы, приносил их домой, реставрировал (он и это умел делать!), приводил в Божий вид, устанавливал на своём домашнем киоте, складывал в заветный сундучок… И, конечно, нарвался на донос — как и в ситуации с разбором его «партийного дела».

«Ибо я услышал толки многих; угрозы вокруг; заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мной в мире, сторожат за мной, не споткнусь ли я; может быть, говорят, он попадётся, мы одолеем его и отмстим ему» (Книга пророка Иеремии).

Только и было на уме, что молитва да жажда «отмыться и оправдаться…».

Оправдался. Как? Пока неизвестно. А, впрочем, может быть, и известно.

Шестнадцатым августа 1923 года датируется секретный циркуляр за подписью Сталина, содержащий следующие положения: «ЦК предлагает всем организациям партии обратить самое серьёзное внимание на ряд серьёзных нарушений, допущенных некоторыми организациями в области антирелигиозной пропаганды и, вообще, в области отношений к

верующим и их культам…» При этом, в частности, предписывалось:

«…воспретить закрытие церквей, молитвенных помещений… по мотивам неисполнения административных распоряжений о регистрации, а где таковое закрытие имело место — отменить немедля…

…воспретить аресты „религиозного характера“, поскольку они не связаны с явно контрреволюционными деяниями „служителей церкви“ и верующих…

…разъяснить членам партии, что наш успех в деле разложения церкви и искоренения религиозных предрассудков зависят не от гонений на верующих — гонения только укрепляют религиозные предрассудки, — а от тактичного отношения к верующим при терпеливой и вдумчивой критике религиозных предрассудков, при серьёзном историческом освещении идеи бога, культа, религии и пр.».

Этот секретный циркуляр прямо противоречил «секретному письму» Ленина и был направлен во все партийные организации тогда, когда Ленин уже не мог оказать ему никакого противодействия. Сейчас уже вряд ли можно предположить, сколько человеческих жизней было спасено тогда этим документом. Во всяком случае в Петрограде к нему отнеслись со всей серьёзностью. Почти наверняка именно благодаря ему Клюев был выпущен на свободу и — даже — сумел сохранить свои сокровища: старинные книги и древние иконы.

Документ этот стал известен лишь недавно — гораздо позже ленинского письма. И, насколько мне известно, не фигурировал ни в каких основательных исторических сочинениях, не говоря уже о всевозможной исторической беллетристике.

…Вышел Николай из тюрьмы, и, как рассказывал Архипову, далее — «повёл меня дух по добрым людям; приотъелся я у них и своим углом обзавёлся».

«Добрым человеком», благодаря которому Клюев обзавёлся своим «углом», был давний знакомый Илья Ионов, стихотворец, издатель, шурин всесильного диктатора Петрограда Григория Зиновьева. Он выделил Клюеву комнату на улице Герцена (бывшей Большой Морской) в доме 45.

Не просто с жильём помог. Ещё и договор подписал на книгу стихов «Ленин» объёмом «в 609 стихотворных строк» с условием выдачи аванса «в размере 25 %». Правда, на аванс рассчитывать особо не приходилось. Ионов имел репутацию чрезвычайно прижимистого издателя, который может много пообещать и немного при этом сделать.

Перевёз Николай свой скарб из родной и немилой Вытегры,

перевёз и расставил всё в полуподвальной комнатке так, что стала похожа она на любимую крестьянскую избу. Многие, входившие в неё, позже вспоминали, что словно попадали в иной мир… На домашнем киоте — иконы дониконовского письма: Зосима и Савватий Соловецкие держат в руках городок с церквами; Богоматерь является Сергию Радонежскому; Авраам, Исаак и Иаков держат в руках души в белых хитонах… Складень Феодоровской Божьей Матери, Успение, иконы Спаса Богородицы и Иоанна Предтечи. Серебряная лампадка над ними. Старый расписной стол занимал большую половину комнаты, а отдельно в уголочке стоял чёрный столик с точёными ножками, на котором Клюев разложил свои «университеты» — рукописные книги в кожаных переплётах с медными застёжками: «Апостол» с толкованием, «Поморские ответы», «Стоглав», Кормчая книга, Евангелие, Месяцеслов и Библия на немецком языке. В отдельном деревянном сундуке хранилась одежда и отдельно — материнские рубашки и платки, память о вечно любимой родительнице.

«В обиходе я тих и опрятен. Горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и лоснится. Лавка дресвяным песком да берёстой натёрта — моржовому зубу белей не быти…»

Перевести бы дух Николаю — крыша, слава богу, над головой есть. В городе не больно-то любимом, да хорошо знакомом — где его литературная слава началась. Где его хвалили, потчевали… Где завидовали и в спину шипели… А жить на что-то было надо.

Берлинское издательство «Скифы» выпустило ещё три года тому «Избяные песни» и «Песнь Солнценосца» — денег оттуда Клюев так и не дождался.

А по Питеру ходила про него всякая собачья чушь, которую охотно подхватывали талантливые любители сплетен.

«Утром встретил Брашниговскую, — записывал в дневнике Михаил Кузмин, — кланяется от Клюева, говорит, что тот написал хлыстов<ские> песни, его два раза арестовывали, и теперь он сидит в Госиздате. Если бы не шарлатан, было бы умилительно».

Отношение к Клюеву, как к шарлатану, сформировалось давно. «Шарлатан» буквально нищенствовал — и это была общая участь многих тогдашних писателей.

Из дневника Корнея Чуковского от 14 октября 1923 года: «На лицах отчаяние. Осень предстоит тугая. Интеллигентному пролетарию зарез. По городу мечутся с рекомендательными письмами тучи ошалелых людей в поисках какой-нибудь работы. Встретил я Клюева, он с тоской говорит: „Хоть бы на ситничек заработать!“ Никто его книг не печатает. Встретил Муйжеля, тот

даже не жалуется, — остался от него один скелет суровый и страшный… Что делать, не знает. Госиздат не платит, обанкротился. В книжных магазинах, кроме учебников, никто ничего не покупает. Страшно…»

А когда Чуковский вместе с Ахматовой и Евгением Замятиным взялся составлять список нуждающихся русских писателей — ни Ахматова, ни Замятин не назвали ни одного имени. Словно впали в ступор. Чуковский сам взялся за дело и означил имена Муйжеля, Ольги Форш, Сологуба, Николая Тихонова, Иванова-Разумника, Ахматовой и даже столь нелюбимой им Лидии Чарской. О Клюеве он и не вспомнил.

…Кроме «Ленина» Николай пытался переиздать «Львиный хлеб» в новой композиции. Ничего из этой попытки не вышло, хотя писатели и пытались помочь. Константин Федин писал Павлу Медведеву:

«Уважаемый Павел Николаевич!

Сообщите, пожалуйста, Н. Клюеву, что при „Круге“ в начале наступающего литературн<ого> сезона организуется автономная секция писателей, которые будут именоваться, вероятно, „крестьянскими“. Секцию организует Серг<ей> Есенин, который имеет в виду пригласить Клюева войти членом в эту организацию. Я прошу со своей стороны Клюева войти в непосредственные или через „Круг“ сношения с Есениным касательно издания у нас клюевского дополненного „Львиного хлеба“…»

Это при том, что в списке всех более или менее известных писателей, составленном Воронским для возможного издания в «Круге», Клюев не числился вообще — даже в разделе «крестьянских писателей и поэтов», где фигурировали и Есенин, и Клычков, и Орешин. Да и к ним отношение было в лучшем случае снисходительное. Над поэмой Александра Ширяевца «Мужикослов» цинично издевались, называя её «Мужик ослов». На Клюева — тем более не рассчитывали.

Медведев показал это письмо Николаю… Вот и Серёженька дал о себе знать! Кто же поможет, как не он?

Как рассказывал потом Клюев Архипову под запись последнего: «Раскинул розмысли: как дальше быть? И пришло мне на ум написать письмо Есенину, потому как раньше я был наслышан о его достатках немалых, женитьбе богатой и лёгкой жизни. Писал письмо слезами, так, мол, и так, мой песенный братец, одной мы зыбкой пестованы, матерью-землёй в мир посланы, одной крестной клятвой закляты, и другого ему немало написал я, червонных и кипарисных слов, отчего допрежь у него, как мне приметно, сердце отеплялось».

Есенин же в это время по возвращении из-за границы буквально не знал покоя. Разорвав отношения с Дункан, пресекши прежнюю дружбу с Мариенгофом, бездомный, бесприютный — он жил в переполненной квартире у своей подруги Галины Бениславской и мечтал издавать свой собственный журнал. Возобновил отношения с прежними друзьями — Сергеем Клычковым, Петром Орешиным, Пименом Карповым, приехавшим в Москву Александром Ширяевцем. Пришёл на приём к Троцкому с разговором о журнале, который должен называться «Россияне» — в новой России должна в полный голос заговорить «крестьянская купница». Наркомвоенмор с дьявольской ухмылкой дал добро: дескать, дерзайте, издавайте, но ответственность всю — политическую и финансовую — берите на себя… Есенин ощутил холод «каменной десницы», почувствовал, что это «покровительство» не сулит ничего доброго — и отказался.

Тем не менее мысли о журнале не оставил. Рассчитывал выпускать его при Госиздате на правах «самостоятельной сметы» объёмом 30 печатных листов. Жаждал быть единоличным редактором — и тут же столкнулся с сопротивлением Клычкова и Орешина, которые хотели равных прав в отборе материала.

И тут — приходит письмо от Николая.

«Письмо это было от поэта Н. Клюева, — вспоминал Семён Фомин, — который жаловался Есенину на своё тяжёлое положение, упоминал про гроб, заступ и могилу». Анна Назарова, подруга и соседка Бениславской по квартире, воспроизвела по памяти отдельные строки: «Умираю с голоду, болен. Хочу посмотреть ещё раз своего Серёженьку, чтоб спокойней умереть». Серёженька взбудоражился, разволновался. Бросил все дела и отправился в Питер в сопровождении Ивана Приблудного, Александра Сахарова и Иосифа Аксельрода — прихлебателя и собутыльника, волочившегося в этот период за Сергеем, как хвост за собакой. Отправилась весёлая компания так: безденежный Есенин и Приблудный в жёстком сидячем вагоне, денежный Сахаров и Аксельрод — в мягком.

Раздребеженный Есенин, пытающийся успокоить себя алкоголем и оттого ещё более взвинченный, весь был на нервах от мысли, что сбываются самые дурные его предчувствия, которые он, возвращаясь из Америки, излагал в письме Кусикову («Теперь, когда от революции остались только х…й да трубка, теперь, когда жмут руки и лижут жопы тем, кого раньше расстреливали, чувствую, что и я, и ты будем той сволочью, на которую можно всех собак вешать. Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Знаю только, что ни к февральской и ни к октябрьской. Наверное, в нас скрывался и скрывается какой-

нибудь ноябрь…»)… Эх, не в этом бы состоянии встречаться ему с Николаем. Ну да в таких случаях не выбирают. И встретились…

«В городе дни — чердачные серые кошки, только растопляю я раз печку: поленья сырые, горькие, дуну я на них, глотаю дым едучий, — вспоминал Клюев. — Выело у меня глаза дымом, плачу я, слёзы с золой мешаю, сердцем в родную избу простираюсь, красную лежанку вспоминаю, избяной разорённый рай… Только слышу, позад меня стоит кто-то и городским панельным голосом на меня, как на лошадь, нукает: „Ну, ну!“ Обернулся я, не признал человечину: стоит передо мной стрюцкий, от каких я на питерских улицах в сторону шарахаюсь. Лицо у него не осеннее и духом от него тянет погибельным, нос порошком, как у ночной девки, до бела присыпан и губы краской подведены. Есенин — внук Коловратов, верба рязанская!»

Несколько лет они не виделись. И страшные предчувствия Клюева, мнилось, оправдываются. «Какая ужасная повесть!» Продаёт Серёженька, как баба, поэзию — и сам на продажного стал похож. Верные слухи дошли!

Оба помнят прежнюю дружбу, любовь, духовное единение. Клюев для Есенина — по-прежнему учитель. Есенин для Клюева — певущий лик, верба рязанская… Смотрят друг на друга — и узнают, и не узнают. Что-то необратимо изменилось в каждом. И каждый понимает, что теперь — с ним, с переменившимся старым другом, идти одной дорогой. Долгой ли, короткой ли…

А у Клюева ещё и мысль: вот она, жизнь лёгкая, достаток немалый к чему привёл… Не имел он никакого реального понятия о есенинской жизни и его «достатке»…

«Поликовался я с ним как с прокажённым; чую, парень клятву преступил, зыбке своей изменил, над матерью-землёй надругался, и змей пёстрый с крысьей головой около шеи его обвился, кровь из горла его пьёт. То ему жребий за плат Вероники; задорил его бес плат с Нерукотворным Ликом России в торг пустить. За то ему язва: зелёный змий на шею, голос вороний, взгляд блудный и весь облик подхалюзный, воровской. А как истаял змиев зрак, суд в сердце моём присудил — идти, следа не теряя, за торгашом бисера песенного, самому поле его обозреть; если Бог благословит, то о язвах его и скверностях порадеть…»

«Пилою-рыбой кружит Есенин меж ласт родимых, ища мету», — вспомнилось из «Четвёртого Рима».

* * *

Чем дальше вспоминал Клюев про этот приезд Есенина — тем

чернее краски наслаивались, тем жутче реалии становились, тем кошмарнее образы наплывали один на другой.

«Налаял (выделено мной. — *С. К.)* мне Есенин, что в Москве он княжит, что пир у него беспереводный и что мне в Москву ехать надо».

А Есенину нужно было залучить Клюева. Как поддержку, как опору в дальнейших литературных боях. Не думал и думать не хотел, что Клюев здесь, в литераторских ристалищах — не боец. Рассчитывал на него, как на старого друга — после всех полемик, ссор и охлаждений. И могла бы дружба эта обрести новое качество, — да не в той атмосфере, в какой оказались в Москве оба. А главное для самого Николая — полная потеря Есениным самого себя, прежнего. Сквозь «блудную» оболочку — чёрный лик его глазам проступил.

О путешествии из Петербурга в Москву вспоминал: «… схвачен человек железом и влачит человека железная сила по 600 вёрст за ночь». И под стать железной силе — «чёрный» Есенин, который «лакал винища до рассветок», «проезжающих материл, грозил Гепеу… дескать, он, Есенин, знаменитее всех в России, потому может дрызгать, лаять и материть всякого».

В глазах Николая друг его — уже почти не человек. И одна мука для Клюева сменяет другую: друг его «всякие срамные слова орал», пока на извозчике к дому не подъехали. А подъехали — так окунулись в есенинский — натурально бесовский — быт. Дескать «встретили… девки, штук пять или шесть, без лика женского, бессовестные. Одна, в розовых чулках и в зелёном шёлковом платье, есенинской насадкой оказалась» (так Клюев Бениславскую «аттестовал»). В ужас пришёл Николай «от публичной кровати», а ночью, после угощения, снилась ему «колокольная смерть. Будто кто-то злющий и головастый чугунным пестом в колокол ухнул», — проснулся «с львиным рыком в ушах» оттого, что «мой песенный братец над своей половиной раскуражился». И тут в своих видениях Клюев уже не знает удержу: мнится ему, что Есенин «голый, окровавленный, по коридору бегает, в руках по бутылке. А половина его в разодранной и залитой кровью сорочке в чёрном окне повисла, стёкла кулаками бьёт и караул ревёт…». А тут ещё «мужчина костистый огромный… с револьвером в руке… по Есенину в коридоре стрелять начал…».

Послушаешь — так и в самом деле в ужас придёшь. Только волей-неволей обращаешься к заголовку архиповской записи, явно продиктованной Клюевым: «Бесовская басня про Есенина».

Мало того что «басня». Клюев сам прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что бес его водил, крутил, путал — когда он вспоминал гощение у Есенина. Чёрные сущности всплывали в

памяти. И не до истины тут было. Бес нашёптывал — а Николай за ним повторял.

Хуже нет греха, чем на любимого друга, пусть и некогда любимого, наговорить. Тем более что в лишнем очернении есенинский быт той поры и так не нуждался. В тяжёлую обстановку угодил Клюев.

Никто, конечно, в квартире Бениславской ни над кем не куражился и не палил в Есенина из револьвера. Но от этого — всё равно не легче.

В квартире кроме Галины и её подруг — Анны Назаровой, Софьи Виноградской, Яны Козловской (которая уступила свою комнату Клюеву) — жили ещё Михаил Грандов и его жена Елена Кононенко (которую Грандов бешено ревновал к Есенину). Постоянно приходил безработный и такой же неустроенный Алексей Ганин, а вместе с ним — компания есенинских прихлебателей: Аксельрод, Марцелл Рабинович, неизменный Иван Приблудный… С журналом ничего не получалось, и друзья-приятели проводили время в «Стойле Пегаса», где Есенин, беря свою долю из выручки, расплачивался по всем счетам. О «Стойле» Клюев рассказывал Архипову уже в ритме бесовского удара копытом.

«С полуночи полнится верхнее стойло копытной нечистой силой. Гниющие девки с бульваров и при них кавалеры от 13-ти лет и до проседи пёсьей. Старухи с внучатами, гимназисты с *papá*. Червонец за внучку, за мальчика два.

В кругу преисподнем, где конские ядра и с мясом прилавки (грудинка девичья, мальчонков филей), где череп ослиный на шее крахмальной — владыка подпольный законы блюдёт, как сифилис старый за персики выдать, за розовый куст — гробовую труху, там бедный Есенин гнусавит стихами, рязанское злато за гной продаёт…»

Клюев, сидя за столом в компании, где вино лилось рекой и пили все, иной раз тайком, беря грех на душу, выпивал из есенинского бокала, чтобы другу меньше досталось. Смотрел на него, как на потерянного. Стороннему наблюдателю, зашедшему в «Стойло», вполне могло показаться, что Николай участвует в пьянке наравне с остальными. Ещё и тут нашёлся повод для разговоров о клюевском лицемерии.

Бениславская вспоминала, как Клюев, сбежавший от пьяной драки Есенина с Борисом Глубоковским, приключившейся в Союзе поэтов, «стал такие ужасы рассказывать, что всё в его повествовании превратилось в грандиозное побоище, я думала, что никто из бывших там в живых не останется, а через десять минут пришли все остальные как ни в чём не бывало». Ей

невдомёк было, что Николай видел во всём происходящем кривляние и гульбу бесов, покинувших людские оболочки, что натуральную кровь он не столько видел, сколько прозревал и знал, что все эти милые участники пьяных потасовок, погоняемые чертями, несутся сломя голову к адской пропасти.

Он прилагал все усилия, вопреки утверждениям той же Галины, чтобы не оставлять Есенина одного в «Стойле» и по возможности уводить его оттуда вовремя домой или в другое место, где никто не стал бы разливать водку. «Поэт Клюев, совсем не пивший или изредка пивший очень мало, неизменно уводил нас в вышеуказанное место в Брюсовском переулке (тогдашнее местожительство Есенина. — С. *К.)»,* — показывал Ганин после своего ареста по делу «Ордена русских фашистов» на допросе в ГПУ. Он же вспоминал, как Клюев увёл их в мастерскую Конёнкова, где собравшиеся обсуждали работы скульптора и говорили о высоком искусстве. А 25 октября они трое, Клюев, Есенин и Ганин, выступали в Доме учёных на «Вечере русского стиля». Как сообщила газета «Известия», «в старый барский особняк, занимаемый Домом Учёных, пришли трое „калик перехожих“, трое русских поэтов-бродяг… Выступление имело большой успех». Большой успех — мягко было сказано. Публика была совершенно ошарашена и покорена услышанным.

Клюев читал стихи из «Львиного хлеба», которые потом он объединил в цикл «Песни на крови».

Как в былом всхрапнуть на лежанке…
Только в ветре порох и гарь…
Не заморскую ль нечисть в баньке
Отмывает тишайший царь?

Не сжигают ли Аввакума
Под вороний несметный грай?..
От Бухар до лопского чума
Полыхает кумачный май.

И здесь воочию обозначилась пропасть между нынешним Клюевым и нынешним Есениным. Клюев от кошмара настоящего, опрокинутого в прошлое, в никонианскую эпоху, уходил к грядущим временам Воскресения мира… Есенин — весь был в кошмаре современности.

Клюев с опущенной головой слушал отчаянные есенинские выкрики в пространство.

И я сам, опустясь головою,

Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.

(Эта «мертвячина» потом и отзовётся в «Бесовской басне про Есенина».)

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Жалко им, что октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.

«Боже милостивый! Что ж он творит? Так и головы не снести. И сам на нож напорется…»

Дома Есенин просил Клюева ещё читать стихи. И Клюев читал, и собравшиеся вокруг женщины млели от восхищения, а потом, когда он уходил, ругмя ругали его: и обжора он (а они тут впроголодь живут), и ханжа, и подлец, и притворщик, и Есенину нашёптывает всякие юдофобские речи, разжигая в Серёже антисемитские настроения… Клюев в самом деле не скрывал своего отношения к происходящему. Рассказывал — кто и как допрашивал его во время ареста, что сажали его в тюрьму и держали в пыточной «пробковой камере» угнездившиеся в ГПУ «жиды», что вообще «жиды правят Россией». «Клюев… тихо, как дьячок великим постом, что-то читает в церкви, — писала потом Анна Назарова, — соболезновал о России, о поэзии, о прочих вещах, погубленных большевиками и евреями. Говорилось это не прямо, а тонко и умно, так что он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего…» Для Клюева ещё одна рана — невозможность толком поговорить с Есениным по душам. Девицы, как бы он любезно с ними ни обходился, — чужие. И их враждебность к себе он ощущал буквально кожей. И всё же пытался вылить Есенину свою боль.

Это была не только его боль. Любой думающий человек не мог не видеть, что происходит в стране. Замечательный востоковед Нина Викторовна Пигулевская писала в 1922 году: «Я в своё время исповедовала такое убеждение: коммунизм строит здание и строит без креста, но когда достроит до конца, мы сделаем купола, поставим крест и всё будет хорошо. Я так думала. Теперь иначе. Я знаю, что из ратуши церквей не делают. Теперь строится синагога сатаны, из которой — сколько колоколов ни вешай, ничего не сделать».

Кандидат в члены интеллектуального кружка, названного «Космической академией наук» (членом которого был, в частности, известный специалист по древнерусской литературе Д. С. Лихачёв), Д. П. Каллистов записывал в своём дневнике: «Кто они, эти пришельцы? Они действительно те, кто принёс нам „классовое сознание извне“, кто сотворил над русской бедной головой варварскую операцию, после которой и вода — суха, и жид — русский, и революция — величайшее завоевание, но только их, а не наше. Вот почему глубоко прав товарищ Преображенский, когда говорит, что контрреволюция — это антисемитизм. Прибавим то, чего не хватает в этой формуле и что из неё непременно следует: революция — семитизм. Характерно, что о том, что контрреволюция — антисемитизм, уже пишут в газетах, а о том, что революция — семитизм, русские ослы боятся и подумать… Если революция это власть жидов — к чёрту такую революцию, пора проститься. Пора понять, что происходит. Пора трезво отнестись к проекту палестинских жидов переехать на их настоящую родину, то бишь в нашу многострадальную матушку Русь…»

Пройдёт ещё несколько лет, и В. Вернадский напишет в письме И. Петрункевичу: «Москва — местами Бердичев; сила еврейства — ужасающая, а антисемитизм (в коммунистических кругах) растёт неудержимо».

Может быть, люди фантазировали? О какой фантазии может идти речь, когда со всех правительственных трибун неслись призывы к борьбе с «великорусским шовинизмом» и заявления, что русские должны поставить себя «в положение более низкое по сравнению с другими…». Церковный погром сопровождался введением цензуры — утверждением Главного управления по делам литературы и искусства, которое в первую очередь выискивало признаки всё того же «великорусского шовинизма». Началась чистка библиотек от религиозной и «шовинистической» литературы. И одновременно было утверждено положение об основании Соловецкого лагеря особого назначения. И всё это вместе взятое — сразу по окончании Гражданской войны.

Обоснование «новой политики» в соответствии с «новой экономической политикой» формулировалось в выступлениях на XII съезде РКП(б). Сталин обозначил две опасности — русский шовинизм и местные национализмы — при этом «во внутренней нашей жизни нарождается новая сила — великодержавный шовинизм, гнездящийся в наших учреждениях, проникающий не только в советские, но и в партийные учреждения»… И на этой «опасности», как «главной», делали упор все последующие ораторы: «…перед нами, как партией всероссийской, стоит именно вопрос о великодержавном шовинизме… Мы должны прежде всего отвергнуть „теорию“ нейтралитета… Это не значит, что мы пощадим местный шовинизм, но пропорция требует, чтобы мы прижгли прежде всего великорусский шовинизм» (Г. Зиновьев). «Пропорция требовала», по мнению Бухарина, «завоевать доверие других наций» именно борьбой с великорусским «шовинизмом», поскольку «нельзя даже подходить здесь с точки зрения *равенства* наций»…

Хорошее время выбрали собратья-писатели «из недр трудового крестьянства», чтобы создать свою группу и основать журнал «Россияне»!

Через год Алексей Ганин набросает тезисы под названием «Мир и свободный труд народам», где открытым текстом выскажется по поводу происходящего в стране.

«Вполне отвечая за свои слова перед судом всех честно мыслящих людей и перед судом истории, мы категорически утверждаем, что в лице господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности — средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников… Достаточно вспомнить те события, от которых всё ещё не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров оголтелые, вооружённые с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками банды латышей беспощадно терроризировали беззащитное сельское население… Наконец, реквизиции церковных православных ценностей, проводившиеся под предлогом спасения голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли голодной смертью целые сёла, разве не опустели целые волости и уезды цветущего Поволжья?.. Завладев Россией, она вместо свободы несёт неслыханный деспотизм и рабство под так называемым „государственным капитализмом“. Вместо законности — дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного строительства — разгром культуры и

всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости — неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда — труд государственных бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Всё многомиллионное население коренной России и Украины, равно и инородческое, за исключением евреев — брошено на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов…

Необходимо объединить все разрозненные силы в одну крепкую целую партию, чтобы её активная сила могла не только вести дальнейшую работу и противостоять не за страх, а за совесть враждебной нам силе, но сумела бы в нужный момент руководить стихийными взрывами восстания масс, направляя их к единой цели. К великому возрождению Великой России».

За этот текст Ганин заплатит самую дорогую цену. Ни Есенин, ни Клюев не видели его в письменном виде, но свои идеи Ганин, безусловно, обсуждал со своими друзьями. Зёрна падали на унавоженную почву — Есенин уже закончил вчерне «Страну негодяев», где главный её герой — Номах — произносит давно наболевшее, идущее от самого Есенина и перекликающееся по смыслу со словами Ганина:

Я верил. Я горел.
Я шёл с революцией.
Я думал, что братство
Не мечта и не сон.
Что все во единое море сольются,
Все сонмы народов, и рас, и племён…
Пустая забава.
Одни разговоры.
Ну что же?
Ну что же мы взяли взамен?
Пришли те же жулики,
Те же воры,
И вместе с революцией
Всех взяли в плен.

А черновой вариант стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» сохранила Галина Бениславская в своих записях:

Защити меня, влага нежная!
Май мой синий! Июнь голубой!

Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.

Всё это вместе взятое служит достаточным опровержением утверждения Бениславской, что во всех взрывах Есенина повинен Клюев с Ганиным в придачу (и это мнение до сего дня имеет своё хождение!). Ненависть Бениславской к Клюеву прорывалась иной раз так, что её бывший любовник Покровский, наслушавшись бабьих жалоб, ответил письмом, где предлагал буквально следующее: «Дошли до нас слухи, что ты неделю не будешь выходить из дома… не бегай по „стойлам“ и не устраивай „стойл“ у себя… Нужно подговорить Эстрина сломать поэту Клюеву шею или в крайнем случае набить морду…» (Кстати сказать, не отсюда ли у Бениславской в перевёрнутом сознании родилась в её воспоминаниях версия о том, как «есенинская компания» хотела «избить» её саму, чтобы оставить ненаглядного Сергея Александровича в своей власти и чтобы Галина Артуровна «не путалась под ногами»?)

Что же, Клюев этого всего не чувствовал? Не предугадывал? Не ощущал?

Да и само по себе пребывание в квартире у Галины чем дальше, тем больше становилось ему в тягость. Есенин не упускал случая подчеркнуть своё превосходство — поэтическое и мировоззренческое. Он, дескать, лучше понимает современность, чем Клюев — отставший, затерявшийся в исторических дебрях… Собственно, даже и подчёркивать этого было не надо. Просто тихо произнести, как само собой разумеющееся: «Какой он хороший… Хороший — но чужой. Ушёл я от него. Не о чем говорить стало. Учитель он был мой — а я его перерос…» Верно, ушёл — вот только куда? И перерос в чём-то, да во всём ли?

А тут ещё и Иван Приблудный вторил в письме к Бениславской. «…Всё дальше и дальше я вижу, как слаб мой (б<ывший>) Серёжа, а потом и Клюев, *который вообще от любого ветра СССР свалится* (выделено мной. — *С. К.),* а потом — что для меня всего больнее — я перестал верить, что ОН (С. Е.) вообще *считает меня талантливым…»* И далее — о Клюеве: «… встретил Клюева, во Христе человека безобидного…»

Читаешь эти слова — и всерьёз перестаёшь верить Бениславской, которая утверждает в своих воспоминаниях, что, дескать, Клюев «к Приблудному проникся ревнивой ненавистью», поскольку «в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному», а тот «поднял Клюева на воздух и хлопнул что есть мочи об пол»… Подобное, как длинный мерзкий шлейф,

ползло за Николаем десятилетиями и продолжает ползти по сей день. И сам он не мог не слышать ехидный шепоток за своей спиной, не видеть многозначительные переглядывания с ухмылочками окружающих.

Бениславская отмечала, что Есенин в это время «пускал пыль в глаза» насчёт своего мнимого богатства, и о его «безденежье» почти никто не догадывался… Можно себе представить реакцию Клюева, когда он убедился в том, что есенинский «пир беспереводный» и его «княженье» — и есть эта самая «пыль в глаза»… Знакомство Клюева с Дункан добавило масла в огонь. Теперь любое посещение Есенина с Клюевым дункановского особняка на Пречистенке воспринималось Галиной Артуровной как попытка Клюева «заменить для Дункан Есенина» — ни больше ни меньше!

А Николай просто не хотел и не мог «сидеть на шее» у женщин, ненависть которых к себе он ощущал на расстоянии. Дункан же была ему всегда рада (Есенин по-свойски объяснил, что Клюев — гениальный поэт: как бы ни складывались, точнее, рушились их отношения — он неизменно превозносил Клюева как художника и буквально одаривал им Изадору). И Клюев убедился, что в соответствии с давним сном Дункан «не такая поганая», как он думал. Мало того, чем дальше, тем больше он проникался душевно к этой безоглядной, по-европейски взбалмошной и чрезвычайно непростой женщине. Красоту — именно красоту, а не «красивость» — он умел ценить, как мало кто. А за доброе к себе отношение оставался неизменно благодарен.

Он даже отправил открытку с изображением Дункан Архипову с короткой припиской: «Сейчас узнал, что телеграмму тебе не послал камергер Есенина (имелся в виду Приблудный. — *С. К.)*. Я живу в непробудном кабаке, пьяная есенинская свалка длится днями и ночами. Вино льётся рекой, и люди кругом без креста, злые и неоправданные. Не знаю, когда я вырвусь из этого ужаса. Октябрьские праздники задержат. Вымойте мою комнату, и ты устрой её, как обещал. Это Дункан. Я ей нравлюсь и гощу у неё по-царски. Кланяюсь всем».

На открытке сама Дункан надписала на английском языке: «Доброму и прекрасному поэту Клюеву. Айс Дун.».

Есенин продолжал заботиться по мере сил — и о Ганине (уговорил Дункан дать денег на книжку его стихов — и последняя прижизненная книга Ганина «Былинное поле» вышла в Москве в 1924 году), и о Клюеве, которому он на свои деньги починил старую обувь (потом под перьями лихих мемуаристов эта история предстанет, как шитьё за есенинский счёт для Клюева новых шевровых сапог)… Николай, уставший от Москвы, в первых

числах ноября, ни с кем не простившись, уехал в Петроград.

…Он никогда не увидит больше Александра Ширяевца — тому останется жить меньше года. Он в последний раз видел Алексея Ганина, которого расстреляют через год с небольшим в Лубянском подвале. Он ещё увидится с Пименом Карповым, который едва ли узнает Николая, а может, и не пожелает узнать… Ему доведётся услышать об отречении от него, от Клюева, Петра Орешина…

Глава 25
«ОТЛЕТАЕТ РУСЬ, ОТЛЕТАЕТ…»

К началу 1924 года Клюев уже, можно смело сказать, — отрицательный герой современной русской литературы. Во всяком случае именно в таком виде он был подан в книгах Льва Троцкого «Литература и революция» и Василия Князева «Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)».

Троцкий, воздавая должное Клюеву как «мужику», предварительно «ощупывал» его со всех сторон, прикидывая — на пользу ли вообще революции этот поэт-мужик… «Именно на нём, на Клюеве, видим мы снова жизненную силу социального метода литературной критики… Индивидуальность Клюева находит себя в художественном выражении мужика, самостоятельного, сытого, избыточного, эгоистично-свободолюбивого… Мужик, сумевший на языке новой художественной техники выразить себя самого и самодовлеющий свой мир… мужик, пронёсший свою мужичью душу через буржуазную выучку, есть индивидуальность крупная — и это Клюев…» Прощупал. Вроде бы — определился. И всё же — что-то ускользает. Троцкий пытается пойти дальше: «Клюев не мужиковствующий, не народник, он мужик (почти)… Клюев учился. Где и чему, не знаем, но распоряжается он знаниями, как начётчик и ещё как скопидом. Крестьянин зажиточный, вывезя из города случайно телефонную трубку, укрепляет её в красном углу, неподалёку от божницы. Так и Клюев Индией, Конго, Монбланом украшает красные углы своих стихов, а украшать Клюев любит… Клюев хороший стихотворный хозяин, наделённый избытком: у него везде резьба, киноварь, синель, позолота, коньки и более того: парча, атлас, серебро и всякие драгоценные камни. И всё это блестит и играет на солнце, а если поразмыслить, то и солнце его же, клюевское, ибо на свете заправски существует лишь он, Клюев, его талант, земля его под ногами и солнце над головой…»

Типичное представление о Клюеве человека, который, не вчитавшись, пробежал глазами по поверхности стихи «Песнослова» и «Львиного хлеба». Но Троцкому не до «вчитывания». Троцкий пытается понять, можно ли из Клюева извлечь пользу. И приходит к выводу: нет, нельзя… «Клюев — поэт замкнутого и в основе своей малоподвижного мира, но всё же сильно изменившегося с 1861 года… Стихи Клюева, как мысль его, как быт его, не динамичны. Для движения в Клюевском стихе слишком много украшений, тяжеловесной парчи, камней

самоцветных и всего прочего…» (Глаза разбегаются, тут бы и собрать воедино все свои впечатления, увидеть внутреннее движение в этом кажущемся «застое» — куда там!)… «Клюев приемлет революцию, потому что она освобождает крестьянина, и поёт ей много песен. Но его революция без политической динамики, без исторической перспективы. Для Клюева это ярмарка или пышная свадьба… Клюев даже в те медовые дни так и этак прикидывал, не будет ли от всего этого ущерба его клюевскому хозяйству, то бишь искусству…» И главное — в финале. «Когда Клюев „подспудным, мужицким стихом“ поёт Ленина, то очень нелегко решить: Ленин это или… анти-Ленин? Двоемыслие, двоечувствие, двоесловие…» Для Троцкого вся образная система Клюева — тёмный лес, и он в бессилии опускает руки, зафиксировав «самое главное»: «Каков будет дальнейший путь Клюева: к революции или от неё? Скорее от революции: слишком уж он насыщен прошлым. Духовная замкнутость и эстетическая самобытность деревни, несмотря даже на временное ослабление города, явно на ущербе. На ущербе как будто и Клюев».

Интересно, однако, что Троцкий вывел Клюева из разряда «мужиковствующих», к которым отнёс Бориса Пильняка, Всеволода Иванова и Сергея Есенина. Для него это — «мужиковствующие интеллигенты», «юродствующие в революции»… Но то, что он пишет о них, как бы запрограммировано именно в его статье о Клюеве: «Мужик, как известно, попытался принять большевика и отвергнуть коммуниста. Это значило, по существу, что кулак, подминая под себя середняка, пытался ограбить историю и революцию: прогнавши помещика, хотел растащить по частям город и повернуть жирный тыл государству (так ведь и о Клюеве по сути то же самое: „Города Клюев не любит, городской поэзии не признаёт…“ — *С. К.)*… По существу же революция означает окончательный разрыв народа с азиатчиной, с XVII столетием, со святой Русью, с иконами и тараканами; не возврат к допетровию, а, наоборот, приобщение всего народа к цивилизации и перестройка её материальных основ в соответствии с благами народа. Петровская эпоха была только одним из первых приступочков исторического восхождения к Октябрю и через Октябрь далее и выше…»

Троцкий играл в свою игру. Определив Клюева (а вместе с ним и Есенина) как «литературных попутчиков революции», он, декларируя совершенно антиклюевскую программу, одновременно «отстранял» самого Клюева от крайностей «программы» «мужиковствующих» (сочинённой за них самим

Троцким) и рисовал своё идеальное «будущее», антагонистичное всему творческому миру именно Клюева: «Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всём её объёме, с тетеревами и осетрами, через машину. Он укажет, где быть горам, а где расступиться. Изменит направление рек и создаст правила для океанов… Останутся, вероятно, и глушь, и лес, и тетерева, и тигры, но там, где им укажет быть человек… Нынешний город преходящ. Но он не растворится в старой деревне. Наоборот, в основном деревня поднимется до города… А нынешняя деревня — вся в прошлом. Оттого её эстетика кажется архаичной, из музея народного искусства… Страсть к лучшим сторонам американизма будет сопутствовать первому этапу каждого молодого социалистического общества. Пассивное любование природой уйдёт из искусства. Техника станет гораздо более могучей вдохновительницей художественного творчества. А позже само противоречие техники и природы разрешится в более высоком синтезе…» Словно пересказывал своим суконным языком статью Бердяева «Дух и машина».

Вся эта по-своему «замечательная» программа станет дальнейшим руководством к действию для многих и многих на площадке уничтожения традиционных форм и сущностей жизни и возведения новых… Докатится волна и до клинической полемики «физиков» с «лириками» начала 1960-х годов, естественно, без упоминания Троцкого как такового… Но Троцкий на этом не остановился. Он продолжал развивать свою «утопию», отдельные элементы которой, к сожалению, потом найдут (или им будут пытаться найти) применение в реальной жизни.

«Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет — под собственными пальцами — объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Это целиком лежит на линии развития… Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень — создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно — сверхчеловека… Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины».

…Сразу после выхода в свет книги Троцкого «Литература и революция» появилась «долгожданная» книжка Василия Князева «Ржаные апостолы». Сей автор уже не прикидывал и не размышлял — оставить Клюева «в прошлом» или нет. Он его

попросту хоронил.

«Ты ставишь себе в заслугу, что идёшь в лес не с железом, что не несёшь ему ран и увечий? Прекрасно. Но ты — хуже поступаешь с лесом. Посмотри, что ты сделал с ним. Где его благовонный, смолистый, целящий людскую грудь аромат? Ты его *отравил* ладаном. Здесь задохнуться можно…»

«„Бог“ — это душевный горб пахаря; горб — искривление позвоночника; что нужно сделать, чтобы избавиться от горба?

— Выпрямить позвоночник».

«И когда он, коммунизм, видит, что клюевские „благовестные звоны“ находят в тёмной, пахотной душе родственные звуки, заставляя струны этой души — звучать; и звучать — более гармонично: стройно, согласованно, напевно… он говорит:

— Истинно-человеческая культура — в опасности!»

И, как прямой вывод отсюда: «Если кому и вешать мельничный жёрнов на шею, то — именно вот такому „учителю-пророку-апостолу“ — *дрозду-псалмопевцу,* а не тому „учителю-пророку-апостолу“, что собирает по деревням бабье полотно, яйца, масло и лично перещупывает кур, блюдя свои „апостольские“ интересы…»

Князев ведает, что творит. Он знает цену клюевской поэзии. Более того — местами он от неё в подлинном восхищении. «Что можно сказать о поэтическом языке „Мирских дум“? Только одно: чистота, образность и изобразительная сила его — былинны. И это совсем неправда, что он уснащён „провинциализмами“, что читать Клюева можно только с Далевским толковым словарём. Не „провинциализмы“ делают стих Клюева непонятным, а та „оспа буквенная“, что изъела наши глаза и уши при благосклонном участии очагов заразы, всесильных перед войною, бульварно-буржуазных газет. Мы забыли настоящий, народный язык: дутый стеклярус отучил нас от жемчуга.

Да что жемчуг — мы отвыкли даже и от гранёного хрусталя».

В эти строки клюевского ненавистника стоило бы вчитаться не только многим пристрастным современникам, но и иным нынешним «литературоведам», замуровывающим поэта в различные резервации под разными названиями: «Новокрестьянская поэзия» (эту «песню» первым «спел» Василий Львов-Рогачевский, от которого Клюеву «дышать было нечем») или «Серебряный век»… И всё с одинаковым припевом: «провинциализмы», «Далевский толковый словарь»…

Но чем объективно драгоценнее Клюев как поэт, тем страшнее он для Князева, а в глазах Князева для всей революционной России.

«Клюев не рядовой пахарь и не православный пахарь. Клюев

— идеолог-сектант. Мистическую пашню свою он пашет глубоко забирающим „электроплугом“ идейно-духовно-обоснованной потребности в божьем бытии… Клюев — поэт-пахарь-*идеолог.* А то, что Клюев не православный, а „раскольник“, нисколько не меняет дела. Наоборот, это — усугубляет наш интерес к нему, ибо на „раскол“ (сектантство) мы смотрим как на высшее — общедоступную, в настоящее время, при настоящих условиях — степень умственно-духовного развития нашей деревни…»

А погиб Клюев как поэт, по мысли Князева, когда «пошёл в город», когда в нём «проснулся революционер».

«Клюев — *умер,* потому что он не может существовать без „хвойной купели“, а хвойная купель, доверху наполненная парной и маркой кровью — омут, а не купель…»

Но даже после «смерти» Клюева его книги, наравне с книгами других авторов (подбор у Князева замечательный!), могут послужить, оказывается, своеобразным «пособием»…

«Товарищ, читай книги, написанные до 25-го октября 17-го года — необходимо знать, как нельзя жить и мыслить. Ходи в венерические больницы, дома умалишённых, изучай Достоевских, Толстых, Андреевых, Арцыбашевых, Клюевых… — ибо необходимо перед великой борьбою за обновление человеческой расы (! — *С. К.)* приобрести потребное для того оружие.

И если перед тобою будут рисовать Русь в виде птицы-тройки, мчащейся неведомо куда и заставляющей все племена и народы почтительно сторониться — вспомни о стомиллионных Индии и Китае, которых признание широкой биологической правды, в ущерб узкой, человеческой, наивысшей для человека, „домчало“ к рабству…»

Князев распаляется с каждой последующей главой своей книги. Он машет направо и налево шашкой красного кавалериста, отдавая при этом должное и силе противника.

«…И в октябрьских своих взлётах Клюев в юркости, маскарадно-придворной приспособляемости, в *мимикрии* — не повинен ни душою, ни телом! Он создал *свой* октябрь, собственный свой, клюевский октябрь (ничего общего с настоящим не имеющий), и начал воскурять фимиамы, бить в било, гимнотворствовать и совершать обрядовые „метания“ — перед *своим* (а не ленинским) октябрём…

…Самое дорогое для Клюева — святое святых его души — октябрьской, святой революцией — поругано, разрушено, стирается с лица земли!

И это нужно было ожидать, это необходимо было предвидеть, такова *природа* коммунистической революции…»

«Поругано», «разрушено», «стирается», списано в архив,

оставлено, в лучшем случае как пособие того, «как нельзя жить и мыслить»… Так в чём же опасность?

А вот в чём: «Пока „богом“ пользуются, как пастухом дождевых туч, как скотским ветеринаром, людским знахарем, сельским агрономом и прочее, в той же плоскости — это ничего.

Но когда „бога“ пытаются провести в Совнарком, снабдив его соответствующими полномочиями и мандатами от 110-ти миллионов его „рабов и овец“, это уже — катастрофа.

Надо — бить в набат, исследовать и разоблачать…»

Вот она — главная цель сего «исследования»! И продиктована — серьёзнейшей причиной: «Ибо никогда забывать не нужно: в Рософесоре (по последней переписи) — (данные 1921 года — примечание Василия Князева) — городского населения — 21 миллион, сельского же населения („рабов и овец“) — 110 000 000 — в пять раз больше! да и среди двадцати миллионов городского населения от „божьей краснухи, кори и скарлатины“ избавилась — едва ли только половина; если только не треть…»

И потому: «„Клюевщина“ — страшная сила. „Хакки-мистицизм“ можно легко победить на протяжении двух, трёх поколений; „клюевщину“ (идейно-обоснованную и идейно-порождённую „тягу к богу“, нутряную, корневую потребность в его бытии) придётся выкорчёвывать многие десятки лет.

Выкорчёвывать! в то время, как первая „твердыня“ — сама собою рассыплется от меча знания — в прах и пыль».

А вот здесь, видимо, неожиданно для самого себя, Князев сказал сущую правду. С одной поправкой — *выкорчевать* так и не удалось.

После очередной волны закрытия и разрушения церквей в конце 1920-х — начале 1930-х годов, после лютых репрессий против священников, монахов и монахинь, развязанных «ленинской гвардией» после того, как, казалось, православие в России уничтожено и никогда не возродится — во время всесоюзной переписи в ночь с 5 на 6 января 1937 года обнаружилось, что около 60 процентов опрошенных признали себя верующими (из них три четверти — православными). Это не считая тех, кто не обнаружил своего вероисповедания из опаски… Скорее всего, поэтому перепись та была официально признана «дефектной», а вовсе не из-за «снижения количества населения в результате репрессий» в период коллективизации.

Во время войны открывшиеся церкви были переполнены народом (и отнюдь не только людьми старшего поколения). Солдаты и офицеры, получая партийные билеты, перед боем вспоминали о Боге — и тому масса свидетельств. Дикая судорога закрытия церквей в начале 1960-х годов под аплодисменты так

называемых «шестидесятников» также реально ни к чему не привела. «Клюевщину» так и не «выкорчевали».

Что-то садомазохистское слышится в ёрничестве этого «члена партии с уклоном к рвачеству», как охарактеризовали Князева на заседании комиссии РКП(б) по идеологической проверке сотрудников «Красной газеты»: «Русской нации нет, а она существует! Русского патриотизма нет, а он существует!» И носителем русского патриотизма у него является «проклятое, русское, неустанно философствующее, лёжа на извечно обломовском диване, животное!» (Ничто не ново под луной. Примерно того же мы начитались и наслушались на рубеже 1980–1990-х годов!)

Троцкий и Князев не только задали дальнейший тон «литературы о Клюеве». Они создали словарь для этой «литературы». Обозначили все понятийные категории. И (со ссылками или без ссылок) в подобной тональности и фразеологии далее о поэте писалось на протяжении десятилетий. А подхвачено тут же было — в местной вытегорской печати.

Девятого января 1924 года некогда близкий друг поэта Александр Богданов под псевдонимом «Семён Вечерний» печатает отклик на книгу Князева — «Правда о Н. Клюеве». Всего три года тому назад Богданов писал о нём как о «пророке нечаянной радости», не скупился на восторженные похвалы: «Ещё не пришло время справедливой оценки поэзии — творчества садовника древословного дерева, осеняющего избяную дремучую Русь… Но оно придёт… Николай Клюев нашёл в лугах и полях Нечаянной Радости — своё славословие, своё краткое и светлое „Осанна жизни“… В стихах последних годов Клюев становится сыном Протея, перевоплощается то в душу солдатской матери, то лошади… Полны светлых пророчеств последние стихи Клюева, в них нет славянофильского угарного мистицизма, в них всё своё, нигде не вычитанное откровение о мужицком рае… Сердце Клюева соединяет пастушечью правду с магической мудростью, Запад с Востоком, соединяет воистину воздыхание всех четырёх стран света… В его стихах много сокровенного, несказанного, мистического, что потом послужит пищей для будущего… Во веки веков не умрёт русский мужик — Христос. Может быть, за это меня положат на Прокрустово ложе или предадут литературной смерти, а харакири поручат произвести Садофьеву… Во имя Солнца, во имя Красоты — это мне не страшно…»

Теперь для Богданова «пришло время» сказать «правду о Клюеве». Правду «марксистскую» — ибо другой нет и быть не может.

Уже добром вспоминается статья Бессалько в «Грядущем».

Уже, как пример марксистской критики, упоминается работа Троцкого. Уже расхваливается князевская книжка и пересказывается целыми фрагментами. И, наконец, собственная «справедливая оценка»: «Клюев последнего периода с гомосексуальными радостями (однополая любовь), с прославлением скопчества — живой труп для новой России. Некогда большой художник бесславно погиб ещё на патриотических концертах Долиной, в салоне графини Игнатьевой, у ног Николая Кровавого в Царском Селе (и это всё было списано у Князева. — *С. К.*).

Желательно, чтобы наша молодёжь (не мешает и взрослым) познакомилась с книгой Князева, дающей верное представление о творчестве „ржаного апостола“ — Николая Клюева».

Трудно сейчас сказать, дошло ли до Клюева, жившего в Петрограде, это «отречение» близкого товарища, которому он посвятил некогда стихи «Львиного хлеба»:

> Женилось солнце, женилось
> На ладожском журавле.
> Не ведалось и не снилось,
> Что дьявол будет в петле…

Ладожский журавль — сам поэт. Невесту, по старому обычаю, вели, накинув ей на шею ширинку, и со стороны казалось, что шею суженой обнимает петля… И дьявол — тут проступает совершенно непредсказуемый смысл образа — тот же поэт в «рисовке» адресата тех, не столь уж давних, строк.

Клюев уже давно не питал никаких иллюзий и здесь отдавал себе полный отчёт в том, что время необратимо изменилось и эпоха «Львиного хлеба» — эпоха горячей открытой полемики, очевидного для всех утверждения своих ценностей, антиномии «Восток — Запад», борьбы живого слова с мёртвым, бумажным — проходит, если уже не прошла совсем. Что-то надорвалось в нём — и нужно было время, чтобы заново собрать себя и определить свой дальнейший путь.

…Двадцать первого января страну оледенит весть о смерти Ленина, Ионов тут же запустит клюевскую книжку снова в печать — и одно за другим выйдут ещё два её издания… А Николай, сидя в своей «горнице» за чашкой чая под иконой Спаса, заведёт с новым знакомым Иннокентием Оксёновым занятный разговор. Оксёнов спросил, что Клюев думает о смерти Ленина. Тот помолчал-помолчал и произнёс:

— Роковая смерть. До сих пор глину месили, а теперь кладут.

— А какое уже здание строится? Уж не луна-парк ли?

— А как же? Зеркала из чистого пивного стекла. Посмотри кругом, разве не так?

Всё было не просто «так». Ещё хуже.

Страна выползала из «горячей стадии» Гражданской войны, как тяжелораненый и обезумевший зверь. Скорее всего, последствия были бы куда менее тяжёлые, если бы после чудовищного кровопролития, после войны «брат на брата» и «сын на отца», израненные, изуродованные души могли бы найти пристанище в церкви, в молитве… Но и этот путь был заказан. Особенно для молодёжи, которая наслаждалась самой возможностью «залезть на небо» и «разогнать всех богов». Да и само по себе приобщение к храму в создавшейся атмосфере отдавало в глазах многих явной «контрреволюционностью».

Душу лечить было нечем. А запах крови преследовал. И пошло-поехало…

Разгромы только народившихся частных магазинов… Налёты и нападения на сторожей… Убийства из-за угла… Похождения «сыщиков грозы» Лёньки Пантелеева, бывшего чекиста, вошедшего во вкус кровавого разгула и лёгких денег, романтизировались и сладким шёпотом пересказывались как в подвалах и подворотнях, так и в «интеллигентных» квартирах… Подражателей нашлась масса.

И всё это — под пьяный крик или вполне трезвое восклицание: «За что боролись?!» В самом деле, за что — если наружу вылезло рыло «нэпмана», «совбура» — советского буржуя?..

Веру в происходящее и в смысл жизни теряли совсем молодые люди. «Красная газета», издававшаяся в городе, уже переименованном из Петрограда в Ленинград, из номера в номер печатала извещения:

«Отравилась Анна Меркулова 19 лет».

«С целью самоубийства ранила себя в голову выстрелом из револьвера Евгения Лурье 19 лет».

«Отравилась Елизавета Русецкая 18 лет».

«Отравилась Маргарита Кавардеева 20 лет».

«Отравилась Александра Испольнова 20 лет».

«Отравилась Александра Чеснокова 30 лет».

«Бросился со льда в полынью неизвестный мужчина. На вид ему около 25 лет».

«Отравился Павел Тулин 24 лет».

Похожая картина была перед Первой мировой войной, когда среди молодёжи — причём молодёжи не бедной, состоявшейся, «интеллигентной» — расцвёл самый настоящий культ самоубийства — как некоего «недоживания» до худших времён,

по примеру также «не доживавших» в античную эпоху. Чтение Брюсова, Сологуба, Кузмина, расходившиеся кругами истории самоубийства Надежды Львовой, Всеволода Князева, Ивана Игнатьева — также весьма способствовали нагнетанию соответствующих настроений.

Теперь же причиной были полная потеря почвы под ногами и непреодолимое чёрное отчаяние.

Всё чаще говорят газеты:
Самоубийцы тот — да эти.
В пятнадцать лет отрава слёз,
А в двадцать пуля и наркоз,
Под тридцать сладостна петля, —
С надрезом шея журавля…

Это строки написанного через пять лет «Каина», написанного уже после гибели Есенина.

Лживой ещё Есенин появится в Ленинграде в середине апреля 1924 года. И встреча с ним не доставит Клюеву большой радости.

…Тяжело было смотреть Николаю на Сергея, выступавшего в Зале Лассаля (бывшем зале городской думы). Общение поэта с залом едва не кончилось диким скандалом. Сергей начал вещать, как при первом появлении в Петербурге ходил в мужицких штанах и сапогах — а теперь ходит во фраке. Вспомнил мимоходом про Клюева и Чапыгина, крикнул, что Блок и он, Есенин, «первые пошли с большевиками» — и что, дескать, за это получили? Фрак фраком, а жизнь хреновая, к поэзии отношение свинское, власть сучья и кругом — жиды… Зал уже начал реветь от возмущения, как Есенин вдруг оборвал свой «монолог» и крикнул: «Буду читать стихи! „Москву кабацкую“ хотите?» И — «врубил» без перехода, да так, что публика после каждого стихотворения ревела уже от восторга… Клюев, бледный, напряжённый, «любовался» всей этой картиной молча, лишь раз промолвив: «Не кобенился бы… Сам знает ведь, что им нужно…» Кто-то, сидящий рядом, начал поддакивать, но Клюев уже взъерепенился: «Молчали бы… Сами пишете по-татарски, не то что он», — и кивнул головой в сторону сцены… А потом наблюдал, как взбудораженная толпа выносила Есенина на руках.

«Эх, Серёжа, Серёжа, а слава-то кабацкая, стихам твоим нынешним под стать…»

А Есенин словно нарочно поддразнивал. В бывшей театральной студии Виктора Шимановского, ныне в центральной студии Политпросвета, при старых клюевских друзьях и в присутствии самого Николая он, явившийся в сопровождении

своей свиты — ленинградских имажинистов — тут же уступил им инициативу, и они дочитались до того, что их начали попросту гнать из зала и требовать, чтобы читал один Есенин… Сергей приосанился и вышел на сцену, попросту объяснился с собравшимися, что, вот, дескать, тут Клюев меня считает своим — а я никакой не крестьянский поэт. Друзья-имажинисты считают своим — а никакой я не имажинист. Просто поэт — и дело с концом. И, конечно, каждое стихотворение его сопровождалось громом аплодисментов.

А вслед за аплодисментами — очередная серия скандалов.

Он просто не мог найти себе покоя. Владимир Чернявский вспоминал, что Есенин крайне неприязненно отзывался в этот приезд и о Москве, и о своей московской славе. «…Говорил о том, что всё, во что он верил, идёт на убыль, что его „есенинская“ революция ещё не пришла, что он совсем один…» Сквозь поток второпях выброшенных слов вырвалось: «Если бы я не пил, разве мог бы я пережить всё, что было?» «И тут, в необузданном вихре, — продолжал Чернявский, — в путанице понятий закружилось только одно ясное повторяющееся слово:

— Россия! Ты понимаешь — Россия!

В этом потоке жалоб и требований были невероятный национализм и полная растерянность под гнётом всего пережитого и виденного, и поддержанная вином донкихотская гордость, и мальчишеское желание драться, но уже не стихами, а вот этой рукой…»

— Что ж, — говорил сумрачный Клюев. — Ведь он уже свой среди проституток, гуляк, всей накипи Ленинграда. Зазорно пройтись вместе по улице.

Он словно не видел, как слетала с Сергея вся накипь, как становился совершенно иным его бывший друг. «Куда там богемная манерность, кабачковый стиль, — чудесный, простой, сердечный человек» — так передавал тогда же своё впечатление от Есенина один из случайных знакомых.

Есенин в эти дни обдумывал «Песнь о великом походе», где собирался из Петра I «большевика сделать»… Не он был первый на этом пути. И есенинский Пётр, в конечной редакции любующийся «на кумачный цвет на наших улицах», естественно, не мог быть принят Клюевым, что написал уже об императоре как о «барсе диком»… А поглубже заглянуть — так ведь и прав Есенин. Всепьянейший синод, непристойные имитации Евангелия и креста — не воскресли ли они в «Октябринах» и «комсомольском рождестве»?

…Сидя вместе с Клюевым у Иннокентия Оксёнова, Есенин рвался читать Языкова… В контексте разговора, где он жаловался,

что чувствует себя в России как в чужой стране, а за границей было ещё хуже, что «Россия расчленена», и это больно осознавать любому великороссу — нетрудно предположить, что очень хотелось Сергею прочесть вслух для себя и для окружающих знаменитое языковское «К не нашим».

Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!

Ближе, ближе он был в своих душевных сопереживаниях Клюеву, чем сам хотел в этом признаться даже самому себе… И чем больше чувствовал он это — тем демонстративно пытался от Клюева оттолкнуться, Клюеву поперечить, особенно на людях.

Уехал. И вернулся в Ленинград в середине июня, предварительно написав Николаю о своём приезде.

* * *

«„Ленин“ Клюева — образец того, что получается, когда Клюевы берутся за такие темы, которых они не могут понять… Может быть, по Госиздату Клюев даёт своеобразное толкование „Ильича“, может быть, уже хорошо то, что пишет о Ленине, может, это революция в Клюеве. Но нам эта книжка не нужна, не понятна и рекомендовать её, конечно, нельзя…»

Читать это «творение» Александра Исбаха в «Книгоноше» было уже делом привычным. Не он один вещал о «ненужности» и «непонятности» Клюева. Но слушать подобные же речи от дорогого по-прежнему и ставшего таким чужим Серёженьки…

Появился Есенин — и на следующее же утро отправился к Клюеву. Через несколько лет Николай нехотя рассказывал об этом свидании Анатолию Яру-Кравченко с интонациями «Бесовской басни про Есенина».

— Я растоплял печку. Кто-то вошёл. Я думал, что Коленька

(Архипов. — *С. К.),* гляжу — Есенин, в модном пальто, затянут в талию. Поверх шарф шёлковый… Весь с иголочки, накрашен, одним словом, такой, каких держут проститутки…

— Ну что же, расцеловались?

— Да, конечно. Он удивился, что я такой же, а он себя растерял…

Есенин, конечно, не считал себя «растерявшим». Скорее, о Клюеве полагал как о «закосневшем».

Как вспоминал новый знакомый Николая Игорь Марков — «поэт появился как-то неожиданно, оживлённый, с улыбающимися серо-голубыми глазами и чуть рассыпавшимися волосами. После приветствий и первых радостей встречи между давними друзьями возник спор, такой же внезапный, каким было появление Есенина в тесной комнате на Морской».

А для них обоих не было ничего «внезапного» — продолжился разговор, начатый ещё в Москве, где ничем закончилась есенинская затея собрать заново, «в семью едину», «крестьянскую купницу». Николай, глядя на модный костюм Сергея, напомнил ему, словно кто за язык дёрнул, строки из «Четвёртого Рима»: «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу…» Есенин побелел от злости. И бросил в ответ, потом прочно к Клюеву прилипшее:

— Ладожский дьячок!

Поперхнулся Николай… Тут же пришёл в себя и снова пытался читать самое язвительное из старой поэмы. И снова оборвал Есенин:

— Прекрати! Брось своё поповство! Кому это сейчас нужно?

«А ведь тебе было когда-то нужно, Серёженька! Льнул, как к горнему ключу. И что же с тобой стало?»

А Серёженька уже тяжело пережил внезапную смерть Ширяевца. Поминки по нему вылились у многих в пьяную истерику, но что-то страшное, тревожное, отчаянное слышалось в перекрывающем всё и вся есенинском голосе, когда поэт кричал, что пропала деревня, что из неё вытравляется всё русское. В ответ раздалось: «Цела деревня! Цел русский народ!» «Нет! — отвечал Есенин. — Гибнет деревня», и слышал: «Это наше время. И нет нашему творчеству никаких помех». «Есть! — снова кричал Есенин. — Город, город проклятый…», и, уже уходя, слышал, как кто-то затянул «Вечную память», которую заглушили «Интернационалом».

С разорванной душой приехал. Но с Клюевым так по душам и не поговорил.

Сидя в доме у ещё одного ленинградского представителя «воинствующего ордена имажинистов» Лёни Турутовича,

писавшего под псевдонимом «Владимир Ричиотти», Есенин, по воспоминаниям последнего, «светился покоем и вдохновением» и говорил с каким-то душевным подъёмом:

— У меня и слава, и деньги, все хотят общения со мною, им лестно, что я в чужом обществе теряюсь и только для храбрости пью… Быть может, в стихах я такой скандалист потому, что в жизни я труслив и нежен… Я верю всем людям, даже и себе верю. Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь, быть может, потому я и захлёбываюсь песней, что жизнь с её окружающими людьми так хорошо меня приняла и так лелеет. Я часто думаю: как было бы прекрасно, если бы всех поэтов любили так же, как и меня… Теперь я понял, чем я силён — у меня дьявольски выдержанный характер…

Клюев не слышал подобных есенинских слов. И в общении с ним Есенин теперь шёл скорее на конфликт, чем на согласие. И «выдержанность характера» куда-то мгновенно улетучивалась.

И Николай, также навестивший в другое время Ричиотти, говорил о наболевшем. И слушал его молоденький Борис Филистинский, позже оставивший яркую зарисовку поэта, вошедшего в свою золотую пору.

«Лицо умного мужика, но не пахаря, а скорее мастера-умельца, такого сельского плотника-зодчего, что без единого железного гвоздя сможет повыстроить многоглавую церковь в Кижах, или мастера железного или гончарного художества. Очень уж потёрт кафтан и шапка гречневиком, огромный староверский медный крест на груди. Маскарад? Да перед кем ему, Клюеву, сейчас ломать комедь?.. Нет, одёжа Николы Клюева не казалась нам никак — никакой костюмировкой… Вкусный, окающий несколько карельский рот под свисающими усами энергичного унтера. Певучие строки вьются и свисают с колечками крутой махорки…» Клюев сам никогда не курил, но, видимо, сейчас терпел привыкших к табачному яду. И вещал, слегка растягивая слова.

— Не против города и Запада я, а против разделения китайской стеной духа и материи, души и плоти, мысли и делания. Вот, как у Фёдорова, он ведь кругом прав: коли разделились так у нас труд и мысль, идея и дело, все науки и искусства не хотят друг дружку знать, — то и получается, как говорил он: при таком разделении психология не была душой космологии, то есть была наукой о бессильном разуме, а космология — наукой о неразумной силе. А всё — от злой силы *небратства.* Искусство, поэзия всё-таки выше пока, чем научное знание: всё-таки говорит о целом и живом, а не о частичном и отгороженном. Но и они начинают атомизироваться. А ведь мир и

я — одно: ни я поглощаю мир, ни мир поглощает меня: одно ведь это, и лишь раскрывается как я — не-я — в истории, в моей жизни — и в веках. В любви материнской, в соитии любовном, в блуде и святости, в порождении…

…— И задача наша, и цель наша — история не как мнимое воскрешение в *воспоминании* только, а как прямое воскрешение во плоти и в духе всех отцов и матерей наших… — повторял он Фёдорова.

А в следующий раз, встретившись с Филистинским, промолвил, вспомнив злые слова Есенина и многих писавших о нём как о покойнике, промолвил, перекрестившись:

— Было всякое. Всяко и будет. Не в прошлое гляжу, голубь, но в будущее. Думаешь, Клюев задницу мужицкой истории целует? Нет, мы, мужики, вперёд глядим. Вот у Фёдорова, — читал ты его, ась? — «город есть совокупность *небратских* состояний». А что ужасней страшной силы небратства, нелюбви?..

И что бы ему так поговорить с Есениным! И что бы Есенину ответить добрым, искренним словом, высказать, что на душе! Так нет же… Перед чужими, фактически чужими, исповедуются, а не друг перед другом.

В двадцатых числах июля Николай уезжал в Вытегру. Провожали его Есенин, Приблудный, Игорь Марков, Павел Медведев и Алексей Чапыгин.

Когда Есенин встретился один на один с Львом Клейнбортом и тот спросил у него — виделся ли он с Клюевым, Сергей опустил голову, задумался, а потом вымолвил с сожалением в голосе:

— Да… Бывают счастливцы.

В «счастливцы» зачислил Николая — есть у того на что опереться, чего нет уже у Есенина, «в родной стране иностранца»… И есть же у этого «иностранца» то, чего нет у Клюева: «коммуной вздыбленная Русь». А клюевский «красный государь Коммуны» мхом давно порос…

Клюев же писал из Вытегры тёще Николая Архипова, Пелагее Васильевне Соколовой: «От тихих Богородичных вод, с ясных, богатых нищетой берегов, от чаек, гагар и рыбьего солнца — поклон вам, дорогие мои! Вот уж три недели живу как во сне, переходя и возносясь от жизни к жизни. Глубоко-молчаливо и веще кругом. Так бывает после великой родительской панихиды… Что-то драгоценное и невозвратное похоронено деревней — оттого глубокое утро почило на всём — на хомуте, корове, избе и ребёнке. Со мной беленький, как сметана, Васятка, у него любимая игрушка лодка, возит он меня на окуний клёв по Богородичным водам к Боровому носу, где живёт и теплится ясно двенадцатый век, льняная белизна и сосновая празелень с

киноварью и ладаном. Господи, как священно-прекрасна Россия, и как жалки и ничтожны все слова и представления о ней, каких наслушался я в эту зиму в Питере! Особенно меня поразило и наполнило острой жалостью последнее свидание с Есениным, его скрежет зубный на Премудрость и Свет. Об этом свидании расспросите Игоря (Маркова. — *С. К.)* — он был свидетелем пожара есенинских кораблей. Но и Есенин с его искусством, и я со своими стихами так малы и низко-презренны перед правдой прозрачной, непроглядно-всебытной, живой и прекрасной. Был у преподобного Макария — поставил свечу перед чудным его образом — поплакал за вас и за себя, сегодня ухожу в Андомскую гору к Спасу, чтоб поклониться Золотому Спасову лику — Онегу, его глубинным святыням и снам…»

* * *

Когда Клюев говорил, что его заставляют писать весёлые стихи, то есть стихи, воспевающие современность, он имел в виду именно Ионова, с которым не единожды имел беседы на эту тему, и потому есенинские похвалы этому прожжённому издателю были для него особенно нестерпимы. Нина Гарина запомнила клюевский рассказ о посещении ионовской обители и воспроизвела его, особенно упирая на интонацию рассказчика.

— ВхОжу этО я к нему в кОбинет… А кОбинет-тО у негО грО-Омадный… А мебель-тО у негО вся пОрчёвая… А ОбстОнОвка-тО у негО вся шикарная… А занавеси-тО у негО бархОтные. А в углу-тО у негО гитара едрёнОя, с лентОчкОми… А на стОле-тО какаО да булОчки-тО сдОбные.

А на стОлах-тО… Да на пОлках-тО, да на полу-тО — книги, да книги разлОженные… А бумага-тО в них пергаментная… А края-тО, края-тО в них зОлОчёные. А внутри-тО в них всякая егО-тО дрянь напечатОннОя…

А сам-тО Он в кресле мягкОм, глубОкОм сидит и еле-еле слОва-тО мне, бездОрь этОкОя, цедит…

А мОи-тО… МОи-тО стихи — так печатать и не думает.

Гариной было невероятно смешно. Она наслаждалась этой беседой, как хорошим спектаклем.

— Ну и как же решили? — подначила.

— ЧегО тут решили?! «Не мОгу», говорит, «издОвать!.. Бумаги нет!.. Не хвОтает!..» А бумага-тО вся на егО-тО дрянь тОлькО и идёт!

Гарина продолжала хохотать. Клюев не мог взять в толк — что здесь смешного.

А когда мадам увидела под пиджаком у поэта «поповский», как она выразилась, крест, так её всю затрясло от смеха.

«Клюев, не поняв, в чём дело, и решив, что я вновь переживаю его рассказ, вдруг преподнёс: „бездОрь этОкОя“…»

Клюев прекрасно понял, в чём дело. И «бездОрь» относилось уже к самой Гариной.

Когда же он узнал, что за очередным накрытым столом хозяйка вволю потешила собравшихся рассказом о клюевских злоключениях и о его кресте под дружный хохот и что находившийся среди гостей Георгий Устинов, определивший Клюева в литературный обоз и обрекший его «на погибель» (вместе с Есениным), предложил «крест у Клюева Отнять, купить выпивки и выпить за здоровье „нОвОявленного батюшки“» — раз и навсегда перестал бывать в этом доме.

В Москве повторялось то же, что и в Ленинграде. Там он говорил с Воронским о возможности издания «Львиного хлеба» в «Круге». И услышал:

— Да человек-то вы совсем другой.

— Совсем другой. Но на что же вам одинаковых-то человеков? Ведь вы не рыжих в цирк набираете, а имеете дело с русскими писателями, которые, в том числе и я, до сих пор даже и за хорошие деньги в цирке не ломались.

— А нам нужны такие писатели, которые бы и в цирке ломались, и притом совершенно даром.

Этот критик, имеющий репутацию культурного человека, явственно намекал, что, дескать, знаем мы тебя, «рыжего», в твоём крестьянском зипуне да в смазных сапожках. Никуда не денешься, поломаешься вместе с остальными.

А в Питере — та же картина — в Союзе писателей, полноправным членом которого стал Клюев.

«Страшное, могильное впечатление от Союза писателей. Какие-то выходцы с того света. Никто даже не знает друг друга в лицо… Что-то старчески шамкает Сологуб. Гнило, смрадно, отвратительно…» — записывал в свой дневник Иннокентий Оксёнов.

А Сологуб в это время «шамкал» своё, наболевшее:

Ещё гудят колокола,
Надеждой светлой в сердце вея,
Но смолкнет медная хвала
По слову наглого еврея.

Жидам противен этот звон, —
Он больно им колотит уши,

И навевает страхи он
В трусливые и злые души.

«Смрадное» впечатление от происходящего было и у Клюева. Архипов записал отдельные характеристики писателей, с которыми Николай частенько встречался в то время.

«Был у Тихонова в гостях, на Зверинской. Квартира у него большая, шесть горниц убраны по-барски красным деревом и коврами; в столовой — стол человек на сорок. Гости стали сходиться поздно, всё больше женского сословия, в бархатных платьях, в скунцах и — соболях на плечах, мужчины в сюртуках, с яркими перстнями на пальцах. Слушали цыганку Шишкину, как она пела под гитару, почитай, до 2-х часов ночи…

Когда гости уже достаточно насиделись, вышел сам Тихонов, очень томным и тихим, в тёплой фланелевой блузе, в ботинках и серых разутюженных брюках. Угощенье было хорошее, с красным вином и десертом. Хозяин читал стихи „Юг“ и „Базар“. Бархатные дамы восхищались ими без конца…

Я сидел в тёмном уголку, на диване, смотрел на огонь в камине и думал: „Вот так поэты революции!..“

Н. Тихонов довольствуется одним зерном, а само словесное дерево для него не существует. Да он и не подозревает вечного бытия слова».

«Стихи Рождественского гладки, все словесные части их как бы размерены циркулем, в них вся сила души мастера ушла в проведение линии.

Не радостно писать такие рабские стихи».

«Глядишь на новых писателей: Никитин в очках, Всеволод Иванов в очках, Пильняк тоже, и очки не как у людей — стёкла луковицей, оправа гуттаперчевая. Не писатели, а какие-то водолазы. Только не достать им жемчугов со дна моря русской жизни. Тина, гнилые водоросли, изредка пустышка-раковина — их добыча. Жемчуга же в ларце, в морях морей, их рыбка-одноглазка сторожит».

«Накануне введения 40-градусной Арский Павел при встрече со мной сказал: „Твои стихи ликёр, а нам нужна русская горькая да селёдка“».

«Бедные критики, решающие, что моя география — „граммофон из города“, почерпнутая из учебников и словарей, тем самым обнаруживают свою полную оторванность от жизни слова».

Были, впрочем, в Ленинграде поэты, с которыми Клюев, казалось, находил общий язык. Так, он снова встретился с

Кузминым.

«Был с П. А. Мансуровым у Кузмина и вновь учуял, что он поэт как кувшинка — и весь на виду, и корни у него в поддонном море, глубоко, глубоко».

Возможно, такое впечатление произвели на Клюева стихи Кузмина из книги «Параболы». А может быть, Кузмин читал в его присутствии свои тайные сочинения «Декабрь морозит в небе розовом…» или «Не губернаторша сидела с офицером…».

Сам же Кузмин писал о Клюеве в своем дневнике, как о «заветном и уютном человеке». И через десяток лет без малого, отказавшись писать либретто по роману П. Мельникова-Печерского «В лесах», предлагал передать этот заказ преподавателя Московской консерватории Ивана Пономарькова — «заветному и уютному». Знал — кто сможет достойно его исполнить.

Всеволод Иванов — «водолаз» — писавший в это время свою лучшую книгу «Тайное тайных» — также оказался ожидаемо близким человеком, до последних дней сохранившим в своем архиве окончательный беловой вариант клюевской «Погорельщины».

Неизменно сильное впечатление производил Николай, когда на импровизированных гостевых вечерах читал по просьбам собравшихся свои стихи. А. Артоболевская вспоминала реакцию Марии Юдиной: «Помню, после чтения поэта Клюева все сидели за несложным чаем, притихшие. Кто-то рядом сидевший прошептал: „Посмотрите на лицо Марии Вениаминовны. Портрет Рембрандта“».

…Вокруг Николая толпятся совсем уж неожиданные персонажи — обэриуты Даниил Хармс и Александр Введенский… Современник вспоминал, как «Даниил заходил к Клюеву, нравились ему чудачества Клюева: чуть не средневековая обстановка, голос и язык ангельский, вид — воды не замутит, но сильно любил посквернословить»… И в записных книжках Хармса 1920-х годов Клюев — частый гость: «Был у Клюева… К Клюеву… Снести Клюеву судака… Клюев приглашает Введенского и меня читать стихи у каких-то студентов, но не в пример прочим, довольно культурных…» …. Константин Ватинов, к стихам которого Николай Алексеевич проявляет повышенное внимание, сочетающееся с точным пониманием ограничений молодого поэта. «У Садофьева и Крайского не стихи, а вобла какая-то, а у Вагинова всё — старательно сметённое с библиотечных полок, но каждая пылинка звучит. Большего-то Вагинову как человеку не вынести». Сердечные отношения складываются с Николаем Брауном и его женой Марией Комиссаровой…

Старые знакомые ещё с дореволюционных времён, среди которых и бывшие «цеховики», и бывшие «футуристы», собираются вместе на квартирах, читают стихи, обсуждают с каждым днём меняющееся положение — меняющееся далеко не к лучшему для них… Уже в 1938 году арестованный Юрий Юркун давал показания о собраниях на квартире Бенедикта Лифшица, где Осип Мандельштам «в присутствии Н. Клюева, М. Кузмина, К. Вагинова и меня… вел антисоветскую агитацию, заявляя на притеснения цензуры и возмущался политикой советского правительства в отношении интеллигенции, которую якобы советская власть притесняет»… Надо полагать, что подобные же разговоры вели и остальные собравшиеся.

Клюев — не просто известная фигура, поэт, чьи большие подборки публикуются в различных антологиях и хрестоматиях для чтения. Он — авторитет, вызывающий чувство преклонения у иных молодых поэтов, даром что «похоронен» влиятельными критиками.

Он сам, уже давно не пишущий, прислушивается к себе, всматривается в себя, собирает по крупицам духовные и душевные сокровища. И признаётся: «Чувствую, что я, как баржа пшеницей, нагружен народным словесным бисером. И тяжело мне подчас, распирает певчий груз мои обочины, и плыву я, как баржа по русскому Евфрату — Волге в море Хвалынское, в персидское царство, в бирюзовый камень. Судьба моя — стать столпом в храме Бога моего и уже не выйти из него, пока не исполнится всё».

В особые минуты его посещают видения, о которых он рассказывает скупо, но и этой «скупости» хватает вдосталь.

Видения благие — да сновидения страшные. В них чрез земные тернии в выси Господни душа поэта путь держит.

«А я видел сон-то, Коленька, сегодня какой! Будто горница, матицы толстые, два окошка низких в озимое поле. Маменька будто за стеной стряпню развела. Сама такая весёлая, плат на голове новый повязан, передник в красную клетку.

Только слышу я, что-то недоброе деется. Ближе, ближе недоброе к дверям избяным. Дверь распахнулась, и прямо на меня военным шагом, при всей амуниции, становой пристав и покойный исправник Качалов.

„Вот он, — говорят, — наконец-таки попался!“ Звякнули у меня кандалы на руках, не знаю, за что. А становой с исправником за божницу лезут, бутылки с вином вылагают.

Совестно мне, а материнский скорбящий лик богородичной иконой стал.

Повели меня к казакам на улицу. Казаки-персы стали меня на

копья брать. Оцепили лошадиным хороводом, копья звездой.

Пронзили меня, вознесли в высоту высокую! А там, гляжу, маменька за столом сидит, олашек на столе блюдо горой, маслом намазаны, сыром посыпаны. А стол белый, как лебяжье крыло, дерево такое нежное, заветным маменькиным мытьём мытое.

А на мне раны, как угли горячие, во рту ребячья соска рожком. И говорить я не умею и земли не помню, только знаю, что зовут меня Николой Святошей, князем черниговским, угодником».

…Охотников же опустить Клюева с небес на землю было более чем достаточно. Из него просто «выбивали» соответствие социальному заказу. К лету 1925 года давление стало невыносимым. Но именно оно и родило противодействие. Снова начали рождаться стихи.

Стихи, которые ни под каким видом не могли быть отданы в печать.

Рогатых хозяев жизни
Хрипом ночных ветров
Приказано златоризней
Одеть в жемчуга стихов.

Ну, что же?! — Не будет голым
Тот, кого проклял Бог,
И ведьма с мызглым подолом —
Софией Палеолог!

Тут же сложенное новое стихотворение начинается с запредельной дерзости, какую ни раньше не позволял, ни после уже не позволит себе Николай.

Не буду писать от сердца,
Слепительно вам оно!
На ягодицах есть дверца —
Гнилое болотное дно.

Закинул чертёнок уду
В смердящий водоворот,
Чтоб выловить слизи груду,
Бодяг и змей хоровод.

Вся «жизнеутверждающая советская поэзия» этого времени, все творения «звёзд поэтических» — будь это Демьян Бедный или

Безыменский, или те, что калибром поменьше, вроде Садофьева или Арского — не более чем фекалии в отхожем месте.

Это новые злые песни —
Волчий брёх и вороний грай…
На московской кровавой Пресне
Не взрастёт словесный Китай…

Но сказано — не зарекайся! И сам Клюев отдаст свою дань «новым песням», только эти песни будут кардинально отличаться от видимого ему стихотворного болота…

Пройдёт лето, падёт любимый Николаем листопад, отстучит холодный неуютный дождь, засеребрится асфальт инеем, подступят первые заморозки — и объявится снова в Ленинграде Есенин в конце декабря 1925 года, и заявит, что приехал насовсем.

Трагическим будет финал этой встречи.

Глава 26
«ТЫ РАССЕЯ, РАССЕЯ-ТЁЩА…»

Ещё раньше, в ноябре, Есенин появился в Ленинграде — второпях, как будто на что-то надеялся, как будто чего-то ждал от этой поездки… У него в голове был заново переписанный, но ещё не отделанный до конца «Чёрный человек», которого он читал на встречах с Георгием Устиновым, Ильёй Садофьевым, Николаем Никитиным… Навестил и Клюева, прочёл поэму и ему.

«Одна шкура от человека осталась» — так потом вспомнил Клюев эту встречу.

Снова Есенин не нашёл понимания у старшего собрата. А уже в Москве, после больницы, где скрывался от милиции, от грядущего суда по делу об оскорблении дипломатического курьера НКИД — во время последнего посещения Госиздата говорил, что уезжает в Ленинград насовсем, просил выслать туда корректуры грядущего собрания сочинений, сообщал о новых начатых, ещё недописанных произведениях, которые он собирается завершить там, на новом месте жительства… Где это «новое место»? Да у старых друзей. У Валериана Правдухина, у Лидии Сейфуллиной… У Клюева, в конце концов. «Люблю Клюева», — запомнил есенинские слова Иван Евдокимов.

Приехал, перед этим попросив телеграммой Вольфа Эрлиха найти ему «две или три комнаты». Тот даже не пошевелился. И по всему выходит, что в «Англетер» Есенин попал благодаря Георгию Устинову, который вместе с ним прикатил в Ленинград и устроил поэта рядом с собой (о номере позаботился заранее).

Ленинград в эти дни трясло как в лихорадке. «Зиновьевский бастион» бросал открытый вызов Сталину и его команде. Делегации из Москвы с XIV партийного съезда, на котором разгоралась решающая схватка, сновали туда-сюда — приезжали и возвращались на очередное заседание… Партийная и комсомольская оппозиция города вместе с редакторами газет и журналов, а также и гэпэушниками вставала на дыбы.

Вот в эти роковые дни и появился в Северной Пальмире Есенин, жаждавший спокойной жизни и плодотворной работы, мечтавший об издании своего журнала, лелеющий в мечтах грядущее собрание сочинений…

Елизавета Устинова потом вспоминала, как на второй день пребывания в «Англетере» Есенин заявился к ним в номер ни свет ни заря — и тут же начал рассказывать о своих первых литературных шагах в Петрограде, с любовью вспоминал Клюева

и намеревался немедленно ехать к нему — с трудом уговорили подождать до рассвета… Эрлих, со своей стороны, утверждал, что переночевал у Есенина в номере, а утром услышал от него: «Поедем к Клюеву!.. Ссоримся мы с Клюевым кажинный раз. Люди разные. А не видеть его не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Понимаешь — люблю я его!» И ещё вспоминал, как в один из прошлых приездов Есенин похвалялся перстнем времён царя Алексея Михайловича, который подарил ему Клюев.

Выходит, что утро 25 декабря Есенин провёл то ли в номере у Устиновых, то ли в своём — с Эрлихом. И это далеко не единственное противоречие в «показаниях» свидетелей его последних четырёх дней в Ленинграде.

Ладно. Остановимся на том, что Есенин буквально рвался к Клюеву. О чём-то жаждал с ним поговорить, что-то обсудить, что-то рассказать. Может, и рассказал бы — останься он с Клюевым наедине, как, оставшись наедине с Ивановым-Разумником летом 1924-го в Царском Селе, откровенно выговорился и по поводу власти, и по поводу своей литературной судьбы… Декабрь 1925 года — время куда более критическое в его жизни. И что-то буквально толкало его к старому другу.

Но факт остаётся фактом. К Клюеву отправился вместе с Эрлихом. Последний живописал, как Есенин долго не мог найти адрес, как долго стучал в чужие двери… Потом эти лихорадочные поиски иные интерпретаторы объясняли есенинским «болезненным состоянием», «расстройством психики», дескать, недавно был у него, а тут — всё из памяти вышибло… А это никакая не «болезнь», а переключение сознания: он думал о том, как он увидит Николая и о чём будет с ним говорить, а адрес — дело десятое! Стукнулся в близстоящую дверь… Нет? Пошли дальше! Картина хорошо знакомая, не подпадающая ни под какую «патологию». А если ещё учесть утрирование происходящего в описании Эрлиха и проставленные им акценты…

Пришли. Подняли Клюева с постели. И тут, пожалуй, самое время обратиться к воспоминаниям другого свидетеля, старого знакомого Клюева — художника Павла Мансурова, жившего по соседству, в той же квартире…

«Явился к нам с вокзала, в 6 часов утра перед Рождеством, Есенин с огромным красным петухом, а Эрлих нёс тоже громадный хлеб — круглый, деревенский…

Всё это население было разбужено так рано. Но у нас не было тогда ни рано, ни поздно. Мне даже помнится, что мы, т. е. я и он, Клюев, с вечера и целую ночь так и сидели, было так много о чём говорить. И чай продолжался уже с новыми гостями. Петуха мать

моя куда-то посадила в корзину. То было у нас на Морской, 45, часов до 11-ти утра, а потом вышли, помню, втроём, т. к. Эрлих уже раньше ушёл, а у Есенина было свидание. Он с Устиновым приехал якобы для издания какого-то журнала, в Ленинграде поспокойнее, а то в Москве совсем невозможно работать…»

Итак, по Мансурову — 6 утра. По Эрлиху — после 9-ти. Эрлих не вспоминает ни о петухе, ни о каравае, ни о самом Мансурове в комнате Клюева… И вот здесь проще всего было бы сказать: Эрлих пишет чуть ли не по горячим следам, а Мансуров вспомнил всё происшедшее аж в 1972 году! Что-то с памятью его стало? И непонятно, что ли — кому верить?

Однако не будем спешить. Не так всё просто.

Эрлих достаточно «натемнил» в своих воспоминаниях, на что уже неоднократно обращалось внимание пристальными исследователями. А что касается Мансурова… Он также далеко не во всём правдив — и в этом мы ещё удостоверимся… Но петух и каравай — это чисто по-есенински, особенно если учесть, что подарки предназначались Клюеву. Разговор о журнале и о том, что в Москве невозможно работать — также не противоречат другим есенинским разговорам.

Эрлиха Сергей мог тут же спровадить «за спичками», даром, что спички в доме были. Но Есенин, по Вольфу, пожелал прикурить от лампадки. Клюев возмутился и протянул спички, а Есенин ничтоже сумняшеся закурил. А когда Клюев вышел — потушил лампадку у икон. И Николай этого якобы не заметил. И соблазнительно связать эту сцену с позднейшими словами Клюева: «А Серёженька ко мне уж очень дурно относился, незаслуженно дурно — пакостил мне где только мог…» Ни о чём подобном не вспомнил Мансуров, настаивающий на своём присутствии при этой сцене. Более того, по Эрлиху, они все вместе прямо с Морской пошли к Есенину в «Англетер». Мансуров же пишет, что «мы расстались, условившись завтра в 5 часов быть у Есенина. Так и было», то есть Клюев пришёл в «Англетер» 26-го числа.

«Была мокрая погода. Снег падал большими хлопьями, — вспоминал Мансуров. — Жена Устинова не оставалась долго. Ушла к себе этажом выше. Половой ничего, кроме сороковки водки, из-за праздника достать не смог. И вот мы шестеро выпили по маленькой рюмочке… Тихо и в разговорах мы опять сидели за неизменным нашим пустым чаем». «Шестеро», насколько можно судить, сопоставляя одни описания вечера с другими — это Есенин, Клюев, Устинов, Эрлих, Мансуров и то ли Иван Приблудный, то ли Игорь Марков — также настаивающий в мемуарах на своём присутствии.

«Есенин рассказывал, что он за полное собрание сочинений получил 20 000 рубл., Маяковский 25, Горький один миллион, „а вот эта сволочь (он не назвал имени, но то был Демьян Бедный-Придворов) получил столько, что нельзя и выговорить“. Так он и не выговорил. И ещё в придачу ему, т. е. Дем<ьяну> Бедн<ому>, прицепной вагон, чтоб он мог ехать в роскоши, когда и куда он хочет… Потом Есенин читал свои стихи… немного под цыганские романсы…»

По Эрлиху, перед тем как читать, Есенин обратился к Клюеву:

— Ты, Николай, мой учитель. Слушай.

Что читал Есенин? Очевидно, кроме «Чёрного человека» свои последние стихи. Те, что должны были войти в цикл «Стихи о которой» и занять своё место в первом томе собрания.

«Клён ты мой опавший, клён заледенелый…», «Какая ночь! Я не могу…», «Не гляди на меня с упрёком…», «Ты меня не любишь, не жалеешь…», «Может, поздно, может, слишком рано…».

Может быть, читал и более ранние, «осенние», исполненные приятием всего сущего и в жизни, и за её чертой и проникнутые предчувствием близкого конца.

О, моё счастье и все удачи!
Счастье людское землёй любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Всё принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.
……
Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Её лицо и отчий край.

Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо…

Клюев слушал внимательно. И чем дальше слушал, тем больше убеждался: для него всё это — «пунш, чиновничья гитара, под луной уездная тоска…».

— Хорошо, Серёженька, очень хорошо… Собрать в одну книжечку — так книжечка настольной станет для всех нежных юношей и девушек в России.

Он не язвил. Он предвидел. Предвидел, как переписанная есенинская лирика будет расходиться в никогда не подсчитанном количестве экземпляров по рукам по всей России, нужная, как хлеб и вода, нежным девушкам и юношам…

Через много лет великий Георгий Свиридов напишет в одной из своих записных книжек: «У Есенина после „Пугачёва“ национальная трагическая тема сменилась темой личной, трагедией личной судьбы: „Москва кабацкая“, „Исповедь хулигана“ (написанная *до* „Пугачёва“. — *С. К.),* „Любовная лирика“ и т. д. Клюев же, не имевший личного (мирского), — оно было порочным, запретным, не подверженным огласке, — весь ушёл в апокалиптическую тематику и в этом достиг своей высоты! *Поэтов такого масштаба теперь — вообще — нет!»*

Не всё здесь точно и в отношении Клюева, и в отношении Есенина. Но не оставляет впечатление: свиридовская мысль через шесть без малого десятилетий вторила клюевской мысли, когда Николай выносил на люди своё суждение о последних есенинских стихах.

А Есенин вскипел. Он уже читал кое-какие стихи Клюева, напечатанные в «Красной газете». Читал и кричал: «Плохо!» И всё равно пришёл к старшему собрату со словами: «Ты, Николай, мой учитель. Слушай!»

И тот послушал…

Эрлих потом написал, что «Есенин помрачнел». Сам Есенин, если верить Елизавете Устиновой, говорил ей, что «он Клюева выгнал». Картина, которую почти через полвека нарисовал в своём письме Павел Мансуров, по первому впечатлению отдаёт чистой фантасмагорией. Вчитавшись, начинаешь понимать, что перед нами достаточно расчётливо сплетённый узел из вспомненных реалий и нарочито наложенных фантастических напластований.

«Есенин рассвирепел и полез в драку, и мне пришлось их разнимать, и когда Клюев, к тому привычный, вышел на минутку и мы остались вдвоём, Есенин говорит мне: „Ты знаешь, какая стерва этот Коленька… Но это, — говорит, — всё ерунда, а вот не ерунда эта история с Ганиным (и он мне, может, в десятый раз в

жизни рассказал), ты знаешь, меня вызвали в ЧК, я пришёл, и меня спрашивают: вот один молодой человек, попавшийся в ‘заговоре’, и они все мальчишки, образовали правительство, и он, его фамилия Ганин, говорит, что он поэт и Ваш товарищ, что Вы на это скажете? Да, я его знаю. Он поэт. А следователь спрашивает, — хороший ли он поэт. И я, говорит Есенин, ответил не подумав, товарищ ничего, но поэт говённый“. Ганина расстреляли. Этого Есенин не забыл до последней минуты своей жизни. Потом опять все как-то собрались около диванчика, на котором лежал Есенин, и он каждому из нас прочитал по стихотворению на память. Мне он выбрал „Цветы головки наклонили…“. …А Эрлиху он дал уже раньше написанное на клочке бумаги и говорит: „ты сегодня этого не читай, прочти завтра“. И сунул ему в карманчик пиджака для платочка.

Все разошлись. Мы остались втроём: Есенин, Клюев и я. В окне, напротив, Исаакиевский собор. Мокрые хлопья снега попадали на окно и плыли вниз. Эта была страшная петербургская ночь. Всё было им решено. Ещё когда мы за день перед этой ночью выходили после утра (с петухом и хлебом) на Морскую и шли посередине улицы, то торцовая мостовая была покрыта мокрым снегом и лужами. Навстречу нам также по мостовой шла женщина с маленьким мальчиком, и когда они поравнялись с нами, то мальчик, в страхе смотря на Есенина, начал кричать, а женщина ему говорит — миленький, что с тобой, и они прошли мимо, а Есенин, в своих лаковых башмаках, шёл безразлично по лужам.

После всяких воспоминаний и разговоров мы с Клюевым ушли около пяти часов утра. Жили мы в пяти минутах ходьбы».

И далее идёт рассказ о том, как в *это же утро* Мансуров узнал о смерти Есенина.

По свидетельствам Вольфа Эрлиха, Георгия и Елизаветы Устиновых, Клюев был в «Англетере» *за день* до всех событий, описанных Мансуровым. Ни о каком «лежании на диване» и чтении стихов «каждому на память» никто больше не вспоминал. Ни Эрлих, ни Устинова не писали о присутствии Мансурова, Клюева или ещё кого-либо при пресловутой «передаче стихотворения»… Другое дело — разговор о Ганине, Мансуров не случайно подчеркнул, что слышит это от Есенина далеко не в первый раз, и вполне можно предположить, что он мог слышать сию историю в пересказе Клюева, с которым делился Есенин.

Клюев, если верить дневнику Роберта Куллэ, литературного критика, специалиста по русской и западной литературе, часто печатавшегося в «Красной газете», рассказывал о последней встрече с Есениным в совершенно жутких тонах, относя её также к

последнему дню (точнее, к последней ночи). Перед этим Клюев вспоминал о квартире Садофьева, где якобы «его, Клюева, норовили извести, убрать под каким угодно предлогом, чтобы избавиться от конкурирующего крупного таланта» (объяснение более чем странное, но жизни Клюева действительно могла угрожать опасность — достаточно вспомнить угрозу Покровского «сломать Клюеву шею» в письме к Бениславской). В «Англетере» же атмосфера ещё более сгустилась: «Прогнав всех от себя, Есенин уговаривал Клюева остаться у него на ночь. Клюев понял, что Есенин что-то замышляет, и сказал ему: „Делай, что задумал, но скорее“. Сам же ушёл, так как он знал, что с Есениным кончено, но перед самоубийством Есенин попытается осуществить давнее своё намерение — убить и Клюева. Около 2 ч<асов> ночи Клюев подходил под окна гостиницы и видел свет люстры в номере. Он полагал, что там вновь началась оргия, и ушёл. Утром узнал о самоубийстве, совсем не неожиданном для него…»

Запись этой совершенно фантасмагорической сцены относится к 15 марта 1927 года. Волей-неволей возникает вопрос: что же случилось с Клюевым, что он мог в этом заподозрить Есенина, и в точности ли передал клюевский рассказ Куллэ? Тем более что дальше в дневнике следует красноречивая запись: «Клюев далеко не так прост, каким он хочет казаться. У него большие провалы». Провалы — где? В памяти? В сюжетной нити этого жуткого рассказа?

Клюев передавал собеседнику своё впечатление от той жути, которая охватила его, когда Есенин стал уговаривать товарища остаться. Один он быть в номере не желал: чувствовал смертельную опасность. Её же почувствовал и Клюев — опасность, грозящую и Есенину, и ему самому. Потом уже, со многими паузами и недоговорённостями, воспринимающимися как «провалы», он мог говорить о своей последней встрече, упирая на свою невозможность остаться… Дескать, не человек уже был перед ним, а змеиная шкура извивалась… Не остался, но пошёл домой и всю ночь молился за Серёженьку… Более ни о чём подобном, похожем на некую опасность, исходившую для него от Сергея, он нигде и ни при ком не упоминал — ни при Павле Медведеве, ни при Игоре Маркове, ни при том же, насколько можно судить, Мансурове — более близкими ему людьми, чем Куллэ… Впрочем, о своей попытке вернуться в «Англетер» вечером 27-го числа, на следующий (следующий ли?) день после расставания он рассказал литератору Николаю Минху:

«…Накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошёл я к нему в гостиницу. В „Англетер“ этот. Гляжу, в номере дружки его сидят. На столе коньяки, закуски. На полу хлеб,

салфетки валяются. Кого-то, видать, мутило. В свином хлеву чище! Ох, думаю, зря пришёл! Дружки его увидали меня и, как жеребцы, заржали: „Кутя пришёл! Кутя!“ Я их спрашиваю: „Серёженька-то где?“ А они толкать меня в дверь зачали. „Иди, — говорят, — старик! Иди! Он ушёл и придёт не скоро. Баба его увела“.

А на кровати, смотрю, вроде человек лежит. Одеялом с головой укрыт. Храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили. Взашей выгнали… А наутро слышу: Серёженька повесился!..»

Это всё происходило уже после ухода из есенинского номера и Устинова, и Эрлиха — оба вспоминали, что Есенин в эти последние часы был абсолютно трезв и спокоен… После восьми вечера в номер нагрянула некая компания (из кого она состояла — неизвестно по сей день) с алкоголем и — явно для приватного разговора… О чём он мог быть? И откуда могли явиться эти люди? Тут впору вспомнить, что, как писала в своих воспоминаниях Елизавета Устинова (воспоминаниях, очевидно, просмотренных и отредактированных её мужем Георгием), Есенин «запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что так ему надо для того, чтобы из Москвы не могли за ним следить». «Из Москвы» — намёк мог быть только на людей, непосредственно принимавших участие в партийной схватке на XIV съезде, соответственно, на ближайшее окружение партийных вождей… Кстати сказать, потом этот «портье» растворился в небытии, он больше не фигурирует ни в одном документе, а в показаниях коменданта гостиницы Назарова — бывшего чекиста (насколько они могут быть «бывшими») — не упоминается ни о чём подобном.

Так или иначе — Клюева выпроводили вон, не дав ему поднять одеяло с головы лежащего Есенина (был ли он ещё жив в эти минуты? И слышал Клюев «храп» или предсмертный хрип?). Нетрудно предположить, что могло бы произойти с самим Клюевым — попытайся он открыть лицо своего друга (и ведь чувствовал, чувствовал он смертельную опасность, разлитую в воздухе, ещё когда прощался с Сергеем!). Что же это были за персонажи сей кровавой истории? Кого же из них так «мутило», у кого не выдержали нервы?

Николай Минх был не единственный, кому Клюев рассказывал о своей несостоявшейся встрече с Есениным. То же самое он рассказал и художнику Василию Сварогу, который опубликовал в «Красной газете» свой рисунок Есенина, вынутого из петли, лежащего на полу… Не один читатель мог прийти в ужас от самого вида мёртвого тела буквально растерзанного

поэта. Ставшие гораздо позже известными фотографии, сделанные Моисеем Наппельбаумом, ничего общего не имеют с этим рисунком с натуры Есенина… Наппельбаум снимал тело, уже приведённое в относительный порядок.

Слух о происшедшем мгновенно разлетелся по Ленинграду. В «Англетере» появились Борис Лавренёв, Михаил Фроман, Николай Браун, Николай Никитин, Павел Медведев, Всеволод Рождественский, Михаил Слонимский, Иннокентий Оксёнов… Вольф Эрлих сидел посреди номера с хозяйским видом… Вид же лежащего на кушетке Есенина был страшен. Жуткий багровый шрам на переносице сам по себе вызывал вопросы, но все они были тут же отметены одним объяснением: прижался, дескать, лицом к горячей трубе… На дворе — метель, а трубы холодные, и составитель протокола кутался в шинель… Если кто потом и обратил внимание на это противоречие, то мог задать леденящий душу вопрос лишь самому себе.

Медведев, первым из писателей вызванный Эрлихом в «Англетер», обзванивал потом своих коллег с извещением о «самоубийстве Есенина» — задолго до прекращения всякого дознания, до медицинской экспертизы, до составления всех протоколов. И так всё ясно! Чего темнить?

Он же с этой новостью заявился к Клюеву, когда тело Есенина уже было отправлено в мертвецкую Обуховской больницы.

Николай слушал спокойно. Держал себя в руках. Только произнёс: «Этого и нужно было ждать».

Вынул из комода свечу, зажёг её у божницы, перекрестился широко и стал читать молитву за упокой души раба Божьего Сергия.

Помолился — и слёзы градом хлынули из его глаз.

— Я говорил Серёженьке и писал к нему: брось эту жизнь. Собакой у порога твоего лягу. Ветру не дам на тебя дохнуть. Рабом твоим буду. Не поверил — зависть, мол, к литературной славе. Я обещал ему десять лет не брать пера в руки. Не поверил — обманываю. А слава вот к чему приводит…

В его глазах Есенин давно покончил с собой. Когда изменил себе, связался с «Москвой кабацкой», со славой бумажной, с известностью у всякого люда без разбора… И «Англетер» — лишь естественное завершение этой безбожной жизни…

Думал так, убеждал сам себя — а перед глазами стояли ухмыляющиеся хари в есенинском номере… «Кутя пришёл! Кутя!.. Баба его увела…» Словно чёрное вороньё, налетевшее на кровавую жатву. Как там у Пушкина? «Не стая воронов слеталась…»

* * *

В 6 часов вечера 29 декабря гроб с телом Есенина был выставлен в Союзе писателей на катафалке.

«В течение часа, приблизительно, гроб стоял так, и вокруг него толпились люди, — записал в дневнике Павел Лукницкий. — Было тихо. Но всё же многие разговаривали между собой и говорили — о своих делах (! — *С. К.)*… Ощущалась какая-то неловкость — люди не знали, что им нужно делать, и бестолково переминались с ноги на ногу… Есенин был мало похож на себя. Лицо его при вскрытии исправили, как могли, но всё же на лбу было большое красное пятно, в верхнем углу правого глаза — желвак, на переносице — ссадина, и левый глаз — плоский: он вытек. Волосы были гладко зачёсаны назад, что ещё больше делало его непохожим на себя. Синевы в лице не было: оно было бледно, и выделялись только красные пятна и потемневшие ссадины…» Иннокентий Оксёнов записал своё: «В гробу он был уже не так страшен. Ожог замазали, подвели брови и губы. Когда после снятия маски смывали с лица гипс, волосы взмокли, и, хотя их вытерли полотенцем, они легли, как после бани, пришлось расчёсывать. Ионов не отходил от гроба…»

Клюев стоял с краю ото всех. Не отводя глаз, смотрел в лицо погибшего. Ни с кем не заговаривал, ни на кого больше не глядел. Плакал — и вглядывался, вглядывался, вглядывался… Не слышал никаких жужжащих вокруг разговоров о «своём», не замечал ничьего дурного нетерпения, праздного любопытства. Единственно, на что среагировал — когда установил свою аппаратуру фотограф Булла, к гробу стали протискиваться те, кто посчитал необходимым запечатлеть своё присутствие, и раздались крики из публики: «Клюева! Клюева!» Тогда медленно прошёл и встал с краю рядом с Ионовым, по-прежнему ни на кого не глядя, не видя, как с другой стороны от Ионова встали Василий Наседкин и Софья Толстая.

Перед тем как закрыть гроб, подходили прощаться. Николай, наклонившись, целовал Есенина и шептал что-то, словно договаривал недоговорённое *тогда*… Перекрестил покойного и положил ему на грудь образок… На истерический вопль какой-то актрисули: «Довольно этой клюевской комедии!.. Раньше надо было делать это!» — даже головы не повернул. Словно не слышал ни бабьего визга, ни последующего шиканья.

Простился. Закрытый гроб в сопровождении оркестра отправился на Московский вокзал…

В сборник «Памяти Есенина», издаваемый Всероссийским союзом поэтов, Николай дал старое стихотворение «В степи

чумацкая зола…» как напоминание о былом пророчестве — злом: «От оклеветанных голгоф тропа к иудиным осинам…» И — добром, перекликнувшись с Пушкиным: «И вспомнит нас младое племя на песнотворческих пирах…» И в этом же сборнике — раскрыл страницу на воспоминаниях Николая Тихонова, этого советского барина от поэзии, глядя на которого, иронически обмолвился: «Вот так поэты революции!» Этот «барин» был едва ли не безутешнее его самого на церемонии прощания. А здесь — в сборнике — вспоминал о встрече с Есениным в Тифлисе. И о есенинских словах в эту встречу за столом духана: «Ты не знаешь, я не могу спать по ночам… Раскроешь окно на ночь — влетают какие-то птицы. Я сначала испугался. Просыпаюсь — сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкап. Зажёг свет — нетопырь. Взял палку — выгнал одного, другой висит у окна. Спать не дают. Чёрт знает — окон раскрыть нельзя. Противно — серые они какие-то…»

Что-то бродило внутри у Тихонова, какие-то тяжёлые мысли роились в голове, когда он писал эти воспоминания: «Бедный странник знал не только скитанья и песни, серые птицы не давали ему спать, и не только спать, они волочили свои крылья по его стихам, путали его мысли и мешали жить. Когда-нибудь мы узнаем их имена.

Но никто никогда не узнает, какой страшный нетопырь, залетев в его комнату в северную длинную зимнюю ночь, смёл начисто и молодой смех, и ясные глаза, и льняные кудри, и песни, из которых не нужно брать примеров для учебника».

Клюев, видя, как провожают Есенина, не мог не вспомнить нелюбимого им, но здесь как нельзя кстати пришедшегося Некрасова: «Без церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка…» Он мог и не знать, что мать Сергея, Татьяна Фёдоровна, отпела его заочно после того, как её буквально отговорили приводить священника в Московский дом печати. Мать, в «Письме» к которой Есенин писал: «И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет…» Николай совершил над ним свой плач — и начал его со строк: «Помяни, чёртушко, Есенина кутьёй из углей да обмылков банных…» Банные обмылки на Вытегорщине невеста, не оборачиваясь, бросала в подружек в бане перед свадьбой — на кого попадёт, та и следующая. Так и чёртушко обручил Есенина со Смертью… Он и поминает погибшего, по мысли Клюева, от своей собственной руки собрата, что перед этим ушёл от старшего «разбойными тропинками», «острупел… весёлой скукой в кабацком буруне топить свои лодки», «обронил… хазарскую гривну —

побратимово слово, целовать лишь солнце, ковригу, да цвет голубый…». Все упрёки высказаны — и вступает основной мотив плача — сродни причитаниям вопленицы над безвременно ушедшей Настенькой Чапуриной из бессмерного романа П. Мельникова-Печерского «В лесах»:

Не утай, скажи, касатка моя, ластушка.
Ты чего, моя касатушка, спужалася?
Отчего ты в могилушку сряжалася?
Знать, того ты спужалась, моя ластушка.
Что ноне годочки пошли все слезовые,
Молодые людушки пошли все обманные,
Холосты ребята пошли нонь бессовестные…

И Клюев словно бы вышивает свою мелодию по канве старого причитания:

Ты скажи, моё дитятко удатное,
Кого ты сполохался-спужался,
Что во тёмную могилушку собрался?
Старичища ли с бородою,
Аль гуменной бабы с метлою,
Старухи ли разварухи,
Суковатой ли во играх рюхи?
Знать, того ты сробел до смерти.
Что ноне годочки пошли слезовы,
Красны девушки пошли обманны!
Холосты ребяты всё бесстыжи!

Он потом перекинет «мостик» от причитания к «годочкам слезовым», что выпали и ему, и Сергею… Но сначала, отплакавшись по-старинному, он вспомнит есенинское «Этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далёких лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет…» — и это отцветание перенесёт на себя. Сам он отцвёл с потерей друга, и ещё страшнее потери — сознание того, *как* потерял.

Отцвела моя белая липа в саду,
Отзвенел соловьиный рассвет над речкой.
Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду
Изведать ятагана с ханской насечкой!

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,

Опочить по-мужицки — до рук борода!

Михаил Тверской, князь-мученик, был убит в Золотой Орде после долгого и кровопролитного соперничества с московским князем Юрием Даниловичем, но пал он от рук ордынцев и принял смерть мужественно и твёрдо… Клюев вроде бы жалеет, что его собрат не принял смерть, подобно Михаилу, от рук современных ордынцев, но именно эта часть поэмы завершается загадочным вопросом: «О жертве вечерней иль новом Иуде шумит молочай у дорожных канав?» А «жертва вечерняя» отсылает к эпиграфу «Плача»: «*Младая память моя железом погибает, и тонкое тело моё увядает…» План Василька, князя Ростовского.* Клюев не мог не предполагать, что кто-нибудь из читающих его поэму обратится к Лаврентьевской летописи и прочтёт о судьбе ростовского князя Василька Константиновича, ставшего первым русским мучеником за веру.

«А Василька Константиновича вели с постоянным понуждением до Шерньского леса, и когда стали станом, принуждали его многие безбожные татары принять обычаи татарские, быть в их неволи и воевать за них. Он же никак не покорялся их беззаконию, и много укорял их, говоря: „О глухое царство осквернённое! Ничем не заставите вы меня отречься от христианской веры, хотя и нахожусь я в великой беде; как дадите ответ Богу, многие души погубив без правды? За их муки будет мучить вас Бог, и спасёт души тех, кого погубили“. Они же скрежетали на него зубами, желая насытиться его крови. Блаженный же князь Василько помолился… И в последний раз помолился: „Господи Исусе Христе Вседержитель! Прими дух мой, да и я почию в славе Твоей“. И сказал это и тотчас без милости был убит… И когда понесли его в город, множество народа вышло навстречу ему, печальные слёзы проливая, лишившись такого утешения. И множество народа правоверного рыдали, видя, что отходит отец сиротам и кормилец…»

Так как же всё-таки, если следить за клюевской мыслью в «Плаче», принял смерть Есенин? Как Михайло Тверской? Как Василько Ростовский? Или «молодой детинушка себя сразил», отравившись миазмами города, куда «к собрату берёзка пришла», почитая город собратом, а в ответ:

На гостью учёный набрёл,
Дивился на шитый подол,
Поведал, что пухом Христос
В кунсткамерной банке оброс.

Из всех подворотен шёл гам:
Иди, песноликая, к нам!
А стая поджарых газет
Скулила: кулацкий поэт!

Клюев зашифровал свою догадку так, что лишь не скоро и лишь знающему можно на неё набрести… И сам оставил для себя вопрос, на который у него не было ответа.

Отойдя от счёта с постылой современностью, сжирающей самого Клюева и сжившей с белого света его собрата, — он снова возвращается к причитанию по образцу того, что выводила Устинья в мельниковском романе над покойной Настасьюшкой от лица матери:

На полёте летит белая лебёдушка,
На быстром несётся касатка-ластушка.
Ты куда, куда летишь, лебедь белая,
Ты куда несёшься, моя касатушка?..
Не утай, скажи, дитя моё родное…
Ты в какой же путь снарядилася,
Во которую путь-дороженьку,
В каки гости незнакомые.
Незнакомые, нежеланные?

Но лебедь белая у Клюева становится свидетельницей и участницей поразительного действа.

На полёте летит лебедь белая,
Под крылом несёт хризопрас-камень.
Ты скажи, лебедь пречистая,
На пролётах-перемётах недосягнутых,
А на тихих всплавах по озёрышкам
Ты поглядкой-выглядом не выглядела ль,
Ясным смотром-зором не высмотрела ль…
Не шёл ли бережком добрый молодец,
Он не жал ли к сердцу певуна-травы,
Не давался ли на родимую сторонушку?

И отвечает лебедь, как в том же граде, «железом крытом», в который пришёл некогда берёзкой «белый цвет-Серёжа», он же «молодой детинушка» — «кидал себе кровь поджильную, проливал её на дубовый пол»… В старое причитание вторгается

кровавое «сегодня» — кровь на полу — из статей лихих газетчиков, жаждущих «покраше» расписать происшедшее… Но далее:

Как на это ли жито багровое
Налетели птицы нечистые —
Чирея, Грызея, Подкожница,
Напоследки же птица-Удавница.
Возлетала Удавна на матицу,
Распрядала крыло пеньковое,
Опускала перище до земли.
Обернулось перо удавной петлёй…

Если вспомнить «серых нетопырей», что «мешали спать и жить» поэту из некролога Николая Тихонова, то выходит, что «детинушка себя сразил», да не сам себе петлю на шею накинул… «Птицы нечистые» — не из старых ли славянских мифологических сказаний, где бесицы-трясавицы, дщери Иродовы — Трясея, Огнея, Ледея, Коркуша, Невея — мучают человека смертными болезнями и сводят его со света? Существа, исполненные зла, пирующие на чужой крови — не те ли, кого встретил Клюев в «Англетере», и кто уже начал пробавляться в печати мерзким словечком «есенинщина» — прямым производным от князевской «клюевщины»? Древние мифы и живая, кровавая современность сливаются воедино.

А лебедь белая — символ неба, верховного божества, передатчик человеческой души из мира живых в мир мёртвых — несёт «душу убойную» в хризопрасе-камне не в царство смерти, где, мнится Клюеву, уготованы ей вечные муки, а «под окошечко материнское». Его, клюевская, лебедь спасает душу неприкаянную Серёженьки после гибели! «Прорастёт хризопрас берёзынькой, кучерявой, росной, как Сергеюшко»… Как берёзкой чистой, белой пришёл в город, так и после кончины берёзкой расти будет…

Заклинает Клюев земные и небесные силы, заклинает божества и чертей в аду — дабы не отдавали собрата на мучения посмертные после всего перенесённого в жизни… Матушка его поёт сгинувшему, обращённому в берёзыньку, колыбельную, а сам Клюев завершает свой «Плач» неторопливой лирической песней, где слышен голос спасённого «Сергеюшки», где отзываются его зимние мелодии последних стихов — «снежная замять дробится и колется» — и любимый кот выглядывает с лежанки, и дед из старого стихотворения улыбается в бороду… И слышится хрипловатое, немного срывающееся, есенинское: «Приемлю всё, как есть, всё принимаю. Готов идти по выбитым следам…» Всё

принимает и его живой ещё старший собрат, сумевший, мнится, совершить невозможное…

Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет,
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет,
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.
……
Жизнь — океан многозвенный —
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны —
Всё принимает поэт…
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.

Два небольших отрывка из «Плача о Сергее Есенине» были напечатаны в «Красной газете», а в следующем, 1927 году поэма вышла отдельным изданием с предваряющей её большой статьёй Павла Медведева «Пути и перепутья Сергея Есенина», который писал, в частности: «Это — именно плач, подобный плачам Иеремии, Даниила Заточника, Ярославны, князя Василька. В нём личное переплетается с общественным, глубоко интимное с общеисторическим, скорбь с размышлением, нежная любовь к Есенину со спокойной оценкой его жизненного дела, одним словом — лирика с эпосом, создавая сложную симфонию образов, эмоций и ритмов… На „Плаче“ лежит печать огромного своеобразия и глубокой самобытности…»

Надо сказать, что в данном случае статья Медведева служила неким «конвоиром» клюевской поэмы. Но спасти от цензурного вмешательства поэму не удалось. Из текста были исключены три строфы:

Для того ли, золотой мой братец,
Мы забыли старые поверья, —
Что в плену у жаб и каракатиц
Сердце-лебедь растеряет перья,

Что тебе из чёрной конопели
Ночь безглазая совьёт верёвку,
Мне же беломорские метели
Выткут саван — горькую обновку.

Мы своё отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлёт на родине далёкой
Снежный бор звенит своей кольчугой.

Лишь последнюю из них удалось напечатать, поставив вторым эпиграфом к «Плачу».

А незадолго до издания поэмы Клюев, выступавший практически на всех вечерах, посвящённых памяти Есенина в Ленинграде (он ничего не рассказывал, только читал стихи — и уходил), прочёл её вместе с другими стихотворениями 10 января 1927 года на вечере в ленинградском Большом драматическом театре. На вечере, где Борис Эйхенбаум вещал, что «поэзия Сергея Есенина — великого национального поэта — путь от литературы к жизни, трагически неудавшийся… Нам дорога не поэзия Есенина сама по себе, но следы его судьбы в ней — судьбы, чей смысл близок каждому из нас…». Воронский, отвечая Эйхенбауму, заявил: «Поэта обвиняют в упадочничестве. Но его поэзия полна тяготения и сочувствия к простым вещам и людям, с чего, собственно, и начинается любовь к жизни… В чём трагедия Есенина? В том, что отдал „жизнь за песню“…» Само собой, «поэт, конечно, не сработался с советской общественностью, но он делал громадные усилия, чтобы пойти ей навстречу и принять в ней органическое участие… Столкновение есенинской песни с собой загубило в Есенине человека…». А репортёр, освещавший вечер, подвёл своеобразный итог: «Символ судьбы поэта только сгустился. Пристрастия, находящиеся на границе с легендой, только плотнее облегли его имя. Ещё сильно пахнет елеем и фимиамом…»

Замечательное по-своему воспоминание о чтении «Плача о Сергее Есенине» оставила Ольга Форш, назвав чтение Клюева «неслыханными поминками… по ушедшему самовольно другу».

«На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях — нездоровый налёт садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью…

Настал черёд и Микулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике земно — так дьяк в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперёд выдвинул лицо с защуренными на миг глазами. Лицо уже было овеяно песенной силой. Вдруг Микула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос.

Он разделил помин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши пестуну, старшему брату и себе самому.

Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он своё известное слово о том, как

С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.

Ещё под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко.

Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот, в „Страшной мести“, Катеринину душу за то, что не послушала его слов. Не послушала, и вот —

…На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою чёрной матицей,
Молодой детинушка себя сразил…

Никто не уловил перехода, когда он, сделав ещё один мелкий шажок вперёд, стал говорить уже не свои, а стихи *того* поэта, ушедшего.

Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микула говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое…

Было до тонкой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, ухарством, с пьяной икотой он кончил:

Ты Рассея моя… Рас… сея…
Азиатская сторона.

С умеренным вожделением у публики было кончено. Люди притихли, побледнев от настоящего испуга. Чудовищно было для чувств обывателя это нарушение уважения к смерти, к всеобщим эстетическим и этическим вкусам.

Микула опять ударил земно поклон, рукой тронув паркет эстрады, и вышел торжественно в лекторскую. Его спросили:

— Как могли вы…

И вдруг по глазам, поголубевшим, как у врубелевского Пана, увиделось, что он человеческого языка и чувств не знает вовсе и не поймёт произведённого впечатления. Он действовал в каком-то одному ему внятном, собственном праве.

— По-мя-нуть захотелось, — сказал он по-бабьи, с растяжкой. — Я ведь плачу о нём. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила…

— Зачем же вы оставили его одного? Тут-то вам и не отходить.

— Много раньше увещал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь чёрный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошёл. Не спал ведь — плакал».

Многие свидетели этой сцены совершенно не поняли того, что происходило на их глазах. Не поняла, естественно, и Ольга Форш.

Клюев при всей собравшейся «отвратительно взволнованной» публике вёл *свой* диалог с Есениным. Соединив в единое целое в определённой последовательности стихотворение «Оттого в глазах моих просинь…» и «Плач» — он дал ответ Есенина *голосом Есенина.* Сергей, словно вернувшийся с того света, отвечал Клюеву изнутри самого Клюева — стихами, тогда ещё, три года назад, пронзившими Николая, когда они оба выступали в Москве… Если бы зал понял, что происходит на самом деле — можно не сомневаться: в помещении театра тут же не осталось бы ни одного человека. Но никто ничего не понял — и в то же время все почувствовали: происходит что-то не то. Клюев явно внушал страх — и проще всего было обвинить его в «нарушении уважения к смерти», в том, что он «не понимает человеческого языка»… Форш почуяла, что Клюев действует «в одному ему внятном собственном праве», но суть этого «права» осталась для неё за семью печатями…

Через много лет она хотела переиздать свой «Сумасшедший корабль» в восьмитомном собрании сочинений. На этот замысел

наложил своё вето всё тот же Николай Тихонов — к тому времени солидный советский сановник и депутат Верховного Совета СССР, обладающий и немалым авторитетом, и немалой властью. В письме к Форш от января 1961 года он популярно объяснил, почему выступил против переиздания этой вещи, указав на целый ряд «неудобств». И главным «неудобством» послужил здесь именно Клюев, памятное выступление которого Тихонов также лицезрел в Большом драматическом театре и, видимо, долго не мог от него отойти. «Я читал, например, про Клюева, — писал Тихонов. — Ваши страницы эти не поддаются действию времени. Они точны самой строгой точностью — художественного припечатывания действительно бывшего… Но сегодня столько подымется на тень Клюева вопросов, что уж лучше пусть она себе покоится, где нашла приют». Тихонов прекрасно знал, где именно душа Клюева нашла себе «приют». И рука его не дрогнула, когда он выводил эти строки.

…Уже в 1988 году при переиздании «Сумасшедшего корабля» к нему было предпослано предисловие, автор которого — учёная дама, разделяя взгляд Ольги Форш на писателей — героев книги, охарактеризовала Клюева в полном соответствии с мнением напуганных его современников и опасливых — наших, предпочитавших увидеть в нём что-нибудь по возможности удобное и не мешающее жить: «В духовную исступлённость Микулы, в его могучую корневую систему О. Форш вкладывает стихийную мощь мужицкого уклада, с которым рядом нет места цивилизации. В своей тысячелетней неподвижности она не хочет уступать места не только революционному настоящему, но, как показывает жизнь, не увядает и в будущем. В поисках духовного наставничества Клюева запутались многие умы молодой русской интеллигенции…» Тень Клюева встала во весь рост и, поистине, вместе с ней встала масса вопросов, на которые — хочешь не хочешь — надо было отвечать. Но сплошь и рядом многие пытались не отвечать, а отходить в сторону, процеживая отдельные характеристики с использованием фразеологии Троцкого и Князева вместе взятых.

* * *

Одновременно с «Плачем о Сергее Есенине» в июле 1926 года Клюев пишет поэмы «Заозерье» и «Деревня». По существу все эти вещи составляют единый триптих. Языческо-христианская славянская идиллия — в «Заозерье», где одухотворено каждое природное движение, и в то же время вся картина выписана

словно тонкой кистью строгановского иконописца — со свойственной мастерам старой школы прозрачностью света и лёгкостью мазка. Люди и святые живут в едином мире, в полной гармонии и ладу — и в ладу с ними все явления природы и быта — и одно неотделимо от другого. Крестьянская ойкумена, та, что чаялась издавна в народных преданиях, та, за которой уходили в таинственное Беловодье русские мужики.

Всё неторопливое действие поэмы — точнее, не действие, а саму жизнь в поэме сопровождает литургия, что служит отец Алексей: «бородка — прожелть тетерья, волосы — житный сноп». За литургией незаметно сменяются времена года, и как кульминация — наступает Пасха. Воскресение Христово.

Великие дни в деревне,
Журавиный плакучий звон: —
По мёртвой снежной царевне
Церквушка правит канон.
……
Христос воскресе из мёртвых,
Смертию смерть поправ, —
И у елей в лапах простёртых
Венки из белых купав.

Идиллия разрушается с гибелью поэта Руси — Сергея Есенина. Да, не на ту дорогу свернувшего, получившего своё «за грехи, за измену зыбке, запечным богам Медосту и Власу», но великого поэта… И само обрушение русской жизни предстаёт воочию в поэме «Деревня». Как смерть Настеньки — предвестие гибели керженских скитов, так смерть русского поэта — предвестие конца прежней жизни. Насколько идилличен тон в «Заозерье» — настолько он напряжён, рыкающ до срыва — в «Деревне». Кажется, что весь деревенский люд от парней (схожих то с Буслаевым Васькой, то с Евпатием Коловратом) и девок (каждая, что Ефросинья Полоцкая, Ярославна или Евдокия, Дмитрия Донского суженая), до матерей — «трудниц наших», до Бога, писанного «зографом Климом» — весь поднялся на защиту своего бытия от страшной современности, от полного её разброда и нестроения внутреннего. И рефрен воистину угрожающий:

Будет, будет русское дело,
Объявится Иван Третий —
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!

Это, мнится, не слишком далеко ушло от пушкинского: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!..» Это «ужо тебе!» — сплошь и рядом от бессилия, от невозможности сопротивляться нашествию чумной новизны. Новая эпоха железа наступает — и скрыться от неё некуда.

Ты, Рассея, Рассея матка,
Чаровая заклятая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Иль лысого чёрта рога?
Рогатиной иль каноном
Открыть наговорный чан?..
Мы расстались с Саровским звоном —
Утолением плача и ран,
Мы новгородскому Никите
Оголили трухлявый срам, —
Отчего же на белой раките
Не поют щеглы по утрам?

Кажется, принесены все жертвы, какие только можно было принести, а облегчения не наступает. Меняется весь мир вокруг, замолкают птицы, деревья бегут со своих мест, «разодрав ноженьки в кровь», при виде трактора, выехавшего на ниву, железного коня, с которым «от ковриг надломятся полки…». Да не хлебом ведь единым… Жизнь старая гибнет.

И не зря в «Деревне» трактор под стать паровозу из есенинского «Сорокоуста»… И не зря «Ты Рассея, Рассея-тёща, насолила ты лихо во щи» — тут же перекликается с «Рас…сеей» Есенина из «Москвы кабацкой»… Ведь вся Русь в богохулье ударилась, и сам Клюев в стороне не стоял — и никакие мотивы не послужат оправданием. Вот и ему, как и младшему собрату, «за грехи, за измену зыбке» — доводится увидеть крушение прежнего мира, где «от полавочных изголовий неслышно сказка ушла»… Одна надежда — вернётся, когда чаша Божьего гнева переполнится.

Только будут, будут стократы
На Дону вишнёвые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только б месяц, рядяся в дымы,
На реке бродил по налимы

Да черёмуху в белой шали
Вечера, как девку, ласкали!

* * *

В третьем номере журнала «На литературном посту» за 1927 год появилось «открытое письмо» члена редколлегии «Звезды» А. Зонина, который руками и ногами открещивался от публикации «Деревни» в «Звезде»: «Черносотенное стихотворение Н. Клюева, как и все другие стихи первого № Ленинградского журнала „Звезда“, принимались без меня. В настоящее время, в связи с переездом в Москву фактического участия в работах редакции „Звезды“ я не принимаю. Вместе со всеми т.и. по ВАППу я считаю напечатание стихов Клюева в марксистском журнале недопустимым».

Не единожды потом задавались читатели и исследователи вопросом: каким чудом «Заозерье» и «Деревня», которую вполне можно было проинтерпретировать как политическую прокламацию в тех условиях — вообще попали в печать, когда «Заозерье» было опубликовано в сборнике «Костёр», а «Деревня» — в журнале «Звезда»?

Объяснение этому есть. И оно может показаться достаточно неожиданным.

Ещё при Зиновьеве с помощью Ионова Клюев начал печататься с осени 1925 года в «Красной газете». Ионов буквально «выжимал» из него «новые песни» — «волчий брёх и вороний грай»… Николай взялся-таки за «советскую тематику», но не брехал и не граял. Он нашёл единственный и самый точный ход — «новые песни» пелись от имени нового поколения, той молодёжи, что вошла в жизнь с Октябрём — и иной жизни себе не представляла.

В результате его стихи, насыщенные реалиями новой жизни, обретали куда более полную интонационную завершённость и смысловую убедительность, чем километры виршей на ту же тему множества пролетарских и комсомольских поэтов. Даром поэтического перевоплощения Клюев владел, как мало кто.

Ты мой чумазый осьмилеток,
Пропахший потом боевым.
Тебе венок из лучших веток
Плетут Вайгач и тёплый Крым.

Мне двадцать пять, крут подбородок
И бровь моздокских ямщиков,
Гнездится красный зимородок
Под карим бархатом усов.

Эти стихи ещё вязались интонационно и тематически с его прежними выступлениями, с прославлением «красных орлов». Но Клюев шёл ещё дальше. Он пел от имени пролетария — классическим пушкинским ямбом и пушкинскими же словами.

Друзья, прибой гудит в бокалах
За трудовые хлеб и соль,
Пускай уйдёт старуха-боль
В своих дырявых покрывалах…
Друзья, прибой гудит в бокалах!
Нам труд — широкоплечий брат
Украсил пир простой гвоздикой,
Чтоб в нашей радости великой,
Как знамя, рдел октябрьский сад…
Нам труд — широкоплечий брат.

И всё это Клюев печатал в «Красной газете» — вместе с «Железом», перепечатанным из «Львиного хлеба». Кажется, ни у одного поэта того времени нет столь взаимоисключающих друг друга публикаций на страницах одной и той же газеты.

После свержения Зиновьева и «вокняжения» в Ленинграде Кирова главным редактором «Красной газеты» и ближайшим соратником нового партсекретаря стал Пётр Иванович Чагин (с Кировым они были в одной «связке» ещё в Баку). Чагин рассчитывал стать надёжной опорой для собиравшегося переехать в Северную Пальмиру на постоянное место жительства Сергея Есенина. И Киров, по его воспоминаниям, собирался взять над Сергеем «шефство», точнее, продолжить его, начавшееся всё в том же Баку… Свершившаяся трагедия была для них настоящим ударом. Не успели…

Чагин знал о Клюеве как о друге и учителе Есенина. Нет ни малейших оснований говорить, что он, убеждённый коммунист, хоть в малейшей степени разделял идеи Клюева. Но судьба распорядилась так, что ближайший есенинский друг, тем паче пишущий и печатающий «новые песни», оказался под его покровительством. Клюев обращался к Чагину с просьбой напечатать «самые простые и любопытные для вечернего читателя (читателя „Вечерней Красной Газеты“. — *С. К.)* стихи». И если не

появлялись они в газете, то по рекомендации Чагина печатались (если их можно было напечатать) в других местах.

Чагин дал Клюеву своеобразный «карт-бланш» — ленинградские газеты, журналы, сборники в эти два года принимали практически всё, что выходило из-под клюевского пера. Николай приобрёл такую известность, как полноправный советский поэт, что напечатался даже у Вороне кого в «Прожекторе». Памятуя о словах, что ему, редактору, нужны «рыжие», которые ломались бы в его цирке бесплатно, поднёс горькую пилюлю, которую Воронский ничтоже сумняшеся проглотил. В цикле «Новые песни» вторым шло стихотворение, написанное от имени «кузнеца Вавилы» (одно из любимых клюевских мужских имён). Запев — лучше некуда, все «комсомольцы» и «пролетарии» обзавидуются.

По мозольной блузе
Всяк дознать охоч:
Сын-красавец в вузе,
В комсомоле дочь.

Младший пионером —
Красногубый мак…
Дедам-староверам
Лапти да армяк.

Ленинцам негожи
Посох и брада,
Выбродили дрожжи
Вольного труда.

«В художнике, как в лицемере, таятся тысячи личин…» — напишет он позже. Здесь он поворачивался к своим «работодателям» одной из личин, «закладывая» в текст смысловую и звуковую ассоциацию с рефреном из «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, что отчётливо придавало стихотворению пародийный привкус. Но подлинный смысл приоткрывался в финальной строфе:

И над всем, что мило
Ярому вождю,
Я — кузнец Вавила —
С молотом стою.

…Этой «счастливой» жизни Клюеву хватило ненадолго. Ровно до публикации поэмы «Деревня» в журнале «Звезда» и выхода отдельным изданием в «Прибое» «Плача о Сергее Есенине».

Глава 27
«„РУССКОЕ ДЕЛО“ Н. КЛЮЕВА»

«Стая поджарых газет» пополнилась ещё одним «воителем» — бывшим другом, «наставником» и «рачителем» (так ещё вроде совсем недавно надписывал ему книгу Есенин) Сергеем Городецким. В журнале «Советское искусство» Николай мог прочесть о себе нечто совершенно в князевском духе: «Гибель Есенина совершенно расстроила ряды крестьянской поэзии. Он был самый сильный и самый талантливый, и всё же он погиб на перевале от старого к новому. На плечи его товарищей по группе легла тяжёлая и, кажется, непосильная задача продолжить начатое им дело. Старший его товарищ, Николай Клюев, не подаёт никаких надежд. Он целиком и до сих пор покоится в иконах, лампадах и свечах. Изобразив в своё время Кремль как Китеж и увидев в Ленине „керженский дух“, он дальше не пошёл, и ничего, кроме старых песен, мы ждать от него не можем. В таком же положении находится Сергей Клычков, ближайший сверстник Есенина. Песня его отравлена надрывом и старой деревенской мистикой».

К этому словоизвержению разум уже начал привыкать, хотя непросто было смириться с «воскрешением» Городецкого-предателя, памятного ещё по истории с «Красой». Но тут же в «Новом мире» — новое сочинение Сергея Митрофаныча, словно зайчиком без остановки прыгающего с одной лужайки на другую: «неоязычник» — акмеист — «крестьянский поэт» — советский пропагандист.

Это уже были «воспоминания» о Сергее Есенине, в которых путалось и искажалось всё, что можно было перепутать и исказить: «…Была ещё одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это — Николай Клюев… У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти были и у Есенина. Помню, как он говорил мне: „Ей-богу, я пырну ножом Клюева!“ Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов… Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство — „Краса“… „Краса“ просуществовала недолго. Клюев всё больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими — моими „врагами“. Вероятно, там бывал и Есенин…»

Можно было читать — и диву даваться. Чего стоит одно это «пырну ножом» — ещё неизвестно, сказанное ли в

действительности Есениным! Но пронзает память Клюева страшная догадка — зря, что ли, родились у него тогда строки «Жертва Годунова, я в глуши еловой восприму покой…». Но дальше-то — «дружба с Мережковскими», в которой, «кажется», Городецкий так и уличает Клюева! С Мережковскими — самыми лютыми врагами Николая в символистском кругу… И в более спокойное время прочитать о себе такое — мало радости. А сейчас — в 1926 году — воспринимается как прямой политический донос.

И это ещё не конец. Городецкий жалуется на то, что «Ключи Марии» Есенина «не были разбиты» критиком К. (естественно, Князевым) «по линии философии…». А дальше пишется «путь спасения» заблудившегося в непроходимой «клюевщине» Сергея: «Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта… Он *хотел быть европейцем*… И вот в *имажинизме он как раз и нашёл противоядие против деревни,* против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни… Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем жёлтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддёвки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни… Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу…»

В этом пассаже, помимо всего прочего, присутствовала и едва скрытая подлость, рассчитанная именно на Клюева. Городецкий очень расчётливо переадресовал самому Есенину его сравнение Клюева с Уайльдом в «Ключах Марии» — причём, если Есенин снижал Клюева этим сравнением, подчёркивая «крестьянский эстетизм» Николая, то Городецкий возвышал здесь Есенина над всем крестьянским миром…

А про Мариенгофа и говорить нечего. Прочёл Клюев «Роман без вранья». Прочёл — и при случайной встрече в ответ на протянутую руку заложил обе свои за спину. «Страшно», — произнёс. Натурального мелкого бесёнка перед собой узрел.

Иные бранчливые слова в адрес Есенина, произнесённые Клюевым в это время и бережно записанные Николаем Архиповым, впрямую связаны с прочитанным в обильной «есениниане», морем разливанным разлившейся по журнальным и

газетным страницам. То прочтёт Николай у Деева-Хомяковского в журнале «На посту» о хождении Есенина по салонам — как «его и Клюева, наряженных в расшитые рубахи, плисовые шаровары и лакированные сапожки, приблизили к царским покоям. Там поэты читали стихи царским дочкам и в салонах фрейлин» — и сорвётся: начнёт утверждать, что если бы не он, Клюев, Есенин ни в какие салоны ни в жисть бы не попал — да и попавши, вёл себя непотребно… То увидит в «Красной нови» письма Есенина из архива Ширяевца к самому Ширяевцу и Иванову-Разумнику, опубликованные Дмитрием Благим, письма, где «клюевская Русь» вошла «в гроб», где «Клюев стал совсем плохой поэт, такой же, как Блок»…

Читать всё это Николаю было особенно тяжело — летом 1926-го он был опасно болен, перенёс две операции, чудом выжил после заражения крови. Нищий, безденежный, потративший все сбережения на врачей и санитаров, писал письма и в Московское, и в Ленинградское отделения Союза писателей, прося помощи, которую так и не получил.

Оставалось ради хлеба насущного расставаться с самым дорогим. В это время он начинает продавать отдельные иконы и рукописные книги.

В декабре он ответил на письмо Сергея Клычкова: «…Я никогда не обращался в союз за помощью, я горд был этим. В страшные голодные годы от меня никто не слышал просьб. Но сейчас я очень слаб. Ходить не могу, — а если и хожу, то это мне дорого обходится. Помоги, Сергей Антонович. Пострадай за меня маленько. Век не забуду. От многих умных и уважаемых людей я слышу негодования на статью Городецкого в „Новом мире“ об Есенине и обо мне. Следовало бы „Новому миру“ отнестись осторожнее к писаниям Городецкого и, глубоко уважая его за честность и преданность красному знамени, принять во внимание и моё распутинское бытиё. *Я ещё по<ка> не повесился и не повешен* (выделено мной. — *С. К.),* и у меня есть перо и слова более резонные и общественно нужные, чем статья Городецкого. Или „Новый мир“ этого не допускает и считает моё убожество неспособным тягаться с такими витязями, как Городецкий? Или всё это вытекает из общего понимания, что шоферы нужнее художников? (Намёк на поэму Городецкого „Шофёр Владо“, написанную в подражание „кавказским поэмам“ Лермонтова. — *С. К.)* Я бы сердечно хотел с тобой повидаться, ты ведь остался из родных поэтов для меня последним, но у меня нет денег на проезд в Москву… У меня в Москве негде головы преклонить. Прошу тебя — поговори с „Огоньком“, не издаст ли он книжечки моих стихов. Дал бы любопытный материал под интересным

названием… Пришли мне свой новый роман, я им очень — по отрывкам обрадован. Извини, что всё письмо я пересыпаю просьбами, но видишь, как я встревожен. Есть нечего. Из угла гонят. Весь износился…»

Летом 1926 года Максим Горький напишет из Сорренто Алексею Чапыгину:

«Дорогой друг,

Прочитал я в очередной книге „Кр<асной> нови“ „Разина“ и снова изумлён, снова с праздником. Человек, который сказал вам: „Да, это новый тип исторического романа“, — сказал неоспоримую правду. Так оно и есть, — до „Разина“ такой книги в русской литературе не было… „Разин“ — колоссальное создание истинного художника — под таким титулом эта книга и будет внесена в историю русской литературы. Я — едва ли доживу до этой записи, но вы-то, дорогой человек, наверное, доживёте. Мне хочется, чтоб дожили… Хорошие, удивительные люди вы, северяне… Моя Венера — Орина Федосова, маленькая, кривобокая старушка, олонецкая „сказительница“ былин… Она дала мне то, чего ни до, ни после я не испытывал… И вот сейчас, читая „Разина“, я переживаю почти тот же потрясающий восторг, невыразимое словами волнение и радость за вас, и зависть к вам…»

И в самом конце письма, помянув «удивительных северян», не мог Горький не вспомнить хотя бы одной фразой о Клюеве в череде других имён: «Что делает Клюев?»

И Чапыгин ответил — что же делает его собрат: «Есть здесь у меня драгоценный человек, некто Вас<илий> Вас<ильевич> Гельмерсен — большой знаток старонемецкого и нового языков. Он, например, прекрасно переводил на немецкий язык Клюева, чего другие переводчики *делать почти не могут. И вот Гельмерсену очень хочется перевести* „Разина“ современным веку языком на немецкий… Клюев — захирел, ибо ему печатать то, что он пишет, негде, а когда делает вылазки в современность, то это звучит вместо колокольного звона, как коровий шаркун, последнее время даже иконы писал, чтобы заработать хоть что-нибудь. Теперь он где-то в деревне, но не в Олонецкой, а в Новгородской…»

Когда Чапыгин писал это письмо, Клюев жил в деревне Марьино Новгородской губернии, снедаемый тяжкой болезнью. Но и после больницы его положение по сути не изменилось…

Когда Чапыгин писал о «вылазках Клюева в современность», он, естественно, имел в виду клюевские «новые песни», печатавшиеся в «Звезде», «Красной газете» и «Прожекторе»… Публикации «нового» продолжались и в 1927 году. Одновременно

с «Заозерьем», «Деревней» и «Плачем о Сергее Есенине» читатель наслаждался гимном пионерской юности.

Мой галстук с зябликами схож,
Румян от яблонных порош,
От рдяных листьев Октября
И от тебя, моя заря,
Что над родимою страной
Вздымаешь молот золотой!

Перевоплощение идеальное! И своего рода пример для всей последующей «пионерской поэзии»… Личина, не ставшая лицом, но выглядящая, как настоящее лицо!

Правда, следующее стихотворение пришлось отдать в печать в отредактированном виде. Слишком очевидна была злая ирония уже в первых строфах:

Мы, пролетарские поэты,
В водовороты влюблены,
Стремим на шквалы и кометы
Неукротимые челны.

И у руля, презрев пучины,
Мы атлантическим стихом
«Перед избушкой две рябины»
За Пушкиным не воспоём.

Нам ненавистна глушь Чарджуев,
Где вороньё — поводыри,
Пускай песнобородый Клюев
Бубнит лесные тропари.

В результате первая строка приняла иной вид: «Мы, корабельщики-поэты»… «Пушкин» был заменён «вьюгою», а третья строфа вообще исчезла. В итоге — никакой иронии, никакой литературной полемики. Одно восхищение новой советской поэтической генерацией:

Напевный лев (он в чревной хмаре)
Взревёт с пылающих страниц —
О том, как русский пролетарий
Взнуздал багряных кобылиц,

Как убаюкал на ладони
Грозовый Ленин боль земли,
Чтоб ослепительные кони
Луга беззимние нашли…

Да не снилось подобное в самых радужных снах ни Казину, ни Садофьеву, ни Светлову, не мечтали о такой поэтической мощи ни Тихонов, ни Твардовский, ни Смеляков, не говоря уже о прочих безыменских с алтаузенами… И разве что в самой последней строфе чуткое ухо различит диссонанс с общей торжественной мелодией — диссонанс, вызванный еле различимым ошеломлением от зрелища: что же это за племя на свет народилось?

И вея кедром, росным пухом
На скрип словесного руля,
Поводит мамонтовым ухом
Недоумённая земля!

А ведь это племя при полном параде выстроилось на страницах знаменитой «Антологии русской лирики первой четверти века» в составлении И. С. Ежова и И. С. Шамурина. Вот они все: Илья Ионов, Семён Родов, Г. Лелевич, А. Безыменский, Александр Жаров, Михаил Голодный… «Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют?..»

Песни были, впрочем, отнюдь не жалобные. И воспевались в самом деле отнюдь не пушкинские «две рябины» и даже не «тонкая рябина» суриковская.

Эта эпоха требовала иных песен. Александр Яновский (то бишь «А. Ясный»), вожделевший «укокошить» старую Русь, прозревал новую в иных статях и формах.

Эх, ты, Русь, стальная зазнобушка,
Советская краля моя…
Забубённые наши головушки,
Забубённые наши края.
……
Видно, хочется крале запевкою
Прозвенеть в алой песне веков…
Эй, Россия — озорная девка,
Принимай к нам гостей на поклон.

Эта «краля» и «озорная девка» скоро вспомнятся Клюеву… Кстати сказать, в данную антологию, где биографические справки составлялись со слов поэтов и по литературным источникам и в основном содержали стандартные биографические и библиографические сведения, Павел Медведев приложил автобиографический текст Клюева в своей записи: «Жизнь моя — тропа Батыева. От Соловков до голубых китайских гор пролегла она: много на ней слёз и тайн запечатлённых… Родовое древо моё замглело коренем во временах царя Алексия, закудрявлено ветвием в предивных Строгоновских письмах, в сусальном полыме пещных действ и потешных теремов. До Соловецкого страстного сидения восходит древо моё, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красоты народной…»

Контраст был разительный. А для Клюева предельно важным было помещение именно этого автобиографического куска в антологию, представившую всех — от символистов до пролетарских поэтов. Текста с прямым отсылом к самому началу романа П. Мельникова «В лесах».

«Верховое Заволжье — край привольный… Судя по людскому наречному говору — новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и „тропу Батыеву“, и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре… Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа… И досель тот град невидим стоит, — откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отражённые в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских. Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры, как зачиналась земля Русская, там чужих насельников не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит, — какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина…»

…Переводы на немецкий, публикации в журналах и альманахах — и напряжённые попытки свести концы с концами.

«В московский отдел Всероссийского Союза писателей Николая Клюева.

Пролежав пять месяцев в больнице и перенеся две изнурительные операции, крайне нуждаюсь в материальной поддержке, о чём усердно прошу Московский союз писателей».

«В Ленинградское отделение Всероссийского Союза писателей Николая Клюева.

Довожу до сведения Союза, что книгоиздательством „Прибой“

куплена у меня моя поэма под названием „Плач об Есенине“ (так! — *С. К.)* за сумму двести рублей (200 руб.), которые и уплачены мне упомянутым книгоиздательством в два срока — сполна. (Далее — подробное перечисление об израсходовании денег. — *С. К.)*… В настоящее <время> я крайне нуждаюсь — нужно сносное питание, ежедневные перевязки и лекарства. О помощи усердно прошу Союз…»

Но и подачки от Союза — если они были — помогали мало.

* * *

Уже прогремели на всю страну бухаринские «Злые заметки», в которых есенинская поэзия была охарактеризована как «причудливая смесь из „кобелей“, икон, „сисястых баб“, „жарких свечей“, господа бога, некрофилии, обильных пьяных слёз и „трагической“ пьяной икоты; религии и хулиганства… бессильных потуг на „широкий“ размах (в очень узких четырёх стенах ординарного кабака)… всё это под соусом юродствующего quasi-народного национализма». Бухарин на этом не успокоился. Сразу же после публикации он произнёс речь на XXIV конференции ВКП(б):

«Мы сейчас имеем оживление политической активности мелкобуржуазных слоёв, оживление по „национальной“ линии, что принимает форму роста шовинизма. Надо повести *энергичную борьбу с великорусским шовинизмом*, за последнее время особенно выпирающим в нашей литературе. Надо считаться с общим положением страны, с общим положением наших отдельных республик и, прежде всего, держать за ухо великорусский шовинизм.

…Сущим вздором являются разговоры о том, что будто наша партия хочет изменить свой курс по отношению к интеллигенции и перейти к „нормам“, которые существовали в 1918 году, что мы хотим интеллигентов посадить на селёдку и рассматривать как саботажников. При громадных задачах строительства потребность в научных, квалифицированных силах, работающих вместе с нами, будет непрерывно возрастать, и *наше внимание к интеллигенции будет усиливаться.* Но, конечно, мы должны бороться против различных процессов в интеллигентской среде, процессов, которые мы считаем отрицательными. Мы будем и наших дураков учить уму-разуму, тех, которые придираются к мелочам, усердствуют по части самых нелепых „оргвыводов“, но мы будем вести борьбу против всяких вредных идеологических тенденций. От нашей пролетарской *линии мы отступать не*

собираемся».

Выступление поистине замечательное по своему смыслу. Итак, с «нормами» 1918 года в отношении интеллигенции покончено раз и навсегда. Интеллигенция стала жизненно необходима. Но не вся. Носители «вредных» идеологических тенденций будут по-прежнему изолироваться. Само собой разумеется, среди них будут заражённые «великорусским шовинизмом». Это и есть «отрицательный процесс» в интеллигентской среде, с которым призывает бороться Бухарин. «Дураков», сторонников «оргвыводов» следует учить «уму-разуму», а с «врагами пролетарской линии», «шовинистами» необходимо *бороться.* Такая предлагалась программа.

То, что не расшифровал Бухарин, наглядно разъяснил в этом же номере «Вечерней Красной газеты» Александр Безыменский. Статья его называлась «„Русское дело“ Николая Клюева», что недвусмысленно давало понять, кого именно на данном этапе необходимо считать «великорусским шовинистом» и «носителем вредных идеологических тенденций». Вся безыменская инвектива была посвящена поэме «Деревня».

«Что кулаки и кулацкая идеология существуют — спору нет. То, что она жаждет пробиться в свет — не подлежит сомнению. Но почему должны ей давать место советские журналы — это непонято. Это обидно. Это больно».

Далее Безыменский в самых восторженных тонах пишет о Бухарине, который «всей силой большевистского удара» обрушился на «шовинистов», в частности на стихи Павла Дружинина в «Красной нови», «через которые кулацкая идеология просочилась явно». Стихотворение Дружинина «Российское» стало для Бухарина лишь поводом к наступлению на поэзию Сергея Есенина, которого уже год не было в живых, но живы были его недавние соратники, «товарищи по чувствам, по перу»… Необходимо было создать вокруг них такую же атмосферу, в которой они не могли бы нормально жить и творить, создать все возможные предпосылки к тому, чтобы выбросить их из литературы, а в будущем и из жизни.

Безыменский пугал читателя тем, что «есть вещи и похуже», чем упомянутое стихотворение Дружинина. «В журнале „Звезда“ № 1 за 1927 год стихи Н. Клюева „Деревня“. Облик этого поэта известен. *И Ленина он сумел окулачить…* Но „ячменный лик“ поэта обнажился до конца…» Далее Безыменский цитировал кровью сердца написанные строки Клюева:

Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий

Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!

Комментарий к этим строчкам давался совершенно недвусмысленный: «Ой, держитесь, большевики! Ваши татарские плети и вашу басму сметёт бородою кулацкий Иван Третий. Вот оно, „русское дело“ Н. Клюева!

…Всякому ясно, что злодеи-большевики, вскрыв мощи Серафима Саровского и прочих „утолителей печали и ран“, совершили, с точки зрения Клюева, страшное безобразие…

Дело ясное… И никакие „пирогощие“ ухищрения Клюева не замажут этой кулацкой его правды.

Мы болеем лишь тем, что такие стихи (конечно, случайно) глядят на нас со страниц наших журналов. Не будем только констатировать. Будем это *преодолевать».*

В «Комсомольской правде» Безыменский распоясался ещё пуще. Достаточно привести его комментарий к строчкам из «Плача о Сергее Есенине» («Отцвела моя белая липа в саду. / Отзвенел соловьиный рассвет над речкой. / Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду / изведать ятагана с ханской насечкой…»).

«Ась? Товарищ Ленинградский гублит за № 26 594? Родной мой! Да протрите глазыньки! Мы, конечно, верим, что кулаку вольготней изведать ятаган с ханской насечкой татарского ига, чем видеть страну пролетарской диктатуры, но вы тут при чём или ни при чём?.. Мы ясно увидели лицо тех, которым вольготней целовать пятки ханов Золотой Орды, чем видеть советскую страну».

Итак, один из главных носителей «чуждой идеологии» и «шовинизма» был назван — Николай Клюев, который через несколько лет в письме во Всероссийский союз писателей писал о «серых», невоспитанных «для музыки слухов» людях, которые «второпях и опрометно» утверждают, что «товарищ маузер» сладкоречивее «хоровода муз». В самом деле, эпиграфом к статье Безыменского, как и к «антишовинистским» выступлениям Бухарина вполне могла пойти строка «Ваше слово, товарищ маузер!», причём слово «маузер» прочитывалось бы не в переносном, а в самом прямом смысле, что полностью подтвердили последующие события.

Прозвучал, однако, в открытой печати голос, категорически несогласный с вынесенным поэту приговором. Роберт Фредерикович Куллэ в «Вестнике знания» (№ 7, 1927) выступил

со статьёй «Поэт раскольничьей культуры», отметая все обвинения в адрес Клюева. Статья эта малоизвестна, так что стоит привести её в солидных выдержках.

«Там, в Олонецкой, Архангельской и Заволжской губерниях — до Урала и Сибири, в „лесах и горах“, у заповедных озёр, в водах которых „посвящённые“ видели очертания затонувшего „Китежа-града“, хранились и накапливались богатства словесной руды, всегда золотоносной, всегда изобилующей густым, ярким, суггестивным символом. Былина, духовный и „цветной“ стих, песня, сказка, заговор, приворот, загадка, заклинания живут и питаются корнями своей не только религиозно-исторической стихии, актуальной, как всё живое, и составляющей мироощущение, лишённой иных просветительных влияний среды, но и как большая, могучая культура словесного творчества, знающего грани между „низким“, ежедневным коммуникативным значением слова и его „возвышенным“, поэтическим значением, таким, к которому прибегают в совершенно особых, торжественных случаях…

К сожалению, совершенно непонятым остаётся до сих пор наш крупный современный поэт Николай Клюев… Только полным непониманием основных течений нашей литературной культуры можно объяснить „критику“ Безыменского… Поэтическое слово Клюева несёт в себе ту рудоносную концепцию крестьянской культуры, которая и Разина, и Пугачёва, и Ивана третьего и четвёртого понимает по-своему, преображённо, в каких-то обратных преломлениях, за которые мы судить поэта просто не вправе, как не вправе упрекать то или иное слово за его первоначальное значение, скрытое, но веющее древней тайной…

Вся поэма („Деревня“. — *С. К.*) говорит только о *настроении* современной северной раскольничьей деревни, её языком, её образами. Совершенно очевидно, что эти настроения не однородны у разных возрастных и классовых слоёв. Виноват ли в этом поэт? Реакционен ли он поэтому?..»

Роберт Куллэ дал такую интерпретацию заключительным строкам «Деревни», которая могла бы убедить противников Клюева и сомневающихся, что поэт в самом деле пишет «о победе новой стихии над старой, жизни над застойностью»… Но финал статьи прозвучал мощным аккордом в унисон клюевскому финалу в его изначальном смысле.

«Ведь надо же понять, что именно в этой среде — хранительнице жемчужной россыпи сказочных слов, величавых образов, нарочитых приговоров и кровно-почвенной мужичьей культуры, — наиболее уместны недоумённые вопросы, выраставшие, как грибы, на почве вечных гонений,

преследований, аввакумовских бунтов, двуперстных знамений, нескончаемых схоластических споров, неутомимой бунтарской религиозной мысли, искавшей — страстно и мучительно — воплощений в магическом, покоряющем слове…»

Эти слова звучат совершенно по-особому, если связать их с декларацией Русской православной церкви того же года.

Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) и Временный Патриарший синод утверждают лояльность Церкви к советской власти, несовместимость христианства и марксизма, полное отделение Церкви от государства.

Год спустя, в мае 1928 года, «Рабочая газета» и «Рабочая Москва» начинают массированную атаку на «гнездо черносотенцев под Москвой», на Троице-Сергиеву лавру. П. А. Флоренский, историк и искусствовед Ю. А. Олсуфьев обвиняются в том, что «под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения». И в том же месяце начинаются массовые аресты. В числе других арестованы Флоренский и бывшие профессора Духовной академии Д. И. Введенский и С. И. Глаголев.

И той же весной Клюев начал работу над одним из своих вершинных произведений — поэмой «Погорельщина», что войдет в классический свод русской и мировой поэзии.

Глава 28
«ПОГОРЕЛЬЩИНА» И «КАИН»

В окружающей Клюева жизни всё явственнее виделся ему апокалипсис, о котором пели давным-давно староверы в духовных стихах (книга Т. С. Рождественского «Памятники старообрядческой поэзии», изданная в 1909 году, была одной из его настольных книг):

Идут лета всего света,
Приближается конец века;
Пришли времена лютыя,
Пришли года тяжкие:
Не стало веры истинныя,
Не стало стены каменныя,
Не стало столпов крепкиих,
Погибла вера христианская…

«Конечно, идея патриотизма — идея насквозь лживая… Задача патриотизма заключалась в том, чтобы внушить крестьянскому парнишке или молодому рабочему любовь к „родине“, заставить его любить своих хищников…» Луначарский, произнося сие в 1925 году, не сделал никакого открытия — до него ещё в годы Гражданской войны подобное отчеканивали и Бухарин, и Зиновьев… И всё же именно с середины 1920-х годов антипатриотические, антирусские инвективы достигли наивысшего градуса как в политических речах, так и в поэтических виршах.

«Пристрастие к русскому лицу, к русской речи, к русской природе… это иррациональное пристрастие, с которым, может быть, не надо бороться, если в нём нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно *воспитывать…»* Это — снова Луначарский. Понятно, впрочем, что там, где есть или видится ограниченность — там начинается борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть.

(Эти же мотивы обрели своё полнозвучие в конце 1980-х — начале 1990-х, с новым «революционным подъёмом».)

Для Клюева это время стало временем рождения новых песен — песен русского сопротивления.

Кто за что, а я за двоеперстье,

За байку над липовой зыбкой…
Разгадано ль русское безвестье
Пушкинской золотой рыбкой?
Изловлены ль все павлины,
Финисты, струфокамилы
В кедровых потёмках овина,
В цветике у маминой могилы?

Апология русской тайны, русской сказки, не разгаданной до конца и отечественной классикой, воплощается в клюевских строках воедино с «иррациональным пристрастием» к русскому лицу и к русской природе — к тому, что вызывает зубовный скрежет новых идеологов «безнациональности».

Это стихотворение Клюев понёс в журнал «Звезда», где ещё не до конца опомнились от разгрома напечатанной там же «Деревни». Редакторы полагали, что поэт предоставит им что-нибудь в духе и стиле «Юности», но прочтя стихи, тут же отказались от публикации.

А на столе у поэта лежало ещё одно, недописанное.

Наша русская правда загибла,
Как Алёнушка в чарой сказке…
Забодало железное быдло
Коляду, душегрейку, салазки.

Уж не выйдет на перёные крыльца
В куньей шубоньке Мелентьевна Василиса,
Утопил лиходей-убийца
Сердце князево в чаре кумыса.

Новое татарское иго. С которым, мнилось, навсегда покончено было, когда слагался гимн Ленину, когда мнилось, что «Чёрной Неволи басму попрала стопа Иоанна…». Здесь уже нет места вопросу: «Изловлены ль все павлины?..» Изловлены. И времена татарского набега сменяются лихими временами никонианства и мученичества непокорных — и всё едино в окаянной современности.

И боярыни Морозовой терем
В тощей пазухе греет вьюгу,
На иконе в борьбе со зверем
Стратилат оборвал подпругу.

И не сыщешь более щемящей сердце картины гибели неистовой боярыни. Сразу вспоминаются её последние минуты в Боровской земляной тюрьме и последние слова — к стрельцу, к охраннику: «Принеси мне хлебушка…» — «Боюсь, госпожа…» — «Ну, яблочка дай…» — «Не смею…» — «Ну, так последнюю просьбу исполни. Выстирай мою сорочку и положи меня подле сестры неразлучно».

Хлебушка… Так и Клюев милостыню просил, которую однажды сам напророчил: «Я был когда-то поэтом. Подайте на хлеб, Христа ради…» Просил возле Ситного рынка, когда «Деревню» складывал. О чём и напишет через несколько лет в объяснении правлению Всероссийского союза советских писателей: «…с опухшими ногами, буквально обливаясь слезами, я в день создания злополучной поэмы впервые в жизни вышел на улицу с протянутой рукой за милостыней. Стараясь не попадаться на глаза своим бесчисленным знакомым писателям, знаменитым артистам, художникам и учёным на задворках Ситного рынка, смягчая свою боль образами потерянного избяного рая, сложил я свою „Деревню“…»

Впервые является в его стихах образ змееборца не побеждающего, но побеждаемого змием. Он воплотится и далее — в «Погорельщине». И — пророчество на будущее. Словно провидел 1940-е и 1990-е, когда писал о горестной судьбе двух великих православных народов:

Так загибла русская доля —
Над речкою белые вербы.
Вновь меж трупов на Косовом поле
Узнают царя Лазаря сербы.

И всё же, как и в «Деревне», не даёт себе Клюев поддаться смертному греху — впасть в отчаяние. Да, «отлетела лебедь-Россия в безбольные тихие воды», но в грядущем — «сквозь слёзы, звериные муки прозревают родину очи…», где «исцелённый мир смугло-розов, на кувшинках гнёзда гагар…». Через кровь и муки — к новому миру, новой Руси, очищенной от скверны. Этим пафосом будут пропитаны строки его новых поэм.

Замысел «Погорельщины» возник в 1927 году, сразу после кампании против «Деревни», а писалась поэма с весны по осень 1928 года сначала в Ленинграде, а затем — на Украине, в Полтаве и в селе Старые Санжары.

Очевидцы вспоминали невысокого пожилого обитателя дома на Садовой улице, который ходил по базару и скупал глиняные и деревянные изделия украинских народных умельцев и тихими

вечерами тонким голосом нараспев читал «Плач о Сергее Есенине» и «Деревню».

«Вот он читает песню пряхи, — вспоминал М. Горяйстов, — сопровождая строчки подражанием жужжанию веретена, — и мы перенеслись в бревенчатую светлицу, с заиндевевшим окошечком, с завыванием ветра в трубе, со скрипучим от мороза стуком ставня, с коптящей лучиной, с певучим уютным жужжанием веретена…»

Николай рассказывал свою любимую сказку о коте Евстафии и мышке Степанидке, о том, как кот Евстафий притворился, что «скоромного не кушат», обманул мышку и схрумкал до последней косточки. Напевая по-олонецки, сказывая, передал все повадки коварного мурлыки.

С котами, с кошками у него были особые отношения.

Кошки — животные мистические. Они обладают способностью видеть *сущности,* незримые для человеческого глаза. Они оберегают человеческое жилье от проникновения дурных энергий, они гармонизируют человека, успокаивают его, тонко ощущая перемены в настроении хозяина. И Клюев видел в них родственные себе души. Он умел разговаривать безмолвно на их языке, подзывая для корма и ласки, а потом подавая сигнал, что нужно разойтись — и они покорно расходились… Когда он говорил о Есенине, что того «чернота всего облепила» и лучше отойти, ибо «на тебя может перекинуться», — помнил реакцию кошек на наступающую смерть товарища или товарки. Как поймут, что конец близок (чего люди еще не ощущают) — не подходят, инстинктивно оберегая себя, дабы смерть крылом не задела.

…А сказку сказывал голосом древней олонецкой бабы, сопровождая мелодию мягкими, еле уловимыми жестами.

* * *

Когда Клюев говорил Виктору Мануйлову о том, как он путешествовал в глухие леса за Печорой, как по зарубкам на вековых стволах находил отдалённые северные скиты, где «живут праведные люди, по дониконовским старопечатным книгам правят службы и строят часовенки и пятистенные избы так же прочно и красиво, как пятьсот лет тому назад», — иной слушатель мог бы и усомниться в услышанном, а в Клюеве «распознать» сказочника или фантазёра… Но вот что докладывал Наркомпросу РСФСР о своей поездке в Онежский край летом 1925 года композитор Борис Асафьев. До самых глухих мест, подобно

Клюеву, он, конечно, не добрался, но и того, что увидел и услышал, было предостаточно для чуткого уха и внимательного взгляда.

«…Удивляет и привлекает своей музыкальностью, былинной напевностью, мерностью и полнозвучием даже обыденная бытовая речь, не говоря уже о речи с оттенком поучения и повествования. Мне приходилось беседовать со стариками-раскольниками. Я поразился всё ещё крепкой, истово моральной и даже философской основе северного раскола и не почувствовал гнёта обряда. Книги ещё пишутся от руки. Пишутся и иконы по старинным лицевым подлинникам… Не так сложно услышать пение по крюкам и достать крюковые записи. Поскольку XVII век в русской музыке не так уж детально изучен, постольку северная певческая культура почти совсем не изучена… по небольшому числу услышанных мною напевов и виденных крюковых нот я считаю дело записи, перевода и купли памятников певческого старообрядческого искусства — спешным, важным делом. Не менее важна запись причитания, воплей, плачей и т. д. … Народное творчество на Севере большей частью не знает ценности только напева самого по себе. Важно слышать, как живёт этот напев в процессе интонирования, а этого никакой записью не уловишь… Ещё живы и старые песни. Хоровых мне слышать не приходилось, но одноголосные встречались часто: очень строгого рисунка… Материала достаточно, но добыть его нелегко: надо ходить, наблюдать, выжидать, искать случая и уметь войти в доверие. Особенно это важно в отношении раскольников. Один из них, старик, которому я почему-то полюбился, сказал мне: „Что же кому, ежели он не в смех возьмёт, можно и пение послушать, и службу познать, есть такие места“. Есть ещё старицы с белицами — что-то вроде скитов. В Поморском крае за Повенцом встречаются очень строгие начётчики и блюстители былых заветов. Думаю, что беспоповскую службу ещё возможно наблюдать в её нетронутом обличье, думаю, что ещё удастся набрести не на один след братьев Денисовых. Ходить по Северу неопасно — воров и злых людей нет. Вот только медведи. Их боязно…»

Всё духовное и материальное сокровище северных скитов воплотилось в тончайшей инструментовке «Погорельщины», где память о древнем Выге, о выговской общине — поморском оплоте раскола — органически совместилась с памятью о разгромленных и пожжённых скитах Керженца. Герои «Погорельщины» — мужики-богомазы под руководством первого мастера — Павла — пишут образы красками, ни одна из которых не названа своим именем. Как некогда свершалось в поэзии Клюева «Рожество

избы», рождение избяного космоса под рукой Красного Древодела, так теперь свершается «Рожество иконы», оставляя при этом ощущение нерукотворности. Само явление иконы — «прилёт журавля». И «доличное письмо», обрамляющее «Видение Лица» — пишется не собственно кистью, а «смиренному Павлу в персты и зрачки слетятся с павлинами радуг полки», что выводят «голубых лебедей»… А далее —

«Виденье Лица» богомазы берут
То с хвойных потёмок, где теплится трут,
То с глуби озёр, где ткачиха-луна
За кросном янтарным грустит у окна.
Егорию с селезня пишется конь,
Миколе — с кресчатого клёна фелонь,
Успение — с пёрышек горлиц в дупле,
Когда молотьба и покой на селе.
Распятие — с редьки — как гвозди креста,
Так редечный сок опаляет уста.
Но краше и трепетней зографу зреть
На птичьих загонах гусиную сеть,
Лукавые мёрды и петли ремней
Для тысячи белых кувшинковых шей,
То Образ Суда, и метелица крыл —
Тень мира сего от сосцов до могил.
Студёная Кола, Поволжье и Дон
Тверды не железом, а воском икон.

Сама природа помогает мастерам в их работе, отдавая свои лучшие краски образу, который перестаёт восприниматься как собственно искусство иконописца. Творение его рук вбирает в себя всё богатство и разнообразие мира внешнего, природного, зримого. «Соком земным» напоены образ Спаса и образ Богородицы в иконах дониконовского письма, отличавшихся прозрачностью света и строгой красочностью палитры… Во время своих скитаний по тайным тропам, ведшим в древние скиты, Клюев обретал всё новые и новые иконописные сокровища… В самые тяжёлые времена он до конца не желал продавать хотя бы часть богатейшего иконостаса, и только крайняя нужда могла заставить его расстаться с любимыми ценностями своего обихода.

«Извините за беспокойство, — писал Николай искусствоведу Э. Голлербаху, — но Вы… говорили мне, что любите древние вещи. *У меня есть кое-что весьма недорогое по цене и прекрасное по существу.* Я крайне нуждаюсь и продаю свои заветные китежские вещи: книгу рукописную в две тысячи листов со множеством

клеим и заставок изумительной тонкости — труд поморских древних списателей; книга глаголемая „Цветник“, рукописная, лета 1632-го с редкими переводами арабских и сирских сказаний — в 750 листов, где каждая буква выведена от руки, прекрасного и редкого мастерства; ковёр персидский столетний, очень мелкого шитья, крашен растительной краской — 6-ть аршин на 4 ар<шина>; древние иконы 15-го, 16-го и 17-го веков дивной сохранности, медное литьё; убрус — шитый шелками, золотом и бурмитскими зёрнами — многоличный, редкий. Всё очень недорого и никогда своей цены не потеряет. И даже за большие деньги может быть приобретено только раз в жизни…»

С подобным письмом тогда же, в январе 1928-го, Клюев обратился к Алексею Чапыгину: «Вещи музейные, в мирное время стоящие пять тысяч рублей (я предлагал их в музей Александра III, но там нет никаких ассигновок на какие-либо приобретения), для горницы в твоей избе на Моше более прекрасного и глубокого украшения не найти… Раз в жизни такая красота и редкость и встречается и даётся в руки. Мне обидно и горько пустить святое для меня на рынок. Быть может, ты сможешь дать мне за всё двести рублей — и я утешился бы сознанием, что мой Китеж в руках художника…»

…В «Погорельщине» образы, писанные Чириным, Парамшиным, Андреем Рублёвым — оплот избяного космоса северной деревни Сиговый Лоб, которую грозит опустошить змей. Исчезновение с иконы образа Георгия Победоносца — предвестие неминуемой катастрофы. «На божнице змей да сине море…» Насельники Сиговца станут жертвами чудовища, волны поглотят последнее пристанище родного поэту древлеправославного мира, живущего по своим древним законам. Воды Светлояра поглотили древний Китеж, спасая его от нашествия татар. Сиговцу же — нет спасения.

И последняя молитва жителей этого сказочного мира — мольба о возвращении на икону Егория, обращённая к Святому Николе, к Богоматери-Приснодеве перед иконами великих русских мастеров, воплотивших лики Сладкого Лобзания, Споручницы Грешных и иных ликов Богородицы, — исполнена силы поистине трагической.

А начинаются потрясения со страшной песни Настеньки, Анастасии Романовны, которую слишком соблазнительно было соединить то с Настасьей — Воскресением из песнопений христов, то с якобы спасшейся младшей дочерью Николая II… Но свою Анастасию Клюев нервущейся нитью связывал с трагически гибнущей Настенькой — героиней П. Мельникова-Печерского — под знаком его романов «В лесах» и «На горах» писались поэмы

этого периода… Как в «Плаче о Сергее Есенине», так и в «Погорельщине» не менее явственны текстуальные совпадения.

«Лежит Настя не шелохнется; приустали резвы ноженьки, притомились белы рученьки, сошёл белый свет с ясных очей. Лежит Настя, разметавшись на тесовой кроватушке, — скосила её болезнь трудная… Не дождёвая вода в мать сыру землю уходит, не белы-то снеги от вешнего солнышка тают, не красное солнышко за облачком теряется — тает-потухает бездольная девица…»

Так у Мельникова-Печерского. Его Настенька жизнью заплатила за грех допущенный. А у клюевской Настеньки — грех того страшнее.

Не белы снеги да сугробы
Замели пути до зазнобы,
Не проехать, не пройти по просёлку
Во Настасьину хрустальную светёлку!

Как у Настеньки женихов
Было сорок сороков,
У Романовны сарафанов —
Сколько у моря туманов!..
……
Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет-Настенька на белой доске,
Не остругaнной, не отёсанной,
Наготу свою застит косами!

Это — не «тесовая кроватушка» и не мирная кончина на ней. И «сорок сороков женихов» — не единственный суженый. Но весь грех Анастасии Клюев оставляет за пределами поэмы — и лишь в песне Настеньки, перебившей только начатую песню, что завела зозуля, о «батыре-есауле» (тут же — отсыл к «сказочному богатырю», которого так и не дождалась Настенька Мельникова-Печерского) — слышится щемящая нота позднего раскаяния.

Ты, зозуля, не щеми печёнки
У гнусавой каторжной девчонки!
Я без чести, без креста, без мамы
В Звенигороде иль у Камы
Напилась с поганого копытца,
Мне во злат шатёр не воротиться!
Не при батыре-есауле,
Не по осени, не в июле,

Не на Мезени, не в Коломне,
А и где, с опитухи не помню,
Я звалася свет-Анастасией!..

С этих «слов лихих» и начинаются все нестроения. Как сокровища собирают по жемчужинке, как нотка к нотке обретает звучание симфония, как ниточка к ниточке ткётся полотно — так и человеческий микромир, община держится на каждом — блюдущим закон и нравственную чистоту. Змий бессилен перед крепостью духовной и душевной, но стоит впустить его в себя…

Резчику Олёхе слышится в песне Настеньки голос деревьев, жаждущих стать срубом или дровнями, кружевница Проня слышит голос кукушки, нагадывающей свадьбу, гончарник Силивёрст угадывает стон гончарного котла — всё вместе предвещает недоброе. И лишь иконописец Павел знает наверняка, что это — конец. Конец гармоничной жизни, конец родного, вспоившего и вскормившего мира.

Чадца, теля не от нашей рыси,
Стала ялова праматерь на удои,
Завывают избы волчьим воем,
И с иконы ускакал Егорий —
На божнице змий да сине море!

«Иконник Павел — насельник давний из Мстёр Великих, отец Дубравне…» Словно улавливаешь не сразу, а всмотревшись в клюевский образ «иконника» — Сергея Клычкова, чья «Дубравна» ещё недавно была у всех на слуху. И к клычковскому «Чертухинскому балакирю» отсылает «медведь», несущий в зубах книгу «Златые уста» — что сродни легендарной «Голубиной», медведь, которого Клюеву, в отличие от Асафьева, не было «боязно»…

Когда Олёха тесал долотцем
Сосцы у птицы, прошёл Сиговцем
Медведь матёрый, на шее гривна,
В зубах же книга, злата и дивна, —
Заполовели у древа щёки,
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: «Я — Алконост,
Из глаз гусиных напьюся слёз!»

Вселенская, человеческая, Божеская и природная гармония царит в первой части поэмы, где «изба — криница без дна и выси — / семью питает сосцами рыси. / Поёт ли бахарь, орда ли мчится, / звериным пойлом полна криница…». И как страшно было услышать вещий голос Павла: «Чадца, теля не от нашей рыси…»

«Рысь» — царство греческое, откуда пришло на Русь христианство — по толкованию Апокалипсиса… И перед окончательным поглощением Сиговца змием — уходят святые и уходят в мир иной насельники дивного старого мира. Двуликий Сирин посреди снежного февраля поёт по-гречески молитву Иисусову — и умирает Павел… В мае видятся Олёхе Зосима и Савватий, покидающие Соловки, — и Олёха уходит в мир иной. Проню зовёт с собой Алконост — птица печали, — и Проня покидает землю. «Степенный свёкор с Силивёрстом», поселившиеся в келье, получают весточку от Нила Столбенского, жившего за два века до основания Выга… Так смыкаются времена, так единая Святая Русь всех эпох, всех святых и героев уходит с этой земли. Два старца приуготовляются к смерти в огненной купели, собирая вокруг себя на прощание всю живую тварь. Как писал в «Истории Выговской пустыни» Иван Филиппов, которого читал и перечитывал Николай, обливаясь слезами: «Не к тому проповедашеся восточный закон благодатный, но западный ратный. Всюду бо мучительства меч обагренный кровию неповинною новых страстотерпцев видяшеся, всюду плач и вопль и стонание, вся темницы во градех и весях наполнишася христиан древняго держащихся благочестия. Везде чепи бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови исповеднической повсядневно омочахуся… А елицы не могоша вышеписанных мук терпети, мнози же и число превосходящий народи вооружающеся верою собирахуся, кому где возможно бяше. При нашествии мучителей и от них сожигахуся, а овыя от их наезду со оружием и пушками боящеся из мучительства сами сожигахуся».

То был подвиг духа несломленного, веры благодатной. Ныне же на месте бывшей некогда гармонии и красы — «в горенке по самогонке тальянка гиблая орёт» (и как тут не вспомнить есенинский «Сорокоуст»: «Не с того ли вплелась тужиль в переборы тальянки звонкой, и соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой!»)… А на месте Олёхи, Прони, Павла —

Несло валежником от суши,
Глухою хмарой от болот,

По горенкам и повалушам
Слонялся человечий сброд.
И на лугу перед моленной,
Сияя славою нетленной,
Икон горящая скирда…

Тех, кто ушёл — не вернуть. И лишь «песнописец Николай» — последний из *них* — свидетельствует современникам «нерукотворную Россию», Святую Русь, которая и ему открывается, лишь когда сердце песнопевца, покинув своё грудное обиталище, открывает медные врата… Видно, Николай знал, что и на нём грех велик. Принял лютых безбожников за восстановителей правой веры, шёл с ними бок о бок, песни им слагал от души — не из «страха иудейска»… И вот она — награда.

Картина пожирания Сиговца змием — сродни дореволюционному полотну Николая Рериха «Град обречённый», где город окольцован гигантским змием — и нет в него ни входа, нет из него и выхода. Картины людоедства, взаимопожирания «человечьего сброда» (да ведь и дети там же были!) отнесены к 1919 году, что «горше каторжных вериг» — году клюевского евразийства и революционных гимнов.

Тонкая песенная инструментовка голосов Святой Руси, разнообразие ритмов начала поэмы сменяются классическим ямбом, когда вступают в своё право смертные голоса: в этом кованом ритме проходят перед нашими глазами сцены смертей, самосожжения и людоедства… И к финалу поэмы — ритм снова меняется. Вступает мелодия старины — и начинается рассказ о «славном Индийском помории» — клюевской мечте, которое цветёт и хорошеет подобно Сиговцу в начале повествования. Но и Лидда, выстроенная сказочным князем Онорием, обречена — не устоять ей перед сарацинскими мечами.

Кручинилась Лидда, что краса её вся рукотворная, а цветов нет на её земле. И лишь после гибели на месте града стольного — «вырастали цветы белоснежные». Ордой иссечен лик Одигитрии, но Богоматерь награждает землю, на которой стояла Лидда, вымоленными цветами.

Вспоминал, вспоминал Клюев в другой жизни виденную и слышанную не раз оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»:

А и сбудется небывалое:
Красотою всё изукрасится,
Словно райский крин процветёт Земля,
И распустятся крины райские…

…Время кончилось — вечный миг настал…

Лидда — родина Георгия Победоносца, оставившего своё место на иконе в распадающемся Сиговце…

* * *

Клюев хлопотал об издании «Погорельщины» на протяжении двух лет. Ни одна из попыток не кончилась, да и не могла, по сути, кончиться удачей. Кампания против «Деревни» и объявление Клюева «кулацким поэтом» даром не прошли: он был подвергнут самому настоящему литературному остракизму.

Поэт, чьи стихи входили в самые основные антологии и хрестоматии, включая хрестоматии для юношеского чтения на протяжении всех 1920-х годов — к 1929-му оказался выброшен из литературы. В периодике его стихи больше не появлялись — редакции категорически отказывались иметь с ним дело. В том же году прекратились и официальные публичные выступления — Николай больше ниоткуда не получал приглашений.

В 1928-м вышел в издательстве «Прибой» его последний прижизненный сборник стихов — «Изба и поле», состоящий из трёх разделов («Изба», «Поле», «Урожай»). Полторы тысячи строк из книги выбросила цензура, но даже того, что осталось — хватило для представления молодому поэтическому поколению уникального творческого мира. Книга открывалась «Рожеством избы», а завершалась плачем Первой мировой, который уже совсем по-иному звучал в 1928-м.

Что ты, нивушка, чернёшенька,
Как в нужду кошель порожнёшенька,
Не взрастила ты ржи-гуменницы,
А спелегала — к солнцу выгнала
Неедняк-траву с горькой пестушкой?

Преимущественно в книгу вошли стихи из «Сосен перезвона», «Лесных былей» и «Мирских дум». И лишь в последнем разделе Клюеву удалось сохранить несколько стихотворений послереволюционной поры, вошедшие некогда в «Львиный хлеб».

«Изба и Поле, — надписывал Клюев книгу Павлу Медведеву, — как по духу, так и по наружной раскраске имеет много схожести с иконописью — целомудрие и чистота красок рождает в моем смирении такое сопоставление. В книге нет плоти

как неизбежной пищи для могильного червя, но есть плоть серафическая, явственная в русской природе и неуязвимая смертью, так как и сама смерть лишь тридневное успение. Изба и Поле — щит, выкованный ангелами из драгоценной руды молитвы за тварь стенящую. Им обороняется моя душа от беса-мещанина, царящего в воздухе. Блаженна страна, поля которой доселе прорастают цветами веры и сердца милующего. Тебе, дорогой друг, преподношу я такой цветок!»

В 1935 году сам Медведев в облике «беса-мещанина» выступил в «Литературной учебе» со статьей «Крестьянские предреволюционные писатели», где, в частности, писал: «Поэзия Н. Клюева… — законченный и цельный мир кулацкой психоидеологии. Н. Клюев — не „народный златоцвет“, а поэт-эрудит, поэт-книжник, полноправный наследник древней и утонченной боярско-кулацкой культуры… Кулацкая изба и хлыстовская радельня являются не только традициями, но сущностью и пределами клюевского творчества…»

…А начавшаяся в 1927 году кампания против него всё нарастала, а смертоносная волна всё набирала силу.

«Что опасно?». «За живых — против мёртвых». «Кнутом направо». «Деревенский отряд новобуржуазной литературы». «Избяной обоз». «Против пейзанства». «Вынужденные вопросы». Статьи Лелевича, Авербаха, Замойского, Бескина буквально сыпались на страницы журналов и газет.

«Классовый враг пытается укрепиться и на фронте литературы», — декларировала передовица «Литературной газеты», отмечая, в частности, «кулацкие выступления Клычкова и Клюева». Записной доносчик и будущая «жертва советского режима» Валерий Тарсис формулировал мировоззрение Клюева как «идеологию певца патриархальной кулацкой деревни, выразителя её устремлений». А Леонид Тимофеев в «Литературной энциклопедии» — установочном издании — отчеканивал, что, дескать, «Деревня» и «Плач по Есенине» (так! — *С. К.)* — «совершенно антисоветские декларации озверелого кулака».

Дошло дело до того, что от своих старых друзей отрёкся в «Красной ниве» Пётр Орешин. Отрёкся в стихах. В небольшой поэме «Моя библиотека».

А это кто, почти безбровый,
Почти беззубый, как бабай?
Ахти, два тома Песнослова,
Смиренный Клюев Николай.

Сочувствую, кто об эпоху
В беспутьи голову расшиб.
Кто старостью и нудным вздохом
Сочится, как в носу полип.

…В конце декабря 1928 года Клюев пишет Сергею Клычкову. Делится новостями, благодарит за помощь — и жалуется, мечтает, недоумевает…

«Кланяюсь тебе низко и благодарю крепко за твою любовь ко мне и тёплую заботу! Чем только я заслужил всё это перед тобою. Поздравляю тебя с наступающим праздником Рождества Христова и Новым Годом! Желаю тебе груду лунного золота — из какого создан Чертухинский Балакирь. И жемчугов-хризопразов народных.

Я живу по-старому, то есть в бедности и одиночестве. Зима эта очень тяжёлая — нет самого необходимого; что можно было продать — продано, и если я сообразно твоего письма заслуживаю персональную пенсию, то возьми на себя труд и милосердие собрать подписи писателей и учёных в Москве, а на подписном листе выработай соответствующий заголовок… У меня написано за это время четыре поэмы. Но навряд ли их можно издать, хотя бы и в „Круге“.

Если бы можно было переиздать Львиный Хлеб — книга эта на три четверти не вышла из типографии, и в продаже её — по крайней мере в Питере — нигде нет. Книгу эту можно было бы и дополнить. Если собрать мои поэмы: Четвёртый Рим, Мать Суббота, Деревня, Заозерье, Плач о Сергее Есенине и большую поэму „Погорельщина“, то тоже бы получилась хорошая книжка. Но, повторяю, навряд ли это возможно.

Что за выступление Орешина? И что ему надо от нас — его подлинных братьев?..»

Вот так — называет себя и Клычкова «подлинными братьями» Орешина, и его, стало быть, считает «подлинным братом» — и словно невдомёк ему, как эти «братья» предавать могут, хотя жизнь уже всему, чему могла, казалось бы, научила.

Тоскующий, изнемогающий от одиночества, он зовёт Клычкова к себе в гости, в Ленинград, и сообщает ему, что келью держит в чистоте и опрятности, что ни он к писателям не ходит, ни они к нему… «Приходит только узбек-юноша, споёт песню про бедного верблюда, поплачет о своей Персии верблюжьими слезами. Я часто плачу… Ты знаешь — о чём. Ах, если бы мне дали ежемесячное вспомоществование! Ведь во всех школах и вузах учатся по моим стихам. Много моих песен переложено на

музыку, существуют переводы и на европейские языки…»

Ведь так и было. В то время, когда не прекращался огонь по Клюеву из всех журнальных и газетных орудий, школьники и студенты изучали его поэзию по «непрочищенным» хрестоматиям и антологиям. А что касается переводов — то к тому времени его стихи уже были известны и в Европе, и в Азии, и в Америке, переведённые на английский, немецкий, итальянский, французский, японский, чешский и латышский языки.

А что касается музыки… «…Недавно в Питере в бывшей Императорской Капелле шла моя поэма Песнь Солнценосца — очень красивый был вечер. Хор двести человек, оркестр — струнный, человек сто… Но мне не причиталось ни копейки. Расходы капеллы далеко превысили доходы. Одних нот нужно было переписать рукой до тысячи листов. Музыка подлинно русского человека Андрея Пащенко…» Премьера героической поэмы «Песнь Солнценосца» для хора, соло и оркестра состоялась в Ленинграде 18 ноября 1928 года — и это было первое и единственное музыкальное исполнение клюевской поэмы. На экземпляре концертной программы Николай начертал своей рукой: «Музыка Пащенко на мою песню очень мне понравилась — она, как ветер в деревьях, так необходима для моих стихов. Прекрасны и свежительны поцелуи ветра с деревьями. Н. Клюев».

Он раз за разом устраивал публичные чтения «Погорельщины» — здесь была двоякая цель: ознакомить поэму с как можно большим количеством слушателей — *избранных* слушателей, и заработать хоть что-нибудь на жизнь.

Слушания были платными. Публично это не объявлялось, но каждый из приходивших на чтения знал: поэт нищенствует и плата необходима. Деньги собирал заранее назначенный человек и потом в укромном уголке вручал «гонорар» Клюеву. А тот мог лишь вспомнить стародавние времена — когда был гостем литературных салонов, где подобное было в порядке вещей, но где смотрели на него преимущественно как на экзотическое существо. Теперь же — его созерцали и слушали, как представителя *последней Руси.*

«Читал предельно просто, — вспоминала Валентина Дынник, — но все были словно заколдованы. Я считаю, что совершенно свободна от всяческих суеверий, но на этот раз во мне возникло ощущение, что передо мною настоящий колдун… Колдовство исходило от самого облика поэта, от его простого, казалось бы, чтения. Повеяло чем-то от „Хозяйки“ Достоевского».

«…Клюев читал до второго часа замечательную „Погорельщину“ и читал мастерски. Очень хорошо», — записывал в дневнике Михаил Кузмин.

А в Москве слушателями «Погорельщины» кроме Сергея Клычкова и Петра Орешина (пришёл — и слушал безотрывно!) были и Александр Воронский, и Иван Катаев, и все критики и прозаики «Перевала», и Михаил Нестеров, и *ещё не арестованный* о. Павел Флоренский.

Исключительно как «документ сопротивления» расценивали «Погорельщину» в ленинградских кружках молодёжи, хорошо знакомой Иванову-Разумнику, где частыми гостями были старые социалисты-революционеры. Когда руки ГПУ дошли до этих кружков, то на допросах стали выясняться весьма интересные подробности.

«Кружок принимает, и в этом сказалось влияние Иванова-Разумника — определённое эсеровское направление, это сказалось и на характере литературных читок, которые принимают народнический характер. На собрании кружка, происходившем на квартире В. А. Гаммер, был приглашён кулацкий поэт Клюев, который прочитал свою контрреволюционную поэму „Погорельщину“, увлёкшую слушателей. На одно из собраний по специальной договорённости должен был приехать Иванов-Разумник для чтения одной из своих эсеровских статей, но в день приезда предупредил по телефону, что приехать не может, так как опасается это делать в связи с происходящими арестами…

Для эсеровских настроений кружка характерен факт распространения в 1932 году среди его членов размноженных мною на машинке экземпляров нелегальной поэмы Клюева, оплакивающей уходящую кулацкую Русь. Поэма получила известность, для совместных читок её собирались группами, в частности, совместно читали её, восторженно комментируя, Громов, Куклин, Бианки и Павлович. Поэму привёз от Клюева из Москвы Павлович. Поэма цитировалась и заучивалась членами кружка и распространялась дальше. На отпечатку этой поэмы, на бумагу и пр. мною были собраны от членов кружка необходимые средства. Максимов мне заявил, что, распространяя и размножая эту поэму, я делаю „истинно культурное дело“» (Из показаний библиотекаря Е. Н. Дубова по «делу» «Идейно-организационного центра народничества»).

Но думается, что наблюдение за Клюевым и первые документы его так называемого «агентурного дела» (которое, безусловно, существует, но к которому нет доступа) начали складываться до привоза поэмы из Москвы, — тогда, когда первые экземпляры «Погорельщины» стали ходить по рукам. Поэма с самого начала стала восприниматься как оружие, направленное против становящегося строя.

А к этому времени у Клюева сложилась ещё одна поэма, содержание которой в этом отношении было, выражаясь современным жаргоном, «круче», чем содержание «Погорельщины».

* * *

Название поэмы Клюев подбирал долго и мучительно. Сначала она называлась «Каин». Потом имя первоубийцы сменилось местоимением «Я» — так Клюев отождествил себя с проклятым сыном Адама. И, наконец, остановился всё же на «Каине».

Горечь и боль за уничтоженную родину смешиваются здесь с пронзительной нотой самобичевания. Вкусившие отраву политической демагогии простые люди также наравне с идеологами разрушения принимали участие в истерических сборищах, называемых «митингами», также с упоением отрекались от старого мира, разрушая свои же духовные святыни. Да и сам поэт, быстро, по счастью, опомнившийся, послужил своим пером этой адской революционной вакханалии.

Когда-то, негодуя и язвя, восторгаясь и иронизируя с горькой усмешкой, Клюев временами доходил до откровенного кощунства, своим примером как бы подтверждая мысль одного из героев Достоевского: «Широк, слишком даже широк человек, я бы его сузил…»

Осознав со временем, к чему эта широта привела Россию, Клюев в 1929 году пишет поэму *покаяния.* Братоубийцу Святополка в народе назвали *окаянным* — «окаинившимся». Раскаяние — освобождение из-под власти Каина. Клюев понимал, что ему самому это покаяние за содеянное с Россией нужнее, чем кому бы то ни было. Сотни стихотворцев талантливых и бездарных были в этом отношении безнадёжны. Охмелев от крови бессудных расправ, они продолжали петь в том же духе, независимо от того, что одни герои их виршей, вставшие к стенке, сменялись другими, ещё не вставшими.

Задонск — Богоневесты роза,
Саров с Дивеева канвой.
Где лик России, львы и козы
Расшиты ангельской рукой —

Всё перегной — жилище сора.
Братоубийце не нужны

Горящий плат и слёз озёра
Неопалимой Купины!

Узнай меня, ткач дум и слова,
Я — враг креста, он язва нам,
Взалкавшим скипетра стального
Державным тартара сынам!

В этих словах Каина слышны то громогласные, то приглушённые речи миллионов наших соотечественников — от современников поэта с их проклятиями «опиуму для народа» и «лапотной Расеюшке» до нынешних одурманенных остолопов, ещё совсем недавно радостно вопивших о «конце империи».

Уже в «Погорельщине» отчетливо выявилась у Клюева музыкальная нота пушкинского золотого века. Эта нота ещё отчетливее звучит в «Каине», в самой поэтической материи произведения. В то же время прямые отсылки поэта к Пушкину и Лермонтову создают потрясающий душу контраст — словно бесследно исчез чистый горный Кастальский источник, и страждущий путник оказался перед зловонной лужей.

Ах, Зимний сад — приют Эроту,
Куда в разгар любви и сил
Забыть мирскую позолоту
И злоязычную заботу
Великий Пушкин заходил.

Зачем врага и коммуниста
Ты манишь дымкой серебристой,
Загадкой грота и скамьёй
С разбитой урной над водой.

Прекрасное манит всякую нечисть. Вторжение в обитель грез и муз нового хозяина жизни «с товарищем наганом» на боку (слишком явственна отсылка к Маяковскому с «товарищем маузером») заканчивается печально. Сад наполняется гнусавым хором варваров, оргия которых заканчивается полным разгромом и кровопролитием, ибо ни одно поругание святыни не проходит задаром. «Отыскали тебя в гроте / на последнем повороте. / Френч разодран, грудь в крови / от невинной, знать, любви!»

Как во многих вещах у Клюева, в «Каине» явлен сплав мистического и реального, образы дьявольщины и образ чистой и непорочной Великой России перемежаются жуткими реалиями

современности. Набор хулиганских реплик (этот же приём использован в «Погорельщине») сменяется лермонтовской классической нотой: «Не прячется в саду малиновая слива, не снится пир в родимой стороне…» Вся же поэма целиком воспринимается в ключе сновидения, в котором перемежаются картины прошлого, настоящего и будущего. Отдельные строфы впрямую воспроизводят сны, которые записывал со слов Клюева Николай Архипов.

«Будто я где-то в чужом месте и нету мне пути обратно. Псиный воздух и бурая грязь — под ногами, а по сторону и по другую лавчонки просекой вытянулись, и торгуют в этих ларьках люди с собачьими глазами… Стали попадаться ларьки с мясом. На прилавках колбаса из человеческих кишок, а на крючьях по стенам руки, ноги и туловища человеческие. Торгуют в этих рядах человечиной. Мне же один путь вдоль рядов, по бурой грязи, в песьем воздухе…»

Через семь лет это сновидение воплотилось в третьей части поэмы, в которой отчётливо явлено предчувствие будущей гибельной ссылки в Колпашеве. «Мне снилося: заброшен я / в чумазый гиблый городишко, / где кособокие домишки / гноились, сплетни затая…» И здесь же вопреки угрожающему монологу Каина в начале поэмы в воображении Клюева встает вечная Россия, которая подобно Китеж-граду становится незримой в лихие годы, но объявится снова человеческому взору, когда чаша Божьего гнева переполнится.

Чёрная свинцовая туча накрывает Россию, кажется, ни единый проблеск света не разорвёт её, голос Каина, «верховного мастера и супруга», явившегося к поэту «в завечеревший понедельник», пронзает насквозь каждой нотой, словно вбивает несчастного всё глубже и глубже в землю.

Да, я! Приход мой неслучаен
В страну октябрьской мглы и вьюг,
Но, чтоб испить последних таин,
Мой вожделенный смертный друг,
Вот камень от запястья З<ми>я
Тебе дарован за труды.
Сестра дракона — И<ндус>трия
Гремит кимвалами беды.
<…> поклонится <Россия>
Рогам полуночной звезды…

И на совершенно иной ноте пишется финал — где на наших глазах свершается «Руси крещение второе», неизбежно грядущее

во её спасение. Древнее язычество не уничтожается огнём и мечом, не покорствует поневоле, но с радостью приемлет слово Христово ранним чудесным утром:

Проснись, Буй-Тур, иди к брегам!
Тебя сам милостник Никола
В кресчатой ризе ждёт у мола.
Уж златокосая Моряна
Наречена святой Татьяной,
Она росистою звездою
Глядит в оконце слюдяное!
Восстань, о княже Гаврииле,
Пришёл конец Сварожьей силе.
От мёртвой сыти воев сонмы,
Сиянием креста ведомы,
Идут к родимой черемисе…

Чаша ещё не испита, и кровь ещё прольётся, и явятся новые мученики и мученицы.

По воспоминаниям В. А. Баталина, «в 1932–1933 гг. Клюев „складал“ (его слова) поэму „Песнь о Великой Матери России“ во многих планах. Одна из глав — о Пушкине — называлась „Зимний сад“, отрывки из неё неоднократно им читались в студенческих квартирах у его знакомых».

Так у современников поэта совмещались в восприятии «Песнь о Великой Матери» и «Каин», текстов которых до последнего времени никто не знал.

…Клюев продолжал дописывать поэму и после разрыва по частям первоначальной рукописи. Отдельные строки были выписаны, как памятка, дабы можно было восстановить по памяти уничтоженные во избежание возможного обыска куски — но ни восстановлены, ни записаны они не были. Лишь отдельные строки сохранились в памяти Николая Минха:

Твердыня чувствовалась в тыне
От костромского топора,
А на заморской половине
Велась затейная игра.

Там Нестеров — река из лилий,
С волшебной домброй Бородин,
Шаляпин пел во «Вражьей силе»,
Славянской песни исполин.

Толстой в базальтовой пещере,
Отшельник Лев, — чей грозен рык,
Ведун из Городища — Рерих,
Есенин — сад из повилик.

…Впервые я услышал об этой поэме в мастерской художника Анатолия Яр-Кравченко, который показал мне небольшую свою акварель: угол деревенской избы, окно, край стола, на котором горшок, покрытый полотенцем.

Анатолий Никифорович повернул акварель и дал прочесть на обратной стороне подпись, сделанную рукой Клюева:

«Изба в Вятской губ., где мною написана поэма „Каин“, 1929 г. Августа. — Н. Клюев».

— Что это за поэма? — спросил я.

— Не знаю, — ответил художник. — У меня её нет.

И лишь летом 1991 года я обнаружил её текст в архиве Комитета государственной безопасности, в «деле» Клюева, без четырёх рукописных страниц и с разорванными пополам остальными и наполовину утраченными (по 26-ю страницу включительно), и лишь четвёртая часть, с описанием «Руси крещения второго», осталась почти неповреждённой.

Поэма эта писалась в селе Потрепухине Вятской губернии. К этому времени Анатолий Кравченко стал для Николая одним из самых близких людей.

Глава 29
«ПЕРЕД СТРАШНОЙ КРОВАВОЮ ЧАШЕЙ…»

Они познакомились 11 апреля 1928 года на художественной выставке Общества имени Куинджи на улице Герцена в Ленинграде, на выставке, где экспонировались портреты Клюева работы живописцев Ф. Бухгольца и В. Щербакова, а также клюевский скульптурный портрет работы Л. Дитриха. Клюев уже раньше посещал эту выставку. 28 марта критик и историк литературы Ф. Боцяновский записал в дневник свой клюевскую речь: «Портрет Щербакова был бы ничего. Он большой мастер, писал меня не с натуры, а старался отразить мою поэзию. Несомненно, в картине чувствуется дух моих настроений, но всё же это не всё. У него не хватает решимости сделать иконописный портрет совершенно. Он иконопись знает великолепно и, конечно, мог бы сделать под старую новгородскую икону. Но что поделаешь? Сам говорит, что не решился. А вот бюст Дидриха — мне очень нравится. Он уловил и передал внутреннюю большую скорбь. Скорбь русскую, отражавшуюся в ликах времён татарского ига…»

Знакомство же своё с поэтом в мельчайших живописных подробностях Анатолий Кравченко описал в тот же день в письме, адресованном отцу, матери и брату Борису: «Осматривая выставку, я увидел пожилого человека с бородой (вроде Шевченко в ссылке), в свитке простой деревенской и в сапогах. Я всегда смотрю на людей как-то выше, чем на себя, но здесь удивился: чего этому холую надо? — подумал про себя и смотрю, как большой, картины. Старичок смотрит, а вокруг него мнутся люди. Да какие люди — всё интеллигенция! Слышу, заговорил, и, знаешь, мама, как заговорил! Как-то умно, осмысленно и толково. Посмотрел ещё раз на старика и пошёл смотреть в следующее отделение художника Ф. Ф. Бухгольца. Хороший художник, портретист и колорист большой. Смотрю портреты всяких артистов, поэтов… И вдруг вижу старика нарисованного. Читаю в каталоге номер такой-то, и что же оказывается? Клюев. Знаешь, что Есенина вывел в люди, то есть в поэты. Вот мать честная! Подхожу к старику и кручусь, вроде как бы на картины моргаю, а куда к чёрту — на Клюева пялюсь! Смотрю, старичок подходит ко мне, спрашивает, как эта картина называется, и заговаривает об искусстве. Проходим мы мимо нарисованного портрета, я возьми

да и сравни их обоих, портрет и Клюева. Он заметил это. Стали говорить, я сейчас же вклинил о Есенине. Вижу, старичок ко мне совсем душу повернул. Я о Клюеве: дескать, роскошь — стихи! О Кравченко заикнулся — знает, о Нестерове — ещё лучше и т. д. В результате познакомились, он сказал — Клюев, я — Кравченко.

Долго ходили, сидели на диванах. Он взял меня под руку, и, прохаживаясь по застланным коврами комнатам, говорили об искусстве, литературе; он мне рассказывал о писателях, о Серёженьке Есенине, его истинном друге. Он прослезился, говоря о нём. Я рассказал, что рисую. Он одобрял, восхищаясь картинами. Я рассказал о том, что пишу, он восхищался, просил прочесть. У меня нет <с собой>, — ответил я. Так, говоря, вспоминая (он назвал меня чистым русским сердцем), мы прохаживались, потом сели на диван.

К нам подошли две дамы или барышни: одна высокая, с голубыми глазами, другая изящней одета и ниже ростом. Клюев представил меня: вот молодой художник и поэт Анатолий Кравченко, знакомьтесь! А это, — сказал Клюев, — жена Есенина, племянница графа Л. Н. Толстого. — Очень приятно! — и я пожал протянутую руку. Так было и со следующей.

После мы с Клюевым пошли к нему домой. Он много говорил нежным тоном и т. д. Дал мне свой адрес, а я ему свой. Говорил, что если я его не забуду, то он меня познакомит со всеми художниками Ленинграда, поэтами и писателями…»

Письмо это замечательно многими нюансами. Невозможно не почувствовать, как хвастается Анатолий перед родными: вынудил самого Клюева обратить на себя внимание! Как хитроумно «подкатился» к поэту. И как Клюев уже общается с ним — как с равным! И знает уже о нём, и картинами его восхищается (да видел ли Николай прежде хоть одну!), и стихи просит прочесть… И Анатолий, привыкший «смотреть на людей выше, чем на себя» — оказывается «на одной ноге» со знаменитым поэтом… Но один «проговор» просто поражает.

Пожилой человек «в свитке простой деревенской и в сапогах» — для Кравченко в первом приближении «холуй»… «Чего этому холую надо?» — здесь, среди «сплошь интеллигенции»! Эта фраза мгновенно вызывает в памяти давние слова из клюевского письма Есенину: «Видите ли — не важен дух твой, бессмертное в тебе, и интересно лишь то, что ты, холуй и хам Смердяков, заговорил членораздельно…» Клюев тут же перестал быть для Кравченко «холуём», когда «заговорил членораздельно» — «и как заговорил!.. Умно, осмысленно и толково…». А увидев портрет, восемнадцатилетний начинающий живописец окончательно проснулся: нет, перед ним не «холуй», перед ним сам Клюев!

Такие совпадения не бывают случайными. Что «дореволюционная», что «послереволюционная» интеллигенция (за нечастыми и вполне объяснимыми исключениями) так и относилась к человеку из деревни, выглядящему невесть какой птицей среди городской «изысканной» публики… А у Анатолия интеллигентский снобизм, как видно, органически сочетался с жаждой обратить на себя внимание известного человека. И не просто так он подчеркнул, что Клюев обещал познакомить его «со всеми художниками Ленинграда, поэтами и писателями…». Дескать, вон куда путь мой отныне лежит! Теперь уже не посмотрю на других «выше, чем на себя»…

А для Клюева здесь не было никакой загадки. В нарочитом верчении Анатолия перед ним он сразу увидел желание познакомиться во что бы то ни стало. И сразу легло на душу и упоминание о Есенине, и восторг молодого человека клюевскими стихами… Слишком тяжело было на душе всё последнее время. А тут — миловидный юноша «со взором горящим», исполненный творческого полёта, жаждущий припасть к заботливой руке старшего и мудрого…

После стольких потерь показалось: вот она, ласточка, принесшая весну в осеннюю пору, на склоне лет. Божий подарок!

Через два с небольшим года после их знакомства учитель живописи Анатолия И. Селезнёв писал своему ученику: «У тебя, друже, есть необыкновенный вдохновитель — Клюев! Это громадная радость иметь общение с таким поэтом! Его творчество будит твою душу, и твои насаждающиеся художественные сны облекаются в надлежащий и выразительный наряд… Не бойся этих снов. Это то, для чего стоит жить. Это то царство-государство, где можно спрятаться от теперешней окружающей нас мрази»…

* * *

Анатолий Кравченко стал для Николая ещё одной «Нечаянной Радостью», той, чьей минутой общения дорожишь, чья любая строчка письма наполняет душу благодарностью и восторгом.

«Светлый мой братик Анатолий,

я обрадован истинной и живой радостью и памятью обо мне. Усердно прошу Вас и в дальнейшем не обходить меня Вашей лаской и приветом. Вы должны осознать свою силу влияния на людей — только „как любовь“. С годами она окрепнет и вместе с устремлением к красоте будет Вашим неуязвимым щитом во тьме

житейской…»

«Милый друг,

я не забыл Вас — всегда помню и люблю крепко… Настойчиво прошу Вас не забывать меня! Вы для меня живая и подлинная радость…»

«Я не забыл Вас — мой прекрасный художник… Благодарю от всего сердца, что Вы исполняете крепко своё обещание — не забывать меня. Я так нуждаюсь в добром бескорыстном слове… Будьте светлы духом и веруйте крепко в жизнь…»

Выла улица каменным воем,
Но таинственным поясом муз
Обручил мою песню с тобою
Легкокрылых художеств союз.
……
И теперь, когда головы наши
Подарила судьба палачу,
Перед страшной кровавою чашей
Я сладимую теплю свечу…

Как смешны в хризантемах зайчата,
Легковейны бубенчики пчёл.
Я не знал ни жены, ни собрата,
Но в тебе свою сказку нашёл.

Клюев делится самым сокровенным, обговаривает все свои планы на будущее, наставляет «свою сказку» — как надо себя вести. Таких писем от него не получал даже Есенин!

«Я невыразимо тоскую по ангелу в тебе и всегда на руках огненных в молитве возношу тебя к престолу Святой Троицы. У меня в Москве есть благоуханные и святые встречи, — но тёмная жизненная суета иногда повергает меня в боль не только душевную, но и телесную. — Я два раза лежал больным от сердца и простуды. Всё хлопочу о пенсии и издании „Погорельщины“. Рукопись в издательстве лежит уже две недели, но около её происходит большая драка. Ответа ещё окончательного нет. Хотелось бы его дождать, чтобы получить деньги, чтобы нам с тобой прожить зиму без нужды. Я рвусь к тебе, но чисто деловые соображения держат меня в Москве. Мне очень тяжело от одиночества без милого голоса и ласки. Был у Нестерова, читал ему „Погорельщину“. Он содрогался и проливал слёзы, слушая… Мы с тобой обсуждали под саратовскими клёнами, какой тон тебе нужно и необходимо взять в этот год, чтобы тебя не обворовывали разные, в конце концов, не нужные тебе друзья. Стараешься ли ты

во имя своего дивного искусства хоть сколько-нибудь выполнить это? Извини, мой любимый, что говорю тебе об этом, но эти слова я обращаю к тебе не в форме приказа, а только в форме кровной заботы…»

«Тоскую по ангелу в тебе…» Ангел распахнёт крылья с ласковой помощью старшего собрата — и Клюев стремится не выпускать Анатолия из-под своего крыла надолго, томится даже кратковременной разлукой, не упускает случая дать в очередном письме новый добрый совет… Да и брат Анатолия Борис позже признавал, что «первые серьёзные шаги и успехи Анатолия как портретиста всецело связаны с Клюевым. Начало было положено портретом Есенина» — портретом поэта, стоящего возле берёзы… Новое имя Анатолию Клюев же дал, вспоминая погибшего жавороночка.

— Вот у Есенина есть повесть «Яр». Ярами на Руси назывались самые высокие и самые красивые места. Их и для ресторанов выбирали. Да и сами названия некоторых ресторанов в старинных русских городах от этого слова пошли…

Не о ресторанах он, конечно, думал. К слову — для понятности молодым ребятам. Яр, он ведь — от языческого Ярилы-Солнца… Красу внешнюю и внутреннюю своего младого наперсника подчеркнуть хотелось. Красочной нотой звучала внутри песня из «Снегурочки» Островского:

Свет и сила —
Бог Ярило!
Красное солнце наше,
Нет тебя в мире краше!

А для портрета Есенина Клюев под расписку сам достал в Пушкинском Доме его фотографию, бюст и посмертную маску. Договорился с директором П. Сакулиным, который не изменил своего отношения ни к Клюеву, ни к Есенину с тех пор, когда печатал свою знаменитую статью «Народный златоцвет».

В Москве Николай тщетно пытался издать «Погорельщину». И писал в Ленинград Анатолию свои удивительные письма.

«Мир тебе и любовь, и крепость душевная… Мои московские видения убедили меня в неизбежности мученичества всех, кто любит и для кого любовь — хлеб живой и нетленный. Враг не спит и ищет, кого бы поглотить. Но всё упование на тебя возлагаем, Матерь Божия. Никто в мире, ни на земле, ни под землёй не поможет верующим и пребывающим в красоте, а также и стремящимся к красоте вечной. Один крест — меч в руках любящего. Ибо такова сама природа любви. Будь спокоен,

укрепляй себя и питай покоем. Умоляю тебя об этом!.. Прости меня, любимый, что птахою незримой я от тебя утёк (цитата из „Каина“. — *С. К.)*. Скоро прилечу на мягких, хотя и порядочно усталых крыльях.

Лобызаю тебя в сердце твоё, скучаю нестерпимо и имя твоё, как печать, на правой руке моей…»

И совершенно, казалось бы, невероятная заповедь молодому художнику от автора так и не принятой никуда «Погорельщины» и совершенно «противосоветского» «Каина» — заповедь, произнесённая от всей души: «Будь верен коммуне, нашему величавому и прекрасному государственному строю, пламенным дням юного социализма, а остальное всё приложится. Я крепко верю, что моя родная республика не оставит своих самых верных и преданных сынов…»

И ведь не «страха ради иудейска» писано. И не на «перлюстрацию» рассчитано — смешно и думать. Но тот же мотив возникнет в стихах 1932 года, уже в клюевское московское житие.

Сам Клюев — не пригодившийся новой власти, отвергнутый ею, заклеймённый всеми мыслимыми клеймами, не питает никаких иллюзий насчёт своей дальнейшей судьбы.

Мне революция не мать,
Подросток смуглый и вихрастый,
Что поговоркою горластой
Себя не может рассказать!

Не может — ибо так и не успела осознать себя, ради чего свершилась и какой заряд в себе несла… «Керженский дух» отринула, заповеди «Третьего Рима» перечеркнула (а Бердяев, этот «философ свободы», ничего толком так и не понявший, выводил «Третий Интернационал» из «Третьего Рима»), русское начало уничтожает во всём — а о Христе и говорить нечего… Сам-то он, встретивший революцию, когда ему за тридцать было, мог как к дочери неразумной к ней отнестись… А он тогда — как к свахе, принесшей дар.

Напудрен нос у Парасковьи,
Вавилу молодит Оксфорд.
Ах, кто же в старорусском твёрд —
В подблюдной песне, алконосте?!
Молчат могилы на погосте,
И тучи вечные молчат…

О себе всё сказано, с ним самим, Клюевым, осознавшим и «рассказавшим» революцию ещё десятилетие назад и так и оставшимся непонятым — все предельно ясно, и участь его предрешена. Но молодой друг, почти ровесник этой самой революции — иная у него планида.

Лишь ты смеёшься на закат,
Вихраст и смугло-золотист,
Неисправимый коммунист,
Осьмнадцатой весной вспоённый,
«Вставай, проклятьем заклеймённый»
Тебе, как бабушке романс,
Что полюбил пастушку Ганс,
Ты ж — бороду мою, как знамя,
Бурлацкий сказ, плоты на Каме,
Где светлый Суслов и Сезанн
Глядятся радугой в туман
Новорождённых пав и поля…

«Пламенные дни юного социализма» и заветы дедушки, его духовные сокровища, передаваемые по наследству, — вот она, жизнь грядущая «милого Толи».

* * *

Клюев, пытаясь оберечь Анатолия от «ненужных друзей», старается ввести его в круг «избранных».

Он знакомит его с Клычковым, Ивановым-Разумником, Алексеем Толстым… В эти же годы расширяется и его собственный круг общения.

Кроме мастеров Палеха и живописцев, среди которых были и Щербаков, и Власов, и Рылов, и Петров-Водкин, Клюев обретает дружбу великих артистов русской оперы.

И в первую голову здесь нужно назвать Николая Голованова и Антонину Неждановy.

Их многое сближало — и в прошлом, и в настоящем.

Дирижёр Большого театра Голованов до революции руководил хором в Марфо-Мариинской обители, куда был приглашён великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Он сочинял духовные песнопения, среди которых особое место занимал кондак святителю Николаю, что не могло не произвести особого впечатления на Клюева. Семья была истово православной, супруги были воистину воцерковлёнными людьми;

временами, правда, набожность уступала место некоторой браваде — не могли они не погордиться, бывало, перед многочисленными гостями огромным количеством старых икон в доме. Но это была слабость, понятная Клюеву. Тут предмет для общего разговора был неисчерпаемый.

Да и сам Николай Голованов был в это время в положении если не равном клюевскому, то близком к нему.

Он уже не единожды подвергался лютым нападкам рапповцев, обвинявших его в монархизме, русском национализме и антисемитизме (классический «джентльменский» набор!)… В ходу уже было словечко «головановщина», означающее сочетание всех трёх вышеуказанных признаков. Соответствующим образом проинструктированная комсомольская молодёжь устраивала в Большом театре обструкции с криками «Долой черносотенца Голованова!», а в «Комсомольской правде», где лишь за одну неделю напечатано семь писем против дирижёра, было в придачу опубликовано примечательное заявление Всеволода Мейерхольда: «Если факты, сообщённые в печати, подтвердятся, к Голованову надо отнестись беспощадно. Я хорошо знаком с бытом Большого театра и знаю, что часть хора привыкла, например, по „большим праздникам“ выступать в церквах. Хотя религиозные убеждения дело частное, но такие „убеждения“ не могут не способствовать созданию настроений, взращивающих антисемитов».

Сам Сталин в письме рапповскому драматургу Билль-Белоцерковскому объяснил, что «головановщина» «есть явление антисоветского порядка», но это не значит, «что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками…». Последняя фраза, очевидно, родилась под влиянием того, что в защиту Голованова выступили композиторы, артисты МХАТа, солисты Большого театра, что, впрочем, не избавило дирижёра от соответствующих оргвыводов: он был временно отстранён от работы в Большом и лишён права преподавания в Московской консерватории.

В декабре 1929 года Голованов писал своей супруге Антонине Неждановой: «В Москве всё по-старому, пока благополучно. В субботу вечером был у А. И. Анисимова по его приглашению. Был замечательно интересный вечер — у него поэт Клюев Николай Алексеевич читал свои новые стихи; были Коренева, Массалитинова, Р. Ивнев и другие. Я давно не получал такого удовольствия. Это поэт 55 лет с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддёвке — изумительное, по-моему, явление в русской жизни. Он вывел Есенина на простор литературного моря. Сам он питерец, много

печатался. Теперь его ничего не печатают, так как он считает трактор наваждением дьявола, от которого берёзки и месяц бегут топиться в речку. Стихи его изумительны по звучности и красоте. Философия их достоевско-религиозная — настоящая вымирающая таёжная Русь. Читает он так мастерски, что я чуть не заплакал в одном месте. Потом он рассказал две сказочки — это совершенно исключительное явление. К нему Шаляпин в 3 ч<аса> ночи неоднократно приходил, будил его и плакал у него. Я ищу его книги по всей Москве, в одном магазине мне обещали через 4 дня. Я очень хочу, чтобы Вы обязательно его послушали. Он должен прочесть свою большую последнюю вещь, которая тянется 1.40 минут (очевидно, речь идёт о „Погорельщине“. — *С. К.)*… Я о нём много слышал раньше, но не думал, что это так замечательно. Первый том Есенина написан под влиянием его, а он самый благоуханный и талантливый из всех его сочинений…»

Голованову Клюев преподнёс двухтомник «Песнослова», надписав на форзаце первой книги: «Николаю Семёновичу Голованову — ворох моих песен — цветов с русских полей и лесов преподношу, счастливый тем, что на моём жизненном пути встречаю великого и прекрасного, кто слышит колокола Китеж-града невидимого!»

И ему же было подарено старопечатное Евангелие с надписью-благословением: «Во имя Господа Иисуса Христа ради Его св. Имени на русской земле благословляю сие Св. Евангелие Николаю Семёновичу Голованову на спасение — жизнь, крепость и победу над врагами видимыми и невидимыми».

Антонина Нежданова удостоилась особого подарка: ей были преподнесены автографы стихотворений «Мне сказали, что ты умерла…» и «Вспоминаю тебя и не помню…», причём первое было вынесено в эпиграф ко второму (это на сей день единственный такой известный случай в клюевских инскриптах)… И на том же листе была начертана дарственная надпись: «Посвящается Антонине Васильевне Неждановой — Сирин-птице, поющей и взывающей о красоте Русской Народной Земли».

Он ещё успел услышать неждановскую Марфу в «Царской невесте» и её же «Снегурочку» в одноимённой опере по пьесе Александра Николаевича Островского.

…Во время своих наездов в Москву Клюев останавливался на квартире у Николая Минха. Вместе с ним он забредал в гости на Пречистенку к искусствоведу Александру Анисимову, в Замоскворечье, в Голутвинский переулок, в дом артиста Большого театра Анатолия Садомова и жены его Надежды Фёдоровны. У этой пары он останавливался в тот период, когда занимался

обменом своей ленинградской квартиры на московскую.

Надежда Христофорова-Садомова оставила яркие воспоминания о том впечатлении, которое произвёл на неё поэт.

«Предо мной был чисто русский человек — в поддёвке, косоворотке, шароварах и сапожках — старинного покроя. Лицо светлое, шатен, борода небольшая, голубые глаза, глубоко сидящие и как бы таившие свою думу. Волосы полудлинные, руки красивые, с тонкими пальцами, движения сдержанные; во всём облике некоторая медлительность, взгляд весьма наблюдательный. Говорит ровно, иногда с улыбкой, но всегда как бы обдумывая слова, — это заставляло быть внимательным и к самим словам. Говор с ударением на „о“ и с какими-то своеобразными оборотами речи…

Ник<олай> А<лексеевич> был нетребовательным гостем: для него ценнее всего была тишина, чтобы он мог углубляться в своё сокровенное творческое состояние. Оно было, как он говорил, не второй его натурой, а первой — и в нём он находился почти непрерывно, даже во время сна… Чувствуя моё самое сердечное внимание и, по его словам, даже понимание сущности его „внутреннего мира“, — он делался как-то родственно-доверчивым. Его обычная замкнутость исчезала, а сердце открывало свои богатые сокровища. Вот тогда-то и выявлялась особая основа этого „внутреннего мира“: он видел, знал и ясно понимал сущность бытия — видимого и как бы и невидимого через знание и опыт…

Он говорил, что у него не проходит время без особых восприятий, и даже во сне… Спорить не любил, больше внимательно выслушивал, но по живым, проницательным глазам можно было ясно почувствовать внутри его полноту творчества. Никол<ай> Алекс<еевич> высоко ценил воспитание человека через общественное влияние и науку, но считал весьма необходимым самому человеку осознать и понять свои внутренние свойства, раскрыть в себе лучшие качества, заложенные в нём, благодаря чему и имеет он высокое звание человека и все возможности владеть и управлять силами природы и менее сознательными существами. Он говорил, что настало время познать человеку силу доброй воли в каждом и на основе этого добра объединиться человечеству для блага общего и каждого.

Н<иколай> А<лексеевич> утверждал, что поэзия и призвана через тончайшие, свойственные ей одной откровения дать человечеству всеисчерпывающие отображения мировых явлений — от самых тёмных бездн падений до высочайших красот просветлённости. И вся эта непрерывная гамма

отображений невольно влечёт человечество к желаемому светлому обновлению и взаимному созвучию.

В этой могучей преобразовательной силе и сокрыто воспитательное значение поэзии; возвышая дух человека в необозримую высь творческих возможностей, она приводит к порогу божественных законов, отображающихся в мировой гармонии… Он испытывал глубокий трепет перед тем даром, который ярко чувствовал в сокровенной глубине своего существа, но щедро делился им лишь с созвучными сердцами…»

Собеседница слушала его рассказы о детстве, о любимой матери — преображённые, сотворённые в новой реальности… Клюев переживал свою новую поэму о роде своём, о последней Руси, погружающейся в глубинные хляби истории, свой заветный труд, о котором он после скажет: «То, для чего я родился…»

* * *

В 1929 году к Клюеву в сопровождении Алексея Чапыгина пришёл итальянский славист Этторе Ло Гатто. Позднее он вспоминал, что Клюев увидел в нём не столько историка литературы, сколько итальянца. «В Клюеве, который в Италии никогда не был и об итальянской поэзии знал мало, если вообще знал, ностальгия северянина по Италии, по югу была как бы обусловленной, хотя и менее выраженной, чем это было век назад у Пушкина. И всё же, встретившись со мной, итальянцем, и услышав из моих уст о ностальгии южанина по северу, по России, он, не задумываясь, назвал меня „светлым братом“…» Ло Гатто многого не знал о Клюеве и, конечно, был здесь несправедлив. Не всуе упоминал Клюев в своих стихах начала 1920-х годов и Джозуэ Кардуччи, и Аду Негри. Да и встреча с Ло Гатто почти совпала с относительно недавней работой над стихотворением, где Италия, отражённая через «Святого Себастьяна» Тициана Вечеллио, соединялась мучительной памятью о древней северной Руси, о предках.

И мужал я, и вырос в келии
Под брадою отца Макария,
Но испить Тицианова зелия
Нудит моя татария.
Себастьяна, пронзённого стрелами,
Я баюкаю в удах и в памяти,
Упоительно крыльями белыми
Ран касаться, как инейной замята.

«Сам Клюев сказал мне в 1929 году, — вспоминал Ло Гатто, — что одним из оснований неблагожелательного отношения к нему властей предержащих явилось его прославление революции как „взрыва элементарных частиц“. Я напомнил ему тогда — сужу по записям того времени, — что Блок тоже говорил о революционной стихии как воплощении духа музыки, на что он возразил, что для Блока это было лишь теоретическим измышлением, в то время как он исходил из внутреннего религиозного опыта…

То ли в 1929, то ли в 1931 году Клюев имел повод сказать мне… что „величайшее злодеяние“ советского правительства состояло в превращении русского „мужика“ в пролетария, в беспощадном разрушении того, что составляло глубинную сущность России; в осуждении религиозности, якобы противоречащей материальному прогрессу, той набожности, которая всегда присутствовала в душе русского крестьянина, хотя бы в формах более примитивных, как, к примеру, в жестокие времена Болотникова, Стеньки Разина и Пугачёва, столь любезных большевикам… Как иностранец я не могу вдаваться в оценку того, что было сказано о Клюеве некоторыми весьма остроумными критиками. Я имею в виду, к примеру, мнение Ходасевича, полагавшего, что „крестьянская Россия“, которую выразили такие поэты, как Клюев, Есенин, Клычков и Ширяевец, не только готова была исчезнуть или уже исчезла, но и не существовала вовсе. Признаюсь, что мнение Ходасевича произвело на меня сильное впечатление, но мысль о том, что Клюев мог быть „позёром“, отпала, едва лишь я узнал его лично. Не знаю, что было прежде, но в период наших встреч Клюев был весьма далёк от какой-либо фальши. Он был прост и в душе, и в поведении, как человек, заплативший и снова готовый платить дорогой ценой за собственную веру…»

Клюев подарил Ло Гатто икону из своего киота (она и в 1990-е годы хранилась у наследников слависта в Италии), передал ему экземпляр «Погорельщины» с наказом опубликовать «после его смерти» (на возможность публикации в России он потерял всякую надежду), подарил двухтомник «Песнослова» с дарственной надписью на втором томе:

«Этторе Лё Гатто

Светлому брату

Песни мои — Олонецкие журавли да озёрныя гагары, — летите за синее море под сапфирное небо прекрасной Италии! Поклонитесь от меня вечному городу Риму, страстотерпному

праху Колизея, гробнице чуднаго во святых русских Николы Милостиваго, могиле сладчайшаго брата калик перехожих Алексия — человека Божьяго, соснам Умбрии и убрусу Апостола Петра! Расскажите им, песни, что заросли русския поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берёз новгородских, что кровью течёт Матерь-Волга, что от туги и скорби своего панцырнаго сердца захлебнулся чёрной тиной тур Иртыш — Ермакова братчина, червонная сулея Сибирскаго царства, что волчьим воем воют родимыя избы, замолкли грановитые погосты и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощёная и неприкаянная Россия!

Николай Клюев.

День похвалы Пресвятыя Богородицы 1929 года».

Ещё годом ранее он сделал дарственную надпись на книге «Изба и поле» румынскому писателю Панаиту Истрати в несколько иной тональности:

«Дорогому Панаит Истрати на память о нашей встрече на омытой кровью русской земле с надеждой на радость всемирную.

Николай Клюев.

1928 г.

Не железом, а красотой купится русская радость».

Панаит Истрати навестил Клюева вместе с греческим писателем Никосом Казандзакисом, который потом в беллетризованном виде опишет эту встречу в романе «Тода Раба». Место встречи перенесено в Баку, а сам Клюев фигурирует в книге Казандзакиса под именем «Фёдор Тунганов». Ему же в уста вложены и отдельные подлинные реплики самого поэта.

«— Я не из тех русских, которые делают политику и пушки. Я — той же золотой нити, из которой созданы легенды и иконы…

— Демон и архангел всегда борются в любую эпоху. Оба носят меч. Нельзя их путать.

— Бог велик, Россия — велика, я не боюсь…»

А когда один из героев романа Геранос (прототипом послужил сам Казандзакис) бросает Тунганову реплику: «Сегодня для меня дыхание, толкающее меня вверх, — это Коммунизм. Это мой архангел», — тот отвечает возмущённым шёпотом:

«— Впервые слышу такое определение коммунизма. Может быть, речь идёт не о русском коммунизме. Мы — я и три четверти русского народа — мы смотрим на коммунизм как на Сатану, вооружающего людей для того, чтобы они перерезали горло друг другу».

Истрати в своей книге воспоминаний о Советском Союзе не упомянул о Клюеве вовсе. И похоже, что поэт оставил двоих

писателей в полном замешательстве.

И ещё об одной встрече мы не имеем никаких доподлинных свидетельств. Известно лишь то, что в сентябре 1930 года Борис Кравченко проводил Клюева на вокзал, когда тот отправлялся в Москву — повидаться и поговорить с Рабиндранатом Тагором, который в это время посетил Советский Союз, где встречался со студентами и преподавателями вузов Москвы, выступал в ВОКСе и в Колонном зале Дома союзов. И эти выступления весьма показательны для его тогдашнего умонастроения.

«Я приехал в этот край для того, чтобы поучиться. Я хочу узнать, как вы в своей стране разрешаете великую проблему, мировую проблему цивилизации. Проблема современной цивилизации отошла от настоящего пути. Она оторвала человеческую личность от общества. Современная цивилизация породила чрезвычайно искусственную жизнь, она создала болезни, вызвала особые страдания, создала ряд ненормальностей. Не знаю, каким образом нужно действовать для того, чтобы вылечить современную цивилизацию. Я не знаю, действительно ли правилен тот путь, который вы избрали в этой стране для разрешения этой проблемы. История рассудит, насколько вы действительно правы. Я сам глубоко интересовался проблемами воспитания, просвещения. Моя идея, моя мечта была в том, чтобы создать свободного человека, одновременно культурного и связанного с трудом, с жизнью. При современной цивилизации человеческая личность живёт как бы в клетке, оторванной от всего остального общества. В вашей стране вы порвали с этим злом. Я слышал от очень многих и сам в этом убеждаюсь, что ваши идеи очень похожи на мою собственную мечту, мою мечту о полной жизни индивидуума, о всестороннем воспитании. Вы в вашей стране даёте индивидууму не только научное образование, вы превращаете его в творческую личность. Этим самым вы осуществляете величайшую, высшую мечту человечества. Я благодарю вас сердечно за это».

Остаётся лишь горько сожалеть, что нам ничего не известно о встрече двух великих поэтов. Состоялась ли она вообще, и о чём они говорили — если состоялась? Тагор для Клюева значил, пожалуй, больше, чем Ло Гатто, Казандзакис и Истрати вместе взятые.

В свой же адрес Клюев слышал весьма внушительные речи одной такой развившейся «творческой личности».

«Она ещё доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по „престольным“ праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным,

распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем.

Ещё живёт „россеянство“, своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по-прежнему, по старинке, в „особый“ путь развития, в народ-„богоносец“, с погружением в „философические“ глубины мистического „народного духа“ и красоты „национального“ фольклора.

В современной поэзии наиболее сильными представителями такого „россеянства“ являются: Клычков, Клюев и Орешин (Есенин — в прошлом)».

Этой тирадой открывалась вышедшая в 1930 году книга Осипа Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика». Бескин был далеко не единственный и не самый главный из «артиллеристов», открывших по поэтам Русского Возрождения огонь на уничтожение. Но именно он — после Троцкого и Князева — нашёл те «новые» характеристики и сопутствующие им определения, которые, «как старое, но грозное оружие», будут в критические моменты истории извлекаться из нафталина и пускаться в ход — как в эпоху либерального «шестидесятничества», так и в эпоху «великой криминальной революции».

Клюев чувствовал, что времени остаётся слишком мало. И собрав все силы, погрузился в создание великого русского поэтического эпоса — поэмы «Песнь о Великой Матери».

Глава 30
«ТО, ДЛЯ ЧЕГО Я РОДИЛСЯ…»

Уже не дискутировали о значении колокольного звона, уже не было нужды в публичных диспутах со священнослужителями, уже и обновленческая церковь («филиал ГПУ») сыграла свою роль. Да и «октябрины», и «комсомольские рождества» с их антихристианским похабством бушевали в последний раз в XX столетии — и они уходили в прошлое.

Клюев в это время уже был прихожанином единоверческого храма.

Иеродиакон Василий — будущий архиепископ Леонтий Чилийский — вспоминал, как в их полуподпольный монашеский кружок в Феодоровском подворье в честь 300-летия дома Романовых, «где всё было выдержано в старом русском стиле», приходили читать доклады профессора Богословского института, Горного института (в частности, профессор О. Н. Чапурин), а также поэт Николай Клюев — «с этим замечательным человеком меня познакомил мой друг по Институту Иннокентий, который тоже пописывал стихи и давал их на прочтение поэту». Иеродиакон вспоминал свои гощения у Клюева, его чтение «Деревни», «Заозерья» и «Погорельщины» — и совершенно непривычный для тогдашнего Ленинграда быт и внешний вид поэта: «Всё было оригинально, пахло Древней Русью. В красном углу много старинных образов и среди них особенно выделялся образ Спаса Недремлющее Око. У образов теплилась лампада, а также другая у раскрытого старинного антиминса без мощей. Вместо стульев резные лавки, а также столы, ларцы. Всё в древнем русском стиле, как на картинах Рериха (по всему видать, что Василий знал этот быт лишь „по Рериху“, в лучшем случае — „по Нестерову“, в отличие от Клюева. — *С. К.)*. И в довершение всего от приспущенной люстры полумрак, что придавало комнате еще более оригинальный вид и красоту. Сам хозяин был одет в русскую длинную рубаху и штаны с сапогами в гармошку. Подстрижен под скобку, с круглой бородой. Очень радушно он нас встретил и показал свои старинные церковные достопримечательности, к собиранию коих он был большой охотник. Говорил о том, что он не в чести у властей за то, что не желает быть втиснутым в шаблонные советские рамки, свои стихи творит в известном политическом духе. За это его исключили из писательской среды, и он жил тем, что многие начинающие поэты обращались к нему за советом, и когда успевали, то не забывали

ему платить… Его острый взор, чуткая душа подмечала, как с каждым годом меняется древний святой облик нашей матушки Руси, благодаря антинародному демоническому коммунизму и его изуверских последователей, которые, пользуясь своей властью, силой и террором, меняли старый русский быт на что-то уродливое и страшное…»

Автор этих воспоминаний и оставил свидетельство того — прихожанином какой именно обители был Николай в Ленинграде конца 1920-х годов: «Сам Н. Клюев усердно посещал Николаевский Единоверческий храм, думал о монашестве, если бы, по его словам, были условия на то. Себя почему-то в откровенной беседе сравнивал с Вл. Нифонтом до его покаяния…»

Фёдор Евфимьевич Мельников охарактеризовал Единоверие как «переходную церковь — от старообрядчества в новообрядчество… Принадлежащие к этой церкви именуются единоверцами, или соединенцами. Названы они так потому, что будто бы имеют одну веру с новообрядческой церковью. На самом же деле они не имеют полного единства в вере ни с новообрядцами (то есть последователями никоновской церкви), ни со старообрядцами…».

Не согласился бы с подобной категоричностью Николай Алексеевич Клюев, ушедший от крайностей староверия в неприятии всей действительности и начертавший: «кто за что, а я за двоеперстие», ищущий, взыскующий единения в Духе, в Благодати, словом соединяющий эпохи и миры, пытающийся заново обрести себя в разламывающейся неуютной действительности.

«…В условиях безбожного ига в России… невозможно свободное обсуждение церковных и вообще религиозных вопросов. Для этого нужно ждать других времён…» (Ф. Е. Мельников).

Не антиправославная «художественная самодеятельность» — всё решала и вершила железная рука окрепшего нового государства.

«Мы не нуждаемся ни в каком патриотизме…» — заявил бывший «богостроитель» Луначарский в 1928 году. Почему не нуждаемся? Потому что нужно «отказаться от обломовщины»… Поставив знак равенства между «обломовщиной» и патриотизмом, уже можно было изрекать любые сентенции, ласкавшие всегда слух либералов всех мастей и ласкающие его по сей день. Оказывается, «обломовщина является нашей национальной чертой», ибо «мы не совсем „европейцы“ и очень, очень мало „американцы“, но в значительной степени — азиаты.

Это, так сказать, дань нашему евроазиатству» (ком грязи в сторону евразийцев!). Идеал наркома просвещения — «человек западного типа», который «не чувствует себя гражданином определённой страны… является интернационалистом»…

Лекция сия называлась «Воспитание нового человека».

Новый человек в эти годы воспитывался поистине ударными темпами. И одной из главных «мер воспитания» стало разрушение привычной среды, изменение всей атмосферы в стране. Конец 1920-х годов — это время предельной активизации антирусских сил в государственном и партийном аппарате. Клюева специально вызывали в ГПУ во время процесса над Промпартией и спрашивали о его «отношении к Рамзину» (одному из главных подсудимых). А поэт (как он потом рассказывал) лишь «ломался»: «Рамазинов? Помню. У нас в деревне железом торговал…» По старой памяти мог обратиться к тому же Луначарскому, в выступлениях которого в это время русофобия буквально зашкаливала. Но Клюева он помнил и кое-какую помощь оказывал.

— Как что случится — я к Анатолию Васильевичу, — рассказывал Клюев Сергею Маркову. — В профсоюз вступать надо было. А у меня билета нет. Пошел к Анатолию Васильевичу, и выписал он мне удостоверение: «Сторож источников народного творчества».

Практически одновременно с процессом по «делу» Промпартии будут раскручены «дела» Трудовой крестьянской партии, где будут определены жесткие тюремные сроки замечательным экономистам Александру Чаянову и Николаю Кондратьеву. Была «раскрыта» деятельность «Русского национального союза», объединявшего бывших офицеров и чиновников из окружения генерала А. А. Брусилова. Тогда же были арестованы великие историки С. Ф. Платонов и Е. В. Тарле по стандартным уже обвинениям в «проповеди монархизма», «антисемитизме», «черносотенстве» и «великодержавном шовинизме». Тот же набор обвинений присутствовал и в так называемом «деле славистов», «сшитом» через три года, когда замечательных ученых В. В. Виноградова, А. М. Селищева, Н. К. Гудзия, П. Д. Барановского и других (в их числе был и защитник Клюева Роберт Куллэ) «наградили» лагерями и ссылками (а кое-кого в концов концов и расстрелом) за (как значилось в обвинительном заключении) «истинный национализм», подразумевающий борьбу «за сохранение самобытной культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа» и «сохранение религии как силы, способствующей подъему русского национального духа».

«Новый человек» должен был соответствовать «новому городскому ландшафту». Рушились, взлетали на воздух, превращались в груды камней и строительной пыли часовня Александра Невского, Вознесенский и Чудов монастыри (по поводу которых Ленин в 1918 году «игуменским окриком» выговаривал своим работникам, что, дескать, «дело охраны памятников в Кремле стоит не на высоте»), храм Христа Спасителя, Красные ворота, башни Китай-города… Останки Кузьмы Минина были взорваны вместе с храмом в Нижегородском кремле, а мрамор с надгробия Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале украсил фонтан одной из дач, и сам монастырь был превращён в колонию для малолетних преступников… Из множества храмов на земле Русской осталось лишь 15 тысяч, ставших складскими помещениями, клубами, трансформаторными будками. Богослужение велось лишь в семистах, и эти семьсот обителей обречённо ждали своего конца, который должен был совпасть с концом «безбожной пятилетки».

«Молодые да ранние» стихотворцы заходились в ликующих криках при виде конца «старой Руси».

«Десятки партийных ораторов и сотни услужливых перьев, — писал позднее Алексей Толстой, — на все лады изощрялись в насмешливых проклятьях „русопятам“, „русотяпам“, „русопетам“; „мы расстреляли толстозадую бабу Россию“…» (Через 60 лет уже наше поколение станет свидетелем такого же по сути погрома.) Это было время подлинного торжества «коммунистов-интернационалистов», ненавидевших Россию как таковую, и Алексей Фёдорович Лосев в повести «Жизнь» свидетельствовал, как «водворились презренные клички: „квасной патриотизм“, „ура-патриотизм“, „казённый опимизм“ и пр., и пр. Это культурно-социальное вырождение шло рука об руку с философским слабоумием… По адресу родины стояла в воздухе та же самая матерщина, что и по адресу всякой матери в устах разложившейся и озлобленной шпаны».

Чрезвычайно любопытные воспоминания о встречах с Клюевым в это время оставил литератор, напечатавший их уже в начале 1950-х годов в нью-йоркском «Новом журнале» под псевдонимом «Роман Менский».

«С большой скорбью Н. А. жаловался нам на свою тяжёлую нужду. Она заставила его отнести и продать музею уже не одну икону. Перед иконами висели три лампадки. Стол был накрыт деревенской скатертью. На столе стояли простые старинные подсвечники. Электричеством, этим „огнем в пупыре“, он не пользовался. На маленьком столике у стены лежали толстые,

рукописные, старообрядческие книги в кожаных переплётах. Н. А. подвел нас к книгам и ласково проговорил: „Это мои университеты“. Разговор о поэзии у нас не клеился. Время было тревожное — развёртывалась вовсю коллективизация. Судьба народа глубоко волновала Н. А. Он понимал, что большевики собираются закрыть открытый им мир народа, а с ним и его поэтический „монастырь“… Поговорили о деревне, о надвинувшемся на крестьян горе. Когда мы уходили, Н. А. почти шёпотом несколько раз сказал: „Будет гарь… Ох, будет гарь…“»

Что и говорить — драматичная картина. Правда, она была бы куда более полной и правдивой, если бы автор мемуаров привёл свои собственные писания о Клюеве того времени, опубликованные в журнале «Перелом» под своей настоящей фамилией — Г. Раменский.

«Из „освобождённого“ реформой 61-го года крестьянства вырастала новая деревенская буржуазия — кулаки. Эта социальная группировка робко высылала в литературу своих Слепушкиных, Алипановых, Деруновых и др. и подготовляла свою гвардию: С. Клычкова, Н. Клюева, С. Есенина… Клычковы, Клюевы, Есенины продолжали свободно петь в Советской стране, а некоторые революционные литературоведы их величали: „С. А. Клычков, это — крестьянский Фет“… „Н. Клюев — огнекрылый поэт“… „Сергей Есенин — поэт единственный и неповторимый“… А как же коммунист В. Полонский, защищающий идеологов кулачества Клычкова, Клюева и др.?» (Г. Раменский. «Победы и поражения»).

Вся «защита» Клюева и Клычкова со стороны главного редактора «Нового мира» Вячеслава Полонского заключалась лишь в том, что он более изощрённо (и потому, по мнению многих «ретивых» и «неистовых», совершенно недостаточно и чуть ли не сочувствуя) писал о поэтах Русского Возрождения. «… Элементы Средневековья (отсталые формы хозяйства, суеверия, знахари, церковь, сектантство) ещё не исчезли начисто. С ними-то и приходится вести борьбу. Элементы „старины“ и чинят препятствие „новизне“. Это именно старая деревня дала в искусстве Клюева, реакционного, но замечательного поэта и прозаика Клычкова, реакционного, но замечательного прозаика. Оба они „подлинные“, потому что полновесными крестьянскими художественными образами с яркостью показывают нам внутренний лик этой „старины“, ещё не изжитой, ещё цепляющейся за жизнь…»

«Подлинного» Клычкова он печатал у себя в «Новом мире» (роман «Чертухинский балакирь» Клюев сравнивал с лесковским «Запечатлённым ангелом»). Но ни строчки «подлинного» Клюева в

журнале никогда не появилось.

За эту «подлинность» Полонского полоскали на всех печатных страницах. В конце концов он и сам ужесточил тон.

По его мнению, современная крестьянская литература «враждебна не только литературе барской, дворянской и помещичьей, но также литературе, представленной именами Клюева, Есенина, Клычкова. Имеет под собой классовое основание. Поэты, имена которых мы только что назвали, тесно связаны с буржуазным порядком…».

…В эту эпоху искоренения в России всего русского Клюев и создавал великий русский миф, великий русский эпос, изначально названный «Последняя Русь», получивший в конце концов название «Песнь о Великой Матери». О Великой Матери-Руси. И не последней.

* * *

Многослойное, много мудрое поэтическое повествование перебивается в строго отмеченные паузы авторскими отступлениями, и одно из них — в самом начале второй части — ключевое для поэта.

Неупиваемая чаша,
Как ласточки звенящих лет,
Я дал пред родиной обет
Тебя в созвучья перелить,
Из лосьих мыков выпрясть нить,
Чтоб из неё сплести мережи!
Авось любовь, как ветер свежий,
Загонит в сети осетра
Арабской черни, серебра,
Узорной яри, аксамита,
Чем сказка русская расшита!
Что критик и газетный плут,
Чихнув, архаикой зовут.
Но это было! Было! Было! —
Порукой лик нездешней силы —
Владимирская Божья Мать! —
В её очах Коринфа злать,
Мемфис и пурпур Финикии
Сквозят берестою России
И нежной просинью Вифезды
В глухом Семёновском уезде! —

Кто Светлояра не видал,
Тому и схима — чёртов бал!

…Несколько сюжетных ходов, несколько сакральных узлов держат всё поэтическое повествование о Вечной Руси, становящейся Последней Русью в адской современности — готовой к уходу с Земли и новому снисхождению на неё… История жизни семьи в «милом Поморье» — судьба матери поэта Прасковьи… Тайный собор «радельцев веры правой»… Смерть матери и, наконец, явление самого поэта в Феодоровском соборе в предреволюционные роковые дни — и две ключевые встречи тех дней… Встреча с Григорием Распутиным. Встреча с Сергеем Есениным.

Увертюра к поэме — картины сказочного, мифологического Поморья — и нового Рожества. Медленный песенный хорей, тут же напоминающий о «Калевале» и «Песни о Гайавате» («Эти притчи — в день Купалы / звон на Кижах многоглавых, / где в горящих покрывалах, / в заревых и рыбьих славах / плещут ангелы крылами…»), сменяется торжественным амфибрахием. Мы видели, как свершается под пером Клюева «Рожество избы» и «Рожество иконы». Теперь на наших глазах свершается Рожество храма под песнь Сирина, пророчащего «Руси осиянной конец»…

Это — сказка, сказка, которую рассказывает поэт своему наперснику в ночные часы, напевая колыбельную и сказывая свою родословную, творя свой миф, органически вплетающийся в миф исторический и религиозный. «Руси осиянный конец» предшествует «Руси осиянное начало», уходящее в глубь тысячелетий. Сакральный центр — Дом, в горенке которого «и свет, и сумрак не случаен». Краса телесная и духовная, одухотворённая в каждом проявлении бытового или природного жеста…

Родимое, сказкою став,
Пречистей озёрных купав,
Лосёнку в затишье лесном
Смежает ресницы крылом:
«Бай, бай, кареглазый, баю!
Тебе в глухарином краю
Про светлую маму пою!»

«Светлая мама», восемнадцатилетняя Прасковья, снедаемая любовью к Феодору Стратилату и Егорию, писанным на иконах, обуреваемая тоской, отправляется в путешествие к «Аринушке-

подружке»… Путешествие, которое волей-неволей отсылает к знаменитому «Поучению Владимира Мономаха»:

«Седя на санех, помыслих в душе своей и похвалив Бога иже имя сих днев грешнаго допровади…»

От Соловецкого погоста
До Лебединого скита,
Потом Денисова Креста
Завьются хвойные сузёмки…

Явь чередуется со сном, и жизнь Параши перетекает из сна в явь… Сон для Клюева — иная жизнь, многое раскрывающая в жизни наяву, и о многом пророчащая и переселяющая поэта в иные миры. Так и Прасковья («у матушки девятый сон») видит внутренним зрением святых Феодора Стратилата, Дмитрия Солунского — грядущих женихов…

Но перед этим — после «Рожества храма» — Рожество жизни беломорской русской семьи, где «отец богатырь и рыбак, а мать — бледно-розовый мак»… Мифическая жизнь разворачивается под клюевским пером, как таинственное полотно, где каждая природная примета и каждый предмет быта живут (именно живут, а не существуют!) в общей живой гармонии с миром человеческим и с миром горним. И здесь хочешь не хочешь — а услышишь его диалог с тем, о ком писал он с десять с лишним лет тому назад: «Моя душа, как мох на кочке, пригрета пушкинской весной»…

Тогда он именно «пригревался» пушкинским словом, прозревая в стихотворных сказках его древнейшую индоевропейскую мифическую основу, которую сам стремился воплотить в русском эпосе. И вот — его время пришло. Выброшенный из литературного процесса, объявленный «кулацким поэтом», вне окололитературной суеты, в редком общении лишь с самыми близкими да избранными, он бесстрашно вступает в спор с Пушкиным на «земле» величайшего русского поэта — на почве романовско-петербургской.

Но — стоит ещё раз вспомнить издевавшегося над Клюевым ещё до революции Михаила Левидова. Его статью «Упрощение культуры» — «открытие» первого номера «Красной нови», куда Клюеву не было доступа, — Николай, конечно, читал и хорошо помнил.

«Стояла изба: вшивая, грязная изба, тускло освещённая коптящим ночником, а то и лучиной, но с редкостными гобеленами на стенах. Эта изба была уродством — непозволительным, оскорбляющим, как всё противоестественное,

уродством. В музее было место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом было место российской культуре — культуре небывалого уродства и извращения. Подлинно извращением было, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина, и более того — Скрябина, Врубеля и Блока… Оскорбительно — социально и эстетически — для народа быть удобрением, в котором так нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Полтораста лет после Петра — один Пушкин и 99 % безграмотных. Нет, довольно. Противоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови, как лебедь, горделивая и белоснежная, плавала безмятежно культура, нужно разбить…»

Даже любопытно наблюдать, как это безграмотное «пойло» «переплёскивается» со словесными «брызгами шампанского» Андрея Белого, певшего гимны Клюеву сразу после революции и на дух не принявшего «Погорельщину». В «Арбате», напечатанном в журнале «Россия», он пел восторженным тенором по сути ту же самую партию: «…Мужик есть явление очень странное даже: лаборатория, претворяющая ароматы навоза в цветы; под Горшковым, Барановым, Мамонтовым, Есениным, Клюевым, Казиным — русский мужик; откровенно *воняет* и тем и другим: и — навозом, и розою — в одновременном „*хаосе*“; мужик — существо непонятное; он — какое-то мистическое существо…; из целин матерщины, из вони Горшкова бьёт струйная эвритмия словес…»

В полной красе Клюев показал в поэме и это «непозволительное уродство», и эту «лабораторию, претворяющую ароматы навоза в цветы»… Здесь уже не было места «избыточной» красочности «Избяных песен». Таинство русского духовного мира раскрывается в клюевской избе, воплощаемое в абсолютной гармоничной простоте поэтического слова.

У горенки есть много таин,
В ней свет и сумрак не случаен,
И на лежанке кот трёхмастный
До марта с осени ненастной
Прядёт просонки неспроста.
Над дверью медного креста
Неопалимое сиянье, —
При выходе ему метанье,
Входящему — в углу заря
Финифти, черни, янтаря
И очи глубже океана,

Где млечный кит, шатры Харана
И ангелы, как чаек стадо,
Заворожённое лампадой —
Гнездом из нитей серебра,
Сквозистей гагачья пера…

И совершенное таинство даже в пошиве одежды… Клюев исподволь усмехается, вспоминая пушкинского Онегина, что был «как Dandy лондонский одет», перемигивается с Пушкиным, иронизирующим над нарядом своего героя:

Конечно б, это было смело,
Описывать моё же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет…

Этому можно усмехнуться. Но в русском доме, исполненном *таин,* всё подчинено чувству родного, кровного, запазушного, всё свершается с мыслью избавления «от лиха и зла».

Плясала у тётушки Анны
По плису игла неустанно
Вприсядку и дыбом ушко, —
Порты сотворить не легко!
Колешки, глухое гузёнце,
Для пуговки совье оконце,
Карман, где от волчьих погонь
Укроется сахарный конь.
……
Я помню зипун и сапожки
Весёлой сафьянной гармошкой,
Шушукался с ними зипун:
«Вас делал в избушке колдун…»
……
Шептали в ответ сапожки:
«Тебя привезли рыбаки
И звали аглицким сукном,
Опосле ты стал зипуном!..»

И, естественно, над обновкой из заморского сукна необходимо провести магический обряд ради изгнания чуждого духа.

…И тётушка Анна отрез
Снесла под куриный навес,
Чтоб петел обновку опел,
Где дух некрещёный сидел.
Потом завернули в тебя
Ковчежец с мощами, любя,
Крестом повязали тесьму —
Повывесть заморскую тьму,
И семь безутешных недель
Ларец был тебе колыбель,
Пока кипарис и тимьян
На гостя, что за морем ткан,
Не пролили мира ковши,
Чтоб не был зипун без души!..

Этот чудодейственный мир обречён исчезнуть с лица земли — и слишком много тому примет, пророчащих неизбежный конец… «Ах, заколот вещий лебедь / на обед вороньей стае, / и хвостом ослиным в небе / дьявол звёзды выметает…»; «Пожрали сусального волки, оконце разбито в осколки…»; «Увы! Наговорный зипун похитил косматый колдун!..» И путь матери Прасковьи к подружке-Арише предстаёт во сне сущим кошмаром: «Везёт не дядя Евстигней / в собольей шубоньке Парашу — / стада ночных нетопырей запряжены в кибитку нашу…»

Русь в поэме — «Последняя Русь» — поле битвы сил неземных, сил божественных с силами дьявольскими: «Не жжёт ли гада свет-Егорий / Огнём двоперстного креста?!» То ли во сне, то ли наяву Параша после недели гощения отправляется к отцу Нафанаилу — «беглецу из Соловков» (здесь и воспоминания Клюева о собственном бегстве в ранней юности!). И входит к нему уже иной — словно некогда духовная дочь неистового Аввакума приходит на беседу к своему духовному отцу («И как Морозова Федосья, / оправя мокрые волосья, / она свой тельник золотой, / не чуя, что руда сгорает, / над зверем, над ощерой тьмой / рукою трезвой поднимает / и трижды грозно осеняет!..»). И слышит страшное пророчество:

Пройдут года,
Вы вспомните мои заветы, —
Руси погаснут самоцветы!
Уже дочитаны все свитки.
Златые роспиты напитки.
И у святых корсунских врат
Топор острит свирепый кат!..

В царьградской шапке Мономаха
Гнездится ворон — вестник страха…

Кажется, что пророчество прямо относится к тем годам, когда Клюев писал свою поэму. Но ещё в большей степени это пророчество можно отнести к более позднему времени, когда расточено было не только царское, но и советское наследие, о чём поэт далее будет пророчествовать в «Песни» уже от своего имени.

Судьба не одной России в этом предсказании, но судьба её певца, сына Прасковьи.

…До сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживёт
В последний раз пригубить мёд
От сладких пасек Византии!..
Прощайте, детушки! Благие
Вам уготованы сады
За чистоту и за труды!..

Во снах перед Прасковьей проходит вся история Руси с дохристианских времён… «Цветут сарматские озёра гусиной празеленью, синью…» Видение переносит её через тысячелетие — и вот её.

В простой ладье, рекой напевной,
В полесья северной земли
От Цареграда привезли.
Она Палеолог София,
Зовут Москвой её удел,
Супруг на яхонты драгие
Иваном Третьим править сел…

Эпоха Ивана III была для Клюева одной из самых дорогих в истории России — ещё в «Ленине» он сравнивал с ней эпоху революционного вихря («То чёрной неволи басму попрала стопа Иоанна…»)… И насколько же он психологически точен! Матушка не в силах выдержать этих сновидений — особенно когда после царского терема «снится Паше гроб убранный»… Чрезвычайно важно здесь для Клюева и то, что «Арина с тёткой Василистой» для отчитки её — староверки — приглашают лопарского шамана («Он тёмной древности посланец, по яру — леший, в речке — сом»), и то, что Егорий указывает путь стародавнему киту из тех,

на которых держится испокон веку земля и который отождествлён с поморским домом, — на Восток, «где Брама спит», — подальше от тлетворного Запада, от которого лишь распад и нестроение на Руси… Запад же уничтожит Русь Святую изнутри, войдя в неё через напророченного Нафанаилом «родимого сына» — и оттого «печаль у старого кита клубится дымом изо рта»…

И саму Прасковью грех не минул. Влеклась к «Федюше, сыну Калистрата», а отдалась старому вдовцу, отцу «Аринушки-подружки»… И тут в Парашином сне — смертном уже сне — происходит нечто поразительное.

Отправилась в новое путешествие — на Царьград, да в Индию… Да оказалась посреди зимних сугробов в чаще, где возжелал её «Топтыгин, бегун с дремучей Выги»… И здесь сюжет взят непосредственно из жизни.

Уже в 1925 году в Олонецкой губернии в одну из деревень повадился медведь, нападавший на скот. Старики деревенские, памятуя старые «свычаи да обычаи», надоумили, как справиться с бедой. Медведю надо было отдать самую красивую девушку. Выбрали, нарядили невестой, привязали к дереву у медвежьей норы. «Не осуди, Настюшка. Ублажай медведюшек. Заступись за нас, кормилица, не дай лютой смертью изойти».

Неведомо, что стало с Настенькой (знаковое для Клюева имя!), только историю он эту знал. Как знал и то, что сплошь и радом медведи нападали на девушек в период менструации… Культ медведя на Севере давний, и невозможно не заметить, как Клюев по возможности избегает при описании сцены нападения на Парашу назвать медведя даже этим, придуманным («мёд ведающий») именем. «Топтыгин» — оно спокойнее, как привыкли называть «прародителя человеческого» на Севере, где предпочитали также говорить «он» или «хозяин».

А в Парашином сне… Но прежде — о другом источнике, литературном. О том же пушкинском «Евгении Онегине».

Здесь, я думаю, уже каждый читавший вспомнит сон Татьяны.

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видя никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой взъерошенный медведь;
Татьяна ах, а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь

Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? Медведь за ней.

Даже пейзаж, даже погодные условия схожи у поэтов. «Страшат беглянку дебри, / уж солнышко на кедре / прядёт у векш хвосты, / проснулся пень зобатый. / Присесть бы… Пар от плата / и снег залез в коты…» (Клюев). «Пред ними лес; недвижны сосны / в своей нахмуренной красе / отягчены их ветви все / клоками снега; сквозь вершины / осин, берёз и лип нагих / сияет луч светил ночных; / дороги нет; кусты, стремнины / метелью все занесены, / глубоко в снег погружены…» (Пушкин). Но пушкинский медведь берёт в лапы «бесчувственно-покорную» Татьяну и несёт её в «шалаш убогий» к своему куму — на бесовский шабаш. А кум не кто иной, как Онегин, усмиряющий одним словом «моё!» сборище «адских привидений» и убивающий Ленского в этом же тяжёлом Татьянином сне — перед тем, как убить его наяву.

В Парашином сне Фёдор, сын Калистрата, вступает в бой с медведем, убивает супротивника, спасая любимую, и погибает сам. Перед смертью успевает услышать от Прасковьи: «Коль сердце не остыло, — Христос венчает нас!» Последняя радость в земной жизни — обещание венчанным встречи в мире ином, чтобы уже не расставаться. Крепкая вера героя клюевского — и безверие героя пушкинского.

Два типа человеческих, две разные природы, два противуположных отношения к миру и к людям.

На этом диалог с Пушкиным не заканчивается. Клюев, с оглядкой на предшественника, вспоминающего мгновения явления Музы, сам пишет свою поэтическую родословную. «В те дни, когда в садах Лицея / я безмятежно расцветал, / читал охотно Апулея, / а Цицерона не читал, / в те дни, в таинственных долинах / весной при кликах лебединых, / близ вод, сиявших в тишине, / являться Муза стала мне…» Это — Пушкин, чья муза пела «и славу нашей старины, и сердца трепетные сны»… А это — Клюев, говорящий одновременно с великой тенью и с нерадивыми, и неразумными современниками, уже замуровавшими его в «исконно-посконную» старину, отбросившими его в далёкое прошлое, приговорившими к смерти при жизни, ибо ему якобы «нечем жить»:

Мои стихи не от перины
И не от прели самоварной

С грошовой выкладкой базарной,
А от видения Мемфиса
И золотого кипариса,
Чьи ветви пестуют созвездья, —
В самосожженческом уезде
Глядятся звёзды в Светлояр, —
От них мой сон и певчий дар!

Он пишет свою «энциклопедию русской жизни» — и в этой «энциклопедии» определяющее место принадлежит его родословной, в которой смещаются временные пласты, сжимается время, и вся история Руси словно проходит в спрессованные высшей волей сроки на его глазах.

Избу рубили в шестисотом.
Когда по дебрям и болотам
Бродила лютая Литва
И, словно селезня сова,
Терзала русские погосты.
В краю, где на царёвы вёрсты
Ещё не мерена земля,
По ранне-синим половодьям,
К семужьим плёсам и угодьям
Пристала крытая ладья.
И вышел воин-исполин
На материк в шеломе клювом,
И лопь прозвала гостя Клюев —
Чудесной шапке на помин!
Вот от кого мой род и корень…

Действие отнесено к 1600 году, но само явление исполина скорее говорит о пришествии варяга — их Клюев вслед за Ломоносовым безусловно относил к славянам. Ломоносовскую «Древнюю российскую историю от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года» он знал великолепно и не раз погружался в это удивительное повествование русского академика.

«Что ж вышепоказанные пруссы были с варягами-россами одноплеменны, из следующих явствует… Снесение домашних наших летописцев подаёт уже повод думать о единоплеменстве сих двух народов, именем мало между собой разнящихся. Нестор предал на память, что Рурик призван на владение к славянам из варягов-россов. Новгородский летописец производит его от

пруссов, в чём многие степенные книги согласуются… То ж подтверждает древнее тесное прусское соседство с Россиею, в которой Подляхия и великая часть Литвы заключалась, от чего и поныне Литва древние российские законы содержит. Восточное плечо реки Немени, впадающее в Курский залив, называется Руса, которое имя, конечно, носит на себе по варягам-россам. Сие всё ещё подкрепляется обычаями древних пруссов, коими сходствуют с варягами, призванными к нам на владение…»

Клюев хорошо знал Освальда Шпенглера, писавшего о тождественности мироощущения франков времён Меровингов и русских до эпохи раскола. Он верил в древнейшее и необычное происхождение своего рода и чётко обозначил его в «Песни о Великой Матери». Мать, Великая Мать-прародительница, Прасковья — Параскева-Пятница — Мать-Сыра земля созывает Великий Собор накануне роковых времён, ибо

Болеет мать-земля сырая,
И от Норвеги до Китая
Железный демон тризну правит —
К дувану адскому, не к славе,
Ведут Петровские пути!
В церковной мертвенной груди
Гнездится змей девятиглавый…

(Это — и опосредованная отсылка к шабашу, в центре и во главе которого — пушкинский герой, порождение Петровской эпохи.)

А на Собор собираются отовсюду — с Алтая и с Афона, от буддистов и суфиев, от христов и скопцов… Все духовные сокровища, собранные на путях земных самим Николаем, сосредоточивает поэт в «свитках» своей Великой Матери… И собирается Собор — под землёй.

В подземной горнице, как в чаше,
Незримым опахалом машет
И улыбается слюда —
Окаменелая вода.
Со стен, где олова прослои,
И скопы золота, как рои,
По ульям кварца залегли, —
То груди Матери-земли
Удоем вспенили родник.
Недаром керженский мужик,
Поморец и бегун от Оби

Так величавы в бедном гробе.

Множество сказаний о подземных жителях ходило среди насельников Русского Севера… Ещё Нестор-летописец в Начальной летописи воспроизвёл рассказ безымянного новгородца о диве дивном на Печоре: «Дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это ещё три года назад; есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них как до неба, и в горах тех стоит клик великий и говор, и секут гору, стремясь высечься из неё; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но показывают на железо и машут руками, прося железа; и если кто даст им нож ли или секиру, они взамен дают меха. Путь же до тех гор непроходим из-за пропастей, снега и леса, потому и не всегда доходим до них; идёт он и дальше на север».

«Денисов Крест с Вороньим Бором стоят, как воины дозором, где тропы сходятся узлом…» Здесь, в сакральном месте пересечения земных путей и перепутий, куда нет доступа обычному человеку, в подземном укрывище и собирается «Собор пресветлый» — и слышит страшные пророчества от Макария — лесного Христа, суфия-Абаза и вещей птицы Гамаюна.

К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!
……
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной —
Истёк бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!

Слышал сам Клюев этот вещий голос, пророчащий о том, что будет с Русью через несколько десятков лет и далее… Открыты ему были и обмеление Арала, и Чернобыльская катастрофа, и ядерный реактор в Сарове, и природный катаклизм грядущий — таяние северных льдов… Ад надвигается на Святую Русь, которая, покидая землю, «отходит к славам, к заливам светлым и купавам под мирликийский омофор», в ожидании урочного часа возвращения по велению Божественному… Всё это пришло к нему

в вещем сне, подобному снам его матери. Открылась тайна, к разгадке которой он шёл всю свою жизнь.

Так я лишь в сорок страдных лет
Даю за родину ответ,
Что распознал её ракиты
И месяц, ложкою изрытый,
Пирог румяный на отжинки —
Месопотамии поминки,
И что сады Александрии
Цвели предчувствием России!

Египетская Кибела — Мать богов — ассоциировалась с Землёй. Клюевская Великая Мать — и Мать-Земля, и Мать-Мироздание. Глубинная духовная связь древнейших цивилизаций на корневом уровне держится по сей день.

Сам Николай навещает в путешествии на грани сна и яви схимонаха Савватия и дядюшку-самосожженца Кондрата — и слышит от Савватия новое пророчество, скорее уже о наших нынешних днях, нежели о тех днях, когда создавалась поэма.

…Я вижу белую Москву
Простоволосою гулёной,
Её малиновые звоны
Родят чудовищ наяву,
И чудотворные иконы
Не опаляют татарву…

Давно было сказано: «Храмов много будет, да молиться в них нельзя будет…» И «простоволосая гулёна» — «хошь — верь, хошь — не верь» — не в силах справиться с «татарвой», заполоняющей древнюю столицу… Бес овладел святой некогда Русью — и святость ушла, и замерла Русь в ожидании своего спасения.

А спасение — будет. Даром что

…Безбожие свиной хребет
О звёзды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведёт.
Никола наг, Егорий пеший
Стоят у китежских ворот!

Более совершенного воплощения в поэтическом слове русской трагедии не было, и это воплощение передано в абсолютной простоте слова, слышанного Клюевым и вложенного им в уста Савватия. Западное иго, сродни прежнему татарскому, надвинулось на Русь — но победа ещё впереди.

…В шатре Батыя мёртвый витязь.
Дремуч и скорбен бор ресниц,
Не счесть ударов от сулиц,
От копий на рязанской свите,
Но дивен Спас! Змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!

Это уже прямое обращение к «Медному всаднику». К герою пушкинской поэмы, к тому, кого Клюев назвал ещё в 1919-м «барсом диким». К тому, при виде которого бедный Евгений испытал самый настоящий ужас.

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая сила в нём сокрыта!
……
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Над бездной… принеся ей спасение железной уздой? Нет, Клюев не может с этим согласиться. Потому что ужас остаётся ужасом. Перемена участи остаётся переменой участи. Пётр продолжил дело своего отца, усугубил его, повернув Россию на неестественный для него путь. И этот поворот сопровождался массовым человекоубийством.

А самое главное то, что Пушкин назвал своим именем.

…И обращён к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущённою Невою,
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Кумир… А ведь заповедь Христова — «не сотвори себе кумира»…

Егорий — не кумир. Он святой. И ему, сошедшему с иконы, Господом предназначено занять место свергнутого кумира и попрать змею.

Клюев сам пережил это в Петрограде 23 сентября 1924 года, когда на город сто лет спустя обрушилось второе по силе за всю его историю наводнение, когда вырвало с корнем множество деревьев в Летнем саду — «приюте Эрота»… Уже тогда, видимо, в его воображении вставал Егорий на каменном постаменте вместо Петра.

И воочию встаёт единственное русское пристанище, русская краса посреди петровского создания — Санкт-Питерхбурга — пред нашими глазами в третьей части («третьем гнезде» по-клюевски) поэмы, где Клюев со своим «богоданным вещим братцем» Есениным оказывается в Феодоровском соборе.

Я прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В Соловецкую белую Русь!

Бесполезно! «В Соловецкую белую Русь» не пустит вездесущий Григорий Распутин.

Он изображён в поэме так, что все бульварные карикатуры, все пошлые старые газетные статейки кажутся ничтожным мусором перед этой зловещей, притягательной в своём духовном зле фигурой, выписанной клюевским пером. Психолог и маг, поэт в злобных и ироничных характеристиках царя и царицы, нечистый, пляшущий с дьявольским отродьем — Бафометом (явно привнесённым в поэму из книги Нилуса «Близ есть при дверех»), он, в жизни «православный искони» (именно это слышит от него Клюев), творит чёрную обедню на глазах потрясённого поэта.

И что рядом с подобной картиной сочинительство Арона Симановича, изображавшего Распутина игрушкой в руках еврейских банкиров, позднейшие грубые карикатуры Валентина Пикуля и Элема Климова?

Куда ты скачешь, гордый конь?
И где опустишь ты копыта?

Копыта коня замерли в воздухе, а на стогнах Петербурга

стучат копыта омерзительного козла, кружащегося в дикой пляске с Распутиным.

И такую нечисть действительно грех не стереть с лица земли.

Видение дымящегося, сожжённого Распутина сопровождается видением покойников, съеденных раками да налимами (отсылка к пушкинскому «Утопленнику»), выходцев с того света… Последняя просьба Распутина — разбить мидийским крестом ледяную тюрьму — исполнена, даром что Григорий так и остался для Клюева «козлозадом», что «прободал живую печень России»…

Таков финал деяния Петрова… Таков финал диалога с Пушкиным. И в последней, неоконченной части снова возникает Настенька, Аринушкина дочка, любимая клюевская героиня, явление которой — знак Воскресения Святой Руси…

Впервые в литературе, не только в русской, но вообще в мировой литературе была явлена философия «людей от земли». Народ, самостоятельно создавший стройную систему знаний, идей, представлений о природе и мире и месте человека в нём, о своём предназначении и связи жизни отдельного человека со всем мироустройством, о взаимосвязи жизни людей с жизнью Мирового Космоса. Жизнь героев поэмы вплетена в жизнь всего мироздания и строится по непреложным законам. Народ осмысливает свою жизнь, смысл своего бытия по самым высоким критериям, при этом непременно стараясь им соответствовать. Он осознаёт всё сущее, сообразуясь со своим представлением о высшем смысле человеческой жизни. Герои поэмы живут и действуют в повседневности в соответствии с высшими духовными ценностями, заповеданными Богом, являя самоотверженность, великодушие, любовь к сущему в каждом своём поступке.

Бог есть Любовь. И любовью дышит каждое их слово, ею отмечен каждый их жест. Любовью к родным — близким и дальним, к природе, земле, небу — любовью ко всему миру и к его Творцу.

Клюев явил стройную прекрасную систему идей и ценностей, знаний о природе и мироздании, разработанную самим народом, показал, что народ, создавший свою философию, живёт в строгом соответствии с ней. Люди-труженики согласуют свою жизнь во всех её проявлениях (от строительства храма до пошива одежды) с открытыми ими закономерностями Божественного устройства Вселенной и Земли как её части.

Даже в гениальной «Песни о Гайавате» Лонгфелло сосредоточил своё внимание на описании культуры и быта героев, а не на том, как они осмысливают своё предназначение. Даже Пушкин в том же «Евгении Онегине» не попытался передать

философии блестяще описанного им дворянского общества, высшего света.

Клюев открыл глаза миру на то, что народ способен не только создавать материальную и духовную культуру, но самостоятельно осмыслить своё бытиё и мироздание в целом, сформировать своё отношение к любому объекту или субъекту природы и общества. И народная философия — философия более высокого порядка, чем философские доктрины специалистов, ибо она абсолютно жизненна и сопряжена с глубинными процессами Духа и Космоса.

«То, для чего я родился». Эти слова Клюева передал мне Анатолий Яр-Кравченко, когда говорил о «Песни». Неудивительно, что Николай горько печалился впоследствии от сознания того, что не имеет возможности завершить главный труд своей жизни.

* * *

«Песнь о Великой Матери» Клюев писал на протяжении двух лет и в вятской деревне Потрепухино, и в Сочи, куда выезжал в дом отдыха по путёвке Литфонда, будучи уже признанным инвалидом второй группы. Время работы над поэмой совпало с началом новой революции — революции в русской деревне.

Революция эта называлась коллективизацией. И как всякая революция — она включала в себя разнонаправленные потоки, проявления воли государственной власти, воли неуправляемой стихии и дикой кровавой самодеятельности на отдельно взятых участках.

Цель была вполне благородная: выйти из «хлебного кризиса», многократно описанного — «передышка» в виде нэпа уже никак не могла соответствовать новым условиям, страна фактически переходила на военное положение, с 1927-го каждый год ждали начала военных действий. Вовлечь в нормальную жизнь большинство «экономически неэффективных» крестьян — в том состоянии, в каком находилось сельское хозяйство, «экономически эффективными» в деревне могли быть лишь немногие, преимущественно пользовавшиеся наёмным трудом. Наконец, сломать сложившуюся систему социального расслоения в деревне.

В ноябре 1929 года пленум ЦК ВКП(б) объявил о «грядущей ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации». Важно подчеркнуть — «как класса». Никто не объявлял поначалу, что кулаков будут ликвидировать, как людей.

Была образована комиссия политбюро ЦК ВКП(б) под

руководством наркома земледелия (ничего в нём не смыслившего) Я. А. Яковлева (Эпштейна). В неё вошли секретари партийных организаций разных крайкомов: А. Андреев, М. Хатаевич (объяснявший в 1933 году: «Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но мы выиграли»), Б. Шеболдаев, Ф. Голощёкин, И. Варейкис, К. Бауман, а также генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины С. Косиор. Это и были подлинные «герои» начинающейся революции. К началу Великой Отечественной из них остался в живых и на свободе лишь один — А. Андреев. Все остальные получили своё, заработанное по справедливости.

Восемнадцатого декабря комиссия утвердила проект о раскулачивании. 5 января 1930 года политбюро утвердило проект постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», а 30 января того же года было принято постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районе сплошной коллективизации».

Даже если учесть все привходящие обстоятельства и насущную жизненную необходимость создания колхозов, всё преимущество которых быстро поняла не только крестьянская беднота, но и многие середняки — темпы происходящего поначалу кажутся совершенно дикими. Однако они перестают такими казаться, если вспомнить о крахе Нью-Йоркской биржи и начале Великой депрессии. Кризис, охвативший весь западный мир, представился мощным трамплином для индустриализации в стране с полностью национализированной промышленностью и плановой экономикой.

Так оно в конце концов и получилось. Мощнейший рывок произошёл. Только это не тот случай, когда победителей не судят. Уже 2 марта в «Правде» появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», а 14 марта ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе с искривлениями линии партии в колхозном движении», в котором, в частности, говорилось: «Если бы не были тогда немедленно приняты меры против искривлений партлинии, мы имели бы теперь широкую волну повстанческих крестьянских выступлений, добрая половина наших „низовых“ работников была бы перебита крестьянами, был бы сорван сев, было бы подорвано колхозное строительство и было бы поставлено под угрозу наше внутреннее и внешнее положение».

Крестьянские выступления всё же были — и весьма обильные. Их и не могло не быть, если учесть, что и начальники, и исполнители (вплоть до самых рядовых) были людьми, омытыми кровью Гражданской войны, и толком ничего не смысля в

порученном деле, других способов исполнения, кроме насилия, попросту не знали. А если ещё учесть, что многие из них на зоологическом уровне ненавидели русского крестьянина и Русскую православную церковь…

Только в Сибири — вотчине Роберта Эйхе — с января по март 1930 года было 65 крестьянских вооружённых выступлений. В Средне-Волжском крае, где командовал Мендель Хатаевич — 718. В Центрально-Чернозёмной области (там распоряжался Иосиф Варейкис) — 1170.

Слишком много накопилось всего в деревне не только даже с дореволюционных времён — со второй половины XIX века, с момента отмены крепостного права. Узлы, которые пытался развязать (скорее, разрубить вопреки воле большинства крестьян) Столыпин, закручивались ещё больше, и на «развязку» не оставалось ни времени, ни возможностей. Раскулачивание оттягивали до последнего момента, до получения известий о крахе Нью-Йоркской биржи.

Тут-то и «подхлестнули коней»… Деревня уже была на грани взрыва — а единственная возможность вписать её в общую программу индустриального прорыва, не создавая колхозов, оставалась одна: создание помещичьих (уже из новых «помещиков») латифундий.

И это была бы такая бочка бензина в разгорающееся пламя, что только-только затихнувшая Гражданская чем-то не слишком серьёзным бы показалась… И теми же революционными методами, с теми же людьми, не отвыкшими от запаха человеческой крови, начали коллективизировать русскую деревню.

Для Клюева, Клычкова, их друзей и соратников всё происходящее стало страшным потрясением.

В 1992 году в печать проникли выдержки из «Агентурного дела», заведённого на Сергея Антоновича Клычкова. Кое-какие документы публиковали под псевдонимами в новую эпоху всеобщего развала некоторые бывшие работники Комитета государственной безопасности, пользуясь наступившей смутой. Этими документами мы и пользуемся ныне при описании событий тех далёких времён.

Возле Клычкова вертелись агенты с кличками «Шмель» и «Михайлов». Они-то и осведомляли своё начальство о том, что Клычков «пьянствует и ведёт себя неприлично в Доме писателей, говорит, что крестьянское движение идёт по неверному пути. Крестьяне при таком положении станут вскоре волками. Кажется, эта коллективизация разразится большой бедой…».

«Клычков расшифровал так „КВЖД“ — „Куда ветер

жидовский дует“. Другой анекдот о том, как один гражданин спрашивает другого: „Почему ныне наступила поздно зима?“, а тот отвечает: „Потому, что крестьянин не торжествует“».

«…Клычков, будучи пьяным, в столовой Дома писателя кричал: „Долой советскую власть“… Клычков на другой день после опубликования в печати статьи Сталина „Головокружение от успехов“ в столовой Дома писателя снова громил большевиков. Правда, Клычков был пьян, но он говорил так искренне и убеждённо, что было видно — он выражает свою истинную, неприкрашенную сущность. Клюев громогласно кричал, что „этот азиат — болван и он русских обмануть не сможет. Не купить ему больше крестьян лживыми и подлыми своими статейками. Никто уже ему не поверит“. Клычков также утверждал, что колхозное строительство является основным злом, которое ведёт страну к обнищанию и разорению…»

«Оперативные материалы» доставлялись не только гэпэушному начальству. С ними, бесспорно, знакомилось и начальство высшее.

Уже в 1978 году престарелый Вячеслав Михайлович Молотов, требовавший беспощадно бить по кулаку, отвечал на вопросы Феликса Чуева о тех трагических днях.

«Деревня сразу поднялась к коллективизации. Начался бурный процесс, какого мы и не предполагали. Получилось гораздо лучше, удачнее. Что касается раскулачивания, то в постановлении ЦК 5 января 1930 года отмечалось, где, в каких областях проводить коллективизацию, но, конечно, перегибы были, и немалые, и Сталин об этом говорил…

Я понимал крестьянских писателей: им жаль мужика. Но что поделаешь? Без жертв тут было не обойтись. Говорят, что Ленин бы не стал так поступать. Ленин в таких делах был посуровее Сталина. Многие говорят, что Ленин бы сам пересмотрел свои положения о диктатуре пролетариата, что он не был догматиком и т. п. Это им очень так хотелось бы, чтоб он пересмотрел…»

…Клюев готовился к переезду в Москву. В Ленинграде ему было делать уже нечего. Дни эти он при каждом удобном случае проводил с Анатолием.

«День и ночь заботливо пестует меня Клюев. Ни раскрыться, ни даже подумать ни о чём нельзя, чтоб он не предупредил меня своей тёплой заботой. Светлый мой друг. Я люблю его несказанно. Говорим с ним много. Он читает свои стихи из „Песнослова“. Поёт былины. Говорит о покаянии. О вере. Выводим вместе, что вера — это любовь…

Раз он поёт былину. Плачет и говорит:

— Русскому человеку всегда хорошо поплакать.

Встал как-то и, подняв веки, воспалённые слезами, промолвил:

— Тяжелы ступени чужих лестниц. Знаешь, хочется свой угол наладить» (из записок Анатолия Яра).

В Москву, где наладит Николай своё последнее вольное жильё, он переедет, обменяв питерскую площадь, в начале апреля 1932 года.

Глава 31
«…ВСЁ, КАК СКАЗКА, НА ГРАНАТНОМ…»

В 1930 году нищий Клюев хлопочет о персональной пенсии. Весной 1931 года на заседании рабочего президиума правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей составляется протокол со следующим заключением: «Учитывая литературные заслуги Н. А. Клюева как крупного художника слова, признать возможность возобновления ходатайства, несмотря на его антиобщественные тенденции, которые усматриваются в некоторых произведениях Клюева».

А в июле 1931 года на заседании комиссии по перерегистрации Союза Клюеву было предложено представить в Союз «развёрнутую критику своего творчества и общественного поведения». Слишком были очевидны последствия дальнейшего разбирательства «развёрнутой самокритики», и Клюев, приступивший к написанию соответствующего заявления, ни словом не обмолвился о написанной, так и не пристроенной в печать и читаемой на домашних чтениях «Погорельщине». Он сосредоточился на том, о чём знала вся литературная общественность — на публикации «Деревни» и последующей травле поэмы. Поначалу в выражениях он не стеснялся: «Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной занесённой снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему же русский берестяный Сирин должен быть ощипан и казнён за свои многопёстрые колдовские свирели — только лишь потому, что серые, с невоспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно рассуждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз? Я принимаю и маузер, и пулемёт, если они служат славе Сирина — искусства…»

Уже сам по себе этот пассаж (да ещё и с прозрачным намёком на недавно покончившего с собой Маяковского — «Ваше слово, товарищ маузер!»), надо думать, привёл в бешенство членов комиссии. 16 января 1932 года состоялось очередное заседание, на котором отказали в перерегистрации бывшим 33 членам Союза писателей, подтвердили исключение из Союза ещё 10 литераторов, а специальная формулировка, касающаяся Клюева, отличалась особой жёсткостью: «ПОСТАНОВИЛИ: исключить из Союза Клюева Н. — как абсолютно чуждого по своим идейно-творческим установкам Советской литературе — писателя».

Двадцатого января Клюев послал в правление новый вариант своего «Заявления». Собственно говоря, он не был особо новым — лишь слегка подредактированным. Но процитированные строки были убраны, а маузер (тут уж некстати вспомнится — «хрен редьки не слаще»!) был заменён на «финку»: «…справедливо ли будет взять на финку берестяного Сирина Скифии, единственная вина которого — его многопёстрые колдовские свирели». В результате, по смыслу сказанного, оклеветавшие Клюева смотрятся уже не воинами с маузерами, а жиганами из подворотни с финками в руках. Читавшие этого смысла, судя по всему, не «просекли», отсутствие «товарища маузера» и слёзное объяснение Клюева, что его погружение на дно Ситных рынков не «общественное поведение», а «болезнь и нищета», стало возможным поводом после долгих споров вычеркнуть имя Клюева из «чёрного списка» и поставить напротив него «плюс» красными чернилами.

А само «Заявление» читается и как умная защита, и как тончайший анализ самой «Деревни», и как дивное стихотворение в прозе.

«…Последним моим стихотворением является поэма „Деревня“. Напечатана она в одном из виднейших журналов республики и, прошедшая сквозь чрезвычайно строгий разбор нескольких редакций, подала повод обвинить меня в реакционной проповеди и кулацких настроениях. Говорить об этом можно без конца, но я, признаваясь, что в данном произведении есть хорошо рассчитанная мною как художником туманность и преотдалённость образов, необходимых для порождения в читателе множества сопоставлений и предположений, чистосердечно заверяю, что поэма „Деревня“, не гремя победоносною медью, до последней глубины пронизана болью свирелей, рыдающих в русском красном ветре, в извечном вопле к солнцу наших нив и чернолесий. Свирели и жалкованья „Деревни“ сгущены мною сознательно и родились… из уверенности, что не только сплошное „ура“ может убеждать врагов трудового народа в его правде и праве, но и признание им своих величайших жертв и язв неисчислимых, претерпеваемых за спасение мирового тела трудящегося человечества от власти жёлтого дьявола — капитала. Так доблестный воин не стыдится своих ран и пробоин на щите, — его орлиные очи сквозь крови и желчь видят

На Дону вишнёвые хаты,
По Сибири лодки из кедра.

Разумеется, вишнёвые хаты и кедровые лодки выдвигаются мною не как абсолютная ценность и тем более не как проклятие благороднейшим явлениям цивилизации (радио, учение об электронах и т. п.).

Я двадцать пять лет в литературе, просвещённым и хорошо грамотным людям давно знаком мой облик как художника своих красок и в некотором роде туземной живописи. Это не бравое „так точно“ царских молодцов, не их казарменные формы, а образами живущие во мне заветы Александрии, Корсуня, Киева, Новгорода, от внуков Велесовых до Андрея Рублёва, от Даниила Заточника до Посошкова, Фета, Сурикова, Бородина, Врубеля и меньшого в шатре отца — Есенина… Я принимаю и финку, и пулемёт, если они служат Сирину-искусству, но, жестоко критикуя себя за устремление связать своё творчество с корнями мировой культуры, я тем не менее отдал свои искреннейшие песни революции (конечно, не поступаясь своеобразием красок и слова, чтобы не дать врагу повода обвинить меня в холопстве)…»

Клюев верен себе. Тональность, образность, весь пафос «Заявления» сродни тональности, образности, пафосу его вытегорских выступлений и статей. И никакой перемены в его искреннем приятии революции.

Той, *русской* революции, ради которой он вещал, проповедовал, рисковал жизнью.

А теперь… Теперь после очередной проработки лишь ускорял по возможности свой переезд в Москву.

— В Питере мне теперь ходу нету… Кулацкий поэт, что уж там…

Уже в 1931-м он постоянно наведывается в Москву, где жилищная проблема была одной из острейших. «В начале тридцатых годов, — вспоминал Евгений Габрилович, — почти все писатели (малые и великие) селились по коммунальным квартирам». Клюев был бы рад любому жилью, в то же время пытался по возможности обменять свою ленинградскую каморку на равноценную, относительно равноценную — тишина и покой, родная душа под боком были для него превыше всего остального.

Он квартирует по разным адресам, подолгу гостит у Надежды Христофоровой-Садомовой в её семье во 2-м Голутвинском переулке, подыскивает возможные варианты, договаривается с хозяевами — и обо всех своих хлопотах в самых нежных, чуть игривых и грустных одновременно выражениях сообщает Анатолию.

«Лосёнок мой — золотое копытце.

Что ты редко мычишь, видно, хорошо чувствуешь себя без старого сохатого оленя? Не заблудился ли в пихтовой чаще ты,

заплутал в буреломе, смотри, как бы не провалиться в берлогу — кругом медвежьи храпы, с опаской лыжи правь… Твой Старый Лось тяжко вздыхает — ото всех своих звериных печёнок — слышишь ли ты эти тяжкие мыки? Где ты, золотое копытце? В какой чаще ты плутаешь? Не попадись волку, а ещё злее — волчице!.. Всегда с тобой. В снах моих, в желаниях, во свете и во тьме. Исстрадался я без голубого лосёнка…»

«Всё ещё, несмотря на усилия, не обменялся. Много было предложений, но все неподходящие…»

«Дорогой друг, дитя моё светлое!

…После невыносимой трёпки, каждодневной езды из конца в конец, разговоров в холод и вьюгу, таскания по лестницам и всяким страшным фатерам — промыслом невидимым послана мне келья в самой лучшей части города — дом двухэтажный) с вековым садом в переулке, который весь из особняков и каждый в деревьях… Всё вместе — такая (по-моему) милая берлога, такое гнездо гагарье, тёплое, уединённое и какое-то пушистое… Тут же и Тверской бульвар, и лучшие кварталы города, но самые тихие и опрятные. Итак, свершилось то, чего ты пожелал и на что дал мне мысль…»

Николай, болезненный и нищий, чуть-чуть поправивший здоровье в Сочи, вырвался, наконец, из опостылевшего Ленинграда и в марте нашёл приемлемый вариант обмена. В начале апреля переехал в Москву, поселился в Гранатном переулке, в квартире 3 дома 12.

Кому бы сказку рассказать,
Как лось матёрый жил в подвале.
Ведь прописным ославят вралей,
Что есть в Москве тайга и гать,
Где кедры осыпают шишки —
Смолистые лешачьи пышки,
Заря полощет рушники
В дремотной заводи строки,
Что есть стихи — лосиный мык,
Гусиный перелётный крик,
Чернильница — раздолье совам,
Страницы с запахом ольховым,
И всё, как сказка, на Гранатном…

Сказка в конечном счёте оказалась совсем не весёлой.

* * *

Но поначалу многое складывалось довольно удачно.

Его навещают в новом жилище *избранные,* к общению с которыми он с самого начала пытался приохотить Яра, и горевал от того, что свои душевные и духовные силы его *лосёнок* сплошь и рядом тратит на случайных женщин («волчиц») и необязательных мужчин («волков»). Растрачивает то, что мог бы употребить в *дело*, в созидание совершенного творения. И ничего общего не имеют жалобы Клюева в письмах Анатолию на то, что связался тот с «химической завивкой» или ещё какой-нибудь «волчицей», с пошлой мужской ревностью. Это, скорее, материнская забота, та, которую проявлял в своё время Николай к Есенину — а тот частенько и понимать ничего не хотел. Теперь лишь одна мысль — не повторил бы Анатолий есенинскую судьбу. Слишком многие пытались объяснить их отношения — Клюева и Яра — что называется, *снизу*. И в первую очередь — родные. Особо отличался здесь отец Анатолия.

«Дорогой друг, — писал Николай. — 26 мая был чудный вечер в Москве, на дворе у нас цветут яблони, — два больших дуба в полном листу. В этот вечер пришли ко мне люди из Художественного театра — с ними артистка Обухова — в сарафане, в кисейных рукавах, в бусах старинных — всё для меня. — Я же очень был напряжён — чтобы сбыть этим людям картины Власова. Никифор Павлович среди чужих слов людей и совершенно для него немыслимых отношений слонялся как неприкаянный и всё собирался уходить — а я ему и говорю: „Прогуляйтесь или посидите под яблоней, там есть скамеечка“, — кажется, своему человеку можно было сказать так и сгладить неловкость — но к моему изумлению — Н<икифор> Павлович понял это по-своему — стал осыпать меня бранью. Назвал мерзавцем, льстивым царедворцем, и что такое общество, какое сидит за моим столом, для него не годится — потому что он честный человек. И что такие люди сделали из его сына, т. е. тебя, — подлеца и обманщика, а если у тебя и есть художественный талант, то этому ты обязан всецело и только отцу, а не такой сволочи, как гражданин Клюев, и т. п. …Я нисколько не обижаюсь на Н. П. и… ещё большей тревогой и жаром за твой житейский путь охватило всё моё существо. Как тебе должно быть тяжко всякий день и каждый час дышать вредной для тебя, как художника, средой, серым тупым мурьём! Острой жалостью пронзило моё сердце! Люди же у меня были редкие и достойные, без которых *нельзя поэту существовать*… Больше всего папа не доволен на то, что я совершенно спокоен, как будто я так глуп, чтобы не предусмотреть человеческого непониманья и психической недоношенности. Я ещё пять лет

назад говорил с тобой о том, что папы и мамы всегда недовольны, когда *помимо их* дети чем-то становятся — это род какой-то ревности и даже зависти… Твоё существо принадлежит не только своим по рождению, а и обществу, если не всему Миру, и тратить жар крови на такое серьё и на анализ человеческого непониманья слишком дорогая цена. Ты теперь сам как Бог-Фта, — иди своей дорогой, куда влечёт тебя свободный ум!..»

Последняя фраза — контаминация из строк Пушкина («Поэту») и Михаила Кузмина, в одной из «Александрийских песен» которого отец посылает сына в большой мир:

> Теперь ты сам, как бог Фта,
> и ты идёшь в широкий мир,
> и ты идёшь без меня,
> но Изида всегда с тобою.

Клюев знал, что Яру рано ещё идти в мир «без него», но главное здесь — подтверждение любви *старшего* и *родного,* любви отеческой, чистую струю которой не могут замутить никакие сплетни за спиной и ничьи пошлые подозрения.

«…Сочувствую тебе и соболезную каждой своей кровинкой, что замутили твою душу брехня и неизбежные сплетни прожжённых бульварных профессоров. Эти люди — отвратительные „тётки“ (говорю на их языке) чуют давно — твою чистоту и аромат нашей дружбы и давно охотятся за тобой… Будь спокоен, неколебим, верен и горд своей чистотой. Много раз… мы говорили с тобой об опасностях для нашей дружбы, особенно в разлуке, которая является самой удобной почвой для посева сорной травы — человеческой глупостью и ничтожеством!»

Клюев лишний раз напоминал, что «страшно встревожен, не столько за себя, сколько за твою душеньку ангельскую, мой Пайя белокрылый»… «Прожжённые бульварные профессора» порядком портили кровь своими двусмысленными намёками на их взаимоотношения — и отзвук подобных разговорчиков прозвучал через много лет, когда о Клюеве взялся вспоминать… Михаил Бахтин.

Поначалу он говорил В. Дувакину о том, как Клюев «крашеный и напомаженный» ему не понравился. (Ни «крашеным», ни «напомаженным» Клюев никогда не бывал.) Потом — «очень понравился», когда читал «прекраснейшие» стихи. И всё равно — продолжал упоминать и про «фальшь», и про «стилизацию», и про «враньё» (дескать, читал великолепно по-немецки, а сам «изображал из себя человека, который даже не может узнать, на каком языке напечатана эта книга»), Клюев же,

вероятно, увидев в молодом Бахтине «прожжённого профессора», и не стремился быть с ним откровенным… Бахтин, правда, почувствовал Клюева настоящего, почувствовал на мгновение («Он думал — что-то другое будет, но близкое больше вот к этой старой, исконной Руси, но не к тому интеллигентскому месиву, которым являлась современная жизнь для него»). Но это — много позже; а тогда, в конце 1920-х, в одной из публичных лекций он говорил о Клюеве, что «всё его московское, русское насквозь проникнуто заданиями символизма» (сказал бы он это самому Николаю!)… В беседе с Дувакиным оценил «замечательные сказки» поэта выше, чем его стихи. И, наконец, договорился до того, что стал пересказывать с чужих слов якобы слышанное от самого Клюева: «…ведь и господь наш Христос, ведь тоже был гомосексуалистом… Он был связан с апостолом Иоанном, своим любимым учеником, женственным человеком»…

Говорил это Бахтин, видимо, не зная или не помня Льва Карсавина, чей труд «О любви и браке» печатался в начале 1918 года в миролюбовском «Ежемесячном журнале» по соседству со стихотворением Клюева «Уму — Республика, а сердцу — Матерь-Русь…»: «Величайший образец самоотверженной любви дан нам во Христе. А ведь и Христос-Человек особенно нежно, более прочих любил Иоанна. Правда, апостол Павел предостерегал от любви к женщине, считал *„лучшим“* не отдавать замуж деву, но ведь любить можно и друга, и любить не менее, а, может, более и глубже, чем возлюбленную. У нас теперь выродился культ дружбы, культ возвышенной взаимной однополой любви. Под влиянием примеров искажения и извращения однополой любви мы забыли о любви Иисуса к Иоанну и подозрительно относимся к слишком тесной дружбе. Только за последнее время намечается несколько иная оценка таких фактов и начинают раскрывать всю плодотворность и — да простят мне это выражение — „социальную полезность“, общечеловеческое значение дружбы, ведомое божественному Платону…»

Не исключено, что Клюев в те годы встречался с Карсавиным — и карсавинский труд был плодом их *общих* размышлений. Бахтин же «понял» Клюева именно как пример «искажения и извращения» — как «понимали» и «понимают» его доныне многие и многие. Бахтин приписал ему неслыханное кощунство, добавив при этом, непритворно ужасаясь, что так говорил «выдающий себя за крестьянина, христианина, православного»… Дурную шутку подчас играет с умнейшими людьми увлечение «телесным низом» в литературных разборах.

Но послушаем дальше самого Клюева.

«…Мягко и тепло дышит сердце, мысленно опускаюсь как бы

по бесчисленным ступеням подземелья, в последний предел глубины его, смотрю — цело ли сокровище моё? Любовь моя, тяжёлая, как платина, дружба, груды чистейших сверкающих слёз… Всё нерушимо, ничто не потрачено и не расхищено. Это мой заповедник, мой заклятый клад. И в то же время не мой, а лишь тебе по какому-то таинственному избранию, единственному, — принадлежащий. Ты наследник души моей. Но страшно от вещей полноты, от осознания этого таинства. Моя молитва, чтобы ты хотя бы почувствовал кое-что из этой грозной, обручающей человека с вечностью, евхаристией!..»

Сможет ли Яр почувствовать это *кое-что* — вот страх и забота Клюева. Всего Анатолию не вынести, целиком груза клюевской души не принять — не выдержит душа молодая, уже устремившаяся в вихри света, уже обременившая себя случайными и необязательными знакомствами и связями, уже устремившаяся в поисках «истинной любви» и нашедшая её.

Клюев ни под каким видом не «ревнует» Яра к его избраннице, что стала потом (на краткий период) женой художника. Но слишком хорошо знает цену этой «любви» и отлично понимает — с кем его «лосёнок» связывает свою судьбу.

«…Прости меня, но я в своём уверен. И ничьих рецептов на этот случай слушать не хочу. Всю трепологию отвергаю. Как ты и предупреждал — я получил анонимное письмо от Воробьёвой (певица, избранница Яра-Кравченко. — *С. К.)*. Это гнусный, шитый белыми нитками донос на нашу дружбу и на тебя в особенности — на твою совесть и благородство. Письмо написано набело с черновика, и не без участия второго лица — это я остро чувствую. Ни малейшего волнения психического эфира в нём не наблюдается. Оно жалко и трафаретно-коварно, с предварительной лестью-подкупом мне *как поэту,* и с угрозой, что „законы революции и диалектики не на моей стороне“. Эта фраза наводит на размышление: в таком же звучании, смысле и скреплении я слышал её от следователя… Она уже стала классической и известна многим. Во всяком случае это не творчество влюблённой женщины…»

Всё более ощущая духовную и душевную перемену в Яре, слушая его упрёки, явно навеянные посторонними людьми, в частности, той же Воробьёвой (ночная кукушка всех перекукует!), Клюев идёт до конца, выговаривая Анатолию в письмах самое главное, не чураясь и последних откровений.

«…Ни одна минута, прожитая с тобой, *не была нетворческой.* Это давало мне полноту жизни и высшее счастье! Создавался какой-то таинственный стиль и времяпровождения, и речи, искусства и обихода. Ясно чувствую, что так было накануне Эпохи

Возрождения, когда дружба венчала великих художников и зажигала над их челом пламенный язык гения. В нашей дружбе я всегда ощущаю, быть может, и маленькое, но драгоценное зёрнышко чего-то подлинного и великого. Только из таких зёрен сквозь дикость и тьму столетий пробивались ростки Новой Культуры. Вот что теперь для меня стало ясно. А это не мало, это не пустяки! Особенно для нас с тобой как художников. На этой вершине человеческого чувства, подобно облакам, задевающим двуединый Арарат, *небесное клубится над дольним, земным.* И этот закон неизбежен. Только теперь, в крестные дни мои, он, как никогда, становится для меня ясно ощутимым. Вот почему вредно и ошибочно говорить тебе, что ты живёшь во мне *только как пол* и что с полом уходит любовь и разрушается дружба. Неотразимым доказательством того, что ангельская сторона твоего существа всегда заслоняла пол, — являются мои стихи, пролитые к ногам твоим. Оглянись на них — много ли там пола? Не связаны ли все чувствования этих необычайных и никогда неповторимых рун, — с тобой как с подснежником, чайкой или лучом, ставшими человеком-юношей?

А эти образы — есть сама чистота, сколько-нибудь доступная земному бренному слову. Только женское коварство как раз и черпает из мутных волн голого пола и свинской патологии противоположное и обратное понимание. Откуда оно у тебя? Конечно, от женского наития. *Нельзя, сидя верхом на бабе, говорить о тайне,* о том, что можно, и то приблизительно-символично, рассказать музыкой, поэзией — живописью или скульптурой. Только языком искусства — купленного подвигом, можно пояснить кое-что из тайны пола и ангела в дружбе. Так поступаю и я… Умозрение в красках, как и в подлинной поэзии, никогда не лжёт. Нужно только открыть глаза и очистить сердце, чтобы увидеть лучи тайны, величия дружбы и красоты…»

Стихи, о которых пишет Клюев, составили своеобразный цикл, точнее, лирическую поэму, которой он дал название «О чём шумят седые кедры», и посвятил её своему любимому другу. Читая её — понимаешь, насколько он был справедлив в своём увещевающем письме: чистота образов сродни здесь чистоте доличного письма древних икон, все признания в любви воплощены в природных символах: «Моя любовь — в полях капель, / сорокалетняя медвежья, / свежее пихт из Заонежья, / пьянее, чем косматый шмель…»; «Не пугайся листопада, / он не вестник гробовой! / У вдовца — глухого сада / есть завидная услада — / флейта-морок, луч лесной / за ресницей сизых хвой!..»; «Ты был, как росный ветерок / в лесной пороше, я же — кедр, / старинными рубцами щедр / и памятью — дуплом

ощерым, / где прах годов и дружбы мера!..»; «Без вёсен и цветов коснея, / скатилась долу голова, — / на языке плакун-трава, / в глазницах воск да росный ладан. / *Греховным миром не разгадан* (выделено мной. — *С. К.*), / я цепенел каменно-крыло / меж поцелуем и могилой / в разлуке с яблонною плотью…»; «Пусть на груди моей лилея / сплетётся с веткою сосновой, / как символ юности и слова, / и что берестяные глуби / по саван лебедя голубят…» Этот мотив, напоённый тончайшим эфиром мотив любви к ангельскому существу, к «подснежнику, чайке или лучу, ставшему человеком-юношей» — без малейшего намёка на противоестественный грех, — органически сплетается с мотивом любви — не «странной», а полнокровной, от всей души и от всего сердца — к России — «матери матёрой»: «Россия, матерь, ты ли? Ты ли? / Босые ноги, плат по бровь, / хрустальным лебедем из былей / твоя слеза, ковыль-любовь / плывут по вольной заводине…»; «О берега России, сказки, / без серой заячьей опаски, / что василёк забудет стог / за пылью будней и дорог!..»; «Мы повстречаемся в Китае / в тысячелетнюю весну, / сердец измерить глубину / цветистой сказкой о России, / где жили нежити и вии, / и зимний дед, рубя валежник, / влюбился пчёлкою в подснежник!..» И уже знакомый нам — на фоне «Погорельщины», «Каина», «Песни о Великой Матери» — мотив приятия новой жизни, связанный с образом молодого героя, отстоявшего эту жизнь в боях Гражданской войны. Юный художник перевоплощается здесь в юного красноармейца — сродни тем, кого Клюев пламенными словами провожал в бой на вытегорской площади: «Товарищ, вскормленный звездой / пятиочитой и пурпурной, / тебе моих напевов зурны, / лезгинка рифм под блеск кинжала!..»; «Ты уходил под Перекоп / с красногвардейскою винтовкой / и полудетскою сноровкой / в мои усы вплетал снега, / реки полярной берега, / с отчаяньем — медведем белым…» Благословение молодой жизни, напутствие от деда, что «отдал дедовским иконам / поклон до печени земной / и надломил утёсом шею…» — надломил в этой жизни, но останется в грядущей своими бессмертными заветами:

Волчицей северного Рема
Меня поэты назовут
За глаз несытый изумруд,
Что наглядеться не могли
В твои зрачки, где конопли,
Полынь и огневейный мак…

Эту поэму Клюев попытается опубликовать — и этот шаг

станет для него роковым. Удар в спину он получит от нового знакомого, с которым повстречается в Москве и который ошеломит и его самого, и всю литературную общественность своим буйным поэтическим даром и не менее буйным, поистине неуправляемым поведением.

* * *

Это был Павел Васильев, уже потрясший писательскую Москву своей великолепной «Песнью о гибели казачьего войска», уже отсидевший на Лубянке по «делу Сибирской бригады», когда Леонида Мартынова, Сергея Маркова, Николая Анова и Евгения Забелина отправили в ссылку, а Павла и ещё одного «подельника», Льва Черноморцева, выпустили через несколько месяцев, засчитав им в наказание отбытый срок. Павел по-казачьи, безоглядно, с абсолютной уверенностью право имеющего вломился — именно вломился — в литературную среду. Окружающие лишь ахали и качали головами. Кто-то восхищался, а кто-то затаивал нешуточную ненависть.

Иван Михайлович Гронский после смерти Вячеслава Полонского утвердился в кресле главного редактора «Нового мира» и «Красной нивы», оставаясь при этом ответственным секретарём «Известий ВЦИК». После апрельского постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», ознаменовавшего конец эпохи РАППа и примыкавших к нему литературных группировок, он был поставлен во главе оргкомитета Союза советских писателей, который должен был заняться подготовкой первого общеписательского съезда. Перетряска литературной жизни имела определённые последствия. Было провозглашено «бережное» отношение к писателям, рапповская дубинка была заменена кнутом и пряником, и даже бывшие рапповцы, сменив тон, заговорили о возможной «перестройке» своих бывших врагов.

Именно таким «перестраивателям» и «перестройщикам» Клюев, хорошо помня, как такие же «незабывчивые» отнеслись к нему в Ленинграде, адресовал своё новое творение — «Клеветникам искусства» с явной отсылкой к пушкинским «Клеветникам России»:

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,

Вы не дали и пригоршни овса
И не пускали в луг, где пьяная роса
Свежила б лебедю надломленные крылья.
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья
Не знали пытки вероломной, —
Пегасу русскому в каменоломне
Нетопыри вплетались в гриву
И пили кровь, как суховеи ниву,
Чтоб не цвела она золототканно
Утехой брачною республике желанной!

«Идите прочь, непосвящённые!» — явственно слышится голос из глубин тысячелетий. Непосвящённых не щадит Клюев в своём негодовании. Они для поэта — «гнусавые вороны», которые гордое революционное знамя застят «крылом нетопыря, крапивой полуслов, бурьяном междометий»… А их отношение к русскому слову едино с их отношением к русской жизни… Ненависть и конъюнктурные потуги — вот вся их суть. И порода эта невыводима. Благополучно дожила до наших дней.

Чтобы гумно, где Пушкин и Кольцов
С Есениным, в венке из васильков,
Бодягой поросло, унылым плауном
В разлуке с песногривым скакуном…

Классические строки — как адамантовы врата, вход в которые доступен лишь тем, кто готов преклониться перед бессмертным гением Пушкина и Кольцова (хоть и говорил когда-то в полемическом запале: «Вера Кольцова — не моя вера», но сейчас и он оказывается союзником в промыслительной битве с нетопырями)… И о современных поэтах, по высочайшему счёту им ценимых, облаиваемых на всех углах или глухо замалчиваемых, — Есенине, Ахматовой, Клычкове — Клюев пишет как о тех, чьё слово не пропадёт и не сгинет, ибо оно в родстве с русской и мировой классикой, сродни природе, — так же живо, как и глубина народного духа, их породившая, и ждёт своего осмысления.

И в этом же пантеоне бессмертных при жизни — Павел Васильев.

Полыни сноп, степное юдо,
Полуказак, полукентавр,
В чьей песне бранный гром литавр,

Багдадский шёлк и перлы грудой,
Васильев — омоль с Иртыша,
Он выбрал щуку и ерша
Себе в друзья, — на песню право,
Чтоб цвесть в поэзии купавой, —
Не с вами правнук Ермака!..

Прямо скажем, несколько опрометчивой получилась последняя строчка.

* * *

В текущую «перестроечную» вакханалию Клюев действительно не вписался. Но именно на 1932 год, последний год его высочайшего творческого взлёта, пришлась последняя прижизненная публикация. В это же время после долгого перерыва появляются на страницах «Литературной газеты» стихи Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, статьи Андрея Белого, Михаила Кузмина, Алексея Толстого… А Клюев печатается — в «Земле советской», главным редактором которого стал недавно старый друг — его и Есенина — член «Перевала» прозаик Иван Михайлович Касаткин.

Именно ему в журнал, на страницах которого весь год «великого перелома» (1929-й) выяснялось — кого же считать крестьянским писателем, и выяснялось, что ни Клюева, ни Клычкова «крестьянскими» считать нельзя, ибо не «крестьянские» они, а «кулацкие», — именно сюда принёс Клюев цикл «Стихи из колхоза», написанные в 1929 году, в год работы над «Каином».

Нет, невозможно уложить этого поэта в разлинеенную диаграмму. Невозможно дать однозначную характеристику ни одному из периодов его жизни. Казалось бы, работа над поэмой, проникнутой полным отрицанием современности, полностью исключает хотя частичное приятие чего-либо нового… Ан нет! «Стихи из колхоза» — это гимн колхозной жизни, поэтическое воплощение абсолютного счастья людей, воистину — рая земного.

Бреду соломенной деревней, —
Вон ком земли, седой и древний,
Читает вести про Китай.
«Здорово, дед!» — «Здорово, милай!..»
Не одолеет и могила
Золотогрудый каравай!

Порхает в строчках попугай,
И веет ветер Индостана, —
То львиная целится рана —
Твоя, мой серый Парагвай!

Сытость и счастье. И как примета этого счастья — реалии любимого Востока, органически вплетённые в словесную ткань великого преображения земли. «Какая молодость и статность! / Не уязвила бед превратность / пшенично-яростного льва!.. / По сытым избам комсомол — / малиной ландышевый дол / цветёт зазвонисто и сладко…»; «Там сегодня именины — / небывалые отжины, / океан калёных щей / ждёт прилёта лебедей! / И летят несметной силой / от соломенного Нила, / от ячменных островов / стаи праздничных снопов!..»

Вот уж впору заговорить о конъюнктуре, о сдаче позиций, о попытке любыми средствами «перестроиться», да и опубликоваться, наконец… Тем паче что на происходящее в деревне Клюев глаза не закрывал. И не только вслух говорил с ненавистью о творящемся насилии, но и стихи рождал соответствующие:

Вороном уселся, злобно сыт,
На ракиту ветер подорожный,
И мужик бездомный и безбожный
В пустополье матом голосит:
— Пропадай, моя телега, растакая бабка-мать!
Где же ты, невеста — павья стать,
В аравийских паволоках дева?
Старикам отжинки да посевы,
Глаз поречья и бород туман.
Нет по избам девушек-Светлан, —
Серый волк живой воды не сыщет.
Теремное светлое кладбище
Загляделось в мёртвый океан…

Это — 1929 год. И в тот же год — совсем иная песня.

Видел своими глазами Клюев только-только созданные колхозы, куда входили со своим хозяйством зажиточные мужики, видел, как преображалась жизнь, как распрямлялись спины не только у бедняков, но и у тех, кто всю жизнь жил единоличным небедным хозяйством, трудясь от зари до зари… Потом эти колхозы будут объявлены «лжеколхозами», расформированы — и начнётся дикая гонка в построении новых колхозов, со зверским

«раскулачиванием» без смысла и разбора, с выселением семей, со «встречными планами», приведшими к страшному голоду 1933-го… Но как же хотелось поверить в возрождение мужика на земле, на которую этот мужик не будет больше смотреть, как на Дагона, пьющего его кровь, и благословить молодое поколение, которое будет, будет ведь жить, наконец, счастливо на земле, кровью юных бойцов омытой…

«Стихи из колхоза» были напечатаны в одном номере с Васильевской поэмой «Лето», полной буйного цветения и поэтической мощи, поэмой, посвящённой Сергею Клычкову.

«Я помню, — вспоминал Сергей Островой, — как мы с ним (с Павлом Васильевым. — *С. К.)* ходили к Клюеву. К Николаю Клюеву!.. И когда мы пришли к Клюеву, а тот ютился в полуподвале, в комнате на полу лежали огромные церковные книги в деревянных и металлических окладах. И первое, что сказал Клюев, обняв Васильева: „Паша, ты ведь наш сокол!“ Это сказал Клюев, который, уж, слава богу, на своём веку повидал многое и многих…»

У Клычкова, который принимал в гостях Клюева, Мандельштама, тянущегося в этот свой «московский» период к «новокрестьянам», берущего у них мотивы, посвящавшего Клычкову стихи, уже обвиненного заодно со своими новыми приятелями в «великодержавном шовинизме», Васильев читал «Песнь о гибели казачьего войска» и лирические стихи. Как вспоминал Семён Липкин. Мандельштам отреагировал сразу: «Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся». А Клюев после паузы подошёл, обнял Васильева, крепко поцеловал: «После Есенина первая моя радость, как у Блока, — нечаянная».

Клычков заявил, услышав на этой встрече стихи Липкина, что «еврей не может быть русским поэтом. Немецким может, французским может, итальянским может, а русским — нет, не может…» — на что Клюев тут же среагировал:

— Проснись, Сергунька, рядом с тобой — Мондельштам.

Едва ли он читал в ростовской газете «Письмо о русской поэзии» «Мондельштама», где ему самому была дана точная и проницательная характеристика: «Клюев — пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нём уживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя»… Но при встречах Мандельштам, бесспорно, делился с ним своими впечатлениями о его поэзии именно в этом духе. Да и стихи, рождавшиеся у Осипа ещё в период встреч в общих компаниях с

Клюевым в Ленинграде, писались явно под впечатлением от бесед с Николаем (взять хотя бы «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…», написанное в 1931-м). И его высказывание о Васильеве не могло не прийтись по душе Николаю: *«Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся»*…

Положение Павла, по-хорошему говоря, в тогдашней литературной жизни было если не «хуже губернаторского», то близко к этому. «Огонек», «Литературная газета» и «Земля советская» печатали его стихи, и в то же время была запрещена публикация уже набранной книги стихотворений «Путь на Семиге», а «Песню о гибели казачьего войска» Гронский после совета В. В. Куйбышева изъял из почти всего отпечатанного тиража «Нового мира», причем уже через много лет объяснил своё отступничество следующим образом: «Появление в журнале поэмы Васильева одновременно с рассылкой протоколов его допросов могло привести к возможным кривотолкам. Учитывая это, а также то, что противники Оргкомитета ССП из лагеря „воинствующих“ рапповцев могли представить публикацию поэмы (в сущности, безобидное дело) как некое демонстративное выступление редакции „Нового мира“ против советских следственных органов, я, посоветовавшись с В. В. Куйбышевым и А. И. Стецким, решил изъять „Песню о гибели казачьего войска“ из номера». Показательно это опасение перед не сложившими оружия рапповцами и И. Гронского, и В. Куйбышева, и А. Стецкого.

Как было хорошо укрыться от всего этого в клюевской «келье», почувствовать ласковое прикосновение руки «дедушки», внять его мудрым речам, почитать свои новые стихи и послушать самого Клюева, приобщающего юношу к сокровенным тайнам поэтического слова:

Пусть дубняком стальной посев
Взойдет на милом пепелище, —
Лопарь забрел по голенище
В цимбалы, в лукоморья скрипки
Проселком от колдуньи-зыбки
Чрез горенку и дебри-няни,
Где заплутали спицы-лани,
Бодаясь с нитью ярче сказки!
Уже Есенина побаски
Измерены, как синь Оки,
Чья глубина по каблуки…

Это стихотворение Клюев посвятил Васильеву, как бы передавая ему волшебный поэтический посох, который, как думал старый поэт, не удержал в ладонях Есенин и который уже не под силу удержать ему самому, готовому погрузиться до поры до времени со своим песенным миром под воды времени, как Китеж-град в волны Светлояра.

Но кто там в росомашьей чуйке,
В закатном лисьем малахае,
Ковром зари, монистом бая,
Прикрыл кудрявого внучонка? —
Иртыш пелегает тигрёнка —
Васильева в полынном шёлке…
Ах, чур меня! Вода по холки!
Уже о печень плещет сом —
Скирда кувшинок — песен том! —
Далече — самоцветны глуби…

Да, он отдавал должное Васильеву как поэту, но всё больше и больше замечал за ним как за человеком сознательную неразборчивость в средствах достижения литературной славы и тем паче в знакомствах.

Идейно они также не сходились и сойтись не могли.

Так, однажды в клюевской «келье» встретились Павел Васильев, Клычков, Орешин, Мандельштам и приехавший в Москву Борис Корнилов, также навещавший Клюева ещё в Ленинграде и явно не без его влияния и не без внутренней полемики с «дедушкой», написавший позднее своё знаменитое стихотворение «На Керженце». Под разговор о поэзии, под чтение стихов Васильев привёл как пример идеальной критики поэзии статью Писарева «Реалисты» и стал зачитывать из неё большие куски. Клычков тут же указал на узость и устарелость Писарева. Вежливо и аккуратно стал возражать и Мандельштам. Орешин и Корнилов бросились на защиту Павла, а точнее, Писарева. И тут всё и всех перекрыл Клюев. Его основательный фундаментальный разгром «нигилиста» и его нынешних защитников сделал дальнейший спор невозможным… Павел, рассказывая о происшедшем Гронскому, не скрывал своего возмущения.

А Гронский активно проводил «операцию» по оттягиванию Васильева от Клюева и приближению к Демьяну Бедному.

И вот 3 апреля 1933 года в редакции «Нового мира» состоялся вечер, посвящённый творчеству Павла Васильева, с последующим обсуждением.

«В самом начале тридцатых годов Павел Васильев, — писал

Гронский, — вызывал обоснованную тревогу за судьбу его огромного дарования. Васильев продолжал наведываться к Клюеву, что не могло не настораживать.

Васильева надо было „отстоять“. Поэтому, когда в апреле 1933 года „Новый мир“ устроил творческий вечер Павла, я обрушился на поэта с резкой критикой… Я неодобрительно отозвался о новом произведении Васильева, но сделал это скорее для того, чтобы раскрыть всю полноту ответственности художника за своё творение. Целью моего выступления отнюдь не было „растоптать“ или „облить“ грязью молодого поэта. Свидетельство тому — „Соляной бунт“ начал печататься уже в следующем, майском номере „Нового мира“, ответственным редактором которого я работал».

Гронский многого недоговорил. Чтение стенограммы этого обсуждения показывает, как он «отстаивал» Васильева.

«И. Гронский. — Если народ не знает поэта, если народ не поёт его песен, — грош цена такому поэту… Вот если с этой точки зрения мы подойдём к творчеству всей группы так называемых „крестьянских“ поэтов, то мы должны сказать, что эта группа совершенно напрасно, без всяких на то оснований, приклеивает к себе крестьянскую вывеску. *Это не крестьянская, а кулацкая поэзия…* Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции… Это резко, это грубо. Но это правда… Можно ли переделать этих „крестьянских“ поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать… Если бы они хотели служить прогрессу, то есть пролетарской революции, они давно бы это сделали… Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, сиди и жди того дня, когда твой народ забудет о тебе как о художнике. И он *забудет.* Это единственное, что можно им сказать… Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции… Васильев должен порвать с той группой, у которой он находится в плену… Васильев как будто делает сейчас шаг в сторону революции, но делает этот шаг очень робко, очень осторожно, очень неуверенно. Так, Васильев, к революции ты никогда не придёшь. К революции надо идти решительно, смело, по-мужицки… Враг нападает — дай ему десять сдач… *Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришёл на некую грань: или он совершит прыжок в сторону революции, или он погибнет как*

художник… Если хочешь быть поэтом своего народа, поэтом рабочих и крестьян, порви всякие связи с прошлым и шагай в будущее без всякой оглядки. Поставь своё искусство на службу этому будущему, против всякого рабства, против всей той мрази, которая борется с нами из-за угла…»

Напротив Павла Васильева, выслушавшего всё это, сидел как раз «враг» и «мразь, борющаяся из-за угла» — Сергей Антонович Клычков. И вот какой диалог состоялся после всех предыдущих погромных речей между двумя друзьями: уязвлённый и обиженный Павел Васильев сперва попытался защититься, а потом обрушился на своего друга с нешуточными упрёками.

Дело в том, что помимо всего сказанного масла в огонь расчётливо подлил И. Нусинов: «Совершенно верно, что Клычков, как зрелый мастер, никому больше не подражает. Он — самостоятельный писатель. Но когда Васильев начал писать, он, несомненно, подражал Клычкову. Сейчас задача в том, чтобы освободиться от влияния Клычкова… Действительно, когда сейчас приходит поэт, который в годы революции ещё только начал грамоте учиться, и говорит языком Клюева и повторяет этапы Есенина, — то это чистейший анахронизм. Всё это упоение „аржаным“, „избяным“, „бревенчатым“ старо, скучно, запоздало и никого не трогает…»

Васильев бросился на защиту своей чести и своего литературного имени, не щадя ближайшего соратника.

«П. Васильев. — Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, — а таковые всё-таки существовали и существуют, — то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут — советское строительство, а с Клычкова как с гуся вода. Должен признаться, что советское строительство и на меня очень мало влияло… Разве Маяковский не пришёл к революции, и разве Клюев не остался до сих пор ярым врагом революции?.. Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией — это значит активно работать с фашистами, кулаками, о которых сейчас говорили. У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать — за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его

не поймут, его побьют и т. д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избиения камнями… Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией — значит выступать против революции.

Клычков. — Это политиканство.

Васильев. — Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова ни в чём никого не убедят».

Мы верили ветрам-скитальцам,
Мы песни холили в груди.
Пересчитай нас всех по пальцам,
Но пальца в рот нам не клади.

Эту эпиграмму «На Клюева и К°» Васильев написал примерно в то же время — незадолго до своего отречения. Шутка обернулась жуткой реальностью. Их пересчитали. Определили возможность «перестройки» каждого. И поставили каждому индивидуальное клеймо.

Думаю, что не один раз Павел потом вспоминал свои слова, сказанные в редакции «Нового мира», особенно когда увидел их опубликованными на страницах журнала в то время, когда Николай Клюев уже начал своё «хождение по мукам» в Колпашеве. Не мог Васильев в глубине души не понимать разницы в отношении к нему Клюева и Гронского, не мог не оценить ситуации, в которой оказался. Думаю, многие его позднейшие «срывы» были следствием всё усиливающегося чувства своей вины и порождённым ею ощущением душевного разлада. И не мог он не вспомнить, обдумывая горькие строки о Беломорканале («Хлещет в шлюзы Балтийское море и не хочет сквозь шлюзы идти…»), трагических строк своего учителя, что хранились в его бумагах.

То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла,
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей…

Клычков не держал на Павла зла. Совершенно по-другому отнёсся к перемене в «тигрёнке» Клюев, для которого эта измена стала ударом в самое сердце. В письмах к Яру-Кравченко он, попутно вспоминая Есенина, предостерегал Анатолия от общения

с Павлом. «Толечка, ласточка моя апрельская, всем опытом, любовью, святыней, заклинаю тебя — не отравляйся личинами, не принимай за подлинность — призраков Быстряковых и его патронов, Васильевых и старых, как ад, Эльз Каминских — с непременной бутылкой, с клеветами и бесчисленными предательствами! Все подобные исчезают, как смрадный дым. Пройдёшь мимо и не найдёшь даже того места, где они были… Вот тебе ещё пример из книги жизни: ты жадно смотрел на Васильева, на его поганое дорогое пальто и костюмы — обольщался им, но эта пустая гремящая бочка лопнула при первом ударе. Случилось это так: Оргкомитет во главе с Гронским заявили, что книги Васильева — сплошь плагиат — по Клюеву и Есенину — нашли множество подложных мест, мою Гусыню в его поэме и т. д. и т. д. Немедленно вышел приказ: рассыпать печатный набор книг Васильева, прекратить платежи и договоры объявить несостоятельными, выгнать его из квартиры и т. д. Васильев скрылся из Москвы. Все его приятели лают его, как могут, а те дома, где он был, оправдываются тем, что они и не слыхали, и не знакомы с Васильевым и т. п. и т. п.».

В своей горечи Клюев доходит здесь до явных несправедливостей и прямого искажения фактов. Никто Васильева в плагиате не уличал, хотя его колыбельная про гусыню из «Песни о гибели казачьего войска» явно перекликается с клюевской «белой гусыней» из «Плача о Сергее Есенине», так же как написанная в начале 1933 года «Тройка» — яростный ответ на плач о гибели русской тройки в «Погорельщине» («Загибла тройка удалая, / с уздой татарская шлея, / и бубенцы — дары Валдая, / дуга моздокская лихая, — / утеха светлая твоя!.. / Разбиты писаные сани, / издох ретивый коренник…»):

И коренник, как баня, дышит,
Щекою к поводам припав,
Он ухом водит, будто слышит,
Как рядом в горне бьют хозяв…
……
Рванулись. И — деревня сбита.
Пристяжка мечет, а вожак,
Вонзая в быстроту копыта,
Полмира тащит на вожжах!

…Обида обидой, а не мог забыть Клюев своего недолговечного друга и наперсника в поэзии. Узнав о новом аресте Павла, он пишет Горбачёвой уже из томской ссылки: «Как Москва? Как писатели и поэты — как они, горемыки миленькие,

поживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною чёрной виной». «Слышал я, что Павел Васильев уехал из Москвы. Это меня очень и весьма удивило. Быть может, Вы знаете, или слышали подробности. Очень любопытно». «Очень меня волнует судьба Васильева, не знаете ли Вы его адреса?» «Что слышно о П. Васильеве? Где он?» Такие вопросы мелькают почти в каждом из последних клюевских писем. И, наконец, последнее упоминание в письме из Томска от 22 декабря 1936 года: «Объявился ли Васильев, или пишет из тюрьмы? Что Литгазеты назвали его бездарным — это ничего не доказывает. Поэт такой яркости, обладатель чудесных арсеналов с кладенцами может оказаться бездарным совершенно по другим причинам (так сказал один мудрый китаец). Мне бы очень хотелось прочесть бездарные стихи Павла. Хотя он и много потрудился, чтобы я умолк навсегда. Передайте ему, что я написал четыре поэмы. В одной из них воспет и он, не как негодяй, Иуда и убийца, а как хризопрас самоцветный».

Необходимый штрих к стихотворению «Клеветникам искусства» и упоминанию имени Васильева в клюевских письмах: в заключительной редакции стихотворения одна из строк, обращённая к Павлу, приняла несколько иной вид: «Полыни сноп, степной иуда…» Всё остальное сохранилось в неизменном виде.

…Вспоминая «инсценировку», как точно определила Варвара Горбачёва, отречения Васильева от Клычкова и окидывая взглядом всю гамму его отношений с Клюевым в совершенно невыносимой литературно-политической атмосфере, волей-неволей согласишься со словами молодого Льва Гумилёва, с которым, кстати, Павел и Клюев познакомились в доме у того же Клычкова: «Знаете, какая разница между евреями и русскими? Евреи делят всех людей на своих и чужих. Чужим они горло перегрызут, а для своих готовы на всё… Русские тоже делят людей на своих и чужих. Чужим они тоже горло перегрызут, а про попавшего в беду русского подумают: „Он, конечно, свой брат, а всё равно — наплевать!“».

Глава 32
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МОСКВЕ

За год до «обсуждения» Павла Васильева в редакции «Нового мира» Клюеву пришлось объясниться с Гронским лично.

Тридцатого сентября 1959 года вышедший на свободу после 18 лет воркутинских лагерей и казахстанской ссылки Иван Михайлович Гронский выступил в Институте мировой литературы с воспоминаниями, посвящёнными «крестьянским» поэтам: Есенину, Клюеву, Клычкову, Орешину, Павлу Васильеву.

И вот как рассказал он о своих встречах с Клюевым.

Дошло до него, председателя Оргкомитета Союза советских писателей, что «Н. А. Клюев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню: „Подайте, Христа ради, русскому поэту Николаю Клюеву“, — и иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги».

Это была пора, когда, на полную катушку используя в строительстве индустриальных гигантов технологии и специалистов с Запада, в самих западных государствах видели — и не без основания! — противников в грядущей войне. В то же время нищие, бывшие раскулаченные крестьяне, просочившиеся через все мыслимые и немыслимые кордоны из коллективизированных деревень в столицу и просящие милостыню, воспринимались как враги с ножом за пазухой, ибо самим своим видом вызывая жалость и естественные вопросы о голоде в России (которого власть не желала признавать), они являлись живым укором и власти предержащей, и простым городским обывателям, уже переставшим быть обывателями, становившимися частями нового общества, готового на всё по слову мудрого руководства, частями государственного монолита.

А известный поэт, носящий несмываемое клеймо «кулацкого» и просящий милостыню у иностранцев — да сам по себе этот факт уже заслуживал наименования контрреволюционного!

Но Гронский не торопился разбираться с Клюевым в стиле, свойственном эпохе. Он не зря носил репутацию «либерала», который по возможности помог в своё время и Пильняку (переделавшему по его просьбе «контрреволюционное» «Красное дерево» в советский роман «Волга впадает в Каспийское море»), и Замятину, опубликовав в «Известиях» его «оправдательное» письмо после травли, развернувшейся по следам публикации за границей романа «Мы»… Клюева он встретил в одиннадцатом часу вечера в шикарном кабинете редакции «Известий» — с

камином и мебелью из красного дерева… Бедно одетый Клюев в потёртой косоворотке и таких же штанах, в русских сапогах гармошкой остановился на пороге… Глянул на Гронского — всё понял. Не в первый раз виделись, ещё до революции встречались в присутствии и Блока, и Городецкого… Сложил руки Николай — и запричитал.

— Вот, сподобил Господь-Бог повидаться с Вами, Иван Михайлович, сподобил Господь-Бог! Уж и хорошо у Вас, люленьки-ляля, уж очень хорошо! Как в раю, как в раю!

Гронский эту песню оборвал мгновенно.

— Либо мы будем разговаривать, как взрослые люди, либо я совсем не буду с Вами разговаривать.

Клюев согласился разговаривать «как взрослый». И заговорил.

«И вот передо мной сидит образованнейший человек нашего времени, — вспоминал Гронский. — Вы говорите с ним о философии, он говорит, как специалист. Немецких философов Э. Канта и Г. Гегеля он цитирует наизусть, К. Маркса и В. И. Ленина цитирует наизусть.

— Я самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора, — говорит он, — я самый крупный знаток древней русской живописи.

И это были не фразы.

С ним было приятно разговаривать, потому что это был энциклопедически образованный человек, прекрасно понимающий и знающий искусство».

И можно предположить, что Клюев цитировал страницы из «Капитала» Маркса, посвящённые знаменитому «огораживанию» в Англии, следствием чего стали тысячи и тысячи фермеров, выброшенных из своих бывших хозяйств, превратившихся в нищих и бродяг (а за бродяжничество неукоснительно полагалась виселица!). Он мог напомнить Гронскому отрывки из ленинских статей начала 1920-х годов как своего рода укор нынешним властителям:

«Мы… очень много погрешили, идя слишком далеко… нами было сделано много просто ошибочного, и было бы величайшим преступлением здесь не видеть и не понимать того, что мы меры не соблюли… мы зашли дальше, чем это теоретически и политически необходимо… Ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех…»

«Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приёмов. Настоящие революционеры погибнут (в смысле не

внешнего поражения, а *внутреннего* провала их дела) лишь в том случае, — но погибнут наверняка в том случае, — если потеряют трезвость и вздумают, будто „великая, победоносная, мировая“ революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному».

На эти слова Гронский возражать не мог. С Клюевым бы поспорил, тут же обвинив его в «реакционности», но с Лениным не поспоришь. Лучше уж Канта да Гегеля послушать.

Но удовольствие от интеллектуальной беседы — удовольствием, да пора и честь знать, и о своих прямых обязанностях вспомнить.

— Николай Алексеевич, почему Вы пошли на паперть?

— Есть нечего.

— У Вас в Вашей келье иконы Рублёва есть?

— Есть.

— А оригинальная библия XVII века есть?

— Есть.

— Так вот, если Вы продадите хоть одну вещь в музей, то два-три года можете прожить не нуждаясь. Значит, на паперть заставила идти Вас не нужда, а кое-что другое, этим другим является ненависть к большевикам. Вы с нами хотите бороться, мы бороться умеем и в борьбе беспощадны.

— Я не хочу бороться, я хочу работать, но мне надо есть, нужно одеваться.

— Ну что ж. Хорошо.

И Гронский вызвал секретаря и приказал ему выдать Николаю Алексеевичу «карточку академического пайка и 5 тыс. рублей денег». Кроме того — заказал билеты для Клюева и Анатолия Яра (которого Николай назвал своим «племянником» — так же он называл Яра и в письмах к нему) — для проезда в «деревню» (очевидно, в то же Потрепухино).

Клюев, естественно, не задал вопроса — откуда Гронскому известно о рублёвских иконах и библии XVII века. Ответ было очевиден — всё это внимательно рассматривал в клюевской «келье» «сокол» — Пашенька Васильев, который с удовольствием делился с Иваном Михайловичем своими впечатлениями.

Думал ли Пашенька о последствиях? Судя по его поведению — нет. Он просто делился «интересным», бросал на ходу пришедшие в голову фразы, совершенно не интересуясь их дальнейшим истолкованием.

По словам Гронского, у него завязалась с Клюевым оживлённая переписка. Но никаких её следов не обнаружено.

Зато сохранился набело переписанный рукой Клюева цикл «О

чём шумят седые кедры» с приложением к нему «Клеветников искусства» — эту рукопись Николай послал Гронскому как главному редактору для публикации в «Новом мире». И вот что из этого вышло.

«Однажды получаю от Н. А. Клюева поэму. И вот сижу дома, завтракаю. Напротив сидит П. Н. Васильев, который жил в это время у меня. Читаю эту поэму и ничего не могу понять. Это любовный гимн, но предмет любви — не девушка, а мальчик. Ничего не понимаю и отбрасываю поэму в сторону.

— Ни черта не понимаю!

П. Н. Васильев берёт её и хохочет.

— Чего ты, Пашка, ржёшь?

— Иван Михайлович, чего же тут не понимать? Это же его „жена“.

Мне захотелось пойти и вымыть руки».

Судя по реакции Гронского, можно подумать, что он впервые встретился с «такими» стихами. Но в это, честно говоря, плохо верится. Человек он был начитанный, литературу, в частности поэзию и прозу начала XX века, знал хорошо, во всяком случае, читал и Михаила Кузмина, и Евдокию Нагродскую, и Зиновьеву-Аннибал… Вчитываться в стихи Клюева, в которых начисто отсутствует «проблема пола», он, конечно, не стал — доверился своему первому поверхностному впечатлению и Пашиной «оценке».

А дальнейшие события, если верить Ивану Михайловичу, развивались так:

«Приезжает Н. А. Клюев, является ко мне.

— Получили поэму?

— Да.

— Печатать будете?

— Нет, эту мерзость мы не пустим в литературу. Пишите нормальные стихи, тогда будем печатать. Если хотите нормально работать, мы дадим Вам такую возможность.

— Не напечатаете поэму, писать не буду.

— Итак, Вы встаёте на путь борьбы? Тогда разговор будет короток. В Москве Вы не останетесь.

— Моё условие: или печатайте поэму, или я работать не буду.

Я долго уговаривал Н. А. Клюева, но ничего не вышло».

Честно говоря, этот разговор и не мог закончиться иначе. Услышав от Гронского, что его стихи — «мерзость», тут же сообразив, что именно главный редактор «Нового мира» имеет в виду, Николай не стал вдаваться ни в какие объяснения. Он просто прекратил беседу, не желая слушать ни о какой «борьбе», которую поэт, отказываясь «работать», якобы ведёт против

советской власти.

«Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил:

— Арестовать?

— Нет, просто выслать из Москвы.

После этого я информировал И. В. Сталина о своём распоряжении и он его санкционировал».

Эта похвальба, эта жажда представить себя как ответственного человека, «справившегося» с «врагом» при помощи сильных мира сего, производит, мягко говоря, странное впечатление, особенно если учесть, что личная заслуга Гронского в расправе с Клюевым была несколько иной, чем Иван Михайлович стремился показать через четверть века. И последовательность событий была совершенно другой.

Клюев не «боролся». Он творил. Творил без всякой надежды на публикацию. И свои последние стихи, написанные в Москве, читал лишь отдельным избранным людям.

Я не серый и не сирый,
Не Маланьин и не Дарьин,
Особливый тонкий барин,
В чьём цилиндре, строгом банте
Капюшоном веет Данте,
А в глазах, где синь метели,
Серебрится Марк Аврелий,
В перстне перл — Александрия,
В слове же опал — Россия!

Даже прежде ненавистный есенинский «цилиндр» — здесь к месту и ко времени. И куда там любому *dandy,* любому эстету — хоть бы тому же Кузмину — до клюевского автопортрета!

Так отвечал поэт своим обвинителям (типа Бескина) в «кулачестве» и «новобуржуазности» и своим непрошеным «защитникам» (типа Вячеслава Полонского, по мнению которого Клюев показывал «внутренний лик… деревенской „старины“, ещё не изжитой, ещё цепляющейся за жизнь»)… В унисон отповеди преображается и дом — одиночество будит воображение, и в подвале Гранатного переулка расцветает чудодейная роща.

Мой подвалец лесом стал, —
Вон в дупле горит опал! —
Сердце родины иль зыбка,
С чарою ладонью глыбкой
Смуглой няни — плат по щёки!..

Настроение меняется под стать дуновению холодного ветра. Холод и страх поселяются в душе, осень за окном напоминает о скором скончании дней.

Ненастна воронья губернья,
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие просёлки души.
Мерещится странником голос,
Под вьюгой без верной клюки,
И сердце в слезах раскололось
Дуплистой ветлой у реки.
Ненастье и косит, и губит
На кляче ребрастой верхом,
И в дедовском кондовом срубе
Беда покумилась с котом.

И всё же не желает он сдаваться отчаянию. Рано хоронить и дом, и его самого!

Не остудят метели деда,
Лишь стойло б клевером цвело,
У рябки лоснилось крыло
И конь бы радовался сбруе,
Как песне непомерный Клюев! —
Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!

В других стихотворениях, написанных в эти же осенне-зимние месяцы, определяющим становится мотив ухода, даже не ухода — отплытия, и всё более основательно вступает в свои права водная стихия.

Прости, прости. В разлив реки
Я распахну оконца вежи
И выплыву на пенный стрежень
Под трубы солнца, трав и бора…
……
И в час, когда заблещут копья

Моих врагов из преисподней,
Я уберу поспешно сходни.
Прощай, медвежий самовар!
Отчаливаю в чай и пар,
В Китай, какого нет на карте…

Это «отчаливание» отсылает к мифическому плаванию по доисторическому океану, омывающему неподвижную землю, стоящую на трёх китах.

Но почему именно в Китай?

Об этом более полувека назад писал Константин Леонтьев:

«…Хотя Православие для меня самого есть Вечная Истина, но всё-таки в земном смысле оно и в России может иссякнуть. *Истинная* Церковь будет и там, где останется *три человека.* Церковь Вечна, но *Россия* не вечна и, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России нужна Церкви, сила Церкви необходима России; Церковь истинная, духовная — везде. Она может переселиться в Китай; и западные европейцы были до IX и XI века православными, а потом изменили истинной Церкви!..»

Война с православной церковью, закрытие и разрушение храмов, аресты и расстрелы священников — всё напоминало погром старой православной церкви два с половиной века назад.

Не раз ходил в это время Клюев в Большой театр — смотреть и слушать великую «Хованщину» Мусоргского.

Слёзы текли по его впалым щекам, когда слушал он арию Досифея: «Сколько скорби, сколько терзаний дух сомненья в меня вселял…» И загорались глаза его, когда на подмостках сцены появлялась столь любимая им Надежда Обухова, певшая партию Марфы: «Свершилося решение судьбы, теперь приспело время в огне и пламени принять от Господа венец…»

Небезынтересно, что с 1925 года в ходу был секретный циркуляр Главлита, который предписывал, *как именно* надо ставить классические оперы. Трактовка «Хованщины», по мнению главного цензора Лебедева-Полянского, должна быть следующей: «чтобы сочувствие зрителя было не на стороне старой, уходящей „хованщины“, а новой молодой жизни, представленной здесь Голицыным, преображенцами и молодым Петром». (Цензор в своём раже не удосужился сообразить, что Василий Голицын — один из ярых противников Петра.)

Но какова бы ни была режиссёрская трактовка — именно Досифей и Марфа приковывали к себе всё внимание зрителя.

Надежде Обуховой Клюев подарил сборник «Костёр» с поэмой «Заозерье», записав на форзаце стихотворение с посвящением

«Моей чародейной современнице — славной русской артистке *Надежде Андреевне Обуховой».*

А мы, холуи, зенки пялим, —
Не видим, что Сирин в бархатной зале,
Что сердце райское под белым тюлем
Обожжено грозовым июлем,
Лесными пожарами, гладом да мором,
Кручинится по синим небесным озёрам —
То Любашей в «Царской невесте»,
То Марфой в огненном благовестье.
……
Пропой нам, сестрица, кого погребаем
В Костромском да Рязанском крае?
Ответствует нам краса Любаша:
«Это русская долюшка наша, —
Голова на коле,
Косыньки в пекле,
Перстенёк на Хвалынском дне».
Аминь.

…Стихи, написанные в эти месяцы, — чистая лирика, в которой жизнеутверждающий мотив («И бородой зелёной вея, порезать ивовую шею не дам зубастому ножу!») сменяется мотивом близкого насильственного конца.

Я люблю малиновый падун,
Листопад горящий и горючий,
Оттого стихи мои как тучи
С отдалённым громом тёплых струн.
Так во сне рыдает Гамаюн,
Что забодан туром бард могучий.

(Именно так читается последняя строка этого шестистишия — вопреки всем печатным публикациям, превращающим трагическое предсказание в бессмыслицу: «Что забытый туром бард могучий».)

Это был последний сентябрь — любимый клюевский листопад, — встреченный поэтом на свободе.

Прощайте, не помните лихом!
Дубы осыпаются тихо
Под низкою ржавой луной.

Лишь вереск да тёрн узловатый,
Репейник как леший косматый
Буянят под рог ветровой…

Эти стихи не предназначались Клюевым для печати. Он по возможности оберегал их от посторонних глаз и, конечно, наученный горьким опытом с «Погорельщиной», не собирался никуда предлагать «Песнь о Великой Матери».

И поэтому самым тяжёлым ударом для него стал поступок Анатолия, который перепечатал поэму, отвёз её в Ленинград и показал редакторам, издателям, кое-кому из поэтов.

Письмо Клюева, единственное в своём роде, было исполнено гнева и горечи.

«Милый и дорогой друг!

Получил от тебя бандероль с моей поэмой, конечно, искажённой и обезображенной с первого слова: Песня о Великой Матери — разве ты не знаешь, что Песнь, а не песня, это совсем другой смысл и т. д. и т. д., но дело теперь уже не в этом, а в гибели самой поэмы — того, чем я полн, как художник, последние годы — теперь все замыслы мои погибли: ты убил меня и поэму зверским и глупым образом.

Разве ты не понимаешь, кому она в первую очередь нужна и для чего и сколько было средств и способов вырвать её из моих рук. То, что не удалось моим чёрным и открытым врагам — сделано и совершено тобой — моим братом. Сколько было заклинаний и обетов с твоей стороны — ни одной строки не показывать… Но ты, видимо, оглох и ослеп и лишился разума от своих успехов *на всех* фронтах! Нет слов передать тебе ужас и тревогу, которыми я охвачен. Я хорошо осведомлён, что никакого издания моих стихов не может быть, что под видом издания нужно заполучить работы моих последних лет, а ты беспокоишься о моей славе! На что она мне нужна! Опомнись! Ни одной строки из поэмы больше под машинку! Всё сжечь! *Как поступил я* — взять все перепечатки, у кого бы они ни находились, никаких упрашиваний не принимать во внимание. Никаких изданий их не может быть. Поверь мне. Сколько экземпляров напечатано на машинке моей поэмы — на радость, обсасывание и кражу моим врагам? В чём смысл распространения тобою поэмы?

…Ещё раз плачусь тебе — сообщи немедля: что значит перепечатка первой главы поэмы? Где её перепечатали и кто? И получает ли она распространение? Ужасаюсь, как всё это возможно! Или ты забыл её содержание? Или действительно это не сон, и я должен одеть себе верёвку на шею?..

Поверь мне, что не издание, не деньги ты добыл для меня, а лишил меня последнего куска хлеба, следом за этим — пуля или верёвка; пока не верю, что это тебе необходимо… Приди в себя! Перекрестись! Опомнись! Пока не поздно — ни одной строки ни под каким предлогом никому… Ведь мою кровь не отмыть тебе вовеки!..»

Потом, немного остыв, Клюев написал: «Со слезами прошу прощения за вспышку гнева в моём последнем письме. Этот гнев есть, конечно, один из видов *противодействия, борьбы за свою любовь,* заботы за подлинность и сохранение любви как свободно принятого нами высокого избрания и сана. Чтобы сращивать соединительные нервы дружбы, рвущиеся и от нашего греха, и от влияния извне, для этого необходима какая-то вечная памятка, с чем бы связывалось непоколебимое наше решение — *всё претерпеть до конца.* И кроме того, нужен таинственный ток энергии, непрестанно обновляющий первое, ослепительное время дружбы. Что же это за памятка? Внешне и грубо — это, конечно, есть напоминание о себе — истирание пятой порога дома друга твоего, внутренне же — это подвиг ради дружбы, некий невидимый труд — каждый день и час со скорбью погублять душу свою ради друга и в радости обретать её восстановленной!»

И одновременно с этим письмом пишутся стихи, обращённые к Анатолию, с уже знакомым нам мотивом — убийства царевича Димитрия.

Погасла заря на палитре…
Из Углича отрок Димитрий,
Ты сам накололся на нож: —
Царица упала на грудку —
Закликать домой незабудку
В пролетье, где плещется рожь.
……
Поёт золотая тростинка,
И хлеб с виноградом в корзинке —
Художника чарый обед.
Вкушая вкусих мало меда,
Ты умер для песни и деда,
Которому имя — поэт.

Пятнадцать лет тому назад Клюев представил себя царевичем Димитрием, зарезанным Борисом Годуновым — Есениным. Теперь же царевич Димитрий — любимый Анатолий Яр. И не зарезавший (даром, что Клюев в письме пишет — «убил») — *зарезавшийся* («Ты сам накололся на нож…»). Совершивший

непоправимый проступок — убил сам себя.

Не раз предупреждал Николай Анатолия: не повторить судьбу Есенина. «Есенин гораздо позже твоего, 27 лет, стал привыкать к рюмочке — сперва *только к портвейну,* и через четыре с небольшим года его путь кончился в меблиражке на собачьей верёвке»; «Теперь не замедлит познакомиться с тобой сам змий с обольстительным шёпотом, что ты будешь, как Бог, если вовсю будешь пожирать плоды с дерева познания добра и зла — такое пожирание Воробьёва называет „свободным развитием“. Иначе говоря, ты должен жить, как „настоящий мущина“ — курить, выпивать, стремиться к стандартному комфорту и дешёвой авантюре — и незаметно докатиться до какого-нибудь Англетэра, где, тихо притаясь в углу — покачивается верёвка. Это видение стоит у меня в глазах! Мой долг и дело моей совести предупредить тебя об этом!»

Есенин, Клычков, Васильев… Каждый из них был удостоен высочайших похвал Клюева… Но насколько же важным для него было соответствие жизненного поведения художника его дару! И когда этого соответствия не было — не было для Клюева горшей муки. Вот и предостерегал Анатолия.

По сути одно и то же совершили и Анатолий, и Павел. Яр передал в чужие руки лелеемую и таимую первую часть «Песни», что, очевидно, по мысли Клюева, не могло снова не привлечь к нему внимания «компетентных органов»… Васильев же… Бумаги, которые он стащил со стола Николая и приволок к себе домой для «интересного чтения», сыграли роковую роль.

Это были незаконченные и необработанные стихи, но по своему воздействию напоминавшие хороший заряд динамита. Тут каждая строка хлестала наотмашь.

Рябины — дочери нагорий
В крови до пояса… Я брёл,
Как лось, изранен и комол,
Но смерти показав копыто.
Вот чайками, как плат, расшито
Буланым пухом Заонежье
С горою вещею Медвежьей,
Данилове, где Неофиту
Андрей и Симеон, как сыту.
Сварили на премноги леты
Необоримые «Ответы».
О книга — странничья киса,
Где синодальная лиса
В грызне с бобрихою подонной, —

Тебя прочтут во время оно,
Как братья, Рим с Александрией,
Бомбей и суетный Париж!
Над пригвождённою Россией
Ты сельской ласточкой журчишь.

Это пророчество — лишь увертюра и «синодальная лиса» — символ хитрости и коварства — «в грызне с бобрихою подонной» — потаённой *русской* Россией — ещё нуждалось в расшифровке посторонним глазам. Но далее всё идёт открытым текстом.

Забросил я ресниц мережи
И выловил под ветер свежий
Костлявого, как смерть, сига…

Из губ выловленной рыбы доносится предсмертный шёпот: «Я ж украинец Опанас… Добей зозулю, чоловиче!..» Живой образ Украины, пережившей только-только жесточайший голод, соединён с образом Опанаса — героя популярнейшей поэмы Эдуарда Багрицкого, Опанаса, восставшего против продотрядовца Когана, грабившего крестьян, Опанаса, ушедшего к батьке Махно… Расстрелявший мучителя Опанас закончил свои дни возле стенки… Памятны всем были лихие строчки:

Погибай же, Гуляй-поле,
Молодое жито…
Опанасе, наша доля
Туманом повита…

Но эти клюевские строки — своего рода «анти-Дума про Опанаса», пусть и основанная на живой реальности — зверской коллективизации на Украине… А дальше… Одно из величайших деяний новой власти — строительство Беломорско-Балтийского канала, на которое отправилась огромная делегация писателей, что выпустит через год знаменитую книгу «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»… Гимн чекизму и подневольному труду уголовников и раскулаченных, спетый Виктором Шкловским, Анной Берзинь, Дмитрием Мирским (бывшим князем Святополк-Мирским), Михаилом Зощенко, Евгением Габриловичем, Верой Инбер, Валентином Катаевым, Всеволодом Ивановым, Львом Никулиным, Михаилом Козаковым и другими под управлением Максима Горького, Леопольда

Авербаха и Семёна Фирина.

Писатели, у которых с пера слетали глава за главой, восторгались кардинальной переделкой природы и картинами затопления прежней жизни.

У Клюева был *свой* взгляд на современных каторжников, кардинально отличный от писательско-туристического.

Данилово — котёл жемчужин,
Дамасских перлов, слёзных смазней,
От поругания и казни
Укрылося под зыбкой схимой, —
То Китеж новый и незримый,
То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла,
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слёзы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи.
В немереном горючем скопе
От тачки, заступа и горстки
Они расплавом беломорским
В шлюзах и дамбах высят воды.
Их рассекают пароходы
От Повенца до Рыбьей Соли —
То памятник великой боли…

Если бы здесь остановился Клюев… Но он не останавливается, он договаривает до конца. Те, кто надрывается с тачками и лопатами в руках, — получили по высшему счёту своё, заслуженное участием в разрушении прежней жизни.

Метла небесная за грех
Тому, кто, выпив сладкий мех
С напитком дедовским стоялым,
Не восхотел в бору опалом,
В напетой кондовой избе
Баюкать солнце по судьбе.
По доле и по крестной страже…

Это — первое стихотворение цикла «Разруха». Второе — ещё чище. Плач градов и рек Русской земли в предчувствии всепоглощающей вселенской катастрофы сменяется страшным

сатанинским рёвом.

Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,
О ржавый череп чистя нос,
Он трубит в темь: «Колхоз, колхоз!»
И подвязав воловий хвост,
На верезг мерзостный свирели
Повылез чёрт из адской щели —
Он весь мозоль, парха и гной,
В багровом саване, змеёй
По смрадным бёдрам опоясан…

Но и колхозом вкупе с сатаной всё не кончается. Появляются «самоубийц тела», плывущие до «адского жерла», и среди них — «великий пролетарский поэт», кому когда-то «грезился гудок над Зимним» и к кому Клюев обращался почти по-родственному: «Брат мой несчастный, будь гостеприимным»… Теперь же — никаких родственных чувств, ибо самоубийца этот — из главных разрушителей живой жизни, гармоничного русского лада.

И ты
Закован в мёртвые плоты,
Злодей, чья флейта — позвоночник,
Булыжник уличный — построчник
Стихи мостить «в мотюх и в доску»,
Чтобы купальскую берёзку
Не кликал Ладо в хоровод,
И песню позабыл народ,
Как молодость, как цвет калины…

Пригвождённая Россия… «Дума про Опанаса» революционного поэта Багрицкого… Беломорканал… Колхоз вкупе с дьяволом… Злодей-Маяковский… И в этом же цикле отдельным стихотворением — трагическая «Песня Гамаюна» из «Песни о Великой Матери».

Каждый отдельный пункт по условиям той жизни в Советской России «железно» тянул на статью 58, пункт 10 («антисоветская агитация и пропаганда»). А все вместе взятые…

Всё это, любезно предоставленное Пашей Васильевым (без малейшего желания «донести», просто — из интереса), внимательно читал Иван Михайлович Гронский. Да, тут не было

никакого сравнения с «мерзостью» цикла «О чём шумят седые кедры».

Вот о чём Гронский донёс Ягоде. Вот из-за чего он требовал выселить Клюева из Москвы. А разговор о «мерзости» — это так, попутное…

В течение 1933 года Гронский четырежды был на приёме в личном кабинете Сталина. Разговор шёл о предстоящем писательском съезде. И наверняка в одну из этих встреч Иван Михайлович рассказал вождю — «что же такое Клюев».

Ягода был на приёме у Сталина 17 января 1934 года. Разговор длился почти два часа. Время было самое напряжённое — XVII съезд ВКП(б), знаменитый «съезд победителей». Побеждённым, да ещё и с соответствующей репутацией, не было места в столице СССР.

Рискну предположить, что на этой встрече и была решена судьба Николая Алексеевича Клюева. К уже исследованной «Погорельщине» вкупе с соответствующими материалами добавился новый «компромат». Все условия для оформления «дела» были соблюдены.

Второго февраля 1934 года оперуполномоченному 4-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ Николаю Христофоровичу Шиварову (который уже ранее вел досье на Максима Горького, провёл следствие по «делам» Ивана Приблудного, писателей «Сибирской бригады» и Алексея Фёдоровича Лосева) был выдан ордер № 14 505 на проведение обыска и ареста Николая Алексеевича Клюева, проживающего по адресу: Гранатный переулок, дом 12, квартира 3.

Ордер был подписан заместителем председателя ОГПУ Яковом Сауловичем Аграновым.

Глава 33
«Я СГОРЕЛ НА СВОЕЙ „ПОГОРЕЛЬЩИНЕ“…»

Клюев не мог не ждать этого дня, не мог не предчувствовать его наступление.

Когда комиссар оперода Шиваров предъявил ему ордер, Николай прочитал, отошёл в сторону, тяжело уселся на низенький стул, предоставив свою дальнейшую судьбу Божьей воле. А пришедшие «архангелы» со знанием дела рылись в его вещах и бумагах.

В протоколе обыска было подробно и добросовестно зафиксировано всё изъятое для представления в ОГПУ: «Рукопись поэмы „Я“ (это была рукопись „Каина“ со стёртым прежним заголовком и частично разорванными пополам страницами. — *С. К.),* вторая часть; рукопись поэмы „Погорельщина“, зелёная тетрадь с записями различных стихотворений на 34 страницах; рукопись сборника стихотворений „О чём шумят седые кедры“ и другие, напечатанные на машинке на 54 листах; рукопись из первой части поэмы „Я“ на первом листе; рукопись поэмы „Песнь о Великой Матери“ на 82 страницах; рукопись стихотворения „Не верю“ на двух листах; программа концерта от 9 октября 1914 г<ода>; книга Таро… и книга В. В. Розанова „Люди лунного света“; три записных книжки; шестнадцать писем и записок с адресами».

И сразу после того, как доставили поэта в узилище (не в первый раз приходилось знаться с тюрьмой, со следователями жестокими — да только видно было, что не обойдётся ныне всё так сравнительно легко, как прежде), составлены были анкеты арестованного и заполнен первый протокол допроса.

Шиваров своей рукой написал лишь клюевский московский адрес. Всё остальное заполнил сам Николай, заполнил дрожащей от слабости рукой. Фамилия, имя, отчество. Год и место рождения (здесь Клюев написал 1887, переправив «четвёрку» на «семёрку»). Местом рождения обозначил «Северный край, г. Архангельск» (эти слова написаны еле-еле — рука с трудом держала казённое перо).

Место службы и должность занятий (так в анкете!): писатель.

Имущественное положение в момент ареста: нет (т. е. никакого «имущественного положения»).

Социальное происхождение: крестьянин (перо совсем

выпадало из рук. Слово написано так, что Шиваров был вынужден сверху написать его более разборчиво).

Политическое прошлое: нет (ответ чрезвычайно нетривиальный).

Национальность и гражданство: великоросс (представляю себе, как у Шиварова — болгарина по национальности и интернационалиста по призванию — «вскипела» нервная система от одного этого слова. Самолично написал ниже «русский»).

Партийная принадлежность: здесь уже сам Шиваров поставил прочерк, среагировав на отрицательное движение Клюева. Не упомянул Николай ни о своём вступлении в РКП(б), ни о последующем исключении.

Образование: грамотный (Шиваров, видимо, следуя утверждению самого Клюева, приписал в скобках: самоучка).

Состоял ли под судом и следствием: судился как политический при царском режиме (вряд ли Клюев думал всерьёз, что этот «пункт» как-то облегчит его положение. Хотя — кто знает?).

Состояние здоровья: болен сердцем.

* * *

На фотографии из следственного дела — заросшее бородой лицо измученного старика. Глаза, полные страдания. И отчётливо заметные на лице следы побоев. Видно, следователь особо себя не ограничивал.

В протоколе допроса упомянуты как близкие родственники брат Пётр и сестра Клавдия. На вопрос об образовательном цензе сначала было указано: «три класса сельской школы». Потом исправлено: двухклассное уездное училище.

А потом был сам допрос. И касался он не политики, а сугубо интимных вещей.

«Вопрос. К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?

Ответ: Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г<оду>.

Вопрос: Можете ли вы назвать все свои связи на почве мужеложества с этого времени?

Ответ: Это будет мне затруднительно. Легче будет мне назвать мои связи на этой почве за последние годы.

Вопрос: С кем вы поддерживали устойчивые связи на почве мужеложества за последние годы?

Ответ: С Львом Пулиным, проживающим у меня в течение

последних 6–7 месяцев. Второе — с Анатолием Кравченко, за период с 1928 года по 1932 год без непосредственного полового акта. Третье — с Львом Груминским в 1927— < 19>28 году. Точнее установить этот срок затрудняюсь».

Проще всего не думать, отмахнуться от этой «грязи», не пытаться выяснить степень достоверности приведённых ответов. Но — не получается. Ясное же дело, что «спусковым крючком» послужила «информация» Гронского на основании чтения стихов, посвящённых Яру. И это при том, что статьи за мужеложество в уголовном кодексе в это время не было. Она появилась через месяц с небольшим — 7 марта 1934 года. И её появление было совершенно обосновано. С многолетним развратом в стране и с «эстетикой разврата» надо было кончать.

То, что происходило на самом деле, во многом проясняют воспоминания Анастасии Александровны Пулиной (урождённой Ердаковой), жены Льва Ивановича Пулина, проживавшего тогда у Клюева и арестованного в тот же день, Анастасии Александровны, которую Лев Иванович встретил в 1936 году в Калинине, находясь там в ссылке. Рассказывала она со слов своего мужа.

«Ещё до ареста Л. И. его вызывали в органы, где предлагали стать осведомителем — доносить о разговорах в тех кругах, где ему приходилось бывать. Били. Однажды продержали (один день) в одиночке с глазком, куда было вставлено дуло пистолета. Арестовали его вместе с поэтом…»

Пулин был в курсе последних сочинений Клюева. Во всяком случае, он читал наизусть своей жене стихи цикла «Разруха», из которых она запомнила несколько строк.

Клюев, будучи в тяжелейшем физическом состоянии, не потерял остроты ума и прекрасно понял игру следователя. Главное было — отвести прямую опасность от своих друзей. А там — будь что будет.

В отношении собственной судьбы он не питал никаких иллюзий. Через две недели состоялся второй и последний допрос, проходивший уже в совершенно ином тоне. Ни о какой «интимности» никто не вспоминал — о ней и речи не было. Предметом разговора стали убеждения поэта, у которого политического прошлого якобы «нет», — зато есть политическое настоящее. Вот оно — в аккуратно собранных и прочитанных рукописях, в оперативных данных, от которых *не отопрёшься*!

И Клюев даёт подробные показания. Не показания это даже, а открытая политическая речь, которую следователь, дрожа от возбуждения, записывает твёрдым почерком, сплошь и рядом переиначивая клюевские выражения и разбавляя протокол своими собственными формулировками.

«Вопрос: Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отношение к политике коммунистической партии и советской власти?

Ответ: Мои взгляды на советскую действительность и моё отношение к политике коммунистической партии и советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями.

Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитывался на древнерусской культуре Корсуна, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней допетровской Руси, певцом которой я являюсь.

Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о древней Руси. Отсюда моё враждебное отношение к политике коммунистической партии и советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.

Вопрос: Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?

Ответ: Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моём творчестве. Конкретизовать этот ответ могу следующими разъяснениями.

Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала её самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении „Есть демоны чумы, проказы и холеры…“»

И Клюев начинает читать. Он не вспоминает ни о цикле «Ленин», ни о «Песни Солнценосца», ни о «Песни похода»… Не пытается заслониться прошлым. Нет, он идёт до конца… Может быть, в эти минуты укрепляли его дух строки из «Песни о Великой Матери» — слова вещего деда:

Почто дружиною поморы
Не ратят тушинских воров
Иль Богородицын Покров
Им домоседная онуча?
И горлиц на костёр горючий
Не кличет Финист-Аввакум?
……
«Я — князь — и вотчиной родной,
Как раб, не кланяюсь Сапеге!

Моё кормленье от Онеги
До ледяного Вайгача…»

Перед Шиваровым лежали перепечатанные специально для него стихи «Разрухи». Тут и доказывать ничего не надо — весь состав преступления налицо. Но что-то дрожало внутри, смесь восторга от следовательской удачи со странным предчувствием чего-то жуткого не давала покоя, когда слушал Клюева, выпевающего тонким пронзительным голосом:

Вы умерли, святые грады,
Без фимиама и лампады
До нестареющих пролетий.
Плачь, русская земля, на свете,
Злосчастней нет твоих сынов,
И адамантовый засов
У врат лечебницы небесной
Для них задвинут в срок безвестный.

Клюев читал и, прерывая чтение, продолжал говорить, не сдерживая себя:

«Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причём это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей „Песни Гамаюна“…

Более отчётливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале…

Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение…

Мой взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народ(а), я выразил в своей поэме „Погорельщина“…»

И Клюев читал — о канале, о «чёрте из адской щели», о том, как «погибал Великий Сиг»… Он был готов принять мученический венец, подобно праотцам, о которых сказано было в «Винограде Российском», — по многу раз повторял он эти слова огненные про себя наизусть:

«О ужаснаго позора, о нестерпимаго мучения, о всекрепкия твоея помощи, Христе мой, юже Твоим страдальцам всебогатно в терпении подаваеши! Юже народи зряще плакахуся, позорствуюшии людие всерыдательныя источники слез изливая,

зряще таковыя и толь ужасныя мучительныя позоры: но всепридивнии страдальцы толь тверди, толь благодерзновенни и всерадостни являхуся, яко паче злата сими украшахуся, паче анфраза всекрасно процветаху, всекрасно древлецерковное благочестие ясным проповедаше языком…»

А у Шиварова была своя сверхзадача.

«Вопрос: Кому вы читали и кому давали на прочтение цитированные здесь ваши произведения?»

И Клюев отвечает, называя далеко не всех, а лишь тех, о которых точно знает: их имена следователю известны. Они уже были ему предъявлены на основании «оперативных материалов» — и отпираться здесь было бессмысленно.

«Ответ: Поэму „Погорельщину“ я читал, главным образом, литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало на квартирах моих знакомых, в кругу приглашаемых ими гостей. Так, читал я „Погорельщину“ у Софьи Андреевной Толстой, у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер, группе писателей, отдыхающих в Сочи, у художника Нестерова и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу.

Отдельные процитированные здесь стих(и) — незаконченные. В процессе работы над ними я зачитывал отдельные места — в том числе и стихи о Беломорском канале — проживающему в одной комнате со мной поэту Пулину. Некоторые незаконченные мои стихи взял у меня поэт Павел Васильев. Полагаю, что в их числе была и „Песня Гамаюна“…»

Невозможно не заметить: в отличие от многих и многих поэтов и писателей, которые уже допрашивались на Лубянке и в других узилищах СССР и которые ещё будут допрашиваться, Клюев ни разу не назвал свои произведения ни «пасквилем», ни «клеветой»… Сам он — «реакционер», ладно, пусть таковым его и считают. Но стихи его не подлежат примитивным политиканским определениям.

На этом следствие было закончено. 20 февраля (всё следствие не заняло и трёх недель!) Шиваров составил обвинительное заключение, которое завизировал своей подписью начальник Секретно-политического отдела ОГПУ Г. Молчанов.

«Полагая, что приведёнными показаниями Клюева Н. А. виновность его в составлении и распространении к/р литературных произведений и в мужеложестве подтверждается, постановил считать следствие по делу Клюева Николая Алексеевича законченным и передать его на рассмотрение особого совещания при коллегии ОГПУ».

А судебная коллегия 5 марта постановила: «Клюева Николая

Алексеевича заключить в исправтрудлагерь сроком на 5 лет с заменой высылкой в г. Колпашево, Западная Сибирь, на тот же срок со 2 февраля 1934 г<ода>. Дело сдать в архив».

Никаких писем «наверх» в его защиту не писал никто. И никаких звонков из Кремля о его судьбе никому не поступало (а ведь достаточно вспомнить историю Мандельштама!).

Исправтрудлагеря Клюев бы не вынес — достаточно было бросить на несчастного беглый взгляд, чтобы это понять. Видимо, потому и заменили срок высылкой в Колпашево. В Нарым, исхоженный и изъезженный многими из нынешних, «на заставах команду имеющих», бывшими ссыльными революционерами, ныне посылающими своих подлинных и мнимых врагов знакомыми маршрутами… В Нарым, напророченный Клюевым себе самому ещё в начале 1920-х.

* * *

Клюев ещё находился в пути, когда Западно-Сибирское управление НКВД получило следующий документ:

«НАЧ. УСО ПП ОГПУ ЗАПСИБКРАЯ

г. Новосибирск.

В дополнение к № 14 (3444) от 14.3–34 года направляется меморандум на Клюева Николая Алексеевича для сведения».

В этом меморандуме было, в частности, указано, что никаких «ограничений в работе по специальности не требуется», а на вопрос о пригодности использования «в интересах ОГПУ» уполномоченным дан чёткий и недвусмысленный ответ: «ни в коем случае не рекомендуется». Знали, с кем имеют дело.

…На четвёртый месяц после начала тюремного этапа Клюев прибыл в Томск и был заключён в местную тюрьму. Наконец состоялась отправка в Колпашево, до которого и сейчас из Томска на автомобиле ехать нужно целый день. А тогда — несколько дней на подводе с короткими ночёвками, под конвоем.

Унылая, длинная, кажущаяся бесконечной дорога, и лишь изредка радуют глаз встречающиеся селения: Молчаново, Кривошеино, Мельниково… Вот и холм показался, от одного названия которого мороз продрал по коже: «Могильный»… Мост через реку Чаю… И вот, наконец, она — Обь, и паром у причала — другим путём в Колпашево не попадёшь…

Тридцать первого мая Клюев сошёл на другой берег Оби. Деревянные тротуары, кержацкие старые двухэтажные купеческие дома из тёмных брёвен (они и поныне стоят на колпашевских узеньких улочках)… Вот и «шанхайчик» — район, где селились

ссыльные — ещё с царских времён… Здесь и предстояло ему найти пристанище. Поначалу Николая поселили в общежитии исполкома, потом — в «шанхайчике»: нашлась крыша над головой в доме 12 по Красному переулку; дом на четыре семьи, где хозяйкой была некая Панова.

Соседом Клюева был ещё один любопытный ссыльный — бывший эсер, киноактёр Юлий Фердинандович Маротти — первый в России исполнитель роли Овода… Но общего языка с соседями Клюев не нашёл. Вместо того чтобы сидеть дома, предпочитал долгие прогулки — пока хватало сил. Спускался на пристань: с левой стороны виднелась Колпашевская церковь. Оттуда же, с пристани, доходил до Коммунального переулка, где размешалась баня… Письма отправлял с почты, что была на пересечении улиц Ленина и Белинского. А к самому любимому месту — в лесную тишину — уходил по Красному переулку через поле, через деревянные покосившиеся ворота. Там, за полем, за пашней и пастбищем, начинался лес, где уживались друг с другом кедр, сосна и берёза, где выбивали длинные очереди дятлы, и любопытные белки соскакивали со стволов и подбегали чуть ли не под ноги. Теперь на этом месте разбит парк.

…А отмечаться приходилось каждые десять дней в здании НКВД (так уже стало называться ГПУ за время клюевского «сидения») на улице Советской, где «принимал» сначала немец Краузе, а потом венгр Иштван Мартон, кроме венгерского и русского, свободно владевший немецким и французским языками, единственный на памяти старожилов, кто общался с ссыльными по-доброму. Клюев писал о нём в одном из писем Надежде Христофоровой-Садомовой самыми тёплыми словами: «Местное начальство относится ко мне хорошо. Внешне никто меня пока не обижает и не шпыняет. Начальник здешнего ГПУ прямо замечательный человек и подлинный коммунист»… В конце концов и этот «подлинный коммунист» был арестован, посажен в тюрьму и освобождён лишь в 1939-м.

Из письма Сергею Клычкову 12 июня 1934 года: «Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя, пучины несчастия, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я сгорел на своей „Погорельщине“, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозёрском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озарённую смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в посёлок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только

по отрывному календарю скоро проходящих и лёгких, обглодали меня до костей… Посёлок Колпашев — это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньём. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьёшь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час — о несчастном — бездомном старике-поэте, лицезрение которого заставляет содрогнуться даже приученных к адским картинам человеческого горя спецпереселенцев. Скажу одно: „Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!“ Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячевёрстных болот дожди, немолчный ветер — это зовётся здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что всё моё выкрали в общей камере шалманы. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать?.. Помогите! Помогите! Услышьте хоть раз в жизни живыми ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив, украсит всеми зорями небесными!..»

Он молит о помощи, просит узнать, нельзя ли перевести его в другое, не такое гиблое место ссылки. Нельзя ли обратиться к Екатерине Пешковой в Красный Крест, к Горькому, к Бубнову или, может быть, подать Калинину прошение о помиловании? И — душераздирающий финал письма: «Не ищу славы человеческой, а одного — лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мёрзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело моё, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твоё…»

Он с благодарностью упоминает в письмах Надежду Обухову, её денежный перевод по телеграфу, сравнивает её с «Русскими женщинами» Некрасова, к которому постоянно декларировал свою нелюбовь… Пишет о Калинине, которому «подавал из Томска заявление о помиловании, но какого-либо отклика не дождался. Не знаю, было ли оно и переслано…». Томское заявление не найдено, но сохранилось в архиве Сергея Клычкова заявление, написанное в Колпашеве 12 июля 1934 года во Всероссийский центральный исполнительный комитет:

«После двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах

русской литературы я за безумные непродуманные строки из моих черновиков, за прочтение моей поэмы под названием „Погорельщина“, основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, сослан Московским ОГПУ в Нарым на пять лет.

Глубоко раскаиваясь, сквозь кровавые слёзы осознания нелепости своих умозрений, невыносимо страдая своей отверженностью от общей жизни страны, её юной культуры и искусства, я от чистого сердца заявляю ВЦИКомитету следующее:

Признаю и преклоняюсь перед Советовластием как единственной формой государственного устроения, оправданной историей и прогрессом человечества!

Признаю и преклоняюсь перед партией, всеми её директивами и бессмертными трудами!

Чту и воспеваю Великого Вождя мирового пролетариата товарища Сталина!

Обязуюсь и клянусь все силы своего существа и таланта отдать делу социализма.

Прошу помилования.

Если же помилование ко мне применено быть не может, то усердно прошу о смягчении моего крайне бедственного положения…

Если я недостоин помилования, то усердно прошу уменьшить мне срок ссылки, дать мне минус шесть или даже минус двенадцать без прикрепления к одному месту.

Всё это спасло бы меня от преждевременной смерти и дало бы мне, переживающему зенит своих художнических способностей, возможность новыми песнями искупить свои поэтические вины…»

Это заявление было переслано в Москву Сергею Клычкову для дальнейшей передачи по инстанции. Жена Сергея Варвара Горбачёва показывала его Ахматовой (обвинившей через много лет в «посадке» Клюева Анатолия Яра), которая привела несколько строк из него по памяти в «Листках из дневника».

Из письма Клюева С. А. Толстой-Есениной 17 июня 1934 года: «…Поговорите с богатыми писателями и с моими почитателями — ведь их у меня недавно было немало. Я погибну в Нарыме без милостыни со стороны, без одежды, без пищи и без копейки. Поговорите с В. Ивановым, Леоновым! Нельзя ли написать Шолохову и Пантелеймону Романову, Смирнову-Сокольскому. Если будет исходить просьба от Вас — они помогут… Сходите к Антонине Васильевне Неждановой… Поговорите с ней обо мне — и о том, чтоб она поговорила с Горьким — об облегчении моего положения… Они давно знакомы — ещё по Италии, когда Алексей Макс<имович> был там в изгнании. Объясните

Неждановой просьбу: убавить срок ссылки (дано пять лет по 58–10 статье за поэму „Погорельщина“ и агитацию ею). Дать минус шесть или даже двенадцать без прикрепления к месту ссылки. Оставить мне мою писательскую пенсию, просить ГПУ передать мои рукописи в архив Оргкомитета писателей… Обрадовали бы, если бы соорудили посылочку — чаю, сахару, сухарей из белого хлеба, компоту от цинги, — простите, но я так тоскую по всему этому! Здоровье моё сильно пошатнулось. Теперь бы Вы меня и не узнали бы — такой я стал… Помогите, родная! Простираюсь к Вам сердцем своим, целую Ваши ноги и плачу кровавыми слезами…»

Из письма Клюева Алексею Толстому: «Алексей Николаевич, — после двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы, я за чтение своей поэмы „Погорельщина“ и отдельные строки моих черновиков, за слова моих стихотворных героев сослан в жестокую Нарымскую ссылку, где без помощи добрых людей неизбежно должен погибнуть от голода и свирепой нищеты. Помогите мне ради моей судьбы — как художника и просто живого существа. Умоляю о съестной посылке. Деньги только телеграфом…»

Пишутся письма Николаю Голованову, Вячеславу Шишкову и Павлу Васильеву: «Дорогой поэт — крепко надеюсь на твою милостыню. Помоги несчастному. Отплачу сторицей в своё время. Русская поэзия будет тебе благодарна»… Достоверно известно, что Клычков, его жена, Анатолий, Нежданова, Обухова присылали ему деньги и вещевые передачи, делали всё, чтобы облегчить его участь, и Николай не уставал их благодарить за помощь и поддержку.

А 15 июня датируется его письмо, обращённое в бывший Политический Красный Крест, ныне — Общество помощи политическим заключённым, к Екатерине Павловне Пешковой.

«Двадцать пять лет я был в первых рядах русской литературы. Неимоверным трудом, из дремучей поморской избы вышел, как говорится, в люди. Моё искусство породило целую школу в нашей стране. Я переведён на многие иностранные языки, положен на музыку самыми глубокими композиторами. Покойный академик Сакулин назвал меня „Народным златоцветом“, Брюсов писал, что он изумлён и ослеплён моей поэзией, Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату, Горький помогал мне в материальной нужде, ценя меня — как художника. За четверть века не было ни одного выдающегося человека в России, который бы прошёл мимо меня без ласки и почитания. Я преследовался царским правительством как революционер, два раза сидел в тюрьме, поступаясь многими благами в жизни.

Теперь мне пятьдесят лет, я тяжело и непоправимо болен, не способен к труду и ничем, кроме искусства, не могу добывать себе средств к жизни…»

Кроме просьб о материальной помощи, об оставлении пенсии, о содействии в охране имущества в Москве он просит о главном: перевести его из Нарымского края «в отдалённейший конец быв<шей> Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или в Краснококшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключают возможность разложения его моей поэзией, но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания, неимение которых в Нарыме грозит мне прямой смертью…».

Это обращение продлило ему жизнь, помогло в конце концов вырваться из Колпашева, грозившего неминуемой близкой гибелью.

* * *

Бытовые тяготы и нищенская жизнь не угашали его духа. В начале июня он пишет письмо Яру, где сообщает о новой, только что написанной поэме.

«…Крепко надеюсь на милостыню. Написал поэму — называется „Кремль“, но нет бумаги переписать. Как с поэмой поступить — посоветуй! Жизнью и смертью обязан твоему милосердию… Вероятно, я зимы не переживу в здешних условиях. Прошу о письме. О новостях, об отношении ко мне. „Кремль“ я писал сердечной кровью. Вышло изумительное и потрясающее произведение. Где живёте летом? Райское место — этот городок Горбатов на р. Оке, весь в вишнях и фруктах. Жители только садами и промышляют. У меня много нужды — всего не перескажешь — получу ответ на это, напишу большое письмо. Но сгораю предчувствием твоего письма. Прощайте. Простите!»

Городок Горбатов-на-Оке… Это воспоминание о давнем путешествии, о том, как в этом садовом раю Клюев впервые был арестован местной полицией в 1899 году. Документы, связанные с этим событием в его жизни, хранились одно время в фонде Департамента полиции Российской империи Государственного архива Российской Федерации, но потом были «списаны за ненадобностью».

Не случайно в гибельной Нарымской ссылке вспомнился этот городок. Вспомнилось самое начало *хождения по тюремным мукам.*

«Кремль» упоминается и в других письмах Яру в таких выражениях, в каких Клюев не говорил и не писал ни об одном своём произведении.

«…Иногда собираюсь с рассудком и становится понятным, что меня нужно поддержать первое время, авось мои тяжёлые крылья, сейчас влачащиеся по земле, я смогу приподнять. Моя муза, чувствую, не выпускает из своих тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые слёзы, но звучащую и пламенную поэму. Пришлю её тебе. Отдай перепечатать на машинке, без опечаток и искажений, со всей тщательностью и усердием, а именно так, как были напечатаны стихи, к титульному листу которых ты собственноручно приложил мой портрет, писанный в Вятке на берегу с цветами в руках — помнишь? Вот только такой и должна быть перепечатка моей новой поэмы… Прошу тебя запомнить это и потрудись для моей новой поэмы, на которую я возлагаю большие надежды. Это самое искреннейшее и высоко зовущее моё произведение. Оно написано не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания. Но всё, повторяю, зависит от того, как его преподнести чужим, холодным глазам…»

«…Быть может, скоро кончится путь мой земной, а пока жив я — потрудись устроить мою поэму „Кремль“, ибо такие вещи достойны всяческого внимания и могут быть созданы только в раю или на эшафоте, раз за жизнь поэта.

…„Кремль“ — роковое моё произведение. Ты, конечно, это понимаешь без пояснений. Не давай рукописи никому, пока не перепечатаешь. Рукопись непременно украдут, и даже продадут. Если можно, прочитай её *не торопясь* и не захлёбываясь, собранию поэтов и нужных людей, но ни на один час не оставляй её ни у кого на руках, чтобы не наслоилось на неё клеветы и злых мнений, что очень может мне навредить. Если какой-либо журнал захотел <бы> „Кремль“ напечатать, то договорись о гонораре по высшей ставке, так же и в отдельном издании. В моём голоде и нищете это очень важно. Ах, если бы напечатали! Я бы купил отдельную землянку, убрал бы её по-своему с пушкинским расколотым корытом — и умер бы, никого не кляня. Дитя моё, помоги! Потрудись, похлопочи!.. Но главное — ни по какой усердной просьбе и никому не давай на дом рукописи!!!»

Внимательное чтение поэмы, опубликованной лишь через почти что 70 лет после создания, убеждает в том, что опасения Николая были не напрасными.

* * *

В 1942 году, будучи в лагере для русских немецкого происхождения в Конице, в Западной Пруссии, Иванов-Разумник писал статьи для берлинской русскоязычной газеты «Новое слово». Одну из статей он посвятил персонально Клюеву. Шла там речь, в частности, и о «Кремле», с текстом которого критик познакомился через посредничество Анатолия Яра.

«Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой, … Клюев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся. В 1935 году он написал большую поэму „Кремль“, посвящённую прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: „Прости, иль умереть вели!“ Не знаю, дошла ли поэма „Кремль“ до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

К слову сказать: поэзия не терпит неискренности и насилия. Вымученный „Кремль“, если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Клюева; а он мог и не сохраниться, как и всё поэтическое наследие Клюева этих последних годов жизни».

Ссылаясь на Иванова-Разумника, примерно в том же тоне отозвался о «Кремле» первый публикатор Клюева в США и в Германии Борис Филиппов: «„Кремль“ пропал бесследно, но это — самая лучшая участь для вымученного и фальшивого панегирика жертвы палачу»…

Но уже когда поэма появилась в печати в 2006 году благодаря самоотверженному труду над клюевским архивом, сохранённым Анатолием Яром, — труду его дочери Татьяны и питерского литературоведа Александра Ивановича Михайлова, — когда в Томске вышла книга «Наследие комет» с перепиской поэта и художника и с полным текстом «Кремля» — даже тогда возник соблазн «вписать» Клюева в реестр «приспособившихся», пусть и поневоле, а «Кремль» сопоставить со стихотворными хвалами Сталину Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Во всяком случае — определить для поэмы некий «ранжир».

Нет, не похожа эта поэма на «панегирик жертвы палачу»…

Кремль озарённый, вновь и снова
К тебе летит беркутом слово
Когтить седое вороньё!
И сердце вещее моё
Отныне связано с тобою
Певучей цепью заревою, —
Оно индийской тяжкой ковки,

Но тульской жилистой сноровки,
С валдайскою залётной трелью!..

«Кремль озарённый» — Кремль, являющийся поэту в *озарении.* В божественном озарении, в котором не только переоценивается настоящее, но провидится грядущее.

Клюев, по сути, не изменяет себе, не ломает своей поэтики, он во всеоружии своего всегдашнего красочного слова, которое выпускает *беркутом* к Кремлю — «когтить седое вороньё»… И здесь мы волей-неволей возвращаемся и к циклу «Ленин», где впервые появляется это сакральное слово — «Кремль».

В желтухе Царь-град, в огневице Калуга,
Покинули Кремль Гермоген и Филипп,
Чтоб тигровым солнцем лопарского юга
Сердца врачевать и молебственный хрип.

Тогда врачевателями стали патриарх-мученик, уморенный голодом во время польского нашествия, и митрополит Московский, убитый по наущению сторонника Литвы новгородского архиепископа Пимена (это преступление потом будет приписано Иоанну Грозному). Теперь же — сам поэт, ссыльный и измученный, но возрождающийся на глазах, «когтит седое вороньё» в самом Кремле… Но через что нужно пройти, что преодолеть, дабы выполнить эту завещанную миссию?

…Из пепла серебрится Слово, —
Его история сурово
Метлой забвенья не сметёт,
А бережно в венок вплетёт
Звенящим выкупом за годы,
Когда слепые сумасброды
Меня вели из ямы в яму,
Пока кладбищенскую раму
Я не разбил в крови и вопи,
И раскалённых перлов копи
У стен кремлёвских не нашёл…

Все призраки *костлявой,* воплощавшейся в жуткие образы на протяжении последних лет, отринуты. Живая жизнь весенним *подснежником* вырастает из могильного пепла, кажется, уже похоронившего поэта… Но это воскресение требует платы. Платы

— «Русью Калиты и Тамерлана», ибо новая жизнь властно выступает в гармонии с некогда столь ненавидимым железом.

Мои поэмы — алконосты,
Узорны, с девичьим лицом,
Они в затишье костромском
Питались цветом гоноболи.
И русские — чего же боле?
Но аромат чужих магнолий
Умеют пить резным ковшом
Не хуже искромётной браги.
Вот почему сестре-бумаге
Я поверяю тайну сердца,
Чтоб не сочли за иноверца
Меня товарищи по стали
И по железу кумовья…

Эту поэму невозможно понять, если видеть в ней либо панегирик власти, либо мольбу о прошении, либо стихотворное воплощение мотива покаяния, который выражен в заявлении во ВЦИК, приведённом выше… В ней совершается одновременно грандиозный переворот в самом поэте, соединение некогда не соединимого — природной стихии с железно-государственной, возрождение поэта к новой жизни через плач по старой — и утверждение себя всегдашнего, хранителя и накопителя мировых художественных сокровищ… Пушкинское «чего же боле?» здесь тем более к месту, пушкинскими мотивами пронизан весь «Кремль» — реминисценции из «Пророка», «Полтавы» и «Медного всадника» бисером рассыпаны по всему стихотворному полотну… И если в «Песни о Великой Матери» вместо бронзового Петра в далёком будущем «Егорий вздыбит на граните наследье скифских кобылиц», то ныне «императорское дело»,

Презрев венец, свершил простой
Неколебимою рукой,
С сестрой провидящей морщиной,
Что лоб пересекла долиной,
Как холмы Грузии родной.

Это после упований на победу «керженского духа» в революционной стихии. Красный Содом отбушевал — и перед глазами поэтов выросла цветущая «кремлёвская скала», пред которой он складывает свои поэтические дары. Новая империя,

пред которой невозможно не склонить главу.

Но Клюев и склоняет её по-своему:

У потрясённого Кремля
Я научился быть железным
И воску с деревом болезным
Резец с оглядкой отдаю,
Хоть прошлое, как сад, люблю, —
Он позабыт и заколочен,
Но льются в липовые очи
Живые продухи лазури!
Далекий пасмурья и хмури,
Под липы забредёт внучонок
И диких ландышей набрать…

И здесь — хочешь не хочешь, — но придут на память строки из давней уже книги: «…плакучая ива с анчарным ядом в стволе…» «Ива» льёт слёзы не по старой (хоть и уверяет в том власть) — но по *вечной* русской жизни, о коей свидетельствуют и сами строки… Здесь впору и «славянское словцо», и «пёстрые индии», и «стародавнее „люблю“», и сакральный клюевский Багдад, «дохнувший» на стихи.

Хорошенькое, однако, покаяние!

И этого мотива не заглушить ни приятием железа, ни описанием «чудесного канала» — ещё недавно «смерть-канала»! — на который дивятся, «как лопарки», обонежские сосны, ни песней «колхозной вспашки у ворот» (удостоенной недавно лишь дьявольского рёва!), ни восхищением парадом, возглавляемым Климом Ворошиловым, ни произносимым даже не по слогам, а по буквам (!) фамилиям вождей… Каждая отдельная буква приобретает сакральное значение, как некогда в «Поддонном псалме». И трудно удержаться от дерзкой догадки при чтении алмазных строк:

Клим — костромская пестрядина,
Но грозный воин от меча,
И пёс сторонится, ворча,
Стопы булатной исполина!

Его я видел на параде
С вишнёвым заревом во взгляде,
На гиацинтовом коне,
В неуязвимой тишине
Штыков, как море непомерных…

Не прозревал ли здесь Клюев Парад Победы 1945 года, который, по мысли поэта, принимает первый воин страны, нарком обороны?

«Кормчий Сталин», что «пучину за собой ведёт», в финале поэмы слишком явно соотносится с «Красным Кормчим» Лениным Ильи Ионова, что выявляет явный подтекст (уже для немногих понятный) оглядки Клюева на себя самого середины 1920-х, Клюева «Новых песен», когда он попытался по-своему осмыслить реалии нового времени и нового советского Питера… Когда его «кузнец Вавила» стоял с молотом, занесённым надо всем, «что мило ярому вождю»… Тогда реальность преображалась мифом… Теперь же всё окружающее неумолимо реалистично: Русь должна «научиться быть железной», дабы выстоять в мировых вихрях, в грядущих потрясениях, до которых осталось слишком мало времени…

…И всё же — в чём кается перед советским Кремлём Клюев?

…Я виновен
До чёрной печени и крови,
Что крик орла и бурю крыл
В себе лежанкой подменил,
Избою с лестовкой хлыстовской
И над империей петровской,
С балтийским ветром в парусах,
Поставил ворогу на страх
Русь Боголюбского Андрея! —
Но самоварная Расея,
Потея за фамильным чаем,
Обозвала меня бугаем,
Николушкой и простецом,
И я поверил в ситный гром,
В раскаты чайников пузатых, —
За ними чудились закаты
Коринфа, царства Монтесумы
И протопопа Аввакума
Крестообразное горелье —
Поэту пряное похмелье
Живописать огнём и красью!..

Нет, не случайно Клюев просил Анатолия прочесть поэму «не *торопясь* и не захлёбываясь, собранию поэтов и нужных людей», но не оставлять её ни у кого в руках и никому не давать на дом!

Перетолкований и лжетолкований смысла прочитанного могла быть масса! Поэма обросла бы вредоносными наслоениями, из-под которых к смыслу пробиться было бы уже невозможно.

«Не хочу коммуны без лежанки» — эта своего рода «визитная карточка» Клюева прилепилась к нему уже безотрывно… Тут загадок нет. А «Русь Боголюбского Андрея», поставленная ворогу на страх, — это узел прелюбытнейший. Сын Юрия Долгорукого, участвовавший во многих боях и походах, Андрей Боголюбский, отличавшийся великой любовью к Слову Божию, по его собственному признанию, «белую Русь городами и сёлами застроил и многолюдною сделал»… Ему же были явлены чудеса от святой иконы Божьей Матери, он же воздвиг тридцать храмов во Владимире, где, по слову летописца, «и болгаре, и жидове, и вся погань, видевше славу Божию и украшение церковное, крестились»… Он же ознаменовал своё княжение завоеванием великого Волжского пути, объединил русские земли Киева и Новгорода под своей властью и принял мученическую кончину от рук изменников в Боголюбове… Очевидной становится при воспоминании о деяниях князя Андрея связующая нить, которую тянет Клюев от Древней Руси к железной современности… Но и это ещё не всё.

«Ситный гром» и «раскаты чайников пузатых» явно перекликаются с громами первомайских парадов и «индустриальной юной нивы»… Поэт-то кается, но этот «гром» и эти «раскаты», Коринф, царство Монтесумы и кончину огнепального протопопа никакая современность отменить не может! Более того, всемирный размах клюевского пера, его титаническая суть: «Я — сам земля, и гул пещерный, шум рощ, литавры водопада…» — снова перекликаются с аввакумовским: «Распространися язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земле распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь…» — и соответствуют всемирному размаху сталинской империи, которая ещё не подозревает об этом соответствии. Вот почему «товарищи по стали и по железу кумовья» не должны счесть Клюева «за иноверца»…

То есть вина его в утверждении в современности «Руси Боголюбского Андрея», Коринфа и царства Монтесумы — не такая уж и вина на поверку. Но в чём же он всё-таки виновен?

А вот в чём:

Пятидесятый год отметил
Зарубкою косяк калитки.
В тайник, где золотые слитки

И наговорных перлов короб
С горою песенных узоров,
Художника орлиный норов
Когтить лазурь и биться с тучей
Я схоронил в норе барсучьей…
И мозг, как сторож колотушкой,
Теленькал в костяной избушке:
«Молчи! Волшебные опалы
Не для волчат в косынках алых! —
Они мертвы для Тициана,
И роза Грека Феофана
Благоухает не для них! —
Им подавай утильный стих,
И погремушка пионера
Кротам — гармония и вера!»

Неверие в молодое поколение, которое пробавляется лишь «утильным стихом», — вот главная его вина! А ведь «роза Грека Феофана» — не его лишь личное достояние. Он возомнил себя единственным хранителем духовных сокровищ Древней Руси — и кается ныне в этом перед «величием Кремля», к которому обращены взоры и сердца тех, кто хором запоёт на Красной площади: «Бригада нас встретит работой, и ты улыбнёшься друзьям, с которыми труд и забота, и встречный, и жизнь — пополам» и «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!» Он и перед ними, внимающими «погремушке пионера», разворачивает галерею живописцев и поэтов, которые — пройдёт время — будут стоять рядом на книжных полках, оставив в истории свои жестокие и кровавые стычки. Здесь и Клычков, что «поёт одетые в лазури тверские скудные поля»; и Маяковский — «злодей», что «родную пятилетку рядит в стальное ожерелье»; и Прокофьев — «баян от Ладоги до Лаче», о котором Клюев некогда писал Яру, что его «физиономия кирпича просит»; и «Мандельштама старый дом»; и «лоза лиловая и вдовья» Всеволода Рождественского, о котором говорил, что словесные части его стихов «размерены циркулем»; и «Пастернак — трава воловья», Пастернак, от которого некогда сердечное письмо получил… И единственное исключение делает (вот как сыграла память!) для всеми читаемого, переписываемого, передаваемого из рук в руки Сергея Есенина.

В луга с пониклою ромашкой
Рязанской ливенкой с размашкой
Ты не зови меня, Есенин!

Твой призрак морочно-весенний
Над омутом вербой сизеет
С верёвкой лунною на шее,
Что убегает рябью в глуби…
……
«Смешного дуралея» в сани
Впрягли, и твой «Сорокоуст»
Блинами паюсными пуст,
И сам ты под бирючий вой
Пленён старухой костяной, —
Она в кладбищенской землянке
Сшивает саван в позаранки…

Поверхностно прочитав эти строки, можно подумать, что Клюев пишет о массовом соблазнении молодёжи есенинскими стихами, которые он слушал в декабре 1925-го в «Англетере» и о которых пророчествовал, что будут они настольным чтением для нежных юношей и девушек России (в дурную минуту однажды бросил про Есенина: «От зависти стал романсики пописывать» — а ведь этими «романсиками» стали запевшиеся по всей стране «Письмо к матери» и «Клён ты мой опавший…» надолго забытого потом композитора Василия Липатова, песни так и оставшиеся лучшими из созданных на есенинские стихи). Можно подумать, что речь идёт и о массовых самоубийствах в молодёжной среде сразу после гибели Есенина, которого Клюев оставляет в далёком прошлом, подобно его жеребёнку — «милому смешному дуралею»… И чуть раньше вторгшаяся в поэму есенинская строчка о «ладожском дьячке», кажется, свидетельствует о злопамятности Клюева, ибо накрепко прирос к нему этот «дьячок» как у современников, так и у потомков… Но на самом деле это по сути ответ на «Ключи Марии»: Есенин ещё тогда, в 1918-м, оставлял Клюева в прошлом: «Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева…» И — далее, после цитаты из «Беседного наигрыша»: «Этот образ построен на заставках стёртого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновлённой души и потому должен быть предан земле»… Вот на что отвечает Клюев почти через два десятилетия, поминая подспудно и «Поддонный псалом» — «избу под елью», которую он «разлюбил» при видении Кремля. Выходит, что Есенин остался со своим «жеребёнком» (как будто не желал потом «задрав штаны,

бежать за комсомолом»), а Клюев ушёл в будущее от избы, во всяком случае, от той «избы», с которой связан был определённый подтекст у насельников Кремля.

Жестоко? Да. Несправедливо? Безусловно. И Клюев сам это, очевидно, почувствовал, ибо в декабре 1936 года уже из Томска писал Яру: «Вышли мне „Кремль“ для переделки. Это очень важно!..» Возможно, он хотел более тщательно обработать поэму, в том числе и в части, касающейся Есенина. Но, насколько известно, текста «Кремля» он от Яра не получил.

«Кремль» не столько поэма покаяния и мольбы о прощении (даром, что в финале звучит уже упомянутое «Прости, иль умереть вели!» — и эти же слова звучат в «фугах великой стройки», упоминанием о которой Клюев завершает своё грандиозное полотно), сколько поэма приятия нового времени, единения с ним…

Изначально с советской властью он был согласен в главном — в том, что ещё раз подчеркнул в «Кремле»: в убеждении, что наступит время,

Когда свирепый капитал
Уйдёт во тьму к чертям на бал!

* * *

В августе 1934 года в Москве проходил Первый всесоюзный съезд советских писателей. В «Спецсообщении секретнополитического отдела ГУГБ НКВД СССР», содержащем, в частности, высказывания писателей по поводу доклада Николая Бухарина «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР», упоминалось, в частности, и о Клюеве:

«Поэт Николай Асеев получил адресованное через президиум съезда письмо от брата адм<инистративно> ссыльного поэта Николая Клюева Петра Клюева, в котором тот просит оказать помощь для облегчения положения Николая Клюева. Судя по содержанию письма, Асеев не единственный адресат».

Пётр Клюев в письме, датированном 19 августа 1934 года, писал: «…ваш товарищ, а мой брат Николай Алексеевич Клюев, поэт, сейчас в ссылке. Этапом отправлен около 3 мая, находится в Колпашеве Западной Сибири, Нарымского края… Теперь Николаю Клюеву очень тяжело. Написал мне о срочной ему помощи, что-либо сделать для облегчения его положения я не могу. Обращаюсь к Вам, уважаемый поэт, — помогите Николаю, чем

можете. Объявите, кому следует. Может быть, можно его из ссылки вернуть. Суровая действительность покарала его, не поняв. Я лишь удивляюсь, что при царском режиме Николай, сидя в тюрьме, отвергал всё неестественное, а тут произошло что-то непонятное для меня. Он посажен — выслан за поэму. За какую — я не знаю… Мне бы не хотелось его смерти в Нарымском крае с его суровыми морозами…»

Судя по всему, Пётр, далёкий в последние годы от своего брата, узнав из письма Николая о происшедшем, обратился в президиум писательского съезда.

На самом съезде царила весьма приподнятая атмосфера. Делегаты вершили суд над Достоевским, которого Горькому было «легко представить в роли средневекового инквизитора» и которого Виктор Шкловский предлагал «судить, …как изменника» от имени людей, «которые отвечают за будущее мира». Призывали «выкорчёвывать до основания из сознания читателя националистические и индивидуалистические образы». Объявляли, что «религия держит ещё и сегодня в плену миллионные массы во всём мире; религия является и сейчас орудием фашизма, и надо выбивать это орудие, надо показать, как революция разрушает эту страшную силу власти религии». Утверждали, что Толстой и Достоевский вместе с Ницше были «колоннами», поддерживающими старый несправедливый мир, и писатели призывались «дать бой» — и «это будет бой с титанами, который по плечу лучшим художникам старого времени», ибо «идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше», являются «теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма»…

Имя Клюева на съезде поначалу не упоминалось вообще. Даже в докладе Бухарина, говорившего и о Блоке, и о Есенине, и о Гумилёве, и о Брюсове, не было сказано о сосланном поэте, который был ещё совсем недавно одной из ключевых фигур в русской современной поэзии, ни единого слова. Не вспомнил о нём и Николай Тихонов в своём содокладе. Но, видимо, когда до делегатов дошло письмо Петра Клюева, уже нельзя было сделать вид, что не существовало в отечественном поэтическом мире его знаменитого брата. И первым нарушил «заговор молчания» Александр Безыменский, который, поистине «в поединке не ослаб с косматым зубром-листодёром» — как написал Клюев в «Кремле»:

«Я думаю, что надо говорить не только о советских поэтах (в прямом и точном смысле этого слова), но и о тех поэтах, которые являются рупором классового врага, а также о чуждых влияниях в

творчестве поэтов, близких нам…» С «рупора классового врага» он и начал, упомянув «империалистическую романтику Гумилёва и кулацко-богемную часть стихов Есенина»…

Сразу же боевой бородатый комсомолец перешёл к самим «классовым врагам»: «В стихах типа Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим сплошное противопоставление „единой“ деревни городу, воспевание косности и рутины, при охаивании всего городского — большевистского, словом, апологию „идиотизма деревенской жизни“».

После этого Клюев был снова забыт всеми выступающими вплоть до заключительной речи Максима Горького.

Руководитель нового единого Союза писателей вплёл имя Клюева в контекст своей полемики с Бухариным по поводу Маяковского, которому, по мнению Горького, был свойствен «вредный гиперболизм» — и этот гиперболизм оказал вредное влияние, в частности, на Александра Прокофьева. Но не только *маяковское* влияние отметил Горький. Процитировав несколько действительно пародийных прокофьевских строк, он вспомнил о своём давнем оппоненте.

«Вот к чему приводит гиперболизм Маяковского! У Прокофьева его осложняет, кажется, ещё и гиперболизм Клюева, певца мистической сущности крестьянства и ещё более мистической „власти земли“…»

Всё! На этом разговор о Клюеве был на съезде закончен. Писатели — и молчавшие, и говорившие — ясно дали понять, что вспоминать о нём более не желают. А если он и вспоминается, то как «апологет „идиотизма деревенской жизни“» и «певец мистической „власти земли“». У собравшихся «гуманистов» — ни особого интереса, ни сочувствия вызвать он не может. Дескать, туда ему и дорога!

В это же время в журнале «Крокодил» появляется поэма «молодого да раннего» Семена Кирсанова «Легенда о музейной ценности», герой которой — русский боярин, найденный «в гнилом ископаемом срубе» (очевидно, при уничтожении исторической Москвы), оживает после нескольких глотков из поллитровки (как же иначе!). Его демонстрируют как музейный экспонат, и «славянский фольклор изучают на нём», а тот демонстрирует свои литературные пристрастия.

Но вскоре литературный душок
закрался в душевную мглу его.
Он создал в музее литкружок
в жанре Клычкова и Клюева.

……
Какие-то девочки ходят к нему,
ревет патефон в боярском дому,
и, девочек гладя рассеянно,
читает боярин Есенина.

Конечно, Кирсанова эта картина предельно возмущает и он заявляет в финале, что, дескать, «бояре нам не нужны даже в одном экземпляре»…

Это был последний «сатирический» залп по Клюеву при его жизни. «Серьёзно-критические» ещё продолжались.

…Николай замечательные съездовские речи, во всяком случае выборочно, читал. Пресса до него доходила, да и писавшие ему делились своими впечатлениями от услышанного, мешая факты с недостоверными слухами.

Слухи находили своё отражение и в официальных документах. 26 августа 1934 года был составлен запрос в Нарымский окротдел НКВД г. Колпашева и в Томский оперсектор НКВД совершенно поразительного содержания:

«По имеющимся сведениям, на территории Нарымского края отбывает ссылку а/сс (административно-ссыльный) Клюев Николай Алексеевич и Клычков, имя и отчество для нас неизвестно, прошедшие через Томский распределительный пункт.

Просьба сообщить действительное нахождение на территории Вашего края указанных а/сс, и если таковые являются особоучётниками, вышлите нам учётный материал, если же относятся к группе массовой ссылки, вышлите карточки ф. № 1 с полными установочными данными.

НАЧ. УСО СИВЯКОВ».

Принято считать, что в учётных отделах НКВД царил порядок. Как видно — *бардака* и там хватало. Сергей Клычков, находящийся на свободе (он будет арестован только 31 июля 1937 года), уже числится в сознании «Нач. УСО» административно-ссыльным вместе с Клюевым — причём в одном и том же месте. Где же ещё может находиться «кулацкий писатель», имя которого рядом с именем Клюева склоняется во всех газетах, журналах, критических «исследованиях»!

Ответ в Новосибирск был отправлен ровно через неделю:

«УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК (УСО) г. Новосибирск, на № 015/А

При этом препровождается учётный материал на адм/сс Клюева Николая Алексеевича. Ключков (так! — *С. К.)* на учёте у нас не значится.

вр. и. д. НАЧ. ОКРОТДЕЛА НКВД ЖУК
ОПЕР. УПОЛНОМ. УСО ЦЫПЛЯТНИКОВ».

…Из письма к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 5 октября 1934 года: «Квартира запечатана, и трудно чего-либо добиться положительного о моём жалком имуществе, правда, есть из Москвы письмо с описанием впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили слухи, что моё положение должно измениться к лучшему, и что будто бы Горький стоит за это. Но слухи остаются в воздухе, а я неизбежно и точно, как часы на морозе, замираю кровью, сердцем, дыханием. Увы! Для писательской публики, занятой лишь саморекламой и самолюбованием, я неощутим как страдающее живое существо, в лучшем случае я для неё лишь повод для ядовитых разговоров и недовольства — никому и в голову не приходит подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба как русского художника, так и живого человека. И вновь, и снова я умоляю о помощи, о милостыне… Я писал Николаю Семён(овичу) (Тихонову. — *С. К.)*. Ответа нет. Да и вообще мне — в силу условий ссылки — почти невозможно списаться с кем-либо из больших и известных людей. К этому есть препятствия. Вот почему я прошу переговорить с ними лично. В первую очередь, о куске насущном, а потом о дальнейшем спасении… Как отнесётся Антонина Васил<ьевна> Нежданова? Она может посоветоваться со Станиславским, а он, в свою очередь, с Горьким. Нужно известить Веру Фигнер — её выслушает Крупская и, конечно, посоветует самое дельное. Очень бы не мешало поставить в известность профес<сора> Павлова в Ленинграде, он меня весьма ценит. Конечно, всё это не по телефону, а только лично или особым письмом…»

Клюев не знал, что за день до этого письма в Управление НКВД по Северо-Западному краю поступила шифровка из учётно-специального отдела УГБ НКВД СССР, в которой содержалось распоряжение об отправлении «поэта Клюева» для отбытия оставшегося срока ссылки в Томск «не этапом, а спец-конвоем». Аналогичное по содержанию распоряжение из Новосибирска пришло в Нарымский окружной отдел НКВД в Колпашево. Это сказались хлопоты Екатерины Павловны Пешковой.

Восьмого октября Клюев покинул Колпашево и отправился под конвоем в Томск, куда прибыл через три дня.

Это был последний круг его *хождения по мукам.*

Глава 34
РОЗА, СМЯТАЯ В НАРЫМЕ

В Томске Клюев снял угол в избе, значившейся как дом № 12 по переулку Красного Пожарника.

Из письма к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 24 октября 1934 года: «На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу вёрст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять как милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студёное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрёл по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок, промокший до костей, голодный и холодный, уже в потёмки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города — в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек — приветствием: „Провидение посылало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали“. При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принёс валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдание, разделся и улёгся, — так как хозяин, ни о чём не расспрашивал, только просил меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде — чёрный хлеб…»

Первый раз за всё время ссылки он встретил такое отношение к себе. Впору было залиться благодарными слезами. Хозяин же всё и объяснил: «„Пришла, — говорит, — ко мне красивая, статная женщина в старообрядческом наряде, в белом плате по брови: ‘Прими к себе моего страдальца — обратилась она ко мне с просьбой, — я за него тебе уплачу’ — и подаёт золотой“. Дорогая Надежда Фёдоровна, Вы поймёте мои слёзы и то состояние человека, когда всякая кровинка рыдает в нём. Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого — случилось и следующее: я полез в свой мешок за съестным — думая закусить с кипятком, но, сколько я ни ломал ногтей — не мог развязать пестрядинной кромки, которою завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу и вдоль рубца, отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой

домотканой заплатки вылез жёлтый кружочек пятирублёвой золотой монеты! Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь, я знаю, что за грехи и за личины житейские страдаю я, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и вечный свет…»

Этот свет освещал ему последние годы его томского жития — словно последними ласками одаривал Спаситель — по молитвам за него давно ушедших.

Он знал, что его конец близок. А насколько он был близок — тому подтверждение было в том же документе о переводе поэта в Томск. На казённой бумаге появилось примечание, сделанное синим карандашом: «В дело массов.». Юрий Хардиков, первым исследовавший «Дело ссыльного Н. А. Клюева», дал существенное разъяснение по этому поводу: «По утверждению помощника прокурора г. Москвы советника юстиции В. Рябова, синий карандаш на делах тридцатых годов означал предрешённость судьбы — неминуемую гибель жертвы НКВД. Эта надпись на деле Клюева выполнила своё роковое предназначение».

* * *

Как и в Колпашеве, поэт вынужден был просить милостыню… Об этом вспоминала студентка медицинского института Нина Геблер в 1989 году:

«…Меня остановил очень пожилой, как мне показалось, мужчина, высокого роста, склонный к полноте, бледный, с несколько одутловатым лицом, с полуседыми волосами, подстриженными по-крестьянски под „кружок“. Одет был очень плохо: запомнилась синяя в белую полоску рубашка-косоворотка, по окружности опоясанная шнурком. Но, несмотря на плохую и даже грязную одежду и рваные брезентовые туфли, он имел вид благородного, интеллигентного человека. Он подошёл ко мне, протянул руку и попросил милостыню на кусок хлеба опальному поэту Клюеву. Я смутилась, денег как будто со мною не было, и я предложила ему зайти к нам…»

А просящий милостыню Клюев и здесь *подобился* своему «прадеду Аввакуму», вещавшему: «Сказать ли, кому я подобен? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу…»

В гостях у семьи Геблер он вспоминал и о Есенине, и о Горьком, и о Леонове, и о Пришвине… На вопрос, не сослан ли Клюев за антисоветскую работу против коллективизации среди крестьян, отвечал, что никакой такой работой не занимался и ни

в каких организациях не состоял.

По Томску быстро разнеслась весть о том, что в городе отбывает ссылку известный поэт, учитель Есенина, при том, что есенинские стихи ходили по рукам в огромном количестве списков. Студенты Томского университета, преодолевая вполне естественную тревогу (за одно обсуждение стихов Есенина можно было вылететь из вуза с волчьим билетом, не говоря уже об исключении из комсомола или из партии!), решили прийти к поэту в гости.

Их было четверо — Виктор Козуров, Николай Копыльцов, Кузьма Пасекунов, Ян Глазычев.

«Человек, вышедший из дома, очень похож на Льва Толстого, — вспоминал Козуров. — Обращало внимание чисто внешнее сходство: те же примерно рост и комплекция, овал лица, жилистые крестьянские руки и та же лопатообразная борода, только тёмная и заметно короче. Но главное, что бросалось в глаза, — это одежда: простые шаровары из какой-то грубоватой, чуть ли не домотканой материи, под цвет им — просторная рубаха-косоворотка, подпоясанная узким неброским ремешком, на ногах — домашние туфли, надетые на босу ногу.

Невольно думалось, что все эти атрибуты не случайны. Вероятно, человек сознательно и обдуманно доводил их до степени полной похожести. Об этом свидетельствовала и поза, которую он принял, появившись на крыльце: ладонь, заложенная за пояс, и внимательный, изучающий взгляд чуточку прищуренных глаз, устремлённый в нашу сторону, и лёгкая полуулыбка на лице, и продолжительная пауза, которую он выдержал, прежде чем заговорить с нами…»

Это было написано уже в 1981 году, и на всём этом уже лежит отчётливый отпечаток клюевской «репутации», устоявшейся за минувшие годы. Козуров не мог не отдавать себе отчёта в том, что видел перед собой нищего и загнанного человека, носившего то, что у него есть. Но уж больно велик оказался соблазн представить Клюева талантливым актёром, «обдумавшим» своё появление перед студентами… Сам же Клюев давно уже отринул все «личины житейские» и покаялся в них, о чём мемуарист, естественно, не имел никакого понятия.

Студенты начали расспрашивать его об Есенине, и Клюев, задумчиво поглаживая бороду, говорил:

— Да, Серёжу-то я знал хорошо. Хорошо знал Серёженьку… Жаль мальчика. Рано ушёл, совсем рано. Лучше бы он меня вспоминал. Так было бы справедливее. Ну а что я вам о нём скажу? Что нужно, об этом в своё время сказано и написано. А чего не нужно, лучше и не вспоминать. Так-то оно правильнее

будет. Одно скажу: большого человека потеряли, очень большого. Вряд ли ещё когда такой народится…

На просьбу прочесть любимые им стихи Есенина Клюев ответил, что любит все его стихи, как свои. Может его-то стихи больше любит, чем собственные.

И начал читать «без перерыва и без видимой связи между собой», — как вспоминал Козуров. Он словно заново вернулся памятью к последней встрече с Есениным в «Англетере», к той невольной обиде, которую нанёс своему собрату, слушая его последние стихи. И читая, каялся перед ним. И за те свои слова, и за несправедливые строчки «Кремля», которыми отбрасывал Есенина в прошлое… Он уже знал всё, что вещали делегаты писательского съезда о его любимом друге: Бухарин, услышавший в есенинском поэтическом голосе «культ ограниченности и кнутобойства», у которого Есенин представал как «идеолог кулачества»; Тихонов, усмотревший «однообразные и скучные банальные строки последнего его (Есенина. — *С. К.)* периода», что якобы «написаны на костях его биографии»; Александрович, у которого Есенин «кулацкими элементами фольклора питал своё творчество»… Нет, не желал он петь с ними в унисон, не для них были его песни — ещё и потому просил позже Яра выслать ему «Кремль» для переделки.

И потом, разговаривая с пришедшим к нему рабфаковцем Алексеем Шеметовым, спросил:

— Кто же из поэтов нашего века вам ближе? Тот, кого ныне славят? Маяковский?

— Нет. Есенин. И вы.

— Вот как! Значит, молодёжь нас знает? Не думал. Выходит, мы не совсем забыты. Отрадно. Есенин — глубинно русский песнопевец. Придёт время, Россия будет отмываться его чистоструйной поэзией от пожарищной копоти…

Как сказал тогда в «Англетере» — будут нежные юноши и девушки книжечки составлять из его стихов. И сейчас — как в воду глядел.

* * *

Нежные и сердечные послания с описаниями терний жизненных и с просьбой о поддержке и помощи получали от него и Варвара Горбачёва, и Лидия Кравченко, и Анатолий… Но писем, подобных отправляемым Надежде Христофоровой-Садомовой, он не писал больше никому.

«Когда деревья стоят в густом зелёном уборе, то нелегко

находить на них плоды, — и многие из них остаются незамеченными. Когда же наступает осень и оголяет деревья, то плоды все обнаруживаются. В сутолоке жизни человек едва узнаваем. Его сокровенная жизнь сокрыта в этой чаще. Когда же вторгаются страдания, мы узнаём избранных и святых по их терпению, которым они возвышаются над скорбями. Одр болезни, горящий дом, неудача — всё это должно содействовать тому, чтобы вывести наружу тайное. У некоторых души уподобляются духовому инструменту, слышному лишь тогда, когда в него трубит беда и ангел испытания. Не из таких ли и моя душа?»

Всё, кажется, позади у старого поэта — и переживание нужды, тленного пресмыкания, и ожидание Страшного суда… И создаётся ощущение, что никогда не был так свободен дух его. В эти последние два года жизни поражают взлёт души, высота мысли, душевная сосредоточенность и *очищение сердца.* Именно так он назвал своё философское стихотворение в прозе, скорее даже — поэтическое богословское сочинение, которое начал писать в Томске в конце 1934 года.

С многочисленными ссылками на книги Ветхого и Нового Завета Клюев, отвечая на письмо Надежды, излагает самые сокровенные мысли, пишет по существу о своём духовном *перерождении,* совершающемся в состоянии спокойной и углублённой радости от предвкушения грядущего очищения и сороднения с Господом Нашим.

Он пишет о людях с *природным сердцем,* которые «совершают свой грех добровольно… страшатся суда и смерти, но не боятся греха»… Об *обновлённом сердце* человека обращённого, который находится в состоянии борьбы, старается не грешить, но ему это не удаётся… Это стадии возрастания духа, которые проходил он сам. И, наконец, об *очищенном* сердце. То, о чём он пишет, как нельзя более кстати для восприятия многих и многих наших современников либо не пытающихся ещё найти свой путь к Богу, либо ищущих его и спотыкающихся на каждом шагу.

«Вот тогда-то я уже не уклоняюсь от прямого пути, жизнь моя течёт, как река. Новые песни вложены в уста мои…

Пока сердце Ваше не очищено, Вы не можете ощущать присутствие Бога в душе своей, хотя бы и веровали в Него. Потому что храм должен быть очищен прежде, нежели он наполнится славою Бога — Самим Господом Иисусом Христом — и силою Духа Св<ятого>… Слово Божие обещает нам *полное* освобождение от греха. Вы, быть может, спросите: „Что же Станется с плотью? Могут ли плотские страсти наши <быть> вырваны из сердца?“ Да, могут. Потому что Сам Бог берётся их оттуда изъять. Плоть наша пригвождена была ко кресту вместе с

Христом…

До тех пор, пока сердце моё не было очищено, Христос был только Пророком и Первосвященником для меня: *Царём* своим я его ещё не признал. Он ещё не воцарялся в моё сердце, хотя мне и казалось, что Он обитает в нём. Многие христиане невольно впадают в это заблуждение. И они живут целые годы в полной уверенности, что Христос в них, тогда как на самом деле Он не воцарялся в сердце их. Поэтому, если мы только думаем, что Христос в сердце нашем, это не заставит Его действительно войти в него, пока мы не поверим так, как Он этого желает. Теперь Вы, быть может, уразумеете, совершил ли я — осуществил ли — очищение всякой скверны плоти и духа?..

Кровь Иисуса Христа помимо меня самого очищает меня. Моё дело только идти вперёд по пути Света, чтобы Слово Божие не стало для меня мёртвой формулой. Постоянное движение вперёд обусловливает постоянное очищение…

Дорогая Надежда Фёдоровна, драгоценное дитя Божие, Вы, осмысливая меня как личность, — чаще принимаете за меня подлинного лишь моё отражение в искушениях, которыми я, как никто, бываю окружён… Прикосновение к нам раскалённых стрел сатаны не есть ещё бездна и грех (Еф. 6, 16). Хотя они будут обжигать душу нашу и лишать нас покоя, вызывая те или иные мысли и сомнения, но если мы будем только спокойно наблюдать это, стрелы улетят обратно так же скоро, как прилетели. Наоборот, если мы углубимся в эти мысли, будем стараться понять, откуда они явились, — тогда горе нам… Вспомните моё спокойствие в молитве и при встрече с искушениями. Только слепой сердцем может моё спокойствие при встрече с грехом объяснить *моим участием* во грехе (выделено автором. И это нужно помнить при любом разговоре о Клюеве! — *С. К.)*… Не смотрите на свою или чужую немощь, но взирайте на могущество Божие. Не смотрите на свою наклонность ко греху, это дрожжи Адамовы, но всегда помните силу Христа, тогда Он и сохранит Вас. Так поступаю я — один из грешников, ради которых и пришёл Свет в мир».

Клюев беседует с Христофоровой-Садомовой как с равной себе собеседницей, отвечая на её, судя по клюевским письмам, довольно жёсткие послания, которые, к сожалению, не сохранились. В «Очищении сердца» он продолжает и развивает мысли о. Павла Флоренского из книги «Столп и утверждение истины» («потрясающей книги», по его же словам), в частности, из письма девятого «Тварь», где Флоренский рассуждает о тварной природе человека: «Очищение сердца даёт общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность

подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проницая её, свет Божественной любви освящает и границу личности, тело и отсюда излучается во внешнюю для личности природу. Через корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и всё окружающее подвижника и вливается в недра всей твари». Клюев, прослеживая свою собственную духовную эволюцию, отодвигает *тварную* тему в сторону и сосредотачивается именно на «общении с Богом», путь к которому именно в «очищении сердца». Именно оно преображает душу и сообщает то духовное равновесие, которое необходимо в жизни, где нищета, грубость, голод и предчувствие близкого конца.

* * *

«В чаше страдания не может быть ни одной лишней или бесполезной капли». Эти слова Александра Блока из письма Клюеву, запомненные и пронесённые через годы, Николай поставил в качестве эпиграфа вместе с цитатами из «Послания к Евреям», «Книги пророка Исайи» и «Екклесиаста» в письме к Лидии Кравченко.

…Давно это было. Письма Блока изъяты ещё при аресте 1923 года в Вытегре и пропали без следа… А осталось в памяти то, что и сейчас помогает жить и духа не угашать, вопреки всему.

Николай регулярно посещал Троицкую единоверческую церковь, где настоятелем был бывший князь Ширинский-Шихматов, с которым у поэта сложились близкие и доверительные отношения. Службы в ней совершались до 1939 года, когда она была закрыта, а открылась вновь в 1944 году.

В иконостасе и сейчас можно увидеть домовые иконы XVIII века: Обрадованное Небо, Трерядницу, Николая Чудотворца, Архангела Михаила… В церкви было три придела — для староверов, единоверцев и католиков (которым негде было больше совершать свои службы)… Приковывает внимание старая фреска — Страшный суд. Грешники, объятые пламенем, идут в муку вечную, праведники — в жизнь вечную.

Мимо застроенного теперь оврага уходил поэт в Михайловскую рощу и дальше — к Белоозеру, вокруг которого ныне разбит парк. Посещал он и старообрядческий храм, что на улице имени Яковлева… Навещал Ширинского-Шихматова у него дома на Войлочной Заимке, где в ту пору был совершенно бандитский район.

Из письма Варваре Горбачёвой от 25 октября 1935 года: «Какое здесь прекрасное кладбище — на высоком берегу реки

Томи, берёзовая и пихтовая роща, есть много замечательных могил… Но жаворонков и сельских ласточек по весне здесь не слышно. Ласточки только береговые и множество сизых ястребов. Ещё до Покрова выпал глубокий снег, ветер низкий, всешарящий, ищущий и человечески бездомный. Мой знакомый геолог говорит, что и ветер здесь ссыльный из Памира или из-за Гималаев, — но не костромской, в котором сорочий щёкот и овинный дымок. Как Москва? Как писатели и поэты — как они, горемыки миленькие, поживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною чёрной виной. Переживу зиму — на весну оправлюсь. Теперь же я болен. Лежал три недели в смертном томлении, снах и видениях — под гам, мерзкую ругань днём и смрад и храпы ночью. Изба полна двуногим скотом — всего четырнадцать голов. Не ему мои песни. Лютый скот не бывал в Гостях у Журавлей (так называлась последняя прижизненная книга стихов Сергея Клычкова. — *С. К.)*. Может ли он быть любим? Но блажен тот, кто и скота милует!..»

На территории тогдашнего Томска находилось четыре кладбища — православное, католическое, еврейское и старообрядческое. Скорее всего, Клюев писал о православном кладбище, на территории которого позже были воздвигнуты корпуса завода «Сибкабель».

«Мой знакомый геолог» — это одно из последних в жизни радостных обретений Клюева. Речь идёт о ссыльном геологе Ростиславе Сергеевиче Ильине, в доме которого Клюев часто бывал. Читал хозяевам отрывки из «Песни о Великой Матери», стихи из цикла «Разруха», рассказывал сочинённую им сказку о коте Евстафии и другие сказы…

Вера Ильина, жена Ростислава, вспоминала через много лет: «…Его манера сказителя Севера, мимика, удивительное звукоподражание создавали впечатление такого художественного целого, что забывалось всё окружающее… Он изображал жужжание мухи под пальцами ребёнка, разных животных, мог говорить разными голосами, так что трудно было себе представить, что говорит один человек… Прекрасны были его отрывки из неоконченной поэмы о матери, особенно в его передаче. Многое он забыл и дополнял просто рассказом. Мы очень просили его записать то, что он помнит, но он этого не сделал и продолжить уже не мог…

Помню, как-то нам было с ним по пути. Он часто останавливался, то перед какой-нибудь ёлочкой, то перед берёзкой, и говорил о том, как у них расположены ветки, на что они похожи: получалась чуть ли не поэма. Остановился перед домиком, мимо которого я проходила, не замечая его, а тут я

сама начинала видеть, что „время разукрасило стены, как не мог бы сделать ни один художник, — и нарочно так не придумаешь“, как гармонирует изба наличником с целым этого столетничка; а что этому крепкому домику не меньше 100 лет, видно из того, как срублены лапы. Как-то он сказал, глядя на валенки Ростислава Сергеевича с розовыми разводами, стоявшие на печке: „Для Вас это валенки сушатся на печке, а для меня — целая поэма“…»

Вера Ильина вспоминала, что в разговорах о поэзии Клюев утверждал: поэт должен говорить только видимыми образами и посему отказывался считать поэзией стихи Владимира Соловьёва… Что уж тут говорить о стихах «знаменитостей» 1930-х годов… Сам же он продолжал творить, частично записывая сочинённое на бумаге, а частично оставляя в памяти.

Он общался в это время не только с живыми, но и с давно ушедшими.

Из письма Варваре Горбачёвой от 23 февраля 1936 года, после получения от семьи Клычковых денежного перевода: «… Купил молока, муки белой, напёк оладий, заварил настоящего трёхрублёвого чая, а когда собрал стол, то и пить не мог, всё бормотал, шептал и звал любимых — со мной чайку испить! И они пришли. Первой явилась маменька — как бы в венчальной фате, и видима почти по колени, потом дядюшка Кондратий в отсвете самосожженческого сруба, Серёженька — сильно неподвижный, не освободившийся, Александр, Николай, Владимир, Ильюша — все отошедшие, но в неистребимой силе живущие, даже до цвета и звука!.. Я часто хожу на край оврага, где кончается Томск, — впиваюсь в заревые продухи, и тогда понятней становится моя судьба, судьба русской музы, а, может быть, и сама Жизнь-матерь. Но Сибирь мною чувствуется, как что-то уже нерусское: тугой, для конских ноздрей воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок. Пахнущие кизяком пельмени и огромные китайские самовары — без решёток и душника в крышке. По домам почему-то железные жаровни для углей, часто попадается синяя тян-дзинская посуда, а в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиама, не то Индии. Всё это уже не костромским суслом, а каким-то кумысом мутит моё сердце: так и блёкнут и гаснут дни, чую, что считанные, но роковое никакой метлой не отметёшь в сторону…»

Это письмо было написано перед очередным поворотом в его судьбе. 23 марта Клюев был арестован по обвинению в участии в «церковной контрреволюционной группировке» и заключён в местную тюрьму, где его разбил паралич. Отнялись левая рука и нога, закрылся левый глаз, да ещё настиг порок сердца. Лишь

чудом каким-то выжил. Изъяты были стихотворения и поэмы, записанные уже в Томске.

В тюремной больнице он, возможно, вспоминал свои старые стихи буйных революционных лет.

В китовьем жиру увязают и пули,
Но страшен поэту петли поцелуй;
Меня расстреляют в зелёном июле
Под плеск осетровый и жалобы струй…

Никто не узнает вождя каравана
В узорном бурнусе на жгучем коне…
Не вётлы России, а розы Харана
Под смертным самумом вздохнут обо мне!

Но и в этот раз ему удалось избежать пули…

Дело № 12 264 не сохранилось. Известен лишь документ об освобождении 4 июля «ввиду приостановления следствия… ввиду его болезни — паралича левой половины тела и старческого слабоумия». Слова о «приостановлении следствия» в донесении Управления НКВД по Запсибкраю были зачёркнуты составившим донесение капитаном НКВД Подольским. Явно раскручивалось очередное групповое дело, в этот раз *не докрученное* до конца.

Возможно, сыграло свою роль в освобождении поэта обращение Ростислава Ильина к Екатерине Павловне Пешковой, которая снова помогла опальному поэту. Весной Ильин получил научную командировку в Москву и Ленинград, в Москве был у Надежды Христофоровой-Садомовой, которой передал «Очищение сердца» и рассказал о бедственном положении Николая, и написал письмо в Политический Красный Крест:

«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.

Поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске (где он отбывал ссылку), у него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведён в тюремную больницу. В чём он обвиняется, — неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и др(угие) церковники.

Клюеву в его исключительно тяжёлом положении могло бы помочь личное заступничество А. М. Горького…»

Трудно сказать — обращалась ли Екатерина Павловна к Горькому, который мог поговорить напрямую с Ягодой, что был завсегдатаем в его доме — или действовала сама. Так или иначе Клюев в июле вернулся под свой негостеприимный кров в совершенно разбитом состоянии.

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой после освобождения: «…С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5-го июля. Привезли и вынесли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу… лежу. Мысленно умираю, снова открываю глаза — всегда полные слёз. Из угла смотрит мне в сердце „Страстная“ Владычица, Архангел Михаил на пламенном коне низвергает в пучину Вавилоны, Никола Милостивый в белом омофоре с большими чёрными крестами, с необыкновенно яркими глазами, лилово-агатовыми, всегда спасающими. В своём великом несчастии я светел и улыбчив сердцем… Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец, настало время, когда можно не прибегать к ним перед людями, и это большое облегчение. За косым оконцем моей комнатушки — серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже осень, холодно, грязь по хомут, за дощатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянёт их, от страшной общей лохани под рукомойником несёт тошным смрадом, остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоённую музыкой „Китежа“, с „Укрощением бури“ на стене, но я знаю, что сейчас на берегу реки Томи, там, где кончается город, под ворохами ржавых осенних листьев и хвороста найдётся и для меня место…»

Ещё один, последний и редкостный дар, последнее сокровище в жизни было даровано ему на этой земле, удивительная находка, которой он сподобился посреди тяжелейшего быта, в невыносимой атмосфере пьяных скандалов и нескончаемых попрёков в своём временном пристанище.

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой от начала октября 1936 года: «Горе мне, волу ненасытному! Всю жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки… Всю жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, тогда-то я и не погодился. Но всему своё время, хотя это весьма обидно.

Я сейчас читаю удивительную книгу. Она писана на распаренной берёсте китайскими чернилами. Называется книга „Перстень Иафета“. Это не что другое, как Русь 12-го века до монголов. Великая идея святой Руси как отображения церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенности он, единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т. е. Исландии

царём Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань — теперешние вятские края, а сначала содержались при киевском дворе как экзотика. И ещё много прекрасного и неожиданного содержится в этом „Перстне“. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной сибирской тайге?! Пишу Вам в редкие минуты моей крепости телесной…»

Клюев, читая берестяную книгу, видимо, прямо связывал описанные в ней события с исторической Гипербореей, охватывавшей Русский Север, Скандинавию и Исландию, — праматерью мировой культуры. Иафет — имя третьего сына Ноя, разделившего землю после Всемирного потопа со своими братьями Симом и Хамом. А гиперборейцы — его прямые потомки.

Поистине, сколько погибло таких чудесных свитков! Погибла, очевидно, безвозвратно и найденная Клюевым книга, и мы уже не в состоянии подтвердить или опровергнуть соображения, касающиеся ныне, увы, лишь пересказа одного сюжета в нескольких строках клюевского письма.

«По улице не хожу, больше лежу», — пишет он Варваре Горбачёвой. Единственное, что ещё спасает, — книги. Беда, что изъято многое и не возвращено, но и память кое-что сохранила. Он цитирует в своих последних письмах Феогнида, Романа Сладкопевца, Метерлинка, Иоанна Кронштадтского… Получает, наконец, письмо от Анатолия, пьяного своими успехами, и пишет пронзительный ответ: «Ты знаешь мои чувства на все случаи твоих триумфов или утрат, поэтому воздерживаюсь их повторять. Слишком я болен и слаб, чтобы в тысячный раз уверить тебя в моей любви и преданности к тебе. Не требуй у жертвы, когда над ней уже поднят топор, сладких клятв и уверений. Твою укоризну, что я тебя забыл, сердце моё принимает только лишь как кокетство. Это вполне понятно в твои годы и в твоём нынешнем положении… Радостной теплотой полнится моё сердце от твоих слов: „Мир и красоту своего жилища я ценю выше всего“. Я позволяю себе вместе с великим Вальтер Скоттом сказать: жилища, в котором живёт и благоухает Книга Книг — Библия! Хотя найдётся много пингвинов, тюкающих, что полёт орла к солнцу есть „упадничество“ и что внешний линолеумный комфорт — есть могучая жизнь. Дитя моё незабвенное — поторопись милостыней!..»

И просит он у Яра — акварельных красок и три кисточки: две колонковых и «одну обыкновенную, побольше, — для наведения тонов»… Жаждет он писать не только словом, но и кистью…

В письме Варваре Горбачёвой сообщает, что написал «четыре

поэмы». «Кремль» мы, слава богу, знаем, от остальных трёх не осталось и следа… Впрочем, намёк на след всё же остался. Сергей Васильевич Балакин, сын хозяйки последней клюевской квартиры по адресу: Старо-Ачинская улица, 13, — вспоминал отдельные читанные поэтом строки:

От Москвы до Аляски — кулацкий обоз.
Сломанные косточки, крови горсточки…

Возможно, это строки из поэмы «Нарым», начатой ещё в Колпашеве. Но более об этой поэме мы ничего не знаем. Бесследно пропала и «Повесть об Алконосте» (птице горя и слёз), упоминаемая им в одном из писем.

Зато сохранилось посланное в письме Яру стихотворение, которое принято считать последним:

Есть две страны; одна — Больница,
Другая — Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывною кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:

«Ку-ку! Откройте двери, люди!»
«Будь проклят полуночный пёс!
Куда ты в глиняном сосуде
Несёшь зарю апрельских роз?!

Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину…»
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну

И вижу: тётушка Могила
Ткёт жёлтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность строк.

В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчицыной трубы
Читаю нити: «Н. А. Клюев —

Певец олонецкой избы!»

Странник, переходящий грань земного и смертного миров, оставляющий в прежнем — земном — мире «свою клюку» (посох, помогающий в пути), слышит неприветные слова, лишь переступив роковой порог… «Апрельские розы» — не для вестников смерти, «ткацкие кросна», напоминающие о маминой прялке, оказываются нитями судьбы в руках «тётушки Могилы», напоминающей древнюю Парку… И нити сплетаются в письмена, свидетельствующие о том, кем Клюев останется навечно в земной памяти. «Певцом олонецкой избы» останется он, якобы разлюбивший «избу под елью».

Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!

Вот почему в кувшине розы,
И сам ты — мальчик в синем льне!..
Скрипят житейские обозы
В далёкой бренной стороне.

К ним нет возвратного просёлка,
Там мрак, изгнание, Нарым.
Не бойся савана и волка —
За ними с лютней серафим!»

Этот спасительный ангельский глас, вещающий, что «смерти нет» — предвестие райских кущ, в которые измученный земными невзгодами странник войдёт с принесёнными им в глиняном сосуде розами уже в образе «мальчика в синем льне» — безгрешного младенца, омытого живительной влагой предсмертной исповеди и покаяния…

«Житейские обозы» и убийственный Нарым оставлены за порогом *той* жизни — впереди слышна лютня, которая звучала у него внутри все последние месяцы: «Я так нищ, что оглядывая<сь> на себя, удивляешься чуду жизни — тому, что ты ещё жив. На меня, как из мешка, сыплются камни ежечасных скорбей от и дальних лжебратий, и ближних — с кем я живу под одной крышей. Но как ветром с какой-то ароматной Вифаиды — пахнёт иногда в душу цитра златая, нищетой богатая! Я всё более и более различаю эту цитру в голосах жизни. Всё чаще и чаще

захватывает дух мой неизглаголанная музыка. Ах, не возвращаться бы назад в глухоту и немоту мира! Как блаженно и сладостно слушать невидимую цитру!» И в унисон этой невидимой цитре льётся его последняя песня, что становится первой, спетой за райским приделом, где светлым восторгом сменяется первоначальный страх.

«Небесной родины лишён и человеком ставший ныне», он, проживший земную жизнь, возвращается в свою «небесную родину».

Всё сбылось, житейские невзгоды позади, впереди же — чаемый берег, где смерти нет и страха не бывает. И на этом берегу снова воскресает его чаемая, желанная невидимая «Рассея», древняя и вечная, сберегаемая Христом.

«Приди, дитя мое, приди!» —
Запела лютня неземная,
И сердце птичкой из груди
Перепорхнуло в кущи рая.

И первой песенкой моей,
Где брачной чашею лилея,
Была: «Люблю тебя, Рассея,
Страна грачиных озимей!»

И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень!
Его, как розаны в сосуде,
Блюдёт Христос на Оный день!»

Третьего мая Клюев пишет последнее из известных нам писем Варваре Горбачёвой со своего нового адреса: «Дорогая Варвара Николаевна, приветствую Вас и Егорушку и милого Журавиного Гостя (Клычкова. — *С. К.)*. Теперь вы все, верно, на даче — на своём старом балкончике, — где стихи с ароматом первой клубники, яблони цветут. Моя весна — до Николы с ледяным ветром, с пересвистами еловых вершин. Перевод (30) получил — благодарю, да будет светлой Ваша весна! Прошу Вас поговорить по телефону или написать поподробней Надежде Андреевне о покупке ковра, что он подлинно персидский, старый, крашен не анилином, ремонту лишь руб. на 25-ть. Я писал своему племяннику (Яру-Кравченко. — *С. К.),* умолял его о ковре за 400 руб., но ответа не получил. Если его увидите, то скажите эти условия. Я очень нуждаюсь. Здоровье тяжкое. Адрес новый: Старо-Ачинская ул., № 13».

Срок ссылки подходил к концу, и Клюев, несмотря ни на что, надеялся на скорое освобождение. Из Томска он писал письма и Иванову-Разумнику, ни одно из которых не сохранилось. Архив критика почти целиком погиб в Царском Селе зимой 1941/42 года в его деревянном домике. «Когда я посетил его в последний раз, — вспоминал критик, — библиотека и архив представляли собою сплошную кашу бумаги, истоптанной солдатскими сапогами на полу всех трёх комнат домика; теперь от него осталось только одно воспоминание…» Но из воспоминаний Разумника видно, что Клюев писал ему о грядущей возможности выехать из Томска «с чемоданом рукописей»… Трудно представить себе, что это был за чемодан, и письмо это, конечно, было отправлено не в августе 1937-го, как писал критик, а ранее… Так или иначе, можно предположить, что Клюев ждал окончания своего срока… И дождался бы, если бы не роковые события мая — июня 1937 года.

* * *

В последние годы объективными историками установлено со всей бесспорностью, что к середине 1930-х годов в высших эшелонах власти до последнего предела обострилось противостояние Сталина и его группы верных соратников, с одной стороны, и секретарей крайкомов и обкомов, «красных баронов», умытых кровью Гражданской войны и не желающих расставаться с «р-р-революционными» методами управления, — с другой.

В 1934 году было принято постановление ЦИКа «О порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков», которое было в целом реализовано к 1936 году. В 1935-м за колхозниками было юридически закреплено право на личное подсобное хозяйство, и состоялась реабилитация казачества. 26 ноября 1936 года в «Правде» Сталин объявил, что «не все бывшие кулаки, белогвардейцы и попы враждебны Советской власти».

А самое главное — 5 декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР, были реабилитированы *лишенцы* — колхозники, репрессированные по так называемому закону «о трёх колосках» и «социально чуждые элементы», в частности, в своё время высланные Кировым, «чистившим» Ленинград…

И, наконец, был подготовлен проект прямых, тайных *демократических выборов*: были отпечатаны образцы избирательных бюллетеней с тремя кандидатами — от партийных ячеек, общественных организаций и собраний беспартийных.

Всё это вместе взятое было «красным баронам» не просто поперёк горла. Сталин и его команда подводили черту под Гражданской войной, реально закончившейся только что, после коллективизации, а отнюдь не в 1922 году. Они преодолевали *раскол общества* и, соответственно, *раскол страны* в преддверии самых тяжких военных испытаний.

Прямые демократические выборы — это был конец «ленинской гвардии», конец её реальной власти. Отличились «герои гражданской» за эти пятнадцать лет так, что при свободном волеизъявлении народа ни одному из них как своих ушей не видать было не только кресла секретаря крайкома, обкома или райкома, но даже захудалого стульчика в райкомовской бухгалтерии. Более того, ни о какой их личной неприкосновенности уже не могло быть и речи.

И они перешли в контратаку. И разговор пошёл в любимой терминологии: кто — кого? *Он* — нас, или мы — *его*?

После «кремлёвского дела», раскрутившего *клубок* во главе с Авелем Енукидзе (1935), после процесса Зиновьева — Каменева (август 1936-го) и «параллельного антисоветского троцкистского центра» (январь 1937-го) «бароны» требуют ещё и ещё крови. Народной крови. И крови друг друга.

Народу после всего пережитого в самом деле «жить стало лучше и веселее»… А атмосфера подозрительности и страха нагнеталась день ото дня.

Впрочем, и сам Сталин дал понять *народу,* что не всегда государство может и должно быть милосердным.

Из беседы И. В. Сталина с Лионом Фейхтвангером 8 января 1937 года:

«СТАЛИН: Надо различать критику деловую и критику, имеющую целью вести пропаганду против советского строя.

Есть у нас, например, группа писателей, которые не согласны с нашей национальной политикой, с национальным равноправием. Они хотели бы покритиковать нашу национальную политику. Можно раз покритиковать. Но их цель не критика, а пропаганда против нашей политики равноправия наций. Мы не можем допустить пропаганду натравливания одной части населения на другую, одной нации на другую. Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нацией.

Есть группа литераторов, которая не хочет, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов, а такие элементы у нас имеются. Дать право пропаганды фашизма, против социализма — нецелесообразно…

Критика, которая хочет опрокинуть советский строй, не

встречает у нас сочувствия. Есть такой грех».

Информация о «натравливании», о писателях, «не желающих, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов», бралась с газетных страниц, заполненных умелой травлей *неугодных*. Уже начали раскручиваться в НКВД «дела» против крестьянских писателей: 8 февраля 1937 года по обвинению в «терроризме» был арестован Павел Васильев.

* * *

Всё это имело самое непосредственное отношение к судьбе Николая Клюева. 25 марта 1937 года, сразу по окончании февральско-мартовского пленума, на котором региональные «бароны» устроили настоящую *истерику,* требуя продолжения *охоты на ведьм*, по личному указанию секретаря Западно-Сибирского крайкома Роберта Эйхе начальник управления НКВД по Западно-Сибирскому краю Сергей Миронов (он же Мирон Король) составил письменное предписание, где обосновывалась необходимость «тащить» Клюева «не на правых троцкистов», а «по линии монархически-фашистского типа». Эйхе готовился к проведению грандиозной «операции», с которой, собственно говоря, и началась кровавая чистка 1937–1938 годов.

Эйхе уже в марте сочинял «линию монархически-фашистского типа»… Можно было, в духе времени, использовать и «троцкистов», но в «Клюева-троцкиста» никто бы не поверил даже из местного начальства. И успеть в изготовлении сей страшной «организации» (у которой ещё и названия-то не было!) нужно было *до* июньского пленума 1937 года, на котором предстояло выложить козырные карты на стол.

Название организации появилось в апреле: 29 апреля датирован протокол допроса арестованного в Томске Голова Александра Фёдоровича.

«ВОПРОС. На допросе 19 апреля 1937 г<ода> Вы признали, что являетесь членом контрреволюционной организации „Союз Спасения России“, назвали участников этой организации. Дайте характеристику известным Вам членам контрреволюционной организации, указанным Вами в предыдущем показании.

ОТВЕТ. В состав контрреволюционной организации „Союз Спасения России“ входят лица с явно враждебными взглядами против Советской власти, приверженцы монархического строя…»

И далее — имена: Георгий Лампе, бывший морской офицер Павел Иванов, преподаватель русского и латинского языков Томского университета Александр Успенский, бывший кулак

Гавриил Диков, студенты университета братья Рязанцевы, некто Беляев…

И наконец: «О принадлежности к этой организации Лампе, Беляева, бывш. княгини Волконской, адмссыльного писателя Клюева — мне известно со слов Ивановского, который всех знает лично, посещал их квартиры и обсуждал с ними вопросы борьбы с Соввластью. Особо он придавал значение участию в этой организации писателя Клюева и Волконской, говоря, что „это — люди непримиримой борьбы“…»

Показания эти выжимал из подследственного оперуполномоченный 7-го отдела УГБ младший лейтенант госбезопасности Георгий Горбенко.

Пётр Ивановский, такой же административно-ссыльный, был, очевидно, знаком с Клюевым, как и некоторые другие персонажи этого дела, из которых и сколачивалась пресловутая «организация».

Пятнадцатого мая был допрошен Александр Успенский, по его словам — «по своим убеждениям — социалист».

«ВОПРОС. Кто является руководителем организации?

ОТВЕТ. Со слов Ивановского мне известно, что идейным вдохновителем и руководителем организации является писатель Клюев, отбывающий в данное время ссылку в г. Томске.

Ивановский говорил мне о том, что Клюев является известной фигурой среди монархических элементов как в России, так и за границей прошлой своей деятельностью, что он и теперь остался авторитетной личностью среди людей, ненавидящих советскую власть.

При этом Ивановский говорил мне, что Клюев отбывает ссылку в г. Томске за продажу своих сочинений, направленных против советской власти, одному из капиталистических государств, какому именно — он не упоминал, только указал, что сочинения Клюева были напечатаны за границей, и ему прислали за них 10 тысяч рублей.

ВОПРОС. Лично вы были знакомы с Клюевым?

ОТВЕТ. Нет, личной связи с Клюевым я не имел. Ивановский, как я понял из его слов, с Клюевым знаком давно и находится с ним в близких отношениях, посещали друг друга на квартирах и т. д.…»

Слышал несчастный звон, да не знал, где он.

Но главное было сделано: от *свидетеля* получен необходимый «материал».

Двадцать восьмого мая был выдан ордер № 656 с поручением произвести обыск и арест «гр. Клюева Николая Алексеевича», проживающего по адресу: г. Томск, Старо-Ачинская ул., 13, кв. 1.

В тот же день было выписано «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения». Клюев, оказывается, «является руководителем и идейным вдохновителем контрреволюционной монархической организации „Союз Спасения России“, существующей в г. Томске, принимал в ней деятельное участие, группируя вокруг себя контрреволюционный элемент, репрессированный соввластью. Имеет связи с зарубежными монархическими элементами, по заданию которых проводит к-р работу по объединению враждебных элементов Соввласти…» и потому привлекается в качестве обвиняемого по статье 58, ч. 2, 10, 11. То есть речь шла о подготовке вооружённого восстания с целью захвата власти, пропаганде и агитации, содержащей призыв к свержению или подрыву советской власти и распространении и изготовлении литературы соответствующего содержания, и всё это осложнялось действиями *организации.* И тут же составляется начальником 3-го отделения Том. ГО НКВД лейтенантом госбезопасности Великановым «Справка», в которой все вышеприведённые обвинения дополняются ещё тремя пунктами: «Присутствуя на контрреволюционных сборищах, Клюев выдвигал вопросы борьбы с советской властью путём вооружённого восстания…

Будучи враждебно настроен к существующему строю, находясь в ссылке в г. Томске, Клюев продолжает писать стихи контрреволюционного характера, распространяя их среди некоторых участников контрреволюционной организации…»

Но и этого мало. Нужно дополнить ещё вот чем: «Установлено, что некоторую часть своих контрреволюционных произведений Клюев переправил за границу и из г. Томска (! — *С. К.)* через соответствующих лиц, имеющих связи с представителями иностранных государств».

Кем установлено? Когда? Неужели в эту «передачу» превратились обращения Клюева в Красный Крест?

Впрочем, истина никого не интересовала. Было предписано мерой пресечения избрать «содержание под стражей в местах заключения, подведомственных органам НКВД».

А на следующий день был вновь допрошен Пётр Ивановский, назвавший Клюева в числе других 33 членов «организации». Ещё через день — допрос Георгия Лампе, который поначалу вообще отрицал существование какого-либо «союза», но когда ему пригрозили очными ставками, — сломался. Тут уже одним Томском дело не ограничилось. Щупальца «Союза» оказались куда длиннее!

«ВОПРОС. Какие директивы Вами получались от Московского кадетско-монархического центра?

ОТВЕТ. Директива Московского монархического центра нашей организации предъявляла требование развернуть работу по созданию монархических формирований в Нарыме. При этом особенное наше внимание обращалось на сконцентрированный в Нарымской ссылке монархический элемент и на спецпереселенцев. Последние рассматривались как живая сила будущих повстанческих отрядов.

Волконский как-то говорил мне: „Вы понимаете, что спецпереселенцы — это организованная масса, которая при наличии соответствующих военных кадров может представить собой довольно внушительную армию“.

И по тому, как говорил Волконский, вполне естественно, что Московский центр фиксирует наше внимание на спецпереселенцах. Значительно позже эту же задачу в разговорах со мной подчёркивал и Клюев…

Второй задачей ставилось: максимальное привлечение в организацию реакционной части научных работников Томских ВУЗов…

Третье: предъявлялось также требование обеспечить своё влияние на монархические элементы Алтая…»

И, наконец, 5 июня пришли за Клюевым. При обыске изъяли рукописную тетрадь, шесть рукописей на отдельных листах, удостоверение личности, выданное НКВД, и девять разных книг.

Это был его шестой арест из тех, о которых достоверно известно на сегодняшний день.

* * *

В анкете, которую заполнял Горбенко 6 июня со слов Клюева, есть вещи достаточно странные. В частности, год рождения указан 1870-й. Скорее всего, это фантазия самого следователя, глядящего на измождённого больного старика. Местом рождения своего Клюев назвал место приписки своих родителей — деревню Макеево Кирилловского уезда Новгородской губернии.

Социальное положение — из крестьян-середняков.

Имущественного положения — нет. Политического прошлого — нет. Беспартийный. Ранее в партиях не состоял (ни о приёме в РКП(б), ни о последующем исключении снова не обмолвился). Образование — среднее, но при этом официального образования не имеет. Под судом и следствием, если верить анкете, был лишь раз в 1934 году, когда приговорили к пяти годам ссылки.

Состояние здоровья: паралич и порок сердца. Подпись внизу выведена еле-еле, с наклоном вниз.

В тот день был задан лишь один-единственный вопрос:

— Скажите, за что Вы были арестованы в Москве и осуждены на ссылку в Западную Сибирь?

— Проживая в Полтаве, я написал поэму «Погорельщина», которая впоследствии была признана кулацкой, я её распространял в литературных кругах в Ленинграде и Москве. По существу эта поэма была с реакционным антисоветским направлением, отражала кулацкую идеологию.

На этом допрос прервался. Ни единого вопроса о «Союзе Спасения России» Клюеву задано не было. Возможно, следователь не видел в том нужды.

Клюев сидел в тюрьме, когда в конце июня в Москве проходил пленум ЦК — самый таинственный пленум в истории компартии, ибо заседания, проходившие 22–26 июня, не стенографировались. Результатом стало исключение из рядов ВКП(б) девяти членов ЦК и десяти кандидатов в члены ЦК. Междоусобная борьба разгорелась не на шутку. Кроме того, на пленуме был принят один чрезвычайно важный документ.

«Постановление Политбюро от 28 июня 1937 г<ода>

О вскрытой в Зап. Сибири к.-р. повстанческой организации среди высланных кулаков.

1. Считать необходимым в отношении всех активистов повстанческой организации среди высланных кулаков применить высшую меру наказания.

2. Для ускоренного рассмотрения дел создать тройку в составе нач. УНКВД по Зап. Сибири т. Миронова (председатель), прокурора по Зап. Сибири т. Баркова и секретаря Запсибкрайкома т. Эйхе».

Принятие этого документа Эйхе продавил днём раньше. Следствие по инициированному им делу «Союза Спасения России» шло полным ходом. Но сконцентрировать внимание только на очередной организации контрреволюционеров ему было недостаточно. На пленуме ситуация была представлена уже как подготовка восстания бывших кулаков — тех, кому недавно были возвращены все гражданские права!

Эйхе выступал не один. 1 и 2 июля со Сталиным и Молотовым встретились и имели беседы последовательно один за другим девять секретарей крайкомов и обкомов. «Красные бароны», апологеты Гражданской войны, перешли в наступление, требуя полномочий для борьбы с «врагами народа»… Сталин и его приверженцы оказались в численном меньшинстве и противостоять в открытую у них возможности не было. «Кровью умытые» регионалы имели все шансы сбросить Сталина, выразив ему недоверие в случае его сопротивления, и всё равно развязали

бы террор. По существу, страна стояла на пороге новой фазы Гражданской войны. Оставался лишь один выход: перехватить инициативу, чтобы «бароны» утонули в тех реках крови, которые должны были пролиться, и исчезнуть, наконец, без следа.

Девятого июля было принято постановление политбюро ЦК КПСС «Об антисоветских элементах». Рекордсменом на лимиты по репрессиям в этом постановлении числился Эйхе — «тройке» по Западно-Сибирскому краю предписывалось утвердить намеченных к расстрелу 6600 кулаков и 4200 уголовников. 25 июля все тот же Сергей Миронов заявлял своим подчинённым, что права прокуратуры временно (!) ограничиваются, и давал соответствующую инструкцию: предписывалось хранить всю операцию в тайне до конца её проведения («малейшее разглашение обшей цифры, и виновные в этом пойдут под военный трибунал»), списки на арестованных давать прокурору уже после операции — и не указывать «первая или вторая категория» (то есть расстрел или лагерь), а лишь указывать — уголовник или кулак. Ограничиваться желательно одним, максимум — двумя-тремя протоколами, и никаких очных ставок. «Дела будут оформляться упрощённым процессом».

После оперативного приказа № 00 447 наркома внутренних дел Николая Ежова от 30 июля 1937 года, где говорилось о необходимости провести репрессии среди «бывших кулаков… социально опасных элементов… уголовников… сектантских активистов… церковников…», Эйхе «выбил» лимит в 10 800 жителей Западно-Сибирского края, подлежащих расстрелу, без указания числа обречённых на высылку. Его перещеголял лишь Никита Хрущёв, обозначивший по Московской области число подлежащих репрессиям в 41 305 человек.

И началась настоящая бойня, более всего напоминающая «красный террор» 1918 года, правда, без огласки. Гибли простые люди вперемежку с деятелями партийного руководства, только-только потиравшими руки от предвкушения своей расправы над населением.

* * *

Из протокола допроса Никиты Ширинского-Шихматова от 19 июля 1937 года:

«ВОПРОС: Вам известен Клюев Николай Алексеевич?

ОТВЕТ: Да, Клюева Николая Алексеевича я знаю, он отбывает ссылку в гор. Томске за контрреволюционные преступления.

ВОПРОС: Вы признали, что являетесь сторонником

монархического строя в России. Скажите, с кем Вы из своих знакомых говорили по вопросу борьбы с советской властью и восстановления монархии в СССР?

ОТВЕТ: Об этом я говорил с Николаем Алексеевичем Клюевым. Мы считали, что советская власть рано или поздно должна быть свергнута силами извне, т. е. путём военного выступления капиталистических государств против СССР…

ВОПРОС: Кем и когда Вы были привлечены в… контрреволюционную организацию?

ОТВЕТ: В состав кадетско-монархической организации я вошёл через Клюева Николая Алексеевича в конце сентября 1936 г<ода> или начале 1937 года.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы были вовлечены в состав контрреволюционной организации?

ОТВЕТ: После ряда бесед на контрреволюционные темы с Клюевым Николаем Алексеевичем он сообщил мне, что в г. Томске существует контрреволюционная монархическая организация, ставящая своей задачей вооружённое свержение советской власти…»

Через два дня было вынесено постановление о продлении сроков следствия. Число участников «организации» всё увеличивалось, всё новые и новые подследственные давали показания о том, что Клюев якобы говорил, что, дескать, «недолго осталось коммунистам существовать, скоро мы станем хозяевами России и восторжествуем», и ещё, что «конец 1937 года должен быть началом беспощадной борьбы и уничтожения коммунистов» и что «Япония и Германия придут к нам в качестве наших освободителей»… Чем страшнее — тем лучше!

Наконец, 9 октября сотрудником Томского ГО НКВД Чагиным был допрошен сам Клюев. Он заявил, что виновным себя не признаёт, ни в какой контрреволюционной организации не состоял и к свержению советской власти не готовился. Заявил, что убеждённый монархист, не желая вступать по этому вопросу ни в какую полемику со следователем. Признал (точнее, согласился с допрашивающим, очевидно, желая кончить всё это поскорее), что «действительно продал свои труды представителям иностранной буржуазии», что «знал, что на советскую власть должны рано или поздно выступить фашистские страны» и «был настроен пораженчески», но «в контрреволюционной организации не состоял», с членами «организации» беседовал о церковных делах, в разговорах «выражал недовольство совластью»… Следователь как будто не слышал — перед ним лежали подробные показания остальных арестованных, складывающиеся в цельную картину.

«ВОПРОС: Следствием вы достаточно обличены. Что вы можете заявить правдиво об организации?

ОТВЕТ: Больше показаний давать не желаю».

Такого ответа не дал на допросах ни один из обвиняемых по так называемому «делу» «Союза Спасения России».

Подпись под протоколом уже почти невозможно разобрать — рука не слушалась.

В обвинительном заключении по делу № 12 301 за подписью капитана госбезопасности Овчинникова указано, что «Клюев виновным признал себя частично». А 13 октября датирована выписка из протокола № 45/10 заседания тройки управления НКВД Новосибирской области, постановившей: «Клюева Николая Алексеевича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать».

И, судя по документам, тюремной жизни поэту было отпущено ещё десять дней.

…Здание пересыльной тюрьмы в Томске, где сидели в своё время и Сталин, и Свердлов, и Киров, доживает свои последние дни перед скорым сносом. В старом корпусе № 1 есть карцер № 3, ныне не используемый по назначению. На двери карцера прикреплена табличка: «В этой камере с июня по октябрь 1937 года содержался поэт Клюев Н. А. (1884–1937)».

Сама камера размером в три квадратных метра с окошком для выдачи пищи. В углу у параши — кандальное кольцо, оставшееся ещё от царских времён. Запах тюрьмы не убивается даже свежей краской. Сгущенность воздуха такова, что кажется, вокруг тебя — души всех прошедших через эту камеру…

Едва ли Николай Алексеевич дожидался расстрела, как другие заключённые. Очевидно, он уже умирал.

«Выписка из акта» свидетельствует, что «постановление Тройки УНКВД от 13 октября месяца 1937 года о расстреле Клюева Николая Алексеевича» приведено в исполнение «23–25/X 1937 г<ода>». Ни точный день, ни час приведения приговора в исполнение не указан, и вместо подписи сотрудника оперштаба — нечто неразборчивое.

Действительно ли его расстреляли на Каштаке, где сейчас стоит православный крест в память всех убиенных? Или он окончил свои дни в камере, и его, автоматически оформив «выписку», просто зарыли на кладбище, на месте которого сейчас стоят корпуса «Сибкабеля»? Странная бумага, не дающая нам окончательного ответа ни на один вопрос.

Проходит почти два года — и из Новосибирска в Томск направляется следующий документ:

«Начальнику Томского ГО НКВД.

В вашем районе отбывает ссылку ссыльный Клюев Николай Алексеевич. Срок ссылки ссыльному Клюеву закончился 2/11.39 года, об освобождении его из ссылки никаких сообщений нет. В трёхдневный срок сообщите в 1-й спецотдел НКВД, когда освобождён и куда выбыл. Если же ссыльный Клюев не освобождён, то немедленно освободить и выдать справку.

Зам. нач. 1-го спецотдела УНКВД НСО
ст. лейтенант госбезопасности Дасов.
Пом. оперуполномоченного Лушпий».

Эта бумага неопровержимо свидетельствует о том, что о конкретном масштабе террора, особенно в дальней провинции, представления не имели не только в Москве, но и в областных центрах. На местах ежовские подручные убивали людей, даже не огласив им приговора. Запрос пришёл в Новосибирск, очевидно, из Москвы в ту пору, когда Лаврентий Берия, сменивший Ежова на посту наркома НКВД, стал разбираться с теми делами, что успели натворить чекисты до него, по ходу событий выпуская из тюрем тех, кто не дал на себя показаний. 6 января 1939 года был расстрелян Сергей Миронов, внушавший своим подчинённым, что они, по сути, могут убивать кого угодно (через год получит свою пулю Роберт Эйхе). В областных управлениях НКВД дрожали мелкой дрожью, ожидая своей участи, и этот запрос лишь подлил масла в огонь страха и ненависти.

Ответа из Томска не было, во всяком случае, он не известен. О судьбе Клюева долгое время ходили легенды, самая живучая из которых гласила: он отбыл свой срок, освободился, выехал в Москву, но по дороге скончался от сердечного приступа на одной из станций. В 1939 году именно такую версию рассказывал Всеволод Рождественский Эриху Голлербаху. Владимир Чивилихин в своей книге «Над уровнем моря» даже называл конкретную станцию — Тайга, очевидно, по ассоциации со знаменитым кинофильмом 1930-х годов «Партийный билет», где эта станция упоминалась как место ссылки бывших кулаков.

В 1989 году в Вытегре и Москве распространилось письмо Нины Фёдоровны Шибаевой, которая писала, что Клюев якобы был освобождён, ибо пришли два взаимоисключающих приказа: расстрелять и освободить. Была составлена справка о расстреле, а сам Клюев отпущен. Добрался до Москвы, там снова был арестован и этапирован в Архангельск. Отец Нины Фёдоровны якобы служил в Архангельской тюрьме и рассказал дочери, что там-то Клюева и расстреляли.

На мой запрос Архангельское отделение ФСБ недвусмысленно ответило, что никаких сведений о Николае

Алексеевиче Клюеве у них не имеется.

И сегодня мы наверняка знаем только то, что поэт окончил свои дни в Томске.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце 1950-х годов, в период всеобщей реабилитации, Иван Михайлович Гронский, отсидевший свои 18 лет, составлял реабилитационные справки для Военной прокуратуры. Но когда дело дошло до Клюева — категорически отказался за него хлопотать. Клюев остался для Гронского и личным его врагом, и врагом советской власти.

По делу 1937 года Клюев был реабилитирован военным трибуналом Сибирского военного округа в 1960 году, и для широкой публики это оставалось неизвестным вплоть до 1988 года, когда по запросу Комиссии по его творческому наследию он был, наконец, реабилитирован и по делу 1934-го. Это при том, что одного из его палачей, Николая Христофоровича Шиварова (который был арестован 27 декабря 1937 года и в июне 1938-го покончил с собой в лагере), трибунал Московского военного округа реабилитировал в 1957 году за отсутствием состава преступления (!). Томский же следователь Георгий Горбенко в 1939 году был отправлен на учёбу, в 1950-х работал директором Томского строительного техникума, в том же 1957-м ненадолго исключён из КПСС «за участие в репрессиях» и мирно скончался в своей постели в 1972-м.

Посмертная судьба творческого наследия Клюева не менее интересна, чем его изобилующая крутыми поворотами жизнь. Об этом можно и нужно писать отдельную книгу. Я же остановлюсь на нескольких существенных фрагментах.

Может показаться странным, но за всё время, прошедшее после гибели поэта — и военное, и послевоенное, — его книги никогда не изымались из библиотек. На них не составлялось никаких циркуляров, и они не попадали ни в какие «запрещающие» списки. Видимо, ответственные товарищи считали, что имя «Клюев» говорит само за себя — и ни у кого просто рука не потянется к этому «запретному плоду». В мире литературном прочно и основательно сложилась репутация абсолютного монстра, глядящего куда-то «далеко назад», а широкий читатель со временем стал забывать, что был когда-то такой писатель вообще.

О нём вспомнили без уничтожающих эпитетов (или с их «необходимым минимумом») в конце 1950-х годов исследователи творчества Сергея Есенина. Есенин как бы посмертно протянул руку помощи своему другу и извлёк его из тьмы забвения. Естественно, не обошлось без использования различных «лыгенд» и сплетен.

Здесь, конечно, постарались живые современники, авторы многочисленных мемуаров.

«Пагубное влияние оказывал на Есенина Клюев — талантливый поэт, но кулак и лицемер до последнего ногтя» (О. Литовский).

«Во всём облике Клюева, с которым я встречался недолго, было что-то елейно-лицемерное, лукавое, иконописно-наигранное, но чрезвычайно занятное… Церковно-книжная стилистика Клюева с его елейной рассудочностью» (К. Зелинский).

«Он мне сразу показался актёром, исполняющим в тысячный раз затверженную роль» (И. Эренбург).

«Трудно было разгадать этого „мужика“. Он был умён, а „работал под дурачка“. Был хитёр, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым» (И. Шнейдер).

Это что касается человеческого облика, искажённого и извращённого до последнего предела. Что же касается Клюева-поэта — здесь история выкидывала удивительные фортели. Два человека — на Западе и в Советском Союзе — стали его первооткрывателями. И каждый из них — с чудовищной человеческой репутацией.

В Соединённых Штатах Америки Клюевым вплотную занялся Борис Филистинский, ставший к тому времени Борисом Филипповым. Коллаборационист во время Великой Отечественной, основатель так называемого «русского гестапо» в Великом Новгороде, лично принимавший участие в расстрелах советских военнопленных, он стал вместе с Глебом Струве издателем и комментатором многочисленных книг и собраний сочинений классиков так называемого Серебряного века — Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама, Клюева — издаваемых на деньги Центрального разведывательного управления и служивших своего рода оружием психологической войны против СССР. Этого не скрывали и сами комментаторы. Но как бы там ни было — дело было ценное хотя бы в части публикации многих и многих неизвестных тогда в Отечестве текстов, в частности, текста клюевской «Погорельщины», напечатанной со списка, хранившегося у Ло Гатто. Тенденциозность предисловий и комментариев (и их частичную историческую безграмотность) приходилось по возможности не брать во внимание.

А в СССР первооткрывателем Клюева (без привязки к Блоку или Есенину) считался Владимир Орлов, напечатавший о нём статью в 1966 году в «Литературной России», хотя ещё до этого появились в провинциальной печати ценнейшие сведения о поэте,

разысканные петрозаводским краеведом А. Грунтовым. Но самым первым был всё же Сергей Чудаков — талантливый поэт, умный критик и абсолютно бесшабашный и беспринципный малый, отягощённый массой комплексов и имевший весьма смутное представление о человеческой морали — своеобразный исторический персонаж эпохи так называемой «оттепели», ставший легендой (с чёрным оттенком) ещё при жизни и оставшийся ей после своего бесследного исчезновения. В 1962 году в «Знамени» он напечатал рецензию на сборник стихов Владимира Фирсова «Вдали от тебя», озаглавив её клюевской строкой: «Пшеничные рощи, как улей медовы…» Подробно разобрав книгу Фирсова как «человека одарённого», он сопровождал свой разбор упрёками стихотворцу, который, «споря с героем из-за его бегства в город, стремится вернуть его назад, не в новую, а в старую деревню», в то время как «надо идти вперёд», ибо «нужно *укрупнять поселения,* а дотянуть свет до всех мелких деревенек — и дорого, и неправильно». Фактически отстаивая хрущёвскую программу уничтожения русской деревни, Чудаков в конце своего сочинения отдельно в качестве назидания обратился к Клюеву и его стихам из неупоминаемой тогда нигде книги «Львиный хлеб». К Клюеву, который, по словам критика, «тезис: „подснежник мудрее, чем университет“… защищал с блеском и подлинным пафосом»…

Именно по следам этой рецензии выдала свою инвективу во «Второй книге» Надежда Мандельштам: «Только руситы ищут себе ставленника без подозрительной крови в жилах. Они перебирают прошлое и почему-то не замечают Клюева. Боюсь, что их выдвиженец всех поразит неожиданностью и блеском…» Передёрнуто здесь всё, что только можно, но по крайней мере о Клюеве она не произнесла ни одного худого слова.

(И она нежданно оказалась провидицей. Во всяком случае тогда ещё никто не предполагал возможности такого явления, как поэзия Юрия Кузнецова. После Клюева он стал вторым — и последним — поэтом XX столетия, уверенной и мощной, поистине Святогоровой поступью прошедшим по русскому мифологическому пространству.)

Не замечали Клюева не только «руситы» (как напрасно думала Надежда Мандельштам). Клюева не замечали и не желали замечать читатели вполне либеральных убеждений, пробавлявшиеся «самиздатом». Об этом свидетельствовал, в частности, Михаил Поливанов в предисловии к той же «Второй книге»: «…Многие из них, в разное время и в разных местах, не сговариваясь, просто перестали читать… официально рекомендуемую литературу. И руководствуясь тем же

инстинктом, которым руководствуются овцы, откочёвывая в степь, где есть свежая трава, от вытоптанного пятачка, на котором их пасут, они нашли для себя в современной литературе Гумилёва, Мандельштама, Ахматову, Пастернака, Булгакова. Мы ведь знали эти имена задолго до того, как их снова стали печатать, и таких было совсем немало…» Клюева в этом «джентельменском наборе», естественно, нет, да, пожалуй, и не могло быть… Сознание тогдашних «самиздатчиков» и читателей стихов и прозы в списках, соответствующим образом настроенное, не в состоянии было «переварить» поэта.

И это вполне объяснимо. Еще в 1921 году Корней Чуковский в статье «Ахматова и Маяковский» писал о «двух Россиях» — России «старой» и России «новой», каждая из которых воплотилась в творчестве названных поэтов. России Клюева, как и вообще России поэтов Русского Возрождения, в этой «диоптрии» места не было, а наследники подобного «критического подхода» в 1960-е о «морже златом» тем более не вспоминали.

К концу 1960-х годов относительно спокойная тональность, в которой звучало в печати имя Клюева, начала резко меняться. Связано это было — когда напрямую, когда опосредованно — с кампанией, развязанной против так называемых «руситов» из журнала «Молодая гвардия». Так, Александр Дементьев, громивший их в статье «О традициях и народности», опубликованной «Новым миром», не мог не привести клюевских строк из стихотворения «Мы ржаные, толоконные…» как свидетельства «замшелости» и «реакционности» и самого поэта, и его современных «последователей». Вскоре в том же «Новом мире», где имени поэта слышать не могли без зубовного скрежета, появились воспоминания Елизаветы Драбкиной об Анне Ульяновой, у которой «особое негодование… вызывают „христианствующие“ и „мужиковствующие“ поэты типа Клюева, пытавшиеся изобразить Ленина в этаком „божественном“, „русопятствующем“ виде, умилительнейшем, покрытом липкой славянофильской патокой…». Здесь очевидно отношение к Клюеву и самой Драбкиной, до самого конца оставшейся апологеткой антирусской «ленинской гвардии».

В биографии Сергея Есенина, написанной Евгением Наумовым и изданной массовым тиражом в том же 1969 году, образ Клюева был явлен в густых тёмных тонах. Через три года вышла книга Аллы Марченко «Поэтический мир Есенина». Клюев в этом небезынтересном сочинении вовсе уж предстал в образе «чёрного человека» в судьбе Есенина — едва ли не страшнее и не хуже Вадима Шершеневича. А ещё через год на книжных прилавках появилась мемуарная книга бывшего имажиниста

Матвея Ройзмана «Всё, что помню о Есенине».

Минимальной объективности от этого человека не приходилось ожидать изначально. Но Ройзман поистине превзошёл и всех хулителей последних лет, вместе взятых, и, наверно, самого себя. Застарелая ненависть выплеснулась на страницы мощным потоком, и мемуарист уже не стеснялся в выражениях. Оказывается, именно «мужиковствующие» и спаивали, и провоцировали на скандалы бедного Есенина так, что им даже был запрещён вход в «благопристойное» кафе «Стойло Пегаса»… А наш герой удостоился поистине замечательной характеристики: «Клюев, как был реакционером в идеологии и поэзии, так и остался… Ведь не за положительное отношение к Советской власти в начале тридцатых годов Клюев был сослан в Нарым…»

На дворе 1973 год. Подобные фразы давным-давно исчезли с печатных страниц, их стеснялись тогда самые крутые «сталинисты» — и цензура (как это кому-то ни покажется странным!) стремилась подобное не пропускать. Но Ройзману, оказалось, можно. В тоне, заданном Александром Дементьевым и Александром Яковлевым — автором памятной статьи «Против антиисторизма».

Именно по следам подобных инвектив замечательный поэт Николай Тряпкин написал тогда свои «Стихи о Николае Клюеве»:

Он сам себя швырнул под ту пяту,
Из-под которой дым, и прах, и пламя…
Зачем же мы всё помним ярость ту
И не простим той гибели с мощами?

Давным-давно простили мы таких,
Кому сам Бог не выдал бы прощенья…
А этот старец, этот жалкий мних —
Зачем в его летят ещё каменья?

Но пройдёт ещё немного времени — и с середины 1970-х годов стихи Клюева — перепечатки и новонайденные в архивах — станут появляться на страницах отечественных газет и журналов. Наконец, в 1977 году усилиями замечательного учёного Василия Григорьевича Базанова выйдет первый посмертный отечественный сборник стихов опального поэта в «Малой серии Библиотеки поэта». А ещё через несколько лет, в 1984-м — в Вытегре — будет торжественно отпраздновано 100-летие со дня рождения Николая Алексеевича.

Книжка же самого Базанова о Клюеве «С родного берега»,

сданная в том же году в издательство «Современник», останется без движения лежать в редакционном сейфе вплоть до 1990-го, когда она увидит свет в издательстве «Наука». Не помогла своевременному её выходу и заключительная глава, снабжённая множеством оговорок («Внеисторична сама концепция Клюева, внеисторично отношение поэта к современной деревне, наивна попытка создать модель будущего из обломков патриархальной старины…»)… Отдельные публикации стали возможны, как и статьи о поэте (и тот же Базанов в «Русской литературе» в 1979-м опубликовал статью «Поэма о древнем Выге», посвящённую не опубликованной ещё тогда в СССР «Погорельщине»). Но книгу о «нереабилитированном» печатать тогда никто не рискнул.

Ещё в 1988 году мы получали из прокуратуры СССР письма, в которых утверждалось, что относительно рукописей и книг, «изъятых у Клюева при аресте, этими сведениями органы КГБ не располагают, нет их и в материалах дела». При том, что и стихотворения, и поэмы сохранились «в материалах дела» в количестве, превзошедшем самые смелые ожидания, если учесть, что все изъятые рукописи у абсолютного большинства других писателей сжигались «как не представляющие интерес для следствия». Рукописи Клюева, как можно было понять, представляли очень большой интерес для следствия и сохранились, как и его «дело» под грифом «хранить вечно». У меня же по этому поводу есть ещё и другие соображения.

В «деле» 1934 года не осталось никаких свидетельств того, что с рукописями знакомился кто-либо, кроме следователя Шиварова. Я же предполагаю, что их держали в руках сотрудники отдела, возглавляемого Глебом Бокием, с которым имел прямую связь Александр Барченко. Озабоченные своими мистическими «проникновениями» в историю, эти сотрудники могли порекомендовать сохранить и «Погорельщину», и «Песнь о Великой Матери», и «Каина», и лирику как нужный «познавательный материал»… Впрочем, доказательств этому предположению пока нет, но, возможно, они однажды отыщутся.

Окончательно «прорвало» в конце 1980-х, когда «Новый мир», «Сибирские огни», «Север» и другие журналы стали наперебой печатать произведения и документы из старых книг, государственных и домашних архивов. Воспринимались эти публикации на общей волне реабилитации «жертв сталинизма», когда отечественная история стала в руках властей предержащих и «обслуживающего персонала» чем-то вроде оружия, направленного против «империи» и её ныне живущих жителей… Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Публикации «Песни о Великой Матери» в «Знамени» в 1991-м

и «Каина» в «Нашем современнике» в 1993-м шли уже на фоне государственного и общенародного развала и крушения. Должно было пройти время, схлынуть чёрные волны, прежде чем стало возможно не торопясь, спокойно и вдумчиво оценить и осмыслить сокровища, доставшиеся нам от «моржа златого».

Клюева некогда не замечавшие его любители Серебряного века стали всеми возможными способами вписывать и втискивать в этот самый Серебряный век, не желая думать о том, что ни один из поэтов того яркого, красочного, порочного, сумасшедшего предапокалиптического времени не в состоянии даже частично охватить исторические, мировоззренческие, духовные пласты, подвластные Николаю Алексеевичу. Более того, нас и поныне предупреждают в связи с клюевским наследием, что «миф, даже самый эффектный и увлекательный, может быть опасен. Особенно миф, имеющий острый национальный привкус».

В 1999 году усилиями местных энтузиастов и знатоков жизни и творчества Клюева в Томске на доме по Старо-Ачинской (его последний адрес на воле) была установлена мемориальная доска. А через три года она была сорвана, брошена в канаву (где её в конце концов чудом отыскали) — и сам дом был снесён «по разрешению мэрии». «Свирепому капиталу» и ныне нет дела ни до культуры, ни до человеческой памяти.

Но по-прежнему — один за другим выходят богато и вдумчиво откомментированные тома стихов и прозы, корпуса воспоминаний с доселе неизвестными материалами и документами… В Вытегре и Томске проходят ежегодные Клюевские чтения. Открытие Клюева продолжается, и пожалуй, именно сейчас, в преддверии новых грозных событий, настаёт наконец время осознания его помыслов и пророчеств.

«Завещаю тебе в случае моей смерти поставить на моей могиле голубец — в хмурой нарымской земле», — с этой просьбой обращался Николай Клюев к своему собрату Сергею Клычкову. Неизвестны их могилы, и не стоят над ними голубцы. Но поразительно! Словно через десятилетия услышал эту просьбу поэта-странника наш современник Николай Тряпкин, не знавший о существовании этого письма, когда складывал свой «Стих о Николае Клюеве»:

Теперь бы здесь да белый голубец,
Зелёный клён да ковшик из бересты.
Сюда бы шли и старец, и юнец,
И грозный страж, и милые невесты.

Пускай придут и вспомнить, и почтить,

И зачерпнуть из древлего колодца.
Мы так его стараемся забыть,
И всё-таки забыть не удаётся.

Мы вспомнили о нём. Сорвана пелена забвения с его имени и его стихов. Теперь — настало время подлинного осмысления. Ради нашей духовной и душевной крепости. Ради нашего просветления. Ради нашего спасения, наконец.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Алексей Тимофеевич и Параскева (Прасковья) Дмитриевна Клюевы — родители поэта. Конец 1870-х — начало 1880-х гг.

Село Андома, где, предположительно, родился Николай Клюев

Вытегра. Дом, где жил Николай Клюев. Ныне — Дом-музей поэта и Детская библиотека

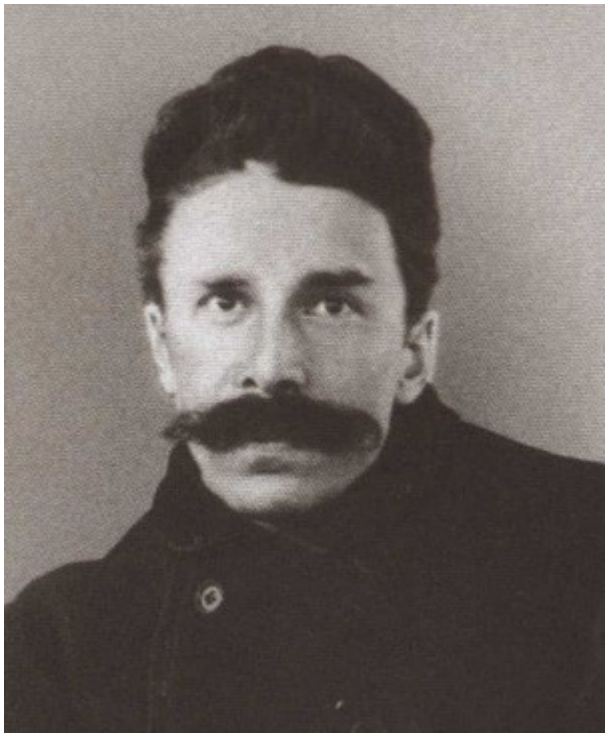
Николай Клюев в детстве. 1885 или 1886 г. (Архив семьи Кравченко)

Соловецкий монастырь

Аввакум и соузники. Старообрядческая икона XIX в.

Николай Клюев с отцом Алексеем Тимофеевичем. 1900 или 1901 г.

Константин Фёдорович Некрасов. 1900-е гг.



Виктор Сергеевич Миролюбов. 1900-е гг.

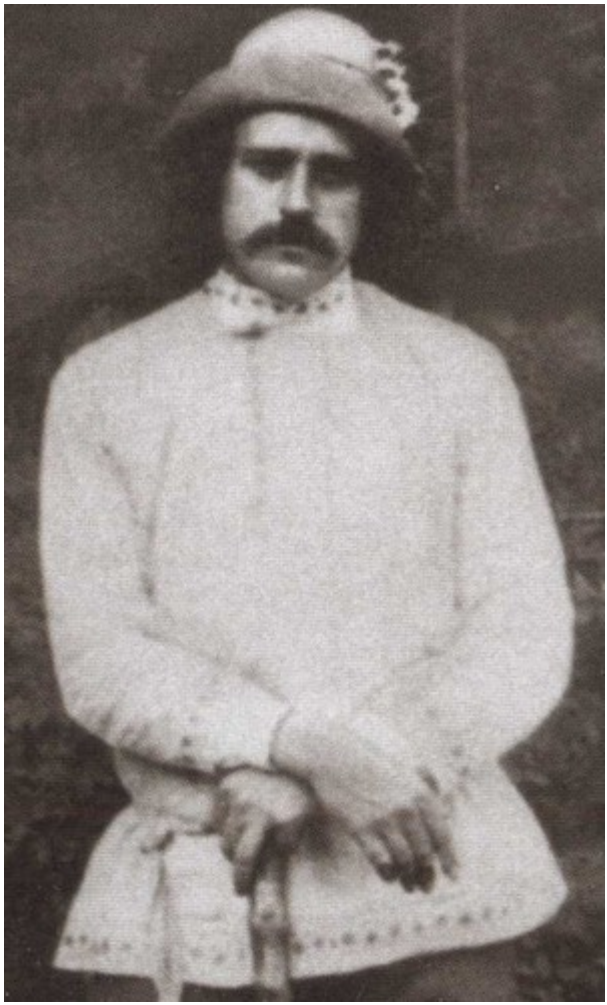
Иона Пантелеймонович Брихничёв. Около 1905 г.

Валерію Яковлевичу Брюсову
съ любовью великой
Николай Клюевъ.
Зима. – 1912 г.

Обложка первого издания книги Н. Клюева «Сосен перезвон». 1912 г.

Любимому поэту
Николаю Алексеевичу Клюеву
в знак дружбы
"Изрекле сладкопет сонгі
"Поэтов мерк собой изгудет."
Москва, 4 декабря 1912. Валерий Брюсов

Александр Блок

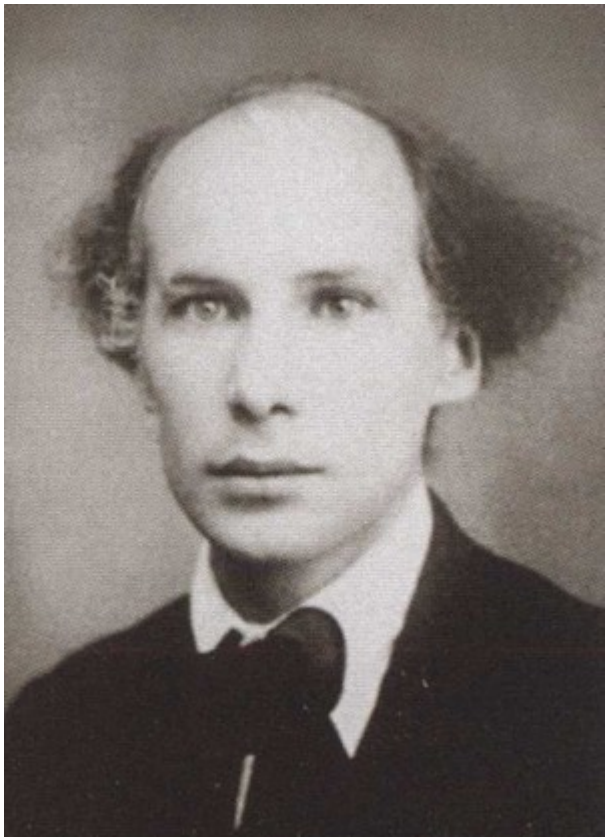


Сергей Клычков

Иванов-Разумник (Р. В. Иванов). 1910-е гг.

Михаил Кузмин. 1900-е гг.

Алексей Ремизов. 1900-е гг.



Андрей Белый. 1915 г.

Сергей Гарин (Гарфильд) и Николай Клюев. 1912 г.

Сергей Есенин и Сергей Городецкий. Петроград, 1915 г.

Большой зал Тенишевскаго училища

Въ воскресенье, 25-го октября 1915 г.,

ВЕЧЕРЪ

„КРАСА“

Сергѣй Городецкій. Зачальное прослонье. Ржаные лики.

Алексѣй Ремизовъ. Слово.

Сергѣй Есенинъ. Русь. Маковыя небеса.

Николай Клюевъ. Бесѣдный плугарь. Избяныя рѣсни.

Александръ Ширяевецъ
Сергѣй Клычковъ
Павелъ Радимовъ
} Тріединица.

Прочтетъ Е. Бѣлъ-Ковь-Любопрудскій.

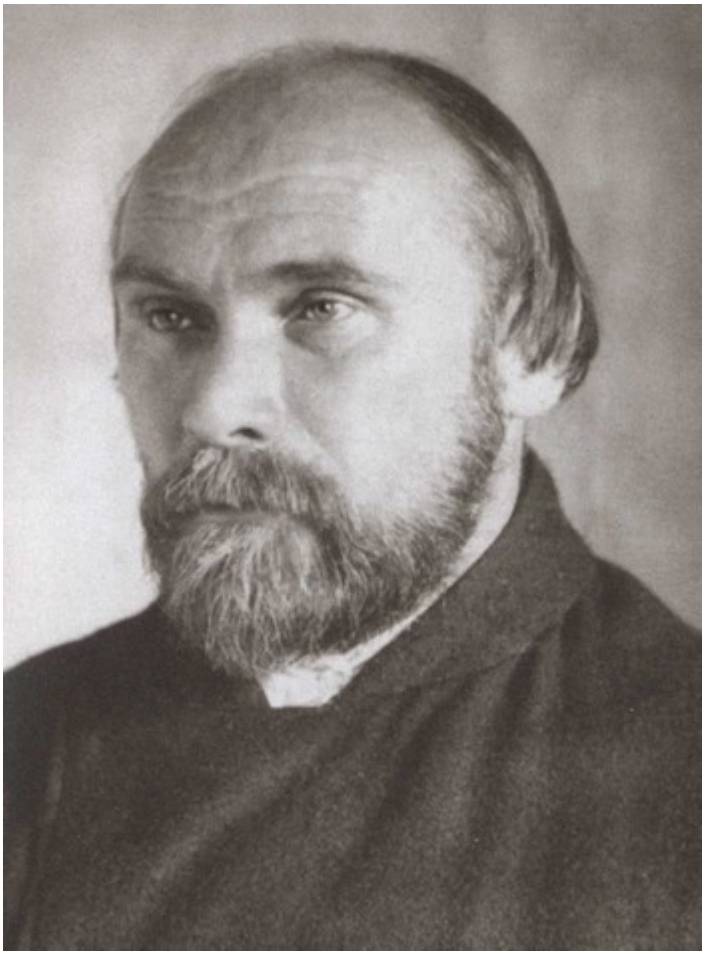
Рязанскія и заонежскія частушки, прибаски, канавушки, веленни и страданія (подъ ливенку)

Начало въ 8½ час. вечера.

Билеты въ кассѣ зала, у Вольфа (Невскій 13 и Гостиный Дв. 18), Попова (Невскій 66), Центральной театральной кассѣ (Невскій 23), Сытина (Невскій 68).

Снопы. Рисунок Н. Клюева. 1910-е гг.

Северный пейзаж с часовней. Рисунок Н. Клюева. 1912 г.

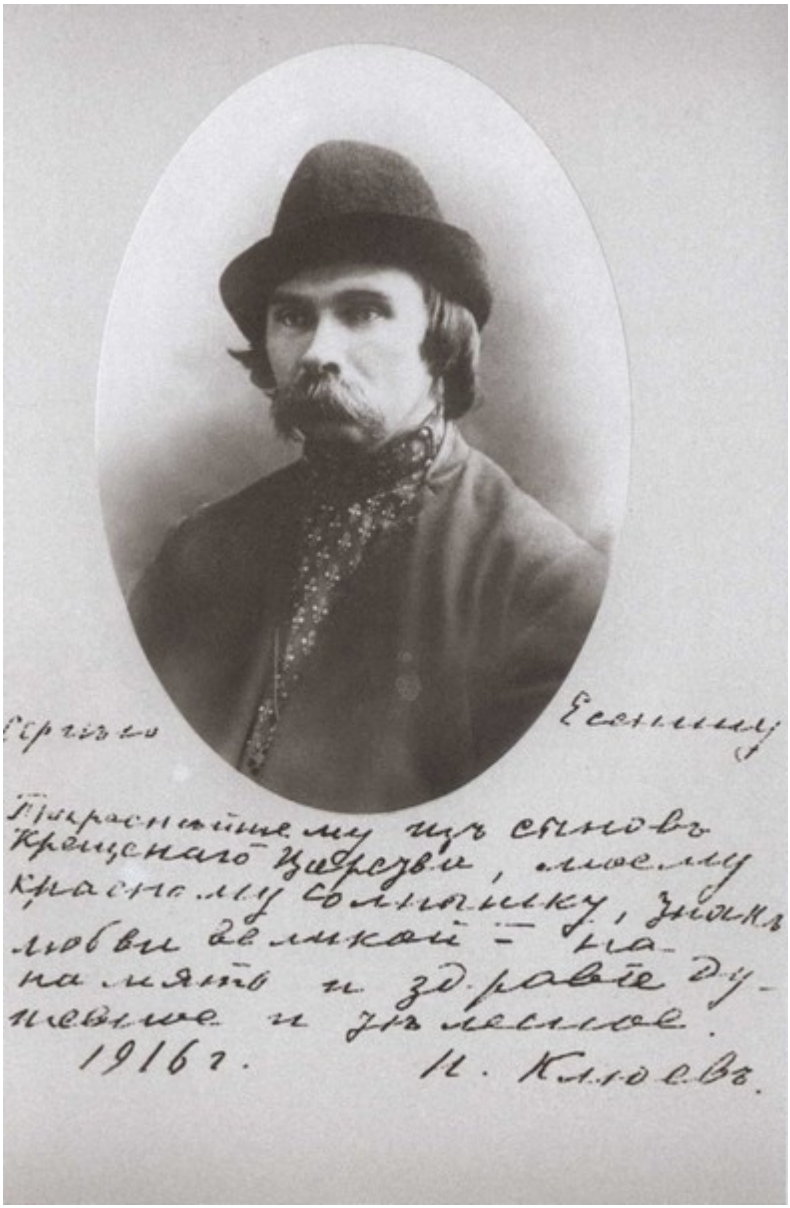


Николай Клюев

Надежда Плевицкая

Николай Клюев. Вытегра, 1915 г.

Николай Клюев. 1916 г.



Сергею Есенину

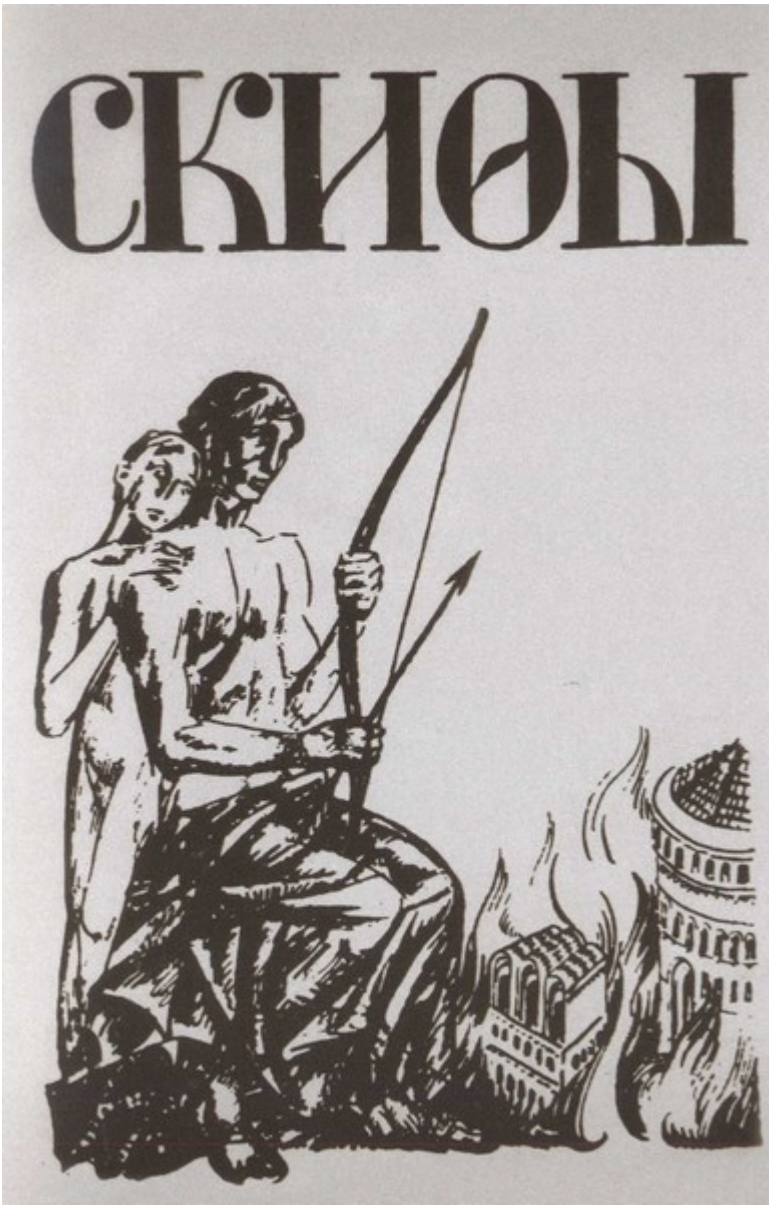
Прекраснейшему из сынов
Кременного Цветущего, любезному
красному моему солнышку, Знаку
любви великой — на-
шему Лелю и здравой ду-
шевные и телесное.
1916 г. Н. Клюев.

С Сергеем Есениным. 1916 г.

С Сергеем Городецким. 1916 г.

Анна Ахматова

Николай Гумилёв



Обложка альманаха «Скифы»

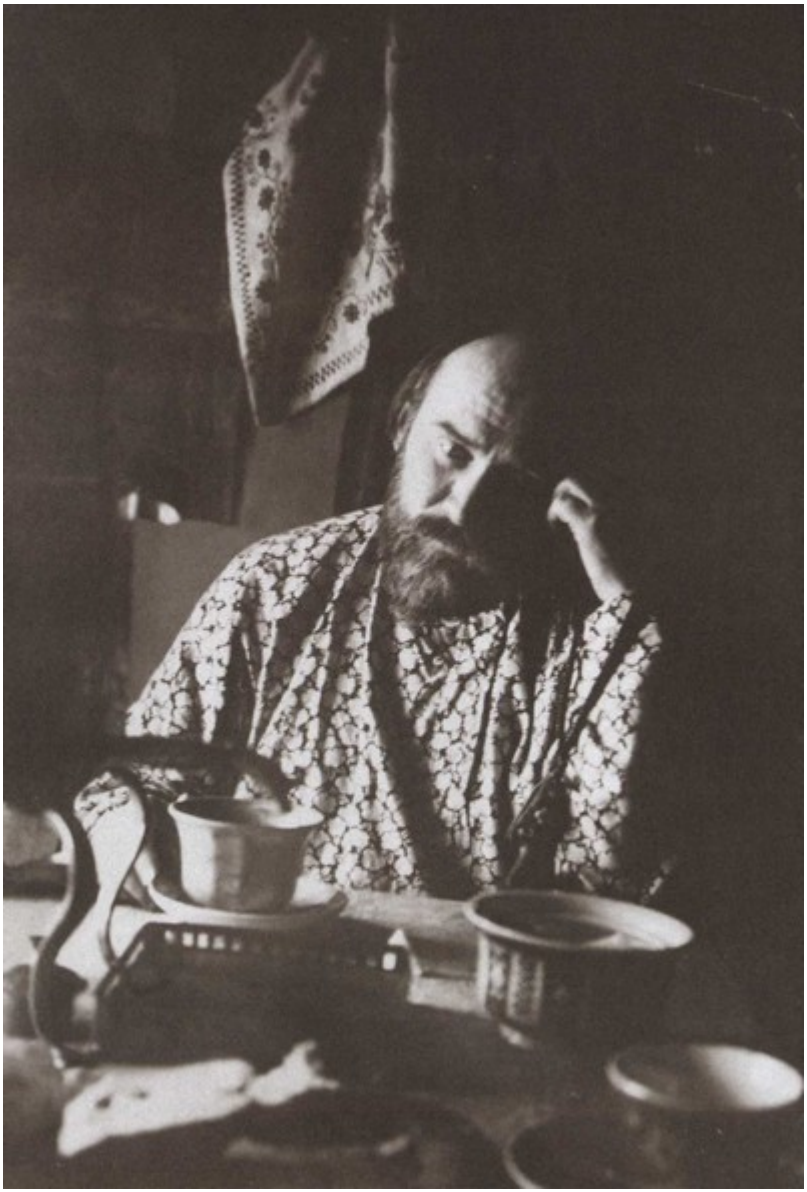
Клюев читает стихи. 1928 г.

Пётр Орешин

Павел Медведев

Алексей Ганин

Александр Ширяевец



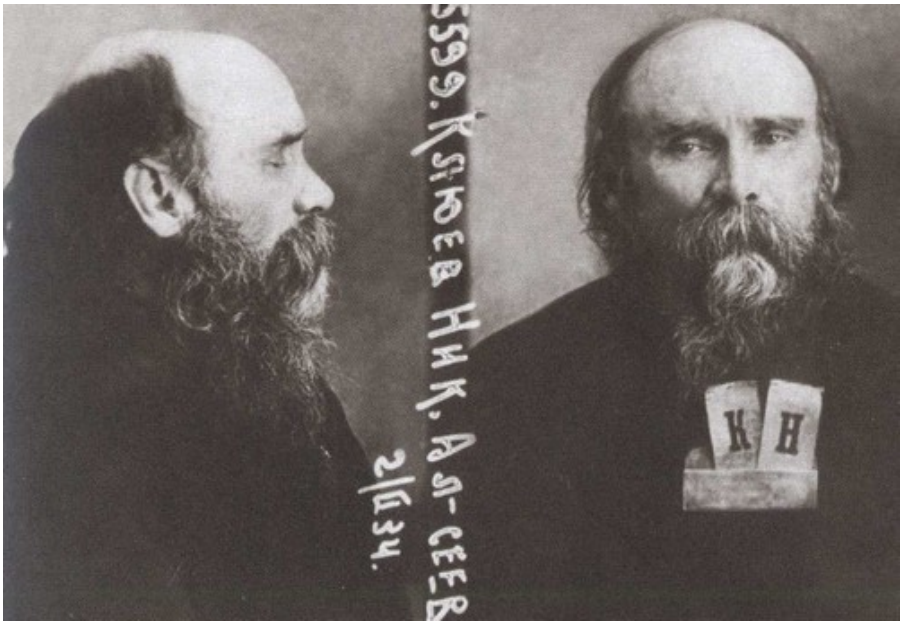
Николай Клюев

Павел Васильев. 1932 г.

Николай Клюев, Анатолий Яр-Кравченко и Сергей Клычков.1929 г. (Архив семьи Кравченко)

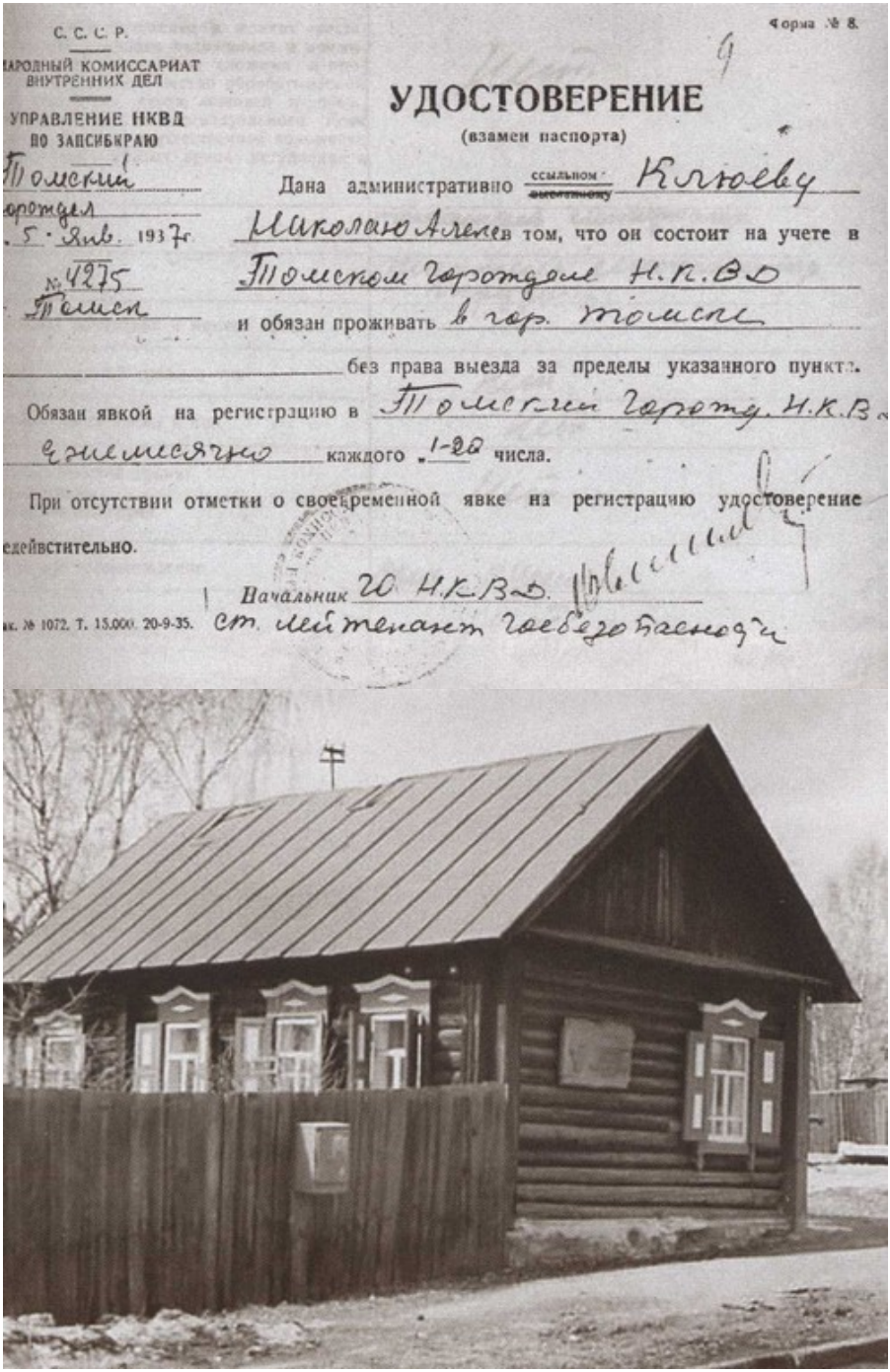
Николай Клюев. Портрет работы А. Яр-Кравченко. Начало 1930-х гг.

Изба в деревне Потрепухино. Рисунок А. Яр-Кравченко. Надпись: «Изба в Вятской губ., где написана мною поэма „Каин“. 1929 г. Август — Н. Клюев»



Клюев — арестант. 1934 г.

Колпашево. Нарым, 1934 г.



С. С. С. Р.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ НКВД ПО ЗАПСИБКРАЮ

Форма № 8.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

(взамен паспорта)

Томский горотдел
5 · Янв. 1937г.
№ 4275
Томск

Дана административно ~~ссыльному~~ ~~высланному~~ Клюеву Николаю Алексеевичу в том, что он состоит на учете в Томском Горотделе Н.К.В.Д. и обязан проживать в гор. Томске без права выезда за пределы указанного пункта.

Обязан явкой на регистрацию в Томский Горотд. Н.К.В.Д. 2 раза месячно каждого 1-20 числа.

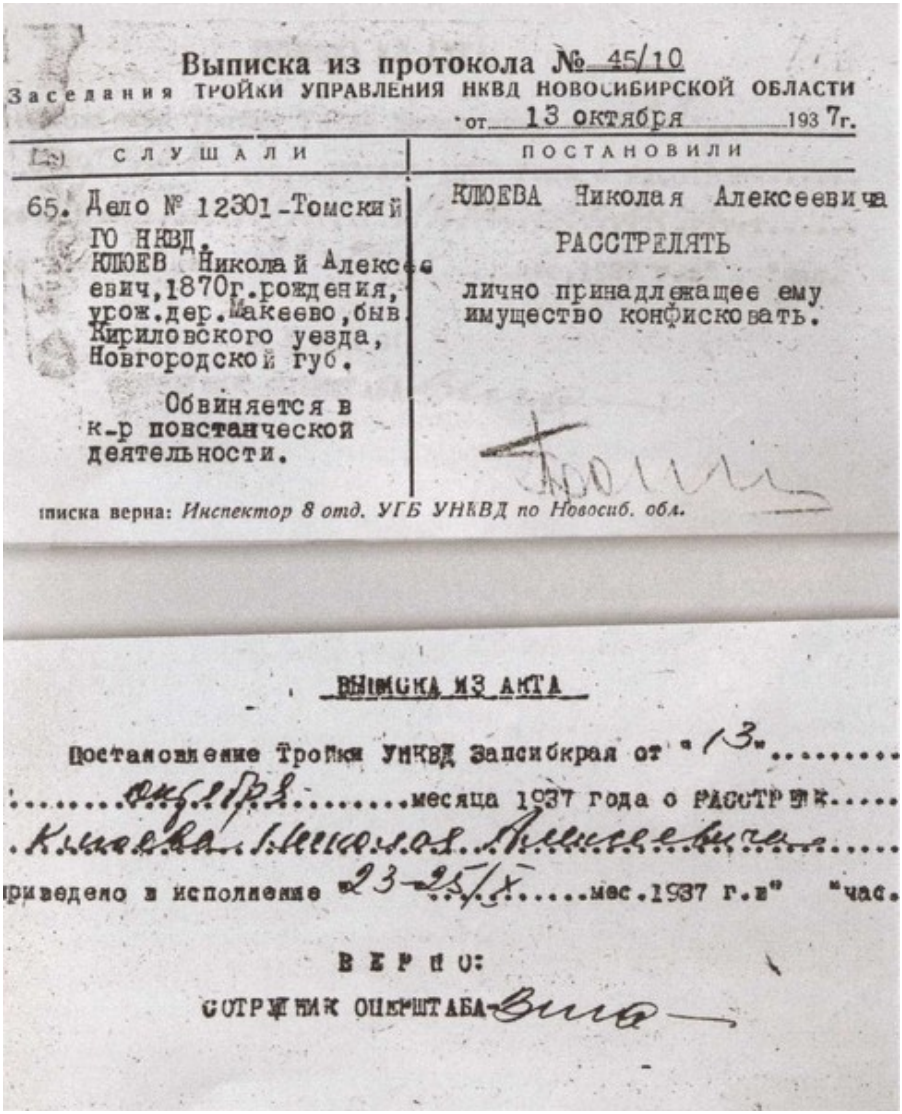
При отсутствии отметки о своевременной явке на регистрацию удостоверение недействительно.

Начальник 10 Н.К.В.Д. ст. лейтенант госбезопасности

Тип. № 1072. Т. 15.000. 20-9-35.

Местожительство Н. А. Клюева в 1937 году. Томск, улица

Старо-Ачинская, дом 13. Фото 1999 г.



Выписка из протокола № 45/10
Заседания тройки управления НКВД Новосибирской области
от 13 октября 1937 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
65. Дело № 12301-Томский ГО НКВД. КЛЮЕВ Николай Алексеевич, 1870 г. рождения, урож. дер. Макеево, быв. Кириловского уезда, Новгородской губ. Обвиняется в к-р повстанческой деятельности.	КЛЮЕВА Николая Алексеевича РАССТРЕЛЯТЬ лично принадлежащее ему имущество конфисковать.

Выписка верна: *Инспектор 8 отд. УГБ УНКВД по Новосиб. обл.*

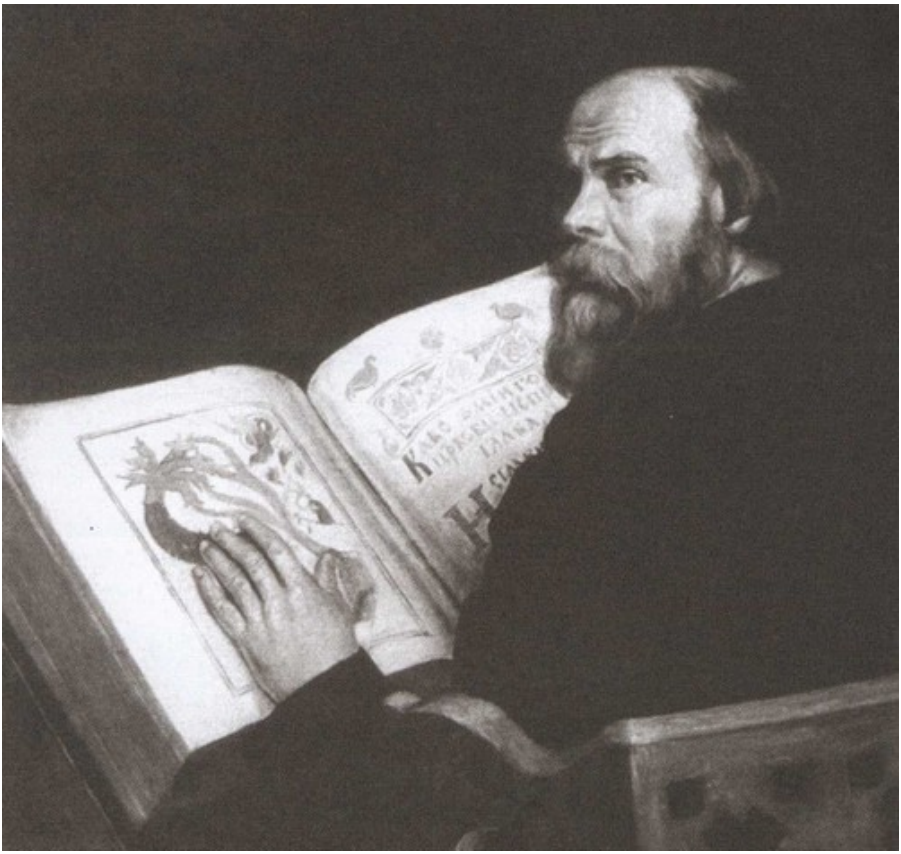
ВЫПИСКА ИЗ АКТА

Постановление Тройки УНКВД Запсибкрая от "13." ..... октября ..... месяца 1937 года о РАССТРЕЛЕ ..... Клюева Николая Алексеевича .....

приведено в исполнение "23-25/X ..... мес. 1937 г. в" "час.

ВЕРНО:

СОТРУДНИК ОПЕРШТАБА



Николай Алексеевич Клюев. Портрет работы В. Щербакова. 1930 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. КЛЮЕВА

***1884**, 10 октября <22 октября н. с.)* — в одной из деревень (предположительно, в деревне Андоме) в семье Алексея Тимофеевича и Параскевы Дмитриевны Клюевых родился сын Николай. *1893(?)—1895(?)* — Николай Клюев учится в Вытегорском городском училище.

1897(?)—1899(?) — проходит послушание в Соловецком монастыре. Странствует по Центральной России и Кавказу, возможно, и по другим областям Российской империи. Знакомится с Л. Н. Толстым.

***1901**, 1 сентября — 1902, 13 апреля* — обучается в Петрозаводской фельдшерской школе.

1902 — впервые приезжает в Петербург. Знакомится с Марией и Еленой Добролюбовыми.

***1904**, март* — первая публикация стихотворений в сборнике «Новые поэты» (издание Н. Иванова).

1905 — завязывает отношения с членами петербургского «Бюро содействия Всероссийскому крестьянскому союзу», вступает с ними в переписку. Получает нелегальную литературу и распространяет её в пределах Олонецкой губернии, ведёт устную агитацию. Публикует стихи в коллективных сборниках московского «Народного кружка».

***1906**, 2 января* — участвует в святочном маскараде в общественном клубе Вытегры.

22 января — выступает на сельском сходе в деревне Косицыной Вытегорского уезда. Агитирует крестьян подписать текст «приговора», распространяемого «Бюро содействия Всероссийскому крестьянскому союзу», который направляется в Петербург на имя С. Витте. На сходе избирается уполномоченным по выборам в Государственную думу.

25 января — обыск, арест и заключение в Вытегорскую городскую тюрьму.

26 января — 25 апреля — содержится под стражей в Вытегре.

26 апреля — 25 июля — переводится в Петрозаводск и заключается в Олонецкую губернскую тюрьму.

29 мая — приговаривается к шести месяцам заключения с зачётом срока предварительного содержания под стражей.

26 июля — освобождается из тюрьмы.

***1907**, январь* — завязывает переписку и знакомится с поэтом Леонидом Семёновым.

22 января — первая печатная информация о Клюеве как поэте в петербургской газете «Родная земля».

Конец сентября — начало октября — начало переписки с Александром Блоком.

13 ноября — начало военной службы в Выборге.

Ноябрь — декабрь — за отказ нести службу заключается под стражу. Содержится в Выборгской крепости и в военной тюрьме г. Сен-Михель (Миккели).

Декабрь — в московском журнале «Золотое руно» (№ 11/12) — статья А. Блока «Литературные итоги 1907 года» с цитатами из второго письма Клюева к нему (без упоминания фамилии автора).

1907, конец декабря — 1908, начало января — этапируется в Петербург для медицинского освидетельствования.

***1908**, январь — февраль* — находится в Николаевском военном госпитале (Петербург).

Февраль — знакомится с Виктором Миролюбовым. Первая публикация прозы Клюева — статья «В чёрные дни: Из письма крестьянина» (Наш журнал. № 1).

Май — получает освобождение от военной службы (белый билет). Возвращается на постоянное место жительства в Желвачёво.

1 сентября — посылает А. Блоку статью «С родного берега» для переправки В. Миролюбову живущему во Франции на положении эмигранта.

Октябрь — публикация стихотворений в «Золотом руне».

Декабрь — начало регулярных публикаций стихов в газете-журнале «Новая земля».

30 декабря — фрагменты письма Клюева «С родного берега» озвучиваются в докладе А. Блока «Стихия и культура» в Религиозно-философском обществе.

***1911**, июль — август* — гостит в деревне Гремячке Данковского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина-сектанта Г. Ерёмина.

Август — приезжает в Москву. Знакомство с Ионой Брихничёвым, о. Валентином Свенцицким.

23 августа — знакомится с Валерием Брюсовым и его семьёй.

Сентябрь — приезд в Петербург.

26 сентября — первая встреча с Александром Блоком.

Сентябрь — октябрь — знакомится с С. Городецким, Н. Гумилёвым, А. Ахматовой, Н. Бруни, журналистом А. Румановым.

Октябрь — в издательстве «В. И. Знаменский и К°» выходит первый сборник стихов поэта «Сосен перезвон» с предисловием

В. Брюсова.

***1912**, май* — под маркой журнала «Новая земля» выходит книга «Братские песни» со вступительной статьёй о. В. Свенцицкого и предисловием автора.

Июль — в серии «Библиотека „Новая земля“» выходит первая книжечка о Клюеве о. В. Свенцицкого «Поэт голгофского христианства».

Август — сентябрь — в серии «Библиотека „Новая земля“» выходят две брошюры Клюева — «Лесные были» и «Братские песни».

Сентябрь — приезжает в Петербург. Останавливается в семье сестры К. Расщепериной. Знакомство с А. Ремизовым, Вас. Гиппиусом. Приезжает в Москву. Останавливается в семье писателя С. Гарина.

Сентябрь — декабрь — знакомство с С. Клычковым. Публичное чтение стихов на «Средах» Н. Телешова, в Народном университете им. А. Шанявского, в женской гимназии З. Травниковой, на званых вечерах у графини П. Уваровой, О. Озаровской и др.

15 октября — знакомится с А. Толстым.

9 декабря — приезжает в Петербург.

19 декабря — присутствует на лекции С. Городецкого «Символизм и акмеизм» в кафе «Бродячая собака».

1912, декабрь — 1913, март — знакомится с М. Лозинским, М. Зенкевичем, М. Кузминым. Становится членом Цеха поэтов.

***1913**, февраль* — в издательстве К. Некрасова (Москва — Ярославль) выходит сборник «Лесные были».

15 февраля — знакомится с редактором «Народного журнала» Е. Замысловской.

Март — начало переписки с А. Ширяевцем.

19 ноября — смерть матери Клюева Параскевы Дмитриевны.

***1914**, 19 июля* — Германия объявила войну России.

В течение года — регулярные публикации в «Ежемесячном журнале», учреждённом В. Миролюбовым, и в «Биржевых ведомостях».

***1915**, 24 мая* — С. Есенин отправляет Клюеву первое письмо, положившее начало их переписке.

1 октября — участвует в заседании литературного «Кружка Случевского» на квартире у И. Ясинского. Знакомство с П. Карповым, Ф. Фидлером, Б. Садовским, А. Кондратьевым.

2 или 3 октября — впервые встречается с Есениным.

10 октября — совещательное собрание общества «Страда» на квартире С. Городецкого.

Сентябрь — октябрь — встречается с Григорием Распутиным.

19 октября — знакомится с Н. Плевицкой.

Октябрь — знакомится с полковником Д. Ломаном.

25 октября — выступает на вечере «Краса» в концертном зале Тенишевского училища.

Октябрь — декабрь — знакомится с Максимом Горьким, В. Маяковским, В. Чернявским, Рюриком Ивневым, Ф. Шаляпиным, А. Бенуа.

19 ноября — выступает на первом вечере общества «Страда» в зале Товарищества гражданских инженеров.

10 декабря — вечер поэзии Клюева и Есенина в том же зале. Вступительное слово произносит Иероним Ясинский.

***1916**, 7–10 января* — выступление Есенина и Клюева в Марфо-Мариинской обители, патронируемой великой княгиней Елизаветой Феодоровной в её присутствии.

12 января — выступление Есенина и Клюева перед великой княгиней в её доме в присутствии В. Васнецова и М. Нестерова.

21 января — вечер поэтов в московском «Обществе свободной эстетики».

Январь — выходит сборник «Мирские думы».

27 марта — Клюев читает стихи вместе с Есениным на вечере «сказки и былин» В. Уструговой в зале Петровского коммерческого училища.

Апрель — выходит в свет первый сборник «Страда» со стихотворениями Клюева.

22 апреля — 6 мая — Клюев участвует со своими стихами в концертной поездке Н. Плевицкой по Российской империи (Витебск, Минск, Могилёв, Гомель, Киев, Орёл, Тамбов, Пенза, Сызрань).

9 июня — читает стихи в артистическом кабачке «Привал комедиантов».

Сентябрь — первая публикация стихотворения Клюева («Пашни буры, межи зелены…») на иностранном языке (в американском журнале «Russian Review»).

22 и 23 октября — получает пропуск на богослужения в Феодоровском Государевом соборе (Царское Село) и присутствует на этих службах.

11 ноября —17 декабря — вторая концертная поездка Н. Плевицкой и Клюева (Двинск, Баку, Тифлис, Владикавказ, Армавир, Ставрополь, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Москва, Нижний Новгород, Владимир, Тверь).

***1917**, январь — февраль* — пишет письмо Д. Ломану «Бисер малый от уст мужицких».

Начало февраля — встречается в Царском Селе у Иванова-Разумника с Андреем Белым. Беседы о сектах Русского Севера, о

хлыстовстве.

12 февраля — читает поэму «Новый псалом» на заседании Религиозно-философского общества.

27 февраля — начало Февральской революции в России.

Июль — выходит в свет первый сборник «Скифы» с циклом стихотворений Клюева «Земля и Железо» и статьёй Андрея Белого «Жезл Аарона (О слове в поэзии)», с трактовкой творчества Клюева и Есенина.

25 октября — начало Октябрьской революции в России.

Декабрь — выходит в свет второй сборник «Скифы» с «Песнью Солнценосца» и циклом «Избяные песни», а также книга Б. Богомолова о Клюеве «Обретённый Китеж».

***1918**, 25 февраля* — в Петрограде выходит в свет сборник четырёх поэтов (Клюева, Есенина, П. Орешина, А. Ширяевца) «Красный звон».

12 марта — смерть отца Алексея Тимофеевича.

Конец марта — начало апреля — Клюев переезжает на постоянное место жительства в Вытегру.

Конец апреля — вступает в Вытегорскую городскую организацию РКП(б).

12 мая — выступает на вечере памяти Карла Маркса с «малым словом от уст брата-большевика» — «На пороге счастья и вечности» (не сохранилось) — и чтением стихов. Представление пьесы поэта «Красная Пасха» (текст не найден).

Июнь — до 5 августа — встречается с художником Б. Григорьевым, который пишет его портрет.

Июль — участвует в «Красных вечерах», проводимых Вытегорской организацией РКП(б).

Август — знакомится в Петрограде с В. Кирилловым и И. Ионовым.

Начало октября — в издательстве Петросовета выходит книга «Медный кит».

Ноябрь — начало сотрудничества с журналом «Пламя».

***1919**, 24 января* — Клюев и Есенин присутствуют на «Вечере молодых поэтов» в помещении бывшего кафе «Домино».

Март — начало сотрудничества с газетой «Звезда Вытегры». Регулярные публикации стихотворений и статей.

Июнь — в Петрограде выходит в свет первый том «Песнослова».

1 июля — Клюев выступает на общем собрании городской организации РКП(б) со словом «Из золотого письма братьям-коммунистам».

Октябрь — в Петрограде выходит второй том «Песнослова».

22 октября — Клюев выступает на концерте-митинге в

помещении Вытегорского губвоенкома с «Малым словом из дум о родимой земле».

***1920**, 14 января* — выступает на уездном учительском съезде с «докладом о ценностях Олонецкого древнерусского искусства».

14 марта — в собрании членов РКП(б) поднимается вопрос об оставлении поэта в партии.

18 марта — Клюев выступает на митинге в честь дня Парижской коммуны со «Словом о Коммуне» (текст неизвестен).

21 марта — на заседании 3-й уездной конференции РКП(б) вновь обсуждается вопрос: может ли поэт, «ретиво исполняющий православные обряды», оставаться членом партии? В свою защиту Клюев произносит слово «Лицо коммуниста» (текст неизвестен). После обсуждения конференция принимает (большинством в две трети голосов) решение оставить его в РКП(б).

28 апреля — Олонецкий губернский комитет РКП(б) отменяет решение уездной партийной конференции и исключает поэта из партии.

Октябрь — Вытегорский кружок «Похвала народной песне и музыке» выпускает книгу «Неувядаемый цвет: Песенник».

23 и 24 октября — в Петрограде проходят два авторских вечера поэта: «Огненное восхождение» и «первый литературный вечер Вольной философской ассоциации».

Ноябрь — берлинское издательство «Скифы» выпускает (без ведома автора) книгу «Песнь Солнценосца. Земля и Железо».

Декабрь — в берлинском издательстве «Скифы» выходит (без ведома автора) книга «Избяные песни».

***1921**, 31 мая* — Клюев вступает во Всероссийский союз писателей.

Май — июнь — входит в состав учредителей петроградского «Содружества поэтов».

7 августа — смерть Александра Блока.

Декабрь — через делегата 9-го Всероссийского съезда Советов Н. И. Архипова Н. К. Крупская получает цикл «Ленин» для передачи вождю. В петроградском издательстве «Эпоха» выходит отдельным изданием поэма «Четвёртый Рим».

***1922**, начало марта* — Клюев собственноручно правит выполненный Н. Архиповым список прозаического произведения «Гагарья судьбина».

Апрель — в московском издательстве «Наш путь» выходит сборник «Львиный хлеб».

21 августа — в Петрограде на заседании Вольной философской ассоциации Клюев знакомится с П. Медведевым. Читает поэму «Мать-Суббота».

5 октября — публикация в «Правде» заключительной части

статьи Л. Троцкого «Внеоктябрьская литература» под названием «Олонецкий поэт Николай Клюев».

Декабрь — в петроградском издательстве «Полярная звезда» выходит отдельным изданием поэма «Мать-Суббота».

***1923**, июнь* — после ареста Клюев препровождается в Петроград. Содержится при ведомстве ГПУ на Гороховой, 2. После освобождения остаётся на жительство в Петрограде. Поселяется по адресу: ул. Герцена (бывшая Б. Морская), 45.

14 октября — встречается с Есениным, приехавшим из Москвы.

18 октября — приезжает с Есениным в Москву.

18 октября — 6 ноября — останавливается в коммунальной квартире (Брюсов пер., д. 2а, кв. 27), где проживают сотрудники газеты «Беднота», в том числе Г. Бениславская, у которой незадолго до того поселился Есенин. Встречается с С. Клычковым, А. Ширяевцем. Подписывает вместе с Есениным, Орешиным, Клычковым и др. обращение группы крестьянских писателей в ЦК РКП(б) с просьбой разрешить группе иметь отдельную смету в Госиздате РСФСР для издания своих книг. Знакомится с Айседорой Дункан.

25 октября — в Московском доме учёных Клюев выступает вместе с Есениным и Ганиным на «Вечере русского стиля».

Ноябрь — Петроградское отделение Госиздата РСФСР выпускает книгу поэта «Ленин».

6 декабря — в петроградском издательстве «Прибой» выходит книга В. Князева «Ржаные апостолы: Клюев и клюевщина».

***1924**, апрель* — Клюев становится членом заново организованного ленинградского отдела Всероссийского союза поэтов.

16 мая — в Ленинграде выходит журнал «Русский современник» с циклом «Песни на крови».

23 июля — 1925, 2 января — композитор А. Пащенко пишет героическую поэму «Песнь Солнценосца» для солистов, хора и оркестра на слова Клюева.

В течение года — выходит сборник поэта «Ленин» в ленинградском отделении Госиздата РСФСР вторым и третьим изданиями.

***1925**, июнь* — в издательстве «Новая Москва» выходит книга «Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней» (составители И. Ежов и Е. Шамурин) с 28 стихотворениями Клюева и с фрагментами автобиографического рассказа поэта в записи П. Медведева.

25–27 декабря — Клюев встречается с Есениным у себя на квартире и в гостинице «Англетер» (ныне «Интернациональная»).

С *27 на 28 декабря* — гибель Есенина.

29 декабря — Клюев участвует в гражданской панихиде по Есенину (Всероссийский союз писателей, наб. Фонтанки, 25). Провожает гроб с телом друга на Московский вокзал.

В течение года — предложение Клюева о выпуске сборника «Львиный хлеб» отклоняется главным редактором издательства «Круг» А. Воронским.

***1926**, январь* — первая публикация Клюева в журнале «Звезда».

Июль — в деревне Марьино Новгородской губернии Клюев пишет поэмы «Заозерье», «Деревня», «Плач о Сергее Есенине». Заболевает. Его перевозят в Ленинград и помещают в больницу им. И. И. Мечникова.

Август — октябрь — переносит две операции.

***1927**, 10 января* — в издательстве «Прибой» выходит книга Н. Клюева и П. Медведева «Сергей Есенин». В её составе клюевский «Плач о Сергее Есенине», стихотворения «Мой край, моё поморье…» и «Успокоение», а также статья критика «Пути и перепутья Сергея Есенина». На вечере памяти Есенина в Большом драматическом театре Клюев читает свой «Плач…» и стихи Есенина.

Январь — в журнале «Звезда» публикуется поэма «Деревня».

2 февраля — в вечерней «Красной газете» публикуется статья А. Безыменского «„Русское дело“ Н. Клюева», положившая начало систематической травле поэта в печати.

Август — Ленинградский союз поэтов выпускает коллективный сборник «Костёр» с поэмой Клюева «Заозерье».

***1928**, 11 апреля* — Клюев знакомится с Анатолием Кравченко на выставке картин Общества им. А. И. Куинджи.

25 апреля — в издательстве «Прибой» выходит сборник «Изба и поле» — последняя прижизненная книга поэта.

Июнь — Клюев знакомится с греческим писателем и журналистом Никосом Казандзакисом и румынским писателем Панаитом Истрати.

Июль — сентябрь — посещает Полтаву и село Старые Санжары. Пишет поэму «Погорельщина».

18 ноября — в зале Государственной академической капеллы — первое (и единственное) исполнение героической поэмы А. Пащенко «Песнь Солнценосца» на слова Клюева.

*Ноябрь — **1929**, июнь* — Клюев выступает с поэмой «Погорельщина» в литературно-художественных кругах Ленинграда и на различных званых вечерах.

Апрель — знакомится с итальянским историком русской литературы и переводчиком Этторе Ло Гатто.

Июнь — встречается с Н. Кирьяновым, читает поэму «Соловки», текст которой известен лишь в записи Кирьянова, сделанной им по памяти.

Август — сентябрь — живёт в деревне Потрепухино близ города Советска Вятской губернии. Пишет поэму «Каин». Начинает работу над «Песнью о Великой Матери».

Сентябрь — октябрь — вместе с А. Кравченко приезжает в Саратов. Живёт в деревне Разбойщине под Саратовом. Знакомится с Н. Минхом.

14 ноября — 1930, январь — живёт в Москве, квартирует у С. Клычкова и Н. Минха. Знакомится с Н. Голованoвым, М. Нестеровым, П. Флоренским.

В течение года — работает над циклом стихотворений «Стихи из колхоза».

***1930**, 25 февраля* — после освидетельствования в Бюро врачебной экспертизы отдела здравоохранения Ленинградского облисполкома Клюев получает вторую группу инвалидности.

5 шюля — 3 августа — проходит курс курортного лечения в Сочи по путёвке Литфонда.

Август — сентябрь — живёт в Потрепухине, пишет поэму «Последняя Русь» (первоначальное название «Песни о Великой Матери»).

Конец года — выходит книга О. Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика» — фактический приговор Клюеву и «новокрестьянским поэтам».

***1931**, шюль — сентябрь* — живёт в Потрепухине, пишет вторую и третью части «Песни о Великой Матери» (поэма осталась неоконченной).

1 ноября — 4 декабря — отдыхает в Сочи в Доме отдыха работников печати.

4 декабря — 1932, начало марта — живёт в Москве у А. Садомова и его жены Н. Христофоровой-Садомовой.

***1932**, 9 января* — бюро секции поэтов Ленинградского отделения Всероссийского союза советских писателей принимает заочное решение о выведении Клюева из состава секции.

Начало апреля — Клюев переселяется из Ленинграда в Москву (Гранатный пер., 12, кв. 3).

Май — знакомится с И. Грабарём, Н. Обуховой.

Июнь — знакомится с П. Васильевым, И. Гронским. Достигнута договорённость о публикации стихов в ближайших номерах «Нового мира».

Начало шюля — знакомится с О. Мандельштамом, Л. Гумилёвым на квартире С. Клычкова.

Конец августа — присылает в редакцию «Нового мира» цикл

стихотворений «О чём шумят седые кедры» с посвящением «Анатолию Яр-Кравченко» и стихотворение «Клеветникам искусства». Гронский отказывается печатать присланные Клюевым стихи.

Конец сентября — 3 ноября — отдыхает в Сочи в санатории им. Правды.

Начало ноября — предваряет авторский вечер П. Васильева чтением стихотворения «Клеветникам искусства».

Декабрь — в московском журнале «Земля советская» появляется последняя прижизненная публикация стихотворений Клюева (цикл «Стихи из колхоза»).

***1933**, июнь* — Клюев пишет поэму «Повесть скорби».

7 июня — в «Издательство писателей в Ленинграде» поступает сборник из 33 стихотворений поэта «О чём шумят седые кедры», посвящённый А. Яр-Кравченко (остался неизданным).

***1934**, 2 февраля* — арест Клюева органами ОГПУ-НКВД. Изъятие рукописей, писем, записных книжек, в том числе автографов поэм «Погорельщина», «Я» (другое название «Каина»), «Песнь о Великой Матери». Предъявление обвинения по статье 58/10 УК РСФСР в том, что поэт «активно вел антисоветскую агитацию путем распространения своих контрреволюционных литературных произведений».

5 марта — судебное заседание коллегии ОГПУ приговаривает Клюева к заключению в исправтрудлагерь на срок в пять лет с заменой высылкой в г. Колпашево (Западная Сибирь) на тот же срок.

25 марта — Клюев заключается в Томскую пересыльную тюрьму.

31 мая — Клюев доставлен на место ссылки в г. Колпашево.

Июнь — пишет (или записывает сложенную ранее) поэму «Кремль».

Июнь — октябрь — направляет заявления с просьбой облегчить его положение руководителю организации «Помощь политическим заключённым» Е. Пешковой, во ВЦИК СССР, в оргкомитет Союза писателей и др.

8 октября — отправлен из Колпашева в Томск спецконвоем.

11 октября — поселяется в Томске в многонаселённой избе по адресу: пер. Красного Пожарника, 12.

30 декабря — создаёт (в форме письма Н. Христофоровой-Садомовой) трактат «Очищение сердца».

***1935**, февраль* — знакомится с биологом Р. Ильиным. Пишет поэму «Нарым» (текст неизвестен).

***1936**, 23 марта — 4 июля* — Клюева заключают в тюрьму по

обвинению в участии в «церковной контрреволюционной группировке».

8 апреля — помещён в тюремную больницу (паралич левой стороны тела).

5 июля — возвращён органами НКВД на прежнее место жительства.

22 декабря — в письме к В. Горбачёвой сообщает, что написал четыре поэмы.

Конец декабря — перебирается на новое место жительства по адресу: Мариинский пер., 38, кв. 2.

***1937**, 25 марта* — в письме к А. Яр-Кравченко записывает текст стихотворения «Есть две страны: одна — Больница…», последнее поэтическое произведение Клюева, известное на сегодняшний день.

Начало мая — переселяется по адресу: Старо-Ачинская, 13, кв. 1.

5 июня — обыск и арест.

26 июня — поэту предъявлено обвинение в том, что он якобы «являлся руководителем и идейным вдохновителем контрреволюционной монархической организации „Союз спасения России“».

13 октября — решением тройки управления НКВД по Новосибирской области приговаривается к расстрелу.

23…25 октября — выписка из акта о «приведении приговора в исполнение».

БИБЛИОГРАФИЯ

СОЧИНЕНИЯ Н. А. КЛЮЕВА

Клюев Н. А. Песнослов. Кн. 1 и 2. Пг., 1919.

Клюев Н. А. Сочинения. Т. 1 и 2 / Под общ. ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. [Мюнхен], 1969.

Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. В. Г. Базанова; сост., подг. текста и примеч. Л. К. Швецовой. Л., 1977.

Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. С. Ю. Куняева; сост., подг. текста и примеч. С. Ю. Куняева и С. С. Куняева. Архангельск, 1986.

Клюев Н. А. Песнослов. Стихотворения и поэмы / Сост., вступ. ст. и коммент. С. И. Субботина и И. А. Костина. Архангельск, 1990.

Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост. и подг. текста К. М. Азадовского. М., 1991.

Клюев Н. А., Клычков С. А., Орешин П. В. Стихи / Вступ. ст. А. И. Михайлова. М., 1997.

Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы / Предисл. Н. Н. Скатова; вступ. ст. А. И. Михайлова; сост., подг. текста и примеч. В. П. Гарнина. СПб., 1999.

Клюев Н. А. Словесное древо / Вступ. ст. А. И. Михайлова; сост., подг. текста и примеч. В. П. Гарнина. СПб., 2003.

Клюев Н. А. Письма к Александру Блоку; 1907–1915 / Сост., вступ. ст. и коммент. К. М. Азадовского. М., 2003.

Клюев Н. А. Звук ангелу собрат. Избранное / Сост. и послесл. С. Ю. Баранова. М., 2004.

Клюев Н. А. Гагарий зык. Малое собрание сочинений. Стихотворения, поэмы, проза / Предисл. Л. А. Киселевой; сост. А. Л. Казакова. Челябинск, 2005.

Клюев Н. А. Кровь моя связует две эпохи… / Предисл. С. Ю. Куняева; вступ. ст. и сост. Ю. А. Хардикова. М., 2007.

ЛИТЕРАТУРА О Н. А. КЛЮЕВЕ

Свенцицкий В. П. Поэт голгофского христианства. М., 1912.

Богомолов Б. Д. Обретенный Китеж. Душевные строки о народном поэте Николае Клюеве. Пг., 1917.

Львов-Рогачевский В. Л. Поэзия новой России: Поэты полей и

городских окраин. М., 1919.

Абрамович Н. Я. Современная лирика: Клюев, Кусиков, Ивнев, Шершеневич. Б. м., 1921.

Иванов-Разумник Р. В. Творчество и критика. Пг., 1922.

Троцкий Л. Д. Литература и революция. М.; Пг., 1923.

Сиповский В. В. Поэзия народа: Пролетарская и крестьянская лирика наших дней. Пг., 1923.

Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923.

Князев В. В. Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина). Пг., 1924.

Бескин О. М. Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика. М., 1930.

Пути развития крестьянской литературы. М.; Л., 1930.

Зелинский К. Л. На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917–1920 гг. М., 1962.

Дементьев В. В. Исповедь земли. М., 1980.

Николай Алексеевич Клюев. <Библиография> / Сост. Н. Г. Захаренко, И. В. Ханукаева// Русские советские писатели. Поэты. Т. 11. М., 1988.

Базанов В. Г. С родного берега. О поэзии Николая Клюева. Л., 1990.

Куняев С. С. Огнепалый стих. М., 1990.

Солнцева Н. М. Китежский павлин. М., 1992.

Вытегорский вестник. № 1. «Мое бездонное слово…» Клюевские чтения в г. Вытегре 1985–1994 гг. Вытегра, 1994.

Меки Э. Б. Образ Великой Матери (религиозно-мифологические традиции в эпическом творчестве Николая Клюева). Даугавпилс, 1995.

Николай Клюев. Исследования и материалы / Ред.-сост. С. И. Субботин. М., 1997.

Маркова Е. И. Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства. Петрозаводск, 1997.

Пономарева Т. А. Проза Николая Клюева 20-х годов. М., 1999.

Солнцева Н. М. Странный эрос. Интимные мотивы поэзии Николая Клюева. М., 2000.

Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / Сост. и вступ. ст. В. Г. Белоуса. М., 2000.

Николай Клюев: образ мира и судьба. Вып. 1. Томск, 2000.

Научно-практический журнал «Наука и бизнес на Мурмане». 2002. № 4. Духовный путь и земная жизнь Николая Клюева.

Карохин Л. Ф. Сергей Есенин и Николай Клюев. Рязань, 2002.

Азадовский К. М. Жизнь Николая Клюева. Документальное повествование. СПб., 2002.

Азадовский К. М. «Гагарья судьбина» Николая Клюева. СПб.,

2004.

Венок Николаю Клюеву, 1911–2003 / Сост., предисл. и примеч. С. И. Субботина. М., 2004.

Пономарёва Т. А. Новокрестьянская проза 1920-х годов. Ч. 1. Философские и художественные искания Н. Клюева, А. Ганина, П. Карпова. Череповец, 2005.

Николай Клюев глазами современников / Вступ. ст. А. И. Михайлова; сост., подг. текста и примеч. В. П. Гарнина. СПб., 2005.

Николай Клюев: образ мира и судьба. Вып. 2. Томск, 2005.

Яцкевич Л. Г., Головнина С. К., Виноградова С. Б. Поэтическое слово Николая Клюева. Вологда, 2005.

XXI век на пути к Клюеву / Сост. и науч. ред. Е. И. Маркова. Петрозаводск, 2006.

Кравченко Т. А., Михайлов А. Я. Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре. М., Томск, 2006.

Леонтьев Я. В. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и её литературные попутчики. М., 2007.

Вдовин В. А. Факты — вещь упрямая. Труды о С. А. Есенине / Сост., подг. текста А. А. Вдовиной, Н. Г. Юсова, коммент. Н. Г. Юсова. М., 2007.

Нарымская поэма Н. Клюева «Кремль»: интерпретации и контекст. Томск, 2008.

Пичурин Л. Ф. Последние дни Николая Клюева. Томск, 2009.

Субботин С. И. Николай Алексеевич Клюев (1884–1937). Хронологическая канва. Томск, 2009.

Маркова Е. И. Родословие Николая Клюева. Тексты. Интерпретации. Контексты. Петрозаводск, 2009.

«Я певец славянский Клюев…». Сб. материалов к Всероссийскому празднику поэзии Николая Клюева. Петрозаводск, 2010.

Николай Клюев. Воспоминания современников / Вступ. ст. Л. А. Киселёвой; сост. П. Е. Поберёзкиной, С. И. Субботина. Коммент. Л. А. Киселёвой, С. И. Субботина; прил., указат., хронол. канва С. И. Субботина. М., 2010.

Николай Клюев: образ мира и судьба. Вып. 3. Томск, 2011.

Боян XX века. Николай Клюев в Русском городке Царского Села и «Общество возрождения художественной Руси». СПб.; Царское Село, 2011.

ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРА

Реутский Н. В. Люди Божьи и скопцы. Историческое

исследование (из достоверных источников и подлинных бумаг). М., 1872.

Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела. Т. 1. Верный, 1906.

Денисов Андрей, Денисов Семён, Петров Трифон, Федосеев Леонтий. Поморские ответы (Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита). М., 1911.

Розанов В. В. Тёмный лик. СПб., 1911.

Песни русских сектантов-мистиков / Сост. Т. С. Рождественского и М. И. Успенского. СПб., 1912.

Розанов В. В. Люди лунного света. СПб., 1913.

Розанов В. В. Апокалипсическая секта: хлысты и скопцы. СПб., 1914.

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914.

Карпентер Э. Промежуточный пол. Пг., 1916.

Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918.

Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Иркутск, 1979.

Агурский М. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980.

Базанов В. Г. Фольклор. Русская поэзия начала XX века. Л., 1988.

Михайлов А. И. Пути развития новокрестьянской поэзии. Л., 1990.

Рерих Н. К. Алтай — Гималаи. Рига, 1992.

Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993.

Рыбаков Б. А. Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993.

Семёнова С. Г. Тайны Царствия Небесного. М., 1994.

Куняев С. Ю., Куняев С. С. Растерзанные тени. М., 1995.

Ильина В. В., Заплавный С. А. Неистовый Ростислав. Повесть о любви. Томск, 1996.

Апокрифические Евангелия. М., 1996.

Эткинд А. М. Содом и Психея. М., 1996.

Фроянов И. Я. Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего). СПб., 1997.

Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1997.

Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. ст. и коммент. А. В. Лаврова, Дж. Мальмстада; подгот. текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова, Дж. Мальмстада. СПб., 1998.

Белоусов И. Г. Литературная Москва (Воспоминания 1880–1928). Писатели из народа. Писатели-народники. М., 1998.

Гусева Н. Р. Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория. М., 1998.

Эткинд А. М. Хлыст. Секты, литература и революция. М.,

1998.

Мяло К. Г. Звезда волхвов, или Христос в Гималаях. М., 1998.

Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999.

Кожинов В. В. Россия. Век XX. 1901–1939. От начала столетия до «загадочного» 1937 года. Опыт беспристрастного исследования. М., 1999.

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. М., 1999.

Дёмин В. Н. Загадки Русского Севера. М., 1999.

Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 2000.

Куняев С. С. Русский беркут. М., 2001.

Семёнова С. Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика-Видение мира — Философия. М., 2001.

Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002.

Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны русского раскола. М., 2002.

Лепахин В. В. Икона в русской художественной литературе. М., 2002. Россия перед вторым пришествием / Сост. С. и Т. Фомины. Т. 1–2. М.; СПб., 2002–2003.

Жарникова С. В. Золотая нить. Вологда, 2003.

Жуков Ю. Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–1937 годы. М., 2003.

Кара-Мурза С. Г. Гражданская война 1918–1921. Урок для XXI века. М.; 2003.

Перевезенцев С. В. Смысл русской истории. М., 2004.

Андреев А. П., Селиванов А. И. Русская традиция. М., 2004.

Курёнышев А. А. Всероссийский крестьянский союз. 1905–1930 гг. Мифы и реальность. М.; СПб., 2004.

Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1. Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М.,2005.

Филиппов Иоанн. История Выговской старообрядческой пустыни. М., 2005.

Ларионов В. Е. Сокровенный путь в Беловодье. М., 2005.

Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2005.

Мозохин О. Б. Право на репрессии. М.; Жуковский, 2006.

Шамбаров В. Е. Оккультные корни Октябрьской революции. М.,2006.

Карпец В. И. Русь Меровингов и корень Рюрика. М., 2006.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. М., 2006.

Елисеев А. В. Социализм с русским лицом. М., 2007.

Прудникова Е. А. Хрущёв. Творцы террора. М., 2007.

Леонтьев А. И., Леонтьева М. В. Истоки медвежьей Руси. М., 2007.

In memoriam: Эдуард Брониславович Мекш. Daugavpils, 2007.

Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким). М., 2008.

Кириллов И. А. Правда старой веры. Барнаул, 2008.

Кара-Мурза С. Г. Маркс против русской революции. М., 2008.

Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. М., 2010.

Вдовин А. И. Подлинная история русских. XX век. М., 2010.

Корниенко Н. В. «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. М., 2010.

Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура. М., 2012.

notes

Примечания

1

Староверы говорили и писали только «пустыня», не признавая «пустынь».